

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

- Вальтер Скотт
 - ПРЕДИСЛОВИЕ
 - Глава I
 - Глава II
 - Глава III
 - Глава IV
 - Глава V
 - Глава VI
 - Глава VII
 - Глава VIII
 - Глава IX
 - Глава X
 - Глава XI
 - Глава XII
 - Глава XIII
 - Глава XIV
 - Глава XV
 - Глава XVI

- [Глава XVII](#)
- [Глава XVIII](#)
- [Глава XIX](#)
- [Глава XX](#)
- [Глава XXI](#)
- [Глава XXII](#)
- [Глава XXIII](#)
- [Глава XXIV](#)
- [Глава XXV](#)
- [Глава XXVI](#)
- [Глава XXVII](#)
- [Глава XXVIII](#)
- [Глава XXIX](#)
- [Глава XXX](#)
- [Глава XXXI](#)
- [Глава XXXII](#)
- [Глава XXXIII](#)
- [Глава XXXIV](#)

- [Глава XXXV](#)
- [Глава XXXVI](#)
- [Глава XXXVII](#)
- [Глава XXXVIII](#)
- [О РОМАНЕ](#)
- [КОММЕНТАРИИ](#)

- [notes](#)

- [Note1](#)
- [Note2](#)
- [Note3](#)
- [Note4](#)
- [Note5](#)
- [Note6](#)
- [Note7](#)
- [Note8](#)
- [Note9](#)
- [Note10](#)
- [Note11](#)

- [Note12](#)
- [Note13](#)
- [Note14](#)
- [Note15](#)
- [Note16](#)
- [Note17](#)
- [Note18](#)
- [Note19](#)
- [Note20](#)
- [Note21](#)
- [Note22](#)
- [Note23](#)
- [Note24](#)
- [Note25](#)
- [Note26](#)
- [Note27](#)
- [Note28](#)
- [Note29](#)

- [Note30](#)
- [Note31](#)
- [Note32](#)
- [Note33](#)
- [Note34](#)
- [Note35](#)
- [Note36](#)
- [Note37](#)
- [Note38](#)
- [Note39](#)
- [Note40](#)
- [Note41](#)
- [Note42](#)
- [Note43](#)
- [Note44](#)
- [Note45](#)
- [Note46](#)
- [Note47](#)

- [Note48](#)
- [Note49](#)
- [Note50](#)
- [Note51](#)
- [Note52](#)
- [Note53](#)
- [Note54](#)
- [Note55](#)
- [Note56](#)
- [Note57](#)
- [Note58](#)
- [Note59](#)
- [Note60](#)
- [Note61](#)
- [Note62](#)
- [Note63](#)
- [Note64](#)
- [Note65](#)

- [Note66](#)
- [Note67](#)
- [Note68](#)
- [Note69](#)
- [Note70](#)
- [Note71](#)
- [Note72](#)
- [Note73](#)
- [Note74](#)
- [Note75](#)
- [Note76](#)
- [Note77](#)
- [Note78](#)
- [Note79](#)
- [Note80](#)
- [Note81](#)
- [Note82](#)
- [Note83](#)



Вальтер Скотт Вудсток, или Кавалер

*Он был достойный,
благородный рыцарь.*

Чосер

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я не стану рассказывать своим читателям, каким образом попала ко мне рукопись выдающегося исследователя древностей, доктора богословия, преподобного Дж. А. Рочклифа. Такие вещи бывают возможны благодаря различным случайностям; достаточно сказать, что рукописи эти были спасены от недостойной участи и приобретены честным путем. Что же касается подлинности тех историй, которые я почерпнул из сочинений этого превосходного человека и соединил со свойственной мне

непревзойденной легкостью, то повсюду, где только известен доктор Рочклиф, его имя послужит порукой точности их изложения.

Все любители чтения хорошо знакомы с его жизнью; тех же, кого можно счесть новичками в этом вопросе, мы позволим себе отослать к сочинениям почтенного Энтони Вуда, который считал его одним из столпов англиканской церкви и дал ему хвалебную характеристику в *Athenae Oxonienses* [note 1](#), хотя доктор обучался в Кембридже, а это второе око Англии.

Хорошо известно, что доктор Рочклиф рано получил повышение как церковнослужитель по причине

своего деятельного участия в дебатах с пуританами и что его сочинение, озаглавленное *Malleus Hasresis* [note 2](#), расценивалось как сокрушительный удар всеми, кроме тех, кому он был нанесен. Благодаря этому сочинению доктор Рочклиф еще молодым, в возрасте тридцати лет, сделался ректором Вудстока; оно же впоследствии обеспечило ему место в каталоге знаменитого Сенчури Уайта, так что доктор был занесен этим фанатиком в списки скандальных и зловредных священников, которым прелаты раздавали приходы; хуже того — из-за своих воззрений ему пришлось покинуть Вудсток, когда

пресвитериане одержали верх.

В течение почти всей гражданской войны он был капелланом в полку сэра Генри Ли, набранном для участия в боях на стороне короля Карла, и, говорят, не раз лично принимал участие в сражениях.

По крайней мере достоверно известно, что доктор Рочклиф неоднократно подвергался большой опасности, как это будет явствовать из многих мест нижеследующей истории, в которой доктор, подобно Цезарю, говорит о собственных подвигах в третьем лице. Однако я подозреваю, что какой-нибудь пресвитерианский толкователь

вставил в текст в двух-трех местах кое-что от себя. Рукопись долго была собственностью Эверардов — благородной семьи, принадлежавшей к этому вероисповеданию [note 3](#).

В период незаконного захвата власти доктор Рочклиф постоянно принимал участие то в той, то в другой преждевременной попытке реставрации монархии и благодаря своей смелости, самообладанию и глубоким суждениям считался одним из главных деятелей, трудившихся в те бурные дни на пользу короля, правда — с одной пустячной оговоркой: заговоры, в которых он участвовал, почти всегда оказывались раскрытыми. Более того —

подозревали, что сам Кромвель иногда устраивал так, чтобы навести его на мысль о какой-нибудь интриге, которую доктор тут же и затевал; таким способом протектор испытывал верность своих сомнительных друзей и подробно знакомился с заговорами явных врагов, считая, что сбить с толку и обескуражить легче, чем строго наказать.

После реставрации доктор Рочклиф опять поселился в Вудстоке, получив новое повышение и сменив споры и политические интриги на занятия философией. Он был одним из членов-учредителей Королевского общества; через него король

потребовал от этой ученой корпорации решения следующей любопытной задачи: «Почему, если наполнить кувшин до краев водой и опустить в воду большую живую рыбу, вода все же не перельется через края кувшина?»

Объяснение этого удивительного явления, данное доктором Рочклифом, было самым остроумным из четырех, представленных обществу, и доктор, без сомнения, вышел бы победителем, если бы не упрямство одного тупого и невежественного провинциального джентльмена, который настоял на том, чтобы опыт был прежде всего произведен публично. Когда это было

сделано, результат показал, что члены корпорации несколько опрометчиво признали эти факты на основании одного лишь авторитета короля: рыба, которую таким забавным образом погрузили в ее родную стихию, расплескала воду по залу, подорвав доверие к четырем тонким исследователям и испортив большой турецкий ковер.

Доктор Рочклиф умер, по-видимому, около 1685 года, оставив после себя немало различных сочинений, а главное — много занятных фактов из секретной истории; оттуда и извлечены нижеследующие записки, о которых мы намерены сказать только

несколько слов для иллюстрации.

Существование лабиринта Розамунды, упоминающегося на страницах этих записок, засвидетельствовано Дрейтоном еще в царствование королевы Елизаветы.

«Развалины лабиринта Розамунды, а также ее водоем, дно которого выложено квадратными камнями, и ее башня, из которой начинался лабиринт, существуют и до сих пор. Сводчатые переходы со стенами из камня и кирпича переплетаются так, что найти выход почти невозможно. Если бы королева когда-нибудь окружила войсками ее обиталище, Розамунда могла легко избежать непосредственной

опасности, а в случае надобности — выйти на волю через потайные ходы, расположенные за несколько миль от Вудстока в Оксфордшире» [note 4](#).

Весьма вероятно, что странная фантаσμαгория, которая, как достоверно известно, была разыграна над комиссарами Долгого парламента, посланными в Вудсток для того, чтобы вырубить парк и уничтожить замок, была осуществлена с помощью секретных переходов и тайников древнего лабиринта Розамунды, вокруг которого короли Англии из поколения в поколение строили свою охотничью резиденцию.

Доктор Плот в своей

«Правдивой истории Оксфордшира» приводит любопытный рассказ о неприятностях, доставленных этим почтенным комиссарам. Но так как у меня нет под рукой этой книги, я могу только сослаться на работу знаменитого Глэнвила о ведьмах, в которой подчеркивается, что этот рассказ доктора о сверхъестественных явлениях достоин всяческого доверия. Кровати комиссаров и их слуг наклонялись так, что чуть не переворачивались, а потом столь резко возвращались в обычное положение, что те, кто спал в них, легко могли переломать себе кости. Необычный и страшный шум пугал этих кощунственных

посягателей на королевскую собственность. Однажды дух запустил в них тарелкой, в другой раз швырял в них камни и лошадиные кости.

На спящих выливались бочки воды; подобных проделок было столько, что комиссары съехали со двора, лишь наполовину осуществив задуманный грабеж.

Доктор Плот, человек со здравым смыслом, подозревал что эти фокусы были делом рук каких-то заговорщиков; Глэнвил, конечно, всеми силами старался опровергнуть это мнение; вряд ли можно было бы ожидать, чтобы он, веря в такое подходящее объяснение как действия

сверхъестественных сил, согласился бы отказаться от ключа, который отопрет любой замок, даже самый хитрый.

И все-таки впоследствии обнаружилось, что доктор Плот был совершенно прав и что единственным духом совершившим все эти чудеса, был переодетый роялист, парень по прозвищу Верный Джо или что-то в этом роде, прежде состоявший на службе у смотрителя парка и поступивший в услужение к комиссарам с целью подвергнуть их преследованиям.

Кажется, я где-то читал рассказ о том, как это было сделано, и о приспособлениях, с помощью

которых этот колдун совершал свои чудеса, но не уверен, читал ли я это в книге или в памфлете. Я припоминаю оттуда одно особенно важное место. Комиссары решили утаить некоторые ценности, не включив их в список, который они должны были предъявить парламенту, и собирались разделить добычу между собой.

Они написали договор, устанавливающий долю каждого в этом хищении, и для безопасности спрятали его в цветочный горшок. И вот, когда несколько священнослужителей, а также наиболее благочестивые люди из окрестностей Вудстока собрались,

чтобы изгнать предполагаемого дьявола, Верный Джо устроил фейерверк, который он зажег в самый разгар службы.

При этом цветочный горшок разбился, и, к стыду и смятению комиссаров, их тайный договор вылетел в самую середину кружка собравшихся гонителей дьявола, которые таким образом познакомились с тайными планами расхитителей королевского имущества.

Однако мне нет надобности напрягать память, стараясь собрать старые и неполные воспоминания о подробностях этих фантастических происшествий в Вудстоке, потому

что доктор Рочклиф в своих записках приводит гораздо более точный рассказ, чем все, что можно почерпнуть из любого отчета, существовавшего до того, как они были опубликованы.

Разумеется, я мог бы написать эту часть моего сочинения гораздо пространнее, потому что располагаю обширными материалами, но — скажу читателю по секрету — некоторые благожелательные критики были того мнения, что всей этой истории нельзя верить ни на грош, и поэтому я решил быть более кратким, чем мог бы при других обстоятельствах.

Нетерпеливый

читатель,

вероятно, обвинит меня в том, что свечою я заслоняю от него солнце. Но даже если солнце такое яркое, каким мы его видим, а светильник или факел дымит в десять раз больше, чем обычно, тот, кто друг мне, должен потерпеть еще минуту, пока я отрекусь от самой мысли о браконьерстве в чужом поместье. Сокол, как говорим мы в Шотландии, не должен выклевывать глаза другому соколу или посягать на его добычу; поэтому, если бы я знал, что по описанной эпохе и по своему содержанию этот роман может отчасти совпасть с тем, который недавно опубликовал один мой выдающийся современник, я бы, без

сомнения, на время оставил в покое рукопись доктора Рочклифа. Но, прежде чем мне стало известно это обстоятельство, моя книжечка была уже наполовину отпечатана, и мне оставалось только избежать всякого сознательного подражания, отложив на время чтение книги моего современника. Когда сочинения одного и того же рода написаны в общей манере исторических повествований, то некоторые случайные совпадения, вероятно, неизбежны. Если такие совпадения будут обнаружены, виновным, наверно, окажусь я. Но мои намерения были совершенно невинны, потому что одним из

приятных последствий окончания «Вудстока» для меня будет то, что завершение моей собственной задачи позволит мне доставить себе удовольствие и прочесть «Брэмблтай-хауз», от чего я до сих пор сознательно воздерживался.

Глава I

*Тот верил в проповедь
аббата,*

*А этот — лишь в кулак
солдата,*

*И были споры горячи,
И все хватались за
мечи.*

Батлер, «Гудибрас»^{[note](#)}

5

В городе Вудстоке есть
величественная приходская церковь
— по крайней мере мне так
говорили, а сам я ее не видел. Когда я
был в этом городе, я едва успел
осмотреть великолепный

Бленхеймский замок, его расписные стены и увешанные гобеленами покои — я торопился на званый обед к моему ученому другу, ректору ***-ского колледжа. Это был один из тех случаев, когда человек может очень повредить себе, если любознательность помешает ему быть пунктуальным. Описание церкви понадобилось мне для этого романа, но у меня есть некоторые основания сомневаться в том, что человек, которого я попросил рассказать мне о ней, сам когда-либо видел ее внутреннее убранство, поэтому замечу только, что сейчас церковь эта представляет собой величественное здание; правда, лет

сорок — пятьдесят тому назад ее основательно перестроили, но там и доныне сохранились арки древней капеллы, основанной, по преданию, королем Иоанном. Именно с этой древней частью церкви и связан мой рассказ.

Однажды утром в конце сентября или начале октября 1652 года на торжественный молебен по случаю решительной победы при Вустере в древней капелле, или часовне, короля Иоанна собралась весьма уважаемая публика. Свирепствующая гражданская война и особый дух того времени наложили свой отпечаток на состояние церкви и ее прихожан. В храме были

заметны многочисленные следы разрушения. Витражи, когда-то украшавшие окна, были вдребезги разбиты копьями и мушкетами, потому что их сочли свидетельством идолопоклонства. Резьба на кафедре была повреждена, а две чудесные перегородки, украшенные скульптурами из дуба, сломаны по той же основательной и веской причине. Алтарь был сдвинут с места, а золоченая решетка, когда-то его окружавшая, разломана и отброшена в сторону. Статуи с некоторых надгробий, изуродованные, валялись на полу —

Дурное воздаянье...

За подвиги и славные деянья.

В пустых приделах гулял осенний ветер; по остаткам столбов и перекладин из грубо обтесанного дерева, а также по разбросанным клочкам сена и примятой соломе видно было, что святой храм недавно служил конюшней.

Молящиеся, как и само здание, утратили былое благолепие. На резных галереях не видно было обычных прихожан мирного времени, прикрывавших рукою глаза, чтобы сосредоточиться в молитве там, где молились их отцы, исповедуя ту же веру, и омен и пахарь напрасно искали глазами высокую фигуру

старого сэра Генри Ли из Дитчли, медленно проходившего по боковым приделам в расшитом плаще, с тщательно расчесанными усами и бородой; за ним обычно следовал его верный пес; когда-то он спас хозяину жизнь, и ему было позволено сопровождать его в церковь. К Бевису вполне подходила пословица — «Хорош тот пес, который ходит в церковь», ибо, сдерживая часто мучивший его соблазн завывать в унисон с пением, он вел себя так же благопристойно, как любой прихожанин, и возвращался из церкви, может быть, столь же просветленный, как и большинство из них. Вудстокские барышни так же

безуспешно высматривали расшитые плащи, звенящие шпоры, сапоги с раструбами и высокие плюмажи молодых кавалеров из знатных семейств; эти кавалеры обычно разгуливали по улицам или по церковному двору с той непринужденностью, которая свидетельствует об изрядном самомнении, но даже приятна, когда сочетается с приветливостью и учтивостью.

А почтенные старые дамы в белых чепцах и черных бархатных платьях, а их дочери — «приманка для соседских глаз», — где теперь все те, кто, входя в церковь, отвлекал прихожан от благочестивых

помыслов? «Ну, а ты, Алиса Ли, такая прелестная, нежная, отзывчивая (так говорит летописец того времени, чью рукопись мы прочли)? Почему мне выпало на долю повествовать о твоих злоключениях, а не о том времени, когда, сходя со своей породистой лошадки, ты привлекала так много взоров, будто ты ангел, спустившийся на землю, и на тебя изливалось столько благословений, будто ты — посланец небес, принесший добрые вести! Ты не была создана праздным воображением сочинителя исторических романов, фантазия его не украсила тебя противоречивыми достоинствами, — твои добродетели

внушили мне горячую любовь, а что до недостатков — они так мило выглядели на фоне достоинств, что за них я, кажется, полюбил тебя еще сильнее».

С семейством Ли исчезли из капеллы короля Иоанна и остальные знатные и благородные семьи — Фримантлы, Уинклкомы, Драйкотты и другие, ибо воздух, веявший над оксфордскими башнями, не благоприятствовал развитию пуританства, более распространенного в соседних графствах. Но среди прихожан были два или три таких, которые, судя по одежде и поведению, принадлежали к местной знати; было тут и

несколько именитых горожан Вудстока, главным образом оружейников и перчаточников, которым умение обрабатывать сталь или кожу давало возможность жить в довольстве. Эти достойные люди были в длинных черных, наглухо застегнутых плащах и, как мирные граждане, носили на поясе библию и записную книжку, а не кинжал или шпагу [note 6](#).

Эта почтенная, но немногочисленная часть прихожан приняла пресвитерианское вероисповедание, отвергающее литургию и иерархию англиканской церкви.

Их духовным отцом был

преподобный Ниимайя Холдинаф, славившийся своими длинными и поучительными речами в защиту сил небесных. Вместе с этими степенными господами сидели их почтенные супруги в накрахмаленных брыжах и ожерельях, словно сошедшие с портретов, которые в каталогах картин именуются «жены бургомистров»; хорошенькие же дочери, подобно чосеровскому врачу, не всегда сосредоточивали свое внимание на библии; напротив, едва ослабевала бдительность почтенных матерей, они отвлекались и отвлекали других.

Но, кроме этих степенных особ,

в церкви было немало людей и рангом пониже. Некоторых привело сюда любопытство, но многие были темными ремесленниками, сбитыми с толку богословскими спорами того времени и множеством сект, разнообразных, как цвета радуги. Самомнение этих ученых фиванцев точно соответствовало их невежеству: последнее было абсолютно, а первое безгранично. Их поведение в церкви не было ни благочестивым, ни примерным.

Большинство подчеркивало свое циничное пренебрежение к тому, что человечество считает священным; церковь для этих людей была просто домом с колокольней, священник —

обыкновенным человеком, посты — сухими корками и жидкой похлебкой, непригодной для утонченного вкуса святых, а молитва — обращением к небесам, которые каждый мог по своему усмотрению принять или отвергнуть.

Те что постарше, сидели развалившись на скамьях, надвинув шляпы с высокими тульями на сурово нахмуренные лбы; они ожидали пресвитерианского проповедника подобно псам, молчаливо ждущим быка, которого ведут им на растерзание. Некоторые из молодых сочетали ересь с вольным поведением — глазели на женщин, зевали, кашляли, шептались, ели

яблоки, грызли орехи, словом, вели себя как на галерее театра до начала представления.

Кроме того, среди прихожан было несколько солдат; одни были в кольчугах и стальных шлемах, другие — в куртках из буйволово́й кожи, третьи — в красных мундирах. На этих воинах были навешаны под сумки с патронами, они опирались на пики и мушкеты. Они тоже имели свое мнение по поводу самых сложных вопросов веры, и фанатизм, доведенный до нелепости, сочетался у них с величайшей храбростью и отвагой в бою. Вудстокские горожане смотрели на этих воинов-святош с немалым

страхом; хотя жизнь их не часто омрачалась грабежами и насилием, солдаты всегда могли прибегнуть и к тому и к другому, и мирным гражданам ничего не оставалось, как повиноваться всему, что могло возникнуть в необузданном и фанатичном воображении воинственных советчиков.

После некоторого ожидания прихожане увидели, что преподобный Холдинаф идет вдоль приделов часовни не так медленно и не той величественной походкой, которой в минувшие дни старый настоятель обычно подчеркивал достоинство своего сана, а торопливыми шагами, точно он

опаздывал и стремился наверстать упущенное время. Это был высокий худощавый человек со смуглым лицом и беспокойным взглядом, выдававшим его раздражительный характер. Он был в коричневом, а не в черном облачении, поверх которого носил, в честь Кальвина, синий женеvский плащ, развевавшийся у него за плечами, когда он спешил к кафедре. Седящие волосы были подстрижены так коротко, как только можно было подстричь ножницами, их прикрывала черная шелковая шапочка — она так плотно сидела на голове, что уши, торчавшие из-под нее, казались ручками, за которые можно было поднять всего человека.

Вдобавок достойный богослов был в очках, носил длинную седеющую бороду, а в руке у него была маленькая карманная библия с серебряными застёжками. Подойдя к кафедре, он минутку помедлил, чтобы перевести дух, а затем стал подниматься, шагая через две ступеньки.

Но в это время сильная рука схватила его за плащ. Это была рука человека, который отделился от группы солдат, — плотного человека среднего роста с острым взглядом и довольно заурядной внешностью; привлекало внимание только выражение его лица. Одежда его, хоть не военного покроя, чем-то

напоминала солдатскую. На нем были широкие штаны из телячьей кожи; на одном боку — рапира неимоверной длины, или палаш, как ее тогда называли, на другой — кинжал. На сафьяновом поясе висели пистолеты.

Священник, отвлеченный таким образом от своих обязанностей, оглянулся на незнакомца и спросил не очень любезным тоном, что означает подобное вмешательство.

— Приятель, — сказал дерзкий незнакомец, — ты что, собираешься держать речь перед этим почтенным людом?

— А как же! — с негодованием воскликнул священник. — Таков мой

долг перед господом. Горе мне, если я не буду проповедовать евангелие! Прошу тебя, друг, не отвлекай меня от дела.

— Ну нет, — возразил воинственный незнакомец, — я сам собираюсь проповедовать, поэтому лучше удались; а впрочем, если хочешь послушаться моего совета, оставайся здесь и вразумляйся вместе с заблудшими овцами, которым я собираюсь сейчас разбросать крохи утешительной веры.

— Изыди, посланец сатаны! — разгневанно воскликнул священник. — Уважай мой сан, мое облачение!

— Не вижу, почему я должен уважать покрой твоего плаща, — ответил тот, — или сукно, из которого он сшит, больше, чем ты уважаешь епископский стихарь: тот — белый с черным, а твой — синий с коричневым. Все вы — ленивые, сонные псы! Все вы — пастыри, что морите стадо голодом и не печетесь о нем! Все вы думаете только о наживе, вот что!

Такие непристойные сцены были в те времена настолько обычны, что никто и не подумал вмешаться; прихожане наблюдали молча; те, кто познатней, возмущались, кое-кто из простолюдинов смеялся, а некоторые

принимали сторону солдата или священника, как им заблагорассудится. Тем временем борьба становилась все яростнее; преподобный Холдинаф начал звать о помощи.

— Господин мэр Вудстока, — воскликнул он, — неужели ты присоеди́нишься к тем бессовестным чиновникам, которые оставляют свой меч правосудия праздным?.. Горожане, неужели вы не поможете вашему пастырю?.. Достойные олдермены, неужели вы будете смотреть, как это порождение буйвола и сатаны задушит меня на ступенях кафедры? Нет, дайте-ка я одолею его и сброшу с себя его путы!

С этими словами Холдинаф, отбиваясь от солдата, ухватился за перила, стараясь подняться на кафедру.

Его мучитель вцепился в полы плаща, который чуть не задушил священника, но тот, произнося последние слова сдавленным голосом, проворно дернул завязки у шеи, плащ вдруг соскользнул с плеч священника, солдат упал и покатился по ступенькам, а обретший свободу богослов вскочил на кафедру и затянул победный псалом над поверженным противником. Но шум, стоявший в церкви, не дал ему насладиться своим торжеством, и, хотя он и его верный причетник

продолжали петь гимн победы, пение их было слышно только урывками, подобно крику буревестника во время шторма.

Причина суматохи заключалась в том, что мэр, ревностный пресвитерианин, с самого начала следил за действиями солдата с величайшим возмущением, но не решался выступить против вооруженного человека до тех пор, пока тот стоял на ногах и был способен оказать сопротивление. Однако как только глава города увидел, что защитник лежит на спине, а женевский плащ богослова развевается у него в руках, он тотчас же ринулся вперед, закричал, что

такое бесчинство терпеть долее нельзя, и приказал городским стражникам схватить распростертого борца, заявляя в величии своего гнева:

— Я засажу в тюрьму все эти красные мундиры, я засажу всех их, будь то хоть сам Нол Кромвель!

Возмущение достойного мэра взяло верх над его рассудком, он расхвастался не к месту, ибо три солдата, до тех нор стоявшие неподвижно, как статуи, сделали шаг вперед и очутились между стражниками и своим товарищем, который как раз в эту минуту поднимался с пола. Затем ружья их опустились согласно артикулу того

времени и приклады стукнули об пол на расстоянии одного дюйма от подагрических пальцев на ногах господина мэра. Видя, что его попытки навести порядок пресекаются таким образом, энергичный мэр устремил взор на своих союзников и сразу же понял, что сила не на его стороне.

Все отпрянули, услышав зловещий лязг железа о камень. Мэр был вынужден снизойти до уговоров.

— Чего вы хотите, господа? — спросил он. — Разве прилично честным и богобоязненным воинам, свершившим для своей родины такое, о чем раньше никто и не слыхивал, кричать и безобразничать в церкви,

да еще помогать, подстрекать и поддерживать нечестивца, который во время торжественного молебна изгоняет священника с его собственной кафедры?

— А нам дела нет до твоей церкви, как ты ее там называешь, — сказал человек, в котором по перышку на шлеме можно было узнать капрала. — Нам непонятно, почему в этой цитадели предрассудков нельзя слушать достойных людей, так же как в прежнее время слушали людей в сутанах, а теперь людей в плащах. Вот мы сейчас и вытащим вашего Джека Просвитерианина из деревянной сторожевой будки, а наш

собственный часовой сменит караул, залезет туда, будет громко кричать и никому не даст спуску.

— Хорошо, господа, — ответил мэр, — если ваши намерения таковы, у нас нет возможности вам противиться — мы, как вам известно, люди мирные и тихие. Но дайте-ка мне сначала поговорить с нашим достойным пастырем Ниимайей Холдинафом и постараться убедить его, чтобы он временно уступил свое место и не скандалил.

Тут миролюбивый мэр прервал взволнованные крики Холдинафа и причетника и попросил обоих удалиться, чтобы дело не дошло до

драки.

— Драка! — ответил пресвитерианский богослов с презрением. — Какая там драка, когда люди боятся выступить против открытого оскорбления церкви и дерзкого проявления ереси! Разве стали бы ваши соседи из Бэнбери терпеть такое оскорбление?

— Ну, полноте, мистер Холдинаф, — сказал мэр. — Не подстрекайте нас и не доводите до потасовки. Говорю вам еще раз: мы люди не военные, кровь проливать не любим.

— Да если и прольете, то не больше, чем от укола иголки! — презрительно отвечал священник. —

Вы вудстокские портные! Ведь перчаточник — тот же портной, только имеет дело с лайкой! Я покидаю вас, презирая ваши трусливые сердца и слабые руки.

Я найду себе другую паству, которая не покинет своего пастыря при первом крике дикого осла, вышедшего из великой пустыни.

С этими словами огорченный богослов сошел с кафедры, смахнул с сапог пыль и удалился из церкви так же поспешно, как и вошел в нее, хотя причина торопливости на этот раз была иная. Горожане с прискорбием и не без угрызений совести провожали его глазами, как бы сознавая, что не были образцом

храбрости. Мэр и еще несколько человек вышли из Церкви, чтобы догнать и успокоить священника.

Оратор индепендентов, недавно поверженный ниц, теперь, без дальнейших церемоний взобравшись на кафедру, вытащил из кармана библию и открыл ее на сорок пятом псалме:

— Препояшь мечом бедро твое, сильный, и во славе и величии своем победоносно отправляйся в путь.

На эту тему он произнес исступленную речь, какие часто произносились в те времена. В таких речах люди привыкли искажать и извращать смысл священного писания, приспособливая его к

современным событиям. Слова, в прямом смысле относящиеся к царю Давиду и теперь примененные к приходу мессии, по мнению этого оратора-воина, вполне подходили к Оливеру Кромвелю, победоносному полководцу молодой республики, которой не суждено было достичь зрелости.

— Препояшь мечом бедро твое! — кричал проповедник с воодушевлением. — Разве это не самый добрый клинок, который когда-либо звенел о латы или о стальное седло! Ага, наострили уши, вы, ножовщики Вудстока! Разве вы знаете, что такое добрый палаш? Разве вы его ковали? Разве сталь его

закалена водой из источника Розамунды? Или лезвие его освящено старым рогоносцем — попом из Годстоу?

Вы, конечно, хотите нас уверить, что это вы его ковали, сваривали, точили, шлифовали, а он никогда и не бывал на вудстокской наковальне. Вы все занимались секачами для оксфордских лодырей, здоровенных попов, — глаза у них до того заплыли жиром, что они и беды не видели, пока она не схватила их за горло! Но я могу вам сказать, где этот меч ковали, калили, сваривали, точили и шлифовали. В то время, когда вы, как я уже говорил, делали секачи для нечестивых попов и кинжалы для

беспутных богохульников роялистов, чтобы они перерезали горло английскому народу, меч этот ковали при Лонг-Марстои-муре, удары сыпались там чаще, чем молот бьет о наковальню; закален он был в Нейзби в крови отборных роялистов, сварен в Ирландии у стен Дрогеды, отточен на шотландцах под Данбаром, а недавно его так отшлифовали под Вустером, что он блестит, как солнце в полдень, и никакой светильник в Англии с ним не сравнится.

Тут среди солдат-прихожан поднялся гул одобрения, звучавший, как крики «Слушайте, слушайте!» в английской палате общин. Такие

крики выражают сочувствие слушателей и поднимают воодушевление оратора.

— А теперь, — продолжал оратор с возросшей энергией, видя, что собравшиеся разделяют его чувства, — слушайте, что говорит писание: «Скачи дальше пользуйся удачей.., не останавливайся на пути твоём.., не давай отдыха войску твоему.., не сходи с седла.., преследуй разогнанных беглецов.., труби в рог труби не салют и не отбой, а боевой клич... По коням! Вперед!.. В бой! Гонись за наследником!.. На что он нам? Убивай, хватай, разрушай, дели добычу!

Будь благословен, Оливер, честь тебе и слава — твое дело правое, твое призвание бесспорно, твой жезл полководца никогда не терпел поражения, твоему знамени никогда не угрожало несчастье. Поспешай же, цвет английского воинства! Скачи вперед, избранник божий! Препояшь бедро твое мечом решимости!

Неуклонно стремись к высокой цели!

И опять низкий и глухой рокот под древними сводами старой капеллы дал проповеднику возможность перевести дух, а затем обитатели Вудстока не без тревоги слышали, как он направил поток

своего красноречия в другое русло:

— Но зачем именно вам, жители Вудстока, говорю я все это? Ведь вы не хотите разделить участь нашего Давида, не интересуетесь сыном Иессеевым в Англии? Вы дрались изо всех сил (а они были не очень-то мощные) за бывшего короля под предводительством этого старого кровожадного паписта сэра Джейкоба Эштона; не замышляете ли вы заговора для реставрации, как вы говорите, наследника, распутного сына казненного тирана, беглеца, за которым сейчас охотятся все верные сыны Англии, чтобы поймать и казнить его? «И зачем нужно было вашему всаднику повернуть коня в

нашу сторону, — говорите вы в душе, — здесь он не нужен. Если мы желаем себе добра, уж лучше нам погрязнуть в трясине монархии и искупаться в ней, подобно свинье, которую только что отмыли от грязи». Ну, граждане Вудстока, я буду спрашивать, а вы отвечайте. Вы все еще жаждете сытой жизни монахов из Годстоу? Вы скажете «нет», но почему? Только потому, что горшки треснули и разбились и погас очаг, на котором кипел ваш котел? И еще спрошу я вас: вы все еще пьете воду из источника блудницы — красавицы Розамунды? Вы скажете «нет», а почему?..

Но не успел оратор сам себе

ответить, как его прервала громкая реплика одного из прихожан:

— Потому что бренди ваши молодцы нам не оставили, воду разбавить нечем.

Все взоры устремились на смельчака, который стоял у одной из массивных англосаксонских колонн и сам походил на колонну. Он был невысокого роста, но крепко сбит, фигурой напоминал Маленького Джона; опирался он на толстую дубинку, на нем была короткая куртка линкольнского сукна, когда-то зеленая, а теперь выцветшая и потертая, но сохранявшая остатки галунов, которыми была расшита.

В нем чувствовалась какая-то

беззаботная, добродушная смелость, и, несмотря на страх перед солдатами, кое-кто из горожан не удержался от возгласа:

— Молодец, Джослайн Джолиф! — Веселый Джослайн, так вы его зовете? — продолжал проповедник, не проявляя ни смущения, ни недовольства. — А у меня он будет Джослайн-арестант, если посмеет еще раз прервать мою речь. Уж наверно, он из тех ваших егерей, которым никак не забыть, что они носили на кокардах и охотничьих рогах буквы С. Р., как пес носит на ошейнике имя своего хозяина, — хорош знак для христианина! Но зверь лучше его,

зверь носит свою собственную шкуру, а презренный раб — хозяйскую. Видел я, как такие плуты болтаются на веревке!.. На чем это я остановился? Ах, да! Я уличал вас в ереси, жители Вудстока! Вы скажете, что отреклись от папы и отреклись от прелатов, а затем умоете руки, как фарисеи! Вы и есть фарисеи! Уж не вы ли стоите за чистоту веры? Вы, скажу я вам, как Ииуй, сын Намессиев, который разрушил дом Ваалов, но не отступал от грехов Иеровоама. Даже если вы не едите рыбу по пятницам с этими заблудшими папистами и не печете пирог в двадцать пятый день декабря, как лодыри прелатисты, зато вы

опиваетесь награбленным вином
каждую ночь в году с вашим
пресвитерианским пастырем,
клевете на достойных, хулите
республику; вы еще кичитесь вашим
вудстокским парком и говорите:

«Разве не был он первым в
Англии огорожен, да еще не
Генрихом ли, сыном Вильгельма, по
прозванию Завоеватель?» И у вас там
есть роскошный замок, зовете вы его
королевским, и есть там дуб,
который вы тоже зовете
королевским; в парке вы крадете
оленину, поедаете ее и
приговариваете: «Вот королевская
оленина, мы запьем ее из чаши за
здоровье короля, уж лучше мы

съедем эту оленину, чем круглоголовые негодяи республиканцы». Но слушайте и разумейте то, что я вам скажу. Об этом мы и пришли поговорить. И разговаривать мы будем языком пушек, которые превратят в развалины королевский замок, где вы так приятно проводили время; а королевский дуб расколем на дрова для печи в пекарне; и снесем изгороди вашего заповедника, перебьем ваших оленей и съедем их сами, а вы и объедков не получите — ни рожек, ни ножек. От рога не останется ни кусочка даже для рукоятки дешевого ножа, из шкуры не выкроите вы и пары штанов, ведь все

вы жестянщики и перчаточники. И вас не поддержит и не спасет изгнанный изменник Генри Ли, называющий себя главным лесничим Вудстока, и никто из его приспешников, ибо сюда идет тот, кого зовут Магар-Шалал-Хаш-Баз — он спешит за добычей.

На этом он закончил свои пылкие излияния.

Последние его слова переполнили страхом сердца Несчастливых жителей Вудстока: в них содержался намек, подтверждающий тревожные слухи, распространившиеся с некоторого времени среди местного населения. Сообщение с Лондоном было очень

плохое, известия были недостоверные, да и время не очень надежное. Слухи же носились в воздухе, преувеличенные страхами и надеждами множества различных групп. Но молва, касающаяся Вудстока, держалась упорно и не менялась. Из дня в день говорили о том, что парламент издал роковой приказ продать Вудстокский заповедник на порубку, охотничий замок разрушить, изгороди снести и по возможности стереть с лица земли все следы былой славы. Многим горожанам это принесло бы огромный ущерб — почти все они по праву или при попустительстве властей пасли скот в королевском

заповеднике, рубили там дрова и пользовались другими благами. Жители городка были удручены и тем, что краса их местности будет уничтожена, замок разрушен, а его ценности растащены. Такие патриотические чувства часто можно наблюдать в местечках, отличающихся от вновь построенных городов тем, что в них есть памятники старины и бережно хранимые предания о прежних днях. Вудстокские старожилы испытывали эти опасения в полной мере. Они трепетали в предчувствии беды, но теперь, когда приближение ее возвещалось прибытием угрюмых, суровых и всемогущих солдат, когда

они слышали об этом из уст проповедника-воина, им стало ясно, что судьба их решена. На время были забыты все внутренние раздоры, и прихожане, отпущенные без пения псалмов и благословения, медленно и печально разбрелись по домам.

Глава II

*Вот дочь твоя. Ты
стар и сед,*

*Но с нею ты не
одинок:*

*Коль никнет дуб под
грузом лет,*

*Его хранит от бурь и
бед*

*Ветвистый молодой
дубок.*

Закончив свою проповедь, солдат-оратор отер лоб — он сильно разгорячился в пылу красноречия И во время схватки, хотя погода была прохладная.

Затем он спустился с кафедры и сказал несколько слов капралу отряда, который кивнул в знак согласия, собрал своих солдат и повел их строем на городские квартиры.

Сам же проповедник, как ни в чем не бывало, вышел из церкви и направился не спеша бродить по улицам Вудстока с видом приезжего, осматривающего город. По-видимому, он совсем не замечал, что за ним с беспокойством наблюдают жители. Все то и дело украдкой бросали на него любопытные взгляды; казалось, что на него смотрят как на человека подозрительного и опасного,

которого, однако, ни в коем случае нельзя сердить. Он же не обращал на них внимания, а надменно выступал, как все известные фанатики того времени, — твердый торжественный шаг, суровый и в то же время сосредоточенный взгляд, как у человека, раздраженного тем, что земные дела на мгновение отвлекли его внимание от небесных. Люди такого рода презирали и осуждали самые безобидные утехы, а невинное веселье вызывало у них негодование. Но именно подобный образ мыслей готовил людей для великих подвигов: в основе его лежали бескорыстные принципы, а не удовлетворение своих страстей. Некоторые из них, в

самом деле, были лицемерами и пользовались религией, как покровом для своего честолюбия, но многие были подлинно верующими и обладали суровой республиканской добродетелью, которой другие только прикрывались. Подавляющее же большинство колебалось между этими двумя крайностями, — веря в какой-то степени в могущество религии, они больше старались притворяться, отдавая дань времени.

Человек с такими притязаниями па святость — они отражались на его лице и в осанке и дали повод для приведенного выше отступления — дошел тем временем до конца главной улицы, ведущей к

Вудстокскому парку. Зубчатые готические ворота преграждали выход в город. Архитектура их не была строгой, разнообразный стиль пристроек свидетельствовал о том, что они были сделаны в разные эпохи, но в целом ворота производили величественное впечатление. Массивная решетка из кованых железных прутьев с многочисленными завшушками и спиралями, которые увенчивались злополучным вензелем С. R-, уже разрушалась — отчасти ржавчиной, отчасти насилием.

Незнакомец остановился, словно раздумывая, войти ли ему без позволения. Он поглядел сквозь

решетку вдоль аллеи, обсаженной могучими дубами и слегка заворачивающей в сторону; она, казалось; уходила в лесную чащу. Дверца в железных воротах оказалась открытой, солдату хотелось войти, но он колебался, точно сознавая, что это было бы вторжением на чужую территорию; колебание его показывало, что он испытывает больше уважения к этому месту, чем можно было ожидать, судя по его убеждениям и поступкам. Он замедлил свой важный и торжественный шаг, остановился и посмотрел кругом.

Недалеко от ворот он увидел две-три старинные башенки,

поднимавшиеся над деревьями; каждая была увенчана сверкающим в лучах осеннего солнца ажурным флюгером. Это были башни охотничьей усадьбы — или замка, как ее называли. В замок еще со времен Генриха II приезжали английские короли, когда им было угодно посетить оксфордские леса, где водилось столько дичи, что, по свидетельству старика Фуллера, охотники и сокольничие нигде не могли так потешиться. Замок стоял на равнине, поросшей кленами, недалеко от того чудесного места, где посетитель останавливается, чтобы полюбоваться на Бленхейм, вспомнить о победах Марлборо и

выразить восторг или одобрение громоздкой пышности постройки в стиле Ванбру.

Наш военный проповедник тоже остановился там, но вовсе не затем, чтобы полюбоваться окружающим видом. Вскоре он увидел двух людей, мужчину и женщину, которые медленно приближались к нему и так были заняты разговором, что не подняли глаз и не заметили незнакомца, стоявшего на дорожке перед ними. Солдат воспользовался их рассеянностью и, желая последить за ними, но при этом остаться незамеченным, скользнул под одно из огромных деревьев, окаймлявших дорогу; его ветви со

всех сторон спускались до самой земли и создавали надежное укрытие, в котором человека можно было найти только при усиленных поисках.

Между тем мужчина и дама продолжали свой путь, направляясь к освещенной последними солнечными лучами грубой скамье, расположенной рядом с деревом, под которым спрятался незнакомец.

Мужчина был пожилой, но состарился он, казалось, не под тяжестью лет, а больше от горя и болезней. На нем был траурный плащ поверх платья такого же мрачного цвета и того живописного покроя, который обессмертил Ван-Дейк. Но

хотя платье его было богатое, он носил его с небрежностью, выдававшей его душевное смятение. Его старое, но все еще красивое лицо отражало ту же степенность, что одежда и походка. В его внешности больше всего запоминалась длинная седая борода, которая ниспадала на камзол с разрезами и ярко выделялась на фоне темной одежды.

Молодая особа, слегка поддерживавшая почтенного джентльмена под руку, была стройна и легка, как сильфида; она была так прекрасна, что даже земля, по которой ступало это воздушное создание, Казалась слишком массивным подножием для нее.

Но земной красоте присущи земные печали. На глазах красавицы были видны следы слез, лицо пылало, когда она слушала своего спутника, а по печальному и недовольному взгляду старика было видно, что разговор столь же неприятен и для него. Когда они уселись на скамью под деревом, до солдата стали отчетливо доноситься слова старика, однако ответы молодой особы расслышать было труднее.

— Это нестерпимо! — горячо говорил старик. — Тут и несчастный паралитик ринется в бой. Конечно, ты права, сторонников у меня поубавилось, кое-кто меня бросил;

нечего их, бедняг, упрекать за это в наши дни. Зачем они станут служить мне, если в кладовых у меня нет хлеба, а в подвалах — пива?

Но у нас осталось еще несколько верных егерей старой вудстокской закалки — большинство из них в годах, как и я, ну и что с того? Старое дерево с годами твердеет. Я отстою древний замок, это мне не впервой! Отстоял же я его против силы, раз в десять больше нынешней.

— Увы, дорогой отец! — сказала девушка, и тон ее ясно показывал, что она считает оборону безнадежной, — О чем это ты жалеешь? — сердито возразил старик. — Не о том ли, что я не

пустил на порог десятка два этих кровожадных лицемеров?

— Но ведь стоит их предводителям захотеть, они легко могут послать против нас целый полк или армию, — ответила девушка, — и какой толк от вашего сопротивления? Они придут в ярость и всех нас уничтожат!

— Ну и пусть, Алиса, — не уступал отец, — я свое прожил и даже лишку прихватил. Я пережил добрейшего и благороднейшего государя. Что мне остается делать на земле после страшного дня тридцатого января? Убийство монарха, совершенное в тот день, было сигналом всем

вернопопданным Карла Стюарта
отомстить за его смерть или
достойно умереть, когда потребуется.

— Не говорите так, сэр! —
возразила Алиса Ли. — Не к лицу
человеку с вашим умом и заслугами
не дорожить жизнью, которая еще
может быть полезна вашему королю
и родине. Не всегда же положение
будет таким, не может этого быть!
Англия не станет долго терпеть
правителей, которых ей навязали в
эти тяжкие дни. А пока... (Тут
солдат не расслышал несколько
слов)... и постарайтесь не
раздражаться, от этого только хуже
будет.

— Хуже! — запальчиво

воскликнул старик. — Что же может быть хуже? Разве эти люди не прогонят нас из нашего последнего убежища, не разрушат остатки королевских владений, вверенных моему попечению? Разве не превратят они королевский дворец в воровской притон, а затем умоют руки и вознесут молитву господу, как будто совершили благое дело?

— Все же, — сказала дочь, — есть еще надежда, и я верю, что король уже вне опасности. Можно надеяться, что брат Альберт тоже спасся.

— Альберт! Опять о том же! — воскликнул старик с упреком в голосе. — Если бы не твои мольбы, я

бы сам поехал в Вустер, а теперь вот отсиживаюсь здесь, как никчемная борзая в разгар охоты, а кто акает, может, и я бы там пригодился! Голова старика еще способна послужить, когда рука уже ослабла. Но вы с Альбертом хотели, чтобы он ехал один! А теперь кто знает, что, с ним случилось!

— Помилуйте, отец! Ведь есть надежда, что Альберт спасся в тот роковой день; молодой Эбни видел его за милю от поля битвы.

— Сдается мне, что молодой Эбни солгал, — так же запальчиво ответил старик, — язык у молодого Эбни проворнее, чем руки, но куда медленней, чем ноги его коня, когда

Эбни удирает от круглоголовых.

Лучше бы уж Альберту пасть мертвым между Карлом и Кромвелем, чем нам услышать, что он сбежал так же проворно, как молодой Эбни.

— Дорогой отец! — вскричала девушка со слезами. — Как мне вас утешить?

— Утешить, говоришь? С меня довольно утешений. Славная смерть и развалины Вудстока вместо надгробной плиты — вот единственное утешение для старого Генри Ли. Клянусь памятью моих предков!.

Я отстою замок и не пущу этих бунтовщиков и разбойников!

— Но будьте же благоразумны, дорогой отец, — сказала девушка, — и смиритесь с неотвратимым, Дядя Эверард...

Тут старик прервал ее на полуслове:

— Твой дядя Эверард, барышня? Ну что ж, продолжай! Что там с твоим драгоценным и возлюбленным дядей Эверардом?

— Ничего, сэр, — ответила она, — если этот разговор вам неприятен.

— Неприятен! — воскликнул старик. — Почему, собственно говоря, он может быть мне неприятен?

А если даже и так, то какое кому

до этого дело?

Что приятного случилось с нами за последние годы?

И какой астролог может предсказать нам приятное в будущем?

— Судьба, — возразила она, — быть может, готовит нам радостное возвращение нашего изгнанного государя.

— Поздно для меня, Алиса, — сказал баронет. — Если и есть такая светлая страница в небесной книге, мой смертный час наступит задолго до того, как она будет перевернута. Но, я вижу, ты хочешь уклониться от ответа. Говори же, что там с твоим дядей Эверардом?

— Нет, сэр, — ответила Алиса, — видит бог, уж лучше я умолкну навеки, чем заговорю о том, что может еще больше усилить вашу несдержанность.

— Несдержанность! — воскликнул отец. — Ну, ты ведь сладкоречивый врачеватель и, ручаюсь, не прольешь ничего, кроме бальзама, меда и елея на мою несдержанность, если так называются страдания старика с разбитым сердцем. Так что же с твоим дядей Эверардом?

Последние слова он произнес резким и сварливым тоном, а Алиса ответила ему робко и почтительно:

— Я только хотела сказать, сэр, я

совершенно уверена, что дядя Эверард, когда мы уйдем отсюда...

— То есть, когда нас вышвырнут отсюда такие же стриженные лицемерные негодяи, как он сам? Ну, так рассказывай про твоего великодушного дядюшку, что же он сделает? Не отдаст ли нам этот солидный и расчетливый хозяин обеды со своего стола? Кусочки трижды обглоданного каплуна два раза в неделю и пост до отвала в пять остальных дней? Может быть, он позволит нам ночевать в конюшне возле своих полудохлых кляч, может быть — отнимет у них пучок соломы, чтобы муж его сестры (вот как мне .Пришлось назвать моего почившего

ангела) и дочь его сестры не спали на голых камнях? Или пришлет каждому из нас по ноблю и предупредит, что посылает в последний раз? Ведь он-то знает, как сейчас достается каждое пенни! Что еще сделает для нас твой дядя Эверард? Выхлопочет нам разрешение по миру ходить? Ну, этого я и без него смогу добиться!

— Вы к нему очень несправедливы, — возразила Алиса с жаром. — А спросите-ка свое собственное сердце, и вы признаете, не в обиду вам будет сказано, что язык ваш произносит то, что опровергают ваши лучшие чувства. Дядя Эверард не скряга и не лицемер! Он совсем не так уж

привязан к земным благам, он, конечно, не скупясь, поможет нам в беде.

И не такой уж он фанатик, он может быть милосердным и к людям другой секты!

— Да уж, не сомневаюсь в том, что англиканская церковь только секта для него, а может быть, и для тебя, Алиса, — сказал баронет. — Кто такие магглтонианцы, рантеры, браунисты, если не сектанты вместе с самим Джеком Пресвитером, а ты ставишь их в один ряд с нашими учеными прелатами и пастырями.

Таков уж дух времени; почему же и тебе не рассуждать как эти мудрые девственницы и сестры-

псаломщицы. Правда, ты ведь дочь нечестивого роялиста, но зато и родная племянница набожного дядюшки Эверарда.

— Если вы так считаете, отец, — ответила Алиса, — что я могу вам возразить? Дайте мне сказать хоть несколько слов, чтобы я передала вам поручение дяди Эверарда.

— А, так, значит, это поручение! Ну конечно! Я так и думал! Да и посланца я, кажется, тоже отгадал.

Что ж, госпожа посредница, выполняйте вашу миссию, у вас не будет повода жаловаться на мое нетерпение.

— Так вот, сэр, — ответила

дочь, — дядя Эверард просит вас быть повежливее с комиссарами, которые придут конфисковать замок и заповедник, или хоть постарайтесь не чинить им препятствий и не оказывайте сопротивления: это, говорит он, к добру не приведет, даже в вашем понимании, а только даст повод преследовать вас, как одного из самых заядлых изменников. Он же считает, что этого можно избежать.

И искренне надеется, что, если вы последуете его совету, комиссия благодаря его связям может склониться к тому, чтобы заменить конфискацию Вудетока умеренным штрафом. Вот что говорит дядя, я

сообщила вам его совет, а сама не буду испытывать ваше терпение новыми доводами.

— И хорошо сделаешь, Алиса, — ответил сэр Генри Ли, едва сдерживая гнев, — клянусь святым распятием, ты чуть не заставила меня согрешить — я уже стал думать, что ты не дочь мне. О, моя обожаемая спутница жизни, далекая сейчас от всех горестей и забот этого постылого мира, могла ли ты представить себе, что та дочь, которую ты прижимала к груди своей, будет искусительницей отца своего и, как грешная жена Иова, посоветует ему в трудный час принести совесть в жертву выгоде и

просить, как милостыню из рук, обогранных кровью его государя, а может быть, и убийц его сына, жалкие остатки королевских владений, которые у него отняли! Что ж, барышня, если уж мне суждено просить милостыню, ты думаешь, я буду молить тех, кто обрек меня на нищету? Нет! Никогда я не выставлю напоказ свою седую бороду, отпущенную в знак скорби о кончине моего государя, для того чтобы тронуть какого-то самодовольного конфискатора, который, может быть, сам был в числе убийц. Нет! Уж если Генри Ли и придется искать кусок хлеба, он попросит его у такого же верного

сторонника короля, как он сам, и даже если у того останется только полкаравая, он не откажется поделиться с ним. А дочь пусть идет своим путем — он приведет ее под кровлю богатых круглоголовых родичей, но пусть тогда она больше не зовет отцом того, чью честную бедность она отказалась разделить!

— Вы несправедливы ко мне, сэр, — возразила девушка голосом, дрожащим от волнения, — жестоко несправедливы. Видит бог, ваш путь — это мой путь, пусть он даже ведет к разорению и нищете; и пока вы идете по этому пути, рука моя будет поддерживать вас, если вы согласитесь принять такую слабую

ПОМОЩЬ.

— Это только слова, девочка, — ответил старый баронет, — только слова, как говорит Уил Шекспир.

Ты твердишь, что рука твоя поддержит меня, а сама втайне желаешь повиснуть на руке Маркема Эверарда.

— О, отец мой! — горестно воскликнула Алиса. — Что случилось с вашим ясным умом и добрым сердцем!

Будь они прокляты, эти гражданские войны, они не только уносят человеческие жизни, но разлагают душу человека — храбрые, благородные, великодушные становятся подозрительными,

жестокими, низкими. Зачем укорять меня Маркемом Эверардом? Разве я виделась или говорила с ним с тех пор, как вы запретили ему встречаться со мной, запретили слишком резко, откровенно вам скажу, даже при тех отношениях, которые сложились между вами? Неужели вы думаете, что ради этого молодого человека я пожертвую своим долгом перед вами? Знайте, если бы я была способна на такую преступную слабость, Маркем Эверард первый стал бы меня презирать.

Она прижала к глазам платок, но, как ни старалась удержаться, зарыдала от отчаяния. Это тронуло

старика.

— Не знаю, что и подумать, — сказал он, — ты как будто говоришь искренне, ты всегда была хорошая и добрая дочь. Не понимаю, как ты позволила этому молодому бунтовщику прокрасться в твое сердце. Может быть, это случилось в наказание мне — ведь я считал честь своего дома кристально чистой? И вот позорное пятно, и на самой драгоценной жемчужине — на моей дорогой Алисе. Ну, не плачь, у нас без того довольно огорчений! Где это Шекспир сказал:

...Дочь моя,

Зачем отягощать мой скорбный

жребий?

Прошу тебя, будь мягче и добрей,

Чем этот век, сразивший Гарри Перси.

— Как я рада слышать, сэр, — ответила девушка, — что вы опять прибегаете к помощи вашего любимца! Наши маленькие размолвки почти всегда приходят к концу, когда Шекспир выступает на сцену.

— Книга его была верной спутницей моего благословенного монарха, — заметил сэр Генри Ли, — после библии (да простится мне, что я упоминаю обе эти книги

вместе); он находил в Шекспире больше утешения, чем где бы то ни было, а раз я болею той же болезнью, то и лекарство мне нужно такое же.

Я, правда, не обладаю искусством моего государя толковать темные места, я человек неотесанный, меня в деревне учили только владеть оружием и охотиться.

— А вы сами видели когда-нибудь Шекспира, сэр? — спросила девушка.

— Глупая девочка, — ответил баронет, — он умер, когда я был еще совсем ребенком, — ты же двадцать раз слышала это от меня! Но ты хочешь увести старика подальше от щекотливой темы. Ну, хоть я и не

слепой, но могу закрыть глаза и идти за тобой. Бена Джонсона я знавал, могу рассказать тебе кое-что про наши встречи в «Русалке» — там было много вина, но много и ума. Мы не дымили табаком в лицо друг другу, не хлопали глазами, когда хлопали пробки бутылок. Старик Бен признал меня одним из своих сыновей в поэзии. Я ведь показывал тебе стихи «Моему горячо любимому сыну, почтенному сэру Генри Ли из Дитчли, рыцарю и баронету»?

— Что-то не припомню, сэр, — сказала Алиса.

— Сочиняешь ведь, обманщица! — с упреком промолвил отец. — Но больше тебе незачем

меня дурачить. Злой дух пока отступил от Саула. Сейчас нам надо подумать, что делать с Вудстоком — покинуть его или оборонять?

— Отец! — воскликнула Алиса. — Разве можете вы питать хоть малейшую надежду отстоять Вудсток?

— Не знаю, девочка, — ответил сэр Генри, — одно только верно: на прощание я бы с радостью скрестил с ними оружие. И кто знает, на кого снизойдет благословение божье? Вот только что будет с моими беднягами слугами, если они примут участие в такой безнадежной схватке? Сознаюсь, эта мысль меня удерживает.

— И справедливо, сэр, — сказала в ответ Алиса, — ведь в городе солдаты, а в Оксфорде их целых три полка.

— Ох, несчастный Оксфорд! — воскликнул сэр Генри. Его душевное равновесие было нарушено, и потому его разбросанные мысли можно было одним словом повернуть в любую сторону. — Город ученых и верноподданных! Грубые солдаты — неподходящие обитатели для твоих храмов науки и поэтических беседок но твой чистый и яркий свет не погаснет от смрадного дыхания тысячи неотесанных дураков, пусть они даже дуют на него, как Борей. Неопалимая купина не будет

истреблена в огне нынешнего гонения.

— Правда, сэр, — согласилась Алиса, — и бесполезно будет вспомнить, что всякое волнение среди верноподданных в такое неблагоприятное время побудит их еще больше навредить университету, — ведь он считается рассадником всего, что поддерживает короля в наших местах.

— Правильно, девочка, — ответил баронет, — негодяям достаточно будет малейшего повода, чтобы конфисковать те жалкие остатки, которые не уничтожила в колледжах междоусобная война. Это, да еще беспокойство за судьбу моих

бедных воинов... Словом, ты меня обезоружила, девушка! Я буду терпелив и спокоен, как великомученик.

— Дай бог, чтобы вы сдержали слово, сэр! — воскликнула дочь. — Но вы всегда так горячитесь при виде этих людей, что...

— Ты что, меня за ребенка принимаешь, Алиса? — рассердился сэр Генри. — Ты же знаешь, я могу смотреть на гадюку, на жабу или на клубок плодящихся ужей, не чувствуя особого отвращения; и хотя круглоголовый, да еще в красном мундире, по моему мнению, ядовитее гадюки, противнее жабы, отвратительнее клубка ужей, но

появись сейчас хоть один из них, ты увидишь, как вежливо я его приму.

Не успел он произнести последние слова, как воин-проповедник вышел из своей зеленой засады и, шагнув вперед, неожиданно появился перед старым рыцарем, который уставился на него так, как будто слова его вызвали дьявола из преисподней.

— Кто ты такой? — громким и сердитым голосом спросил сэр Генри; в эту минуту дочь в ужасе схватила его за руку — она не полагалась на то, что отец останется верным своим миролюбивым решениям при виде непрошеного гостя.

— Я один из тех, — ответил солдат, — кто не боится и не стыдится назвать себя поденщиком в великих трудах Англии, уф.., да, я простой и честный поборник правого дела.

— А какого дьявола ты ищешь здесь? — свирепо спросил старый баронет.

— Жду любезного приема, какой полагается посланцу парламентских комиссаров, — ответил солдат.

— Нужен ты тут, как бельмо на глазу! — воскликнул рыцарь. — А кто эти твои комиссары, любезный?

Солдат не очень учтиво протянул ему свиток, который сэр

Генри взял двумя пальцами, точно это было письмо из зачумленного дома, — он отодвинул его от глаз так далеко, что едва мог разобрать написанное, и начал читать вслух. Он называл по очереди имена комиссаров и давал каждому краткую характеристику, обращаясь к Алисе, но таким тоном, который показывал, что ему безразлично, слышит его солдат или нет:

— Десборо — деревенщина Десборо, самый льстивый шут в Англии, человек, которому лучше бы сидеть дома, как древнему скифу, под тенью своей повозки, будь он проклят... Гаррисон — кровожадный, лицемерный фанатик,

так начитался библии, что всякое убийство может оправдать священным писанием, будь проклят и он... Блетсон — ревностный республиканец, участник гаррисоновских мошеннических дел, башка набита новомодными идеями об управлении государством, цель его — приставить хвост к голове; умник, отменяет законы старой Англии для того, чтобы болтать о Риме и о Греции, видит ареопаг в Уэстминстер-холле, а старину Нола принимает за римского консула... Погодите, он еще станет у них диктатором! И поделом им! Блетсона тоже к черту.

— Вот что, приятель, — сказал

солдат. — Я охотно обошелся бы с вами вежливо, но мне не подобает слушать, как о достойных людях, у которых я под началом, говорят в таком непочтительном и неподобающем тоне. И хоть, я знаю, вы, мятежники, считаете что имеете право на такие проклятия — вы без этого жить не можете, — все-таки не к чему посылать их тем, у кого побуждения чище и речи приличнее.

— Ты лицемерный мошенник! — вскричал баронет. — Хотя, впрочем, ты отчасти и прав — не к чему проклинать тех, кто и так черен, как дым в преисподней.

— Прошу тебя, воздержись, — продолжал солдат — ради приличия,

если уж ты такой бессовестный... Сквернословие не идет седой бороде.

— Это сущая правда, даже если сказал ее сам дьявол, — согласился баронет. — Я, слава богу, могу последовать доброму совету, хотя бы он исходил от самого сатаны. Итак, любезный, возвращайся к своим комиссарам и передай им, что сэр Генри Ли, хранитель вудстокских угодий, имеет здесь право пользоваться всем — землями и живностью. Права мой так же неограниченны, как и их права на собственное добро, конечно, если у них есть что-нибудь, кроме того, что они награбили у честных людей. Но, несмотря на это, он уступит место

тем, кто опирается на право сильного, и не подвергнет опасности жизнь честных и преданных людей, когда перевес явно не на их стороне. Он заявляет, что уступает не потому, что признает этих так называемых комиссаров или сам лично боится их; он хочет избежать пролития английской крови — ее и так много пролито за последнее время.

— Здорово сказано, — заметил посланец комиссаров, — а потому прошу, пойдем в дом, там ты официально передашь мне утварь, золотые и серебряные украшения египетского фараона, который оставил их тебе на хранение.

— Какую утварь? — воскликнул

в запальчивости старый баронет. —
Чью утварь! Некрещеный пес!
Говори почтительно в моем
присутствии о великомученике,
иначе я надругаюсь над твоим
презренным трупом! — И, оттолкнув
дочь правой рукой, старик схватился
за рукоять шпаги, Его противник,
наоборот, сохранил полное
хладнокровие и, махнув рукой для
большей выразительности,
продолжал спокойно, отчего гнев
сэра Генри еще усилился:

— Ну, любезный друг, прошу
тебя, утихомирься и не скандаль. Не
к лицу седым волосам и слабым
рукам горячиться и буйствовать,
словно ты пьянчуга какой-нибудь. Не

заставляй меня защищаться оружием, послушайся голоса разума. Разве ты не видишь, что господь решил великий спор в пользу нас и наших сторонников, а не тебя и твоих? Поэтому со смирением сложи свои обязанности и передай мне движимое имущество твоего господина, Карла Стюарта.

— Терпение — послушная лошадь, но и она может понести! — вскричал баронет, дав волю гневу.

Он выхватил шпагу, висевшую у пояса, нанес солдату сильный удар, быстро отвел ее и, забросив ножны на дерево, встал в позицию, держа острие своей шпаги на расстоянии полуярда от посланца.

Тот быстро отскочил назад, сбросил с плеч длинный плащ и, обнажив свой огромный палаш, тоже встал в позицию. Клинки со звоном скрестились, а Алиса в ужасе стала звать на помощь. Но бой был недолог.

Старый рыцарь напал на такого же искусного фехтовальщика, каким был сам; кроме того, у солдата были сила и подвижность, уже утраченные стариком, да еще и хладнокровие, которого сэръ Генри совершенно лишился в своем гневе. Не успели они обменяться тремя ударами, как шпага баронета взвилась в воздух, словно отправилась на поиски ножен, а багровый от стыда и гнева

сэр Генри остался безоружным во власти своего противника. Республиканец не обнаружил желания воспользоваться своим торжеством, его угрюмое и мрачное лицо не изменилось ни во время боя, ни после победы, как будто борьба не на жизнь, а на смерть была для него такой же безопасной игрой, как простое фехтование на рапирах.

— Теперь ты у меня в руках, — сказал он, — и по праву победителя я мог бы загнать тебе шпагу под пятое ребро, как Абнер, сын Ниры, поразил насмерть Асаила, когда тот гнался за ним на холме Амма, что против Гияха, на пути к пустыне Гаваонской, но я не собираюсь проливать твою

старческую кровь. Ты, конечно, находишься во власти моей шпаги и моего копья, но зачем же бедный грешник и поистине такой же червь, как ты, станет укорачивать твой век, когда ты можешь с пути заблуждений вернуться на пучь истинный, если господь продлит дни твои для раскаяния и исправления.

Сэр Генри Ли все еще стоял в замешательстве, не зная, что ответить, когда появилось четвертое лицо, привлеченное к месту происшествия криками Алисы. Это был Джослайн Джолиф, один из младших егерей заповедника. Увидев, что происходит, он поднял свою дубинку, с которой никогда не

расставался, описал в воздухе восьмерку и обрушил бы дубинку на голову республиканца, если бы сэр Генри не остановил его:

— Нам приходится теперь опустить дубины, Джослайн — прошло наше время. Нужно уметь плыть по течению; ведь сейчас дьявол всем заправляет, он превращает рабов наших в наших наставников.

Тут из густых зарослей на помощь баронету подоспел еще один союзник. Это был крупный волкодав, по силе — мастиф, по виду и по проворству — борзая. Бевис был самым благородным из всех животных, которые когда-либо

загоняли оленя: рыжий, как лев, с черной мордой и черными лапами, окаймленными снизу белой полоской. Это был послушный, но сильный и смелый пес. Как раз когда он собирался броситься на солдата, команда сэра Генри:

«Спокойно, Бевис!» — превратила льва в ягненка, и он не сбил солдата с ног, а стал ходить вокруг него, обнюхивать его так, точно пускал в ход всю свою сообразительность, чтобы понять, кто этот незнакомец, которого ему приказывают щадить, несмотря на его сомнительную внешность. Видимо, он остался доволен: взъерошенная шерсть улеглась, он

перестал рычать, выражая недоверие, опустил уши и завилял хвостом.

Сэр Генри был очень высокого мнения о проницательности своего любимца.

— Бевис согласен с тобой, — шепотом сказал он Алисе, — он советует покориться. В этом я вижу перст господа, паказующего гордыню — главный порок нашего дома. Приятель, — громко продолжал он, обращаясь к солдату, — ты завершил курс науки, который я не мог усвоить за десять лет непрерывных бедствий. Ты отменно доказал, как неразумно думать, что правое дело может вдохнуть силу в слабую руку.

Прости меня, боже, но я мог бы

стать богохульником и подумать, что благословение неба всегда на стороне того, у кого шпага длиннее. Но не всегда так будет. Все в руках божьих! Подай мне клинок, Джослайн, он лежит вон там; и ножны тоже — вон они висят на дереве. Полно тянуть меня за плащ, Алиса, что за испуганный вид у тебя! Я не стану безрассудно пускать в ход сверкающую сталь, не беспокойся! Ну, а тебя, приятель, благодарю и уступаю дорогу твоим начальникам без дальнейших споров и церемоний.

Джослайн Джолиф ближе тебе по положению, чем я, он передаст тебе охотничий замок и все, что в нем есть. Не прячь ничего, Джолиф,

пусть берут все. А я никогда больше не переступлю порога этого дома...

Вот только где нам переночевать? Не хотел бы я никого беспокоить в Вудстоке. Да.., да.., пусть так и будет! Джослайн, мы с Алисой пойдем в твою хижину у источника Розамунды и укроемся под твоей крышей хотя бы на эту ночь, ты ведь приютишь нас?..

Что это? Хмуришь лоб?

Джослайн действительно выглядел смущенным, он взглянул сначала на Алису, потом поднял глаза к небу, затем опустил взгляд на землю, оглянулся вокруг и наконец пробормотал:

— Конечно... Как же иначе...

Вот только я побегу посмотрю, все ли там в порядке.

— Хватит там порядка.., хватит порядка... Пожалуй, скоро мы будем рады свежей соломе в сарае, — заметил баронет, — но если ты боишься приютить людей подозрительных и злонамеренных, как теперь говорят, не стыдись и скажи прямо, приятель. Правда, я помог тебе, когда ты был всего только Робинотом-оборванцем [note 7](#), произвел тебя в егери, да и еще кое в чем помог. Но что из того? Моряки вспоминают о ветре тогда, когда он нужен им в плавании, люди повыше тебя и то поплыли по течению, так почему такому бедняге, как ты, не

последовать их примеру?

— Бог простит вашу милость за такие суровые слова, — ответил Джолиф. — Хижина — ваша, какова есть, будь она хоть королевским дворцом. Уж как бы мне хотелось, чтобы она стала дворцом как раз для вашей милости и мисс Алисы.. Только я.., только не разрешит ли мне ваша милость пойти вперед.., а вдруг там кто-нибудь из соседей.., или.., или.., ну, просто приготовить все для мисс Алисы и для вашей милости.., ну, просто привести все в порядок.

— Совсем это ни к чему, — возразил баронет, в то время как Алиса едва сдерживала волнение, — коли жилище твое в беспорядке, оно

еще лучше подойдет побежденному рыцарю: чем оно непригляднее, тем более похоже на весь мир, — в нем теперь нет никакого порядка. Проводи этого человека. Как тебя зовут, любезный?

— Джозеф Томкинс мое имя от рождения, — отвечал секретарь, — а люди зовут меня Честный Джо или Верный Томкинс.

— Если ты заслужил такие имена при твоих занятиях, ты настоящее сокровище, — сказал баронет, — а коли нет, не красней, Джозеф, если ты и не честен: тем скорее ты прослывешь честным. В наше время одно дело быть, а другое — слыть. Прощай, любезный, и

прости, славный Вудсток!

С этими словами старый баронет повернулся и, предложив руку дочери, удалился в чащу, точно так, как впервые предстал перед читателем.

Глава III

*О рыцари харчевен
придорожных!*

*Чтоб мир узнал об
этих днях тревожных,*

*О непокорных кланах, о
боях, О том, что вам был
неизвестен страх,*

*О дерзких нападеньях,
об отваге,*

*О стычках, где
сверкали ваши шпаги,*

*Кто б ни стоял за
вами — бог иль черт,*

Я расскажу о вас.

*капитане
Джонсе»*

Некоторое время Джозеф Томкинс и егерь Джолиф постояли молча, глядя на тропинку, где скрылись за деревьями баронет из Дитчли и прелестная мисс Алиса. Потом они в недоумении посмотрели друг на друга, как смотрят люди, когда не знают, друзья они или враги и с чего начать разговор. Они слышали, как баронет свистнул Бевису, но умный пес, хоть и повернул голову, наострив уши, когда раздался знакомый клич, не повиновался ему, а продолжал обнюхивать плащ Джозефа Томкинса.

— Ты, должно быть, человек особенный, — начал егерь, поглядывая на нового знакомого. — Слышал я, что есть люди, которые умеют ворожбой уводить собак и оленей.

— Ты лучше поменьше рассуждай о моих умениях, приятель, — ответил Джозеф Томкинс, — а подумай, как выполнить приказание своего господина.

Джослайн ответил не сразу, но затем, как бы в знак перемирия, воткнул конец своей дубинки в землю, оперся на нее и сказал сумрачно:

— Так мой строптивый старый

рыцарь и вы, господин проповедник, вместо вечерни обнажили клинки друг против друга? Счастье твое, что я не подоспел, когда звенели ваши шпаги. Я бы отзвонил отходную над твоей башкой.

Индепендент угрюмо
усмехнулся:

— Ничего, друг, тебе повезло! Пономарю тоже здорово заплатили бы за похоронный звон. Но к чему нам враждовать, к чему мне поднимать на тебя пуку? Ты просто бедный слуга своего господина, и мне не хочется проливать в этом деле ни твою кровь, ни свою собственную. Ты, значит, должен мирно передать мне во владения

Вудстокский дворец, как вы его называете... Правда, в Англии теперь нет дворцов, да и не будет больше до тех пор, пока мы не войдем во дворец Нового Иерусалима и на земле не наступит царствие святых.

— Начал ты здорово, друг Томкинс, — сказал егерь, — если так дальше пойдет, вы все того и гляди станете царями. Не знаю, как там с вашим Иерусалимом, а Вудсток для начала недурной кусочек. Ну что ж, угодно пограбить?.. Угодно?.. Хотите забрать все полностью? Ты ведь слышал, что мне приказано?

— Гм, не знаю, как и быть, — сказал Томкинс, — только бы не попасть в засаду, я ведь здесь один.

Там-то по приказу парламента
еще служат благодарственный
молебен в честь армии... А вдруг
старик и барышня захотят кое-что
взять из одежды и собственных
вещей? Не стану им мешать, пусть
берут! Поэтому, если ты хочешь
произвести передачу имущества
завтра утром, надо, чтобы при этом
были мои единомышленники и мэр-
пресвитерианин, чтобы все
происходило при свидетелях, а если
мы будем одни и ты будешь сдавать, а
я — принимать, это Велиалово
отродье может сказать: «Ну вот,
верный Томкинс стал эдомитянином,
честный Джо, как измаилит, встает
пораньше и делит добычу со слугами

короля... ну да, с теми, кто носит бороды и зеленые куртки в память о короле и его сановниках».

Слушая все это, Джослайн уставился на солдата своими зоркими темными глазами, точно хотел понять, добрые ли у него намерения. Затем он стал всей пятерней почесывать свою косматую голову, как будто это помогало ему прийти к определенному заключению.

— Все это очень хорошо, брат, — сказал он, — но скажу тебе откровенно, в том доме остались серебряные кубки, блюда, графины и другие вещи с тех времен, когда мы отправляли серебряную утварь на

переплавку, чтобы снарядить отряд всадников нашего баронета. Так если ты все это не примешь, мне несдобровать — люди ведь могут подумать, что я там кое-что прикарманил. А я самый честный парень...

— Который когда-либо воровал оленину, — перебил его Томкинс. — Ну-ну, виноват, перебил тебя.

— Да будет тебе! — закричал егерь. — Если в кои веки мне и попался на пути олень и я его подстрелил, так не оттого, что я на руку нечист, а просто чтобы у старухи Джоун сковородка не заржавела; а что до серебряных мисок, кружек и прочего, уж я скорее

выпью расплавленного серебра, чем стащу что-нибудь из этой утвари. Вот я и не хочу, чтобы меня обвиняли или подозревали в, краже. Если желаешь принять сейчас — будь по-твоему! А если нет — считай, что я чист.

— Вот как? — сказал Томкинс. — А кто будет считать, что я чист, если им покажется, что кое-чего поубавилось? Конечно, уж не достопочтенные комиссары: они смотрят на замок как на свою собственность. Правильно ты говоришь, тут нужна осторожность.

Надо быть простофилей, чтобы запереть дверь и уйти.

А что, если мы оба переночуем там? Ни один из нас не сможет

ничего тронуть без другого.

— Ну, что до меня, — ответил егерь, — то мне надо бы пойти домой, устроить поудобнее старика баронета и мисс Алису: старуха Джоун маленько в уме повредилась и вряд ли без меня справится. Но мне-то, по правде говоря, не очень хочется сейчас видеть сэра Генри — он и так не в духе после сегодняшних передраг, а в хижине может кое с кем встретиться, и это вряд ли охладит его гнев.

— Вот жалость, — заметил Томкинс, — из себя такой почтенный и видный человек, а туда же — к зловредным роялистам! Да еще без брани ни шагу, как вся эта змеиная

порода.

— Да уж, надо сказать, у старого баронета нрав крутой, ругань у него с языка не сходит, — усмехнулся егерь. — А что поделаешь? Привычка — никуда не денешься! Вот если бы ты сейчас вдруг увидел майский шест; вокруг шеста пляшут веселые ряженные под звонкие дудки и барабаны, колокольчики звенят, ленты развеваются. Парни скачут и хохочут, девушки подпрыгивают так, что видны пунцовые подвязки на голубых чулках. Думаю, что и ты, друг, поневоле стал бы пообщительнее, забыл бы степенность, отбросил бы свою высокую шляпу в одну сторону,

ненасытный палаш — в другую и начал бы прыгать, как дурни из Хогс-Нортон, когда свиньи играют на органе.

— Индепендент свирепо обернулся к егерю:

— Послушай ты, зеленая куртка, вот как ты говоришь с человеком, чья рука ведет сейчас плуг? Надень лучше узду на язык, а то несдобровать твоим ребрам.

— Слушай, брат, ты мне не угрожай, — ответил Джослайн, — я ведь тебе не старый баронет, мне не шестьдесят пять лет, по силе и ловкости я тебе не уступлю, а может, я еще и покрепче, а что помоложе, то наверняка. И что это ты так взъелся

на майский шест? Вот знал бы ты здешнего парня, Филя Хейзелдина, он был первый плясун от Оксфорда до Берфорда!

— Тем хуже для него, — отвечал индипендент, — надеюсь, он понял свои заблуждения: ему, как парню бравому, это нетрудно было, и выбрал он теперь себе компанию получше, чем лесные бродяги, браконьеры, девы Марион, головорезы, пьяницы-дебоширы, кровожадные скандалисты, скоморохи, комедианты, развратные мужики и продажные бабы, шуты, музыканты, сластолюбцы разных мастей.

— Вот кстати у тебя дух

перехватило, — заметил егерь, — перед нами как раз знаменитый вудстокский майский шест.

Они остановились на живописной лужайке, вокруг которой росли огромные дубы и клены; один дуб, настоящий патриарх лесов, стоял в стороне от других, как будто не терпел соседства соперников. Он был искривлен, с поломанными ветвями, но богатырский ствол все еще говорил о том, каких гигантских размеров может достичь лесной властелин в чащах веселой Англии.

— Это Королевский дуб, — объяснил Джослайн. — Вудстокские старожилы, и те не знают, сколько ему лет; говорят, что Генрих часто

сизивал под ним с прекрасной Розамундой и смотрел, как девушки пляшут, а парни за кушаки и шапки состязаются в беге и борьбе.

— Что ж тут удивительного, приятель? — ответил Томкинс. — Тиран и потаскуха — самые лучшие покровители таких суетных затей.

— Говори что хочешь, друг, — продолжал егерь, — а мне дай свое рассказывать. Вон в середине луга стоит майский шест, на полвыстрела от Королевского дуба. Бывало, каждый год король давал десять шиллингов из вудстокских налогов на новый шест, да еще и подходящее дерево из своего леса. Теперь наш шест покривился, высох и подгнил,

как зачахшая ветка шиповника. Луг тоже всегда косили и подравнивали, он был похож на бархатный плащ, а нынче — за ним никто не следит, он зарос сорняком.

— Ладно, друг Джослайн, — сказал индипендент, — какой из всего этого можно извлечь урок? Какая польза для веры от дудки да барабана? И что поучительного в волынке?

— Спроси тех, кто поученее, — ответил Джослайн, — а я думаю, не могут люди всегда шагать степенно и со шляпой, надвинутой на глаза. Молодая девушка рассмеется — точно нежный цветок расцветет, парень ее за это еще больше

полюбит; ведь когда наступает веселая весна, птенцы щебечут, а оленята резвятся. Нынешняя пора ничего не стоит против доброго старого времени. Вот ты, господин Длинная Шпага, осуждаешь праздники, а я видывал, как на зеленой лужайке плясали веселые девушки да лихие парни. Сам почтенный пастор, и тот не считал за грех прийти посмотреть наши игры, а мы, как увидим его святую рясу и шарф, ну и стараемся соблюдать себя.

Случалось, мы позволим себе и соленую шутку, приложимся лишний раз к чарке ради доброй компании, но это ведь на радостях и за доброго соседа! А если и доходило дело до

дубинки в пьяной потасовке, не было в этом вражды и злобы. По мне, лучше уж пара затрещин с пьяных глаз, чем кровавые дела, которые мы творим в трезвом виде с тех пор, как шапка пресвитера взяла верх над митрой епископа и мы сменили наших достойных пасторов и ученых наставников — у них в проповедях было столько греческого и латыни, что сам бы дьявол смутился, — сменили их на ткачей, сапожников и других самозванцев, вот они и лезут на кафедру, вроде того парня, что залез туда сегодня утром. Виноват! Сорвалось с языка!

— Что ж, приятель, — промолвил индипендент с

неожиданным миролюбием, — не буду с тобой браниться, хоть моя вера тебе и противна. Раз твои уши веселят звуки барабана, а глаза — прыжки ряженных, неудивительно, что тебе не по душе здоровая и умеренная пища. Но пойдем-ка в замок, надо покончить с делами до захода солнца.

— Правда твоя, это со всех сторон лучше, — согласился егерь. — Про замок рассказывают такие сказки, что люди боятся оставаться там на ночь.

— Но ведь твой старик рыцарь и барышня, его дочь, там жили, насколько мне известно?

— Правильно, жили, — ответил

Джослайн, — но тогда у них дом был полон гостей, ну и веселое житье было, а ведь чтобы страх прогнать, нет лучше средства, чем доброе пиво. А когда лучшие наши люди ушли на войну и полегли под Нейзби, в замке стало тоскливо, да и многие негодяи слуги сбежали от старого баронета, — может быть, у него денег не стало платить конюхам да лакеям.

— Причина основательная, чтобы слуг поубавилось, — заметил солдат.

— Правильно, сэр, именно так, — согласился егерь. — Говорят, на большой галерее далеко за полночь слышны были шаги, а в

пустых парадных комнатах днем слышались голоса. Вот слуги и прикинулись, будто бегут со страху; но, по моему скромному разумению, когда приходил Мартынов день и троица, а жалованья не было ни гроша, старые навозные мухи слуги начинали подумывать, как бы уползти в другое место, пока мороз не прихватил. Не найти страшнее черта, чем тот, что пляшет в кармане, когда там нет креста, чтоб его отпугнуть.

— Так у вас людей поубавилось? — спросил индипендент.

— Да уж, черт возьми, поубавилось, — сказал Джослайн, —

но мы еще держали с десятков навозных мух в замке и гусениц для охоты, вроде той, что сейчас у тебя под началом; сидели мы сбившись в кучу, пока в одно прекрасное утро нам не велели отправиться...

— Под город Вустер, — перебил солдат, — а там вас раздавили — таких вот червей или гусениц.

— Болтай что хочешь, — отмахнулся егерь, — с чего я буду спорить с человеком, когда у него в руках моя голова? Нас приперли к стенке, а то и духу вашего тут бы не было!

— Ладно, приятель, — успокоил его индипендент, — со мной ты в полной безопасности, можешь

говорить свободно и откровенно. Я не прочь быть bon samarado [note 8](#) храброму воину, хоть я и боролся с ним до самого заката. Но вот и замок. Эти пристройки...

Они как раз остановились перед старинным зданием в готическом стиле, не правильной формы, с пристройками разных эпох; пристройки эти делались по мере того, как английским монархам приходило в голову вкусить прелести вудстокской охоты; они перестраивали замок по своей прихоти, чтобы удовлетворить стремление к роскоши, возраставшее с каждым веком. Самая древняя часть здания, согласно традиции,

именовалась башней Прекрасной Розамунды.

Это была высокая башенка с узкими окнами и толстыми стенами. В ней не было ни дверей, ни наружной лестницы; нижняя часть ее отличалась прочной каменной кладкой. Предание гласило, что в башенку можно было попасть только через подъемный мост, который спускался от маленькой верхней дверцы на зубчатую верхушку другой башни такой же архитектуры, но на двадцать футов ниже. Внутри этой второй башни была только винтовая лестница, которую в Вудстоке называли лестницей Любви; говорят, что такое название произошло

оттого, что король Генрих, поднявшись по лестнице и пройдя по подъемному мосту, проникал в покои своей возлюбленной.

Это предание было решительно опровергнуто доктором Рочклифом, бывшим капелланом Вудстока, который утверждал, что так называемая башня Розамунды — просто башня для внутренней охраны, или цитадель, в которую мог отступать владелец или правитель замка, когда другие укрепленные пункты уже были сданы; там можно было обороняться, а при печальном исходе — выговаривать себе достойные условия капитуляции. Жителям Вудстока, ревниво

охраняющим старинные предания, не нравилось такое опровержение; говорят даже, что мэр города, уже знакомый читателю, стал пресвитерианином в отместку за сомнения, которые высказывал капеллан, касаясь этого серьезного вопроса. Он предпочел отказаться скорее от литургии, чем от традиционной веры в башню Розамунды и в лестницу Любви.

Остальные части замка, построенные в разное время, занимали довольно большую площадь, многочисленные дворики были окружены постройками, которые соединялись друг с другом внутренними дворами или

крытыми переходами, а часто и теми и другими. Из-за неодинаковой высоты переходить из одной постройки в другую можно было только по разного рода лестницам — шагать по ним было прекрасным упражнением для ног наших предков в шестнадцатом веке и в более ранние времена; в некоторых случаях лесенки, по-видимому, только для этого и были созданы.

Разнообразные и многочисленные фасады этого несимметричного здания, как обычно говорил доктор Рочклиф, были настоящей находкой для любителей старинной архитектуры — тут можно было видеть образчики

всех стилей, от чисто норманского времен Генриха Анжуйского до полуготического-полуклассического стиля времен Елизаветы и ее преемника.

Именно поэтому капеллан был влюблен в Вудсток, так же как в свое время Генрих был влюблен в прекрасную Розамунду; благодаря дружбе с сэром Генри Ли он имел доступ в замок в любое время; целыми днями он бродил по старинным апартаментам — рассматривал, измерял, изучал, находил неопровержимые объяснения для странностей в архитектуре, которые, вероятно, были плодом причудливой фантазии

создателей готического стиля. Но во времена нетерпимости и смуты старого исследователя согнали с места, а его преемник Ниимайя Холдинаф считал, что тщательно изучать мирскую скульптуру и архитектуру ослепленных и кровожадных папистов и историю развратных любовных походов древних норманских монархов не намного лучше, чем поклоняться вефильским тельцам или вкушать от греховного сосуда. Но вернемся к нашему рассказу.

Внимательно осмотрев фасад здания, индипендент.

Томкинс сказал:

— Много есть еще следов

старого бесчинства в этом так называемом королевском охотничьем замке.

Хорошо бы сжечь его дотла, и пусть пепел его унесет, ручей Кедронский или другой какой-нибудь, чтобы даже памяти о нем не осталось на земле, чтобы и не вспоминать о бесчинствах грешных правителей.

Егерь слушал его со скрытым негодованием и прикидывал про себя, не следует ли ему расправиться с бунтовщиком за такие нечестивые речи, пока это можно сделать без помехи. Но, к счастью, он сообразил, что еще неизвестно, кто победит, ибо он хуже вооружен, а даже если он и

возьмет верх, то может жестоко поплатиться за это. Нужно также отдать должное индпенденту — в нем было что-то темное и таинственное, угрюмое и строгое, что подавляло более простодушного егеря или, может быть, просто заставляло его остерегаться — он понимал, что благоразумнее и спокойнее для него и для хозяина будет не вступать ни в какие споры, а лучше узнать, с кем имеешь дело, прежде чем объявить себя другом или врагом.

Главные ворота замка были накрепко заперты, но калитка отворилась, как только егерь отодвинул засов. От калитки шел

проход в десять футов шириной; некогда он закрывался спускной решеткой с тремя бойницами по бокам, и враг, овладевший первыми воротами, подвергался сильному обстрелу еще до того, как начинал штурмовать вторые. Но механизм был теперь поврежден, спускная решетка оставалась неподвижной, оскалив свою челюсть, снабженную железными клыками, и уже не могла опуститься, чтобы преградить путь врагу.

Поэтому проход в огромный холл, или главный вестибюль замка, был открыт. Один конец этого длинного и полутемного покоя занимала галерея, на которой в

старые времена располагались музыканты и менестрели. По бокам ее поднимались тяжелые лестницы из цельных брусьев длиной в фут; по краям нижних ступеней, как часовые, стояли статуи норманских воинов в шлемах с поднятым забралом, открывающим такие свирепые лица, какие только могла создать фантазия скульптора. Они были в Куртках из буйволово́й кожи или в кольчугах, вооружены круглыми щитами с острием посредине; обу́ты они были в высокие сапоги, служившие для украшения и защиты ног, но колени воинов были открыты.

Деревянные стражи держали в

руках огромные мечи или булавы, как часовые на карауле. Множество свободных крюков и гвоздей в стенах этого мрачного покоя указывало на места, где когда-то висели военные трофеи, собранные в течение многих веков. Оружие было теперь снято и пущено в дело — как старый ветеран, оно было призвано на поле боя в час смертельной опасности. Но на некоторых заржавевших крюках все еще висели охотничьи трофеи монархов, владевших замком, и лесных рыцарей, которые в разное время его охраняли.

В дальнем конце холла огромный, тяжелый, высеченный из камня очаг выдавался вперед на

десять футов и был украшен монограммами и гербами английского королевского дома. В нынешнем своем состоянии он напоминал разверстую пасть склепа или кратер потухшего вулкана. Но черный цвет массивного каменного сооружения и всего, что его окружало, свидетельствовал о том, что было время, когда мощное пламя пылало в огромном камине, а густой дым расстилался поверх голов пирующих гостей, которые, несмотря на принадлежность к королевскому или дворянскому роду, были нечувствительны к таким мелким неудобствам. Говорили, что в такие дни между полуднем и сигналом для

гашения огней в очаге сжигали два воза дров; таганы, или псы, как их называли, служащие для поддержки пылающих поленьев в очаге, были высечены в форме львов такого огромного размера, что вполне подтверждали эту легенду. Около очага стояли длинные каменные скамьи; на них, несмотря на страшный зной, говорят, охотно сиживали короли, собственноручно поджаривая оленину, и счастлив был придворный, которого приглашали отведать королевскую стряпню.

Многие легенды рассказывают о том, какими забавными шутками обменивались монархи и пэры на веселых пирах после охоты в

Михайлов день. В легенде точно указывается место, где сидел король Стефан, когда собственноручно латал свои королевские штаны, и говорится о том, какие смешные штучки он проделывал с маленьким Уинкином, вудстокским портным.

Большая часть этих нехитрых развлечений относилась к временам Плантагенетов. Когда на престол вступила династия Тюдоров, короли стали реже появляться на пирах: они пировали во внутренних покоях, предоставляя холл своей страже, которая бражничала и веселилась там всю ночь напролет; стражники рассказывали друг другу страшные небылицы о привидениях и колдунах;

от этих рассказов нередко бледнели те, кому звук труб врагов-французов был бы так же приятен, как призыв на лесную охоту.

Джослайн рассказал своему угрюмому спутнику о прошлом покороче, чем мы рассказали читателю.

Индепендент сначала слушал с некоторым интересом, а затем выражение его лица внезапно изменилось, и он мрачно воскликнул:

— Погибни, Вавилон, как погиб твой владыка Навуходоносор! Он стал странником, а ты станешь пустыней, да, соленой пустыней, где будут царить голод и жажда.

— Похоже на то, что мы сегодня испытаем и то и другое, — заметил Джослайн, — если в кладовой почтенного рыцаря будет так же пусто, как всегда.

— Нам нужно будет позаботиться о насыщении плоти, — ответил индипендент, — но только после того, как мы исполним свой долг. Куда ведут эти двери?

— Эта, справа, — объяснил егерь, — ведет в так называемые королевские покои; в них никто не жил с тысяча шестьсот тридцать девятого года, когда наш благословенный монарх...

— Как вы смеее, сэръ, — прервал его индипендент громовым

голосом, — называть Карла Стюарта благословенным? Не забывайте указ парламента по этому поводу!

— Я не хотел сказать ничего дурного, — ответил егерь, сдерживая желание возразить более резко. — Я знаю только свой самострел да оленя, а не титулы и государственные заботы. Но что бы с тех пор ни случилось, в Вудстоке многие благословляли несчастного короля, он ведь оставил местным беднякам перчатку, полную золотых монет...

— Ну, хватит, приятель, — оборвал его индипендент, — а то я могу подумать, что ты один из тех одурманенных и ослепленных папистов, которые утверждают, будто

подачки такого сорта искупают и смыывают все злодеяния и притеснения, совершенные тем, кто подает милостыню. Так ты говоришь, это были покои Карла Стюарта?

— А до него — отца его, Иакова, а до этого — Елизаветы, а еще раньше — прямодушного короля Генриха, — он-то и построил это крыло.

— Здесь, верно, жил и баронет с дочерью?

— Нет, — ответил Джослайн, — сэр Генри Ли слишком высоко чтил..., то, что теперь считают недостойным почтения... К тому же в королевских покоях воздух затхлый, и порядок не наводили там уже несколько лет. А

покои королевского лесничего — вон по тому коридору налево.

— А куда ведет эта лестница? Кажется, она идет и вниз и вверх?

— Наверху, — объяснил егерь, — много всяких комнат: спален и разных других. А внизу — кухня, людские и погреба, там вечером без фонаря и ходить невозможно.

— Тогда пойдем в комнаты твоего господина, — сказал индпендент. — Мы сможем там хоть как-нибудь устроиться?

— Устраивался же мой достойный господин, — который сейчас лишен всяких удобств, — ответил честный егерь; желчь у него

так расходилась, что он пробормотал себе под нос:

— Та хижина больше бы Подошла такому стриженному мошеннику, как ты!

Но он все же повел своего спутника в покои королевского лесничего.

Комнаты эти соединял с холлом небольшой проход с двумя дубовыми дверями: они запирались на дубовые засовы, которые выдвигались из стены и входили в квадратные отверстия, пробитые в противоположной стороне прохода. Пройдя через коридор, они вошли в маленькую прихожую, а затем в приемную достойного баронета,

которую на языке тех дней можно было назвать прелестной летней гостиной, — свет проходил в нее через два окна с нишами, расположенными так, что перед каждым простиралась аллея, далеко уходящая в парк. Главным украшением комнаты, кроме двух-трех ничем не примечательных фамильных портретов, был большой портрет мужчины во весь рост, висевший над каменным очагом, который, как и очаг в холле, был украшен высеченными на камне гербами и расписан разнообразными девизами. Портрет изображал человека лет пятидесяти, в доспехах; написан он был в резкой и сухой

манере Гольбейна, — может быть, картина и принадлежала кисти этого мастера, дата на ней совпадала.

Угловатые формы и шероховатая поверхность доспехов служили прекрасной моделью для резкой кисти мастера этой ранней школы живописи. Краски поблекли, и лицо рыцаря казалось бледным и тусклым, как у выходца с того света, но черты его выражали гордость и ликование. Своей булавой, или жезлом, он указывал вдаль, где, насколько позволяла перспектива, художник изобразил горящие развалины церкви или монастыря; четыре-пять солдат в красных мундирах с победоносным видом выносили оттуда что-то

похожее на медную купель. Над их головами можно было разобрать надпись: «Lee Victor sic voluit» [note 9](#). В нише напротив портрета висели рыцарские доспехи; их черный с золотом цвет и украшения были совсем такие же, как на картине.

В выражении лица рыцаря, изображенного на портрете, было нечто такое, что производило впечатление даже на тех, кто ничего не понимает в живописи. Индепендент смотрел на него до тех пор, пока по его нахмуренному лицу не пробежала улыбка. Улыбался ли он тому, что мрачный старый рыцарь был занят разорением божьего дома (что очень напоминало дела его

собственной секты), выражала ли его усмешка презрение к резкой и сухой манере художника или вид этого портрета пробуждал другие мысли — егерь решить не мог.

Через минуту улыбка исчезла — солдат взглянул на оконные ниши. Они возвышались над полом на одну или две ступеньки. В одной из них стояли ореховый пюпитр и глубокое кресло, обтянутое испанской кожей, а подле — маленький секретер; некоторые из его ящиков и отделений были открыты, в них виднелись соколиные колпачки, собачьи свистки, приспособления для стрижки соколиных перьев, уздечки различных фасонов и другая мелочь,

необходимая на охоте.

Вторая ниша была обставлена совсем по-иному.

На маленьком столике лежали рукоделье, лютня, нотный альбом и пяльцы. Ниша была обита гобеленом, в ней было больше украшений, чем в остальной части комнаты. Вазы с осенними цветами указывали на то, что здесь преобладал женский вкус.

Томкинс скользнул беглым взглядом по этим женским вещам и, войдя в нишу дальнего окна, с заметным интересом начал перелистывать открытый фолиант, лежавший на пюпитре. Джослайн решил не вмешиваться и наблюдать за его действиями; он молча стоял в

отдалении, как вдруг дверь, скрытая гобеленом, раскрылась и в комнату с салфеткой в руке впорхнула хорошенькая деревенская девушка — вид у нее был такой, как будто она хлопотала по хозяйству.

— Что это значит, господин бесстыдник, — строго обратилась она к Джослайну, — почему ты слоняешься по комнатам, когда хозяина дома нет?

Но вместо того ответа, который она, вероятно, ожидала, Джослайн Джолиф с прискорбием взглянул на солдата в нише, как бы поясняя слова, произнесенные унылым тоном:

— Ох, Фиби, милочка, сюда

пришли люди, у которых прав, да и силы, побольше, чем у нас, они могут являться без церемоний и гостить сколько им вздумается.

Он снова взглянул на Томкинса, погруженного в книгу, затем бочком приблизился к изумленной девушке, которая смотрела то на егеря, то на незнакомца, не понимая, о чем говорит егерь и почему здесь находится чужой человек.

— Ступай, милая Фиби, — зашептал Джолиф, так приблизив губы к ее щеке, что завитки ее волос зашевелились от его дыхания, — беги быстрее лани ко мне в хижину., я скоро приду., и...

— Еще чего! В твою хижину! —

перебила его Фиби. — Больно уж ты бойкий... А сам в жизни никого не испугал, разве только старого оленя. Скажите пожалуйста! К нему в хижину! Только туда мне и бегать!

— Молчи, Фиби, молчи! Теперь не до шуток! Говорю тебе, беги ко мне в хижину быстрее лани, баронет и мисс Алиса там; боюсь, что сюда им больше не вернуться. Плохо наше дело, девушка, настали черные дни, положение у нас безвыходное, нас загнали чуть не насмерть.

— Может ли это быть, Джослайн? — вскричала девушка, в испуге повернувшись к егерю, от которого она до тех пор отворачивалась с чисто деревенским

КОКЕТСТВОМ.

— Это так же верно, милая Фиби, как...

Конец фразы утонул в ушке Фиби — так приблизил к нему губы егерь, — и если они коснулись ее щеки, то горе и нетерпение имеют свои преимущества; юная Фиби была так сильно встревожена, что не возражала против подобной безделицы.

Но для индпендента прикосновение губ егеря к хорошенькой, хоть и загорелой щечке Фиби не было безделицей; до этого егерь внимательно следил за непрошеным гостем, теперь же тот заинтересовался поведением егеря и

стал наблюдать за ним. Заметив, что Джослайн склонился к девушке, он заговорил резким голосом, до такой степени похожим на несмазанную ржавую пилу, что Джослайн и Фиби отскочили друг от друга футов на шесть. Если при этом присутствовал Купидон, он, наверно, пулей вылетел в окно. Томкинс встал в позу проповедника, обличающего порок.

— Как! — воскликнул он. — Бесстыдники, бессовестные люди! Подумать только! Предаются распутству прямо на моих глазах? Вы что же, собираетесь проделывать ваши штуки перед секретарем комиссаров парламентского верховного суда, точно вы в балагане

на вашей нечестивой ярмарке или на богопротивном балу, где людей заманивают в ловушку, чтобы они безобразничали, пока негодяи музыканты пиликают на своих греховных инструментах:

«Целуйтесь и милуйтесь, скрипач закрыл глаза...»

Вот здесь, — он тяжело ударил кулаком по фолианту, — здесь царь и бог всех этих пороков и распутства! Здесь тот, кого безумцы кощунственно называют чудом природы! Здесь, тот, кого знать выбирает себе в советники, а благородные девицы кладут под подушку. Здесь главный наставник, что учит обольстительным речам,

фатовству и безрассудству. Здесь!..

(Он опять обрушил свой кулак на книгу, а это было первое собрание сочинений Шекспира, чтимое Роксбергом, любимое Бэннетайном, издание Хемингса и Кондела, editio princeps [note 10](#))... Тебя, — продолжал он, — тебя, Уильям Шекспир, обвиняю я во всем.., в не» обузданном тунеядстве, сумасбродстве и разврате, что запятнали нашу страну.

— Тяжкое обвинение, клянусь мессой! — вскричал Джослайн; его отчаянную смелость нельзя было смирить надолго. — Ловко это заставлять Уила из Стрэтфорда, старого любимца нашего хозяина,

отвечать за все поцелуи, которые только были сорваны за все время, что прошло со дней короля Иакова! Нелегкий подсчет! Ну, а кто же отвечает за то, что парни и девушки до него делали?

— Не болтай чепухи, — остановил его солдат, — не то я поддамся голосу совести и разделаюсь с тобой за твои насмешки. Истинно говорю тебе: с тех пор как сатана низвергнут с небес, у него нет недостатка в помощниках на земле, но нигде не встречал он колдуна, так безраздельно властвующего над душами людей, как этот омерзительный Шекспир.

Ищет женщина пример неверности — тут она его и найдет. Нужно человеку узнать, как сделать своего приятеля убийцей, — здесь его научат. Захочет знатная девица выйти замуж за чернокожего язычника — пример уже готов. Захочет человек хулить творца — эта книга и ему подскажет издевку. Захочет он поднять руку на родного брата — его научат, как скрестить с ним оружие. Хочешь ты выпить — у Шекспира найдется для тебя тост, захочешь предаться плотским удовольствиям — он усыпит твою совесть, одурманит не хуже похотливой лютни. Говорю тебе: книга эта — источник и причина

всех зол, которые затопили страну нашу, из-за нее люди стали насмешниками, безбожниками, нечестивцами, убийцами, развратниками, пьяницами, посетителями злочных мест и пьянчугами-полуночниками. Долой его, долой, люди Англии!

В Тофет его грешную книгу и в долину Енномскую его проклятые кости! Поистине, если бы в тысяча шестьсот сорок третьем году мы с сэром Уильямом Уоллером не проходили через Стрэтфорд так стремительно, если бы мы не проходили так поспешно...

— Потому что за вами гнался принц Руперт со своими

кавалерами, — пробормотал
неисправимый Джослайн.

— Говорю тебе, — продолжал
рьяный вояка, возвышая голос и
простирая вперед руку, — если бы
мы не получили приказа спешить и
не сворачивать в сторону, а следовать
сомкнутым строем, как подобает
солдатам, я бы уж вытащил из
могилы кости этого проповедника
порока и разврата и бросил бы в
первую попавшуюся навозную кучу.
Я посмеялся бы над памятью о нем,
освистал бы его.

— Ну, наконец-то сказал острое
словцо! — заметил егерь. — Для
бедного Уила свист — хуже всего!

— Долго еще этот господин

говорить будет? — шепотом спросила Фиби. — Право, он здорово рассуждает, вот только бы понять, что к чему. Счастье его, что барон не видит, как он обращается с его книгой.

Благослови нас боже, тут уж не миновать бы кровопролития. Ох, спаситель, посмотри, как у него лицо дергается. Как ты думаешь, Джослайн, это у него колики? Может, дать ему стаканчик водки?

— Помолчи-ка, девушка, — сказал егерь, — он сейчас заряжает пушку для следующего залпа, и пока он так закатывает глаза, крутит головой, сжимает кулаки, шаркает и топает ногами, он ничего вокруг не

замечает. Клянусь, если бы у него был кошелек на поясе, я бы его срезал, а он бы ничего и не заметил!

— Полно, Джослайн, — остановила его Фиби, — если случится так, что он поселится здесь, осмелюсь сказать, такому господину легко будет прислуживать.

— Ну, уж это не твоя забота, — прервал ее Джослайн. — Лучше скажи-ка мне скорее, что там есть в кладовой?

— Особенно не разживешься, — ответила Фиби, — холодный каплун, немножко варенья, пирог с олениной и со всякими приправами, да еще пара караваев хлеба — вот и все.

— Ну, на худой конец и это

сойдет! Прикрой-ка свою стройную фигурку плащом, доложи в корзину пару тарелок и полотенце — у них ведь там нет ничего, снеси туда каплуна и хлеб, пирог пусть останется мне и этому солдату, а вместо хлеба будет у нас корка пирога.

— Ладно, — согласилась Фиби, — тесто для пирога я сама готовила, корка толстая, как стены башни Прекрасной Розамунды.

— Значит, две пары челюстей ее не сразу перегрызут, — сказал егерь. — А что там есть выпить?

— Только бутылка аликанте, да еще бутылка белого вина, да глиняный кувшин водки, — ответила

Фиби.

— Забери бутылки в корзину, — сказал Джослайн, — не лишать же баронета вечернего стаканчика, и лети в хижину, как птица. На ужин хватит, а утро вечера мудренее. Что это? Мне показалось, будто этот парень косится на нас... Нет, он только глазами ворочает — видно, задумался. Глубоко задумался! Все они больно уж глубокие! Ну, а это-то, черт возьми, бездонный, не знаю уж, измерю ли я его глубину до рассвета! Ну, беги, Фиби!

Но Фиби была сельская кокетка, она понимала, что положение Джослайна не давало ему возможности должным образом

ответить на вызов, и шепнула ему на ухо:

— Ты как думаешь, друг нашего баронета, Шекспир, и вправду изобрел все те дурные штуки, о которых говорил этот господин?

Шепнув это, она побежала прочь, а Джолиф, погрозив ей пальцем в знак того, что рассчитается с ней, пробормотал:

— Беги-ка, Фиби Мейфлауэр, никогда по траве Вудстокского парка не ступала нога легче твоей, никогда здесь не было сердца простодушнее твоего. Ступай за ней, Бевис, проводи ее к нашему господину в мою хижину.

Огромный пес, как слуга,

получивший приказ, последовал за Фиби через холл, сначала лизнув ей руку, чтобы дать знать о своем присутствии, а затем пустился рысью, поспевая за легким шагом той, которую он охранял и которую Джослайн не без основания превозносил за ее живость. Пока Фиби и ее страж пробираются по лесной просеке, мы вернемся в замок.

Индепендент как будто вернулся с небес на землю.

— А девушка ушла? — спросил он.

— Ушла, видите ли, — ответил егерь. — Да, ушла.

А если у вашей милости есть

еще распоряжения, вам придется довольствоваться мужской прислугой.

— Распоряжения... Гм... Думаю, что девушка могла бы немножко подождать, — сказал солдат, — у меня было серьезное намерение наставить ее на путь истинный.

— Ну что ж, сэр, — ответил Джослайн, — в воскресенье она придет в церковь, и если вашему солдатскому преподобию будет угодно опять разглагольствовать, она воспользуется вашими поучениями вместе со всеми прихожанами. Но здешние девушки наедине проповедей не слушают... А что вам

удовольствие сейчас? Не хотите ли осмотреть другие комнаты и остатки столового серебра?

— Гм.., нет, — сказал индпендент, — уже поздно, и темнеет... Ты можешь раздобыть нам постели, приятель?

— Раздобуду такую, какой у тебя в жизни не бывало, — пробормотал егерь.

— И дров для очага, и свечу, и скудной пищи Для удовлетворения грешной плоти? — продолжал солдат.

— Непременно, — отвечал егерь, выказывая благоразумное рвение угодить этой важной особе.

Через несколько минут на

дубовом столе появился огромный подсвечник. Внушительный пирог с олениной, приправленной петрушкой, был водружен на чистую скатерть, фляга водки и кувшин эля послужили достойным добавлением. И за эту трапезу они уселись вместе: солдат занял высокое кресло, а егерь по его приглашению поместился на табурете на другом конце стола. За таким приятным занятием мы их пока и оставим.

Глава IV

*Взгляни на ту зеленую
тропинку,*

*Где взор ласкают
гроты и беседки:*

*Там нежных ног ты не
сотрешь о камни,*

*Там в дождь всегда
готов тебе приют.*

*Но Долг зовет идти
иной дорогой*

*Вот у обрыва он с
жезлом стоит.*

*На том пути ты в
кровь стопы изранишь,*

На том пути тебя

исхлещут ливни

*И ты узнаешь голод,
холод, зной.*

*Но Долг ведет к таким
вершинам горним,*

*Где небу ты
становишься сродни*

*И видишь под ногами
все земное —*

*Ничтожный, жалкий
прах...*

*Неизвестный
автор*

Читатель, вероятно, не забыл,
что после поединка с
республиканцем сэром Генри Ли с

дочерью Алисой отправился искать приюта в хижине своего верного егеря Джослайна Джолифа. Шли они, как и раньше, медленно: старый баронет был подавлен мыслями о том, что последние следы королевских владений попали в руки республиканцев, и о своем недавнем поражении. Время от времени он останавливался и, скрестив руки на груди, вспоминал обстоятельства, при которых он был изгнан из дома, так долго служившего ему кровом. Ему казалось, что он покидал свой пост, подобно рыцарям из романов (когда-то он ими зачитывался), побежденный сарацинским рыцарем, которому такое приключение было

уготовано судьбой. Алиса погрузилась в печальные воспоминания, да и последний разговор с отцом был не такой уж приятный, чтобы она стремилась возобновить его, пока сэр Генри не успокоится, — несмотря на доброе сердце и нежную любовь к дочери, в характере старого баронета стала проявляться раздражительность, не свойственная ему в лучшие времена, — это был результат старости и обилия невзгод. Только дочь да двое преданных слуг оставались верны старику в эти дни крушения его благополучия: они по мере возможности успокаивали порывы его гнева, жалели старого

баронета даже тогда, когда сами страдали от раздражительности сэра Генри.

Прошло немало времени, прежде чем баронет заговорил.

— Странно, — начал он, вспомнив одно обстоятельство, — что Бевис пошел за Джослайном и за этим человеком, а не за мной.

— Уверяю вас, сэр, — ответила Алиса, — он почуял в этом незнакомце врага и счел своим долгом осторожно последить за ним, потому и остался с Джослайном.

— Нет, нет, Алиса, — возразил сэр Генри, — он покинул меня потому, что счастье мне изменило.

В природе есть что-то такое, что

побуждает даже бессловесных тварей инстинктивно бежать прочь от беды. Олени, и те изгоняют больного или раненого из стада; подстрелили собаку — и вся свора набросится на нее; порань рыбу острой — ее проглотят другие рыбы; сломай вороне крыло или ногу — стая заключает ее до смерти.

— Возможно, это и верно, когда дело касается менее разумных животных, — ответила Алиса, — ведь почти вся их жизнь — борьба; но собаки покидают себе подобных и привыкают к людям, ради своего хозяина они отказываются от пищи и забав со своими родичами. А уж такого преданного и умного слугу,

как Бевис, нельзя так легко заподозрить в измене.

— Я не сержусь на пса, Алиса, просто мне грустно, — ответил баронет, — я читал в достоверных хрониках, что когда Ричард Второй и Генрих Болинброк были в замке Баркли, пес точно так же покинул короля, которому всегда служил, и перешел к Генриху, хотя видел его в первый раз. В этой измене своего любимца Ричард усмотрел знак близкого падения [note 11](#). Пес после этого жил в Вудстоке; Бевис, говорят, его прямой потомок, а за чистотой кровей этой породы заботливо следили. Не знаю, какие беды сулит его измена, но сердце говорит, что

это не к добру.

В это время зашуршали опавшие листья, вдали на дорожке послышался топот, и верный пес стремительно подбежал к своему хозяину.

— Иди-ка на расправу, старый плут, — ласково сказала Алиса, — защищай свое доброе имя, оно сильно пострадало в твое отсутствие.

Но пес только допрыгал вокруг них в знак приветствия и тут же помчался обратно.

— Вот как, мошенник? — вскричал баронет. — Тебя, кажется, достаточно учили, чтобы ты не носился по лесу без разрешения.

А через минуту показалась

Фиби Мейфлауэр: несмотря на ношу, она шла так проворно, что догнала своего господина и молодую госпожу, прежде чем они успели дойти до хижины егеря. Бевис стрелой вылетел вперед, чтобы приветствовать сэра Генри, своего хозяина, и сразу же вернулся к исполнению своих прямых обязанностей — охранять Фиби и провизию.

Вскоре все они остановились у входа в хижину.

В лучшие времена эта солидная каменная постройка, служившая жилищем для иомена — королевского егеря, была украшением окрестных мест.

Неподалеку брал свое начало ручей, он протекал через двор с прочными и удобными псарнями и конюшнями.

Но в схватках, обычных для междоусобных войн, это маленькое лесное жилище атаковали и обороняли, разрушали и жгли. Соседний помещик, принявший сторону парламента, воспользовался отсутствием сэра Генри Ли, который в то время находился в армии Карла, и неудачами роялистов и забрал камни и кирпичи, уцелевшие от огня, на ремонт собственного дома. И нашему другу егерю Джослайну с помощью двух-трех соседей пришлось за несколько дней соорудить для себя и старухи

домоуправительницы хижину, сплетенную из ветвей. Стены были обмазаны глиной, побелены и увиты диким виноградом и другими растениями, крыша тщательно покрыта соломой; это была скромная хижина, но ловкие руки Джолифа сделали все так, чтобы не посрамить ее обитателей.

Баронет направился ко входу в хижину, но изобретательный строитель, не имея лучшего запора для двери, искусно сплетенной из прутьев, приделал изнутри задвижку с колышком, который не позволял открыть ее снаружи; в настоящий момент дверь была заперта. Думая, что это предосторожность старой

домоуправительницы Джолифа, глухой, как всем было известно, сэр Генри громко потребовал, чтобы его опустили, но успеха не достиг. Раздраженный этой задержкой, он рукой и ногой так нажал на дверь, что слабая преграда не устояла, подалась под его напором, и баронет стремительно влетел в кухню или переднюю своего слуги. Посреди комнаты в смущенной позе стоял незнакомый юноша, одетый в дорожный костюм.

— Может, это последнее проявление моей власти, — сказал баронет, схватив незнакомца за шиворот, — но пока я еще королевский лесничий в Вудстоке, во

всяком случае — сегодня... Ты кто такой?

Незнакомец сбросил дорожный плащ, закрывавший его лицо, и одновременно опустился на одно колено.

— Ваш бедный родственник, Маркем Эверард, — сказал он, — пришел сюда ради вашего блага, хотя, боюсь, вы меня здесь не встретите радушно.

Сэр Генри отпрянул, но через мгновение взял себя в руки, как бы вспомнив, что ему надлежит сохранять достоинство. Он выпрямился и ответил с чопорным и высокомерным видом:

— Любезный родственник, мне

очень приятно, что вы прибыли в Вудсток в ту самую ночь, когда впервые за многие годы вы можете рассчитывать на достойный и радушный прием.

— Да вознаградит вас бог, если я правильно понял то, что услышал! — воскликнул молодой человек.

Алиса промолчала, но внимательно взглянула отцу в лицо, как будто хотела убедиться, что он доброжелательно относится к племяннику; зная строптивый нрав баронета, она не очень в это верила.

Баронет тем временем продолжал, бросив насмешливый взгляд сначала на племянника, потом

на дочь:

— Полагаю, мне не нужно объяснять мистеру Маркему Эверарду, что в наши намерения не входит принимать его или даже предложить ему присесть в этой убогой хижине.

— Я с огромным удовольствием буду сопровождать вас в замок, — сказал молодой джентльмен. — Я было решил, что вы уже вернулись туда к вечеру, но побоялся беспокоить вас. Если вы позволите мне, дорогой дядюшка, проводить вас с кузиной обратно в замок, поверьте, это будет самое большое благодеяние, каким вы когда-либо меня одаривали.

— Вы меня совсем не так

поняли, мистер Маркем Эверард, — ответил баронет, — в наши намерения не входит возвращаться в замок сегодня, да и завтра тоже, клянусь матерью божьей! Я хотел только почтительнейше сообщить вам, что в Вудстокском замке вы найдете тех, чье общество вам подходит более и кто, без сомнения, окажет вам гостеприимство, чего я, сэр, в нынешнем своем изгнании не могу предложить лицу, занимающему такое положение.

— Ради всего святого, — сказал молодой человек, обращаясь к Алисе, — объясните мне, как следует понимать эти загадочные речи?

Для того чтобы предотвратить

взрыв родительского гнева, Алиса с трудом заставила себя ответить:

— Нас выгнали из замка солдаты.

— Выгнали.., солдаты? — в изумлении воскликнул Эверард. — Но для этого нет законных оснований!

— Никаких, — ответил баронет тем же тоном едкой иронии, который он усвоил с начала разговора, — или, пожалуй, это столь же законно, как и все, что делается в Англии уже более года. Вы, сэр, сдается мне, занимаетесь или занимались изучением законов и упиваетесь своей профессией, подобно тому как мот, женившись на богатой вдове,

упивается наследством ее мужа. Вы уже пережили те законы, которые изучали; умирая, они, без сомнения, оставили вам наследство — какие-то объедки, только чтобы соблюсти приличия, несколько милосердных строгостей, как нынче говорят. Вы человек вдвойне заслуженный — вы носили мундир и патронташ вместе с пером и чернилами; вот только не слышал я, читаете ли вы нравоучения.

— Думайте и говорите обо мне что вам угодно, сэр, — ответил Эверард с покорностью, — но в наше трудное время я руководствуюсь своей совестью и указаниями отца.

— Да ты еще о совести

толкуешь! — воскликнул старый баронет. — Тут уж за тобой надо в оба глядеть, как говорит Гамлет. Пуританин особенно ловко надувает, когда ссылается на свою совесть, а уж что до твоего отца...

Он хотел продолжать в том же оскорбительном тоне, но молодой человек, перебив его, твердо сказал:

— Сэр Генри Ли, вас всегда считали человеком благородным... Поносите меня как угодно, но не говорите про моего отца того, чего сын не должен слышать и за что не может наказать обидчика своей рукой. Наносить мне такую обиду — все равно что оскорблять безоружного или бить пленного.

Сэр Генри помолчал; слова Эверарда, по-видимому, оказали свое действие.

— В этом ты прав, Марк, будь ты даже самый фанатичный пуританин, какого изрыгнула преисподняя на погибель несчастной стране.

— Думайте что вам угодно, — ответил Эверард, — но я не могу оставить вас под кровлей этой жалкой лачуги. К ночи будет гроза; разрешите мне проводить вас в замок и выгнать оттуда незваных гостей.

У них нет — во всяком случае, пока еще нет — законных прав. Я ни на минуту не задержусь там после того, как они уберутся, только вручу

вам послание отца моего. Не отказывайте, во имя той любви, которую вы когда-то ко мне питали.

— Верно, Марк, — твердо, но с горечью ответил ему баронет, — ты говоришь правду... Действительно, когда-то я тебя любил. Белокурый мальчик, которого я учил ездить верхом, стрелять, охотиться. В каких трудах ни проводит он жизнь свою, его счастливая пора протекла в моем доме; я действительно любил того мальчика, и я проявляю такую слабость, что и сейчас люблю это воспоминание. Но он исчез, Марк, исчез, а вместо него передо мной только прославленный фанатический изменник своей вере и королю; он

еще более отвратителен в своей удаче, награбленное богатство обесчестило его, хоть он и думает, что позолотил свою подлость. Ты полагаешь, я беден и потому должен молчать до тех пор, пока люди не скажут:

«Эй ты, говори, когда тебя спрашивают». Но знай, как бы нищ, как бы ограблен я ни был, я считаю бесчестьем для себя так долго разговаривать с сообщником мятежников и узурпаторов. Ступай в замок, если тебе угодно, скатертью дорога, но не воображай, что я добровольно пройду вместе с тобой хоть два шага по этой лужайке, чтобы вернуть себе кров и прежнее

богатство. Коли уж доведется мне быть твоим спутником, так только тогда, когда твои красные мундиры скрутят мне руки за спиной, а ноги — под брюхом моего коня. Тогда иди рядом со мной, если хочешь, но не прежде.

Алиса, жестоко страдавшая во время этого разговора, понимала, что уговоры только еще больше распалят гнев старого баронета, однако в конце концов она решилась сделать кузену знак, чтобы он замолчал и ушел, раз отец этого так решительно требует. На ее беду, сэр Генри наблюдал за ней и заключил, что между дочерью и кузеном существует тайный сговор. Гнев его получил

новую пищу, и ему потребовалось все его самообладание и все чувство собственного достоинства, чтобы скрыть бешенство за насмешливым тоном, который он принял еще в начале этой неприятной беседы.

— Если ты боишься, — сказал он, — ходить в ночную пору по нашим лесным просекам, почтеннейший незнакомец — может, мне нужно приветствовать тебя как моего преемника по управлению этими лесами, — так здесь, кажется, есть скромная барышня, которая горит желанием прислуживать тебе и стать твоим оруженосцем. Только, ради памяти ее матери, устройте хоть что-нибудь похожее на свадьбу. В

наши прелестные времена вам не нужно ни оглашения в церкви, ни венчания; можете окрутиться, как бродяги, в канаве, вместо алтаря будет забор, а жестянщик сойдет за священника. Прошу простить меня за такую назойливую и глупую просьбу... Может, вы рантер или из тех, кто за свободную любовь, или, может, считаете брачный обряд излишним, как Книппердолинг или Иоанн Лейденский?

— Ради всего святого, отец, воздержитесь от таких ужасных шуток, а вы, Маркем, уходите, ради бога, и предоставьте нас своей участи... Ваше присутствие выводит отца из себя.

— Шутки! — воскликнул сэр Генри. — В жизни я не говорил так серьезно. Я выхожу из себя! Да я никогда не был так спокоен... Я всегда ненавидел лживость... И я не стал бы держать при себе ни обещанную дочь, ни обещанную саблю, а сегодняшний злополучный день показал, что обе могут мне изменить.

— Сэр Генри, — сказал молодой Эверард, — не отягощайте свою совесть таким тяжким преступлением, как несправедливое обращение с дочерью.

Много дней назад вы отказали мне в ее руке — мы тогда были бедны, а вы сильны и богаты. Я

подчинился вашему запрету видеться с ней. Одному богу известно, как я страдал, но я подчинился. Не затем, чтобы снова просить руки ее, приехал я сейчас, не для того искал — да, признаюсь, искал — случая поговорить с ней, не ради нее одной, но и ради вас тоже.

Бедя нависла над вами, она распростерла свои крылья и готова вонзить в вас когти. Можете смотреть на меня с презрением, сэр, но дело обстоит именно так... Я приехал, чтобы защитить вашу дочь и вас.

— Значит, ты отказываешься от моего подарка? — спросил сэр Генри Ли. — Или, может, условия для тебя

слишком обременительны?

— Стыдитесь, сэр Генри, стыдитесь! — воскликнул Эверард, тоже распаляясь. — Неужели политические предрассудки до того извратили ваши отцовские чувства, что вы можете говорить с горькой насмешкой и презрением о чести собственной дочери?

Поднимите голову, дорогая Алиса, и скажите вашему отцу, что в своей чрезмерной преданности престолу он забыл о родственных узах. Знайте, сэр Генри, хоть я и предпочел бы руку дочери вашей всем другим благам мира, я не принял бы ее сейчас.., совесть бы не позволила.., раз я знаю, что такой

брак лишил бы ее возможности выполнять свои обязанности по отношению к вам.

— Очень уж у тебя чувствительная совесть, молодой человек. Спроси какого-нибудь сектантского попа — они ведь на все накладывают свои лапы, — он тебе скажет, что ты погресишь против веры, если откажешься от добра, которое тебе отдают без спора.

— Это когда отдают искренне и чистосердечно, а не с насмешками и оскорблениями... Прощай, Алиса!

Видит бог, как хотел бы я воспользоваться необузданным гневом твоего отца, который стремится изгнать тебя в порыве

недостойной подозрительности; давая волю таким чувствам, сэр Генри Ли становится тираном по отношению к тому созданию, которое больше всех нуждается в его доброте, больше всех страдает от его гнева и которое он больше всех должен лелеять и поддерживать.

— Не опасайтесь за меня, мистер Эверард, — вскричала Алиса, забыв всякую застенчивость перед угрозой страшных последствий, — во время гражданской войны не только сограждане, но и родственники часто становятся врагами. — Уходите, заклиная вас, уходите! Ничто не разлучит меня с моим добрым отцом, только эти злосчастные семейные

раздоры.., да и ваше присутствие совсем некстати.., оставьте нас, ради бога!

— Вот как, сударыня, — оборвал ее вспыльчивый старый баронет, — вы уж начинаете командовать! Это вам не к лицу! Вы бы стали распоряжаться моей свитой не хуже Гонерильи и Реганы. Но говорю тебе — как ни жалка эта лачуга, здесь сейчас мой дом, и ни один человек не покинет моего дома, пока не выскажет всего, что хочет, вот так, как сейчас говорит высокомерным тоном этот молодой человек с насупленными бровями. Выкладывайте все, сэр, все, что у вас есть против меня.

— Не бойтесь, я не вспыхну, мисс Алиса, — твердо и спокойно сказал Эверард, — а вы, сэр Генри, не думайте, что если я говорю твердым тоном, значит я раздражен или назойлив. Много жестоких обвинений вы мне бросили — если бы я руководствовался только дикими идеями романтического рыцарства, то из уважения к своему роду и к мнению света мне не следовало бы прощать это даже такому близкому родственнику. Угодно вам выслушать меня терпеливо?

— Если вы настаиваете на праве защищаться, — решительно отвечал старый баронет, — видит бог, я

выслушаю вас терпеливо, даже если речь ваша будет на две трети предательской, а на одну — богохульной.

Только говорите покороче, наш разговор и так длится слишком долго.

— Я буду краток, сэр Генри, — ответил молодой человек, — хоть и трудно несколькими фразами оправдать свою жизнь, жизнь короткую, но деятельную — слишком деятельную, судя по вашему негодующему жесту. Но я отвергаю это обвинение. Не поспешно и безрассудно обнажил я шпагу в защиту тех, чьи права были попорчены и чья вера подверглась преследованию. Не хмурьтесь, сэр,

вы смотрите на дело иначе, а я смотрю так. Что же до моих религиозных принципов, над которыми вы насмехаетесь, то, поверьте, они хоть и не основаны на установленных формах, но не менее искренни, чем ваши; они чище — простите мне это слово, — потому что не запятнаны теми кровожадными законами варварского века, которые вы и многие другие называют кодексом рыцарской чести.

Не мои естественные склонности, а правое учение, внушенное мне верой, дало мне возможность не отвечать на ваши грубые оскорбления такими же упреками и бранью. Вы можете

сколько угодно оскорблять меня, я должен терпеть, не только потому, что мы родственники, но также и из милосердия. Мы, сэр Генри, придаем милосердию большое значение. Но мне нужно обладать большой силой воли, чтобы оставить в ваших руках тот дар, которого я жажду больше всего на свете; долг велит ей поддерживать и утешать вас, и было бы грешно дать вам возможность в ослеплении вашем оттолкнуть свою утешительницу.

Прощайте, сэр, я на вас не сержусь, я вас жалею.

Может быть, мы встретимся в лучшие времена, когда ваше сердце и ум преодолеют злосчастные

предрассудки, которые сейчас ослепляют вас. Прощайте! Прощайте, Алиса!

Последние слова он повторил дважды, печально и нежно, в них не было ничего похожего на тот твердый и почти резкий тон, каким он говорил с сэром Генри Ли. С этими словами молодой республиканец повернулся, поспешно вышел из хижины, словно устыдившись нежности, прозвучавшей в его голосе, и твердо и решительно зашагал в лунном свете, который заливал лес и наполнял его осенними тенями.

Как только Эверард ушел, Алиса опустилась на табурет, сплетенный

из ивовых прутьев, как почти вся немудреная мебель Джослайна; в продолжение всего разговора она с трепетом ожидала, что отец в запальчивости перейдет от словесных оскорблений к действию. Теперь она старалась сдерживать слезы, хлынувшие вместе с прерывистыми словами благодарности небу за то, что горячий и бурный разговор между близкими родственниками не кончился бедой. Фиби Мейфлауэр тоже плакала за компанию с Алисой; хоть она мало поняла из того, что происходило, но и этого было довольно, чтобы потом рассказывать полдюжине товарок, как ее старый

хозяин, сэр Генри, разъярился и чуть не подрался с молодым мистером Эверардом за то, что тот хотел похитить молодую госпожу. «И чего бы лучше, — добавила Фиби, — ведь у старика ничего не осталось ни для мисс Алисы, ни для себя, ну а что до мистера Марка Эверарда и нашей барышни, то они говорили друг другу такие нежности, каких не найдешь даже в истории Аргала и Партении [note 12](#), а в книжке сказано, что это была самая верная парочка во всей Аркадии и даже во всем Оксфордшире».

Красный чепец Желликот во время скандала не ваз просовывался в дверь кухни, но достойная матрона,

полуслепая и почти глухая, была лишена двух средств общения и хоть и поняла инстинктивно, что знатные люди бранятся, но о чем они спорят и почему выбрали местом своей ссоры хижину Джослайда — оставалось для нее загадкой.

А каково же было расположение духа старого рыцаря, после того как племянник перед уходом обрушился на дорогие для него принципы? По правде говоря, он был не до такой степени расстроен, как ожидала дочь. Вероятно, смелый тон, каким племянник защищал свои религиозные и политические убеждения, скорее укротил, чем разжег его гнев. Он хоть и не терпел

возражений, по увертки и отговорки больше претили прямолинейной натуре старого лесничего, чем мужественная защита и открытый протест; он часто говаривал, что предпочитает того оленя, который на травле проявляет больше смелости. Но все же он проводил уходившего племянника цитатой из Шекспира — у него, как и у многих других, это делалось по привычке и из уважения к любимцу своего злосчастливого государя; сам же он не очень глубоко понимал сочинения Шекспира и не всегда к месту его цитировал.

— Вот заметь, Алиса, — сказал он, — в нужде и черт священный текст припомнит. Подумай, у этого

фанатика, твоего кузена, и борода-то не длиннее, чем у деревенского парня, который представлял деву Марион на майском празднике, когда его сельский брадобрей наспех побрил, но он почище любого бородатого просвитерианина или индепендента выкладывает свои взгляды, бубнит заповеди, громыхает перед нами своими изречениями из священного писания. Жаль, что тут не было достойного и ученого доктора Рочклифа с его залпом из Вульгаты, из греческой библии и еще из разных других книг. Он выбил бы из него протестантский дух, чтоб ему пусто было! Но я рад, что парень не трус: пусть человек поддерживает

дьявола в религии и старика Пола в политике, пусть он кричит во весь голос — это все же лучше, чем наносить предательский удар или сбивать со следа. Ну, полно, утри глаза, спор этот кончен и вряд ли скоро повторится.

Слова его подбодрили Алису, она поднялась с места и, все еще не успокоившись, занялась приготовлениями к ужину и ночлегу в новом жилище. Но слезы у нее лились ручьем, как она ни старалась их скрыть; хорошо еще, что Фиби, хотя по наивности не могла понять глубину ее отчаяния и выразить ей свое сочувствие, деятельно помогала ей.

С большим рвением и ловкостью Фиби принялась накрывать на стол и готовить постели; она то кричала в самое ухо почтенной Джелликот, то шепталась со своей барышней, причем искусно делала вид, что только выполняет приказания Алисы. Когда холодные яства были выставлены на стол, сэр Генри Ли ласково заставил дочь поесть, косвенно заглаживая свою вину; сам же он, как и подобает старому служаке за ужином — своей любимой трапезой, доказал, что ни ссоры, ни злключения того дня, равно как и думы о следующем, не могут лишить его аппетита. Он съел больше половины каплуна, первый

бокал поднял за реставрацию Карла Второго, затем осушил всю бутылку; он был из тех людей, которым, чтобы поддержать пламя своей ненависти, нужно было много стаканов. Он даже затянул песню «Король опять свое вернет». Фиби хохотала до слез, и тетушка Джелликот вопила не в такт и не в тон, — они вторили ему, чтобы он не заметил молчаливости мисс Алисы.

Наконец веселый баронет отправился па покой, растянулся на соломенном тюфяке в каморке подле кухни и быстро и крепко заснул — новая обстановка на него не повлияла. Алиса спала не так спокойно на плетеной кровати в

спальне почтенной Джелликот, а сама матрона и Фиби улеглись в той же комнате на сенник и мерно похрапывали, как все те, кто в поте лица зарабатывает хлеб свой и кого утром опять ждет трудовой день.

Глава V

*К таким речам язык
мой непривычен,*

*Топорных фраз ему не
одолеть;*

*Пускай в них есть
величье, но они*

*На языке моем висят,
как цепи:*

*Так юношу Давида
лишь стесняла*

*Царя Саула тяжкая
броня.*

Дав. В.

Тем временем Маркем Эверард

шагал по направлению к замку вдоль одной из широких просек, тянувшихся по лесу; просека то сужалась, то расширялась, ветви то сплетались у него над головой, то раздвигались, пропуская лунный свет; иногда они расступались, образуя небольшие лужайки или поляны, залитые серебристыми лучами, — этот волшебный свет играл на дубах, на их темной зелени, сухих сучьях и массивных стволах; такой пейзаж мог привести в восторг поэта или художника.

Но Эверард если и думал о чем-нибудь, кроме тягостной сцены, в которой ему только что пришлось участвовать и которая, казалось,

разбила все его надежды, то разве лишь об осторожности, необходимой при ночных прогулках. Время было смутное и тревожное, дороги кишели дезертирами, особенно из роялистов — прикрываясь своими политическими взглядами, они мародерствовали и разбойничали по всей стране. Браконьеры — а они всегда бывают отчаянными головорезами — наводняли теперь Вудстокский заповедник. Словом, время и место были настолько небезопасны, что Маркем Эверард держал заряженные пистолеты за поясом, а обнаженную шпагу под мышкой — он был готов отразить любое нападение.

Пересекая одну из лужаек, он услышал, что колокола в вудстокской церкви звонят к вечерне, но звуки затихли, когда он вступил на темную просеку.

В этот момент он услышал, что кто-то посвистывает; свист становился все громче — очевидно, человек приближался. Вряд ли это был единомышленник — члены секты, к которой принадлежал Эверард, считали непристойной всякую музыку, кроме пения псалмов.

«Если человеку весело, пусть поет псалмы» — так гласила заповедь, и они понимали ее буквально, да и применяли так же

некстати, как и другие заповеди в этом роде. Но посвистывание длилось очень уж долго, оно не могло быть сигналом для ночных бродяг и звучало так весело и добродушно, что не наводило на мысль о злых помыслах. А путник тем временем перестал свистеть и во все горло запел разухабистую песенку, какой кавалеры в былые времена впускали ночных сов:

Кавалеры, бравый вид!

Кавалеров бог хранит!

Оплеуху, оплеуху

Вельзевулу прямо в ухо!

Оливер от страха весь дрожит!

— Что-то знаком мне этот голос, — сказал Эверард, осторожно взводя курок пистолета, который он вытащил из-за пояса и держал в руке. А певец тем временем продолжал:

Ахни, трахни,
По башке бабахни!

— Эй, эй, — закричал Маркем, — кто идет? Ты за кого?

— За церковь и короля, — ответил голос и сразу прибавил:

— Нет, нет, черт меня возьми, я хотел сказать — против церкви и короля, за тех, кто берет верх, вот забыл только, кто они такие.

— Да это, кажется, Роджер

Уайldreйк? — воскликнул Эверард.

— Он самый.., собственной персоной. Из Скуоттлси-мир, из сырого Линкольншира.

— Уайldreйк — валяй-дурак! — вскричал Маркем. — Ты, видно, здорово промочил себе глотку, а теперь горланишь песни совсем в духе наших дней!

— Поверь, Марк, песенка хоть куда, жаль только — немножко устарела.

— Кому и попадаться-то навстречу, — сказал Эверард, — как не загулявшему пьяному роялисту, отчаянному и опасному во хмелю, да еще в ночное время. А что, если бы я наградил тебя за песню пулей в

глотку?

— Ну что ж, купил бы мне новую глотку, вот и все! — ответил Уайldreйк. — Но куда ты идешь этой дорогой? Я-то думал найти тебя в хижине.

— Мне пришлось уйти оттуда, потом расскажу почему, — ответил Маркем.

— Что такое? Старый баронет, помешанный на пьесах, разозлился, или, может, Хлоя была неприветлива?

— Полно шутить, Уайldreйк, для меня все кончено, — сказал Эверард.

— Вот так дьявол! — вскричал Уайldreйк. — И ты говоришь об

этом так спокойно? Подумать только!

Воротимся-ка туда вместе... Я за тебя похлопочу...

Уж я-то знаю, чем подхлестнуть старика рыцаря и хорошенькую девицу... Дай только я докажу, что ты *rectus in curia* [note 13](#), ты, лицемерный плут. Черт возьми, сэр Генри Ли, скажу я, нечего отрицать, что ваш племянник немножко пуританин, но я все-таки ручаюсь, что он джентльмен и человек порядочный, да и хорош собой... Мадам, скажу я, может, вы думаете, что ваш кузен похож на ткача, распевającego псалмы в уродливой фетровой шляпе, в жалком коричневом плаще, с белым

галстучком, вроде детских завязочек, а сапожищи у него такие, что на каждый пошла кожа с целого теленка; но наденьте ему набекрень касторовую шляпу с пером, приличествующим его званию, повесьте ему на бок толедский клинок, вышитую перевязь, эфес с инкрустацией вместо этой тонны железа в виде черного Андреа Феррара, меча с рукояткой как корзина; вложите ему в уста галантные речи — и, клянусь кровоточащими ранами Христа, мадам, скажу я...

— Полно, Уайлдрейк, вздор болтать, — прервал его Эверард. — Скажи-ка, ты не очень пьян, можешь

выслушать меня серьезно?

— Ну, еще бы, приятель, я ведь пропустил только пару четвертей с пуританскими круглоголовыми солдатами там, в городе. Черт меня возьми, я их всех за пояс заткнул! Гнусавил, ворочал глазами, когда брался за кружку... Тьфу! И вино-то пахло притворством! Сдается мне, негодяй капрал под конец кое-что пронюхал, зато солдаты ничего не заподозрили, даже попросили прочитать молитву над следующей четвертью.

— Вот об этом-то я и хотел поговорить с тобой, Уайлдрейк, — сказал Маркем, — как ты считаешь, ведь я тебе друг?

— Верный, как клинок! Мы были неразлучны еще в университете, и в Линкольн-Инн мы были словно Нис и Эвриал, Тесей и Пирифой, Орест и Пилад, а если всех их замесить вместе, да еще с пуританской закваской, так получатся Давид и Ионафан. Нас не могла разлучить даже политика, а ведь этот клип разъединяет родственников и друзей, как железо расщепляет дуб.

— Верно, — согласился Маркем, — и когда ты последовал за королем в Ноттингем, а я вступил в армию Эссекса, мы поклялись при расставании: на чьей бы стороне ни оказалась победа, тот из нас, кто

будет в числе победителей, поддержит менее удачливого Друга.

— Правда, приятель, правда, и разве ты мне уже не помог? Не ты ли спас меня от веревки? И не тебе ли я обязан тем, что сыт?

— Дорогой Уайлдрейк, я сделал только то, что и ты сделал бы для меня, сложишь все иначе. Вот об этом-то я и хочу с тобой поговорить. Зачем ты мне мешаешь помогать тебе? Это ведь и так нелегкое дело.

Зачем ты лезешь в компанию солдат или им подобных? Ты ведь так легко можешь войти в раж и выдать себя. Зачем ты слоняешься попусту, горланишь роялистские песни, как какой-нибудь пьяный кавалерист из

войск принца Руперта или чванливый телохранитель Уилмота?

— Потому что в свое время я, может, был и тем и другим, ты ведь не знаешь, — ответил Уайлдрейк. — Черт возьми! Неужто мне нужно все время напоминать тебе, что наше обязательство помогать друг другу, наш, если можно так выразиться, оборонительно-наступательный союз должен существовать независимо от политических и религиозных взглядов подзащитной стороны и без малейших обязательств согласовывать свои взгляды со взглядами другого.

— Верно, — сказал Эверард, — но с одной важной оговоркой:

подзащитный должен внешне подчиняться заведенным порядкам, для того чтобы другу было легче и безопаснее защищать его. А ты все время срываешься, подвергаешь себя опасности и бросаешь тень на мою репутацию.

— Говорю тебе, Марк, и я повторил бы это твоему тезке святому апостолу, ты ко мне несправедлив.

Ты ведь с колыбели привык к воздержанию и лицемерию, тебя приучали к ним с пеленок до женевского плаща — это у тебя в крови, и, конечно, тебе непонятно, что прямолинейный, веселый, честный парень, который привык

всю жизнь резать правду, особенно когда находит ее на дне бутылки, не может быть таким педантом, как ты. Дудки! Нет между нами равенства. Опытный пловец тоже порой укоряет новичка — он ведь спокойно остается под водой десять минут, а тот готов лопнуть через двадцать секунд на глубине в шестьдесят футов. В конце концов, если принять во внимание, что для меня притворство — в новинку, думается мне, я неплохо с этим справляюсь...

Испытай-ка меня!

— Есть какие-нибудь вести о вустерской битве? — спросил Эверард серьезным тоном, который ввел его приятеля в заблуждение;

ответ был быстрым и откровенным:

— Худо, черт меня возьми, во сто раз хуже, чем было. Разбиты наголову. Мол, конечно, продал душу дьяволу, но когда-нибудь ему придется за все заплатить — это единственное наше утешение.

— Ага! Значит, вот как ты ответишь первому красному мундиру, который задаст тебе такой вопрос? — воскликнул Эверард. — По-моему, это самый верный способ оказаться в ближайшей караулке.

— Нет, нет, — смущенно ответил Уайldreйк, — я ведь думал, ты меня серьезно спрашиваешь. Чудесные новости! Великая удача... Ослепительная удача... Завершающая

удача.., достойная, возвышающая. Уверен, что злодеи рассеяны от Дана до Вирсавии.., разбиты наголову на веки веков.

— Слышал ты что-нибудь о раненом полковнике Торнхофе?

— Подох, круглоголовый мошенник, — ответил Уайлдрейк, — хоть в этом-то повезло! Нет, постой, это я оговорился!.. Я хотел сказать — прекрасный, благочестивый юноша!

— А что слышно про молодого наследника, короля шотландского, как его называют? — спросил Эверард.

— Ничего, разве только, что на него охотятся в горах, как на куропатку. Да поможет ему бог и да

поразит врагов его. Хватит, Марк Эверард, надоело мне дурачиться. Ты что, не помнишь, на представлениях в Линкольн-Инн я играл не хуже других, но меня никак не могли заставить играть всерьез на репетициях. Ты, правда, редко в этом участвовал. Вот и теперь то же самое. Я слышу твой голос и чистосердечно на все отвечаю, а когда я в компании твоих гнусавых приятелей, ты видел, что я играю свою роль довольно прилично.

— Разве что прилично, — заметил Эверард, — ведь с тебя ничего особенного и не спрашивают, только будь поскромнее и помалкивай. Говори поменьше и

постарайся отучиться от проклятий и свирепых взглядов.., да шляпу надвинь поглубже на лоб.

— Да, вот это труднее всего. Я всегда славился тем, что изящно ношу шляпу. Худо, когда достоинства человека оборачиваются против него.

— Не забудь, что ты мой клерк.

— Секретарь, — поправил Уайлдрейк, — сделай милость, назначь меня своим секретарем.

— Лучше, если ты будешь только клерк, простой клерк, и помни — ты должен быть вежливым и покорным... — ответил Эверард.

— Но вы, мистер Маркем Эверард, не должны мной командовать с таким высокомерным

видом. а ведь на три года раньше тебя и звание-то получил.

Черт меня возьми, не знаю, как мне и быть.

— Ну есть ли еще такой упрямец на свете! Ради меня если уж не хочешь ради себя самого, подчини свои глупые причуды голосу рассудка. Подумай, чем я рискую, какую опасность навлекаю из-за тебя на свою голову.

— Знаю, ты ведь настоящий друг, Марк, — ответил роялист, — и ради тебя я готов на все. Но не забудь кашлянуть и сказать «гм», если увидишь, что я перехожу границы. А теперь ответь-ка мне, где мы устроимся на ночь?

— В Вудстокском замке — нам надо присмотреть за дядиным имуществом, — сказал Маркем Эверард, — мне доложили, что солдаты захватили замок. Но как это могло случиться, раз ты видел, что они пьянствуют в городе?

— Какой-то их комиссар, секретарь, или как там этого негодяя называют, пошел в замок — я проследил за ним.

— В самом деле? — спросил Эверард.

— Святая истина, говоря твоими словами, — продолжал Уайлдрейк. — Каких-нибудь полчаса назад я бродил там, искал тебя и заметил свет в замке. Иди-ка за

мной, сам увидишь.

— В северо-западном крыле, — спросил Эверард, — в окне той комнаты, что называют гостиной Виктора Ли?

— Ну да, — продолжал Уайлдрейк, — я ведь долго служил в отряде Ленсфорда и привык к патрульной службе... Вот я и сказал себе: «Будь я проклят, если оставлю свет у себя в тылу и не узнаю, что там такое». К тому же ты, Марк, столько рассказывал про свою хорошенькую кузину, вот я и подумал, почему бы мне не посмотреть на нее.

— Безрассудный, неисправимый человек! Какой опасности ты

подвергаешь и себя и друзей своих из-за собственного беспутства! Ну, рассказывай дальше.

— Клянусь этим дивным лунным светом, ты, кажется, ревнуешь, Марк Эверард, — рассмеялся его веселый спутник. — И напрасно. Я хоть и стремился поглядеть на эту даму, но честью своей был защищен от чар твоей Хлои... Потом, дама ведь меня бы не увидела и не смогла бы сделать сравнения не в твою пользу. Ну и, наконец, дело обернулось так, что мы с ней не встретились.

— О, в этом я уверен. Мисс Алиса ушла из замка задолго до заката и больше туда не

возвращалась.

Что же ты там увидел, раз понадобилось столь длинное вступление?

— Да ничего особенного, — ответил Уайлдрейк, — я забрался на какой-то карниз (я ведь лазаю как бродячая кошка) и уцепился за плюш и лозы, растущие вокруг; поэтому я и смог свободно заглянуть в комнату, о которой ты говоришь.

— Ну, и что же ты там увидел? — строго спросил Эверард.

— Я уже сказал: ничего особенного, — ответил роялист, — теперь ведь не диво, что чернь пирует в королевских или дворянских покоех. Увидел я, как два

мошенника опустошают солидную флягу бренди и жрут огромный жирный пирог с олениной прямо на дамском рабочем столике. Один из них бренчал на лютне.

— Негодяи бессовестные! — вскричал Эверард. — Это же лютня Алисы!

— Молодец... Очень рад, что расшевелил такую флегму, как ты. Я нарочно подбросил в свой рассказ лютню и столик, хотел высечь из тебя хоть искру человеческого чувства, святоша ты этакий!

— Что это были за люди? — спросил молодой Эверард.

— Один, как и все вы, — фанатик с кислым лицом, в обвислой

шляпе, в длинном плаще — должно быть, это и есть тот комиссар или секретарь, про которого я слышал в городе; другой — коренастый, здоровенный детина, за поясом — охотничий нож, черные волосы, белые зубы и веселая улыбка, рядом с ним — огромная дубина. Думаю, что это здешний егерь или оруженосец.

— Первый, должно быть, любимец Десборо, Верный Томкинс, — заметил Эверард, — а другой — егерь Джослайн Джолиф. Томкинс — правая рука Десборо, индипендент, на него нисходит благодать, как он сам говорит. Кое-кто думает, что дело тут в ловкости, а не в благодати. Слышал я, что он из

всего умеет извлечь пользу.

— И я видел, что он это умеет делать, по фляжке было заметно. Вот только дьявол устроил так, что на старой стене подо мной обвалился камень. Растяпа вроде тебя раздумывал бы целый век, что делать, он бы уж непременно полетел вслед за камнем, прежде чем на что-нибудь решиться. А я, Марк, прыгнул, как белка, уцепился за ветку плюща и замер, но меня чуть не подстрелили: шум всполошил их. Оба выглянули в окно и заметили меня, фанатик схватил пистолет — ты ведь знаешь, что это священное писание они всегда носят на поясе рядом с карманной библией; егерь

взялся за дубинку.., ну, а я принялся хохотать и строить им рожи: тебе ведь известно, что я могу гримасничать, как обезьяна, этому меня выучил француз-комедиант, он умел щелкать челюстями, словно щелкунчик. Потом я легонько спрыгнул на траву и понесся прочь, да все держался поближе к стене, пока возможно было; даю слово, они приняли меня за своего собрата дьявола, который явился к ним без зова. До чего ж они перепугались!

— Как ты неосторожен, Уайldreйк, — заметил его спутник, — сейчас мы придем в замок, что будет, если они тебя узнают?

— А в чем мое преступление? Со времен Тома из Ковентри никто еще не поплатился за любопытство, а он-то получил настоящее удовольствие, не то что я.

Не бойся, они меня не узнают — ведь это все равно что человек, видевший твоего друга Нола только на заседании святош; он не узнает того же самого Оливера на коне, когда тот ведет в атаку эскадрон красных мундиров, или того же Нола, когда он отпускает шутки и прикладывается к бутылке с беспутным поэтом Уоллером.

— Тес.., ни слова про Оливера, если дорожишь своей жизнью и моей. Со скалой, откуда можешь

свалиться, шутки плохи... Но вот и ворота... Сейчас мы прервем забавы наших достойных джентльменов.

С этими словами он постучал во входную дверь огромным тяжелым молотком.

— Трах-тах-тах, — произнес Уайлдрейк, — славная встряска для вас, роганосцы вы круглоголовые.

Затем он пропел, гримасничая, бравурную песенку:

Рогоносцы, полно спать!
Рогоносцы, время встать!

Надо, роганосцы, джигу вам сплясать!

— Ради бога! Это уж совсем из

рук вон! — остановил его Эверард, сердито повернувшись к нему.

— Ни капельки, ни капельки, — ответил Уайldreйк, — я просто слегка откашливаюсь, как перед длинной речью. Вот издал боевой клич, а теперь целый час буду серьезным.

В эту минуту в холле слышались шаги, калитка в огромной двери приоткрылась, но осталась на предохранительной цепочке. Томкинс, а за ним и Джослайн появились в просвете, освещенные лампой, которую Джослайн держал в руке; Томкинс спросил о причине шума.

— Требую, чтобы меня

немедленно впустили! — заявил Эверард. — Джолиф, ты ведь меня хорошо знаешь?

— Как же, сэр, — подтвердил Джослайн, — и от души хотел бы принять вас, да видите ли, сэр, я уже ключам не хозяин. Вот джентльмен, который мною распоряжается, — помоги мне господь пережить эти времена.

— И когда же этот джентльмен, который, сдается мне, служит лакеем у мистера Десборо...

— Недостойным секретарем его чести, если позволите, — вмешался Томкинс, а Уайлдрейк шепнул Эверарду на ухо:

— Не буду я больше секретарем!

Правда твоя, Марк, клерк — более благородное звание.

— Если вы секретарь мистера Десборо, то, полагаю, вы хорошо знаете меня и мой чин, — сказал Эверард, обращаясь к индипенденту, — и не откажетесь предоставить в замке ночлег мне и моему провожатому.

— Конечно, конечно, — заторопился индипендент, — если только ваша милость считает, что здесь вам будет лучше, чем в городе, в том увеселительном заведении, которое горожане непристойно зовут гостиницей святого Георгия. Больших удобств здесь нет, ваша честь, к тому же нас только что до

смерти напугало появление сатаны, хотя его огненные стрелы теперь и потушены.

— В этом замке всего можно ожидать, господин секретарь, — ответил Эверард, — вы можете поговорить об этом, когда вам в следующий раз заблагорассудится выступать в роли проповедника. Но я не потерплю, чтобы меня дольше задерживали на холодном осеннем ветру. Если вы меня сейчас же не примете достойным образом, я пожалуюсь на вас вашему начальнику за дерзкое поведение при исполнении служебных обязанностей.

Секретарь Десборо не посмел

больше сопротивляться: все знали, что сам Десборо достиг своего положения только благодаря родству с Кромвелем, а главнокомандующий, который в то время уже пользовался почти неограниченной властью, как всем было известно, весьма благоволил к Эверардам — отцу и сыну. Правда, Эверарды были пресвитериане, а Кромвель — индипендент; хотя они разделяли его строгость в вопросах морали и религиозный пафос, присущий большинству в парламенте, они не были склонны, подобно многим, держаться крайней точки зрения в этих вопросах. Но известно было и то, что Кромвель не всегда

руководствовался собственными религиозными убеждениями при выборе фаворитов, а благосклонно относился к тем, кто мог быть ему полезен, даже если, как говорили тогда, те вышли из тьмы египетской. Старший Эверард пользовался репутацией человека благоразумного и проницательного; кроме того, он был из хорошей семьи и обладал значительным состоянием; его поддержка придавала бы вес любому лагерю. Да и сын его уже отличился на военном поприще, он слыл среди подчиненных человеком дисциплинированным, храбрым в бою и гуманным, когда нужно было смягчить значение победы.

Подобными людьми нельзя было пренебрегать, когда выяснилось, что политические группы, свергнувшие и казнившие короля, начинают враждовать между собой из-за дележа добычи. Поэтому Кромвель заигрывал с обоими Эверардами, и считалось, что влияние их на главнокомандующего весьма значительно; вот почему мистер Томкинс, верный секретарь, не захотел подвергать себя опасности, споря с полковником Эверардом из-за такой мелочи, как устройство на ночлег.

Джослайн, со своей стороны, старался по мере сил — зажег больше свечей, подбросил дров в

очаг; прибывших провели в гостиную Виктора Ли, как ее называли из-за портрета над камином, уже описанного нами. Вид дома, где полковник Эверард провел самые счастливые часы своей жизни, так сильно повлиял на него, что прошло несколько минут, прежде чем он вновь обрел свое обычное стоическое спокойствие. Вот секретер, который всегда вызывал у него чувство восхищения, когда сэр Генри Ли давал ему наставления по рыболовству, доставал оттуда крючки и удочки и объяснял, как сделать искусственную приманку, что было тогда новинкой. Вот висит старинный фамильный портрет,

который благодаря таинственным рассказам дяди вызывал у Эверарда, даже когда он был подростком, чувство страха, смешанного с любопытством. Он помнил, как, оставшись один в комнате, замечал, что пристальный взгляд старого воина всегда встречался с его взглядом, в какую бы часть комнаты он ни отходил, и как это необъяснимое свойство портрета смущало его детское воображение.

Затем на него нахлынуло множество дорогих его сердцу воспоминаний о нежной привязанности к своей милой кузине Алисе, о том, как он помогал ей учить уроки, приносил воду для

цветов, аккомпанировал, когда она пела; он вспомнил, как однажды отец ее посмотрел на них с добродушной и веселой улыбкой и пробормотал: «Если дело так обернется — что ж, может это будет к лучшему для обоих?» — и планы о будущем счастье, рожденные этими словами. Все эти мечты были рассеяны звуком фанфар, призвавшим сэра Генри Ли и его самого во враждебные лагеря; а события этого дня показали, что успехи Эверарда как воина и государственного деятеля совершенно исключили возможность осуществления этих планов.

Он отвлекся от таких печальных дум, когда вошел Джослайн. Егерь

был навеселе, но делал все с такой быстротой и ловкостью, каких трудно было ожидать от человека, пропировавшего целый вечер.

Егерь пришел за приказаниями полковника относительно ночлега.

— Угодно ли вам откусать чего-нибудь?

— Нет..

— Угодно ли его чести спать в постели сэра Генри Ли? Она уже приготовлена.

— Да.

— А постель мисс Алисы прикажете приготовить для секретаря?

— Нет, или ты заплатишься своими ушами! — воскликнул

Эверард.

— Где тогда прикажете поместить достойного секретаря?

— Хоть в собачьей конуре, если желает, — ответил полковник Эверард, — но эту комнату никому не позволено осквернять. — Он подошел к спальне Алисы, выходявшей в гостиную, запер дверь и вынул ключ.

— Угодно вашей чести приказать еще что-нибудь относительно ночлега?

— Ничего, только выставить из дома этого человека. Со мной останется мой клерк. Мне нужно написать несколько приказов... Постой-ка... Ты отдал утром мое

письмо мисс Алисе?

— Отдал.

— Ну и что она сказала, добрый Джослайн?

— Она, кажется, очень огорчилась, сэр; сдаётся мне, что даже всплакнула немножко; право же, вид у нее был очень расстроенный.

— А что она поручила мне передать?

— Ничего, пусть ваша честь не обидится. Она начала было говорить: «Скажи кузену Эверарду, что я при первом удобном случае передам отцу добрые предложения дяди, но боюсь...» Тут она замолчала и потом добавила: «Я напишу кузену, может

быть, я не сразу смогу поговорить с отцом. Приходи за ответом после обедни». Я и пошел от нечего делать в церковь, а когда вернулся в замок, вижу — этот парень требует, чтобы мой господин сдавался. А я, хочешь не хочешь, должен ввести его во владение замком.

Хотел было я предупредить вашу милость, что старый баронет и молодая хозяйка застанут вас в моей норе, да вот не вышло.

— Ты все прекрасно устроил, добрый друг, я не забуду твою услугу... А теперь, господа, — сказал он, обращаясь к двум клеркам или секретарям, которые в это время спокойно сидели за глиняной

бутылкой и беседовали по душам со стаканами в руках, — позвольте вам напомнить, что время уже позднее.

— Но в бутылке еще что-то булькает, — возразил Уайldreйк.

— Кх, кх, кх, — кашлянул полковник парламентских войск; и хотя уста его не произнесли проклятия по поводу дерзости его спутника, не поручусь, что в душе он этого не сделал.

— Ну, — сказал он, заметив, что Уайldreйк налил себе и Томкинсу еще по стакану, — выпейте на прощание и расходитесь.

— Не угодно ли вам сначала узнать, — сказал Уайldreйк, — что сей достойный джентльмен сегодня

видел, как дьявол заглядывал вот в это окно. Он считает, что дьявол здорово похож на покорного слугу и недостойного писца вашей милости. Вы только послушайте, сэр, и отведайте стаканчик полезительной настойки.

— Я не стану пить, сэр, — строго сказал полковник Эверард, — а вам замечу, что вы пропустили слишком уж много стаканчиков. Мистер Томкинс, сэр, желаю вам доброй ночи.

— А сейчас — поучительное слово при расставании, — начал Томкинс, вставая; он оперся на спинку высокого кожаного кресла, откашлялся и засопел так, как будто

готовился произнести проповедь.

— Простите меня, сэр, — твердо заметил Маркем Эверард, — вы сейчас недостаточно владеете собой, чтобы поучать других.

— Горе тем, кто не внемлет... — проговорил секретарь комиссаров, выбегая из комнаты; стук двери заглушил конец его речи или он не договорил ее, испугавшись последствий.

— А теперь, сумасбродный Уайлдрейк, отправляйся в постель, она вон там, — он показал на покои баронета.

— А спальню дамы ты поберег для себя? Видел я как ты положил ключ в карман!

— Не хочу... Просто не смогу заснуть в той комнате... Сегодня я нигде не засну. Просижу в этом кресле. Я приказал принести дров, чтобы поддержать огонь. Спокойной ночи. Ложись в постель и выспись после попойки.

— Попойка! Смешно слушать тебя, Марк, чертов трезвенник. Ты даже и понятия не имеешь, что может совершить приличный малый за доброй чаркой.

«В этом несчастном соединились пороки целой партии, — сказал про себя полковник, искоса следя за тем, как его [protege](#) [note 14](#) нетвердым шагом брел в спальню. — Головорез,

пьяница, кутила. Если я не переправлю его благополучно во Францию, он, без сомнения, погубит нас обоих. Однако ж он добр, храбр, великодушен и, конечно, сам сделал бы для меня все то, чего сейчас ожидает от меня; а в чем же твоя заслуга, если ты выполняешь только те обязательства, которые не могут тебе повредить? Но я все-таки постараюсь обезопасить себя от дальнейших вторжений с его стороны».

С этими мыслями он запер дверь из спальни, куда удалился роялист, в гостиную, потом, в раздумье походив по комнате, вернулся на свое место, поправил

огонь в лампе и вынул из кармана несколько писем.

— Прочту-ка я эти письма еще раз, — сказал он, — может быть, мысли о государственных делах отвлекут меня от моих собственных горестей. Милосердный боже! Чем же все это кончится? Для защиты родины мы пожертвовали согласием в своих семьях, самыми лучшими устремлениями молодых сердец, а получается, что каждый шаг к свободе раскрывает перед нами новые, еще более страшные бедствия; так человек, карабкающийся на горные вершины, с каждым шагом подвергается все большей опасности.

Он долго и внимательно читал

утомительные и запутанные письма, в которых авторы, твердя о славе божьей, о свободе Англии как единственной своей цели, не могли за витиеватыми выражениями скрыть от проницательного Маркса Эверарда, что главными движущими пружинами их действий были своекорыстие и тщеславие.

Глава VI

Как смерть, украдкой к
нам приходит сон,

*Мы ждем его, но все
ж он гость нежданный.*

Порой мы говорим о
нем с презрением —

Гордится *тем*
скорбящий человек,

Что отдыха его
печаль не знает, —

Но и вдовец, и
страждущий любовник,

*И даже узник накануне
казни*

Покорны сну; им

*кажется, что горе
Вооружило их против
него,
Но он, проникнув в
крепость — в наше тело,
Штурмует гордый
гарнизон — наш дух.*

Херберт

Полковник Эверард на
жизненном опыте познал правду,
заключенную в стихах этого
своеобразного поэта минувших
времен. Среди собственных
несчастий и беспокойства за родину,
давно уже раздираемую
междоусобной войной, Эверард и его

отец мало верили в то, что в скором времени будет создана твердая и хорошо организованная форма правления. Подобно многим своим современникам, они обратили взоры на генерала Кромвеля, как на человека, который благодаря своей доблести стал кумиром Англии, человека, чьим главным талантом была проницательность, кто покориł парламент так же, как до этого — своих противников на поле боя; только он один в этих условиях мог «спасти нацию», как тогда говорили, другими словами — взять в свои руки управление страной. Считалось, что генерал был высокого мнения об отце и сыне. Но по некоторым

причинам Маркем Эверард начал сомневаться, так ли искренне расположение Кромвеля, как думали многие. Он знал, что Кромвель — тонкий политик, умеющий скрывать свое истинное отношение к людям и событиям до тех пор, пока его можно будет проявить без ущерба для собственных интересов. Он знал также, что генерал — не такой человек, который сможет забыть о том, как пресвитерианская партия противилась тому, что Оливер называл «великим делом», а именно — суду над королем и его казни. Тут взгляды Маркем а и его отца полностью совпадали, и ни доводы, ни даже угрожающие намеки

Кромвеля не смогли заставить их поступиться своими убеждениями, а тем более — позволить включить свои имена в состав комиссии, которая должна была вести памятный судебный процесс.

Эти сомнения на некоторое время охладили дружбу между генералом и Эверардами, отцом и сыном.

Но Маркем оставался в армии и сражался под знаменами Кромвеля в Шотландии, а затем под Вустером, и его доблесть не раз вызывала одобрение генерала. Так, после сражения при Вустере он был упомянут в числе отличившихся офицеров; Оливер, придававший

больше значения фактической власти, чем титулу, под которым он ее осуществлял, хотел произвести этих офицеров в кавалеры своего знамени; только с большим трудом его от этого отговорили.

Вот почему казалось, что прошлые разногласия вычеркнуты из памяти, и Эверарды опять заняли прочное место в сердце генерала. Кое-кто, правда, сомневался в этом и пытался переманить многообещающего молодого офицера на сторону других групп, существовавших в молодой республике. Но он оставался глух к таким предложениям. «Довольно уж пролито крови, — говорил он, —

пора народу и отдохнуть.

Правительство должно быть устойчиво, достаточно сильно, чтобы охранять собственность, и достаточно милосердно, чтобы восстановить общественный порядок». Он считал, что этого можно достичь только при помощи Кромвеля, да и большая часть Англии была того же мнения. Правда, те, кто склонялся перед силой удачливого полководца, забывали о целях, во имя которых они обнажили меч против сторонников покойного короля. Но во время революции твердые и возвышенные принципы часто вынуждены отступить перед

стечением обстоятельств, и нередко люди, начав войну во имя какой-нибудь метафизической идеи, с радостью заключали мир, лишь бы вернуть общественное спокойствие. Так после долгой осады гарнизон рад даже сдаться во имя сохранения жизни.

Полковник Эверард признавал, почему он поддерживает Кромвеля: он считал самым меньшим злом — поставить во главе государства человека с умом и авторитетом генерала; он понимал, что и сам Оливер склонен считать его отношение к себе не очень ревностным и постоянным и платит ему тем же.

Настал, однако, час подвергнуть испытанию дружеские чувства генерала. Давно уже было вынесено решение о конфискации Вудстока и комиссарам был выдан ордер на право распоряжаться им как государственной собственностью, но благодаря влиянию старшего Эверарда исполнение приказа откладывалось на недели и месяцы. Приближался момент, когда удар уже нельзя будет отвести, тем более что сэр Генри Ли, со своей стороны, решительно отвергал все предложения подчиниться существующему правительству. Поэтому, когда миновал срок, данный мятежникам на то, чтобы

они могли одуматься, он был занесен в списки неисправимых и злонамеренных роялистов, с которыми Государственный совет решил обойтись сурово. Единственный способ защиты старого баронета и его дочери заключался в том, чтобы, если возможно, заинтересовать судьбой Вудстока самого Кромвеля; взвешивая все обстоятельства, связанные с их взаимоотношениями, полковник Эверард понимал, что просьба, идущая вразрез с интересами Десборо, одного из комиссаров Кромвеля и его зятя, будет трудным испытанием для дружеских чувств генерала. Но

другого пути не было.

С этой целью и по желанию самого Кромвеля, который при прощании настоятельно просил Эверарда письменно сообщить его взгляды на государственные дела, полковник в течение первой половины ночи изложил в письме свои мысли о положении в республике и составил план, который, как он думал, будет одобрен Кромвелем. Он призывал Кромвеля милостью провидения стать спасителем государства, созвать свободный парламент и при его содействии стать во главе демократического и устойчивого правительства, которое сможет

пресечь анархию, начинавшуюся в стране. Дав общий обзор развала в стане роялистов и в других партиях, раздиравших его страну, Эверард показал, как можно достигнуть этой цели без кровопролития и насилия. Отсюда он перешел к тому, что необходимо поддерживать в должном состоянии исполнительную власть, в чьих бы руках она ни находилась; тут он указал Кромвелю как будущему правителю, или консулу, или главнокомандующему Великобритании и Ирландии сферы его деятельности и резиденцию, соответствующую его высокому положению. Затем Эверард перешел к вопросу о разорении королевских

парков и дворцов в Англии, нарисовал горестную картину упадка, угрожающего Вудстоку, и просил сохранить этот живописный заповедник, сделав этим личное одолжение ему, глубоко в этом заинтересованному.

После того как это письмо было написано, полковник Эверард не мог сказать, что слишком возвысился в собственных глазах. До этого дня он в своей деятельности всегда осуждал смешение общественных интересов с личными, а теперь чувствовал, что сам прибегнул к такому компромиссу. Но он успокаивал себя или по крайней мере заглушал эти тягостные мысли; для блага

Великобритании, рассуждал он, непременно нужно, чтобы Кромвель стал главой правительства, а интересы сэра Генри Ли или даже его безопасность и сама жизнь не менее настоятельно требуют, чтобы Вудсток был сохранен и он получил бы возможность жить там. Был ли Эверард виновен в том, что один путь вел к двойной цели и что его личные интересы и интересы страны переплелись в одном и том же письме? Он все-таки заставил себя запечатать пакет гербовой печатью и адресовать его главнокомандующему. После этого он откинулся в кресле и против ожидания заснул, полный тревожных дум. Только серый и

холодный рассвет, заглянув в восточное окно, разбудил его.

Сначала он вздрогнул, приподнявшись в кресле с ощущением человека, который проснулся в незнакомом месте, но окружающая обстановка напомнила ему все. Лампа, смутно мерцавшая на столе, огонь в очаге, почти потухший под золой, мрачный портрет над камином, запечатанное письмо — все это воскресило в его памяти события вчерашнего дня и размышления прошлой ночи.

— Ничего не поделаешь, — сказал он, — либо Кромвель, либо анархия. Вероятно, Кромвель сознает, что пост главы

правительства дан ему только с согласия народа, и это сдержит его откровенную склонность к деспотизму, свойственную каждому властителю. Если Кромвель будет править вместе с парламентом и считаться с интересами подданных, то чем имя «Оливер» хуже имени «Карл»? Но я должен позаботиться о том, чтобы мое послание попало прямо в руки этого будущего государя. Хорошо бы мне первому повлиять на него: ведь найдутся многие, кто без колебаний будет давать ему советы и опрометчивые и жестокие.

Эверард решил доверить
доставку важного письма

Уайлдрейку: его нельзя было оставлять без дела — иначе он начнет вести себя совсем уж легкомысленно и безрассудно; к тому же, хоть на его добросовестность не всегда можно было положиться, он был стольким обязан своему другу, что ради него мог пойти на все.

На этом решении полковник Эверард и остановился он подбросил в камин остаток дров и разжег яркий огонь, ибо совсем зачоченел от холода. Согревшись он опять погрузился в сон и проснулся, только когда утренние лучи проникли в комнату.

Он встал, потянулся, прошелся по гостиной, подошел к окну и

окинул взглядом разросшиеся живые изгороди, запущенные дорожки — в старинных трактатах по садоводству такая часть парка называется зарослями; в былые времена все это содержалось в образцовом порядке и было гордостью искусных садовников: ряды тисов фантастической формы, тенистые аллеи, открытые подстриженные лужайки — все это расстилалось на площади в два или три акра с этой стороны замка и служило границей между ближним садом и рощей. Теперь ограда была сломана во многих местах, и лани со своими детенышами свободно и бесстрашно паслись у самых окон дворца.

В детстве Маркем любил играть в этом саду. Он и теперь мог различить зеленые зубчатые стены готического замка, созданного садовыми ножницами, сейчас разросшиеся и потерявшие форму; туда он обычно пускал свои стрелы или гордо маршировал перед замком; подобно странствующим рыцарям, о которых читал в книжках, он трубил в рог, вызывая на бой воображаемого великана или сарацина, засевшего за зелеными стенами. Он вспомнил, как заставлял свою кузину, хоть она и была на несколько лет моложе его, принимать участие в безудержных полетах его мальчишеского воображения и исполнять роль то

маленького пажа, то феи, то заколдованной принцессы. Он вспомнил многие подробности их дальнейшей дружбы — они неизбежно приводили к одному выводу: с их раннего детства родители лелеяли мысль, что он и его прекрасная кузина составят счастливую пару. Тысячи видений, вызванных этими чудесными надеждами, исчезли вместе с ними, но сейчас опять обступили его, как призраки, и напомнили ему о том, что он потерял — и ради чего? «Ради Англии, — ответил ему разум, — ради Англии, которой угрожает опасность стать добычей ханжества и тирании». Эти мысли помогли ему

подавить в себе душевную слабость. «Если я принес в жертву свое личное счастье, то только для того, чтобы страна моя получила свободу совести и неприкосновенность личности, которой она наверняка лишилась бы и при безвольном короле и при узурпаторе».

Но такой логический ответ не заставил упорный дух сомнения смириться. «Разве твое упрямство, Маркем Эверард, помогло стране? — спрашивал он. — Разве Англия после такого кровопролития и бедствий не лежит под мечом удачливого вояки, как раньше лежала под скипетром монарха, превышавшего свои права? Разве парламент или то, что от него

осталось, может обуздать вождя и властителя солдатских сердец, смелого, коварного, но изворотливого настолько, что невозможно проникнуть в его замыслы?

Разве этот полководец, подчинивший себе армию, а с нею и судьбу родины, сложит с себя власть из-за того, что долг призывает его стать слугой народа?»

Он не мог поручиться, что знает Кромвеля как человека, способного на такое самоотречение. И тем не менее он считал, что в такие беспредельно трудные времена правление Кромвеля будет наилучшим, хотя само по себе оно и маложелательно; оно быстро

восстановит в стране мир и прекратит распри между соперничающими партиями. Он считал, что только Кромвель сможет создать твердое правительство, а поэтому и связал с ним свою судьбу, хоть его раздирали сомнения, следует ли поддерживать планы этого непостижимого и загадочного генерала и совместимо ли это с теми принципами, ради которых он взялся за оружие.

Погрузившись в такие думы, Эверард бросил взгляд на письмо, написанное перед сном и адресованное главнокомандующему. Он все еще колебался, отправить ли его; обдумывая содержание письма,

Эверард размышлял, в какой мере оно свяжет его с Оливером Кромвелем и заставит поддерживать честолюбивые планы главнокомандующего.

— Пусть будет так, — сказал он наконец с глубоким вздохом. — Он самый сильный из соперников, самый мудрый и самый умеренный; он, может быть, и честолюбец, но не самый опасный. Кому-то надо доверить власть, чтобы восстановить и охранять общий порядок, а кто же еще может удержать власть и управлять государством, как не он, глава победоносной английской армии? Что бы ни принесло будущее, сейчас нам больше всего нужны мир

и восстановление законности. Это Охвостье парламента не сможет сохранить авторитет у армии, опираясь на одно лишь общественное мнение. Подчинить армию им удалось бы только силой, а страна и так уже давно залита кровью. Кромвель же сможет договориться с ними, и я верю, что он договорится на таких условиях, которые дадут возможность сохранить мир. К этому он должен стремиться, в это он должен верить при установлении порядка в стране. Увы! Это нужно и для того, чтобы защитить моего упрямого дядю от последствий его искренних, хоть и нелепых заблуждений.

Заглушив, таким образом, грызущие его сомнения, Маркем Эверард твердо решил стать на сторону Кромвеля в надвигающейся борьбе между гражданскими и военными властями; путь этот он избрал совсем не добровольно, но как наиболее приемлемую из двух опасных крайностей в такие трудные времена. Однако он не мог не страшиться, что отец его, до сих пор восхищавшийся Кромвелем и видевший в нем орудие, при помощи которого в Англии было совершено так много замечательных дел, может быть, не захочет поддерживать его в борьбе против Долгого парламента — Эверард-старший был активным и

влиятельным членом парламента до тех пор, пока болезнь не принудила его несколько отойти от дел. Это сомнение полковник тоже должен был рассеять или подавить, и он утешил себя тем доводом, что отец, вероятно, придерживается таких же взглядов, что и он сам.

Глава VII

Полковник Эверард решил наконец без промедления отослать письмо главнокомандующему; он подошел к двери комнаты, откуда доносился мощный храп; судя по этому храпу, изрядно выпивший и усталый Уайldreйк наслаждался глубоким сном. Скрип ключа, который с трудом повернулся в заржавленном замке, потревожил спящего, но не разбудил его.

Подойдя к постели, Эверард услышал бормотание:

— Разве уже утро, тюремщик? Эх ты, собака, если бы в тебе была

хоть капля доброты, ты бы смочил свою проклятую новость стаканом вина... Быть повешенным — печальное дело, господа, а печаль сушит горло.

— Вставай, Уайлдрейк, поднимайся ты, соня, — сказал Эверард, встряхивая его за воротник.

— Руки прочь! — завопил спящий. — Говорю тебе, я могу взобраться по лестнице и без твоей помощи!

Тут он сел на постели, открыл глаза, осмотрелся и вскричал:

— Черт возьми! Марк! Да это, оказывается, ты!

А я-то уж думал, конец мне пришел — кандалы сбиты с ног,

веревка накручена на шею,
наручники сняты, пеньковый галстук
надет, все подготовлено для танца в
воздухе под перекладиной, — Брось
глупости, Уайлдрейк! Демон
пьянства, которому ты, наверно,
продал душу...

— За бочку вина, — прервал
Уайлдрейк, — сделку мы заключили
в погребе в Вэнтри.

— Только такой же
сумасшедший, как ты, может
доверить тебе какое-нибудь
поручение, — сказал Маркем, — ты
уж вовсе ничего не смыслишь!

— А что мне беспокоиться? —
ответил Уайлдрейк. — Во сне я и не
притронулся к вину, только мне

приснилось, что пил со старым Нолом пиво его собственной варки. Ну, не смотри так мрачно, приятель, я тот же Роджер Уайldreйк, что и всегда, дикий как селезень, храбрый как петух. Я твой верный друг, приятель, привязан к тебе за твою доброту ко мне — *devinctus beneficio* [note 15](#) — так это будет по-латыни; поэтому поручи мне что хочешь! Могу ли я, смею ли я не выполнить твоей просьбы, даже если нужно будет поковырять рапирой в зубах у дьявола после того, как он позавтракает круглоголовыми!

— Ты меня с ума сведешь! — вскричал Эверард. — Я пришел доверить тебе устройство самого

важного дела в моей жизни, а ты ведешь себя, как сумасшедший из Бедлама. Вчера вечером я стерпел твое пьяное буйство, а сегодня ты опять с самого утра беснуешься. Кто это станет терпеть? Это опасно для тебя и для меня, Уайлдрейк. Это бессердечие, я бы даже сказал — неблагодарность.

— Нет, не говори так, друг мой, — сказал роялист, тронутый его словами, — не суди обо мне так строго.

Мы потеряли все в этой злосчастной переделке, нам приходится изворачиваться и бороться за жизнь даже не ежедневно, но ежечасно;

единственное убежище для нас — тюрьма, а отдых ждет нас только на виселице; что же нам еще остается, кроме готовности нести свой крест с легким сердцем? Иначе нам бы совсем конец пришел!

Слова эти были произнесены с глубоким чувством и нашли отклик в душе Эверарда. Он взял своего друга за руку и сердечно пожал ее.

— Слушай, Уайлдрейк, признаюсь, я говорил с тобой резко, но делал это для твоей же пользы, а не для моей. Знаю, человек ты легкомысленный, но сердце у тебя, как ни у кого, честное и правдивое. И все же ты безрассуден и опрометчив; уверяю тебя, если ты провалишься с

делом, которое я тебе доверяю, мне плохо придется, но эти опасения мучат меня меньше, чем мысль о том, что я подвергаю тебя такой опасности.

— Ну, об этом тебе не стоит печалиться, Марк, — ответил роялист, стараясь рассмеяться, явно для того, чтобы скрыть совсем другие чувства, — ты говоришь так, точно мы маленькие ребятишки, сосунки какие-то! Клянусь эфесом моей шпаги! Положись на меня, я умею быть осторожным, когда надо. Никто еще не видел, чтобы я пил, если нужно быть начеку; я не притронусь к стакану с вином, пока не устрою для тебя это дельце. В конце концов я

твой секретарь..., клерк... я и забыл..., я везу твое послание Кромвелю; всячески стараюсь, чтобы меня не перехитрили и не лишили возможности доказать свою преданность (он стукнул пальцем по письму), я должен передать его в собственные руки той высокой особы, которой оно покорнейше адресовано... Черт возьми, Марк, поразмысли еще раз. Ведь не так же ты безрассуден, чтобы якшаться с этим кровожадным мятежником! Поручи мне всадить в него три вершка моей шпаги, и я сделаю это с гораздо большей охотой, чем передам твое письмо.

— Полно тебе, — остановил его

Эверард. — Это не входит в наше соглашение. Поможешь мне — хорошо, не поможешь — к чему нам тратить время на споры?

Для меня каждая минута будет длиться вечность, пока письмо не попадет в руки генерала. Это единственная возможность добиться хоть какого-то покровительства и пристанища для дяди и его дочери.

— Раз так, — сказал роялист, — я не пожалею шпор. Лошадка моя в городе, и я мигом снаряжу ее в путь; можешь быть уверен, я предстану перед старым Нолом, то есть перед твоим командующим, так скоро, как только можно доскакать от Вудстока до Уиндзора. Я думаю, сейчас твой

приятель прибирает к рукам имущество покойного на том самом месте, где совершил смертоубийство.

— Молчи, ни слова об этом! Вчера, когда мы расстались, я обдумал, как тебе следует себя вести: ты не должен притворяться человеком с приличными манерами и языком — тебе ведь это не под силу! Вот я и пишу командующему, что ты под влиянием дурных примеров и дурного воспитания...

— Надеюсь, это надо понимать наоборот, — прервал его Уайлдрейк, — я ведь из такой хорошей семьи и так хорошо воспитан, что мне может позавидовать любой молодец в

Лестершире, — Помолчи, прошу тебя... Так я говорю, что под влиянием дурных примеров ты некоторое время был презренным роялистом и спутался со сторонниками последнего короля. Но, видя, какие большие дела свершил генерал для отчизны, ты прозрел и понял, что он призван быть великим орудием наведения порядка в этой разоренной стране. При такой рекомендации он не только посмотрит сквозь пальцы на твои чудачества, если ты все-таки от них не удержишься, но и заинтересуется тобой, как человеком, уверовавшим в его личные качества.

— Конечно, — заметил Уайлдрейк, — всякому рыбаку милее та форель, которую он сам поймал.

— Весьма возможно, что он пошлет тебя обратно с письмами ко мне, — продолжал полковник, — в которых уполномочит меня приостановить действия этих лошфискаторов и разрешит бедному старику, сэру Генри Ли, дожить свои дни среди дубов, которыми он привык любоваться. Об этом я прошу генерала Кромвеля и надеюсь, что дружба его с моим отцом, да и со мной, настолько укрепилась, что я могу позволить себе такую просьбу и не бояться отказа, особенно при нынешних обстоятельствах.

Понимаешь?

— Прекрасно понимаю, — сказал роялист, — укрепились, нечего сказать! Я бы лучше укрепил веревку для этого убийцы короля, чем дружбу с ним. Но я уже сказал, что буду повиноваться тебе, Маркем, и, черт меня дери, так и будет!

— Так действуй же осторожно, — заметил Эверард, — запоминай все, что он говорит, а главное, что делает; Оливера ведь легче понять по его делам, чем по словам. Да, постой... Ручаюсь, ты бы отправился без пенса в кармане.

— Что правда, то правда, Марк, — признался Уайлдрейк, — я спустил последний нобль вчера

вечером с вашими мерзкими кавалеристами.

— Ладно, Роджер, — ответил полковник, — беда невелика. — Он сунул приятелю кошелек. — Видишь, какой ты беспутный ветрогон. Так бы и отправился с пустым карманом! Что бы ты стал делать?

— Право, об этом я и не подумал. Наверно, крикнул бы «стой» первому же богатому горожанину или жирному скотоводу, которого встретил бы на дороге.

В наши трудные времена так поступают все хорошие парни.

— Ну, отправляйся, — сказал Эверард, — да будь осторожен... Не водись ни с кем из своих беспутных

знакомых... Держи язык за зубами...
Остерегайся винной бочки... Если
будешь трезв, не страшна никакая
опасность... Будь умерен в разговоре,
а главное — не сквернословь и не
клянись.

— Словом, — сказал
Уайлдрейк, — превратись в такого
же педанта, как ты, Марк. Ну что ж,
при нужде я, думаю, смогу не хуже
тебя разыграть пуританского Бомби
[note 16](#). Ох, Марк, хорошие были
деньки, когда мы ходили смотреть,
как Миллз играет Бомби в театре
Фортуны. У меня тогда еще был мой
расшитый плащ и серьга, а ты еще не
хмурился и не крутил ус по-
пуритански.

— Это были просто-напросто мирские развлечения, Уайлдрейк, — ответил Эверард, — сладко устам, да горько желудку... Ну, отправляйся. Когда вернешься с ответом, найдешь меня или здесь, или в гостинице святого Георгия в городке... Счастливого пути. Смотри будь осторожен!

Полковник остался один и глубоко задумался.

«Кажется, — рассуждал он, — я не слишком связал себя с генералом. Разрыв с парламентом для него, должно быть, неизбежен; тогда в Англии опять начнется междоусобная война, а как она уже всем надоела! Может, мой посланец

ему и не понравится, но я этого не очень опасаюсь. Он знает, что если уж я выбрал этого человека, то, значит, могу на него положиться; он сам достаточно имел дела с подобными людьми, ему-то известно, что среди них всегда найдутся такие, кто скрывает два лица под одним капюшоном».

Глава VIII

Своих врагов
безжалостно поправ,
Стоял протектор,
строг и величав.

Он разогнал
парламент, где приют

Нашли себе мздоимец,
трутень, плут,

И — хоть об этом он
скорбел душой —

Единолично править
стал страной.

Крабб «Быстрое
сватовство»

Оставим полковника Эверарда, погруженного в эти думы, и последуем за его веселым другом-роялистом, который, перед тем как сесть на коня у гостиницы святого Георгия, не преминул позавтракать — пропустил стаканчик муската и закусил яичницей, чтобы выдержать осенний ветер.

Хотя Уайлдрейк, как и многие роялисты, был человек крайне легкомысленный и словно хотел противопоставить себя педантичности своих врагов, он принадлежал к благородной семье, получил прекрасное образование, был наделен хорошими природными качествами и сердцем, которого не

могли развратить даже беспутство и кутежи буйных роялистов; он ехал выполнять свою дипломатическую миссию со смешанным чувством, какого, пожалуй, никогда в жизни не испытывал.

Как роялист, он ненавидел Кромвеля и при других условиях вряд ли стремился бы повстречать его, разве только на поле сражения, где он с удовольствием обменялся бы с ним пистолетными выстрелами. Но сейчас к этой ненависти примешивалась некоторая доля страха. Всегда побеждавший в бою, этот незаурядный человек, к которому направлялся сейчас Уайлдрейк, обладал способностью

влиять на умы своих врагов, что неизбежно при постоянном успехе; враги ненавидели и боялись его, а у Уайлдрейка к этим чувствам примешивалось еще непреодолимое желание совать нос в чужие дела — отличительная черта его характера. У него давно уже не было никаких собственных дел; будучи от природы беспечным, он всегда легко поддавался желанию взглянуть на все интересное, что происходило вокруг.

«В конце концов я не прочь посмотреть на этого старого злодея, — говорил он себе, — хотя бы для того, чтобы я мог сказать, что видел его собственными глазами».

Он прибыл в Уиндзор после

полудня и сразу же почувствовал сильное желание завернуть в одно из старых увеселительных заведений, куда частенько заглядывал, когда приезжал в этот прекрасный город в лучшие времена. Но он поборол это искушение и решительно направился в главную гостиницу, с фронтона которой давно уже исчезла древняя эмблема — подвязка. Хозяин, которого Уайлдрейк, сведущий по части таверн и гостиниц, помнил как типичного трактирщика елизаветинских времен, ловко приноровился к духу времени; он сочувственно кивал, когда говорили о парламенте, помахивал вертелом с важностью жреца, совершающего

жертвоприношение, желал Англии благополучно избавиться от всех бедствий и громко восхвалял его превосходительство

главнокомандующего. Уайлдрейк заметил также, что вино у него стало лучше, — пуритане обладали особым даром вынюхивать каждое мошенничество. Кроме того, он заметил, что мерка уменьшилась, а плата увеличилась — обстоятельство, на которое он обратил внимание, потому что хозяин слишком уж много говорил о своей совести.

От этой важной особы Уайлдрейк узнал, что главнокомандующий запросто

принимает людей всякого рода и что он, Уайлдрейк, может быть допущен к нему на следующий день в восемь часов, для чего ему нужно явиться к главным воротам замка и заявить, что он прибыл в качестве курьера к его превосходительству.

В назначенное время мнимый республиканец отправился в замок. Часовой в красном мундире, с суровым видом державший на плече мушкет и охранявший первые ворота этого величественного здания, сразу впустил его. Уайлдрейк прошел через нижний сторожевой пост или двор и по пути пристально взглянул на красивую капеллу, которая недавно приютила в тишине и мраке

обесславленные останки казненного короля Англии. Как ни огрубел Уайлдрейк, это воспоминание произвело на него столь глубокое впечатление, что он в ужасе чуть было не повернул обратно, только бы не встретиться лицом к лицу с тем мрачным и отважным человеком, главным действующим лицом этой страшной трагедии и виновником ее роковой развязки. Однако ж он решил, что надо подавить все душевные волнения и заставить себя выполнить дело, доверенное ему полковником Эверардом, которому он был стольким обязан. Поднимаясь по склону мимо Круглой башни, он взглянул на флагшток, где всегда

развевался английский флаг.

Но флаг со всеми своими обычными украшениями, с великолепными королевскими гербами, с богатой вышивкой исчез; на его месте развевался флаг республики, голубой с красным, с крестом святого Георгия; однако в то время его еще не пересекал диагональный крест Шотландии, который был вскоре добавлен как свидетельство победы Англии над своим старинным врагом. От смены флага мысли Уайлдрейка еще более омрачились; он глубоко погрузился в них и пришел в себя, только когда услышал удар мушкетного приклада по мостовой и окрик часового,

прозвучавший так резко, что Уайлдрейк вздрогнул.

— Кто идет?

— Курьер, — ответил

Уайлдрейк, — к его превосходительству главнокомандующему.

— Стой, я дам знать дежурному офицеру.

Появился капрал; он отличался от своих солдат тем, что носил два воротника, шляпой — вдвое выше солдатских, длинным и широким плащом и тройной порцией угрюмой важности. По лицу его было видно, что он принадлежал к тем непоколебимым фанатикам, которым Оливер был обязан своими успехами;

религиозный фанатизм давал им перевес над храбрыми и знатными роялистами, которые израсходовали силы в безуспешной защите особы и короны своего монарха. Он посмотрел на Уайлдрейка с угрюмой важностью, как будто мысленно делал опись его внешности и предметов одежды; рассмотрев все внимательно, он велел «изложить дело», — У меня поручение, — отвечал Уайлдрейк со всей твердостью, на какую был способен, так как пристальный взгляд капрала вызвал у него нервную дрожь, — у меня поручение к вашему генералу.

— Ты хочешь сказать — к его превосходительству

главнокомандующему? — поправил его капрал. — Речь твоя, приятель, слишком уж отдает неуважением к его превосходительству.

«Черт бы побрал его превосходительство!» — чуть было не сорвалось с языка у роялиста, но благоразумие удержало его и не дало оскорблению прорваться через преграду. Он только молча поклонился.

— Следуй за мной, — приказал важный капрал, и Уайлдрейк покорно проследовал за ним в караульное помещение. Внутри оно было обычным для того времени и совсем не походило на военные посты наших дней.

У огня сидело несколько солдат, они слушали своего товарища, который втолковывал им религиозные догмы. Вначале он говорил вполголоса, хоть и очень многоречиво, но по мере приближения к концу голос его стал резким и высоким, он как бы призывал к немедленным возражениям или к молчаливому согласию с ним. Слушатели внимали оратору с застывшими лицами, только клубы табачного дыма вылетали из-под густых усов. На скамейке ничком лежал солдат; спал он или предавался размышлениям — трудно было сказать. Посреди комнаты стоял офицер, как было

видно по расшитой перевязи и шарфу, обвязанному вокруг пояса; в остальном одежда его была очень проста; он был занят обучением неуклюжего рекрута тогдашнему ружейному артикулу.

Этот артикул состоял по меньшей мере из двадцати различных команд; до тех пор, пока все они не были выполнены, капрал не позволил Уайлдрейку сесть или пройти дальше порога, и тот принужден был слушать, как одна команда следовала за другой: поднять мушкет, опустить мушкет, взвести курок, зарядить — и множество других, пока слова «почистить мушкет» на время не

приостановили обучение.

— Как тебя зовут, приятель? — спросил офицер у рекрута, когда урок кончился.

— Эфраим, — ответил парень, сильно гнусавя.

— А еще как тебя называют?

— Эфраим Кобб из благочестивого города Глостера, там я жил семь лет, служил подмастерьем у достойного сапожника.

— Доброе ремесло, — отвечал офицер, — но теперь ты связал свою судьбу с пашей и будешь поставлен выше шила и колодки.

Эта потуга на остроумие сопровождалась мрачной улыбкой; затем офицер повернулся к капралу,

который стоял в двух шагах от пего с видом человека, горящего желанием высказаться, и спросил:

— Ну, капрал, что нового?

— Да тут, с разрешения вашего превосходительства, один малый явился с пакетом, — ответил капрал. — Но душа моя не возрадовалась, когда я его увидел: сдается мне, что это волк в овечьей шкуре.

По этим словам Уайлдрейк понял, что перед ним тот выдающийся деятель, к которому он послан, и он помедлил, обдумывая, как обратиться к главнокомандующему.

Внешность Оливера Кромвеля,

как известно, не производила благоприятного впечатления. Он был среднего роста, крепок и коренаст; черты лица, резкие и суровые, выражали, однако, природную проницательность и глубину мысли. Глаза у него были серые, взгляд пронизывающий, красноватый нос велик по сравнению с остальными чертами лица.

Говорил он, когда хотел, чтобы его ясно поняли, сильно и убедительно, но без изящества и не весьма красноречиво. Никто не мог бы выразить ту же мысль в более сжатой и понятной форме. Но часто бывало, что Кромвель изображал оратора только для того, чтобы

поразить слух людей, а не для того, чтобы просветить их разум; тогда он облакал смысл своих речей — или то, что казалось смыслом, — во множество туманных слов, загромождал их столькими присказками и подкреплял таким лабиринтом отступлений, что становился, пожалуй, самым невразумительным из тех ораторов, которые приводят публику в замешательство; а между тем он был одним из самых умных людей в Англии. Один историк давно сказал, что собрание речей лорда-протектора составило бы, за немногими исключениями, самую бессмысленную книгу в мире, но ему

следовало бы еще добавить, что никто не умел говорить так сильно, кратко и вразумительно, когда он в самом деле хотел, чтобы его поняли.

Отмечали также, что Кромвель происходил из хорошей семьи и по отцу и по матери, имел возможность получить отменное образование и воспитание, которое подобало бы его происхождению, но этот популярный в народе фанатичный правитель никак не мог приучиться к учтивости, принятой в высшем обществе, или же пренебрегал ею. Манеры его отличались грубостью, а иной раз походили на паясничанье, но в словах и поведении была сила, соответствующая его характеру: она

вызывала трепет, если не уважение. И бывали даже минуты, когда этот мрачный и коварный дух проявлялся так, что внушал почти симпатию. Юмор, который временами у него прорывался, был грубый и зачастую простоватый. В характере Кромвеля отразились черты его соотечественников: презрение к глупости, ненависть к аффектации, отвращение к церемонности; благодаря всему этому, в сочетании с природным здравым смыслом и мужеством, он стал во многих отношениях выразителем идей английской демократии.

Религиозность его будет всегда вызывать большие сомнения,

которые он и сам вряд ли мог бы разрешить. Бесспорно, в жизни Кромвеля был период, когда его вдохновляла подлинная вера, и тогда в его натуре, слегка склонной к ипохондрии, появился фанатизм, повлиявший на многих людей того времени. С другой стороны, в политической карьере Кромвеля были периоды, когда его с полным основанием можно было обвинить в лицемерном притворстве. Может быть, правильнее всего будет судить о нем и о других людях той эпохи, если допустить, что их религиозные чувства были отчасти искренними а отчасти притворными, в зависимости от личной выгоды.

Человеческое сердце так же ловко обманывает себя, как и других, и, может быть, ни сам Кромвель, ни другие, выставлявшие напоказ свою набожность, не могли сказать, где кончается их благочестие и где начинается притворство; вернее, между этими свойствами не было определенной границы, у каждого человека она менялась в зависимости от состояния здоровья, удачи или неудачи, хорошего или дурного настроения.

Таков был тот знаменитый человек, который, повернувшись к Уайлдрейку, внимательно его рассматривал и, казалось, был совсем не удовлетворен тем, что

увидел; он даже поправил свой пояс, чтобы эфес длинной шпаги оказался под рукой. Но затем он скрестил руки под плащом, как будто, поразмыслив, отбросил сомнения или счел предосторожность унижительной для себя, и спросил роялиста, кто он и откуда.

— Бедный джентльмен, сэр., то есть милорд, — ответил Уайлдрейк, — только что из Вудстока.

— Ас какими вы вестями, сэр джентльмен? — спросил Кромвель, делая ударение на последнем слове. — Случалось мне видеть много таких, кто охотно присваивал себе этот титул, но вел себя не как

умный, порядочный или правдивый человек, несмотря на свою знатность; вот в старой Англии слово «джентльмен» было почетным титулом, если человек помнил, какой в него вложен смысл.

— Ваша правда, сэра, — отвечал Уайлдрейк, с трудом сдерживая сильные выражения, которыми он обычно приправлял свою речь. — Прежде джентльмены находились в подходящих местах, а теперь мир так изменился, что можно увидеть, как вышитая перевязь поменялась местом с кожаным фартуком.

— Это ты про меня? — воскликнул генерал. — Видно, ты храбрый малый, если так лихо

бросаясь словами. Сдается мне, ты слишком уж звонок для благородного металла. Так какое же у тебя ко мне дело?

— Письмо от полковника Маркема Эверарда, — отрапортовал Уайлдрейк.

— Вот что! Стало быть, я ошибся, — проговорил Кромвель, смягчаясь при имени человека, которого стремился привлечь на свою сторону. — Извини, приятель, в таком случае я не сомневаюсь, что ты друг наш. Сядь и займись благочестивыми размышлениями, пока мы ознакомимся с содержанием письма.

Позаботьтесь о нем, дайте все,

что ему нужно.

С этими словами генерал вышел из караульни, а Уайлдрейк уселся в углу и стал терпеливо ожидать исхода своей миссии.

Солдаты теперь сочли нужным отнестись к нему с большим вниманием: они предложили ему трубку табаку и кружку октябрьского пива. Но вид Кромвеля и опасность его собственного положения — ведь каждая мелочь могла его выдать — побудили Уайлдрейка отклонить эти знаки гостеприимства; откинувшись в кресле и притворившись спящим, он оставался в стороне и избегал разговоров до тех пор, пока не пришел какой-то адъютант или

дежурный офицер и не позвал его к Кромвелю.

Офицер провел Уайлдрейка в замок через калитку. Пройдя множество узких коридоров и лестниц, они наконец вошли в небольшой кабинет или гостиную; там было много роскошной мебели с королевскими вензелями на некоторых предметах, но все вещи были в беспорядке сдвинуты с места, несколько картин в массивных рамах были прислонены лицом к стене, как будто их сняли с тем, чтобы вынести.

Среди этого беспорядка, в большом кресле, обитом богато расшитой парчой, восседал

победоносный республиканский генерал. Великолепие кресла бросалось в глаза по сравнению с простотой и даже небрежностью его одежды; однако, судя по его виду и поведению, Кромвель считал, что кресло, в котором в былые дни сидел король, не слишком роскошно для человека с его судьбой и с его стремлениями. Уайлдрейк стоял перед Кромвелем, а тот не предложил ему сесть.

— Пирсон, — приказал Кромвель дежурному офицеру, — побудь на галерее, но жди приказа.

Пирсон поклонился и хотел идти.

— А есть кто еще на галерее?

— Преподобный мистер Гордон, капеллан, читает проповедь полковнику Овертону и четырьмя капитанам полка вашего превосходительства.

— Очень хорошо, — сказал генерал, — мы не желаем, чтобы в нашем жилище был хоть один угол, где бы алчущая душа не получила манны небесной.

Достойный капеллан еще продолжает проповедь?

— Уже далеко продвинулся: говорит о законных правах, которые приобрела армия и особенно ваше превосходительство, став орудиями великого дела; эти орудия не будут сломаны и выброшены, когда час их

службы истечет, их будут сохранять, ценить и уважать за благородную и верную службу, за то, что они ходили в походы и сражались, постились, молились, терпели голод и холод, в то время как другие, те, кто с радостью увидел бы их разбитыми, разжалованными и уничтоженными, сейчас обедают и опиваются.

— Достойный человек! — заметил Кромвель. — И он говорил так красноречиво? Я бы тоже мог кое-что сказать, но не теперь. Ступай, Пирсон, на галерею. Пусть друзья наши не откладывают оружие в сторону, пусть бодрствуют, а не только молятся.

Пирсон вышел, а генерал с

письмом Эверарда в руке опять долго и внимательно смотрел на Уайлдрейка, словно обдумывая, в каком тоне к нему обратиться.

Но, заговорив, он сперва пустился в двусмысленные рассуждения вроде тех, которые мы описали: в его словах очень трудно было уловить содержание — быть может, он и сам его не понимал. Излагая эту речь, мы будем настолько кратки, насколько позволит наше желание привести собственные слова такого необычайного человека.

— Ты принес нам это письмо, — начал он, — от твоего господина или покровителя Маркема Эверарда, поистине храбрейшего и

достойнейшего джентльмена, который когда-либо носил шпагу и так отличился в великом деле освобождения трех несчастных наций. Не отвечай мне, я знаю, что ты скажешь...

И вот это письмо он прислал мне через тебя, своего клерка или секретаря, которому он доверяет и которому очень просит меня довериться, чтобы между нами был надежный посредник. Вот он и послал тебя ко мне... Не отвечай... Я знаю, что ты скажешь.... Я человек столь незначительный, что для меня было бы большой честью даже держать в руках алебарду в рядах великой и победоносной английской

армии, но я достиг командования этой армией. Нет, не отвечай, друг мой... Я знаю, что ты скажешь. И, рассуждая таким образом, увидим, что в отношении того, что я сказал, наша беседа будет развиваться в трех направлениях: первое — касательно твоего господина, второе — касательно нас и нашего положения, третье и последнее — касательно тебя. Ну, что до уважаемого и достойного полковника Маркема Эверарда, он показал себя отменным человеком с самого начала этих злосчастных смут, он не сворачивал ни вправо, ни влево, а всегда держал в поле зрения намеченную цель. Да уж, истинно преданный, достойный

джентльмен; он с уверенностью может назвать меня своим другом, и я этому рад. Однако в сей юдоли печали нам следует меньше руководствоваться личными симпатиями и чувствами, а больше — высокими принципами и требованиями долга. Уважаемый полковник Эверард изложил свои взгляды, а я постарался выяснить свои, чтобы мы могли действовать, как подобает добрым англичанам и настоящим патриотам. Что же до Вудстока, уважаемый полковник просит очень многого, когда желает, чтобы его отобрали у благочестивых людей, получивших его как военный трофей, и оставили во владении

моавитян, особенно этого злонамеренного Генри Ли, который всегда поднимал на нас руку, как только представлялся случай. Повторяю, он очень много просит для себя, да и от меня требует немалого. Нас, составляющих эту бедную, но праведную английскую армию, парламент ограничил в дележе военных трофеев; мы должны все отдавать в его распоряжение, а не производить дележ сами; мы словно гончие, которые, загнав оленя, не получают права насытиться: их отгоняют арапниками от туши, словно наказывают за дерзость, а не награждают по заслугам. Но я говорю не только о разделе Вудстока,

в котором, как члены парламента, может быть, изволят полагать, я тоже что-то получил, раз мой родственник Десборо участвует в дележе; но он заслужил свою долю верной и преданной службой нашей несчастной, обожаемой родине; негоже мне было бы ущемлять его интересы, если бы это совершалось не во имя великих государственных дел. Ты видишь, добрый друг, что я желаю выполнить просьбу твоего господина; но я не говорю, что я ее безоговорочно и безусловно могу выполнить или отвергнуть; я просто излагаю свои скромные мысли по этому поводу. Ты ведь меня понимаешь?

Хотя Роджер Уайлдрейк слушал речь главнокомандующего с напряжением, он так запутался во всех этих разглагольствованиях, что у него ум за разум зашел; так бывает с деревенским увальнем, который попал в поток экипажей и не знает, куда ступить, чтобы спастись от одного и не попасть под другой.

Генерал заметил его растерянность и начал другую речь в том же духе, заговорив о своей привязанности к доброму другу полковнику... Об уважении к благочестивому и достойному родственнику мистеру Десборо... О большом значении Вудстокского дворца и парка, о решении

парламента конфисковать его в пользу казны... Он выразил глубокое почтение к власти парламента и крайнее сожаление о том, что с армией поступают несправедливо; сказал, что он полон стремлений и желания, чтобы все недоразумения решались дружелюбно и мирно, без своекорыстия, споров, борьбы между руками-исполнителями и головами-руководителями в этом великом всенародном деле... Он желает, искренне желает внести в это дело свой вклад, отдать не только свое звание, но и жизнь свою, если это потребуется или если это не нарушит безопасности бедных воинов — для них, несчастных бедняков, он

призван быть отцом: ведь он знает, что они следовали за ним с преданностью и любовью, словно родные дети.

Тут опять наступила глубокая пауза, и Уайлдрейк По-прежнему не мог понять, намерен Кромвель или нет облечь полковника Эверарда теми полномочиями, которых тот просил для защиты Вудстока от парламентских комиссаров. В глубине души он стал было питать надежду, что небесное правосудие или угрызения совести повредили рассудок цареубийцы. Но нет, в быстром и строгом взгляде он не видел ничего, кроме пронизательности, — в то время как

с языка стремительно неслись цветистые фразы, взор, казалось, строго и внимательно следил за воздействием его красноречия на слушателя.

«Черт возьми, — думал роялист, немного освоившись со своим положением и изрядно выведенный из себя бесконечными разговорами, не приводившими к определенному результату. — Будь Нол даже сам дьявол, а не только его любимец, я не дам водить себя за нос. Я даже слегка прижму его, если дело и дальше пойдет так же, и посмотрю, нельзя ли заставить его говорить более вразумительно».

Приняв это смелое решение, но

опасаясь выполнить его, Уайлдрейк ждал, возможности предпринять такую попытку, а Кромвель, очевидно, был не в состоянии ясно выразить свою мысль. Он уже начал третий панегирик полковнику Эверарду, в различных выражениях высказывая свое желание угодить ему, когда Уайлдрейк нашел удобный случай вмешаться, как только генерал сделал одну из своих ораторских пауз.

— Позвольте заметить, ваше превосходительство, — сказал он с напускным простодушием, — что вы уже коснулись двух тем ваших рассуждений — ваших собственных достоинств и достоинств моего

покровителя, полковника Эверарда. Но чтобы дать мне возможность выполнить мое поручение, нелишне было бы сказать несколько слов и по третьей теме.

— Третьей? — спросил Кромвель.

— Точно так, — ответил Уайлдрейк, — каковая, согласно подразделению в рассуждениях вашей милости, касается моей недостойной особы. Как вы прикажете поступить мне? Какую роль ,я буду играть в этом деле?

Тон у Оливера мгновенно изменился; голос, до сих пор напоминавший мурлыканье кота, превратился в рычание тигра,

готового к прыжку.

— Твоя роль, каторжник? — вскричал он. — Виселица! Тебя высоко вздернут, как Амана, если ты не будешь держать все в тайне. Но, — прибавил он уже не так громко, — храни тайну как преданный человек, и я что-нибудь для тебя сделаю. Подойди-ка поближе, я вижу — ты смел, хоть немного и дерзок, Ты был врагом республики — так мне пишет мой достойный друг, полковник Эверард, но теперь ты отошел от этого пропадающего дела. Говорю тебе, приятель:: ни парламент, ни армия не смогли бы сбросить Стюартов с их престолов, если бы на них не ополчились небеса. Что ж, достойно

и радостно вооружиться в защиту
божьего дела, а что до меня, так
пусть бы они и по сей день сидели на
троне. Не осуждаю я и тех, кто
поддерживает Стюартов: ведь эти
долгие смуты разорили их
сторонников, разрушили их
семейные очаги. Я не зверь
кроважрый, и мне знакомы
человеческие слабости; но, друг, кто
идет за плугом в великих делах,
происходящих в этой стране, пусть
лучше не оглядывается; поверь моему
слову: если ты меня обманешь, ты
получишь все сполна на виселице
Амана. Поэтому скажи мне кратко:
выколотили из тебя твою
предательскую закваску?

— Вы сами, ваше превосходительство, — отвечал роялист, пожимая плечами, — хорошо обработали большинство из нас, в пределах того, что может сотворить дубина.

— Ты так думаешь? — спросил генерал с мрачной улыбкой, которая показывала, что он не совсем нечувствителен к лести. — Да уж, верно, это ты не врешь, мы были одним из орудий провидения. Но, как я уже заметил, мы не были так суровы по отношению к тем, кто боролся против нас в качестве врагов республики, как могли бы быть другие. Члены парламента прежде всего соблюдают свои собственные

интересы и выполняют свою волю, но, по моему слабому разумению, теперь самое время прекратить эти смуты и дать каждому человеку возможность любым способом служить своей родине; мы считаем, что ты сам будешь виноват, если не станешь полезен отечеству и самому себе. Для этого нужно, чтобы ты совершенно отказался от старых взглядов и серьезно отнесся к тому, что я тебе скажу.

— Пусть ваше превосходительство не сомневается в моей серьезности, — отвечал роялист.

И республиканский генерал, помедлив еще немного, как человек,

никого не удостаивающий доверием, начал излагать свою точку зрения; он говорил с редкой для него ясностью, но все же время от времени проявлял склонность к привычной многоречивости — он никогда не мог полностью от нее отрешиться, кроме как на поле боя.

— Видишь, друг мой, — заговорил он, — в каком я положении. Парламент меня недолюбливает — пусть всякий об этом знает, мне все равно, — а Государственный совет, посредством которого управляет парламент, еще того меньше. Не знаю, почему они относятся ко мне с недоверием, разве потому, что я не согласен, чтобы

наша несчастная, ни в чем не повинная армия, которая следовала за мной в стольких сражениях, была разогнана, распущена так, чтобы те, кто ценою крови своей защищал страну, не имели средств прокормить себя своим трудом; думаю, это жестокая мера, это все равно что отнять у Исава право первородства и не дать ему даже похлебки.

— Исав, наверно, сам может о себе позаботиться, — заметил Уайлдрейк.

— Верно, умно говоришь, — продолжал генерал, — опасно морить голодом вооруженного человека, если под рукой у него еда, но я далек от подстрекательства к

бунту или неповиновению нашим правителям. Я только прошу в приличной, уместной, спокойной и вежливой форме, чтобы они вняли нашим просьбам и считались с нашими нуждами. Но сейчас, сэр, мне оказывают так мало внимания, со мной так мало считаются, что выполнить просьбу твоего покровителя — значило бы пойти наперекор и Государственному совету и парламенту и не признавать комиссию, которую они назначили; в их руках пока еще высшая власть в государстве; по мне, пусть так и будет. И разве не скажут, что я играю на руку изменникам родины, способствуя тому, что прежнее

логово кровожадных и похотливых тиранов стало теперь приютом для старого закоренелого амалекитянина, сэра Генри Ли, чтобы он владел тем местом, где так долго пребывал в ореоле славы. Поистине, это был бы опасный поступок.

— Так и прикажете доложить полковнику Эверарду, что вы не можете помочь ему в этом деле? — спросил Уайлдрейк.

— По сути дела — не могу, но если бы он согласился на некоторые условия, ответ мог бы быть иным, — сказал Кромвель. — Вижу, ты не в силах понять мои намерения, поэтому я тебе их частично объясню. Но имей в виду — если язык твой

выдаст мой план и выболтает больше того, что я велю тебе передать твоему господину, клянусь всей кровью, пролитой за это страшное время, ты умрешь мучительной смертью.

— Будьте спокойны, сэр, — сказал Уайлдрейк. Его смелый и беспечный нрав был укрощен и подавлен, как сокол в присутствии орла.

— Тогда слушай, — сказал Кромвель, — и не пропусти ни слова. Ты знаешь молодого Ли, по имени Альберт, такого же изменника, как и отец, того самого, кто вместе с наследником участвовал в сражении под Вустером, — благодарю бога за дарованную нам победу.

— Знаю, что есть такой молодой человек, Альберт Ли, — ответил Уайлдрейк.

— А не известно ли тебе.., я спрашиваю не потому, что хочу совать нос в секреты достойного полковника, а единственно затем, чтобы хорошенько все выяснить и знать, как лучше ему помочь... Не известно ли тебе, что твой господин, Маркем Эверард, влюблен в сестру этого самого мятежника, в дочь королевского лесничего по имени сэр Генри Ли?

— Обо всем этом я слышал, — ответил Уайлдрейк, — да и не буду отрицать, что верю молве.

— Ну, тогда слушай дальше.

Когда наследник Карл Стюарт бежал с поля боя под Вустером, спасаясь от упорного преследования, и вынужден был отделиться от своих сторонников, я знаю из достоверных источников, что Альберт Ли был одним из последних, если не самым последним, кто оставался при нем.

— Это чертовски на него похоже! — вскричал роялист, не выбирая выражений и забыв, перед кем стоит. — Клянусь своей шпагой, он достойный сын своего отца!

— Ага! Клянешься; — угрожающе сказал генерал, — вот как ты исправился!

— С вашего позволения, я никогда не клянусь, — ответил

Уайлдрейк, опомнившись, — разве только когда при мне заговорят об изменниках и роялистах, вот тут-то старые привычки и возвращаются, и я бранюсь, как кавалерист из войск Горинга.

— Стидись, — сказал генерал, — какая тебе польза заставлять других слушать твои непотребные богохульства? Да и тебе самому это впрок не пойдет.

«Можно, конечно, грешить и повыгоднее, чем браниться и богохульствовать», — чуть было не сорвалось с уст роялиста, но вместо этого он выразил сожаление о том, что досадил генералу.

Разговор принял наиболее

интересный для Уайлдрейка оборот; он решил не терять возможности завладеть тайной, уже готовой слететь с уст Кромвеля, но достичь этого можно было, только держа замок на собственных устах.

— Что за здание Вудсток? — отрывисто спросил генерал.

— Старинная постройка, — отвечал Уайлдрейк. — Если судить по одной ночи, которую я провел в замке, там хоть отбавляй потайных лестниц, подземных коридоров и всяких погребов, что обычно встречаются в вороньих гнездах такого сорта.

— И, конечно, есть укромные места для попов, — заметил

Кромвель. — В таких древних постройках редко случается, чтобы не было тайных стойл для укрытия этих вефильских тельцов.

— Ваше превосходительство, — ответил Уайлдрейк, — можете смело поклясться в этом.

— Я никогда не клянусь, — сухо ответил генерал. — Ну, а как ты думаешь, приятель? Я задаю тебе прямой вопрос. Где скорее всего будут скрываться эти два вустерских беглеца, о которых ты знаешь?

Должны же они где-то скрываться. И вернее всего — в этом старом доме со всеми его тайниками и закоулками, которые молодой Альберт Ли знает с раннего детства.

— Правильно, — проговорил Уайлдрейк, стараясь отвечать с напускным безразличием, в то время как мысль о таком обороте дела и о его последствиях молнией промелькнула в его сознании и он похолодел от ужаса. — Я бы тоже так подумал, если бы не считал, что рота, по приказу парламента занявшая Вудсток, весьма вероятно, спугнет их, как кошка сгоняет голубей с голубятни. Соседство, прошу прощения, с генералами Десборо и Гаррисоном вряд ли понравится беглецам с вустерского поля сражения.

— Я бы тоже так думал на их месте, — заметил генерал, — и,

наверно, много еще пройдет времени, пока наши имена перестанут внушать только ужас врагам нашим. Но если уж ты плетешь интриги в пользу своего покровителя, ты, полагаю, мог бы придумать кое-что посущественнее для достижения его нынешних целей.

— Ума моего не хватит, чтобы проникнуть в глубину ваших достойных намерений, — ответил Уайлдрейк.

— Тогда слушай и постарайся все уразуметь, — продолжал Кромвель. — Победа при Вустере, несомненно, была великой милостью божьей. Но наша благодарность показалась бы ничтожной, если бы

мы не сделали всего, что в наших силах, для окончательного закрепления и завершения того великого дела, которое так успешно выполнено руками нашими; в смирении и простоте душевной мы объявляем: мы вовсе не заслуживаем того, чтобы мир помнил, какую роль мы в этом играли; напротив, мы молим и просим, чтобы имена и дела наши были преданы забвению, лишь бы великое дело не осталось незавершенным. Однако ж нам в нашем положении больше, чем другим, важно, если вообще такие ничтожные создания, как мы, могут говорить о себе самих как об участниках перемен, произведенных

не нами, не нашей силой, а судьбой, которая нас призвала, а мы исполняли ее веления покорно и смиренно... Я говорю, что нам следует действовать в соответствии с теми великими подвигами, которые совершались, да и сейчас совершаются, в нашей стране. Таковы мои простые и безыскусные рассуждения. И очень желательно, чтобы этот наследник, этот король шотландский, как он себя величал., этот Карл Стюарт., не спасся от народа той страны, в которой с его приездом началось столько смут и кровопролития.

— Не сомневаюсь, — сказал роялист, опустив глаза, — что

мудрость вашей милости направляет все дела к наилучшему завершению; молю бога, чтобы старания ваши были вознаграждены по заслугам.

— Благодарю тебя, друг, — ответил Кромвель со смиренным видом, — мы, без сомнения, получим заслуженную мзду; мы находимся в руках справедливого хозяина, никогда не забывающего субботней награды за труды. Но пойми меня, друг мой, я хочу только выполнить свою долю в этом добром деле.

Я с радостью сделаю все, что в моих слабых силах, для твоего достойного господина и даже для тебя в твоём положении... Такие люди, как я, общаются с простым

народом не затем, чтобы беседа с ними была забыта, как нечто повседневное. Мы говорим с людьми, подобными тебе, только тогда, когда желаем наградить или наказать их; надеюсь, что, выполнив поручение, ты заслужишь награду из рук моих.

— Ваше превосходительство, — заметил Уайлдрейк, — говорите как человек, привыкший повелевать.

— Правильно! Люди склоняются перед такими умами, как мой, из страха и почтения, — сказал генерал. — Но хватит об этом; я не требую, чтобы подчиненные зависели от меня больше, чем все мы зависим от силы небесной. И я желал бы отдать этот слиток золота в руки

твоего господина. Он воевал против Карла Стюарта и против отца его. Но он близкий родственник старого баронета Генри Ли и привязан к его дочери. Тебе, друг мой, тоже придется быть начеку. Твой залихватский вид привлечет к тебе доверие любого мятежника. Ты узнаешь о приближении добычи, которая, как кролик к убежищу в скалах, придет к этой норе.

— Я стараюсь понять ваше превосходительство, — отвечал роялист, — и сердечно благодарю за доброе мнение; молю бога, чтобы мне представился подходящий случай доказать вам свою благодарность.

Но все же осмелюсь заметить,

что план вашего превосходительства кажется маловероятным, пока Вудсток находится в руках парламентских комиссаров.

И старый баронет и его сын, а в особенности беглец, которого вы, милорд, упомянули, будут чрезвычайно осторожны и не приблизятся к замку, пока там комиссары.

— Об этом я тебе так долго и толкую, — ответил генерал. — Я уже сказал, что не расположен лично отдать приказ об изгнании комиссаров из замка по столь ничтожному поводу; правда, у меня, кажется, довольно власти в государстве, и я могу презреть

злословие тех, кто меня осудит. Словом, я не хотел бы использовать преимущество своего положения и меряться силами с комиссией, получившей полномочия не от меня, если в этом нет чрезвычайной необходимости или по крайней мере большой пользы для государства. Поэтому, если твой полковник из любви к республике возьмется найти способ предотвратить величайшую опасность, которая неизбежно будет грозить ей из-за бегства наследника, если он постарается захватить его, когда тот появится в Вудстоке, что я считаю весьма вероятным, я передам с тобою приказ комиссарам немедленно покинуть замок и приказ

отряду моего полка, который стоит в Оксфорде, выгнать комиссаров в шею, если те будут упираться, пусть даже придется начать с Десборо, хоть он и женат на моей сестре.

— Позвольте заметить, сэр, — сказал Уайлдрейк, — с вашим всемогущим приказом я, пожалуй, и сам, без помощи ваших храбрых и благонравных воинов, сумею выставить комиссаров.

— Это меня меньше всего беспокоит, — ответил генерал. — Хотел бы я видеть, как эти смельчаки смогут усидеть на месте, если я кивну, чтобы они убирались..., исключая, конечно, высокоуважаемый парламент, от

которого исходят наши полномочия; однако некоторые полагают, что с его занятиями политикой будет покончено раньше, чем настанет время обновить его. Поэтому мне особенно хочется знать, возьмет ли твой господин на себя это многообещающее дело. Я твердо уверен, что с таким лазутчиком, как ты, да еще с бывшим роялистом (ведь ты, я думаю, можешь возобновить свои выпивки, беспутство, потасовки, когда захочешь), он сможет проведать, где укрылся этот Стюарт. Молодой Ли сам навестит старика, он напишет ему или каким-нибудь другим способом даст о себе знать. В любом случае вы с Марком

Эверардом должны быть начеку. — При этих словах лицо его побагровело, он встал со стула и в волнении зашагал по комнате. — Горе вам, если вы дадите молодому авантюристу ускользнуть от меня...

Лучше уж вам оказаться в самом глубоком каземате в Европе, чем дышать воздухом Англии, если вы только надумаете меня обмануть. Я говорил с тобой открыто, приятель, более откровенно, чем обычно, — обстоятельства того требуют. Но пользоваться моим доверием — все равно что стоять на часах у порохового погреба: малейшая искра испепелит тебя. Передай своему господину то, что я говорил, но не

передавай, как я это сказал. Ну вот, опять я поддался гневу! Уходи... Пирсон передаст тебе приказы с печатями. Впрочем, постой.., ты хочешь что-то спросить?

— Я хотел бы знать, — сказал Уайлдрейк, ободренный волнением генерала, — какова наружность этого молодого рыцаря, на случай, если мне доведется повстречать его?

— Говорят, он худощавый, высокий, смуглый, бесстрашный. Вот его портрет, недавно его написал хороший художник. — Он повернул один из портретов, стоявших лицом к стене, но это был не Карл Второй, а его несчастный отец.

Первым порывом Кромвеля

было поскорее повернуть портрет обратно, и, казалось, ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы посмотреть на него.

Но он заставил себя взглянуть и, прислонив портрет к стене, отступил медленно и твердо, словно бросил вызов собственным чувствам; он решил найти такое место, с которого можно было лучше рассмотреть портрет. У Уайлдрейка все закипело внутри, когда он увидел портрет своего государя в руках главного виновника его смерти; к счастью, опасный собеседник в этот момент не смотрел в его сторону. Будучи человеком вспыльчивым и отважным, Уайлдрейк с большим трудом

сдержал свои чувства, и, если бы во время этой вспышки гнева у него было под рукой оружие, Кромвель, может быть, не продвинулся бы дальше на пути к верховной власти.

Но эта произвольная и внезапная вспышка негодования, взволновавшая столь заурядного человека, каким был Уайldreйк, не устояла перед могучим порывом чувств такой сильной личности, как Кромвель. Когда роялист взглянул на его мрачное и решительное лицо, на котором отразилось необычайное внутреннее смятение, его собственный гнев улегся, сменившись страхом и изумлением, подобно тому как яркий огонь

поглощает и затмевает свет тех огней, что горят более тускло; так и люди с большим и властным умом покоряют и подавляют порывом своих страстей волю и чувства более слабых, так могучий поток реки поглощает ручей, встреченный им на пути.

Уайлдрейк застыл в позе молчаливого, неподвижного, помертвевшего от страха зрителя, а Кромвель с твердой суровостью во взгляде и движениях, как человек, принуждающий себя взглянуть на предмет, который вызывает у него болезненное отвращение, продолжал рассуждать о портрете покойного короля в выражениях отрывистых и

кратких, но голос его при этом был тверд. Его слова, казалось, не столько были обращены к Уайлдрейку, сколько выражали стремление отвести душу, переполненную воспоминаниями о прошлом и предчувствием будущего.

— Этот фламандский художник, — говорил он, — этот Антонио Ван-Дейк, какая у него сила! Железо крушит., воины истребляют друг друга на поле боя... а король так и стоит, не подвластный времени; и внуки наши, читая его историю, смогут посмотреть на его портрет и сравнят печальные черты с горестным рассказом... Это была суровая необходимость...

Это было ужасное деяние...
Спокойный и гордый взор этот мог
бы повелевать толпами
пресмыкающихся французов,
угодливых итальянцев или
церемонных испанцев, но в
сдержанном англичанине взгляд его
пробуждал только природное
мужество. Не обвиняя несчастного,
умирающего грешника в его падении,
если небо не дало ему силы устоять.
Строптивый конь сбрасывает слабого
всадника и топчет его насмерть... А
ловкий, опытный наездник
вскакивает в пустое седло,
натягивает узду и вонзает шпоры до
тех пор, пока горячий конь не
подчинится господину.

Можно ли судить того, кто, пустив коня в галоп, победно скачет среди прочих людей, преуспев там, где падают и погибают неловкие и слабые? Поистине, он получает награду свою. Разве мне больше дела до этого куска раскрашенного холста, чем остальным?

Нет уж, пусть на других глядят с упреком эти гордые, но печальные глаза, это холодное, спокойное лицо. Тем, кто свершает великие дела, нечего трепетать при виде раскрашенной тени. Не жажда богатства и власти извлекла меня из ничтожества. Угнетенная вера и попранная свобода Англии — вот знамя, за которым я следовал.

Он возвысил голос так, как будто выступал в свою собственную защиту перед невидимым судилищем; дежурный офицер Пирсон заглянул в кабинет, но быстро скрылся, заметив, что командующий говорит громким голосом, с горящими глазами, вытянув руку и выставив вперед ногу, словно генерал, приказывающий войскам идти в наступление.

— Не собственная выгода побудила меня действовать, — продолжал Кромвель. — Я бросаю вызов всему миру, да, вызываю живого или мертвого; всякого, кто утверждает, что я вооружился в защиту личных интересов или для

наживы. В армии нет ни единого солдата, который бы пришел туда с меньшей злобой против этого злополучного...

В эту минуту дверь отворилась и вошла молодая особа, в которой по сходству с генералом сразу можно было узнать его дочь, хотя черты ее были мягкие и женственные. Она подошла к Кромвелю, нежно, но твердо взяла его под руку и сказала ему с упреком в голосе:

— Нехорошо, отец... Вы же обещали, что этого больше не будет.

Генерал поник головой, как будто устыдился своей вспышки или того, что дочь имеет на него такое влияние. Но отцовские чувства взяли

верх; не поворачивая головы в сторону портрета, который его так сильно взволновал, и не глядя на Уайлдрейка, окаменевшего от изумления, он вышел из комнаты.

Глава IX

*Так, так.. Вы узнали
то, что*

*Вам не полагалось бы
знать.*

«Макбет»[note 17](#)

Как мы уже сказали, Уайлдрейк в крайнем изумлении остался один. Ходили слухи, что Кромвель, этот серьезный и проницательный политик, хладнокровный и отважный полководец, человек, преодолевший столь большие трудности и вознесшийся на такую высоту, что, казалось, он уже оседлал

покоренную страну, был, подобно многим гениальными людям, от природы склонен к меланхолии, которая иногда проявлялась в его словах и поступках; первые признаки ее были замечены, когда он полностью забросил беспутные чудачества юности и стал строго соблюдать религиозные обряды — они как бы сближали его с миром высшей духовности. Говорят, что этот необыкновенный человек в молодости был подвержен религиозному экстазу или, как он сам говорил, на него находило пророческое вдохновение: он предугадывал свое будущее величие и таинственную силу, которой ему

было суждено обладать, так же как в юности ему было суждено предаваться необузданным шалостям и крайнему беспутству. Чем-то в этом роде можно было, вероятно, объяснить и гнев, вспыхнувший сейчас.

Изумляясь тому, что он видел и слышал, Уайлдрейк в то же время испытывал некоторое беспокойство за себя. Хоть он и не был самым осторожным из смертных, он обладал достаточно здравым смыслом, чтобы понять, насколько опасно оказаться свидетелем слабости людей, облеченных высокой властью; его так надолго оставили одного, что он уже начал опасаться,

не собирается ли генерал принять меры, чтобы упрятать или удалить свидетеля своего унижения: ведь Уайldreйк видел, как он, мучимый угрызениями совести, спустился с высот, где обычно парил над подлунным миром.

В этом Уайldreйк был несправедлив к Кромвелю — тот не отличался ни чрезмерной подозрительностью, ни бессмысленной жестокостью. Примерно через час появился Пирсон, велел Уайldreйку следовать за ним и провел его в дальние покои, где тот увидел генерала, сидевшего на низком диване. Дочь его была в той же комнате, но держалась

поодаль, занятая каким-то рукоделием; она едва повернула голову, когда вошли Пирсон и Уайлдрейк.

По знаку главнокомандующего Уайлдрейк подошел к нему.

— Друг мой, — сказал тот, — твои прежние товарищи роялисты смотрят на меня как на врага и ведут себя по отношению ко «мне так, как будто хотят сделать и меня своим врагом. Говорю тебе, они действуют себе во вред; я всегда считал и считаю их честными и благородными безумцами, которые настолько лишились рассудка, что сами лезут в петлю и бьются головой об стенку во имя того, чтобы человек по имени

Стюарт, и никакой другой, был королем над ними. Глупцы! Разве нельзя из букв составить слово, которое будет звучать не хуже, чем Карл Стюарт, если перед ним поставить этот магический титул?

Ведь слово «король» — как зажженная лампа, бросающая золотой свет на любое сочетание букв, а люди должны проливать кровь за какое-то имя! Но тебе я не сделаю зла. Вот письменный приказ очистить Вудстокский замок и передать его в ведение твоего господина или того, кого он назначит по своему усмотрению. Он, конечно, прихватит с собой дядю и хорошенькую кузину. Счастливого

пути... Поразмысли над моими словами. Говорят, что красота — притягательная сила для долговязого молодца, которого ты знаешь, но я думаю, сейчас его путь направляют другие звезды, а не ясные глаза и белокурые волосы. Что бы там ни было, ты знаешь мои намерения, гляди в оба.., зорко следи за каждым оборванцем, который слоняется у изгороди или по тропам: сейчас такое время, когда под плащом нищего может укрываться вельможная особа. Вот тебе несколько золотых — думаю, таких твой кошелек и не видывал.

Еще раз повторяю — помни, что слышал, и, — выразительно добавил

он, понизив голос, — забудь, что видел. Мое почтение твоему господину, еще раз говорю: помни..., и забудь...

Уайлдрейк откланялся, после чего вернулся в гостиницу и поспешно уехал из Уиндзора.

К вечеру того же дня роялист явился к своему другу круглоголовому, который, как было условлено, с нетерпением ожидал его в вудстокской гостинице.

— Где ты пропадал? Что видел? Почему ты так смущен? Почему не смотришь мне в глаза? Отчего не отвечаешь?

— Оттого, — отвечал Уайлдрейк, снимая дорожный плащ

и шпагу, — что ты засыпал меня вопросами. У человека только один язык, а у меня он к тому же совсем прилип к гортани.

— А вино его развяжет? — спросил полковник. — Впрочем, я уверен, ты использовал это средство в каждом трактире по пути... Заказывай, друг, все, что хочешь, только поскорее.

— Полковник Эверард, — возразил Уайлдрейк, — я сегодня не выпил даже стакана холодной воды.

— Так вот отчего ты не в духе! Полечись глоточком вина, если хочешь, но брось ты этот молчаливый и таинственный вид, тебя просто не узнать.

— Полковник Эверард, — важно отвечал роялист, — я теперь другой человек.

— Ты и вправду, кажется, меняешься с каждым днем и с каждым часом. Ну ладно, ладно; скажи-ка, ты видел генерала и достал у него приказ о том, чтобы комиссары очистили Вудсток?

— Видел я этого дьявола, — ответил Уайлдрейк, — и, как ты говоришь, достал у него приказ.

— Сейчас же давай его сюда! — вскричал Эверард, хватая пакет.

— погоди, Марк, — остановил его Уайлдрейк. — Если бы ты знал, на каких условиях он получен...

Если бы ты знал то, о чем я не

могу тебе рассказать, какие надежды основаны на том, что ты его примешь... Вот мое мнение, Марк Эверард: лучше бы ты схватил голыми руками раскаленную подкову с наковальни, чем принял этот клочок бумаги.

— Ладно, ладно, — нетерпеливо промолвил Эверард, — опять какое-нибудь возвышенное понятие о честности; все это хорошо в меру, но может с ума свести, если доводится до крайности. Раз я должен говорить с тобой открыто, не думай, что я без прискорбия смотрю на падение нашей древней монархии, что стремился заменить ее новой формой власти; но разве сожаление о

прошлом должно мешать мне думать о будущем и стараться упрочить его по мере сил моих? Королевская власть ниспровергнута, хотя бы ты и все роялисты Англии поклялись, что это не так, — ниспровергнута и больше не возродится.., во всяком случае, очень долго не возродится. Парламент обескровлен — из него силой выпроводили всех, у кого хватало мужества отстаивать свободу своих убеждений. Теперь он сведен к горсточке государственных деятелей, потерявших уважение народа за то время, что они стоят у власти. Парламент не сможет долго удержаться, не подчинив себе армию, а армия — в прошлом слуга, а теперь

господин положения — откажется подчиниться. Воины знают свою силу, они понимают, что армия может получать жалованье и постой во всей Англии, где ей будет угодно. Говорю тебе, Уайldreйк, надо поддерживать единственного человека, который может укрощать их и ладить с ними, а то в стране будет объявлено военное положение. Только мудрость и терпимость Кромвеля сохранят нам наши права. Теперь ты знаешь мои сокровенные мысли. Поверь, я понимаю, что это не лучший выход, но единственно возможный. И я желал бы, может быть не так горячо, как ты, но все же очень желал бы, чтобы король

возвратился на престол на условиях доброго согласия, приемлемых и для него и для нас. Ну вот, дорогой Уайлдрейк, хоть ты и считаешь меня бунтовщиком, знай, что я бунтовщик поневоле. Видит бог, я всегда хранил в своем сердце любовь и уважение к королю, даже когда обнажал шпагу против его дурных советчиков.

— Ах, чума вас возьми! — воскликнул Уайлдрейк. — Вот в этом-то и есть ханжество! Все вы так поете! Все вы воевали против короля из чистой любви и преданности, а никак не иначе. Однако ж я вижу твои стремления, и, сознаюсь, они мне больше по душе, чем я предполагал. Теперь ваша армия —

медведь, старик Нол — поводырь, а вы — как деревенский констебль, который умасливает поводыря, чтобы тот не спускал мишку с привязи. Ладно же, будет и на нашей улице праздник! Тогда и ты и все, кто покинул короля в трудную минуту и поддерживал того, кто сильнее, пожалуй, переметнетесь на нашу сторону.

Полковник Эверард, не слишком обращая внимание на речи друга, внимательно читал приказ Кромвеля.

— Такого решительного и безапелляционного приказа я не ожидал, — проговорил он. — Видно, генерал чувствует свою силу, если так смело выступает против

Государственного совета и парламента.

— Ты готов пустить этот приказ в ход? — спросил Уайлдрейк.

— Разумеется, — ответил Эверард, — но мне нужно будет заручиться помощью мэра: думаю, он с радостью поглядит, как молодцы уберутся из замка.

Мне, по возможности, не надо прибегать к вооруженной силе.

Он подошел к двери и приказал слуге найти главу города и сообщить ему, что полковник Эверард желает видеть его как можно скорее.

— Можешь быть уверен, он прибежит, как собака на свист, — сказал Уайлдрейк. — В наши дни,

когда одна шпага стоит больше, чем полсотни цеховых уставов, при слове «капитан» или «полковник» жирный горожанин бежит рысью. Но там ведь есть солдаты и тот мрачный плут, которого я напугал тогда вечером, просунув голову в окошко. Ты думаешь, мошенники не будут сопротивляться?

— Приказ генерала стоит больше, чем дюжина постановлений парламента, — ответил Эверард. — Но пора тебе поесть, если ты и вправду за всю дорогу ни разу не перекусил.

— Успею еще, — сказал Уайлдрейк, — говорю тебе, твой генерал попотчевал меня таким

завтраком, что долго будешь сыт, если сможешь переварить его.

Клянусь мессой, этот завтрак камнем лежал на моей совести; я снес его в церковь и постарался переварить вместе с остальными грехами. Но ничего не получилось.

— То есть к дверям церкви? — поправил Эверард. — Знаю я тебя, ты всегда почтительно снимаешь шапку у порога. Ну, а насчет того, чтобы войти, так это с тобой редко случается.

— Ну что ж, — сказал Уайldreйк, — я, конечно, снимаю там шапку и преклоняю колена, но разве не полагается держать себя в церкви так же почтительно, как во

дворце? Нечего сказать, приятно смотреть, когда ваши анабаптисты, браунисты и прочие сходятся на проповедь, как свиньи к корыту. И богослужения-то никакого! Но вот и еда; прочтем молитву, если я припомню хоть одну.

Эверард был так поглощен судьбой дяди и своей прекрасной кузины, так полон надежд вернуть их в мирное жилище под защитой того страшного жезла, который, по общему мнению, уже правил Англией, что не стал говорить о том, сколь значительна перемена в поведении его друга. Судя по движениям руки, в душе Уайлдрейка шла борьба между старыми

привычками и новым решением воздерживаться от вина; забавно было видеть, как часто рука новообращенного тянулась к большому черному кувшину с двумя галлонами крепкого эля, а затем, под влиянием лучших побуждений, исцеленный пьяница хватался вместо этого за кувшин с чистой и целебное водой.

Нетрудно было заметить, что воздержание — для него дело непривычное, и, если сознание требовало решимости, тело подчинялось неохотно. Но честный Уайлдрейк был так поражен встречей с Кромвелем, что принял несвойственное католику

торжественное решение: если он с честью выйдет из этой переделки, то докажет, что осознал благодеяние небес, отказавшись от грехов, наиболее ему присущих, и особенно от пьянства — к этому он и его буйные товарищи были очень привержены.

Это решение, или обет, подсказывалось отчасти благоразумием, а не только религиозными чувствами; он сообразил, что при создавшемся положении в его Руки могут попасть дела трудного и опасного свойства, и тут понадобится оракул посерьезнее, чем бутылка, которую прославил Рабле. В соответствии с таким

мудрым решением он не притронулся ни к элю» ни к виски и решительно отказался от красного вина, которым его друг хотел украсить стол. Однако ж когда мальчик, унося тарелки и салфетки вместе с упомянутым большим черным кувшином, сделал несколько шагов к двери, грешная рука роялиста, как бы нарочно для этого удлинившись (она высунулась далеко за пределы складок его потертого камзола), преградила путь уходящему Ганимеду, схватила кувшин и поднесла его к губам, которые со вздохом проговорили:

— Черт возьми.., я хотел сказать.., прости меня господи.., мы, бедные земные создания.., один

глоточек можно позволить себе в угоду нашей слабости.

С этими словами он поднес огромный кувшин к губам, и голова его стала медленно откидываться назад по мере того, как рука опрокидывала сосуд.

Эверард не сомневался, что пьющий и сосуд расстанутся только тогда, когда все содержимое последнего перельется внутрь первого. Но Роджер Уайлдрейк остановился после того, как, по скромному подсчету, проглотил залпом галлона полтора.

Тогда он поставил кувшин на поднос, глубоко вздохнул, чтобы наполнить легкие воздухом, тоном

раскаяния велел мальчику удалиться с остатками вина и, повернувшись к своему другу, стал пространно восхвалять умеренность, прибавив, что глоточек, который он только что выпил, доставил ему больше удовольствия, нежели четырехчасовая попойка.

Друг его ничего не ответил, но невольно подумал, что с этим единственным глотком из сосуда ушло столько вина, сколько более умеренные пьяницы тянули бы, сидя за столом, целый вечер. Но разговор прекратился, когда вошел хозяин и доложил его чести полковнику Эверарду, что достойный мэр Вудстока вместе с преподобным

Холдинафом явились
засвидетельствовать ему свое
почтение.

Глава X

*...Два тела у него,
А голова одна. Твой вол
двуглавый —*

*Осел в сравненье с
чудищем таким.*

*Башка решает сразу за
обоих:*

*Чуть слово молвит —
ей сейчас же вторит*

*Согласным шарканьем
четверка ног.*

Старинная пьеса

Благообразный

облик

достойного

мэра

выражал

одновременно и важность и суетливую растерянность — у него был вид человека, который сознает, что он призван играть значительную роль, но еще не знает, в чем эта роль должна заключаться. К этому примешивалось удовольствие встретиться с Эверардом; он беспрерывно выражал свою радость и повторял слова приветствия, прежде чем удалось убедить его выслушать то, что этот джентльмен хотел ему сообщить.

— Почтеннейший, достойнейший полковник, ваше присутствие в Вудстоке всегда для нас желанно; вы, можно сказать, наш земляк — ведь вы так часто

приезжали и так подолгу гостили в замке. Я поистине ума не приложу, что предпринять, хоть столько лет управляю делами этого города. А вы подоспели мне на помощь, как.., как...

— *Tanquam Deus ex machina* [note 18](#), как сказал языческий поэт, — вставил мистер Холдинаф, — хоть я и не часто цитирую сочинения подобного рода. В самом деле, мистер Маркем Эверард, или достойнейший полковник, как мне скорее следовало сказать, вы самый желанный гость в Вудстоке со времен старого короля Гарри.

— У меня есть к вам дело, дорогой друг мой, — начал

полковник, обращаясь к мэру, — и я буду рад, если мне когда-нибудь представится случай угодить вам и вашему достойному пастору.

— Это вы, бесспорно, сможете сделать, дорогой сэр, — подхватил мистер Холдинаф, — вы храбрец, сэр, у вас твердая рука, а мы очень нуждаемся в добром совете от человека дела. Я знаю, почтеннейший полковник, что вы и ваш уважаемый батюшка ведете себя в эти смутные дни как истинные христиане, как люди умеренные, стремящиеся пролить бальзам на раны нашей отчизны, а не натирать их кислотой и перцем, как другие; я знаю также, что вы верный сын

церкви, которую мы избавили от папских и прелатистских учений.

— Мой добрый и достойный друг, — отвечал Эверард, — я уважаю благочестие и ученость многих наставников ваших, но я стою за свободу вероисповедания для всех. Я не поддерживаю сектантов, но я против того, чтобы их притесняли.

— Сэр, сэр, — поспешно заговорил пресвитерианин, — все это приятно слышать, но подумайте, какую прекрасную страну и церковь мы могли бы создать среди всех этих заблуждений, богохульств и расколов, непрерывно происходящих в англиканской церкви и в королевстве. Достойный мистер

Эдварде в своем сочинении «Гангрена» говорит, что наша родина становится вертепом и свалкой для всякого раскола, ереси, богохульства и смут, подобно армии Ганнибала, которую называли свалкой всех народов... *Colluvies omnium gentium* [note 19](#). Поверьте мне, уважаемый полковник, в достопочтенном парламенте при потворстве старого Илии смотрят на это сквозь пальцы. Эти, с позволения сказать, наставники, эти раскольники изгоняют с кафедр законных служителей церкви, проникают в семьи, нарушают там мир, отторгая сердца людей от истинной веры.

— Любезный мистер

Холдинаф, — прервал Эверард ревностного проповедника, — все эти злосчастные разногласия дают основания для огорчений; вы правы, горячие умы нашего времени возбудили сознание людей против разумной и искренней религии, против достоинства и здравого смысла. Но ничем, кроме терпения, здесь не поможешь. Рвение — это поток, который может со временем утихнуть, но, несомненно, сметет все преграды на своем пути. Однако какое отношение имеют все эти сектантские распри к нашему нынешнему делу?

— Некоторое отношение имеют, сэр, — сказал Холдинаф, — хотя,

возможно, вы и не примете это так близко к сердцу, как я думал до этой встречи. Меня самого Ниимайю Холдинафа (добавил он значительно), силой изгнали с моей собственной кафедры, как вышвыривают человека из его собственного дома.

И кто же? Чужестранец, тот, кто вторгся, как волк; он не потрудился даже прикрыться овечьей шкурой, а так и явился в волчьем обличье, то есть в буйволовом нагруднике и с патронташем, да еще стал разглагольствовать вместо меня перед моей паствой, вместо меня, законного пастыря. Истинно так, сэр...

Господин мэр был тому свидетелем, он постарался навести порядок и пресечь это безобразие, насколько это было в человеческих силах, хотя, — заметил он, повернувшись к мэру, — думаю, что вы могли бы сделать и побольше.

— Ладно уж, любезный мистер Холдинаф, не станем опять возвращаться к этому вопросу, — сказал мэр. — Гай из Уорика или Бевис из Гемптона, может, и сделали бы что-нибудь с этим мошенником, но, право же, их так много и они так сильны, что вудстокскому мэру с ними не справиться.

— Мне кажется, господин мэр рассуждает очень здраво, —

вмешался полковник. — Если индепендентам запретить проповедовать, боюсь, они перестанут воевать. А что, если снова поднимутся роялисты?

— Может подняться кто-нибудь и почище роялистов, — сказал Холдинаф.

— Как, сэр? — воскликнул полковник Эверард. — Позвольте вам заметить, мистер Холдинаф, что так говорить при нынешнем положении в стране небезопасно.

— А я повторяю, — настаивал пресвитерианин, — что может подняться кое-кто и похуже роялистов, и я докажу, что я прав. Дьявол хуже всякого роялиста,

пьяницы и богохульника... А в Вудстокском замке появился дьявол.

— Да, истинно так, — сказал мэр, — его видели и слышали, как будто он из плоти и крови... До страшных времен мы дожили?

— Право, не знаю, господа, как вас понимать, — заметил Эверард.

— Как раз о дьяволе-то мы и пришли поговорить с вами, — объяснил мэр, — но достойный пастырь всегда так гневается на сектантов.

— Они и есть дьяволово отродье, близкая ему родня, — перебил мистер Холдинаф, — истинно говорю, распространение ереси вызвало нечистого духа на

поверхность земли, он-то уж сумеет поживиться там, где можно!

— Мистер Холдинаф, вы, наверно, выражаетесь фигурально, но я уже сказал вам, что у меня нет ни возможностей, ни умения, чтобы утихомирить эти религиозные страсти. Однако если вы хотите сказать, что появился подлинный дьявол, я склонен думать, что вы с вашей ученостью и образом мыслей лучше сможете с ним бороться, чем солдат, подобный мне.

— Истинно так, сэр. Обладая моими полномочиями, я настолько уверенно чувствую себя, что тотчас же вступил бы в борьбу с нечистым духом, — сказал Холдинаф, — не

будь Вудсток, где он недавно объявился, занят сейчас теми опасными и нечестивыми людьми, на которых я как раз и жаловался.

Мне не страшно вступить в спор с дьяволом, их господином, но было бы неблагоразумно без вашей поддержки, достойнейший полковник, явиться к этому разъяренному бодливому быку Десборо, к кровожадному медведю Гаррисону, к холодной и ядовитой змее Блетсону — все они сейчас живут в замке, самоуправствуют, подбирают добычу, какая попадется на пути, — вот дьявол-то, как все говорят, и явился туда участвовать в дележе.

— Все это истинная правда, достойный и благородный господин, — вступил в разговор мэр, — все именно так, как рассказывает мистер Холдинаф — наши привилегии упразднены, скот наш захватили прямо на пастбище. Поговаривают о том, что вырубят и разгородят заповедник, а ведь здесь подолгу отдыхало столько королей! Вудсток тогда потеряет всякое значение и превратится в жалкую деревушку, Уверяю вас, мы с радостью услышали, что вы приехали, только удивлялись, почему вы все время сидите в гостинице. Мы не знаем никого, кроме вас и вашего батюшки, кто мог бы постоять за

бедных горожан в их трудном положении; ведь почти все дворяне вокруг — изменники, и их имения конфискованы. Поэтому мы и надеемся, что вы за нас заступитесь.

— Конечно, господин мэр, — отвечал полковник с радостью, видя, что собеседник предвосхищает его мысли, — я как раз собирался вмешаться в это дело, но ждал до тех пор, пока не получил полномочий от главнокомандующего.

— Полномочий от главнокомандующего, — повторил мэр, толкая священника локтем в бок, — слышали? Ну какой петух сможет потягаться с таким петухом? Уж теперь-то мы с его помощью

надаем им по шее, и Вудсток останется прежним славным Вудстоком.

— Убери-ка свой локоть подальше, друг, — воскликнул Холдинаф, раздраженный жестикуляцией мэра. — Дай бог, чтобы Кромвель не стал давить на Англию так же, как твой костлявый локоть — на мой бок. Однако ж я считаю, что нам нужно использовать его власть для того, чтобы утихомирить этих людей.

— Тогда немедля отправимся в путь, — предложил полковник. — Надеюсь, эти джентльмены окажутся рассудительными и покорными.

Оба деятеля, светский и

духовный, с радостью согласились, полковник приказал Уайлдрейку подать плащ и шпагу, что тот и сделал так, как будто он и в самом деле был слугой. Но роялист умудрился здорово ущипнуть своего приятеля, чтобы утвердить их тайное равенство.

Когда они проходили по улицам, многие встревоженные горожане приветствовали полковника; они, казалось, понимали, что только его вмешательство может спасти прекрасный парк и отстоять права города, равно как и уберечь имущество отдельных его обитателей от разорения и конфискации.

Войдя в Парк, полковник

спросил своих спутников:

— Так вы говорите, что здесь появилась нечистая сила?

— Как же, господин полковник, — отвечал священник, — вы ведь сами знаете, что в Вудстоке всегда водилась нечистая сила.

— Я жил тут довольно долго, — сказал полковник, — но сам никогда не видел ни малейших признаков привидений, хотя праздные языки и болтают такое про любой старый замок: они населяют его домовыми и духами вместо знатных и великих людей, которые там когда-то жили.

— Это верно, уважаемый полковник, — продолжал священник, — но, я думаю, вы не

подвержены главному пороку наших дней и не закрываете глаза на существование привидений? Никто ведь в этом не сомневается, кроме атеистов и адвокатов по делам о колдовстве.

— Я не стану решительно отвергать то, что подтверждается всеми, — ответил полковник, — но рассудок заставляет меня сомневаться в большинстве историй такого рода, а на собственном опыте я ни разу не мог проверить ни одной из них.

— Ну уж, поверьте мне, — возразил Холдинаф, — в Вудстоке всегда водились нечистые духи того или иного рода. В городе нет

человека, который не слышал бы о призраках в лесу или около старого замка.

Кто-то видел, как пронеслась свора ищеек, кто-то слышал крики и гиканье охотников, сначала издалека, а потом все ближе и ближе, кто-то встречал одинокого охотника, который обыкновенно спрашивал, в какую сторону ушел олень. Он всегда был в зеленом, но костюмы такие носили лет пятьсот назад.

Его у нас зовут Demon Meridianum — полуденное привидение.

— Достойный и благочестивый сэр, — сказал полковник, — я прожил в Вудстоке много лет и бывал

в заповеднике днем и ночью. Поверьте мне, слухи, которые распространяют крестьяне, — плод их глупости и суеверия.

— Господин полковник, — ответил Холдинаф, — отрицание ничего не доказывает. Прошу прощения, но то, что вы никого не видели, еще не может опровергнуть свидетельства десятков тех, кто видел.

Сверх того, есть еще Demon Nocturnum — ночное привидение, он появился прошлой ночью среди этих индепендентов и раскольников. Да, полковник, удивляйтесь сколько хотите, но это именно так. Увидим, справятся ли они с ним при всех

своих талантах, заповедях и молитвах, как они это богохульно называют. Нет, сэр, я утверждаю, что победить нечистого может только подлинное знание богословия, знакомство с трудами гуманистов — да, да, духовное образование и религиозное рвение.

— Я ни капельки не сомневаюсь, — отвечал полковник, — что вы обладаете всеми качествами для того, чтобы сокрушить дьявола, но я думаю, что причиной тревоги было какое-то недоразумение. Десборо, конечно, тупица, да и Гаррисон такой фанатик, что поверит во что угодно, но там есть Блетсон, который ни во

что не верит. А что вы знаете об этой истории, уважаемый господин мэр?

— Все это правда. Как раз Блетсон первый и поднял тревогу, — отвечал мэр, — во всяком случае, первый сказал нечто вразумительное. Вот как это было, сэр. Лежу это я в постели с женой, не с кем-нибудь другим, и сплю так крепко, как человек может спать в два часа ночи; вдруг кто-то как застучит в дверь спальни и закричит, что в Вудстоке переполох и что колокол в замке звонит в этот глухой ночной час так громко, точно созывает гостей к обеду.

— Чем же был вызван переполох? — спросил полковник.

— Сейчас услышите, уважаемый полковник, сейчас услышите, — отвечал мэр, важно махнув рукой (он был из тех, кого нелегко сбить с темпа), — так вот, супруга моя тут и стала доказывать мне со всей своей любовью и преданностью, что если я встану в такой час с собственной теплой постели, значит — опять будет прострел, мой старый недуг, а лучше мне послать людей к олдермену Даттону. «К олдермену Дьяволу, говорю, госпожа супруга мэра — прошу прощения, ваше преподобие, за такие выражения, — вы что же, думаете, я буду валяться в постели, когда город в огне, роялисты восстали и черт его знает,

что там еще!» Снова прошу прощения, ваше преподобие,.. Но вот мы и у ворот замка, не угодно ли войти?

— Лучше я сначала дослушаю ваш рассказ до конца, — сказал полковник, — если у него вообще есть конец, господин мэр.

— У всего есть конец, — ответил мэр, — а у пудинга их два. Простите мне шутку, ваша милость. На чем это я остановился? Ах, да, я соскочил с постели, надел красные бархатные штаны и синие чулки — я считаю, что всегда должен быть одет согласно своему положению, и днем и ночью, летом и зимой, полковник Эверард, — прихватил с собой

констебля — на случай, если переполох поднят из-за ночных бродяг или воров, и стащил с постели достойного мистера Холдинафа — на случай, если это окажется дьявол.

И, таким образом, я подготовился к худшему. Словом, мы отправились. Тем временем солдаты, что прибыли в наш город вместе с мистером Томкинсом, были подняты по тревоге, и они пошли к Вудстоку таким быстрым маршем, как только ноги позволяли. Я подал своим людям знак, чтобы они дали им обогнать нас; у меня на это были две причины.

— Мне будет достаточно одной настоящей причины, — прервал его

полковник. — Вы хотели, чтобы красномундирники подоспели к драке первыми?

— Правильно, сэр, совершенно правильно, и чтобы они были и последними; ведь драться — их прямая обязанность. Как бы то ни было, мы шли медленно, как люди, готовые выполнить свой долг твердо и непреклонно; вдруг мы увидели, как что-то белое несется по аллее по направлению к городу; мои констебли, все шестеро, тут же сбежали — они вообразили, что это привидение по прозванию Белая Женщина из Вудстока.

— Слышите, — господин полковник, — вмешался

Холдинаф, — разве я вам не говорил, что в старинных замках водятся нечистые духи всяких мастей — свидетели королевских бесчинств и жестокостей?

— Надеюсь, вы не сдали позиций, господин мэр? — спросил полковник.

— Да.., без сомнения... То есть, правду сказать не совсем... Мы с клерком из мэрии отступили... отступили, полковник, без паники, и заняли позицию за спиной у достойного мистера Холдинафа, который как лев кинулся преграждать путь этому, как мы думали, привидению и напал на него с таким ливнем латыни, что мог

напугать самого дьявола; тут-то нам и удалось установить, что это был совсем не дьявол, не белая женщина и не женщина какого-нибудь другого цвета, а distinguished мистер Блетсон, член палаты общин, один из комиссаров, присланных сюда в связи с этой злосчастной конфискацией лесных угодий Вудстокского заповедника и замка.

— Только-то и всего? — спросил полковник.

— Именно так, — ответил мэр, — да у меня и желания не было его разглядывать. Но мы проводили мистера Блетсона обратно в замок, как того требовал наш долг. По пути он бормотал что-то несусветное о

том, как он встретил группу чертей в красных мундирах, марширующих к замку совсем как люди из плоти и крови; но, по моему скромному разумению, это были те самые драгуны, которые только что прошли мимо нас.

— Бесов чище этих и не увидишь, — вставил Уайлдрейк, не в силах дольше хранить молчание.

Этот внезапно прозвучавший голос показал, до какой степени у мэра были все еще возбуждены нервы; он вздрогнул и отпрянул в сторону с проворством, которого трудно было ожидать от человека столь солидного и дородного. Эверард приказал клерку замолчать,

а мэра спросил, чем все кончилось и удалось ли им схватить мнимое привидение.

— Конечно, достойный господин, — продолжал мэр, — мистер Холдинаф проявил подлинное мужество; стал лицом к лицу с дьяволом и принудил его явиться, так сказать, в человеческом облике мистера Джошуа Блетсона, члена парламента от округа Литтлфейс.

— Именно так, господин мэр, — вступил в разговор богослов. — Я непростительно забыл бы о своем духовном сане и о преимуществах, какие он дает в борьбе с нечистой силой, если бы стал хвалиться

СМЕЛОСТЬЮ В СХВАТКЕ С САМИМ
ДЬЯВОЛОМ ИЛИ С ЛЮБЫМ
ИНДЕПЕНДЕНТОМ В ОБРАЗЕ ДЬЯВОЛА;
ИМЕННО РАДИ ТОГО, КОМУ Я СЛУЖУ,
ВЫЗЫВАЮ Я ИХ ВСЕХ НА БОЙ, ПЛЮЮ НА
НИХ И ТОПЧУ ИХ НОГАМИ. Но
почтеннейший мэр очень уж
многословен; скажу вам кратко, что
никакой нечистой силы мы в ту ночь
не видали, а судить о ней могли
только по тому, что с перепугу
рассказал мистер Блетсон, да по
растерянному взгляду почтенного
полковника Десборо и генерал-
майора Гаррисона.

— В каком же они были
состоянии, позвольте узнать? —
спросил полковник.

— Ну как же, достойный сэр, с первого взгляда было видно, что там произошло сражение и победа осталась не за ними: генерал Гаррисон шагал по комнате с обнаженной шпагой в руке, бормотал что-то про себя, мундир у него был расстегнут, аксельбант развязался, подвязки спустились, того и гляди он наступит на них и полетит, а сам гримасничает, как обезумевший комедиант. И тут же сидел Десборо с пустой бутылкой. Он-то думал — вино ему поможет, а сам не смог ни звука произнести, голову назад повернуть — и то храбрости не хватило. Да еще вдобавок библию держал в руке, как будто она сама за

него будет бороться с дьяволом; но я заглянул ему через плечо — и что же я увидел? Достойный джентльмен держал ее вверх ногами! Это все равно что ваш солдат, честный и благородный сэр, повернул бы мушкет к неприятелю вместо дула прикладом.

Ха-ха-ха! Тут они все как на ладони, еретики! Весь их ум, душа, находчивость, мужество. Тут уж, господин полковник, ясно было видно истинное лицо законного пастыря человеческих душ, его преимущество перед теми несчастными, которые врываются в его паству, да еще берутся проповедовать, поучать, наставлять и

богохульствуют, называют учение церкви пресной размазней и сушеной картошкой.

— Не сомневаюсь в вашей готовности встретить опасность, святой отец, но я желал бы знать, что это была за опасность и с какой стороны она угрожала.

— Мне ли было спрашивать об этом! — вскричал священник с победоносным видом. — Разве дело храброго солдата пересчитывать своих врагов или смотреть, откуда они надвигаются? Нет, сэр. Орудия мои были заряжены, фитили зажжены, аркебуза наведена, я готов был встретить столько чертей, сколько могла извергнуть

преисподняя, будь их что пылинок в солнечном луче и приди они со всех четырех сторон света. Паписты еще толкуют об искушении святого Антония. Чепуха! Пусть бы удвоились те легионы бесов, которые изобразил сумасброд — голландский художник, вы бы увидели, как бедный пресвитерианский священник — за одного я, во всяком случае, ручаюсь — не своими слабыми силами, а с помощью своего владыки так бы их встретил, что они не посмели бы лезть к нему, как лезли днем и ночью к тем жалким псам; здорово они полетели бы у него в преисподнюю!

— И все же, — заметил полковник, — разрешите узнать,

встретили ли вы кого-нибудь, удалось ли вам пустить в ход свое благочестие и ученость?

— Встретил ли? — ответил богослов. — Нет, не встретил, да и не искал. Разбойники не нападают на вооруженных путешественников, так и дьявол или нечистая сила не смеет подступить к тому, кто в груди своей носит слово божье в его первом изречении. Нет, сэр. Они сторонятся богослова, знающего священное писание, как ворона, что, говорят, держится подальше от ружья, заряженного дробью.

Чтобы завершить разговор, они прошлись обратно по дороге, но полковник скоро убедился, что нет

никакой возможности добиться вразумительного объяснения, почему накануне поднялась тревога; он повернул обратно, сказав своим трем спутникам, что пора идти в замок.

Тем временем стемнело; башни Вудстока высились над зелеными верхушками лесной чащи, простирающейся вокруг величественного старинного здания.

В одной из высоких башенок, еще легко различимой на фоне ясного голубого неба, горел огонь, похожий на пламя свечи. Мэр остановился как вкопанный и, схватившись за богослова, а затем и за полковника Эверарда, торопливо прошептал дрожащим голосом:

— Видите тот свет?

— Конечно, вижу, — отвечал Эверард, — ну и что же? Что за диво — свеча в башне такого замка, как Вудсток?

— А то, что свеча-то горит в башне Розамунды! — возразил мэр.

— И правда, — с удивлением промолвил полковник, убедившись, что достойный мэр не ошибся местом. — Действительно, в башне Розамунды, а ведь подъемный мост к ней уже несколько сот лет как разрушен; непонятно, каким образом в такое неприступное место могла попасть свеча.

— Этот светильник заправлен не земным маслом, — продолжал

мэр, — не китовым жиром, не оливковым маслом, не воском, не бараньим салом. Я торговал всем этим, господин полковник, прежде чем занять мой теперешний пост. Могу вас заверить, я различу, каким маслом заправлен светильник, на расстоянии побольше, чем до этой башни... Говорю вам, это свет иной, не нашей суетной земли!.. Разве вы не видите что-то синее и красноватое по краям?

По этому одному можно догадаться, что это за свет...

Знаете, господин полковник, сдается мне, нам лучше пойти в город поужинать; пусть черти и красномундирники сегодня сами

улаживают свои дела. А завтра утром можно вернуться и поговорить с теми, кто выйдет победителем.

— Можете поступать как вам угодно, почтенный мэр, — ответил Эверард, — мой долг велит мне повидать комиссаров сегодня.

— А мой долг — грудью встретить дьявола, — подхватил Холдинаф, — если он осмелится явиться передо мной. Не удивляюсь, что враг, как увидел, кто к нему приближается, так и убрался в последнее укрытие, в самую неприступную часть этого древнего и заколдованного замка. Он хитер, этот бес, поверьте мне, он любит таиться в местах, где сами стены пропитаны

сладострастием и убийством. В той башне грешила Розамунда, там ее заточили, в той башне она томилась, там она и является, или, лучше сказать, не она, а дьявол в ее образе. Слышал я, как почтенные люди рассказывают об этом в Вудстоке.

Я последую за вами, достойный полковник... А почтеннейший мэр может делать что ему угодно. Нечистая сила засела в своем логове; ну ничего, пришел кое-кто посильнее.

— Что до меня, — заметил мэр, — я не такой храбрый и не такой ученый, как вы, я не стану тягаться с силами земными и с владыкой сил потусторонних.

Хорошо бы сейчас опять оказаться в городе! Слушай, приятель, — он хлопнул Уайлдрейка по плечу, — я дам тебе один шиллинг на выпивку, а другой на закуску, если ты пойдешь назад вместе со мной.

— Черта с два, почтенный мэр! — вскричал Уайлдрейк, которого не прельстили ни дружеский тон, ни щедрость мэра. — Интересно, с каких это пор мы стали приятелями? И неужели вы думаете, я соглашусь вернуться в город в сопровождении такой дурацкой башки, как у вашей милости, если мне подвертывается случай взглянуть на прекрасную Розамунду и удостовериться, точно ли она такой

первосортный и несравненный
сосуд, как говорится во всех стихах и
балладах?

— Выражайся поскромней и
поприличней, приятель, — оборвал
его богослов, — мы должны бороться
с дьяволом, изгонять его, а не входить
с ним в сделку, не совать нос в его
дела и не принимать участия в этой
сатанинской ярмарке тщеславия.

— Прислушайся к тому, что
говорит этот достойный человек,
Уайлдрейк, — заметил
полковник, — и впредь не давай
волю языку, будь осмотрителен.

— Очень признателен
почтенному джентльмену за совет, —
ответил Уайлдрейк, которому

труднее всего было именно сдержать язык, даже ради своей собственной безопасности. — Но, черт возьми, какой бы у него ни был опыт в борьбе с дьяволом, ему и за сто лет не увидеть такого беса, с каким мне довелось иметь дело.

— Как, друг мой! — вскричал священник, который понимал все буквально, когда речь шла о нечистой силе. — Ты недавно видел дьявола? Теперь мне понятно, почему ты так часто и так легко произносишь его имя в обычном разговоре. Где же и когда ты с ним встречался?

Эверард поспешил вмешаться, опасаясь, что его безрассудный оруженосец просто из озорства яснее

намекнет на встречу с
главнокомандующим.

— Молодой человек бредит, —
сказал он, — у него на уме сон,
который он видел прошлой ночью,
когда мы вместе ночевали в замке в
покоях Виктора Ли на половине
королевского лесничего.

— Спасибо за помощь, дорогой
патрон, — шепнул Уайлдрейк на ухо
Эверарду, который напрасно старался
отстраниться от него, — фанатика
ведь всегда легко одурачить.

— Ну и вы, господин полковник,
тоже слишком легкомысленно
говорите об этом предмете, особенно
когда нас ждет такое дело, —
заметил пресвитерианский

богослов. — Поверьте мне, весьма возможно, что этот молодой человек, слуга ваш, видел в той комнате призрак, а не просто сон. Много раз мне говорили, что, кроме башни, где грешила Розамунда и где она была отравлена королевой Элеонорой, злые духи Вудстокского замка чаще всего посещают покои Виктора Ли. Прошу вас, молодой человек, расскажите, какой сон или какое привидение вам явилось?

— С большим удовольствием, сэр, — согласился Уайлдрейк. Обращаясь к своему патрону, который явно хотел вмешаться, он сказал:

— Погодите, сэр, вы уже битый

час разглагольствовали, почему же и мне не поговорить? Клянусь нечистой силой, если вы и дальше будете затыкать мне рот, я заделаюсь республиканским проповедником и назло вам стану призывать к всеобщей свободе слова. Итак, достойный сэр, привиделось мне мирское развлечение под названием «травля быков». Будто целая свора псов напала на быка, — никогда не видал я, чтобы они так рьяно кидались на травле в Татбери. И слышу я, будто сам сатана прибыл посмотреть на травлю. Ладно, думаю, поглядим на владыку преисподней, черт возьми.

Огляделся это я вокруг и вижу

мясника в засаленном шерстяном кафтане, за поясом у него секач, но это не был дьявол. Потом появился пьяный роялист, с проклятиями на языке, голодный, на нем был рваный камзол, расшитый золотом, и старая шляпа с ошипанным пером, но и это не был дьявол. Затем увидал я мельника, руки у него все были в краденой муке, потом трактирщика, а у него зеленый фартук был залит разбавленным вином, но это все еще не был старый джентльмен, которого я высматривал среди этих вершителей беззакония. И вот наконец, сэр, заметил я важную особу со стриженной головой, с длинными торчащими ушами, с

широким слюнявчиком на шее, в коричневом кафтане под женевским плащом. Тут я сразу же признал старого Ника собственной персоной, потому что...

— Как тебе не стыдно, — прервал его полковник Эверард, — так вести себя при пожилом человеке, да еще и священнике!

— Не прерывайте его, пусть говорит спокойно, — сказал пастор. — Если ваш приятель или секретарь изволит шутить, у священнослужителя должно быть довольно терпимости, чтобы снести насмешку и простить насмешнику. Но, с другой стороны, нет ничего удивительного в том, что враг явился

молодому человеку именно в таком виде. Ведь принимает же он образ светлого ангела, — отчего же ему не явиться в обличье слабого и грешного смертного? Духовное призвание обязывает его служить образцом для других, однако же поведение его часто являет пример такой слабости человеческой плоти, что скорее предостерегает нас от того, чего мы должны избегать.

— Клянусь мессой, уважаемый наставник.., то есть я хотел сказать — достопочтенный сэр.., приношу тысячу извинений, — вскричал Уайлдрейк, растроганный мягким упреком пресвитерианина, — клянусь святым Георгием, если для

победы над дьяволом нужна только кротость, ты смело можешь сразиться с ним на рапирах, я согласен в этом турнире только заклады принимать.

Когда Уайлдрейк заканчивал свое извинение, вполне уместное и принятое явно благосклонно, собеседники подошли так близко к воротам замка, что часовой у ворот громко крикнул: «Стой, кто идет?»

Полковник Эверард ответил: «Друг», а часовой, повторив приказание: «Стой, друг», позвал капрала охраны. Капрал появился и тотчас же отпустил часового. Полковник назвал свое имя и звание, а также представил своих спутников.

— Не сомневаюсь, что получу приказание немедленно вас впустить, — ответил ему капрал, — но сначала я должен доложить о вас мистеру Томкинсу, чтобы тот испросил разрешение господ комиссаров.

— Как, сэр, — рассердился полковник, — вы узнали, кто я такой, и все-таки собираетесь держать меня за воротами?

— Никак нет, если ваша милость пожелает войти, — возразил капрал, — но только благоволите взять на себя ответственность. Я получил на этот счет строгий приказ.

— Тогда исполняй свой долг, — сказал полковник. — Но чем же

вызван такой строгий приказ об охране? Роялисты, что ли, зашевелились?

В ответ капрал пробормотал себе под нос что-то невнятное про врага и про льва рыкающего, который бродит вокруг в поисках добычи. Тут появились Томкинс и двое слуг, несущих свечи в тяжелых медных подсвечниках; они пошли впереди полковника Эверарда и его спутников, прижавшись друг к другу, как дольки апельсина; время от времени они боязливо оглядывались по сторонам, а проходя по разным запутанным переходам, еще крепче держались друг за друга. Поднявшись по широкой деревянной лестнице с

резными перилами и ступенями из мореного дуба, они вошли наконец в длинный зал, или гостиную, где в камине пылал огонь, а по стенам в двенадцати больших канделябрах горели свечи. Тут и расположились комиссары, в чьих руках находилась теперь королевская резиденция — старинный замок Вудсток.

Глава XI

*Кровавый зверь,
индепендент-медведь,
Невежа, неуч, злобно
стал реветь.*

*Скроил себе безбожник
павиан*

*Из всех религий
шутовской кафтан.*

*«Лань и
пантера».*

В ярком свете гостиной Эверард сразу же узнал своих старых знакомых — Десборо, Гаррисона и Блетсона. Они сидели перед горящим

очагом вокруг огромного дубового стола, уставленного бутылками с вином и элем; на нем же лежало все необходимое для курения — всеобщей забавы того времени. Между столом и дверью стоял передвижной буфет; раньше в нем хранилась серебряная посуда для торжественных обедов, а теперь он служил перегородкой и выполнял свою роль так успешно, что Эверард, обходя его, смог услышать, как Десборо сказал своим сильным, грубоватым голосом:

— Уж будьте уверены, он прислан, чтобы участвовать в дележе... Его превосходительство, мой шурин, всегда так поступает...

Закажет обед на пять человек, а наприглашает столько, что и за стол не усадить... Помню, как-то он позвал к обеду троих, а только и было подано, что два яйца.

— Тише, тише, — остановил его Блетсон.

Как раз в этот момент двое слуг вышли из-за буфета и доложили о прибытии полковника Эверарда.

Читателю, вероятно, небезынтересно будет поближе познакомиться с теми людьми, в общество которых попал Эверард.

Десборо был человек, среднего роста, коренастый, с бычьей шеей, грубыми чертами лица, густыми седеющими бровями и

подслеповатыми глазами. Блеск карьеры его могущественного родственника отразился и на нем — он носил богатый костюм, на котором блестело гораздо больше украшений, чем обычно было принято среди круглоголовых. Плащ его был украшен вышивкой, галстук отделан кружевами, на шляпе красовались перо и золотая пряжка; наряд этот был скорее под стать роялисту или придворному щеголю, он ничем не напоминал скромную одежду офицера парламентской армии. Но видит бог, как мало было светского изящества во внешности Десборо и в его поведении — нарядное платье шло ему, как свинье

с вывески — золоченые латы. Присмотревшись внимательно, можно было сказать, что он совсем недурен собой; фигуру его нельзя было назвать очень уж неуклюжей и безобразной. Но, казалось, руки и ноги у него двигаются несогласованно, противореча друг другу. Между ними, как говорится в одной пьесе, не было взаимной связи — правая рука двигалась так, как будто враждовала с левой, а ноги стремились идти в противоположных направлениях.

Словом, если прибегнуть к необычному сравнению, конечности полковника Десборо скорее напоминали враждующих

представителей некоего
федерального парламента, чем
организованный союз сословий в
устойчивой монархии, где каждый
знает свое место и повинуетя
приказам главы государства.

Генерал Гаррисон, второй член комиссии, был высокий сухощавый человек средних лет; он дослужился до больших чинов в армии и снискал расположение Кромвеля неукротимой храбростью, а популярность среди воинов — святош, сектантов и индепендентов — восторженным фанатизмом. Гаррисон был незнатного происхождения: по примеру своего отца, он в юности был мясником.

Однако внешность его, хоть и грубая, была не так вульгарна, как у Десборо, несмотря на то, что тот был более высокого рода и лучше воспитан. От Гаррисона веяло силой и мужеством, он был хорошо сложен, в поведении его проявлялись непреклонные и воинственные черты характера, его можно было бояться, но нельзя было презирать или насмехаться над ним. Орлиный нос и черные глаза украшали не правильные черты его лица. Благодаря необузданному фанатизму, сверкавшему в его взоре, когда он излагал свои идеи, или дремавшему за длинными черными ресницами, когда он предавался размышлениям, наружность его

казалась незаурядной и даже благородной. Он был одним из предводителей тех, кого называли людьми Пятой монархии; они заходили дальше крайнего фанатизма своего века, произвольно толковали Апокалипсис и ждали в близком будущем второго пришествия мессии и тысячелетнего царства святых на земле. Они считали, что обладают силой предвидения этих событий, избраны для учреждения Нового Царства, или Пятой монархии, как они его называли, и были уверены, что призваны прославить это царство в небесах и на земле.

Когда фанатизм этот, доходивший до безумия, не овладевал

Гаррисоном, он проявлял себя ловким политиком и отличным солдатом; не упускал он и случая увеличить свое состояние и, в ожидании Пятой монархии, с готовностью содействовал упрочению неограниченной власти главнокомандующего. Трудно определить, была ли тому причиной его прошлая профессия, когда он на бойне равнодушно смотрел на страдания истекающих кровью животных, или природная бесчувственность, или, наконец, упорный фанатизм, из-за которого всякий инакомыслящий казался ему противником воли божьей, не заслуживающим ни помощи, ни

сострадания, но общее мнение было таково, что, когда армия Кромвеля одерживала победу или брала приступом город, не было человека более жестокого и безжалостного, чем Гаррисон; он всегда цитировал некстати какой-нибудь текст из библии для того, чтобы оправдать постоянные казни солдат, бежавших с фронта; иногда он доходил даже до умерщвления пленных. Поговаривали, что мысли о жестоких поступках порой мучили его совесть, он начинал сомневаться в том, что осуществится его мечта о причислении его к лику святых.

Таков был этот достойный представитель воинов-фанатиков

того времени; из подобных людей состояли войска, которым Кромвель оказывал поддержку из политических соображений, в то же время подчиняя себе те полки, где преобладали пресвитериане.

Когда Эверард вошел в комнату, Гаррисон сидел в стороне от своих товарищей; скрестив перед огнем вытянутые ноги и подперев рукой голову, он устремил взор свой вверх, как будто углубился в изучение погруженного во мрак резного готического свода.

Осталось упомянуть о Блетсоне. Лицом и фигурой он нисколько не походил на двух остальных членов комиссии. Во внешности его не было

ни франтовства, ни небрежности, ничто в нем не говорило о его воинском звании. Короткая шпага висела на поясе скорее как знак его высокого положения, рука его никогда не тянулась к эфесу, а взор не обращался к клинку.

Худощавое лицо было изрезано морщинами не столько от возраста, сколько от размышлений, на нем всегда блуждала презрительная усмешка, даже когда Блетсон менее всего желал выразить презрение; она, казалось, должна была убедить собеседника, что в Блетсоне он встретил человека неизмеримо умнее, чем он сам. Но дело сводилось только к превосходству

ума; во всех ученых диспутах, да и вообще в любом споре, Блетсон всегда избегал решать вопросы, применяя последний ratio [note 20](#) — удары и пинки.

В начале гражданской войны этот миролюбивый джентльмен вынужден был служить в рядах парламентской армии, пока на беду свою не столкнулся с неукротимым принцем Рупертом, — отступление Блетсона было таким поспешным, что потребовалось вмешательство влиятельных друзей, чтобы спасти его от обвинения в измене и от военного трибунала. Блетсон был хороший оратор, его горячие речи в палате общин, где он чувствовал себя

в своей стихии, всегда пользовались большим успехом. Это качество его партия ценила высоко, поэтому на поведение Блетсона при Эджхилле смотрели сквозь пальцы, он продолжал принимать деятельное участие во всех политических событиях того смутного времени, но уже ни разу не сталкивался лицом к лицу с врагом на поле боя.

Взгляды Блетсона в области политики долгое время совпадали с взглядами Хэррингтона и тех, кто строил фантастические планы превращения такой обширной страны, как Британия, в чисто демократическую республику. Эта идея была несостоятельной

применительно к стране, где существуют такие глубокие различия в сословиях, обычаях, воспитании, нравах, где так несоразмерно имущественное положение отдельных людей и где огромную часть населения составляют низшие классы, живущие в больших городах и промышленных районах, — люди такого рода не способны принимать участие в управлении государством, а это — обязанность граждан в подлинной республике. Поэтому, как только подобный опыт был проделан, стало очевидно, что такая форма правления долго не продержится; вопрос был только в том, сможет ли остаток — или, как его презрительно

называли, Охвостье — Долгого парламента, от которого из-за постоянной убыли членов осталось несколько десятков людей, — сможет ли оно, несмотря на свою непопулярность в народе, править Британией? Или этому Охвостью следовало, еще усилив смуту, распустить самое себя и призвать к созыву нового парламента, причем нельзя было предвидеть, кто в него будет избран и какой политики он будет придерживаться? И, наконец, было неясно, не захочет ли Кромвель разрешить вопрос при помощи своей шпаги, как оно и случилось, и не возьмет ли он смело в свои руки ту власть, которую остаток парламента

уже не в силах был удержать, но боялся упустить.

При таком соотношении сил Государственный совет, раздавая милости, которые были в его власти, старался ублаготворить и задобрить армию подобно тому, как нищий бросает корки хлеба рычащему псу. С этой целью Государственный совет назначил Десборо членом комиссии по конфискации Вудстока» чтобы угодить Кромвелю, Гаррисона — чтобы польстить неукротимым людям Пятой монархии, а Блетсона — как рьяного республиканца и своего человека.

Но если члены парламента предполагали, что Блетсон горит

желанием стать великомучеником во имя республики или потерпеть ради нее какой-нибудь ущерб, они глубоко ошибались. Он искренне верил в республиканские идеи и твердо их отстаивал, даже когда они оказывались несостоятельными, — неудачный опыт точно так же не обескураживает политика, как взрыв реторты не разочаровывает алхимика. Но Блетсон был готов подчиниться Кромвелю, как и всякому, к кому перейдет власть. На деле он всегда был ретивым сторонником существующей власти, для него была приемлема любая форма правления; все они, по его мнению, были далеки от

совершенства, раз ни одна не создавалась по образцу «Оцеаны»

Хэррингтона. Кромвель давно уже заигрывал с Блетсоном, считая, что тот в скором времени станет податлив, как воск, а пока смеялся про себя, видя, как Государственный совет осыпает своего верного соратника наградами, — Кромвель был уверен, что Блетсон станет на его сторону, когда наступит ожидаемая смена власти.

Блетсон еще выше, чем политические взгляды, ставил свои философские теории; в рассуждениях о совершенствовании человечества он шел так же далеко, как и в вопросе о создании

совершенной формы управления государством — тут он высказывался против любой власти, исходящей не от самого народа, а в своих рассуждениях на философские темы не был склонен считать любое явление природы целесообразным. Но когда Блетсона припирали к стенке, он бормотал, излагая невразумительные и непонятные идеи о каком-то Animus Mundi [note 21](#), или созидательной силе природы, сотворившей мир и продолжающей творить его. «Кое-кто из настоящих философов, — говорил он, — поклоняется этой силе, да и сам он не порицает тех, кто, славя великую богиню Природу, устраивает

праздники с плясками, хоровым пением, безобидными пиршествами и возлияниями — ведь пляски, пение, игры и пиршества приятны и для молодых и для старых; почему же им не играть, не плясать и не пировать в установленные праздники, паз это только предлог повеселиться? Но эти умеренные религиозные обряды должны быть ограничены теми оговорками, какие предусмотрены хайгетской присягой; никого нельзя принуждать плясать и пировать, если ему не хочется, никого нельзя заставить поклоняться силе природы, называть ли ее *Animus Mundi* или как-нибудь иначе». Вмешательство божества в дела

человеческие он совершенно отрицал, самодовольно доказывая, что это просто выдумка священников. Словом, если оставить в стороне вышеупомянутые туманные философские идеи, мистер Джошуа Блетсон из Дарлингтона, член парламента от Литтлфейса, подошел так близко к атеизму, как это только могло быть доступно человеческому уму. Но тут же следует оговориться — люди, подобные Блетсону, часто боятся сверхъестественного, хоть в основе их суеверий и не лежат религиозные воззрения. Говорят, что обитатели преисподней веруют в бога и боятся его; на земле же есть люди еще трусливее, чем потомки

сатаны: они дрожат, хоть и не верят, и
страшятся даже тогда, когда
богохульствуют.

Разумеется, ничто не вызывало
большого презрения мистера
Блетсона, чем споры папистов и
пресвитериан, пресвитериан и
индепендентов, квакеров и
анабаптистов, магглтонианцев и
браунистов и разных других сект,
которые начали гражданскую войну
и своими спорами содействовали ее
продолжению.

«Как будто вьючные животные
спорят между собой, — говорил
Блетсон, — какими должны быть
узда и седло, вместо того чтобы
воспользоваться удобным случаем и

сбросить их совсем». Он позволял себе и другие тонкие и язвительные насмешки, но знал для них время и место, например — отпускал их в клубе под названием «Колесо»; клуб этот часто посещал сам Сент-Джон, а основал его Хэррингтон для споров на политические и религиозные темы.

Но вне этой академии, этого оплота философской мысли, Блетсон был очень сдержан и остерегался открыто высказывать пренебрежение к религии; он позволял себе только завуалированные возражения или презрительные усмешки. Когда ему случалось один на один поговорить с умным, но простодушным юношей,

он пытался иногда внушить ему свои взгляды; искусно играя на тщеславии наивного юнца, он говорил, что такой ум, как у его молодого собеседника, должен отбросить предрассудки, привитые ему в детстве, а надевая *latus clavus* [note 22](#) разума, уверял юношу, что такой человек, как он, сняв буллу, должен судить обо всем и действовать независимо. Нередко случалось, что новообращенный частично или полностью принимал доктрины этого мудреца, который открыл его природный ум и побудил его осознавать, определять и высказывать свои взгляды. Так лесть вербовала сторонников безверия и с

успехом, какого не могли достичь ни самое блестящее красноречие, ни замысловатые софизмы сектантов.

Эти попытки увеличить число свободомыслящих и философов Блетсон, как мы уже отметили, предпринимал очень осторожно из-за своей природной робости. Он знал, что к его взглядам относятся подозрительно и за его действиями наблюдают две главные секты — прелатисты и пресвитериане; они хоть и враждовали друг с другом, но еще более враждебно относились к тому, кто был противником официальной церкви и любых форм христианства. Поэтому Блетсону было удобнее тайно действовать

среди индепендентов, требовавших свободы совести и полной веротерпимости, — их вероучения, очень разнообразные, доводились некоторыми до такой крайности, что совсем выходили за рамки христианства в любой его форме и приближались к полному безверию — ведь, как говорят, крайности часто сходятся.

Блетсон много общался с этими сектантами; он был так уверен в логичности своих доводов и в своих тактических способностях, что даже, как рассказывают, надеялся привлечь на свою сторону рьяного Вейна и не менее рьяного Гаррисона; он хотел убедить их отказаться от идеи Пятой

монархии и довольствоваться для Англии царством философов на земле, а не мечтать о тысячелетнем царствии святых.

Такова была компания, в которую попал Эверард; их разные убеждения показывали, на какие пустынные берега может быть выброшен человек, когда он сорвется с такого якоря, как религия; изощренное самодовольство и светская ученость Блетсона, с одной стороны, опрометчивые и невежественные суждения свирепого и грубого Гаррисона — с другой, приводили их к противоположным крайностям безверия и фанатизма, а Десборо, тупой от природы, вовсе не

размышлял о религии, и, в то время когда другие пытались придерживаться различных, но одинаково ошибочных курсов, он, можно сказать, тонул, как судно, получившее течь и идущее ко дну в гавани.

Трудно даже представить себе, какое несметное количество ошибок, совершенных королем и его министрами, парламентом и его лидерами, королевствами-союзниками Шотландией и Англией по отношению друг к другу, возвысило людей с опасными взглядами и сомнительной репутацией и сделало их вершителями судеб Британии.

Те, кто вступает в спор во имя интересов своей партии, видят все недостатки противников, но не снисходят до того, чтобы заметить свои собственные; те, кто изучает историю, чтобы глубже понять людей, поймут, что только неуступчивость с обеих сторон, острая враждебность, до которой дошли защитники короля и парламента, могли полностью уничтожить твердо установившийся английский порядок. Но поспешим уйти от политических рассуждений; мысли, подобные нашим, вероятно, не понравятся ни вигам, ни тори.

Глава XII

Где трое, там союз.
Войти четвертым
В него ты хочешь —
сделай же свой вклад.

Бомонт и
Флетчер

Блетсон поднялся с места и приветствовал полковника Эверарда с ловкостью и непринужденностью светского человека того времени, хотя совсем не обрадовался ему — он знал, что Эверард религиозен и ненавидит вольнодумство, а поэтому не даст ему обратить в

последователей Animus Mundi Гаррисона и даже Десборо, если вообще из этой глыбы можно что-нибудь вылепить. Кроме того, Блетсону было известно, что Эверард — человек строгих правил и ни за что не пожелает присоединиться к делу, на которое Блетсон уже подбил двух других комиссаров; участвуя в нем, они рассчитывали тайно получить некоторое вознаграждение за труды на общественном поприще. Еще менее приятно для философа было появление мэра и пастора, которые видели, как он прошлой ночью бежал из замка, *parva non bene relict*[a note 23](#), а также плащ и камзол.

Для Десборо появление

полковника Эверарда было так же малопривлекательно, как и для Блетсона: у него не было никаких философских идей, но он не верил, что на свете есть человек, который не стремится поживиться из мешка с несметными сокровищами, и теперь был занят мыслью, что прибыль от этого дела придется разделить не на три части, а на четыре, вследствие нежелательного увеличения числа сообщников. Десборо и всегда был невежлив, а под влиянием этих мыслей он пробурчал что-то очень мало напоминающее приветствие.

Что до Гаррисона, то он продолжал витать в облаках, не изменил позы, даже глаз не отвел от

потолка и ничем не обнаружил, что заметил прибытие новых людей.

А Эверард уселся за стол, как человек, знающий свои права, и подал спутникам знак занять места на нижнем конце стола. Уайлдрейк не правильно понял это указание и занял место выше мэра, но, почувствовав взгляд своего патрона, пересел ниже; переходя с места на место, он принялся насвистывать, что привлекло внимание всех присутствующих, пораженных такой вольностью. Совсем забыв приличия, он вытащил трубку, набил ее табаком из огромного кисета и закурил, окутав себя облаками дыма. Затем из этих облаков вытянулась рука,

схватила кружку эля, утащила ее за дымовую завесу и вернула на стол после того, как содержимое кружки было выпито залпом, а владелец руки опять задымил трубкой, бездействовавшей, пока внимание ее хозяина было отвлечено кружкой.

Никто не сделал ему замечания, видимо, из уважения к полковнику Эверарду, а тот кусал губы, но продолжал молчать, опасаясь упрекнуть своего строптивого спутника — он знал, что в ответ на упрек роялист может выкинуть что-нибудь такое, что окончательно его разоблачит. Чтобы прервать неловкое молчание, которое остальные, по-видимому, не желали нарушать,

считая достаточным краткое приветствие, полковник Эверард наконец сказал:

— Я полагаю, джентльмены несколько удивлены, что я явился сюда незванным гостем.

— А почему, черт возьми, мы должны этому удивляться, полковник? — ответил Десборо. — Мы знаем повадки его превосходительства, моего шурина Нола... я хотел сказать — лорда Кромвеля... Знаем, как он в каждом завоеванном городе размещает на квартирах столько людей, что их нельзя вместить. Ты что, получаешь долю в нашем деле?

— В таком случае, — добавил

Блетсон с улыбкой и поклоном, — главнокомандующий не мог выбрать нам более приятного компаньона. Вы, конечно, получили предписание от Государственного совета?

— Сейчас, джентльмены, — отвечал полковник, — я вам сообщу...

Он достал из кармана приказ и хотел было прочесть его вслух, но заметил, что на столе стоят три или четыре полупорожние фляжки, что Десборо еще тупее, чем всегда, да и у философа Блетсона, несмотря на обычную воздержанность, глаза уже осоловели. Полковник понял, что они старались отогнать страх перед нечистой силой, водившейся в замке,

при помощи так называемой голландской храбрости; поэтому он благоразумно решил отложить важный разговор до утра, когда они вновь обретут способность соображать. Вместо того чтобы прочесть приказ главнокомандующего, где им предписывалось приостановить конфискацию, он ограничился тем, что ответил:

— Мое дело имеет, конечно, некоторое отношение к вашим здешним занятиям. Но, простите мое любопытство, вот этот почтенный джентльмен, — он указал на Холдинафа, — сказал мне, что вы странным образом попали в

затруднительное положение и без поддержки гражданских и духовных властей не можете оставаться в Вудстокском замке.

— Прежде чем перейти к этому, — заметил Блетсон, покраснев до ушей при воспоминании о трусости, совершенно не соответствующей его принципам, — позвольте узнать, кто этот незнакомец, который пришел вместе с достойным мэром и не менее достойным пресвитерианином?

— Это вы про меня? — вмешался Уайлдрейк, отложив трубку в сторону. — Тысяча чертей, было время, когда я мог

отрекомендоваться получше, а теперь я не более как смиренный клерк его милости, или секретарь, в зависимости от обстоятельств.

— Ты, приятель, за словом в карман не полезешь, черт возьми, — сказал Десборо, — вот мой секретарь Томкинс, его довольно глупо называют Брехун, а секретаря почтенного генерал-лейтенанта Гаррисона — Выпивун. Они сейчас ужинают внизу. Так мы их держим в страхе, не разрешаем и слова вымолвить при начальниках, когда их не спрашивают.

— Это верно, полковник Эверард, — с улыбкой подхватил философ, довольный случаем

переменить тему о ночном
переполохе — воспоминания
унижали его достоинство и
самолюбие, — это верно, а коли уж
мистеры Брехун и Выпивун заговорят,
мнения у них всегда совпадают, так
же как и их имена, которые
рифмовались бы у поэта. Если
мистеру Брехуну случится приврать,
мистер Выпивун сейчас же
поклянется что это правда. Если
мистер Выпивун напьется страха
ради господня, мистер Брехун
поклянется, что его приятель
совершенно трезв.

А своего секретаря я называю
Гибун, хоть настоящее его имя
Гибсон — честный израильтянин и

всегда к вашим услугам, самый чистый юноша, какой когда-либо глодал баранью кость на пасху. Я зову его Гибун, просто чтобы дополнить терцину третьей рифмой. Твой оруженосец, полковник Эверард, кажется, подойдет к их компании.

— Ну уж нет, — возразил роялист, — не стану я связываться ни с собачьим отродьем евреем, ни с еврейкой.

— Не презирай их, юноша, — остановил его философ, — ведь по вере они твои старшие братья.

— Это евреи старше христиан? — возмутился Десборо. — Клянусь святым Георгием, Блетсон, за такие речи тебя потащат в

верховный суд.

Уайлдрейк громко расхохотался над невежеством Десборо, а из-за буфета вслед ему раздалось сдержанное хихиканье. Оказалось, что это смеялись слуги. Эти молодцы трусили не меньше своих господ и не ушли из комнаты, как им было приказано, а спрятались в укромном уголке.

— Ах вы мошенники! — загремел Блетсон. — Так-то вы исполняете приказание?

— Простите, ваша милость, — отвечал один из слуг, — мы побоялись идти вниз без огня.

— Без огня, презренные трусы? — подхватил философ. —

Зачем вам огонь? Чтобы видеть, кто больше позеленеет при первом мышинном писке? Берите свечу и убирайтесь, паршивые трусы! Дьявол, которого вы так боитесь, должно быть, жалкий коршун, если гоняется за такими летучими мышами, как вы.

Слуги покорно взяли свечу и собрались выйти из комнаты; верный Томкинс шел впереди. Но когда они подошли к полуоткрытой двери, она вдруг с шумом захлопнулась. Слуги с перепугу отпрянули, как будто в них выстрелили в упор, а сидевшие за столом повскакали со своих мест.

Полковник Эверард не поддавался панике, даже если видел

что-нибудь ужасное. Он остался на месте, чтобы лучше наблюдать, как будут себя вести остальные, и выяснить, если удастся, почему такое ничтожное происшествие вызвало переполох. Философ, по-видимому, захотел показать, что именно он призван проявить мужество при подобных обстоятельствах.

Поэтому он направился к двери, браня слуг за трусость, но шел таким черепашьям шагом, что, казалось, с величайшей охотой дал бы себя обогнать кому-нибудь из тех, на кого обрушился.

— Малодушные болваны, — проговорил он, схватившись наконец за ручку двери, но не поворачивая

ее, — вы что, боитесь дверь открыть? (А сам продолжал вертеть ручку.) Боитесь без свечи вниз спуститься? Дайте-ка мне свечу, жалкие негодяи! Ох! Клянусь богом, за дверью кто-то вздыхает!

С этими словами он отпустил ручку двери, побледнел как полотно и сделал несколько шагов назад.

— Deus adjutor meus! [note 24](#) — вскричал пресвитерианин, поднимаясь с места. — Пусти-ка меня, сэр, — обратился он к Блетсону, — кажется, я лучше тебя знаю, что делать в подобных случаях. Слава создателю, он благословил меня на ратный подвиг.

Отважно, как гренадер, готовый

ринуться в атаку, достойный пастор обогнал философа Блетсона — он был готов постоять за правое дело, хоть и знал, что перед ним грозная опасность. Взяв в одну руку свечу из подсвечника, другой рукой он медленно открыл дверь и, став на пороге, проговорил:

— Да здесь никого и нет!

— А кто думал здесь что-нибудь увидеть, — подхватил Блетсон, — кроме этих перепуганных болванов? Они ведь боятся всякого дуновения ветра в этой старой темнице.

— Видели, мистер Томкинс, — зашептал секретарю один из слуг, — видели, как священник-то ринулся вперед? Да уж, мистер Томкинс, наш

пастор — достойный служитель церкви, ваши доморощенные проповедники против него — кучка бездельников и неучей.

— Кому угодно, пусть идет за мной, — продолжал Холдинаф, — а смельчаки могут даже идти впереди.

Я не уйду из замка, покуда все не осмотрю и не удостоверюсь, точно ли сатана поселился в этом обиталище древнего бесчинства. Неужели мы, как злодей, о котором говорит Давид, испугаемся и побежим, когда за нами никто не гонится?

Услышав эти слова, Гаррисон тоже вскочил с места, обнажил шпагу и вскричал:

— Будь в этом доме столько нечистых, сколько у меня волос на голове, им от меня не поздоровится!

С этими словами он взмахнул шпагой и стал во главе колонны рядом со священником. К ним присоединился и мэр; вероятно, он считал себя в большей безопасности подле своего пастора. Весь отряд в сопровождении слуг, освещавших путь, двинулся вперед, чтобы обыскать замок и выяснить причину внезапной паники.

— Возьмите и меня с собой, друзья, — проговорил полковник, до этого с изумлением за всем наблюдавший. Он уже собрался было присоединиться к отряду, когда

Блетсон схватил его за плащ и стал упрашивать остаться.

— Послушайте, дорогой полковник, — сказал он с напускным спокойствием, которое не могло, однако, скрыть дрожь в его голосе, — от гарнизона осталось всего три человека — вы, я и достойный Десборо; все прочие отправились на вылазку. По правилам военного искусства не следует рисковать всеми силами в одной вылазке... Ха-ха-ха — Ради бога, что все это значит? — спросил Эверард. — По дороге сюда я слышал глупые рассказы о привидениях, а теперь, оказывается, вы все обезумели от страха и ни от кого нельзя добиться

ни одного вразумительного слова. Стыдно вам, полковник Десборо... Стыдно вам, мистер Блетсон... Постарайтесь успокоиться и расскажите мне, ради бога, в чем причина этого переполоха. Можно подумать — у всех у вас тут помутился рассудок!

— У меня, уж точно, голова кругом идет, — ответил Десборо, — да еще как! Ведь ночью меня перевернули вместе с кроватью, и я минут десять пролежал вверх ногами, а головой вниз, как бык, которого собираются подковать.

— Что вся эта чепуха значит, мистер Блетсон?

Десборо, должно быть, снились

кошмары?

— Какие там кошмары, полковник! Привидения, или кто там еще, отнеслись к почтенному Десборо очень благожелательно, они ведь поставили его тело на ту точку... Тихо! Вы ничего не слышали?.. На ту точку, которая у него составляет центр тяжести, то есть на голову.

— Ну, а что-нибудь страшное вы видели? — спросил полковник.

— Видеть не видели, — отвечал Блетсон, — но слышали адский шум, да и все наши люди тоже. Я-то мало верю в духов и в привидения, поэтому решил, что это роялисты наступают. А потом, вспомнив, что

случилось с Ренсборо, выскочил в окно и побежал в Вудсток позвать солдат на выручку Гаррисону и Десборо.

— И вы даже не выяснили сначала, в чем опасность?

— Ну, дорогой друг, вы забыли, что я подал в отставку, как только вышел Акт о самоотречении. Как член парламента, я не мог оставаться среди толпы головорезов, не признающих никакой дисциплины.

Нет... Сам парламент приказал мне вложить шпагу в ножны, полковник, я слишком уважаю его волю, чтобы снова обнажать оружие.

— Но ведь парламент, — поспешил вмешаться Десборо, — не

приказывал вам удирать со всех ног, когда человека душат и ваши руки могут его спасти. Черт вас возьми! Могли бы ведь остановиться, раз увидели, что кровать моя опрокинута, а сам я задыхаюсь под матрасом... Ведь могли бы, говорю, остановиться и помочь мне выбраться, а не выскакивать в окошко, как обезумевший баран, — вы ведь бежали через мою комнату.

— Любезный мистер Десборо, — отвечал Блетсон подмигнув Эверарду в знак того, что собирается подшутить над тупоумным приятелем, — откуда я мог догадаться, как вы привыкли спать? О вкусах не спорят... Я знавал

людей, которые любили спать под углом в сорок пять градусов.

— Может, и так, — возразил Десборо, — ну, а спал ли хоть один человек, стоя на голове? Это было бы прямо чудо!

— Что до чудес, — подхватил философ, осмелевший в присутствии Эверарда, да и возможность посмеяться над религией несколько разогнала его страхи, — о них и толковать нечего. Все это так же трудно доказать, как вытащить кита из воды при помощи конского волоса.

В ту же минуту по всему замку разнесся ужасный грохот, похожий на удар грома. Насмешник побледнел и

затих, а Десборо бросился на колени и стал в смятении бормотать заклинания и молитвы.

— Это чьи-нибудь шутки! — вскричал Эверард.

Выхватив свечу из подсвечника, он бросился вон из комнаты, не обращая внимания на мольбы Блетсона, который в отчаянии заклинал его во имя *Animus Mundi* не отдавать бедного философа и члена парламента в жертву колдунам и разбойникам. Десборо сидел разинув рот, как клоун в пантомиме; он не знал, следовать ли ему за полковником или оставаться без движения, но природная бездеятельность взяла верх, и он не

двинулся с места.

Выйдя на площадку лестницы, Эверард остановился на минуту, обдумывая, что делать дальше. Из нижнего этажа доносились голоса людей, которые говорили громко и торопливо, точно старались заглушить страх; рассудив, что такие шумные поиски ни к чему не приведут, он решил пойти в, противоположном направлении и осмотреть второй этаж, где он как раз и находился.

Эверард знал в замке каждый уголок, обитаемый и необитаемый; свеча была ему нужна только для того, чтобы пройти по двум или трем извилистым коридорам, которые он

не совсем хорошо помнил.

Пройдя через них, он попал в какой-то *oeil-de-boeuf* [note 25](#), нечто вроде восьмиугольной передней или холла с несколькими дверями. Эверард выбрал ту, которая вела на длинную, узкую и обветшалую галерею, построенную еще при Генрихе Восьмом; она тянулась вдоль всей юго-западной стены здания и сообщалась с различными его частями. Он подумал, что это самое подходящее место для тех, кто желал разыгрывать роль духов, тем более что длина и форма галереи позволяли производить здесь шум, похожий на грохотанье грома.

Решив по возможности все

выяснить, Эверард поставил свечу на стол в передней и стал открывать дверь в галерею. Но ему мешала какая-то задвижка, или кто-то стоящий за дверью нажимал на нее с той стороны. Последнее казалось ему более вероятным, так как сопротивление то усиливалось, то ослабевало; по-видимому, открыть дверь мешал человек, а не неодушевленный предмет. Хотя Эверард был силен и решителен, он напрасно выбивался из сил, пытаясь отворить дверь. Помедлив, чтобы перевести дух, он хотел было возобновить попытки выломать дверь плечом и ногами и позвать кого-нибудь на помощь, но сначала

слегка нажал на дверь, чтобы выяснить, в каком месте ему оказывают сопротивление. Вдруг, к великому его изумлению, она легко распахнулась от слабого нажима, опрокинув какой-то легкий предмет, которым была заставлена. Порыв сквозного ветра, ворвавшийся из открытой двери, задул свечу, и Эверард очутился в темноте, только лунный свет слабо струился сквозь решетчатые окна уходящей вдаль таинственной галереи.

Этот призрачный и печальный свет был еще слабее из-за плюща на наружной стене: он буйно разросся с тех пор, как эта старинная часть здания стала необитаемой; плющ

почти совсем закрывал решетчатые окна и густой сеткой затягивал выпуклые каменные простенки. На другой стороне галереи вовсе не было окон; прежде эта стена была увешана картинами, главным образом — портретами. Большая часть картин была убрана из этой заброшенной галереи, оставалось только несколько пустых рам, да кое-где висели клочки разодранных полотен. В галерее царило полное запустение, место было такое подходящее для злоумышленников, если они находились где-то поблизости, что Эверард невольно помедлил на пороге, но потом, поручив себя заступничеству бога,

обнажил шпагу и двинулся вперед, ступая как можно тише и стараясь держаться по возможности в тени.

Маркем Эверард не был суеверен, однако и не совсем свободен от предрассудков своего времени; он не верил рассказам о сверхъестественных силах, но не мог не признать сейчас, что если что-нибудь подобное и существует на свете, то момент для его появления самый удобный. Крадущаяся и медленная поступь, обнаженная шпага, протянутые вперед руки — все это выражало сомнение и неуверенность и еще более сгущало его мрачные мысли. В таком тяжелом настроении, чувствуя близость каких-

то враждебных сил, полковник Эверард дошел до половины галереи, как вдруг услышал поблизости вздох; потом тихий нежный голос произнес его имя.

— Я здесь, — отвечал он, и сердце у него сильно забилося, — кто зовет Маркема Эверарда?

В ответ послышался второй вздох.

— Говори, — продолжал полковник, — кто бы ты ни был; скажи, с какими намерениями бродишь ты в этих покаях?

— Мои намерения благороднее твоих, — отвечал тот же тихий голос.

— Благороднее? — вскричал пораженный Эверард. — Кто же ты,

что смеешь судить о моих намерениях?

— А кто ты сам, Маркем Эверард, что бродишь во тьме по заброшенным королевским покоям, где можно ходить только тем, кто оплакивает павших или поклялся отомстить за них?

— Это она... Да нет, не может быть! — вскричал Эверард. — И все-таки это она! Вы ли это, Алиса Ли, или дьявол говорит вашим голосом? Отвечайте, заклинаю вас... Не прячьтесь. Какое опасное дело вы замышляете? Где отец ваш? Почему вы здесь? Зачем подвергаете себя смертельной опасности?.. Говорите, Алиса Ли, умоляю вас!

— Та, к которой ты взываешь, далеко отсюда.

Может быть, это дух ее говорит с тобою, может быть, ее и твоя прародительница... Может быть, это...

— Хорошо, хорошо, — перебил Эверард, — а может быть, это само прелестное создание заразилось рвением своего отца? Может, это она сама подвергает себя опасности, рискует своей репутацией, бродя тайком по темному дому, где полно вооруженных людей? Говорите со мной от вашего собственного имени, дорогая кузина. У меня есть полномочия защищать дядю, сэра Генри Ли., защищать и вас тоже,

дорогая Алиса, от последствий этой безумной выходки.

Говорите..., я разгадал ваши намерения и, при всем уважении к вам, не могу позволить так шутить над собой. Доверьтесь мне... Доверьтесь вашему кузену Маркему, знайте, что он готов умереть ради вашего покоя и безопасности.

Он глядел во все глаза, стараясь рассмотреть, где находится собеседница; ему казалось, что ярдах в трех от него стоит какая-то призрачная фигура, очертания которой невозможно было рассмотреть в густой и длинной тени от простенка между окнами на той стороне, откуда проникал свет. Он

попытался как можно точнее определить расстояние до фигуры, за которой наблюдал, так как решил прибегнуть даже к силе, чтобы вырвать свою обожаемую Алису из компании заговорщиков, в которую, как он полагал, завлек ее отец, безмерно преданный королю. Он знал, что окажет им обоим неоценимую услугу — ведь даже в случае удачного исхода проделки над трусливым Блетсоном, глупым Десборо и сумасшедшим Гаррисоном участие в таком заговоре навлечет на них позор и подвергнет их серьезной опасности.

Нужно также помнить, что чувства Эверарда к кухне хоть и

полные преданности и внимания, не походили на обычное у молодых людей того времени почтительное обожание дамы сердца, которой они робко поклонялись; в его чувстве было что-то от привязанности брата к младшей сестре: он считал себя обязанным охранять ее, давать советы и даже руководить ею. Их отношения были такие дружеские, что он без колебаний решил пресечь ее участие в опасном деле, в котором она, по-видимому, была замешана.

Даже если она будет несколько обижена его вмешательством, он выхватит ее из огненной лавы с риском причинить ей легкую боль. Все эти мысли вихрем пронесли у

него в голове. Он решил во что бы то ни стало задержать ее и постараться склонить к объяснению.

С этой целью Эверард опять стал заклинять кузину во имя неба прекратить эту пустую и опасную игру и, внимательно вслушиваясь в ее ответ, старался по звуку голоса как можно точнее определить расстояние между ними.

— Я не та, за кого вы меня принимаете, — ответил тот же голос. — Дело поважнее, чем ее жизнь и смерть, требует, чтобы вы ни во что не вмешивались и ушли из замка.

— Я не уйду, пока не докажу, как безрассудно, по-ребячески вы

себя ведете! — вскричал полковник, бросившись вперед, чтобы схватить свою собеседницу.

Но в его объятиях оказалась не женщина. В ответ он получил такой толчок, какой не могла нанести женская рука; удар был столь силен, что Эверард упал на пол. В ту же минуту он ощутил на горле острие шпаги, а кто-то так прижал к земле его руки, что у него не осталось ни малейшей возможности защищаться.

— Станешь звать на помощь, — проговорил голос, совсем непохожий на тот, который он слышал раньше, — захлебнешься собственной кровью. Никакого вреда тебе не сделают... Будь рассудителен

и помалкивай.

Страх смерти, который Эверард часто преодолевал на поле боя, овладел им с новой силой, когда он, совершенно беззащитный, почувствовал себя в руках таинственных убийц. Острие шпаги впивалось ему в горло, нога неизвестного давила на грудь. Он сознавал, что малейшее движение положит конец его жизни, со всеми ее горестями и радостями, жизни, с которой мы все так тяжело расстаемся. На лбу у него выступил холодный пот, сердце забилося, словно хотело выскочить из груди... Он страдал, как страдает храбрец, охваченный нестерпимым чувством

страха, как сильный и здоровый человек, ощущающий острую боль.

— Кузина Алиса, — попытался он было заговорить, но шпага еще плотнее прижалась к его горлу, — кузина, неужели вы допустите, чтобы меня так зверски убили?

— Говорю тебе, — продолжал тот же голос, — той, к которой ты взываешь, здесь нет. Но жизнь твоя в безопасности, если ты поклянешься перед богом и людьми не рассказывать, что здесь произошло, — ни тем, кто находится внизу, ни кому-либо другому.

На этом условии ты будешь освобожден, а если хочешь видеть Алису Ли, то найдешь ее в хижине

Джослайна в лесу.

— Раз у меня нет другой возможности защищаться, — отвечал Эверард, — клянусь перед богом и людьми, что не стану рассказывать об этом насилии и не буду разыскивать тех, кто его совершил.

— Это нам безразлично, — ответил голос, — ты сам видишь, в какую попал беду, и понимаешь, что мы можем с тобой разделаться. Вставай и уходи.

Нога незнакомца и острие шпаги отпустили его.

Эверард хотел было поспешно вскочить, но мягкий голос, поразивший его в начале разговора, произнес:

— Не спеши! Смертоносная сталь еще близко.

Осторожней..., осторожней..., осторожней (слова постепенно замирали вдали)... Теперь ты свободен. Молчи и ничего не бойся.

Маркем Эверард встал, но, поднимаясь, задел ногой за свою шпагу, которую, вероятно, уронил, когда ринулся вперед, стремясь схватить прелестную кузину. Он поспешно поднял шпагу, и, когда рука его взялась за эфес, к нему вернулось мужество, которое покинуло его перед страхом неминуемой смерти; почти хладнокровно стал он размышлять, что делать дальше. Глубоко страдая

от унижения, он спрашивал себя, следует ли ему сдержать вырванное у него честное слово или позвать на помощь и скорее попытаться разыскать и захватить тех, кто совершил над ним насилие. Но ведь совсем недавно в руках этих людей, кто бы они ни были, находилась его жизнь, он спас ее ценою честного слова, а главное, его терзала мысль, что обожаемая Алиса посвящена в заговор, жертвой которого он стал; возможно, она сама участвует в нем. Это предположение определило его дальнейшие действия, хотя мысль, что Алиса — сообщница тех, кто нанес ему оскорбление, возмущала его, он не мог допустить сейчас в

доме обыска, который подверг бы опасности ее или дядю.

«Но я пойду в хижину, — решил он, — сейчас же отправлюсь туда, выясню, какое участие Алиса принимает в этом безумном и опасном заговоре, и постараюсь, если возможно, спасти ее от гибели».

Приняв такое решение, Эверард ощупью пошел по галерее. Дойдя до передней, он услышал знакомый голос Уайлдрейка:

— Эй!.. Эй!.. Полковник Эверард... Маркем Эверард!.. Здесь темно, как у дьявола в пасти... Где ты?..

Кажется, все ведьмы собрались сюда на шабаш... Где же ты?

— Здесь, здесь, — отвечал Эверард, — перестань орать! Поверни налево, я тут.

Уайлдрейк пошел на его голос и скоро появился перед полковником со свечой в одной руке и обнаженной шпагой — в другой.

— Где это ты был, — спросил он, — почему замешкался? Блетсон и этот скотина Десборо умирают со страху, а Гаррисон бесится, что невежа черт не хочет драться с ним на дуэли.

— Ты ничего не видел и не слышал, когда шел сюда? — спросил Эверард.

— Ничего, — ответил его друг, — только, когда я входил в этот

проклятый лабиринт, свеча вдруг выпала у меня из рук, как будто кто ее вышиб; пришлось вернуться за другой.

— Мне срочно нужна лошадь, Уайлдрейк, постарайся достать, да и себе тоже.

— Можно взять пару из тех, что принадлежат кавалеристам, — предложил Уайлдрейк. — Но зачем нам, как крысам, бежать отсюда в такую пору? Дом, что ли, рушится?

— Не могу я тебе этого объяснить, — сказал полковник, входя в одну из комнат, где еще сохранились кое-какие остатки мебели.

Тут роялист, внимательно

оглядев товарища, в удивлении воскликнул:

— С каким это дьяволом ты дрался, Маркем? Кто это тебя так здорово разукрасил?

— Дрался? — повторил Эверард.

— Ну да, — подтвердил его верный спутник, — конечно, дрался! Взгляни-ка в зеркало!

Тот взглянул и увидел, что он, и в самом деле, весь в пыли и крови. Кровь текла из царапины на шее, которую он получил, когда пытался подняться.

В тревоге Уайлдрейк расстегнул ему ворот и быстро, но внимательно осмотрел рану; руки у него дрожали,

в глазах светилось беспокойство за жизнь своего покровителя. Несмотря на протесты Эверарда, он закончил осмотр раны и нашел ее пустячной; тогда к нему вернулась обычная беспечность; может быть, он даже несколько ею бравировал, так как старался скрыть чувствительность, совсем ему не свойственную.

— Тут не обошлось без дьявола, Марк, — заметил он, — и, значит, когти его не так уж страшны, как говорят. Но пока Роджер Уайлдрейк жив, никто не скажет, что твоя кровь осталась неотмщенной. Где ты расстался с этим дьяволом? Я вернусь на поле боя, скрещу с ним шпаги, и пусть у него когти — как

десятипенсовые гвозди, а зубы — как борона, он ответит мне за твою рану»

— Сумасшедший!.. Просто сумасшедший!.. — вскричал Эверард. — Это я рассадил себе шею, когда упал... Вода все моментально смывает. А ты пока, сделай одолжение, похлопочи о лошадях. Потребуй их для важного дела, от имени его превосходительства главнокомандующего. Я только умоюсь и тотчас же встречу с тобой у ворот.

— Ладно уж, буду служить тебе, Эверард, как немой раб служит султану, не спрашивая, что и почему.

Но неужели ты уедешь, не

повидавшись с теми молодцами
внизу?

— Не повидаюсь ни с кем, —
прервал его Эверард. — Ради бога, не
теряй времени!

Уайлдрейк отыскал капрала и
потребовал у него лошадей; капрал
беспрекословно повиновался. Ему
были хорошо известны военный чин
и положение полковника Эверарда.
Через несколько минут все было
готово к отъезду.

Глава XIII

*...Как святая, взор
воздела к небу*

*И на коленях вознесла
молитву.*

«Генрих VIII»[note 26](#)

Отъезд полковника Эверарда в такую пору (семь часов считалось тогда поздним часом) вызвал много толков. Прислуга тотчас же собралась в зале; никто не сомневался, что полковник внезапно уезжает потому, что он «что-то» увидел, как они выражались; всем было любопытно узнать, как

выглядит такой храбрец, как Эверард, испугавшись привидения. Но полковник никому не дал возможности удовлетворить любопытство: он поспешно прошел через зал, закутавшись в плащ, вскочил на коня и поскакал по заповеднику к хижине Джолифа.

Нрав у Маркема Эверарда был горячий, нетерпеливый, пылкий и смелый до безрассудства. Но привычки, внушенные воспитанием и строгими нравственно-религиозными правилами его секты, были так сильны, что сдерживали и даже заглушали эту природную необузданность и научили его владеть собой.

Только в порыве чрезвычайного волнения врожденная пылкость характера молодого воина иногда опрокидывала эти искусственные преграды и, как поток, с пеной прорвавший плотину, становилась еще сильнее, точно в отместку за вынужденное спокойствие.

В такие минуты он уже не замечал ничего, кроме того предмета, к которому стремились все его мысли; он шел напролом, будь то отвлеченная цель или атака на неприятельскую позицию, шел, не раздумывая и не замечая препятствий.

Вот и сейчас главным и непреодолимым его желанием было

или вырвать, если возможно, обожаемую кузину из опасных и компрометирующих ее интриг заговора, в который, как он подозревал, она была втянута, или убедиться, что она действительно не имеет никакого отношения ко всем этим проделкам. Он считал, что сможет в какой-то мере определить это в зависимости от того, найдет или не найдет ее в хижине, куда он скакал. Правда, он читал в одной балладе или слышал в песне менестреля о хитроумной шутке, сыгранной женой над ревнивым старым мужем, — дом его соединялся подземным ходом с домом соседа, и жена быстро и ловко

переходила из одного в другой; жена скоро убедила старого глупца, что она сама и женщина, которой оказывал внимание сосед, — разные лица, хоть и очень похожие друг на друга.

Но в данном случае такого обмана быть не могло — расстояние было слишком велико. Кроме того, Эверард выбрал кратчайший путь и мчался во весь опор, а кузина была робкой наездницей даже в дневную пору и не могла, следовательно, добраться до хижины раньше, чем он.

Отец ее, вероятно, разгневается на его вторжение, но разве он ведет себя как отец? Разве Алиса — не ближайшая родственница Эверарда,

не самое дорогое его сердцу существо, разве мог он удержаться от попытки спасти ее от последствий этого нелепого и необдуманного заговора только потому, что появление его в их нынешнем жилище вопреки запрету грозило вызвать гнев старого роялиста? Нет! Он терпит нападки старика, как терпел порывы осеннего ветра, бушующего вокруг; ветер гнул и ломал ветви деревьев, под которыми он проезжал, но не мог, однако, преградить ему путь или хотя бы задержать его.

Если он не застанет Алису в хижине — а он имел основания опасаться, что ее там не будет, — он

расскажет самому сэру Генри Ли, что с ним произошло.

Какое бы участие она ни принимала в проделках в Вудстокском замке, он не мог предположить, что это делалось без ведома ее отца, — старый баронет был строг во всем, что касалось приличий и что было позволительно женщине. Эверард думал воспользоваться этим посещением и для другого: он хотел сообщить старому баронету, что не без оснований надеется на его скорое возвращение в замок после того, как оттуда будут удалены конфискаторы, но он не хочет добиваться этого нелепым запугиванием, подобным

тому, к какому прибегали в замке его таинственные обитатели.

Эверард считал все это своим прямым родственным долгом и только тогда, когда остановился у порога хижины и бросил поводья Уайлдрейку, он вспомнил буйный, надменный и непреклонный нрав сэра Генри Ли и, уже взявшись за ручку двери, стал раздумывать, стоит ли навязывать свое общество строптивому баронету.

Но медлить было нельзя. В хижине уже слышался лай, Бевис стал проявлять нетерпение, и Эверард успел только попросить Уайлдрейка подержать коней, пока он пришлет Джослайна ему па смену,

как старая Джоун, приоткрыв дверь, спросила, кого это принесло в такую пору. Вступать в объяснения с глухой Джоун было бесполезно; поэтому полковник мягко отстранил ее, высвободил плащ из ее рук и вошел в кухню. Бевис бросился было на выручку Джоун, но тут же убрался восвояси: благодаря своему удивительному чутью он надолго запоминал тех, с кем когда-то дружил-, и сейчас, признав родственника своего хозяина, он по-своему приветствовал его, покачивая головой и виляя хвостом.

Теперь полковник Эверард все сильнее сомневался, правильно ли он сделал, что приехал; он шагал через

кухню, как через комнату больного; медленно открыл он дверь дрогнувшей рукой, точно раздвигал полог у постели умирающего друга. Войдя, он увидел следующую картину.

Сэр Генри Ли сидел у очага в плетеном кресле.

Он кутался в плащ и держал вытянутые ноги на табуретке, как будто страдал подагрой или какой-то другой болезнью. Благодаря длинной седой бороде, струившейся по темному камзолу, он был похож скорее на отшельника, чем на старого воина или знатного аристократа; это впечатление еще усиливалось из-за того, что он с

глубоким вниманием слушал почтенного старца, в котором, несмотря на потертую одежду, можно было узнать пастора. Тихим, но глубоким и внятным голосом старик читал вечернюю молитву, принятую в англиканской церкви. Алиса Ли стояла на коленях возле отца и ангельским голосом давала положенные по службе ответы; ее набожный и смиренный вид соответствовал тому, что произносил мелодичный голос. Лицо священника было бы привлекательным, если бы его не обезображивал черный пластырь, закрывавший левый глаз и часть щеки, и если бы заботы и страдания не оставили своих следов

на не прикрытых пластырем чертах лица.

Когда вошел полковник Эверард, пастор взглянул на него, поднял палец, как бы давая знак не нарушать вечернего богослужения, и указал на свободный стул. Незванный гость, пораженный сценой, представшей перед его взором, на цыпочках прошел к указанному месту и благоговейно опустился на колени, как будто принадлежал к этому крошечному приходу.

Эверард был воспитан отцом в духе пуританства — религиозной секты, которая в основе своей не отвергала доктрин англиканской церкви и не совсем отвергала даже ее

иерархию, но расходилась с ней в вопросе о некоторых церковных обрядах, традициях. ритуале, за которые пресловутый Лод держался по тем временам слишком упорно. Но если даже по традиции, заведенной в семье отца, религиозные воззрения Эверарда и были противоположны учению англиканской церкви, он не мог не одобрить то постоянство, с каким отправлялась служба в Вудстоке в семействе дяди, который в дни своего процветания всегда держал в замке капеллана.

Но при всем своем уважении к церковной службе, Эверард не мог сейчас оторвать взгляд от Алисы, да

и мысли его возвращались к тому, что привело его сюда. Алиса заметила его сразу же, как он вошел; щеки ее запылали ярче, рука задрожала, переворачивая страницы молитвенника, а голос, до того не только мелодичный, но и твердый, теперь прерывался, произнося положенные по службе ответы. Эверард мог смотреть на кузину только украдкой, но ему бросилось в глаза, что и красота ее и весь облик изменились с переменой в ее судьбе.

На благородной красавице было простое коричневое платье вроде тех, какие носили поселянки, но в своей скромной одежде она, казалось, стала еще величественнее.

Прекрасные, слегка вьющиеся светло-каштановые волосы ее были заплетены в косы и уложены вокруг головы с естественностью, которая исчезала, когда искусная камеристка сооружала ей сложную прическу. Прежняя беспечная веселость, немножко насмешливая и точно искавшая, чем бы позабавиться, теперь, в дни невзгод, уступила место сдержанной грусти и стремлению утешить окружающих. Может быть, прежнее лукавое, хоть и всегда открытое выражение лица пришло на память влюбленному в нее Эверарду, когда он решил, что Алиса принимала участие в таинственных делах, происходивших

в замке. Но теперь, увидев ее, он устыдился, что мог питать такие подозрения; он скорее склонен был поверить, что ее голосом говорил сам дьявол, чем допустить мысль, что такое чистое, неземное существо могло участвовать в недостойных проделках, жертвой которых стал он сам и другие обитатели замка.

Эти мысли теснились у него в голове, хоть он и чувствовал, сколь неуместны они в данный момент.

Служба уже подходила к концу, когда удивленный полковник в смущении услышал, как пастор вдохновенно и с достоинством стал твердым и внятным голосом молить всемогущего спасти и сохранить

«нашего монарха, короля Карла, единственно законного и бесспорного государя этого королевства». Эта молитва, далеко не безопасная в те дни, была произнесена твердо, внятно и громко — священник как бы призывал своих слушателей отступить от господствующей церкви, если они отважатся на это. Республиканский офицер, хоть и не отнесся сочувственно к такой молитве, рассудил однако, что сейчас не время возражать.

Служба окончилась, и немногочисленная паства поднялась с места. Уайлдрейк к тому времени был уже в комнате; он вошел, когда

читали последнюю молитву, и заговорил первый. Подбежав к священнику, он с волнением пожал ему руку и клятвенно заверил, что сердечно рад его видеть. Священник ответил на его рукопожатие и с улыбкой сказал, что и без клятв поверил бы в его искренность. Полковник тем временем подошел к креслу дяди и отвесил глубокий поклон сначала сэру Генри Ли, а затем Алисе, которая покраснела до корней волос.

— Умоляю простить меня, — сказал полковник в замешательстве, — что я пришел так некстати, хотя мне и вообще нельзя надеяться на благосклонный прием.

— Напрасно извиняешься, племянник, — ответил сэр Генри таким кротким тоном, какого Эверард не смел и ожидать, — ты во всякое время мог бы найти лучший прием, если бы мы имели удовольствие почаще видеть тебя на наших богослужениях.

— Я надеюсь, сэр, — подхватил Эверард, — что скоро настанет время, когда англичане всех сект и вероисповеданий с чистой совестью будут вместе молиться тому, кого они, каждый по-своему, называют великим отцом своим, — И я надеюсь, племянник, — продолжал старик тем же спокойным тоном, — и даже не желаю сейчас разбирать,

хотите ли вы, чтобы англиканская церковь присоединилась к пуританам или чтобы пуритане присоединились к англиканской церкви. Полагаю, что не для примирения враждующих вероучении почтили вы присутствием наше убогое жилище, где, правду сказать, мы уже не смели и надеяться увидеть вас снова; ведь последний раз вас приняли так неучтиво.

— Я был бы счастлив поверить, — в смущении отвечал полковник Эверард, — что.., что.., в общем, что сегодня меня встретили не так недружелюбно, как тогда.

— Племянник, — сказал сэр

Генри, — я буду с тобой откровенен. Когда ты был здесь в последний раз, я думал, что ты похитил у меня драгоценную жемчужину, которую я прежде с радостью отдал бы тебе, но теперь лучше зарою ее в землю, чем вверю такому человеку, каким ты стал. Это подозрение разожгло тогда во мне «горячий нрав, что мать мне завещала», как говорит честный Уил, — я вообразил, что меня ограбили и что я вижу грабителя перед собой.

Я ошибся — никто меня не грабил, а неудачную попытку можно и простить.

— Не стану отыскивать обидного смысла в ваших словах, сэр,

раз тон у вас дружелюбный, — отвечал полковник Эверард. — Но, видит бог, мои желания и намерения по отношению к вам и вашему семейству свободны от корыстных целей и стремлений: они основаны на любви к вам и к вашим близким.

— Ну что ж, посмотрим, что это за намерения. В наши дни не часто встречаешься с бескорыстием, а от этого его ценность еще более возрастает.

— Я хотел бы, сэр Генри, раз уж вы не позволяете мне называть вас более дорогим именем, я хотел бы сделать что-нибудь существенное, чтобы обеспечить ваш покой. Судьба ваша, при нынешнем положении дел,

очень тяжела и, боюсь, может стать еще тяжелее.

— Тяжелее, чем я сам ожидаю, и быть не может, племянник. Но я не дрогну под ударами судьбы.

Одежда моя будет попроще, пища погрубее, люди не будут снимать передо мной шапку, как делали это, когда я был богат и силен. Ну и что с того? Старый Гарри Ли ценит свою честь дороже, чем титул, а верность принципам — больше, чем земли и поместья.

Разве я забыл тридцатое января? Я не ученый и не астролог, но старый Уил учит меня: когда листья опадают — зима близка, когда солнце заходит — наступает ночь.

— Подумайте, сэр, — продолжал полковник Эверард, — если вас не заставят поступиться принципами, не потребуют клятвы, не поставят никаких условий, ни прямо, ни косвенно, а попросят только, чтобы вы не сеяли смуту, то вы получите возможность вернуться в замок и вам возвратят имущество...

И у меня есть серьезные основания надеяться, что это будет сделано если не открыто, то по молчаливому согласию.

— Понимаю. Со мной хотят поступить как с королевской монетой, на которой Охвостье ставит клеймо, чтобы пустить ее в оборот; но я так стар, что с меня нельзя

стереть королевские знаки. Нет, милый родственничек, этому не бывать! Я и так уж зажился в замке, и, позволь тебе сказать, я бы его давно с презрением бросил, если бы не приказ того, кому я еще надеюсь послужить. Я ничего не приму от узурпаторов, будь то Охвостье или Кромвель, будь то один дьявол или целый легион их, я не приму от них даже старого колпака, чтобы прикрыть свои седины, даже рваного плаща, чтобы защитить от холода свое брренное тело. Они не смогут хвастаться, что своим никому не нужным великодушием обогатили Авраама. Я доживу свой век и умру как преданный Ли, верный слуга

своего короля.

— Могу я надеяться, сэр, что вы еще подумаете и, может быть, дадите мне более благоприятный ответ, принимая во внимание то, как мало от вас требуют?

— Сэр, если я изменю свое мнение, что со мной случается редко, я дам вам знать. Ну, племянник, вы еще что-нибудь хотите сказать? Почтенный пастор заждался нас в соседней комнате.

— Я собирался еще кое-что спросить..., кое-что у кузины Алисы, — растерянно пробормотал Эверард, — но боюсь, вы оба так настроены против меня...

— Сэр, я не боюсь оставить

дочь мою с вами наедине... Пойду к пастору в каморку Джоун... Я не прочь доказать вам, что эта девица вольна поступать как хочет, в рамках благоразумия.

Он вышел, и молодые люди остались одни.

Полковник Эверард подошел к Алисе и хотел было взять ее за руку, но она отступила, села в отцовское кресло и указала Эверарду на стул, стоявший поодаль.

— Неужели мы стали такими чужими, дорогая Алиса? — вскричал он.

— Об этом мы сейчас поговорим, — сказала она. — Прежде всего позвольте спросить,

почему вы пришли в столь поздний час?

— Вы ведь слышали, — отвечал Эверард, — что я говорил вашему отцу?

— Слышала, но это, мне кажется, только часть вашего дела. Должна быть и другая причина, которая касается меня лично.

— Это было заблуждение.., странное заблуждение, — ответил Эверард. — Позвольте вас спросить, уходили вы сегодня вечером из дому?

— Конечно, нет, — ответила девушка, — у меня нет никакого желания уходить из этого дома, как бы жалок он ни был. Здесь меня удерживают серьезные обязанности.

Но почему полковник Эверард задает мне такой странный вопрос?

— Прежде чем ответить вам, Алиса, я хочу спросить, почему ваш кузен Маркем утратил имя, данное ему дружескими, родственными и даже более нежными чувствами?

— На это ответить нетрудно. Когда вы обнажили шпагу против дела моего отца., почти против него самого., я старалась найти вам оправдание, даже с большим пылом, чем следовало. Я знала, то есть мне казалось, что я знаю о вашем высоком чувстве долга., знала, в каком духе вы были воспитаны; я говорила себе: «Даже теперь я не изгоню его из своего сердца — он

борется против короля во имя верности отечеству». Вы старались предотвратить страшную трагедию тридцатого января, и во мне укрепилась мысль, что Маркема Эверарда можно ввести в заблуждение, но он не способен быть подлым и эгоистичным.

— Что же заставило вас изменить свое мнение, Алиса? — воскликнул Эверард, покраснев. — Кто осмелился украсить имя Маркема Эверарда такими эпитетами?

— Вам не придется драться со мной, чтобы доказать свою храбрость, полковник Эверард, — отвечала девушка, — да я вовсе и не

хочу вас оскорблять. Но найдется много других, кто скажет открыто, что полковник Эверард раболепствует перед узурпатором Кромвелем и что все его красивые речи о борьбе за свободу отечества — только ширма, за которой скрывается его сговор с удачливыми захватчиками во имя выгод для себя и своих родных.

— Для себя? Никогда!

— А для родных... Мне хорошо известно, что вы указали этому деспоту способ, при помощи которого он и его приспешники смогут захватить государственную власть. Неужели вы думаете, что мы с отцом примем убежище, купленное

ценою свободы Англии и вашей чести?

— Силы небесные, что все это значит, Алиса? Вы осуждаете меня за поступок, который сами так недавно одобряли!

— Когда вы прикрывались именем вашего отца и советовали подчиниться нынешнему правительству, я думала, признаюсь, что для седин моего отца не будет позором остаться под кровлей, которая так долго служила ему приютом. Но разве ваш отец одобряет то, что вы стали советчиком этого честолюбивого вояки и подстрекаете его на новое тиранство? Одно дело подчиниться

притеснению, другое — стать орудием тирана.., да — вдобавок — о Маркем!.. — и его ищейкой...

— Кем?.. Ищейкой?.. О чем это вы?.. Признаюсь, мне очень бы хотелось, чтобы раны моего отечества зажили, даже ценой того, что Кромвель, так безмерно возвысившийся, поднимется еще на ступеньку выше... Но стать его ищейкой?.. Что вы имеете в виду?

— Значит, это ложь? Так я и думала! Я готова была поклясться, что это ложь.

— Ради бога, о чем вы говорите?

— Ведь это не правда, что вы согласились предать молодого шотландского короля?

— Предать! Чтобы я предал его или какого-нибудь другого изгнанника! Никогда! Я был бы рад, если бы он благополучно уехал из Англии... Я даже постарался бы помочь ему бежать, будь он сейчас здесь; думаю, что таким образом я оказал бы услугу врагам его, не дав им возможности запятнать себя его кровью. Но предать его... Никогда!

— Так я и знала... Я была уверена, что это невозможно. Но будьте еще благороднее, Маркем, отступитесь от этого страшного и честолюбивого воина!

Остерегайтесь его и его замыслов, они основаны на несправедливости и приведут к

новому кровопролитию.

— Верьте мне, — ответил Эверард, — я выбираю линию в политике, наиболее благоприятную для нашего времени.

— Изберите, — сказала она, — то, что лучше всего соответствует долгу, Маркем, то, что соответствует правде и чести. Исполняйте свой долг, а об остальном пусть позаботится провидение. Прощайте! Мы слишком испытываем терпение отца... Вы ведь знаете его нрав... Прощайте, Маркем!

Она протянула ему руку, Маркем прижал ее к губам и вышел из комнаты. Он лишь безмолвно поклонился дяде на прощание и

сделал знак Уайлдрейку, который ждал его в кухне. Выйдя из хижины, он сел на коня и вместе со своим товарищем отправился обратно в замок.

Глава XIV

*Преступника порой
еще при жизни*

*Возмездье настигает.
Мы не знаем —*

*То ль это просто плод
воображенья,*

*Терзаемого совестью,
иль дух,*

*Покинувший в ночи
свою могилу, —*

*Одно известно:
убиенный часто*

*Терзает сон убийцы
своего,*

На призрачную рану

указуя.

Старинная пьеса

Когда Эверард направлялся в хижину Джослайна, он скакал во весь опор; мысли его также стремительно неслись вперед. Он считал, что выбора у него нет, и чувствовал, что вправе наставить свою кузину на путь истинный и даже слегка пожурить ее за участие в опасной интриге, в которую, как ему казалось, она была вовлечена. Возвращался же он медленно и совсем в ином расположении духа.

Оказалось, что благоразумие Алисы не уступает ее красоте: она не

проявила той слабости, которая дала бы ему власть над нею; ее политические стремления, хоть и неосуществимые, оказались гораздо более прямыми и благородными, чем его собственные.

Он задумался, не слишком ли далеко он зашел в своей приверженности Кромвелю. Страна, правда, была истерзана раздорами, и казалось, что единственное средство избежать новой гражданской войны — это дать в руки Кромвеля исполнительную власть. После того как он понял, что чувства Алисы более чисты и возвышенны, чем его собственные, мнение о самом себе стало у него значительно скромнее,

хоть он и продолжал считать, что лучше вверить корабль кормчему, не имеющему на это права, чем дать ему разбиться о рифы. Но он чувствовал в то же время, что не поддерживает в борьбе самую честную, благородную и бескорыстную сторону.

Так он ехал, предаваясь этим тягостным думам, и, размышляя о происшедшем, все меньше одобрял свои поступки, Уайldreйк, ехавший на коне рядом с ним, не умел долго хранить молчание и начал разговор:

— Я вот подумал, Марк, если бы нас с тобой вызвали сейчас в суд — со мной-то это легко может случиться... Нет., я хочу сказать: если бы нам пришлось быть

защитниками, у меня язык был бы подвешен лучше твоего, он говорил бы поубедительнее.

— Может, и так, — отвечал Эверард, — но я никогда не слышал, чтобы ты говорил убедительно, только разве когда убеждаешь ростовщика ссудить тебе денег или трактирщика — сбавить счет.

— Однако же сегодня днем — или, вернее, вече» ром — я мог бы одержать победу там, где ты потерпел поражение.

— В самом деле? — проговорил полковник, насторожившись.

— А ну-ка, посмотрим, — продолжал Уайлдрейк. — Главной твоей задачей было убедить мисс

Алису Ли... Клянусь небом, она божественное создание, одобряю твой вкус, Маркем!.. Так вот, ты хотел убедить ее и решительного старого троянца, ее отца, чтобы они согласились вернуться домой и, при потворстве властей, тихонько жили бы себе в замке, как подобает приличным людям, а не ютились бы в лачуге, которая под стать только Тому из Бедлама.

— Ты прав. Это была моя главная цель.

— Сдается мне, ты и сам надеялся бывать там почаще и присматривать за хорошенькой мисс Ли.

Ведь так?

— Таких корыстных мыслей у меня не было — возразил Эверард. — Если бы только мне удалось выяснить, в чем дело, и положить конец этим ночным переполохам в замке, я бы сразу уехал.

— А вот твой приятель Нол ожидает от тебя кое-чего побольше, — сказал Уайлдрейк. — Представь себе, что репутация баронета, как человека преданного королю, приведет в замок кого-нибудь из злосчастных беглецов и скитальцев — Кромвель надеется, что ты их подстережешь и зацапаешь. Словом, насколько я понял из его длинных и путаных

разглагольствований, он хочет, чтобы Вудсток стал мышеловкой, дядя твой и хорошенькая кузина — куском сыру для приманки, да простит мне твоя Хлоя это сравнение, ты — пружиной, которая соскочит и захлопнет дверцу, а себе его превосходительство оставили роль большого старого кота, который получит мышей на съедение.

— И Кромвель осмелился открыто сделать тебе такое предложение? — воскликнул Эверард, дернув за поводья и останавливая коня посреди дороги.

— Ну не то чтобы открыто — я думаю, он открыто ни разу в жизни не говорил, скорее уж пьяница

пройдет по одной половице, — но он намекнул мне, дал понять, что ты окажешь ему услугу, если — тысяча чертей, проклятое предложение застревает у меня в глотке! — если предашь нашего благородного и законного государя (тут он снял шляпу), да пошлет ему бог здоровья и благополучия для долгого царствования, как сказал достойный пастор, хотя, боюсь, сейчас его величество в холоде и голоде, да и без гроша в кармане.

— Это почти то же, что говорила Алиса, — удивился Эверард, — но как она могла про это узнать?

Ты ей, что ли, рассказал?

— Я! — возмутился роялист. —
Ведь я ее до сегодняшнего вечера ни
разу и не видел, да и нынче только
мельком. Черт возьми, приятель, как
же я мог ей что-нибудь сказать?

— Верно, — ответил Эверард и
задумался.

Через некоторое время он снова
заговорил:

— Мне надо было бы призвать
Кромвеля к ответу за столь дурное
мнение обо мне, пусть даже он не
замышлял такого злодейства, а
говорил не всерьез, только лишь для
того, чтобы испытать тебя, а быть
может, и меня. Это ведь тоже
оскорбительно.

— С наслаждением снесу ему

ТВОЙ ВЫЗОВ, — ОЖИВИЛСЯ
Уайldreйк, — и сам скрещу шпагу с
адъютантом его святейшества. Это
доставит мне такое же удовольствие,
как и стакан хорошего вина.

— Ну да! — возразил
Эверард. — Такие
высокопоставленные люди не
дерутся на дуэли. Но скажи мне,
Роджер Уайldreйк, сам-то ты считал
меня способным на подобную
подлость?

— Я — вскричал Уайldreйк. —
Маркем Эверард, ты мой старый друг
и неизменный покровитель. Когда
взяли Колчестер, ты спас меня от
виселицы, а затем двадцать раз
спасал от голодной смерти. Но,

клянусь небом, если бы я считал тебя способным на ту подлость, какой ждет от тебя твой генерал, клянусь небосводом и всей вселенной, я заколол бы тебя своей рукой!

— И я бы заслужил эту смерть, — ответил Эверард, — только, может быть, не от твоей руки. Но, к счастью, мне не придется, даже если бы я и пожелал, стать тем предателем, которого ты хотел собственноручно казнить. Знай, что сегодня сам Кромвель секретной депешей уведомил меня, что наследник бежал морем из Бристоля.

— Благослови, боже, тех, кто помог ему избежать опасности! —

воскликнул Уайлдрейк. — Ура! Ликуйте, кавалеры! Браво, кавалеры! Да здравствует король Карл! Ну-ка, луна и звезды, ловите мою шляпу!

Тут он высоко подбросил свою шляпу в воздух.

Но небесные светила не приняли подарка: шляпа, как и ножны сэра Генри Ли, застряла в ветвях старого искривленного дуба, ставшего во второй раз хранителем вещей, брошенных вверх в порыве верноподданнических чувств. Это несколько обескуражило Уайлдрейка, а друг его воспользовался случаем, чтобы прочитать ему наставление:

— И не стыдно тебе — ведешь

себя как школьник!

— Ну вот еще, — возразил Уайлдрейк, — я только дал пуританской шляпе верноподданническое поручение. Со смеху лопнешь, как подумаешь, сколько школьников в будущем году понапрасну полезут на дерево, приняв этот бесформенный фетровый колпак за гнездо какой-нибудь диковинной птицы.

— Перестань, бога ради, давай поговорим серьезно, — сказал Эверард. — Карл бежал, и я очень рад этому. Я был бы счастлив увидеть молодого наследника на троне его отца, но пусть бы он получил трон этот путем соглашения, а не из рук

шотландской армии и злобных, мстительных роялистов...

— Мистер Маркем Эверард... — начал было роялист.

— Погоди, Уайлдрейк, — остановил его Эверард, — не будем спорить, ведь мы все равно ни до чего не договоримся; позволь мне продолжать. Я говорю, раз уж наследник бежал, гнусное и оскорбительное предложение Кромвеля теряет всякий смысл, и я не вижу, почему бы моему дяде не вернуться с дочерью в свой дом, как вернулись многие другие роялисты при потворстве республиканцев. Ну, а я — совсем другое дело, я не знаю, что предприму, пока не повидаюсь с

генералом. При встрече он, вероятно, признается, что сделал это оскорбительное предложение для того, чтобы испытать нас обоих. Это в его духе, он ведь человек грубый, не видит и не понимает, насколько образованные люди щепетильны в вопросах чести.

— Вполне допускаю, что в нем нет этой щепетильности, — сказал Уайлдрейк, — ни в вопросах чести, ни в вопросах честности. Но вернемся к нашему делу.

Допустим, ты не поселишься в замке, постарайся даже не ездить туда, во всяком случае — без приглашения, которого ты вряд ли дождешься. При этом условии, я

думаю, можно уговорить твоего дядю вернуться с дочерью в замок и опять поселиться там.

По крайней мере пастор, этот достойный старый коновод, вселил в меня такую надежду.

— Скоро же он тебе доверился! — заметил Эверард.

— Верно, — согласился Уайлдрейк, — он сразу же проникся ко мне доверием — он ведь заметил мое уважение к церкви. Со мной, слава богу, не случается того, чтобы я прошел мимо священника в облачении и не снял шляпу (ты же помнишь, какая отчаянная дуэль была у меня с молодым Грейлессом из Иннер Темпл, когда он не уступил

дорогу преподобному доктору Бапсу) ... Я в один миг завоюю доверие любого пастора. Черт возьми, они знают, что на такого, как я, можно положиться, — Так ты думаешь — или, вернее, пастор думает, — что дядя вернется в замок, если будет избавлен от моего присутствия, если уедут непрошенные гости-комиссары, если прекратятся ночные беспорядки и выяснится, в чем их причина?

— Пастор надеется убедить старого баронета вернуться, — ответил Уайлдрейк, — если будет уверен, что вторжения не повторятся. А насчет беспорядков — отважный старик, насколько я понял из двухминутного разговора,

посмеивается над всей этой суматохой, считает ее плодом воображения и угрызений нечистой совести; он говорит, что в Вудстокском замке никогда и не слышали о духах и привидениях до тех пор, пока там самовольно не поселились нынешние его обитатели.

— Тут не только воображение, — возразил Эверард, — я сам убедился, что в замке действуют какие-то заговорщики, которые хотят выжить оттуда комиссаров. Я уверен, что дядя не замешан в этих глупых проделках, но мне нужно вывести все это на чистую воду до того, как они с кузиной возвратятся в замок; раз

существует тайный заговор, кто бы в нем ни участвовал, дядю с кузиной тоже могут причислить к заговорщикам.

— Я бы тут скорее заподозрил самого прародителя пуритан — Эверард, ты ведь лучше знаком с этим господином, еще раз прошу прощения. А если так, то Люцифер и близко не подойдет сюда из уважения к бороде честного старика баронета; он не выдержит невинного взгляда голубых глаз его дочки.

Ручаюсь за их безопасность, как за золото в сундуке у скряги.

— Откуда у тебя такая уверенность? Ты что-нибудь видел?

— Ни перышка из крыла

дьявола, — отвечал Уайлдрейк, — просто сатана считает, что старый кавалер, которого рано или поздно все равно повесят или утопят, от него не уйдет; он и не утруждает себя погоней за верной добычей. Но я слышал рассказы слуг о том, что они сами видели и слышали: хоть они и болтали изрядную чепуху, надо полагать, в ней была и доля правды. Думаю, что нечистый вмешался в эту игру... Послушай, кто-то идет!.. Стой, приятель...

Ты кто такой?

— Ничтожный поденщик в великом труде Англии по имени Джозеф Томкинс, секретарь одного из благочестивых и храбрых вождей

нашей бедной христианской армии английской, генерала Гаррисона.

— Что случилось, мистер Томкинс? — спросил Эверард. — Почему вы бродите здесь в такую позднюю пору?

— Кажется, я имею честь говорить с уважаемым полковником Эверардом? — отвечал Томкинс. — Искренне рад встретить вашу милость. Одному богу известно, как мне нужна ваша помощь... Ох, достойнейший мистер Эверард! Трубы уже протрубили, чаша разбилась и пролилась, и...

— Прошу тебя, скажи кратко, в чем дело... Где твой господин? Да что такое стряслось?

— Господин мой тут поблизости, ходит по лугу там, где старый дуб, который носит имя прежнего короля; поезжайте немного дальше, и вы увидите, как он шагает взад и вперед с обнаженной шпагой в руке.

Стараясь не шуметь, они проехали еще немного вперед и вдруг увидели человека, в котором узнали Гаррисона; он маршировал под Королевским дубом, как часовой на карауле, только вид у него был безумный. Когда конский топот донесся до его ушей, он закричал, как будто отдавал команду своей бригаде:

— Пики наперевес, на

кавалерию!

Принц Руперт наступает...
Держись крепко, мы отбросим их,
как бык отбросит болонку...
Опустить пики! К ноге! Первая
шеренга, на правое колено! Не
бойтесь замарать синие мундиры...
Ого! Зоровавель!.. Вот наш пароль!

— Праведный боже, о чем он
говорит? — спросил Эверард. —
Почему это он марширует со шпагой
наголо?

— Вы знаете, сэр, когда мой
господин, генерал Гаррисон, чем-
нибудь взволнован, на пего находит
дурман, вот ему и кажется, что он
командует отрядом копьеносцев в
армагеддонской битве... А что до его

шпаги, то как же, сэр, он может держать шэффилдский клинок в кожаных ножнах, когда надо сражаться с нечистой силой — с дьяволом во плоти и с теми, кто беснуется в преисподней?

— Это невыносимо! — вскричал Эверард. — Хватит Томкинс, ты сейчас не на кафедре, и у меня нет охоты слушать твои проповеди. Я знаю, ты можешь говорить вразумительно, когда захочешь. Помни, я могу наградить тебя или наказать; если ты надеешься на мою помощь или боишься чего-нибудь — отвечай прямо. Что случилось, почему твоего господина принесло в лес в такую пору?

— Поистине, достойный и благородный сэр, я изложу все так понятно, как смогу. Правду говорят: дыхание человека входит и выходит через ноздри...

— Довольно, сэр, — прервал его полковник Эверард, — смотри не городи чепуху, когда разговариваешь со мной. Не знаешь разве, как во время сражения при Данбаре в Шотландии сам главнокомандующий приставил пистолет к голове лейтенанта Хьюкрида и пригрозил, что пустит ему пулю в лоб, если тот не перестанет разглагольствовать и не поведет свой эскадрон в атаку? Смотри же, сэр!

— Как же, — подхватил

Томкинс. — Лейтенант еще тогда повел свой эскадрон в атаку таким ровным и сомкнутым строем, что загнал в море тысячу шотландских юбок и беретов. Я тоже беспрекословно подчинюсь приказу вашей милости и безотлагательно все исполню.

— Ну ладно, приятель, ты уже знаешь, что мне от тебя нужно, — сказал Эверард, — говори кратко — мне ведь известно, что ты это умеешь, если захочешь.

Тебя-то, верный Томкинс, знают лучше, чем ты думаешь.

— Достойный сэр, — начал Томкинс уже менее витиевато, — я исполню приказ вашей милости,

насколько хватит сил моих. Извольте ли видеть, с тех пор прошло не больше часа, сидит это мой почтенный господин за столом, тут и мистер Выпивун и я, ну и, конечно, почтенный мистер Блетсон и полковник Десборо; вдруг раздается страшный стук в дверь, как была и доля правды. Думаю, что нечистый вмешался в эту игру... Послушай, кто-то идет!.. Стой, приятель... Ты кто такой?

— Ничтожный поденщик в великом труде Англии по имени Джозеф Томкинс, секретарь одного из благочестивых и храбрых вождей нашей бедной христианской армии английской, генерала Гаррисона.

— Что случилось, мистер Томкинс? — спросил Эверард. — Почему вы бродите здесь в такую позднюю пору?

— Кажется, я имею честь говорить с уважаемым полковником Эверардом? — отвечал Томкипс. — Искренне рад встретить вашу милость. Одному богу известно, как мне нужна ваша помощь... Ох, достойнейший мистер Эверард! Трубы уже протрубили, чаша разбилась и пролилась, и...

— Прошу тебя, скажи кратко, в чем дело... Где твой господин? Да что такое стряслось?

— Господин мой тут поблизости, ходит по лугу там, где

старый дуб, который носит имя прежнего короля; поезжайте немного дальше, и вы увидите, как он шагает взад и вперед с обнаженной шпагой в руке.

Стараясь не шуметь, они проехали еще немного вперед и вдруг увидели человека, в котором узнали Гаррисона; он маршировал под Королевским дубом, как часовой на карауле, только вид у него был безумный. Когда конский топот донесся до его ушей, он закричал, как будто отдавал команду своей бригаде:

— Пики наперевес, на кавалерию!.. Принц Руперт наступает... Держись крепко, мы

отбросим их, как бык отбросит болонку... Опустить пики! К йоге! Первая шеренга, на правое колено! Не бойтесь замарать синие мундиры... Ого Зоровавель!.. Вот наш пароль!

— Праведный боже, о чем он говорит? — спросил Эверард. — Почему это он марширует со шпагой наголо?

— Вы знаете, сэр, когда мой господин, генерал Гаррисон, чем-нибудь взволнован, на него находит дурман, вот ему и кажется, что он командует отрядом копьеносцев в армагеддонской битве... А что до его шпаги, то как же, сэр, он может держать шеффилдский клинок в

кожаных ножнах, когда надо сражаться с нечистой силой — с дьяволом во плоти и с теми, кто беснуется в преисподней?

— Это невыносимо! — вскричал Эверард. — Хватит Томкинс, ты сейчас не па кафедре, и у меня нет охоты слушать твои проповеди. Я знаю, ты можешь говорить вразумительно, когда захочешь. Помни, я могу наградить тебя или наказать; если ты надеешься на мою помощь или боишься чего-нибудь — отвечай прямо. Что случилось, почему твоего господина принесло в лес в такую пору?

— Поистине, достойный и благородный сэр, я изложу все так

попятно, как смогу. Правду говорят: дыхание человека входит и выходит через ноздри...

— Довольно, сэр, — прервал его полковник Эверард, — смотри не городи чепуху, когда разговариваешь со мной. Не знаешь разве, как во время сражения при Данбаре в Шотландии сам главнокомандующий приставил пистолет к голове лейтенанта Хьюкрида и пригрозил, что пустит ему пулю в лоб, если тот не перестанет разглагольствовать и не поведет свой эскадрон в атаку? Смотри же, сэр!

— Как же, — подхватил Томкинс. — Лейтенант еще тогда повел свой эскадрон в атаку таким

ровным и сомкнутым строем, что загнал в море тысячу шотландских юбок и беретов. Я тоже беспрекословно подчинюсь приказу вашей милости и безотлагательно все исполню.

— Ну ладно, приятель, ты уже знаешь, что мне от тебя нужно, — сказал Эверард, — говори кратко — мне ведь известно, что ты это умеешь, если захочешь.

Тебя-то, верный Томкинс, знают лучше, чем ты думаешь.

— Достойный сэр, — начал Томкинс уже менее витиевато, — я исполню приказ вашей милости, насколько хватит сил моих. Извольте ли видеть, с тех пор прошло не

больше часа, сидит это мой почтенный господин за столом, тут и мистер Выпивун и я, ну и, конечно, почтенный мистер Блетсон и полковник Десборо; вдруг раздается страшный стук в дверь, как будто кто-то явился по срочному делу. В доме у нас все уже были до смерти запуганы чертями, злыми духами и всем, что мы видели и слышали, и никакая сила не могла заставить часовых стоять на посту за дверью, и в холле-то мы удержали трех человек, только когда дали им вволю говядины и водки, но ни один не осмелился пойти отворить дверь — так боялись они встретиться с привидениями, те у них прямо из ума

не выходили! А стук все сильнее, казалось, дверь вот-вот слетит с петель. Почтенный мистер Выпивун выпил лишнего (к этому часу сей достойный человек всегда набирается) — не то чтобы он был склонен к пьянству, а просто со времени шотландского похода его все мучит лихорадка, вот он и должен предохраняться от ночной сырости; вашей чести ведь известно, что из-за этого я вместо него преданно служу и генерал-майору Гаррисону и другим господам комиссарам, не говоря уж о моем справедливом и законном господине, полковнике Десборо...

— Все это я знаю... Раз они тебе

так доверяют, помоги тебе боже оправдать их доверие, — прервал его полковник Эверард.

— Благоговейно молю господа, — продолжал Томкинс, — чтобы молитвы вашей милости были услышаны; поистине, называться Честным Джо и Верным Томкинсом почетнее, чем носить титул лорда, если бы нынешнее правительство стало опять раздавать такие титулы.

— Хорошо, продолжай.., продолжай, а то если и дальше будешь болтать, значит, на твою честность не слишком можно положиться. Я люблю краткие речи и не очень верю в то, что прикрито многословием.

— Не спешите, уважаемый сэр. Я уже сказал, в двери застучали так, что грохот разнесся по всему замку. Вдобавок еще зазвенел колокольчик, а никто не заметил, чтобы дергали за шнур. Часовые так растерялись, что выпустили ружья из рук. Мистер Выпивун, как я уже сказал, не был в состоянии исполнять свои обязанности, вот я и пошел к двери со своей жалкой шпагой в руке и спросил, кто там. В ответ на это какой-то голос, будто знакомый, потребовал генерал-майора Гаррисона. Время было уже позднее, я учтиво ответил, что генерал Гаррисон отдыхает, и пусть тот, кому нужно его видеть, придет завтра

утром. А с наступлением темноты, говорю, входить в замок, где расположен гарнизон, всем запрещено.

В ответ на это голос приказал мне немедленно отворить дверь и пригрозил в противном случае нажать на дверь так, что обе створки ее вылетят на середину холла. Тут поднялся такой грохот, что мы думали — замок рушится! Мне пришлось открыть дверь — так сдается осажденный гарнизон, когда не может дольше держаться.

— Клянусь честью, вы проявили чудеса отваги, должен вам сказать, — вмешался Уайлдрейк, все время слушавший с большим

интересом, — уж на что я не боюсь дьявола, но когда меня отделяет от настоящего черта дверь толщиной в два вершка, будь я проклят, если отворю... Это, пожалуй, все равно что пробуравить дырку в лодке и пустить ее по волнам — недаром мы часто сравниваем дьявола с морской пучиной.

— Замолчи, Уайлдрейк, — остановил его Эверард, — дай ему кончить. Ну, и что же ты увидел, когда дверь отворилась? Ты скажешь, конечно, — самого дьявола с рогами и копытами?

— Нет, сэр, не стану врать. Когда я отворил дверь, там стоял всего один человек, и с виду человек самый

обыкновенный. На нем был алый шелковый плащ на красной подкладке. Наверно, он когда-то был красавцем; теперь лицо у него бледное и изможденное, волосы длинные, на лбу локон, как у этих треклятых роялистов — ученый мистер Принн назвал его локоном соблазна, — в ухе серьга, голубой шарф через плечо, как у офицера королевской армии, на шляпе белое перо и диковинная лента...

— Какой-нибудь злосчастный роялист, много их бродит сейчас по стране в поисках пристанища, — отрывисто сказал Эверард.

— Совершенно верно, ваша честь, правильное и здоровое

суждение. Но в этом человеке, если вообще это был человек, было что-то такое, отчего я не мог смотреть на него без содрогания. А часовые в зале сами признались, что со страху чуть не проглотили пули, которыми собирались зарядить свои карабины и мушкеты. Даже волкодавы и гончие (а это ведь самые свирепые собаки) отпрянули от незнакомца, забились по углам и принялись тихо и жалобно скулить и повизгивать. Незнакомец прошел на середину зала; тут он тоже выглядел совсем как обыкновенный человек, только одет был как-то необычно: под плащом — черный бархатный камзол с алыми шелковыми прорезями, в ухе

серьга, на башмаках — большие розетки, а в руке платок, который он время от времени прикладывал к левому боку.

Отважный Уайлдрейк придвинулся к Эверарду и зашептал дрожащим от страха голосом:

— Милосердный боже, уж не несчастный ли это актер Дик Робинсон? Костюм точно такой, как я видел, когда он играл Филастра, мы еще после представления весело попиروвали в таверне «Русалка».

Порезвились мы с ним вдоволь! Помню все его веселые проделки! Он служил в армии Карла, нашего покойного государя, в полку у Моэна; слышал я, что собачий сын мясник

застрелил его, когда он сдался в плен после сражения при Нейзби.

— Тише! Я тоже слышал про это злодеяние, — прервал Эверард. — Ради бога, выслушай его до конца. Так этот человек заговорил с тобой, мой друг?

— Да, сэр, и приятным голосом, только выговор был какой-то странный, да еще казалось, что он привык говорить на суде или в церкви, а не разговаривать, как все люди. Он пожелал видеть генерал-майора Гаррисона.

— Вот как! Ну, а ты что? — воскликнул Эверард, тоже зараженный суеверием того времени. — Ты что сделал?

— Я поднялся в гостиную и доложил, что какой-то человек спрашивает генерала. Тот, когда услышал, уставился на меня и потребовал подробно описать его внешность. Но только я дошел до серьги в ухе, как он закричал: «Поди скажи ему, что я не желаю с ним говорить. Скажи, что я его презираю, что я поборю его в великой битве в долине Армагеддонской, когда по гласу ангела все птицы небесные слетятся и насытятся кровью и командира и солдата, и коня и всадника. Скажи этому дьяволу, что в моей власти отложить наш поединок до дня великой битвы и что в тот страшный час он опять встретится с

Гаррисоном».

Я вернулся с этим ответом к незнакомцу, и на лице его появилась такая дьявольская усмешка, какую редко увидишь у смертного. «Вернись, говорит, к нему и скажи что настал мой час, и если он немедленно не спустится, я сам к нему поднимусь. Скажи, что я приказываю ему спуститься сюда, а для подкрепления приказа добавь, что в сражении при Нейзби он сделал свое дело добросовестно».

— Слыхал я, — прошептал Уайldreйк — его все больше и больше охватывал суеверный ужас, — что эти самые богохульные слова произнес Гаррисон, когда застрелил

моего бедного друга Дика.

— Что же было потом? — спросил Эверард. — Да смотри, говори только правду.

— Я путаюсь, как звонарь, когда он толкует священное писание, потому что и сам не пойму, в чем дело, — ответил индипендент, — да и рассказывать-то, по правде говоря, осталось не много. Тут увидел я, что генерал сошел вниз, лицо у него было бледное, но решительное. Заметив незнакомца, он замедлил шаг, а тот сделал ему знак следовать за собой и вышел за дверь. Мой достойный господин хотел было пойти за ним, но опять остановился; тогда незнакомец — не знаю, человек это

был или нечистый дух, — вернулся
обратно и сказал: «Покорись своей
участи!

Лесной болотистой тропой
Твоя судьба — идти за мной:
За мной, когда светит сквозь
тучи луна,
За мной, когда ночь холодна и
мрачна,
За мной, приятель, следом иди,
Тебя заклиная раной в груди,
Последним словом в последний
миг,
Когда я спал и в меня проник
Клинка твоего безжалостный
КЛЫК».

После этого он вышел, а мой господин последовал за ним прямо в лес... Я тоже пошел, только держался на расстоянии, но когда добрался досюда, хозяин был один, он вел себя так же, как и сейчас.

— У тебя замечательная память, приятель, — холодно сказал полковник, — ты даже стихи с первого раза запомнил; роль-то твоя, видно, заранее выучена.

— Какое там с первого раза, помилуйте, достойный сэр! — воскликнул индипендент. — Эти стихи не сходят с уст моего злосчастливого господина, особенно когда ему не везет в борьбе с сатаной, а это иногда случается. Но слышал я

их впервые от другого человека. По правде говоря, мне и раньше казалось, что господин мой всегда повторяет эти стихи без большого удовольствия, а скорее как школьник отвечает урок: они у него не от сердца шли, как сказано в псалтыри.

— Странно, — заметил Эверард, — мне приходилось слышать и читать, что дух убитого имеет таинственную власть над убийцей, но меня удивляет то, что люди так настаивают на этом. Что с тобой, Роджер Уайлдрейк? Что ты так перепугался, приятель? Почему ты сорвался с места?

— Перепугался? Я не перепугался... Во мне кипит

ненависть, лютая ненависть! Ведь передо мной убийца несчастного Дика! Погляди, он встал в позицию!

Погоди-ка, мясник, сукин сын, в противнике нужды не будет!

Прежде чем его успели остановить, Уайлдрейк скинул плащ, выхватил шпагу, одним прыжком очутился возле Гаррисона и скрестил с ним клинки; Гаррисон уже стоял со шпагой наголо, как бы в ожидании противника, поэтому нападение не застало его врасплох — в тот миг, когда зазвенели клинки, он вскричал:

— Ага, вот ты где! Ты опять явился в человеческом образе! Добро пожаловать! Добро пожаловать!

Меч господа и Гедеона да

поразит тебя!

— Разнять их! Разнять! —
закричал Эверард.

Оправившись от изумления, они с Томкинсом бросились вперед. Эверард схватил роялиста и оттащил его, а Томкинсу с трудом удалось вырвать шпагу у Гаррисона, который кричал:

— Ага! Двое на одного! Двое на одного! Вот как дерутся дьяволы!

Уайлдрейк тоже разразился страшными проклятиями.

— Маркем! — кричал он. — Ты одним махом истребил во мне благодарность... Она улетучилась... Забыта... Черт меня возьми!

— Ты уже прекрасно доказал

мне свою благодарность, — сказал Эверард, — неизвестно, как на это дело посмотрят. Кто будет за него в ответе?

— Пусть я отвечу за все жизнью своею! — вскричал Уайлдрейк.

— Ладно, помалкивайте уж, — вмешался Томкинс, — а я все устрою. Достойный генерал никогда и не узнает, что дрался с обыкновенным смертным, так я поверну дело. Только пусть этот моавитянин вложит шпагу в ножны и утихомирится.

— Ну-ка, Уайлдрейк, убери шпагу, — приказал Эверард, — иначе, клянусь жизнью, тебе придется направить ее на меня.

— Ну, клянусь святым Георгием, я еще не рехнулся. Но с ним мы сразимся в другой раз!

— В другой раз! — вскричал Гаррисон, все еще не спуская глаз с того места, где он встретил такое яростное сопротивление. — Я тебя прекрасно понял: день за днем, неделю за неделей ты даешь такие беспочвенные обещания; ты ведь знаешь, что сердце мое трепещет при звуке твоего голоса. Но рука моя не дрогнет в поединке с тобой.., дух мой не уstraшитcя этого боя, хоть плоть и трепещет при встрече с бесплотным призраком.

— Только, ради бога, помолчите, — сказал Томкинс,

затем, обращаясь к своему господину, добавил:

— Здесь, разрешите доложить, никого нет, кроме Томкинса и почтенного полковника Эверарда.

Генерал Гаррисон, как это часто бывает при легком помешательстве (с ним именно это скорее всего и случилось), хоть и был твердо уверен, что видел призрак собственными глазами, не пожелал заводить об этом разговор с теми, кто мог принять это за плод расстроенного воображения. Он быстро подавил сильное волнение и заговорил спокойно и с самообладанием, стремясь скрыть свои чувства от Эверарда, — он

считал, что тот его не поймет.

Генерал церемонно приветствовал полковника и повел речь о том, что прекрасный вечер выманил его из замка в парк на прогулку — погода уж очень хорошая. Затем он взял Эверарда под руку и пошел с ним по направлению к замку, а Уайлдрейк и Томкинс повели за ними лошадей Эверард, желая пролить хоть какой-то свет на таинственные дела в замке, несколько раз направлял разговор на эту тему и задавал наводящие вопросы, но Гаррисон так же ловко уклонялся от ответа (люди с расстроенным воображением часто избегают касаться того, что выводит

их из душевного равновесия); он рекомендовал полковнику обратиться к его секретарю Томкинсу; тот имел обыкновение поддерживать все, что ни скажет его господин — недаром Десборо дал ему прозвище Брехун.

— Почему вы обнажили шпагу, достойный генерал, — спросил Эверард, — раз вы просто пошли на вечернюю прогулку?

— Видите ли, любезный полковник, сейчас такие времена, когда нужно быть настороже, порох держать сухим, а шпагу наголо. Скоро настанет такой день, хотите верьте, хотите нет, когда придется бодрствовать, чтобы тебя не застали нагим и безоружным в тот момент,

когда семь труб протрубят «в седло!», а трубы Иезера издадут походный клич.

— Все это так, достойный генерал, но мне показалось, что вы размахиваете шпагой, как будто с кем-то сражаетесь, — настаивал Эверард.

— У меня бывают причуды, любезный Эверард, — отвечал Гаррисон, — иногда я гуляю один, да еще держу шпагу в руках, как, к примеру, сейчас, и мне иной раз приходит охота пофехтовать с каким-нибудь деревом. Глупо похвастаться своим мастерством. Но я слышу отличным фехтовальщиком и частенько полу чал призы еще до

того, как духовно обновился, и до того, как был призван участвовать в великом деле...

Я ведь начал с простого кавалериста в первом конном полку нашего главнокомандующего.

— Но мне показалось, будто я слышу, как о вашу шпагу звенит другая — Что? О мою шпагу звенела другая? Как же это могло случиться, Томкинс?

— Вероятно, сэр, — отвечал Томкинс, — это был сук на дереве. Разные тут растут деревья; возможно, ваша милость наткнулись на такое, которое в Бразилии зовут железным. Перчес в своих путевых заметках рассказывает, что если по такому

дереву стукнуть молотком, оно зазвенит, как наковальня.

— Может быть, и так, — согласился Гаррисон, — изгнанные монархи сажали в этой обители наслаждения много заморских деревьев и растений, но они не сорвали плод с того дерева, на котором растут двенадцать плодов и листья, несущие спасение народам.

Эверард продолжал расспросы; его поразило, как Гаррисон изворачивается и ловко уклоняется от ответа; прикрываясь отвлеченными фантастическими рассуждениями, он как бы накидывал покров на свою растревоженную совесть.

— Но ведь, если я могу верить своим глазам и ушам, у вас был настоящий противник, — настаивал Эверард. — Я убежден, что видел, как человек в темном камзоле скрылся в лесу.

— Вы его видели? — в изумлении вскричал Гаррисон, и голос его задрожал. — Кто бы это мог быть?

Томкинс, ты тоже видел человека, о котором говорит полковник? С платком в руке, с окровавленным платком, он еще все время прижимал его к боку.

Последние слова, которыми Гаррисон обрисовал своего противника, несколько отличались

от того, что сказал Эверард, но совпадали с тем, что говорил Томкинс о мнимом привидении. Эти слова убедили полковника в правдивости истории, рассказанной секретарем, больше, чем все, что он до этого видел и слышал. Слуга ответил на вопрос генерала с присущей ему быстротой: он, дескать, заметил, как такой человек пробирался мимо них в чащу, и подумал, что это какой-нибудь браконьер: этот народ, говорят, очень осмелел.

— Послушайте-ка, мистер Эверард, — торопливо заговорил Гаррисон, чтобы переменить разговор, — пора отложить в сторону

все споры и рука об руку приступить к заделке брешей в нашем Сионе. Я почти за честь и счастье, мой достойный друг, быть в этом деле каменщиком или таскать носилки с известью под началом нашего великого вождя, которого провидение избрало решать наш великий национальный спор; я поистине так предан славному и победоносному генералу Оливеру, сохрани его господь на долгие годы, что, если он прикажет, я не побоюсь сбросить с высокого кресла того, кто зовется спикером парламента.

Я ведь приложил свою недостойную руку к свержению человека, которого называли

королем... Я уверен, что здесь ваши взгляды совпадают с моими; позвольте же мне дружески настоять на том, чтобы мы соединились, как братья, и начали заделывать проломы в бастионах нашего английского Сиона. Мы станем его опорой и оплотом под водительством нашего несравненного главнокомандующего. Конечно, мы станем помогать ему и поддерживать его, но и сами будем извлекать из нашего дела выгоду и получать вознаграждение, духовное и мирское, без этого все здание наше было бы построено на песке... Впрочем, — продолжал он, опять переходя от честолюбивых планов к своим мечтам о Пятой монархии, —

все это суета сует рядом со стремлением вскрыть книгу за семью печатями; близится час, когда загремит гром и засверкает молния, когда из бездны восстанет скованный дракон.

Перейдя, таким образом, от земных дел к фантастическим пророчествам, Гаррисон настолько овладел разговором, что у полковника Эверарда не было никакой возможности продолжать расспросы о подробностях ночной стычки, которых генерал явно не желал касаться. Так дошли они до Вудстокского замка,

Глава XV

*Гаснут рдяные дрова,
В темноте кричит
сова,*

*И больному крик тот
злой*

*Предвещает холм
надгробный.*

*Час настал, чтоб на
погосте*

*Разверзалась пасть
гробов.*

*Возле церкви всюду
гости —*

*Бродят тени
мертвецов.*

«Сон в летнюю
ночь» [note 27](#)

Караул у входа в замок был удвоен. Эверард спросил, по какой причине, у капрала, который вместе с солдатами дремал в холле у очага; в огонь подбрасывали разломанные резные стулья и скамейки.

— Слов нет, кордегардия, как говорит ваша милость, будет измотана такой службой, — ответил капрал, — но нас всех такой страх одолел, что никто не хочет стоять па часах в одиночку. Мы уже сняли несколько постов в Бэнбери и еще кое-где, а завтра ждем подкрепление из Оксфорда.

Эверард задал ему еще несколько вопросов относительно внутренних и внешних постов охраны и убедился, что правила караульной службы и дисциплина соблюдаются точно: часовых расставляли под личным наблюдением самого Гаррисона. Полковнику Эверарду оставалось только дать совет — поставить часового (или двух, если уж это неизбежно) в прихожую, из которой вели двери в разные покои и на галерею — место его недавнего приключения. Капрал почтительно обещал выполнить все его приказания. Позвали слуг, их тоже явилось вдвое больше, чем обычно.

Эверард спросил их, легли ли комиссары или он еще может поговорить с ними.

— Господа комиссары, конечно, уже в спальне, — ответил один из слуг, — но, кажется, еще не ложились.

— Как! — вскричал Эверард. — Полковник Десборо и мистер Блетсон заняли одну спальню на двоих?

— Так их милостям было угодно, — сказал слуга, — а секретари их милостей бодрствуют всю ночь.

— Раз уж решено поставить двойной караул по всему дому, — вмешался Уайldreйк, — я, пожалуй,

тоже подчинился бы такому приказу — подыскать бы только смазливую служанку.

— Перестань валять дурака, — остановил его Эверард. — А куда девались мэр и мистер Холдинаф?

— Господин мэр вернулся в город на одной лошади с кавалеристом, которого послали в Оксфорд за подкреплением, а звонарь поместился в комнате, где полковник Десборо спал прошлой ночью, как раз в той самой, где чаще всего появляется.., ваша честь знает, кто. Оборони нас господи, тут все гнездо растревожено.

— А где же слуги генерала Гаррисона? — спросил Томкинс. —

Почему они не провожают его в спальню?

— Мы здесь, мы здесь, мистер Томкинс! — закричали все трое хором, выступая вперед. На лицах у них был написан такой же испуг, как и у всех обитателей Вудстока.

— Тогда отправляйтесь, — приказал Томкинс, — но не разговаривайте с его превосходительством, вы видите — ему не по себе.

— И правда, — заметил полковник Эверард, — какой он бледный, и лицо подергивается, как у паралитика. По дороге болтал без умолку, а как вышли на свет, и рта не раскрыл.

— Он всегда такой бывает после припадков, — объяснил Томкинс. — Зедекия и Джонатан, возьмите его превосходительство под руки и отведите в спальню.., я сейчас пойду за вами... А ты, Никодем, подожди меня тут, не люблю я один ходить по этому дому.

— Мистер Томкинс, — обратился к нему Эверард, — мне часто доводилось слышать, что вы человек находчивый и сметливый; скажите откровенно, вы и вправду верите, что в этом доме водится нечистая сила?

— Не желал бы я проверить это на себе, сэр, — мрачно ответил Томкинс, — стоит только взглянуть

на его превосходительство, моего господина, чтобы увидеть, каким становится человек, когда поговорит с мертвецом.

Он отвесил низкий поклон и ушел. Эверард отправился в спальню, где два других комиссара решили ночевать вместе — так было спокойнее. Они как раз собрались лечь, когда полковник вошел в комнату.

Оба вздрогнули при стуке двери и обрадовались, увидев, что это Эверард.

— Послушай, полковник, — зашептал Блетсон, отведя Эверарда в сторону, — видел ты другого такого осла, как Десборо? Силен, как бык, а

труслив, как овца. Это он настоял, чтобы я ночевал тут вместе с ним и охранял его. Хорошенькая ночка нам предстоит, клянусь честью! Вот если бы вы заняли третью постель — вон ту, что приготовлена для Гаррисона; сам он убежал, как угорелый, искать долину Армагеддонскую в Вудстокском парке.

— Генерал Гаррисон только что воротился вместе со мной, — сказал Эверард.

— Ну уж, клянусь честью, в нашу комнату мы его не пустим, — вставил Десборо, услышав ответ Эверарда. — Кто ужинал с дьяволом, тот не имеет права ночевать с христианами.

— А он и не собирается этого делать, — возразил Эверард. — Сдается мне, он будет ночевать один, в отдельной спальне.

— Ну, вряд ли один, осмелюсь заметить, — продолжал Десборо. — Гаррисон — вроде приманки для нечистых духов, они летят к нему, как мухи па мед...

Сделай милость, любезный Эверард, останься с нами.

Не знаю отчего, но с тобой мне как-то спокойнее, чем с другими, хоть ты и не распинаешься в защиту своей веры, не говоришь много суровых слов, как Гаррисон, не произносишь длинные проповеди, как один мой высокопоставленный

родственник, не буду называть его имени. А уж этот Блетсон так богохульствует, что, помяни мое слово, дьявол утащит его с собой еще до рассвета.

— Видели вы такого жалкого труса? — шепнул Блетсон Эверарду. — Все-таки оставайтесь с нами, уважаемый полковник. Я знаю, вы всегда рады помочь страждущим; вы ведь видите, в каком Десборо затруднительном положении: чтобы выкинуть из головы привидения и чертей, ему недостаточно будет только моего примера.

— Очень жалею, что не могу услужить вам, господа, но я решил переночевать в комнате Виктора Ли.

Желаю вам доброй ночи, и если вы хотите, чтобы она прошла спокойно, помолитесь, пока не заснули, тому, для кого ночь так же светла, как день. Я хотел было поговорить с вами сегодня о деле, которое привело меня сюда, но отложу разговор до утра. Думаю, что завтра приведу вам веские доводы, которые убедят вас покинуть Вудсток.

— Хватит с нас всяких доводов! — вскричал Десборо. — Я, к примеру, приехал сюда по долгу службы, ну, ясное дело, и сам хочу получить кое-что за беспокойство, но если меня опять поставят на голову, как в прошлую ночь, я не останусь здесь даже за королевскую корону:

на шею ведь ее не наденешь, раз головы не будет.

— Спокойной ночи, — сказал Эверард и собрался уже уходить, когда Блетсон придвинулся к нему и зашептал:

— Прошу тебя, полковник.., ты знаешь, что я тебе друг.., заклинаю тебя — оставь свою дверь открытой, чтобы я мигом прибежал на помощь, если с тобой что-нибудь приключится. Пожалуйста, любезный Эверард, иначе я глаз не сомкну, все буду за тебя беспокоиться. Я знаю, ты человек здравомыслящий, но и ты подвержен суеверным страхам — мы ведь выпитываем их с молоком матери;

поэтому-то мы трепещем,. когда попадаем в подобное положение. Не запирай же дверь, если любишь меня, чтобы я в случае нужды мог поспеть к тебе на помощь.

— Мой господин уповает, во-первых, на библию, — вмешался Уайлдрейк, — а во-вторых, на свою верную шпагу. Он не думает, что можно оградить себя от дьявола, если лечь вдвоем в одной комнате, а еще меньше он верит вольнодумцам из «Колеса», что нечистая сила — плод воображения»

Эверард схватил своего опрометчивого друга за ворот, поволок его прочь, не дав договорить, и отпустил только тогда, когда

притащил в комнату Виктора Ли, где они уже ночевали раньше. Но и там он продолжал крепко держать Уайлдрейка, пока слуга не зажег свечи и не вышел из комнаты. Отпустив Уайлдрейка, Эверард принялся упрекать его:

— Нечего сказать, вот так осторожный и рассудительный человек! Цепляется за любой повод, чтобы затеять скандал или ввязаться в спор. Стыдно!

— Стыдно, правильно! — разошелся роялист. — Стыдно мне, что я, как тряпка, даю собой помыкать человеку, который не стоит выше меня ни по роду, ни по воспитанию. Заявляю тебе, Марк, ты

злоупотребляешь своей властью. Почему ты не отпускаешь меня от себя, почему не даешь жить и умереть, как я хочу?

— Да потому, что недели не пройдет после нашей разлуки, как я узнаю, что ты умер собачьей смертью.

Послушай, друг мой, что это на тебя нашло? Сначала полез в драку с Гаррисоном, а потом пустился в бесполезные споры с Блетсоном!

— Да ведь мы в гостях у дьявола, а я привык всегда что-нибудь дарить хозяину, куда ни приеду.

Вот отдать бы ему на завтрак Гаррисона или Блетсона, а затем и

Кром...

— Замолчи! — перебил его Эверард, оглядываясь вокруг. — У стен есть уши. Вот тебе, выпей на сон грядущий. Положи рядом с собой оружие — нам надо быть наготове, как будто за нами гонится кровавый мститель. Вот твоя кровать, а мне постелили в гостиной. Нас разделяет только эта дверь.

— Оставим ее открытой на случай, если ты позовешь на помощь, как сказал этот вольнодумец. Но когда это ты успел привести здесь все в порядок, дорогой патрон?

— Я заранее предупредил Томкинса, что буду ночевать здесь.

— Вот странный малый! Он,

кажется, во все свой нос сует, ничего мимо его рук не проходит.

— Он, по-моему, истинное порождение нашего времени, — сказал Эверард, — здорово умеет убеждать и проповедовать, за это его любят индипенденты, да и умеренным он нравится благодаря своей сметливости и расторопности.

— А в искренности его никогда не сомневались? — спросил Уайлдрейк.

— Что-то не слыхал, — ответил полковник, — напротив, друзья называют его Верный Джо и Честный Томкинс. Впрочем, я думаю, что искренность у него всегда идет в ногу с выгодой. Ну ладно, пей

и ложись! Как? Выпил все залпом?

— А как же, черт возьми! Обет не позволяет мне больше одного глотка. Не беспокойся, этот стакан — что ночной колпак: согреет мозги, но не затуманит их. И если кто тебя потревожит, все равно — черт или человек, ты только крикни, я вмиг приду на подмогу.

.С этими словами роялист удалился в свою спальню, а полковник, сняв с себя только то, что его стесняло, в штанах и камзоле улегся и скоро заснул.

Его разбудила тихая и торжественная музыка, которая постепенно затихала вдали. Он вскочил и схватился за оружие,

нащупав его возле себя. Постель его не имела занавесей, и он без труда мог бы оглядеться вокруг, но в камине, который он разжег перед сном, оставалось всего несколько тлеющих угольков, и ничего различить было нельзя. Эверард был храбрый человек, но тут его охватил смутный и волнующий трепет от сознания, что где-то поблизости таится неизвестная и невидимая опасность. Он старался не думать о сверхъестественных явлениях, но, как мы уже заметили, ему свойственно было некоторое суеверие — даже в наш скептический век людей, совершенно не верящих в привидения, гораздо

меньше, чем тех, которые заявляют, что не верят. Эверард не был убежден, что ему не почудилась эта музыка, которая все еще звенела у него в ушах, и не рискнул позвать на помощь приятеля, опасаясь, чтобы тот не стал над ним смеяться. Он приподнялся и сел на постели; его охватила та нервная дрожь, которой подвержены не только трусы, но и храбрецы, разница лишь в том, что первые от страха пригибаются к земле, как виноградная лоза под градом, а вторые находят в себе силы стряхнуть этот страх, подобно тому как ливанский кедр поднимает ветви, чтобы сбросить скопившийся на них снег.

В этот безмолвный ночной час Эверарду невольно вспомнилось происшествие с Гаррисоном, хотя в душе он и подозревал, что это была чья-то шутка. Он вспомнил, что, когда Гаррисон рассказывал о привидениях, он упомянул подробность, не совсем совпадавшую с тем, что говорил Эверард, стремясь описать призрак; этот окровавленный платок, прижатый к боку, — очевидно, он когда-то был перед глазами генерала или тревожил его болезненное воображение. Значит, убитые посещают тех, кто отправил их на тот свет с незамоленными грехами? Если так, то почему же не могут появиться

другие призраки, чтобы предостеречь.., научить.., наказать?.. Опрометчивы те, кто принимает за чистую монету любые истории такого рода, заключил он, но не менее опрометчивы, может быть, и люди, ограничивающие могущество создателя только тем, что он сотворил мир, и не допускающие того, что, с согласия творца вселенной, законы природы могут в особых случаях и с высокими целями на время быть отменены.

Пока эти мысли проносились в голове Эверарда, его все больше охватывали чувства, незнакомые ему даже на поле жестокой и опасной битвы. Он испытывал безотчетный

страх; явная опасность вызвала бы в нем прилив решимости, но полное неведение того, что ему угрожает, усиливало чувство тревоги. Он испытывал почти непреодолимое желание спрыгнуть с постели и бросить на тлеющие угли свежие дрова, чтобы при свете огня увидеть что-то таинственное.

Ему также хотелось разбудить Уайлдрейка, но стыд пересилил страх и удержал его. Как, скажут люди, Маркем Эверард, один из самых храбрых воинов, обнаживших шпагу в этой злосчастной войне... Маркем Эверард, который, несмотря на молодые годы, дослужился в парламентской армии до высоких

чинов, побоялся остаться ночью один в темной комнате? Не допустит он подобных разговоров!

Но эти рассуждения не остановили потока его мрачных мыслей. В памяти его воскресли разные предания о комнате Виктора Ли. Он всегда относился к ним с презрением — по его мнению, это были рассказы, непроверенные и противоречивые слухи, плод старинных предрассудков, передаваемых из поколения в поколение доверчивыми болтунами. Но было в этих преданиях нечто такое, что не способствовало успокоению его напрягшихся нервов. Потом, когда ему пришло на ум его

собственное приключение — шпага, приставленная к горлу, сильная рука, бросившая его на пол, — это воспоминание совершенно рассеяло мысли о летающих призраках и таинственных кинжалах; оно привело Эверарда к убеждению, что в каком-нибудь тайнике обширного замка скрывается шайка злоумышленников-роялистов, которые могут предпринять ночью вылазку, сломить сопротивление часовых и отомстить им всем, а в особенности Гаррисону, как одному из судей-цареубийц, крови которого жаждали все преданные последователи казненного монарха.

Он попытался успокоить себя:

часовых много, и они умело расставлены; но тут же стал упрекать себя, что не принял еще больших мер предосторожности и соблюдает вырванный у него обет молчания, которое может предать его товарищей в руки убийц. Такие размышления, подкрепленные сознанием воинского долга, направили его мысли по другому руслу. Он решил сейчас же обойти часовых и убедиться, что они не спят, хорошо несут службу и расставлены так, что в случае нужды могут прийти на помощь друг другу.

«Это мне больше к лицу, — подумал он, — чем дрожать здесь в ребяческом страхе от рассказней, над

которыми я еще в детстве смеялся. Пусть Виктор Ли кощунствовал, как гласит молва, и варил эль в купели, захваченной в старинном Холирудском дворце, в то время как сам дворец и церковь пылали в огне!

Пусть даже его старший сын в младенчестве был ошпарен до смерти в той же самой купели! Разве мало церковей разрушено с тех пор? Разве мало купелей осквернено?. Их столько, что если бы небо задумало наказывать за такие злодеяния при помощи сверхъестественных сил, не было бы в Англии уголка, не было бы самого крошечного прихода, где бы они не появились... Перестань... Это праздные мысли, недостойные тех,

кто воспитан в убеждении, что святость заключена в намерениях и поступках, а не в церквах, купелях и обрядах».

Пока он перебирал в уме все догмы кальвинистской веры, часы на башне начали бить три (такие часы редко безмолвствуют в историях подобного рода). Вслед за этим под сводом галереи, на верхних и нижних этажах раздались хриплые возгласы караульных. Они перекликались обычным паролем: «Все в порядке!» Голоса их смешивались с глухим боем часов, но стихли до того, как он прекратился, а когда замолкли совсем, слышался отдаленный дрожащий звон. Вскоре он угас, а

затем как бы опять возродился; Эверард сначала не мог понять, новое ли эхо подхватило замирающие звуки или какой-то иной звук опять нарушил тишину старого замка и его окрестностей.

Но вскоре сомнения рассеялись. К замирающему звону присоединилась тихая музыка — сначала она только вторила ему, а потом стала звучать все громче; странная мелодия, зародившись вдали, нарастала по мере приближения; казалось, она плывет из комнаты в комнату, из кабинета на галерею, из зала в спальню, по пустой и разоренной древней резиденции столь многих монархов.

Ни один часовой не поднял тревогу, когда музыка разнеслась по замку, никто из многочисленных обитателей, проводивших неприятную и беспокойную ночь в этой старинной крепости, словно не осмеливался сказать другому о причине своих опасений.

Возбуждение не давало Эверарду дольше пребывать в бездействии. Звуки приблизились настолько, что, казалось, в соседней комнате служат панихиду.

Тогда Эверард поднял тревогу и громко позвал своего верного помощника и друга Уайлдрейка, крепко спавшего в соседней комнате за дверью, настежь открытой с

вечера;; — Уайлдрейк! Уайлдрейк! Вставай! Вставай! Ты что, ничего не слышишь?

Уайлдрейк не отвечал, хотя одной музыки было бы достаточно, чтобы разбудить спящего и без криков его друга и покровителя. Казалось, музыка гремит в самой комнате и музыканты находятся здесь же.

— Тревога, Роджер Уайлдрейк, тревога! — опять закричал Эверард, спрыгнув с постели и схватившись за оружие. — Добудь огня и подними стражу!

Ответа не было. Его голос замер; затихли, казалось, и звуки музыки. Вдруг тот же мягкий и нежный

голос, который походил на голос Алисы Ли, зазвучал, как ему слышалось, совсем рядом с ним.

— Твой приятель не ответит, — произнес он, — у кого совесть чиста, тот не услышит тревоги.

«Опять те же проделки! — подумал Эверард. — На этот раз я вооружен получше; не будь это женский голос, собеседник мой дорого заплатил бы за свои шутки».

Интересно заметить, что всякий раз, когда Эверард ясно слышал человеческий голос, мысли о сверхъестественном улетучивались и чары, сковывавшие его, рассеивались; влияние воображения или суеверного страха на человека проявляется

только тогда, когда он попадает в таинственную обстановку (так, во всяком случае, обстоит дело у людей рассудительных), но достаточно прозвучать ясному звуку или произойти знакомому явлению, как мысли человека возвращаются к действительности.

Между тем тот же голос ответил не только на слова, но и на мысли Эверарда:

— Ты думаешь, твое оружие нас устрашит? Мы его не боимся! Оно не имеет власти над стражами Вудстока. Стреляй, если хочешь, испробуй свое оружие. Но знай, мы не намерены тебе вредить — ты из соколиного племени, ты благороден

по природе, только плохо обучен и воспитан, потому и водишься с ястребами и воронами. Улетай завтра отсюда. Если же останешься с летучими мышами, совами, стервятниками и воронами, которые задумали свить здесь гнездо, то неминуемо разделишь их участь. Уходи же, чтобы этот замок можно было очистить и подготовить к приему более достойных обитателей.

Эверард отвечал громким голосом:

— Еще раз предупреждаю вас — не надейтесь меня запугать. Я не ребенок, чтобы бояться страшных сказок, и не трус, чтобы пугаться угроз разбойников, когда у меня при

себе оружие. Если я и даю вам временную поблажку, то только ради моих дорогих заблуждающихся друзей: может быть, они тоже втянуты в эти опасные проделки. Знайте, я могу оцепить замок солдатами, они обыщут каждый потайной уголок и найдут зачинщиков этих дерзких проделок; если же и этого будет мало, достаточно нескольких бочек с порохом, чтобы превратить замок в развалины и похоронить под ними всех охотников до таких безрассудных выходов.

— Вы слишком надменно разговариваете, полковник, — ответил другой голос, похожий на тот

грубы;»! и резкий, который говорил с ним на галерее. — Попробуйте-ка испытать свою храбрость на мне!

— Вам не пришлось бы вызывать меня дважды, — отвечал полковник Эверард, — если бы здесь было посветлее и я мог бы прицелиться.

Стоило ему произнести эти слова, как яркий, почти ослепительный свет вырвал из мрака фигуру, похожую на Виктора Ли; одной рукой этот человек поддерживал женщину, закутанную в густую вуаль, в другой держал маршальский жезл. То были живые люди, они стояли в шести футах от него.

— Если бы не эта женщина, — воскликнул Эверард, — я бы не оставил ваш вызов без ответа.

— Не щади женщину, дерись как можешь, — отвечал тот же голос, — я тебя вызываю!

— Повтори свой вызов, когда я досчитаю до трех, — потребовал Эверард, — и ты будешь наказан за свою дерзость... Раз.., взвожу курок пистолета. Два... я всегда стреляю без промаха... Клянусь небом, я выстрелю, если вы сейчас же не уберетесь! Когда произнесу три — пристрелю вас на месте. Я не любитель кровь проливать, даю вам еще возможность скрыться.

Раз.., два.., три!

Эверард прицелился в грудь незнакомца и выстрел лил. Тот с презрением помахал ему рукой, раздался громкий хохот, свет стал слабеть, потом вспыхнул, в последний раз осветив фигуру старого рыцаря, и померк. У Эверарда кровь застыла в жилах. «Если бы рыцарь был простым смертным, — подумал он, — пуля сразила бы его. Но биться со сверхъестественными существами я не хочу и не могу».

Все происшедшее так поразило Эверарда, что ему чуть не стало дурно. Однако он ощупью добрался до камина, разгреб тлеющие угли и подбросил не- сколько сухих

поленьев. Огонь быстро разгорелся и осветил всю комнату. Эверард внимательно, хоть и не без робости, осмотрелся, как будто ожидая увидеть страшный призрак; но он разглядел только старинную мебель, письменный стол да кое-какие предметы, оставленные на тех же местах, где они находились до отъезда сэра Генри Ли. Непреодолимое желание, смешанное с отвращением, влекло его взглянуть на портрет покойного рыцаря, который так поразил его сходством с призраком. Он колебался между противоречивыми чувствами, потом с отчаянной решимостью схватил свечу и зажег ее от потухающего

пламени камина. Затем поднес свечу к портрету Виктора Ли и стал всматриваться в него с любопытством, хотя и не без страха. В его душе пробудилось чувство, похожее на ужас, испытанный в детстве, когда ему чудилось, будто суровый взор старого воина всюду следует за ним, недовольный и осуждающий.

Он быстро отогнал эти нелепые мысли, но смутные чувства, затаенные в глубине души, выразились в словах, наполовину обращенных к старинному портрету.

— Дух предка моей матери, — произнес он, — кто бы ни тревожил эти древние стены, друзья или враги,

заговорщики или нечистая сила, я решил утром покинуть замок.

— Искренне рад услышать об этом, — раздался голос позади.

...Эверард обернулся и увидел длинную фигуру в белом с чем-то вроде тюрбана на голове. Свеча выпала у него из рук, он кинулся к призраку со Словами:

— Ты-то, уж во всяком случае, из плоти и крови!

— Из плоти и крови! — отвечал тот, кого он схватил в охапку. — Ты, черт возьми, мог бы убедиться в этом и без того, чтобы душить меня! Отпусти сейчас же, не то я покажу тебе, как я умею бороться!

— Роджер Уайлдрейк! —

закричал Эверард, выпустив
роялиста и отступив назад.

— Конечно, Роджер Уайлдрейк.
А ты думал, это Роджер Бэкон
пришел помочь тебе выкуривать
дьявола? Здесь в самом деле серой
попахивает.

— Это я стрелял из пистолета.
Разве ты не слышал?

— Конечно, слышал! От этого и
проснулся. Выпил на ночь и спал как
сурок. Ух, до сих пор голова
кружится!

— А чего ж ты сразу не пришел?
Мне так нужна была твоя помощь.

— Пришел, как только смог
подняться, — ответил Уайлдрейк. —
Я должен был сначала очухаться,

потому что мне снилась проклятая битва при Нейзби; да и дверь была заперта, пришлось ее ногой выламывать.

— Как так! Она ведь была отворена, когда я ложился, — удивленно сказал Эверард.

— А когда я встал, она была заперта, — ответил Уайldreйк. — Поражаюсь, как это ты не слышал, когда я ее выламывал.

— Мне было не до этого, — сказал Эверард.

— Ну ладно, — заметил Уайldreйк, — а здесь-то что случилось? Я примчался сюда и готов полезть в драку, если отпустит зевота. Такого крепкого зелья у самой

матушки Редкан не найдешь — это все равно что целый бушель против одного ячменного зерна, Точно хмельного эликсира хватил... О-о-ох!

— Должно быть, туда подмешали дурмана, — заметил Эверард.

— Может быть..., очень может быть... Пистолетный выстрел едва разбудил... А ведь я даже если выпью на ночь заздравную чашу — и то сплю чутко, как девушка под первое мая, когда ждет рассвета, чтобы идти собирать росу. Ну, что же ты теперь намерен делать?

— Ничего, — ответил Эверард.

— Ничего? — удивленно переспросил Уайлдрейк.

— Я заявляю, — сказал полковник Эверард, — и не столько тебе, сколько тем, кто может меня услышать, что утром уйду из замка и постараюсь удалить отсюда комиссаров.

— Тише! — перебил его Уайлдрейк. — Слышишь там, вдали, шум, точно в театре хлопают? Это духи замка радуются твоему отъезду.

— Я оставляю замок, — продолжал Эверард, — в распоряжение моего дяди сэра Генри Ли и его семейства, если он на это согласится, оставляю не оттого, что испугался проделок, которые здесь разыгрываются, а только потому, что таково было мое намерение с самого

начала. Но я хочу предупредить, — тут он повысил голос, — хочу предупредить тех, кто замешан во всех этих делах, что если все это сходит им с рук, когда они имеют дело с такими дураками, как Десборо, с такими фанатиками, как Гаррисон, и с такими трусами, как Блетсон...

Тут кто-то отчетливо произнес совсем рядом:

— И с таким умеренным, мудрым и решительным человеком, как полковник Эверард.

— Клянусь небом, голос исходит от портрета! — вскричал Уайлдрейк, выхватывая шпагу. — Посмотрим, крепки ли у него доспехи!

— Не горячись, — остановил его Эверард; он вздрогнул, когда таинственный голос прервал его, но быстро овладел собой и продолжал твердо:

— Пусть все замешанные в этом помнят — сейчас их проделки сходят им с рук, но все будет раскрыто, стоит только заняться этим как следует; тогда злоумышленники будут наказаны, замок Вудсток снесен, а семейство Ли окажется под угрозой неизбежной гибели. Пусть заговорщики одумаются, пока не поздно.

Эверард помолчал, как бы ожидая ответа, но его не последовало.

— Очень все это странно, — сказал Уайлдрейк. — О-о-ох, мне этого сейчас не раскусить... Голова кружится, как сухарик в бокале муската... Присяду-ка я., о-о-ох!., чтобы удобнее было все обдумать... Спасибо, доброе кресло...

С этими словами он опустился — или, вернее, нырнул в глубокое кресло, где некогда сиживал отважный сэр Генри Ли, и в тот же миг заснул глубоким сном. Эверарда совсем не клонило ко сну, но в эту ночь он уже не опасался нового появления призраков: он полагал, что те, кто принимал такие энергичные меры для изгнания комиссаров, одобрили его намерение

покинуть Вудсток. Ранее он склонен был видеть во всех проделках участие сверхъестественных сил, а теперь пришел к здравому заключению, что это дело рук ловких заговорщиков, для которых Вудстокский замок был весьма удобным местом.

Он, подложил в камин дров, зажег свечу и, заметив, что Уайлдрейк заснул в неловкой позе, решил устроить его в кресле поудобнее; роялист, как дитя, только пошевелил руками и ногами. Видя, в каком он состоянии, патрон его еще больше укрепился «в мысли, что все это — дело рук заговорщиков, — духи не стали бы подмешивать человеку дурман в вино.

Когда Эверард опять лег в постель и стал размышлять обо всех странных происшествиях, в комнате раздались звуки тихой и нежной музыки, и трижды повторились слова: «Доброй ночи.., доброй ночи... доброй ночи». Звуки все удалялись и удалялись, становились все тише; они как будто заверяли его, что Духи заключили с ним перемирие, если не прочный мир, и что в эту ночь его больше тревожить не будут. Он едва отважился произнести в ответ: «Доброй ночи!» — хоть и не сомневался, что все это чьи-то проделки. Они были так хорошо разыграны, что невольно внушали страх; так зритель в театре

испытывает ужас, когда смотрит трагедию: хоть он и знает, что это все вымысел, правдоподобие игры волнует его чувства.

Наконец сон овладел Эверардом; он пробудился, только когда утро залило своим светом комнату.

Глава XVI

*Взошла звезда Авроры
в небесах;*

*Ее завидев, духи
впопыхах*

*Спешат домой скорее,
на кладбище.*

*«Сок в летнюю
ночь» [note 28](#)*

Свежий утренний воздух рассеял
все страхи минувшей ночи; теперь
воспоминание обо всем
происшедшем вызывало у
полковника Эверарда только
удивление. Он внимательно

осмотрел комнату, про стучал пальцем и тростью пол и деревянную обшивку стен, но нигде не нашел никаких потайных ходов, а дверь в коридор, которую он накануне запер на ключ и задвижку, оставалась накрепко закрытой.

Потом мысли его обратились к призраку, напоминавшему Виктора Ли. О старом рыцаре ходило много таинственных легенд; передавали, что он бродит по ночам в необитаемых покоях и коридорах древнего замка — в детстве Маркем часто слышал эти рассказы. Он рассердился на себя, вспомнив, как прошлой ночью затрепетал от страха, когда кто-то из заговорщиков

предстал перед ним в образе покойного рыцаря.

«Правда, я перепугался, как малое дитя, но не мог же я промахнуться, — рассуждал он. — Скорее всего кто-то умудрился тайком вынуть патрон из пистолета».

Эверард осмотрел второй пистолет, из которого он не успел выстрелить, и обнаружил, что тот заряжен.

Он исследовал стену против того места, откуда стрелял, и на высоте пяти футов нашел в деревянной обшивке недавно засевшую пулю. Не оставалось сомнения, что он целился верно, — пуля, попавшая в стену, должна была

пройти через призрак, в который он метил. Это было непостижимо и наводило на мысль, что заговорщикам помогали колдовство и черная магия; сами они были простые смертные, но пользовались услугами обитателей потустороннего мира, — в те времена люди в это верили.

Затем он перевел взгляд на портрет Виктора Ли. Стоя перед ним, Эверард внимательно всматривался в него, изучая поблекшие краски, расплывчатые черты, смертельную бледность лица и суровый, застывший взор; прошлой ночью все это выглядело иначе: искусственный свет, озарявший

картину на фоне темной комнаты, оживлял бледные черты, а мерцающее пламя камина создавало впечатление, что фигура на полотне движется. Теперь, при дневном свете, это был обычный портрет в жесткой манере старинной школы Гольбейна, а ночью в нем словно что-то таилось. Решив во что бы то ни стало добраться до сути дела, Эверард поставил стул на стол, влез на него и еще внимательнее осмотрел портрет, стараясь обнаружить какую-нибудь скрытую пружину, при помощи которой картина могла отодвигаться в сторону, — такие потайные ходы часто встречаются в старинных

замках, они служат для тайных посещений и побегов и известны только хозяевам замка и их приближенным. Но портрет Виктора Ли был наглухо приколот к обшивке стены, он составлял часть этой обшивки, и полковник мог убедиться, что потайного хода, который он разыскивал, здесь нет.

Закончив осмотр, он разбудил Уайлдрейка, своего верного оруженосца, — тот, несмотря на хорошую порцию «благословенного сна», все еще находился под влиянием напитка, выпитого накануне.

— Это мне награда за воздержание, — рассуждал он, —

сделаешь один глоток, а спишь дольше и крепче, чем когда перехватишь через край — выпьешь пол»« дюжины, а то и целую дюжину чарок на ночной пирушке [note 29](#), да и после пира еще добавишь.

— Если бы напиток был чуть покрепче, — заметил Эверард, — ты бы так заснул, Уайлдрейк, что тебя поднял бы только трубный глас, возвещающий конец света.

— Вот тогда я бы проснулся с головной болью, Марк, — отвечал Уайлдрейк. — Я ведь выпил всего один скромный глоточек, а голова все равно трещит.

Давай-ка пойдем узнаем, как другие провели эту суматошную

ночь. Бьюсь об заклад, всем им не терпится убраться из Вудстока; может, только они спали лучше нашего или им больше повезло с комнатами.

— Если так, ты сейчас же отправишься в хижину Джослайна и уговоришь сэра Генри Ли вернуться с дочерью в замок. Вряд ли сюда опять сунут нос эти комиссары или новые — побоятся моей дружбы с главнокомандующим, да и дурной славы самого замка.

— Ну, а как мой любезный полковник? Собирается он защищать сэра Генри и его дочку от злых духов? — спросил Уайлдрейк. — Был бы я влюблен в хорошенькую

кузину, как ты похваляешься, я не стал бы подвергать ее ужасам Вудстокского замка, где черти...

.прошу у них прощения, они, верно, слышат каждое слово.., где эти веселые домовые резвятся от зари и до зари.

— Мой дорогой Уайлдрейк, — отвечал полковник, — я тоже думаю, что наш разговор кто-то, может быть, подслушивает, но это меня мало беспокоит, я прямо все выскажу. Я уверен, что сэр Генри и Алиса не замешаны в этом дурацком заговоре: порукой тому его гордость, ее скромность и рассудительность обоих; никто не может заставить их участвовать в таких нелепых

проделках. Но здешние нечистые духи — твоего поля ягоды, Уайлдрейк, это рьяные роялисты. Сэр Генри Ли и Алиса, конечно, с ними не связаны, но им нечего бояться этих таинственных махинаций, в этом я уверен. Кроме того, сэру Генри и Джослайну известей в замке каждый уголок, с ними потруднее будет разыграть такую чертовщину, чем с посторонними. Давай-ка займемся туалетом, а когда вода и щетка сделают свое дело, посмотрим, что предпринять дальше.

— Ну, уж мою постылую пуританскую хламиду и чистить не стоит, — проворчал Уайлдрейк» —

Если бы не эта стофунтовая ржавая шпага, которой ты меня наградил, я больше смахивал бы на банкрота-квакера.

Но ты-то у меня сейчас станешь таким щеголем, каких ваши лицемерные плуты и не видывали.

Тут он запел любимую песенку роялистов:

Хоть ныне опустел Уайтхолл
И стены в нем паук оплел,
Но близок срок — и на престол
Наш добрый король возвратится.

— Ты забыл про тех, кто в других покаях, — заметил полковник Эверард.

— Нет... Я помню тех, кто прячется в здешних тайниках, — отвечал его друг, — я пою для веселых домовых, они меня за это еще больше любят. Знаешь, приятель, эти черти — мои bonos socios [note 30](#); когда я с ними встречусь, бьюсь об заклад, они окажутся такими же отчаянными ребятами, как те, кто служил со мной под командой Ламфорда и Горинга... Когти острые, спуску никому не дают, желудки бездонные — ничем не наполнишь, гуляки, кутилы, пьяницы, драчуны.., спят прямо на земле, храбро умирают, не снимая сапог. Да, прошли наши славные денечки! Нынче и у кавалеров в моде

ходить с постными лицами, особенно у пастырей, которые потеряли своих свиней-прихожан. Те времена как раз по мне, никогда у меня не было и не будет лучших дней, чем во время этого жестокого, кровавого, чудовищного мятежа.

— Ты всегда был дикой морской птицей, Роджер.

Даже фамилия у тебя подходящая [note 31](#). Ты всегда предпочитал шторм штилю, бурный океан — тихой заводи, жестокую, отчаянную борьбу с ураганом — обеспеченной жизни, удобству и покою.

— Наплевать мне на тихую заводь — еще какая-нибудь старушка

будет там ячменем кормить. Я не поплетусь, как бедный домашний селезень, разинув клюв, на ее зов. Нет, Эверард, я люблю свист ветра под крыльями, люблю нырять на гребне волн, то погружаться в пучину, то взвиваться в небеса... Вот жизнь дикого селезня, мой степенный друг! Такую жизнь мы вели в гражданскую войну... Прогонят из одного графства — перебираемся в другое; сегодня разбиты, завтра победители; сегодня голодаем в доме бедняка-кавалера, завтра пируем в кладовой какого-нибудь просвитерианина, приступом берем его погреб, буфет, судейский перстень, хорошенькую служанку —

все, что подвернется под руку.

— Хватит, друг, — остановил его Эверард, — не забудь, что я тоже пресвитерианин.

— Тем хуже для тебя, Марк, тем хуже, — сказал Уайлдрейк, — но ты ведь сам говоришь — в это не стоит углубляться. Пойдем лучше, посмотрим, как поживает твой пресвитерианский пастор мистер Холдинаф, успешнее ли он сражался с нечистой силой, чем ты, его ученик и последователь.

Едва они вышли из комнаты, как их обступили часовые и обитатели замка; они принялись бессвязно рассказывать о своих ночных страхах — все они минувшей ночью видели и

слышали что-нибудь необычайное. Нет нужды пересказывать подробно, что болтал каждый из них; говорили они с огромным рвением — в подобных случаях люди считают позором, если увидели и пережили меньше, чем остальные.

Самые умеренные рассказывали только о звуках вроде мяуканья кошки, рычания собаки или даже хрюканья свиньи. Другие слышали, как кто-то вколачивал гвозди, пилил, звенел цепями, шелестел шелковым платьем, как играла музыка, — словом, все слышали совершенно различные звуки. Некоторые клялись, что ощущали разные запахи, особенно запах горящей смолы —

дьявольского происхождения, конечно; кое-кто не клялся, но утверждал, что видел призраки вооруженных людей, безголовых лошадей, рогатых ослов и шестиногих коров, не говоря уже о черных фигурах с козлиными копытами, которые ясно доказывали, к какому царству они принадлежат.

Часовые все до единого были свидетелями этих ночных беспорядков, поэтому ни один не мог помочь другому, все они напрасно звали на помощь *corps-de-garde* [note 32](#), которые сами трепетали, каждый на своем посту; решительный противник легко мог бы овладеть всем гарнизоном, но среди всеобщей

alerte [note 33](#) никто не пострадал; казалось, духи не стремились причинить никому вред, а хотели только немного попугать. Попало лишь одному злополучному кавалеристу, который сопровождал Гаррисона почти во всех походах, а в эту ночь стоял на часах в той самой передней, где, по совету Эверарда, был поставлен сторожевой пост.

Он прицелился из карабина в какое-то существо, которое внезапно появилось перед ним; карабин вышибли у него из рук, а самого свалили с ног прикладом. Его разбитый лоб, да еще мокрая постель Дееборо, на которого во время сна вылили ведро помоев, — вот и все

ощутительные последствия ночных беспорядков.

Мистер Томкинс степенно доложил, что в спальне генерала Гаррисона все было тихо, генерал провел ночь спокойно, хотя все еще находился в каком-то оцепенении и во сне все время сжимал кулаки; из этого Эверард заключил, что заговорщики оставили генерала в покое, решив, что он уже достаточно поплатился вечером.

Затем полковник отправился в спальню, занятую почтенным Десборо и философом Блетсоном. Те уже проснулись и теперь занимались своим туалетом. Первый только рот разевал от изумления и страха.

Стоило Эверарду появиться, как выкупанный в помоях и до смерти перепуганный полковник стал горько жаловаться, что очень плохо провел ночь; он громко роптал на своего влиятельного родственника за то, что тот втянул его в дело, которое причинило ему столько неприятностей.

— Уж не мог его превосходительство, мой родственник Нол, — жаловался он, — бросить своему бедному родичу и зятю подачку где-нибудь в другом месте, а не в этом Вудстоке. Не дом, а сатанинский горшок с кашей. Не под силу мне есть похлебку из одной чашки с чертом,

не под силу... Не мог он выбрать для меня спокойное местечко, а этот чертов замок отдать кому-нибудь из своих попов или проповедников: они знают библию, как список личного состава. А я разбираюсь в ногах чистокровной лошади да в упряжке волов лучше, чем во всяких там книгах Моисеевых. Откажусь я от этого дела, откажусь наотрез; ни за какие блага в мире не стану я больше связываться с дьяволом, не говоря уж о том, чтобы стоять на голове целую ночь или купаться в помоях.

Нет, нет! Не на такого дурака напали!

Блетсон разыграл комедию иного сорта. Лично он ни на что не

мог пожаловаться, наоборот, заявил он, в жизни еще не спал он так сладко; вот только негодяи часовые каждые полчаса поднимали тревогу, стоило лишь кошке пробежать мимо. Лучше бы ему «проспать эту ночь на шабаше у ведьм, если только они существуют», — заключил он.

— Значит, вы не верите в привидения, мистер Блетсон? — спросил Эверард. — Я раньше тоже относился к этому скептически, но, честное слово, сегодня ночью со мной случились довольно странные вещи, — Сны, сны, сны, мой простодушный полковник, — самодовольно ответил Блетсон, хотя побледневшее лицо и дрожащие руки

его доказывали, что храбрость его напускная. — Старик Чосер объяснил истинную причину этих сновидений, сэр. Он частенько бывал в Вудстокском лесу, и там...

— Чейсер? [note](#) 34 —

переспросил Десборо. — Судя по имени, это какой-то охотник. Дух его, что ли, бродит здесь, как дух Герна в Уиндзоре?

— Чосер, мой милый Десборо, — пояснил Блетсон, — как известно полковнику Эверарду, один из тех замечательных людей, которые живут многие века после смерти, чьи слова звучат у нас в ушах, когда их кости давно уже истлели.

— Ладно, ладно, — ответил

Десборо, который ровно ничего не понял из этой характеристики старого поэта, — меня больше интересует его комната, чем его общество; какой-нибудь колдун, бьюсь об заклад. Так что же он говорил про сны?

— Сны — это результат легкого приступа печени; я позволю себе напомнить полковнику Эверарду его стихи, — сказал Блетсон, — для тебя-то, Десборо, это китайская грамота. Старик Джеффри приписывает все ночные кошмары излишку соков:

Из-за него терзают сон людей
То жала стрел, то языки огней.

Коль соки меланхолии в ком
бродят,

Они с собою к спящему
приводят

Медведей черных, и быков
больших,

И прочих — черти пусть
изжарят их.

Пока он декламировал, Эверард заметил, что из-под подушки достопочтенного члена парламента торчит какая-то книжка.

— Это что, Чосер? — спросил он, протягивая руку. — Сейчас я сам прочту это место.

— Чосер? — повторил Блетсон, торопливо преграждая ему путь. —

Нет, нет., это Лукреций, мой любимец Лукреций. Но я не могу вам его показать, я там сделал кое-какие пометки для себя.

Но Эверард уже успел взять книгу в руки.

— Лукреций? — спросил он. — Нет, мистер Блетсон, это не Лукреций, а более достойный спутник в трудную минуту... Тут нечего стыдиться. Только ведь мало положить книгу под подушку, Блетсон, нужно хранить ее в сердце, от этого будет больше толку, чем от Лукреция или Чосера.

— Что это за книга? — забормотал Блетсон, покраснев от стыда. — А, библия, — сказал он,

презрительно отбросив ее в сторону, — одна из книжек моего секретаря Гибеона... Эти евреи ужасно суеверны...

Знаете, еще во времена Ювенала:

Qualiacunque voles Judaei somnia vendunt.

[note 35](#)

Ручаюсь, он подсунул мне это старье как талисман.

Намерения-то у этого дуралея были добрые.

— Вряд ли он положил бы вам Новый завет, да и Ветхий тоже, — заметил Эверард. — Полноте,

Блетсон, не стыдитесь самого благоразумного поступка в вашей жизни. Что же тут плохого, что вы стали искать помощи у библии в трудную минуту?

Самолюбие Блетсона было оскорблено до такой степени, что взяло верх над природной трусостью.

Его тонкие костлявые руки задрожали от обиды, лицо и шея залились краской, голос стал хриплым и гневным, как у, словом, совсем не как у философа.

— Мистер Эверард, — вскричал он, — вы, сэр, человек военный; поэтому, сэр, вы, кажется, считаете себя вправе говорить штатскому человеку все, что вам

заблагорассудится, сэр. Но позвольте вам напомнить, сэр, что есть границы человеческому терпению, сэр, и насмешки, которых ни один уважающий себя человек не простит, сэр... Я требую, чтобы вы извинились за ваши слова, полковник Эверард, и за ваши неуместные шутки, сэр., иначе вы услышите от меня такое, что не обрадуетесь.

Эверард не мог удержаться от улыбки при виде этого приступа храбрости, вызванного оскорбленным самолюбием.

— Послушайте, мистер Блетсон, — сказал он, — я солдат, это правда, но я никогда не отличался кровожадностью, и мне не к лицу,

как христианину, посылать прежде времени еще одного вассала в царство тьмы. Если небо дает вам время для раскаяния, я не вижу, зачем рука моя должна лишать вас этой возможности; если мы будем драться на дуэли, жизнь ваша повиснет на острие моей шпаги или на курке пистолета. Поэтому я предпочитаю извиниться. А мистера Десборо, если он уже пришел в себя, призываю в свидетели, что действительно извинился перед вами за то, что подозревал в вас хоть крупицу благочестия или здравого смысла, когда вы — раб своего тщеславия. И еще прошу простить меня за то, что я зря потратил время,

стараясь отмыть эфиопа добела, а упрямого атеиста убедить вескими доводами.

Блетсон, очень довольный тем, что дело приняло такой оборот — он начал страшиться последствий, едва только вызов сорвался у него с языка, — отвечал подобострастно и с большой готовностью:

— Ладно, ладно, дражайший полковник, не будем больше говорить об этом... Извинения вполне достаточно между порядочными людьми.. Оно не порочит того, кто его принимает, и не унижает того, кто извиняется.

— Надеюсь, в моем извинении не было ничего оскорбительного? —

осведомился полковник.

— Нет, нет... Решительно ничего, — торопливо ответил Блетсон. — Я согласен принять любое извинение. Десборо подтвердит, что вы передо мной извинились, и дело с концом.

— Я рассчитываю, что вы с мистером Десборо будете точно излагать мои слова, когда станете касаться этого дела, — настаивал полковник. — Очень рекомендую вам обоим, если уж придется говорить об этом, ничего не искажать.

— Что вы, что вы, мы вообще об этом не заикнемся, — уверил его Блетсон, — с этой минуты

решительно все забыто. Только уж никогда больше не думайте, что я способен на такую слабость, как суеверие.

Испугайся я в минуту видимой, настоящей опасности.., ну что ж, все мы люди, это естественно.., не стану отрицать, и со мной это может случиться, как со всяким другим. Но если меня считают способным прибегать к заклинаниям, спать с книгой под подушкой, чтобы оградить себя от нечистой силы.., клянусь честью, тут можно поспорить с лучшим другом... Ну, а теперь, полковник, что нам делать, как справиться со своими обязанностями в этом проклятом

месте? Если бы меня так выкупали, как Десборо, я бы умер от простуды, а с него точно с гуся вода.

Вы, как я понимаю, собрат в нашем деле... Как вы думаете, что нам предпринять?

— А вот, кстати, и Гаррисон, — отвечал Эверард. — я сообщу вам всем приказ главнокомандующего; посмотрите, полковник Десборо, он требует, чтобы вы приостановили ваши действия, и соответственно с этим выражает желание, чтобы вы покинули замок.

Десборо ваял бумагу и принялся разглядывать подпись.

— Подпись Нола, совершенно точно, — подтвердил он, разинув рот

от удивления, — только вот в последнее время «Оливер» у него выходит как великан, а за ним ползет «Кромвель», словно карлик, точно фамилия скоро вовсе исчезнет. Но неужто его превосходительство, мой родственник Нол Кромвель, раз у него пока еще есть фамилия, настолько глуп, что воображает, будто его родные и друзья позволяют держать себя вниз головой, пока шея не свихнется, позволяют топить себя в помоях, день и ночь будут возиться с бесами, колдунами и ведьмами — и не получают за это ни пенни отступного? Черта с два (простите мои ругательства), я уж лучше ворочусь к себе на ферму, займусь

скотоводством, чем буду торчать в свите у недостойного человека, пусть я и женился на его сестре. У нее ничего не было за душой, когда мы поженились, хоть Нол теперь и задирает нос.

— Я не намерен затевать споры на этом достопочтенном собрании, — вмешался Блетсон. — Никто не сомневается в моем уважении и привязанности к нашему высокочтимому генералу, который благодаря стечению обстоятельств и своим несравненным личным качествам, таким, например, как храбрость и твердость, поднялся столь высоко в наше тяжелое время... Если бы я назвал его прямой и

непосредственной эманацией Anímus Mundi, совершенным созданием природы, всегда заботящимся о благе отпрысков своих, то и в этом случае не выразил бы полностью своего мнения. Но я заявляю, что не признаю, а только в порядке предположения допускаю возможность существования такой эманации, или испарения, Anímus Mundi, о которой я упомянул... Обращаюсь к вам, полковник Десборо, как к родственнику его превосходительства..., к вам, полковник Эверард, как к человеку, который имеет счастье называться его другом: разве я не доказал, как я ему предан?

Наступила пауза. Эверард только кивнул головой, но Десборо выразил свое одобрение более пространно:

— Ну как же, я могу подтвердить ваши слова.

Я сам видел, как вы с усердием завязывали ему шнурки камзола, чистили плащ, и..., еще что-то такое делали..., и вдруг такая неблагодарность..., считает вас простофилей и отбирает то, что вам уже отдано...

— Да не в том дело, мистер Десборо, — возразил Блетсон, небрежно помахав рукой, — вы меня просто обидели..., да, да, достопочтенный сэр, хоть я и знаю, вы не хотели... Нет, сэр, не личные

выгоды руководили мной, когда я взялся за это поручение. Оно было возложено на меня английским парламентом, именем которого начата эта война, и Государственным советом, охраняющим свободу Англии. Возможность и светлая надежда быть полезным своей стране, доверие, которое я.., и вы, мистер Десборо.., и вы, достойный генерал Гаррисон... Вы, как и я, стоите выше всяких корыстных целей... И вы, достойный полковник Эверард, были бы выше этого, будь вы членом этой комиссии.. Вот я и говорю: надежда послужить своей стране с помощью моих почтенных друзей, всех вообще и каждого в

отдельности..., и вас тоже, полковник Эверард, если предположить, что вы тоже были в их числе..., эта самая надежда побудила меня воспользоваться случаем, когда бы я мог безвозмездно с вашей помощью оказать эту важную услугу нашей матери, английской республике... Вот на это я надеялся..., в это верил..., в этом был убежден. А тут приходит приказ главнокомандующего и лишает нас полномочий Господа, я спрашиваю уважаемое собрание (с должным почтением к его превосходительству), выше ли его полномочия той силы, от которой он сам получил свою власть? Этого никто не станет утверждать. Я

спрашиваю, не уселся ли он на место, с которого мы стащили покойного короля?

Может, у него большая печать, и он имеет право действовать таким образом? У меня нет никаких оснований так думать, поэтому я должен отвергнуть это предположение. Отдаю себя на суд ваш, мои храбрые и достойные коллеги, но, по моему скромному разумению, я сознаю печальную необходимость продолжать деятельность нашей комиссии, как будто ей ничто не мешало; только пусть теперь комиссия по секвестру днем заседает тут же, в Вудстокском замке, но, чтобы успокоить страхи

наших слабодушных братьев, склонных к суевериям, а также для того, чтобы избежать опасности нападения злоумышленников, скрывающихся, я уверен, в этих местах, мы по вечерам будем отправляться в соседний город, в гостиницу святого Георгия.

— Достойный мистер Блетсон, — отвечал полковник Эверард, — не мне спорить с вами, но вы знаете, как наша английская армия и ее командующий поддерживают свой авторитет. Боюсь, что в качестве примечания к этому приказу главнокомандующего из Оксфорда прибудет отряд конницы — проследить за его

выполнением. Распоряжение, насколько мне известно, уже отдано, а вы по опыту знаете, что солдаты пойдут по одному слову своего генерала и против короля и против парламента.

— Это повиновение не слепое, — заговорил Гаррисон, вскочив с места, — ты разве не знаешь, Маркем Эверард, что я шел за человеком по имени Кромвель, как бульдог идет за хозяином?.. Я и дальше готов поступать точно так же... Но я не спаниель, чтобы меня били и вырывали изо рта заработанный корм, и не жалкая дворняжка, которая в награду за службу получает хлыст, да еще

должна спасибо сказать, что шкуру не содрали... Я рассчитал, что мы трое можем честно, и благородно, и с пользой для республики нажить на этой комиссии три, а может, и пять тысяч фунтов. Неужто Кромвель думает, что ему удастся одним окриком заставить меня отказаться от моей доли? Разве человек пойдет воевать, если он сам еще должен приплачивать за это? Кто служит алтарю, должен и жить за счет алтаря. Святым тоже нужны средства на хорошую упряжь и на свежих лошадей, когда они идут защищать правое дело. Неужели Кромвель считает меня ручным тигром точно мне можно бросить жалкий кусок, а

потом в любой момент отнять? Я, конечно, не уступлю. Здешние солдаты почти все из моего полка... Они пребывают в надежде, светильники их зажжены, чресла препоясаны, у каждого оружие на бедре. Они помогут мне отразить в этом замке любую атаку, пусть даже сам Кромвель пожалует сюда! Вот и все! Вот и все!

— А я, — заметил Десборо, — я отправлюсь набирать подкрепление и поддержу ваши аванпосты. Не хочу я запираяться Здесь с гарнизоном.

— А я, — подхватил Блетсон, — сделаю все, что от меня зависит: поспешу в столицу и, доложив обо всем парламенту, выражу там свой

протест.

Эверарда мало тронули все эти угрозы. Опасен был только Гаррисон: при его рвении, упрямстве и авторитете среди других фанатиков это был серьезный противник. Прежде чем начать убеждать упрямого генерал-майора, Эверард попытался умерить его пыл, напомнив про ночной переполох.

— Не говорите мне о нечистых духах, молодой человек, не говорите мне о врагах с того или с этого света. Не я ли рыцарь, которому судьбой назначено сразиться с Великим Драконом, а также со Зверем, выходящим из моря, и победить их? Не я ли буду командиром левого

фланга и двух центральных полков в грядущей битве праведников с несметными легионами Гога и Магога? Говорю тебе, имя мое начертано на поверхности озера огненного, горящего серою. Я буду оборонять Вудсток от людей и от чертей; буду оборонять в поле и в доме, в лесу и на лугу, пока не придет славное царствие святых.

Эверард понял, что пора пустить в ход записку Кромвеля, полученную от главнокомандующего уже после возвращения Уайлдрейка. Содержание записки должно было смягчить недовольство комиссаров.

В ней сообщалось, что причиной роспуска вудстокской

комиссии было стремление убедить парламент, чтобы он поручил генералу Гаррисону, полковнику Десборо и мистеру Блетсону, достойному члену парламента от Литтлфейса, более ответственное дело, а именно — конфискацию королевского замка и парка в Уиндзоре. При этом известии все наостригли уши: хмурые, мрачные и злобные взгляды сменились приятными и радостными улыбками, глаза засверкали, усы затопорщились.

Полковник Десборо признал, что его достойный и несравненный кузен и родственник неспособен на бессердечные поступки; мистер Блетсон заявил, что для государства

Уиндзор второе важнее Вудстока; Гаррисон же без всякого стеснения и колебания воскликнул, что остатки после сбора винограда в Уиндзоре стоят больше, чем весь сбор в Вудстоке. Глаза его так блестели в предвкушении этих земных благ, как будто сбывались его заветные мечты получить свою долю в тысячелетнем царстве. Словом, радость его походила на торжество орла, заполучившего на ужин ягненка; он с наслаждением пожирает его, хоть и видит вдали стотысячное войско, готовое к бою на рассвете, и знает, что его ждет роскошный пир: ему достанутся сердца и кровь храбрецов.

Все заявили, что готовы исполнить волю главнокомандующего, но Блетсон предосторожности ради предложил, а остальные поддержали, на время всем остаться в городе Вудстоке и дожидаться получения новых полномочий для действий в Уиндзоре; по здравом рассуждении решили, что неразумно развязывать старый узел, не завязав нового.

Поэтому все три комиссара лично написали Кромвелю, выразив, каждый по-своему, глубину и высоту, длину и ширину своей привязанности к нему. Каждый высказал решимость беспрекословно подчиниться приказам генерала, но

каждый, будучи глубоко предан парламенту, не знал, как сложить с себя его поручение, а поэтому считал долгом совести остаться в городе Вудстоке, чтобы не создалось впечатление, что он пренебрегает своим делом; он останется там, пока их не призовут выполнять более важное поручение в Уиндзоре, он выражает полную готовность посвятить себя этому делу в соответствии с желанием его превосходительства.

Таков был общий характер их писем; разница была только в свойственных каждому цветистых выражениях. Десборо, например, писал что-то о священной

обязанности всякого заботиться о своих домочадцах только вышло это у него невразумительно. Блетсон написал много длинных и витиеватых фраз. о политическом долге каждого члена обществ, каждого человека, отдавать свое время и таланты на службу отечеству; Гаррисон говорил о бренности всех земных дел по сравнению с грядущим переворотом во вселенной. Но хотя украшения в этих трех посланиях были разные, цель была одна — показать, что они намерены держаться за Вудсток до тех пор, пока не будут твердо уверены, что получили более выгодное поручение.

Эверард тоже написал

Кромвелю письмо с изъяснением глубокой признательности; это письмо, вероятно, не было бы таким сердечным, если бы Эверард знал все то, о чем умолчал его посланец, и догадывался о надеждах, которые питал хитрый генерал, соглашаясь на его просьбу. Эверард сообщил его превосходительству о своем намерении остаться в Вудстоке, отчасти для того, чтобы проверить, как комиссары исполняют приказ, и не заявят ли вновь о своих правах, на которых сейчас не настаивают; кроме того, ему хотелось проследить, чтобы кое-какие таинственные происшествия, случившиеся в замке — их, несомненно, нужно

разъяснить, — не привели к нарушению общественного спокойствия. Он ведь знает (так он выразил свою мысль), что главнокомандующий — сторонник порядка и предпочитает предупреждать смуты и мятежи, чем подавлять их; он убедительно просит генерала положиться на него, так как готов сделать все, что в его силах, на пользу общества; надо заметить, что Эверард не предвидел, как можно истолковать это заявление, изложенное довольно неопределенно.

Все эти письма были запечатаны в один пакет и отправлены со специальным курьером в Уиндзор.

Глава XVII

*Мы, рвеньем
ослепленные, свершаем
Дела, что нас самих
потом страшат.*

*Неизвестный
автор*

Комиссары готовились перебраться из замка в гостиницу в городе Вудстоке; как всегда бывает у важных особ, а тем более у тех, кто не совсем привык к такой роли, их сборы сопровождались шумом и суетой; тем временем у Эверарда произошел разговор с

пресвитерианским священником, мистером Холдинафом.

Пастор вышел из спальни, где он ночевал, как бы бросив вызов тем чертям, из-за которых в замке был ночной переполох; судя по его побледневшим щекам и угнетенному виду, он провел ночь не лучше, чем другие обитатели замка. На предложение Эверарда добыть достойному джентльмену чего-нибудь перекусить тот ответил:

— Сегодня я не приму иной пищи, кроме той, которой хватит, чтобы поддерживать существование: ведь в писании сказано, что хлеб насущный нам будет дан, равно как и вода. Я пощусь не так, как паписты,

которые считают пост одной из своих добродетелей — этих скопищ мерзостной чепухи. Я пощусь, ибо не хочу, чтобы яства туманили нынче мой рассудок и лишали искренности и чистоты мою благодарность небу за чудесное спасение.

— Мистер Холдинаф, — сказал Эверард, — я знаю, вы человек достойный и мужественный, я видел, как вы вчера ринулись исполнять свой священный долг, когда солдаты, даже испытанные в боях, изрядно оробели.

— Слишком уж я храбрый, слишком рьяный, — отвечал Холдинаф; от его отваги, казалось, не осталось и следа. — Все мы слабые

существа, мистер Эверард, и чем сильнее мы себя считаем, тем слабее мы на самом деле... Полковник Эверард, — продолжал он; помолчав, как будто выдавливая из себя признание, — я видел такое, что по гроб жизни не забуду!

— Вы меня удивляете, достойный сэр, — отвечал Эверард, — прошу вас, говорите яснее. Я уже слышал много рассказов об этой безумной ночи, да и сам видел странные вещи, но мне хотелось бы знать, что вас так встревожило.

— Сэр, — начал священник, — вы человек осторожный, и я могу говорить с вами откровенно, не

опасаясь, что все эти еретики, раскольники, браунисты магглтонианцы, анабаптисты и прочие сектанты получают повод торжествовать, радуясь моему посрамлению; вы ведь преданный сын нашей церкви, вы присягали в верности Национальной лиге и Ковенанту.

Давайте присядем, я попрошу принести стакан воды; чувствую, что ослабел телом, хотя, слава господу, ум мой настолько тверд и спокоен, насколько это возможно для простого смертного после такого зрелища.

Говорят, достойный полковник, подобные видения предвещают

близкую смерть. Не знаю, правда ли это, но если так, я покину этот мир, как утомленный часовой, которого командир освободил от караула? радостно мне будет не видеть ослабевшим взором этот мир, не слушать глохнущими ушами лягушачье кваканье антипомистов, пелагиан, социниан, арминиан, ариан и безбожников, которые наводнили нашу страну, как мерзкие гады — жилище фараона.

В эту минуту вошел слуга с чашкой воды; он в ошоломлении уставился на пастора, словно стремился понять его трагическое положение; выходя из комнаты, он покачал своей пустой башкой с

таким видом, как будто понял, что дело неладно, хоть и не разобрался, в чем тут суть.

Полковник Эверард предложил достойному пастору подкрепиться чем-нибудь более существенным, но тот отказался.

— Я ведь до некоторой степени воин, — отвечал он, — хоть и потерпел поражение в последнем бою с врагом, но не потерял трубы, чтобы трубить тревогу, и острого меча, чтобы поразить неприятеля в следующей схватке; поэтому, подобно древним назареем, я не вкушу ни сока виноградного, ни вина и никаких крепких напитков, пока не минуют дни сражений.

Мягко, но настойчиво полковник снова стал убеждать мистера Холдинафа рассказать, что с ним случилось ночью. Пастор начал свой рассказ слегка самоуверенным тоном', естественным для проповедника, который умеет влиять на умы людей.

— В юности я учился в Кембриджском университете, — начал он, — и подружился там с одним студентом. Может быть, мы сблизились потому, что нас считали (впрочем, с моей стороны нехорошо упоминать об этом) подающими большие надежды студентами нашего колледжа; усердие наше было одинаково, и трудно было сказать,

который из нас больше успевал в науках. Только наш наставник, мистер Пьюрфой, говорил, что товарищ мой способнее меня, зато мне ниспослано больше благодати; мой друг увлекся изучением нечестивых классиков, что бесполезно само по себе, да и к тому же нередко вводит в соблазн и побуждает к безнравственности; меня же осенила благодать божья заниматься священными языками.

Мы расходились также и в отношении к англиканской церкви — он поддерживал арминиан, Лода и всех тех, кто стремится соединить духовное со светским, отдать церковь во власть суетного человека; словом,

он поддерживал претатистов — как догматы их, так и обряды. Мы расстались в слезах, и пути наши совершенно разошлись: он получил прибыльное место и в своих сочинениях стал ревностно защищать епископов и королевский двор; я, как вам хорошо известно, тоже очинил свое перо и в меру своих скромных сил встал на сторону бедных и угнетенных, тех, кто, внимая голосу совести, отверг ритуалы и обряды, более подходящие для папистской, чем для протестантской церкви. Эти ритуалы принудительно насаждались ослепленным двором. Потом началась гражданская война, и я, по зову совести, не предвидя и не

опасаясь тяжких последствий восстания этих индепендентов, решил помочь великому делу духовной поддержкой и трудом своим; так я стал капелланом в полку полковника Гаррисона. Правда, я никогда не пускал в ход оружия, поражающего плоть человеческую, — от этого избави бог всякого священнослужителя, — но я проповедовал, убеждал, в случае нужды становился хирургом, неся исцеление и телу и душе. Однажды в конце войны отряд роялистов засел в укрепленном замке в графстве Шрусбери; замок был расположен на островке посредине озера, добраться до него можно было только по узкой

дамбе.

Отсюда роялисты делали набеги на окрестные селения и опустошали их; надо было их усмирить, вот и послали отряд из нашего полка; меня также попросили пойти с отрядом — солдат послали не так уж много, а замок был сильно укреплен. Тут наш полковник и рассудил, что мои увещания вдохнут в воинов храбрость. Таким образом, против своего обыкновения, я отправился в поход и последовал даже на поле боя. Обе стороны храбро сражались, но мятежники благодаря крепостным орудиям имели перед нами преимущество. Когда ворота были разбиты нашим пушечным залпом,

полковник Гаррисон приказал солдатам наступать по дамбе и взять замок штурмом.

Наши люди вели себя храбро, наступали в образцовом порядке, но мятежники встретили их ураганным огнем со всех сторон, строй смешался, наши стали отступать с большими потерями. Сам Гаррисон храбро прикрывал отступление, по мере сил защищая своих солдат, но враг предпринял вылазку, начал преследовать наших и разил их почем зря. Должен вам сказать, полковник Эверард, что нрав у меня от природы горячий; теперь вы видите, что я сдержан и терпелив, — это под влиянием учения более

высокого, чем Ветхий завет. Я не мог видеть, как паши израильтяне бегут от филистимлян, и кинулся на дамбу с библией в одной руке и с алебардой в другой (алебарду я подобрал по дороге). Я загородил дорогу отступавшим и убеждал их вернуться, грозил изрубить тех, кто сделает шаг назад. Я указывал им на священника в сутане (так это у них называется): он бежал впереди вместе с мятежниками; я спрашивал наших солдат, неужели они не сделают по зову истинного служителя неба то, что нечестивцы делают для жреца Ваала, Мои увещания и несколько ударов сделали свое дело, солдаты повернули

обратно и с криком: «Погибни, Ваал и его служители!» так внезапно атаковали мятежников, что не только отбросили их в беспорядке назад в замок, но и ворвались туда, как говорится, на их плечах. Я тоже оказался в замке, меня увлек общий поток, да и сам я хотел убедить наших солдат быть помягше, а то они совсем расшвыряли; сердце мое обливалось кровью, когда я видел, как братьев во Христе, да еще англичан, разят саблями и прикладами, точно дворняжек во время облавы на бешеных собак. Так добрались мы до крыши самой высокой башни; солдаты в ярости разили все кругом, а я взывал к

милосердию. Часть крыши была выстлана свинцом — туда-то и отступили, как в последнее убежище, уцелевшие роялисты. Меня по винтовой лестнице втолкнули на крышу наши солдаты — они ринулись на добычу, точно гончие, а когда я выбрался наверх, то увидел ужасное зрелище.

Осажденные рассыпались по площадке — кто защищался с исступленным отчаянием, кто опустился на колени и молил о пощаде таким голосом, что у меня сердце разрывается, как вспомню об этом, кто взывал к милосердию божьему — и пора было: люди всякое милосердие потеряли. Осажденных

рубили саблями, били прикладами, сбрасывали с башни в озеро; дикие крики победителей, стоны и вопли побежденных — все сливалось в такой ужасающий шум, что только смерть может вырвать его у меня из памяти.

Люди зверски убивали себе подобных, а ведь нападавшие были не язычниками из далеких диких стран и не разбойниками — отбросами и подонками нашего народа. В хладнокровном состоянии это были люди здравомыслящие, даже верующие, пользовавшиеся доброй славой на земле и благосклонностью небес... Ох, мистер Эверард, страшное ремесло у

вас, у военных! Избегать его следует и страшиться! Люди становятся волками и набрасываются на себе подобных.

— Это суровая необходимость, — заметил полковник Эверард, опустив глаза, — вот все, что можно сказать в их оправдание... Но продолжайте, достойный сэр Я не понимаю, при чем тут этот штурм, ведь мы говорили о событиях минувшей ночи. Во время войны много бывало таких приступов с обеих сторон.

— Сейчас вы все услышите, — сказал мистер Холдинаф, немного помедлив, как будто хотел успокоиться прежде чем продолжать

рассказ, который его сильно волновал. — В этой адской сумятице, — продолжал он, — ибо никто на свете так не напоминает обитателей ада, как люди, коварно нападающие на своих ближних, в этой сумятице я заметил того самого священника, которого видел на дамбе: его загнали в угол вместе с несколькими мятежниками. Они потеряли всякую надежду на спасение и решили стоять насмерть... Тут я его увидел.., узнал... О, полковник Эверард!..

Он громко зарыдал, схватил Эверарда за руку левой рукой, а правой прикрыл лоб и глаза.

— Это был ваш

университетский товарищ? — спросил Эверард, предчувствуя трагический конец.

— Мой старый, мой единственный друг... С ним я провел счастливые дни моей юности... Я кинулся вперед., боролся, умолял., но у меня не хватило ни голоса, ни нужных слов., все они потонули в диком реве: «Погибни, жрец Ваала... Убить Мафана, убить, находишься он даже в алтаре!» И ведь я же сам это провозгласил!.. Я видел, как его загнали на зубчатую стену, но он искал спасения и ухватился за дождевой желоб. Тогда солдаты стали бить его по рукам. А потом я слышал, как он рухнул в бездонную пропасть.

Простите... Я не в силах
продолжать.

— Но, может быть, он спасся?

— Ох, нет, нет, нет... Башня
была высотой в четыре этажа.
Многие бросались в озеро из нижних
окон, чтобы спастись вплавь, но и
они все погибли.

Наши всадники озверели, как и
те, кто пошел на Приступ: они
скакали вдоль берега озера и
стреляли во всякого, кто пытался
уплыть, рубили тех, кто выбирался на
берег. Всех зарубили.., уничтожили...
Упокой, господи, тех, чья кровь была
пролита в тот день...

Да примет ее земля в свои
недра! Пусть пролитая кровь навеки

смешается с черными водами
озерами пусть не вызывает к
отмщению тем, чей гнев был неистов
и кто убивал в исступлении своем! О
боже! Да простится тому заблудшему,
который пришел на их совет и
возвысил голос свой в пользу
жестокой расправы... О Олбени, брат
мой, брат мой... Я скорблю по тебе,
как Давид по Ионафану!

Достойный пастор громко
рыдал, а полковник Эверард
проникся таким сочувствием к его
горю, что не стал тревожить его
расспросами, пока не стих порыв
глубокого раскаяния. Порыв был
сильный и страстный, может быть,
потому, что человеку с таким

суровым и аскетическим характером непривычно было предаваться пылким чувствам; его душевное волнение перешло всякие границы. Крупные слезы катились по худому, обычно угрюмому лицу. Эверард пожал пастору руку; тот ответил на пожатие, словно благодаря за это выражение сочувствия.

Немного спустя мистер Холдинаф отер глаза, высвободил свою руку из руки Эверарда, слегка пожав ее, и продолжал более спокойным тоном:

— Простите мне этот порыв безудержного горя, достойный полковник. Я понимаю, не к лицу человеку в моем облачении, который

должен утешать других, предаваться такому отчаянию — это по меньшей мере слабость, а то и грех; кто мы такие, чтобы плакать и роптать на то, что допустил господь бог?.. Но Олбени был мне как брат. С ним провел я счастливейшие дни моей жизни, до той поры, когда долг призвал меня вмешаться в эти раздоры.., но я постараюсь рассказывать покороче. — Тут он придвинул свой стул поближе к Эверарду и с таинственным и значительным видом прошептал:

— Я видел его прошлой ночью.

— Видели его? Кого? — спросил

Эверард. — Неужели того, кто...

— Кто был зверски убит на

глазах моих, — сказал священник, — моего старого университетского друга, Джозефа Олбени.

— Мистер Холдинаф, ваш сан и облачение должны удержать вас, от шуток подобного рода, — Шутки — воскликнул Холдинаф. — Я скорее бы отважился шутить на смертном одре своем., скорее стал бы насмехаться над библией.

— Но вы, несомненно, ошиблись, — торопливо сказал Эверард, — эта трагическая сцена, наверно, часто всплывала у вас в памяти, а в минуту, когда воображение берет верх над рассудком, фантазия разыгрывается и показывает нам странные картины.

Это вполне возможно: когда ум возбужден сверхъестественным зрелищем, в воображении обязательно возникает какая-нибудь химера, а взбудораженные чувства мешают ее рассеять.

— Полковник Эверард, — сурово возразил Холдинаф, — выполняя свой долг, я привык говорить людям правду в глаза; скажу вам откровенно (я вам раньше говорил, но более осторожно), у вас есть склонность примешивать мирские знания и оценки к исследованию таинственных сил потустороннего мира; это так же бессмысленно, как вычерпывать пригоршней воду из Айсиса. В этом

ваше заблуждение, дорогой сэр, и оно дает, людям много поводов смешивать ваше почтенное имя с именами тех, кто защищает колдунов, вольнодумцев, атеистов и даже таких людей, как Блетсон. Если бы правила нашей церкви свято исполнялись, как было в начале этого великого раздора, его бы давно отлучили и подвергли телесному наказанию, чтобы спасти его душу, пока еще не поздно.

— Вы ошибаетесь, мистер Холдинаф, — сказал полковник Эверард, — я не отрицаю сверхъестественных явлений, не могу я, да и не осмеливаюсь, поднимать голос против свидетельства многих

веков, подтвержденного такими учеными мужами, как вы. Я допускаю возможность подобных явлений, но должен сказать, что в наши дни не слыхал ни об одном факте, который был бы так достоверен, чтобы можно было точно и определенно сказать: «Тут замешаны Сверхъестественные силы, не иначе».

— Тогда слушайте, что я, вам поведаю, — сказал богослов, — даю слово человека, христианина и, более того, служителя нашей святой церкви, хоть, и, недостойного, но учителя и пастыря христианских душ.

Вчера я поместился в

полупустой комнате с таким огромным зеркалом, что Голиаф из Гефа мог бы свободно осматривать себя с головы до ног в медных доспехах. Я нарочно выбрал эту комнату: мне сказали, что она ближе всего к галерее, где, говорят, на вас самого напал вчера дьявол... Так это, разрешите спросить?

— На меня действительно напал там какой-то злоумышленник, — ответил полковник Эверард, — это вам верно сказали.

— Вот я и избрал себе позицию получше, подобно отважному генералу, который раскидывает лагерь и роет окопы как можно ближе к осажденному городу.

Правду вам скажу, полковник Эверард, я почувствовал страх; ведь даже Илия и другие пророки, повелевавшие стихиями, страдали некоторыми недостатками, присущими нашей бренной природе; что же говорить о таком ничтожном грешнике, как я... Но я не терял веры и мужества, я припоминал тексты из священного писания, которые могли пригодиться не в качестве заговоров и талисманов, как у ослепленных папистов — у них ведь много всяких бесполезных знаков вроде крестного знамения; для меня же это было подкрепление и поддержка, которой, как щитом, вооружает человека истинная вера, и упование на

божественное провидение, чтобы отвратить и одолеть огненные стрелы сатаны; вооружился я и подготовился таким образом, сел и стал читать и писать, чтобы направить свои мысли в русло, подходящее к тому положению, в котором я оказался; я стремился не дать разыгаться страху, порожденному праздным воображением. Поэтому я обдумал и стал излагать на бумаге то, что считал полезным для нашего времени; может быть, какая-нибудь жаждающая душа и воспользуется плодами того, что я тогда сочинил.

— Вы поступили правильно и мудро, достойный и благочестивый сэр, — заметил полковник

Эверард. — Продолжайте, прошу вас.

— Так я предавался своим занятиям часа три подряд, борясь с усталостью, но вдруг мной овладел странный трепет, мне почудилось, что огромная старинная комната стала еще обширнее, мрачнее, еще более похожей на пещеру; ночной воздух стал сырой и холодный — может быть, оттого, что огонь в камине начал угасать, а может быть, перед тем, что мне предстояло увидеть, всегда происходит что-то таинственное и создается атмосфера ужаса. И, как говорит Иов в известном изречении, «трепет объял меня, кости мои задрожали от страха». В ушах у меня зазвенело,

голова закружилась, я походил на тех, кто взывает о помощи, когда вокруг нет никакой опасности, и хотел бежать, когда никто меня не преследовал. Именно в этот момент что-то промелькнуло позади меня и отразилось в большом зеркале, перед которым я поставил свой письменный стол; оно было освещено большой свечой, стоявшей на столе. Я поднял глаза и ясно увидел в зеркале человеческую фигуру... Клянусь, я не ошибся: это был не кто иной, как Джозеф Олбени, друг моей юности, тот самый, которого на моих глазах сбросили с башни замка Клайдстру в пучину озера.

— И что же вы сделали?

— Тут мне вдруг пришло на память, — ответил богослов, — как философ-стоик Афенодор избавился от чувства ужаса при виде призрака — он терпеливо продолжал свои занятия. Вот меня и осенила мысль, что я, христианский богослов, хранитель таинства, должен еще меньше страшиться зла, и я могу найти гораздо лучшее применение своим мыслям, чем язычник, ослепленный своей мнимой мудростью. Поэтому я не проявил никакого беспокойства, даже не повернул головы. И продолжал писать, но, признаюсь, сердце у меня колотилось и руки дрожали.

— Если вы вообще могли писать при таком волнении, — заметил полковник, — за подобное бесстрашие и твердость вас можно поставить во главе английской армии.

— Дружество не наша заслуга, полковник, — возразил богослов, — и здесь нечем хвалиться. И опять же: если вы считаете этот призрак плодом моего воображения, а не действительностью, представшей моему взору, позвольте еще раз сказать вам: ваша мирская мудрость приводит только к неразумным выводам относительно сверхъестественных явлений.

— А второй раз вы не взглянули

в зеркало? — спросил полковник.

— Взглянул, после того как написал на бумаге душеспасительное изречение: «Ты затопчешь сатану стопами своими».

— И что же вы увидели?

— Того же самого Джозефа Олбени, — ответил Холдинаф, — он медленно проходил позади моего кресла: та же фигура, то же лицо, хорошо мне знакомое с юных лет, только очень бледное, на щеках морщины — он ведь погиб в преклонном возрасте.

— И что же вы тогда сделали?

— Я обернулся назад и совершенно ясно увидел, как фигура, отражавшаяся в зеркале, стала

удаляться по направлению к двери, не быстро и не медленно, а мерной поступью, едва касаясь пола; на пороге она остановилась и, прежде чем исчезнуть, повернула ко мне мертвенно-бледное лицо. Как она вышла, в дверь или иначе, я не заметил, так я был взволнован, и сейчас никак не могу вспомнить, сколько ни напрягаю память.

— Очень странное видение, но в достоверности ваших слов сомнений быть не может, — ответил Эверард. — Однако ж, мистер Холдинаф, если даже тут действительно не обошлось без потустороннего мира, как вы предполагаете, а я не намерен это

оспаривать, уверяю вас, проделки подобного рода не обходятся без участия дурных людей. Призраки, с которыми я встречался, обладали земной человеческой силой, да и оружие у них было, безусловно, настоящее.

— О, без сомнения, без сомнения, — согласился мистер Холдинаф. — Вельзевул любит атаковать и конным и пешим строем, как старый шотландский генерал Дэви Лесли. У Вельзевула есть черти телесные и бестелесные, он заставляет их помогать друг другу.

— Все может быть, достойный сэр, — ответил полковник, — ну, а что же вы посоветуете делать в этом

случае?

— Мне нужно посоветаться с моими братьями, — отвечал богослов. — Если у нас в округе осталось хоть пять человек истинных служителей церкви, мы, как один, пойдем на сатану, и вы увидите, хватит ли у нас сил бороться и обратить его в бегство. Но если не соберется отряд воинов божьих, чтобы победить таинственных пришельцев из преисподней, то, по моему мнению, нужно предать огню этот вертеп колдовства и мерзости, это скверное гнездо древней тирании и распутства, чтобы дьявол не превратил его в удобное логово, откуда, как из крепости, он сможет

делать вылазки по всей округе. Я, разумеется, не посоветую ни одной христианской душе жить в этом доме; если же оставить его необитаемым, он станет местом сборища колдунов и ведьм, которые будут справлять здесь свой шабаш; сюда потянет и тех, кто, подобно Димасу, в погоне за благами земными старается добыть золото и серебро при помощи ворожбы и заклинаний и доводит до гибели души стяжателей. Поверьте мне, лучше всего снести это гнездо до основания, чтобы здесь камня на камне не осталось.

— Это невозможно, мой добрый друг, — возразил полковник, —

главнокомандующий лично разрешил брату моей матери, сэру Генри Ли, и его семейству вернуться в дом их предков; только под этой крышей старик и может приклонить свою седую голову.

— Это что же, сделано по вашему совету, Маркем Эверард? — сурово спросил богослов.

— Конечно, — ответил полковник, — а почему бы мне не воспользоваться своим влиянием и не добиться, чтобы у родного дяди было убежище?

— Клянусь твоей душой, — вскричал пресвитерианин, — скажи мне это кто-нибудь другой, я бы не поверил! Отвечай-ка мне, не тот ли

это самый сэр Генри Ли, который со своими буйволовыми кафтанами и зелеными куртками по предписанию паписта Лода силой перетащил алтарь в восточный конец Вудстокской церкви?.. И не он ли клялся своей бородой, что повесит тут же, на улице Вудстока, всякого, кто откажется выпить за здоровье короля?.. И не его ли руки обагрены кровью защитников веры? И есть ли еще более отъявленный, наглый задира среди тех, кто сражается за епископов и за королевскую власть?

— Может, все это и так, достойный мистер Холдинаф, — отвечал полковник, — но дядя мой теперь стар и немощен, — у него

остался только один слуга, а дочь его — такое существо, что ее вид до слез растрогает самого сурового человека, такое существо, которое...

— Которое, — прервал его Холдинаф, — для Маркема Эверарда дороже доброго имени, верности единомышленникам и религии. Теперь не время говорить обиняками. Вы встали на опасный путь. Вы стремитесь возродить папистский светильник, опрокинутый божьим гневом, вернуть в это обиталище нечистой силы тех самых грешников, которые осквернены колдовством. Я не допущу, чтобы они своим дьявольским нашествием приносили вред нашей округе. Они сюда не

воротятся.

Эти слова он произнес запальчиво, стукнув тростью об пол; полковник же в крайнем раздражении заговорил довольно высокомерно.

— Вы бы лучше сначала рассчитали свои силы, мистер Холдинаф, прежде чем так опрометчиво угрожать, — сказал он.

— А разве мне не дана власть вязать и разрешать? — возразил священник.

— От этой власти мало толку, ей подчиняются разве только прихожане вашей церкви, — почти презрительно возразил Эверард.

— Осторожно, осторожно, —

сказал богослов; он, как мы уже убедились, был человек добрый, но вспыльчивый, — не оскорбляйте меня. Уважайте посланца ради того, чью волю он выполняет. Прошу вас, не доводите меня до крайности. Говорю вам, я намерен исполнить свой долг, я поступил бы так, даже если бы от этого пострадал мой родной брат.

— Не понимаю, какой долг заставляет вас вмешиваться в здешние дела, — ответил полковник Эверард, — и предупреждаю вас — не суйтесь куда не надо.

— Прекрасно! Вы уже приказываете мне, как будто я ваш гренадер! — вскричал священник;

худощавое лицо его задргалось от негодования, седые волосы вздыбились. — Но знайте, сэр, я не так бессилён, как вы думаете. Я призову каждого истинного христианина в Вудстоке собрать всю свою решимость и воспротивиться возрождению прелатизма, угнетения и смут в нашей округе. Я пробужу гнев праведников против притеснителя..., измаилита..., эдомитянина... против всего племени его, против тех, кто его поддерживает и подстрекает. Я буду взывать во весь голос, никого не пощажу, подыму даже тех, в ком остыл небесный огонь, даже тех, кто ко всему равнодушен. Здесь остались

еще люди, которые послушают меня; тогда я возьму тот посох Иосифа, что был в руках Эфраима, и очищу этот замок от ведьм и колдунов, от злых чар; я закричу: «Неужели вы хотите стоять за Ваала? Неужели вы хотите ему служить? Уничтожайте жрецов Ваала, пусть ни один не скроется!»

— Мистер Холдинаф! Мистер Холдинаф! — в раздражении вскричал полковник Эверард. — Судя по той истории, которую вы мне сами рассказали, вы и так уж слишком рьяно к этому призывали.

Услышав эти слова, старик хлопнул себя рукой по лбу и упал в кресло, как будто полковник прострелил ему голову из пистолета.

Эверард тут же раскаялся в том, что у него в запальчивости сорвался с уст этот упрек; он поспешил извиниться, безуспешно применяя все средства, какие пришли ему в ту минуту на ум, чтобы помириться с пастором. Но старик был слишком уязвлен, он не брал протянутой руки и отказывался выслушать Эверарда. Наконец он приподнялся и твердо проговорил:

— Вы обманули мое доверие, сэр., недостойно обманули., обратили его против меня же. Вы не посмели бы так поступить, если бы я носил оружие...

Наслаждайтесь вашей победой, сэр, победой над стариком, над другом вашего отца... Терзайте раны,

которые обнажила перед вами моя безрассудная доверчивость.

— Достойный и уважаемый друг мой... — начал полковник.

— Друг! — вскричал старик, отпрянув назад. — Мы враги, сэр, отныне и навеки!

С этими словами он вскочил с кресла, где скорее лежал, чем сидел, и выбежал из комнаты так стремительно, как случилось с ним в минуты раздражения: вид у него был суетливый, он потерял всякое достоинство, бормотал что-то на бегу, как будто стремился подогреть свой гнев, беспрестанно повторяя, какая обида ему нанесена.

«Ну вот, — сказал себе

полковник Эверард, — мало еще вражды между дядей и жителями Вудстока, так нужно было мне подогреть ее, распалять этого раздражительного и несдержанного старика; знал ведь я, как он увлекается своими идеями о церковной иерархии и как непреклонен ко всем тем, кто с ним не согласен! Вудстокскую чернь, конечно, легко подстрекнуть к бунту. На честное и правое дело он не поднял бы и двадцати человек во всем городе, но стоит ему призвать к убийству и грабежу, ручаюсь, у него найдется достаточно последователей. Дядя тоже запальчив и упрям. Он скорее пожертвует всем, что у него

есть, но ни за что не пустит к себе в дом даже двух десятков солдат для охраны. А напади кто-нибудь на замок, он будет отстреливаться с одним только Джослайном, как будто командует гарнизоном в сто человек; и что из этого получится, как не кровопролитие?»

Эти невеселые мысли были прерваны возвращением мистера Холдинафа; он вбежал в комнату так же стремительно, как и выбежал, направился прямо к полковнику и сказал:

— Примите мою руку, Маркем, примите поскорее, старик Адам уже нашептывает мне, что унизительно так долго держать ее протянутой.

— От всей души жму руку вашу, мой почтенный друг, — вскричал Эверард, — верю, что это знак восстановленной дружбы.

— Конечно, конечно, — ответил богослов, сердечно пожимая ему руку, — ты, правда, наговорил мне много горького, но в этом была и доля истины; думаю, что слова твои, хоть и резкие, были сказаны из добрых побуждений. Правда твоя, я бы опять согрешил, если бы в запальчивости стал подстрекать к насилию, памятуя то, в чем ты меня упрекнул...

— Простите меня, достойный мистер Холдинаф, — сказал полковник Эверард, — я

погорячился, я ведь совсем не хотел вас укорять.

— Полно вам, полно, — вскричал богослов, — говорю вам, вы упрекнули меня вполне справедливо...

Но у старика тут же желчь разлилась... Ведь соблазнитель, что таится внутри нас, всегда норовит поймать человека на приманку; я вспылil, а мне следовало принять ваш упрек как добрый совет: таковы раны, нанесенные верным другом. Я раз уже вовлек людей в кровавую бойню, своим злосчастливым призывом отправил столько живых к мертвецам и, боюсь, даже вызвал мертвецов к живым. Теперь я должен

проповедовать мир и доброжелательность; наказует же пусть всевышний, ведь это его законы попираются; возмездие тому, кто сказал «Аз воздам».

Огорченное лицо старика просветлело от искреннего смирения, когда он изливал свою душу; полковник Эверард, знавший недостатки его характера и предрассудки, связанные с религиозными и общественными разногласиями, понял, чего тому стоила эта искренность, и поспешил выразить свое восхищение его христианской добродетелью, в душе упрекая себя за то, что так глубоко оскорбил чувства старика.

— Не вспоминайте, не вспоминайте об этом, достойный юноша, — настаивал Холдинаф, — мы оба были не правы; я в рвении своем забыл о милосердии, а вы, пожалуй, были слишком уж требовательны к старому брюзге, который только что излил страждущую душу на груди друга своего. Предадим все забвению! Пусть ваши друзья вернутся сюда, когда захотят, если только их не отпугнет то, что творится в Вудстокском замке. Коли они сумеют оградить себя от потусторонних сил, верьте, я сделаю все, что в моей власти, чтобы защитить их от врагов земных; уверяю вас, достойный сэр,

к моему голосу еще прислушивается и уважаемый мэр, и почтенные олдермены, и именитые жители нашего города, хоть низшие классы и увлекаются теперь всякими новомодными учениями. Будьте также уверены, полковник, если брат вашей матушки или кто-нибудь из членов его семьи убедятся в том, что совершил опрометчивый поступок, вернувшись в этот злосчастный, нечестивый дом, если они почувствуют в душе угрызения совести и испытают нужду в духовном отце, Ниимайя Холдинаф и днем и ночью будет к их услугам, как будто они воспитаны в лоне той святой церкви, которой он является

недостойным служителем; ничто не помешает мне сделать все, что в моих слабых силах, для их защиты и наставления: ни таинственные дела, которые творятся в этих стенах, ни заблуждения этого семейства, ослепленного воспитанием в духе прелатистских воззрений.

— Я чувствую всю глубину вашей доброты, достойный сэр, — отвечал полковник Эверард, — но не думаю, чтобы мой дядя стал утруждать вас такими просьбами. От земных опасностей он привык защищаться сам, а что до религиозных воззрений, то он уповает на свои молитвы и на молитвы его собственной церкви.

— Надеюсь, я не был слишком навязчив, когда предлагал свою помощь, — сказал старик, несколько уязвленный тем, что его духовная поддержка могла показаться назойливой, — если так, прошу простить меня, покорнейше прошу простить... Я не хочу, чтобы меня считали навязчивым.

Полковник поспешил предотвратить новую вспышку гнева; он знал, что у этого почтенного человека было только два недостатка — подозрительность ко всему, что могло унижить его достоинство, и природная горячность, которую он не всегда мог сдержать.

Дружеские отношения были

полностью восстановлены, когда Роджер Уайлдрейк вернулся из хижины Джослайна и шепнул на ухо своему патрону, что успешно выполнил его поручение. Тогда полковник обратился к богослову и сообщил ему, что комиссары уже покинули Вудсток, а дядя его, сэр Генри Ли, намерен к полудню возвратиться в замок; сам же он, если его преподобие ничего не имеет против, будет сопровождать его в город.

— Разве вы не останетесь здесь, — спросил достойный пастор опасливо и слегка недоверчиво, — чтобы поздравить ваших родственников с возвращением в

родной дом?

— Нет, мой дорогой друг, — ответил полковник Эверард, — в этих злосчастных раздорах я принял на себя такую роль, что дядюшка решительно настроен против меня; может быть, тут имела влияние и вера, в которой я был воспитан; мне придется, по крайней мере на время, стать чужим для его дома и семьи.

— Вот как! От всей души рад это слышать! — вскричал богослов. — Извините мою откровенность, я поистине очень рад, я подумал было.., неважно, что я подумал.., не хочу снова сердить вас. Однако, хоть девица и весьма милостива, а старик как человек

безупречен — это все говорят, все же... Но я вас опять огорчаю... Нет, нет.., больше я не скажу ни слова до тех пор, пока вы сами не попросите моего доброго и беспристрастного совета; вы получите этот совет, но сам я не стану вам его навязывать. Ну, так идем вместе в город... Приятное уединение в лесу может расположить к тому, чтобы открыть друг другу сердца наши.

Они вместе отправились в городок. К удивлению мистера Холдинафа, полковник говорил с ним на разные темы, но не попросил у него совета, как вернуть любовь прелестной кузины. Пастор же, против ожидания полковника,

сдержал слово и, как он сам заявил, не стал навязываться и давать непрошенные советы в таком щекотливом деле.

Глава XVIII

*Здесь гарний нет —
должно быть, улетели.*

*Но как они
запакостили все!*

*Придется нам убрать
помет их гнусный.*

«Агамемнон»

Миссия Уайлдрейка увенчалась успехом главным образом благодаря содействию епископального богослова, которого мы видели в роли капеллана семейства Ли, — он уже не раз оказывал большое влияние на старого баронета.

Незадолго до полудня сэр Генри Ли со своей немногочисленной свитой снова безраздельно воцарился в древних покоях Вудстокского замка; Джослайн Джолиф, Фиби и старуха Джоун принялись наводить порядок среди разгрома, учиненного незваными гостями.

Как и все знатные люди того времени, сэр Генри Ли был до крайности щепетилен в вопросах чистоты и порядка; он чувствовал себя как светская дама, у которой в большом обществе случилось что-то неладное с туалетом, он был оскорблен и унижен хаосом, царившим у него в доме, и не мог дожидаться, пока все не будет очищено

от следов вторжения. В гневном нетерпении он отдавал столько приказаний, что их не успевала исполнять его немногочисленная прислуга.

— Эти негодяи оставили после себя такую серную вонь, — горячился старый баронет, — как будто здесь стоял старик Дэви Лесли со всей шотландской армией.

— Да уж, вряд ли было бы хуже, — согласился Джослайн, — люди утверждают, что к ним спустился дьявол в образе человеческом и заставил их убраться вон.

— В таком случае, — сказал старый баронет, — владыка

преисподней — настоящий джентльмен, как говорит старик Уил Шекспир. Он никогда не беспокоит людей своего круга — семейство Ли живет здесь пять веков из поколения в поколение, и ни разу дьявол нас не потревожил, а только поселились эти приبلудные хамы — он уже тут как тут.

— Ну, по крайней мере дьявол и его приятели оставили нам и кое-что такое, за что можно спасибо сказать, — продолжал Джолиф. — Давно уже кладовые и погреба Вудстокского замка не были так набиты провизией: бараньи туши, здоровые окорока, бочонки со сладостями, хересом, мускатом, элем

— чего там только нет! Ползимы будем как сыр в масле кататься.

Пусть Джоун сразу начнет солить и мариновать.

— Прочь с глаз моих, негодяй! — вскричал баронет. — Ты думаешь, мы будем подбирать объедки после этого отребья? Сейчас же все выкинуть! Или нет, — спохватился он, — выкидывать грешно, раздайте все бедным или отошлите владельцам. Помни, я не стану пить их вино. Лучше мне, всю жизнь сидеть на хлебе и воде, как отшельнику, чем допивать после этих мерзавцев за их здоровье, я ведь не плут буфетчик, чтобы лакать из бутылок остатки, когда посетители

расплатились и ушли. И имейте в виду, я не дотронусь до воды из того колодца, откуда пили эти хамы... Принесите-ка мне кувшин воды из источника!

Розамунды.

Алиса услышала это приказание и, зная, что у всех, домочадцев дел по горло, сама безропотно взяла кувшинчик, накинула плащ и отправилась за водой, которой сэр Генри желал утолить жажду. Джолиф в некотором замешательстве сообщил баронету, что «в замке еще остался один из незваных гостей: он распоряжается отправкой сундуков и бумаг, принадлежащих комиссарам; ему можно передать приказание его

милости относительно провизии».

— Пришли-ка его сюда. (разговор происходил в зале)... Что это ты, так замялся, переминаешься с ноги на ногу?

— Дело в том, — сказал Джослайн, — что вашей милости, может, неудобно будет его видеть — это ведь тот самый, который недавно...

Он осекся.

— Отправил на небеса мою шпагу — ты это хочешь сказать? Виданное ли дело, чтобы я сердился на того, кто устоял против меня в поединке? А что он круглоголовый, так за такую победу ему еще больше честь и слава. Я всей душой жажду

снова помериться с ним силами. У меня из головы не выходит, какой ловкий удар он тогда нанес. Доведись мне опять с ним схватиться, я теперь знаю, как его отразить. Приведи его сюда.

Вскоре Верный Томкинс явился к баронету; вид у него был невозмутимо важный; ни треволнения минувшей ночи, ни надменный вид знатной персоны, перед которой он предстал, ни на миг не могли его поколебать.

— Ну что, молодец? — встретил его сэр Генри. — Я хочу еще раз испытать твое искусство в фехтовании; ты победил меня в тот вечер, сдается мне, оттого, что свету

было мало для моих старых глаз. Возьми-ка рапиру, приятель... Все равно я прогуливаюсь тут по залу, и, как говорит Гамлет, в эту пору я могу вздохнуть свободно. Бери-ка рапиру в руку.

— Извольте, ваша милость, — проговорил секретарь, сбросив свой длинный плащ и взяв в руку рапиру.

— Ну что ж, — ответил баронет, — если ты не прочь, то и я готов. Вот ведь, стоило мне только пройтись по этим плитам, как подагра моя улетучилась, словно ее заморозили. Ну-ка... Ну-ка.., теперь я скачу, точно боевой петух.

Они начали фехтовать с большим воодушевлением.

То ли старый баронет в самом деле дрался на рапирах хладнокровнее, чем на шпагах, то ли секретарь нарочно хотел уступить преимущество в этом чисто условном поединке, но победа осталась.., за сэром Генри Ли. Успех привел, его в прекрасное расположение духа.

— Видишь, — воскликнул он, — я разгадал твой маневр, второй раз ты меня не провел. Это был ощутимый удар. Вот только свету было маловато... Ну что теперь толковать... Довольно. Не надо мне больше с тобой сражаться. Мы, безрассудные кавалеры, так часто колотили вас, круглоголовых

негодяев, что в конце концов научили драться. Ну, а теперь скажи-ка мне, с чего это вы оставили здесь полные кладовые припасов? Неужто вы воображаете, что я и мое семейство будем доедать ваши обеды? Или вам некуда девать накраденные окорока, что вы их бросаете, когда снимаетесь с места?

— Возможно, вашей милости не по душе говядина, баранина и козлятина, — отвечал Томкинс, — но, может когда ваша милость узнает, что провизия эта закуплена на доходы с вашего собственного поместья в Дитчли, а оно конфисковано в пользу казны больше года назад, вы, не будете так

щепетильны и употребите эти припасы с пользой для себя.

— Ну, это совсем другое дело, — сказал сэр.

Генри, — очень рад, что вы помогли мне получить, часть моего же добра. А я-то хорош, не сообразил, что твои хозяева могут кормиться только за счет порядочных людей.

— А что до бычьего охвостья, — все так же важно продолжал Томкинс, — так в Уэстминстере есть Охвостье, с которым армии придется-таки изрядно повозиться, прежде чем она его разрубит и разрежет на куски да приготовит по нашему вкусу; Сэр Генри помедлил,

точно стремился вникнуть в смысл намека — он не очень быстро соображал.

Но, поняв наконец, в чем дело, он разразился таким громким хохотом, какого Джослайн давно уже от него не слышал.

— Правильно, плут! — вскричал он. — Твоя шутка мне по вкусу... В этом суть всей вашей кукольной комедии. Как Фауст вызвал дьявола, так и парламент вызвал к жизни армию; как дьявол унес Фауста, так и армия унесет парламент — это, как ты говоришь... Охвостье, ту часть, на которой сидит этот, с позволения сказать, парламент. И знаешь, приятель, я от души желаю, чтобы

ЭТОТ же дьявол унес всю вашу армию, от первого генерала до последнего барабанщика... Ну-ну, не гляди на меня так свирепо.., сейчас, не забудь, свету достаточно, чтобы поиграть со шпагами.

Верный Томкинс, очевидно, счел за лучшее подавить свое недовольство; он заявил, что повозки с» поклажей комиссаров готовы к отправке в город, отвесил сэру Генри поклон и удалился. Старик все прохаживался по своему залу, потирал руки и обнаруживал такие признаки удовольствия, каких у него не видели со времени рокового тридцатого января.

— Вот мы и снова в нашем

старом гнезде, Джолиф, да еще с какими запасами! Здорово этот плут успокоил мою совесть. У них и тупица замечательно рассуждает, когда дело дойдет до прибыли. Погляди-ка, Джослайн, не слоняется ли около замка какой-нибудь из наших оборванцев солдат, теперь для них набить желудок — нежданная радость... Возьми-ка его рапиру, Джослайн, парень фехтует прилично, вполне прилично. Но видел ты, Джослайн, как я его отделал? Вот что значит — свету достаточно.

— Еще бы, ваша честь, — ответил Джослайн, — вы ему показали, что герцог Норфолк — это тебе не Сондерс-огородник. Бьюсь об

заклад, что он не захочет в другой раз попасть в руки вашей чести.

— Стар я становлюсь, — сказал сэр Генри, — но умение от времени не ржавеет, только мускулы уже не те. Мне старость — как здоровая зима, говорит старик Уил, морозна, но бодра. Кто знает, может быть, и мы, старики, доживем еще до лучших дней.

Поверь, Джослайн, очень уж мне по душе, когда дерутся мошенники заседающие и мошенники воюющие. Вору ссорятся — значит, честные люди, может, и получают обратно свое.

Таким образом, старый баронет наслаждался тройным торжеством: возвращением под родной кров,

восстановлением, как он считал, своей репутации фехтовальщика и, наконец, надеждой на лучшие дни для сторонников монархии.

Тем временем Алиса шла по парку; на душе у нее было так легко и весело, как в прежние времена, сердце в груди трепетало от радости, она была счастлива сделать хоть что-нибудь по хозяйству и охотно отправилась за водой к источнику Розамунды.

Может быть, ей вспомнилось, как в детские годы Маркем посылал ее сюда за водой, когда она играла роль пленной троянской царевны и должна была носить для гордого победителя воду из греческого

источника, Как бы то ни было, ее радовало то, что отец снова обосновался в своем старинном жилище; радость ее еще усиливалась оттого, что возвращением они были обязаны кузену, да и в глазах отца Эверард был до некоторой степени оправдан от обвинений, которые ему предъявлялись. Примирение еще не состоялось, но начало было положено и казалось, что долгожданный мир не за горами. Точно так строится мост: заложена порочная основа, над поверхностью потока возвышаются быки, а в скором времени будут возведены и арки.

Безоблачное

настроение

девушки омрачалось только тревогой за судьбу единственного брата, но Алиса воспитывалась среди битв гражданской войны, она привыкла верить в удачу близких людей, пока брезжит хоть малейшая надежда. В настоящий момент ходили слухи, что брат ее жив и невредим.

У Алисы были и другие причины для радости: ей приятно было сознавать, что она вернулась в родной дом, где прошло ее детство, — расстаться с ним было для нее очень тяжело, особенно потому, что ей приходилось скрывать свои страдания, чтобы не растравлять печаль отца. Наконец, радость приносило и чувство

удовлетворения, которое испытывают молодые люди, когда им представляется возможность позаботиться о своих близких и оказать какие-нибудь пустяковые домашние услуги, которые старики любят принимать от молодых как знак почтения. Алиса торопливо прошла по тропинке через заросли парка и углубилась в лес на расстояние полета стрелы по пути к источнику Розамунды, чтобы набрать кувшин воды; на щеках ее играл румянец от быстрой ходьбы, лицо оживилось, выражение его стало веселым и ясным — такой была красавица в свои ранние счастливые дни.

Источник, прославленный старинным преданием, был некогда украшен скульптурами в стиле шестнадцатого века, по большей части сценами из античной мифологии. Теперь все пришло в запустение и разрушилось, остались только поросшие мхом развалины, но фонтан продолжал изливать свои сокровища, чистые как хрусталь; его тонкая струйка пробивалась сквозь груды камней и текла по обломкам старинной скульптуры.

Алиса легкой поступью и с улыбкой подходила к этому месту, обычно пустынному; вдруг она остановилась, увидев, что у источника кто-то сидит. Но,

разглядев, что это женщина, Алиса спокойно продолжала свой путь, правда, несколько замедлив шаг: может быть, это служанка из города, подумала она, которую привередливая госпожа посылает к источнику за прозрачной водой, или старушка, промышляющая тем, что носит эту воду в знатные семьи и продает ее за гроши. Во всяком случае, опасаться ей нечего, рассуждала девушка.

Но времена были такие тревожные, что Алиса не могла совсем не остерегаться незнакомого существа даже своего пола. В гражданскую войну некоторые женщины, потерявшие стыд, часто

следовали и за той и за другой армией; в одной армии распутство и богохульство было открытым, в другой лицемерно прикрывалось фанатизмом, однако и там и здесь эти женщины не гнушались ни грабежом, ни убийством. Но теперь был ясный день, расстояние до замка невелико, да и сердце у дочери храброго старого рыцаря было достаточно мужественное, чтобы не поддаваться беспричинному страху, хоть она немного смутилась, увидев незнакомку в таком обычно пустынном месте.

Поэтому Алиса медленно подошла к источнику, посмотрела на женщину и стала спокойно набирать

воду в кувшин.

Женщина, которая удивила и даже несколько напугала Алису Ли, принадлежала к низшему сословию, судя по красному плащу, коричневой юбке, косынке с синей каймой и безобразной высокой шляпе, — это была в лучшем случае жена бедного фермера или помощника пристава, а может быть, даже и батрака.

Материя на платье была добротная, но женский глаз заметил бы с первого взгляда, что одежда сидит на ней плохо. Все было как будто с чужого плеча, к нынешней владелице попало случайно, а может, даже и было украдено. Алиса бросила в сторону незнакомки всего

один взгляд, но от нее не укрылось, что роста та была необыкновенно высокого, лицо у нее было смуглое и очень грубое; в общем, внешность ее производила неприятное впечатление. Наклонившись, чтобы набрать воды, девушка почти пожалела, что не вернулась назад и не послала вместо себя Джослайна, но раскаиваться было поздно, оставалось только по возможности скрыть тревогу.

— Благословен будет этот ясный день для той, чья краса сияет так же ярко, — сказала незнакомка дружелюбно, но грубым голосом.

— Благодарю, — ответила Алиса, продолжая наливать в кувшин

воду из железного ведерка, прикрепленного цепью к камню около источника.

— Не помочь ли тебе, прелестная барышня? Так ты скорее управишься со своим делом, — продолжала незнакомка.

— Спасибо, — сказала Алиса, — если бы я нуждалась в помощи, то взяла бы с собой кого-нибудь из замка.

— Не сомневаюсь, моя красавица, что в Вудстоке достаточно молодцов, у которых есть глаза во лбу, — отвечала женщина. — Бьюсь об заклад, любой, кто только глянет на тебя, пойдет за тобой следом, стоит тебе захотеть.

Алиса не ответила ни слова, ей не нравилось это вольное обращение, и она стремилась прекратить разговор.

— Ты обиделась, прекрасная госпожа моя? — продолжала незнакомка. — Я вовсе не хотела тебя оскорбить... Вот что я тебя спрошу. Неужто достойные обительницы Вудстока так мало заботятся о своих дочерях, что разрешают такому цветку без всякого присмотра бродить по лесу; а вдруг лис утащит овечку?.. Думается мне, что такое попустительство их не украшает.

— Не беспокойся, добрая женщина, за помощью и защитой

ходить недалеко, — отвечала Алиса, которую все больше раздражала дерзость ее новой знакомой.

— Увы, моя красавица, — сказала неизвестная, положив свою большую жесткую руку на склоненную голову Алисы, — такой голосок, как твой, вряд ли услышат в городе Вудстоке, как громко ни кричи.

Алиса сердито стряхнула с головы руку женщины и подняла кувшин, хоть тот и был налит только до половины; видя, что незнакомка тоже поднимается с места, она сказала не без некоторого страха, но голосом, полным негодования и достоинства:

— Мне и не нужно, чтобы крик мой слышали в городе: случись мне позвать на помощь, я найду ее гораздо ближе.

Она как будто знала, что говорит. В ту же минуту, пробравшись сквозь кусты, к ней подбежал благородный пес Бевис; он остановился возле девушки и устремил свирепый взгляд своих сверкающих глаз на незнакомку; шерсть на его породистой шкуре встала дыбом, словно у дикого кабана, зубы, длинные как у русского волка, оскалились; он не прыгнул и не залаял, а глухо зарычал и, казалось, ждал только знака, чтобы кинуться на эту женщину, которую

он явно считал подозрительной.

Но незнакомка не испугалась.

— Красавица моя, — сказала она, — да у тебя и впрямь грозный защитник; тут, пожалуй, простаки и трусы оробеют. Но мы видали виды на войне и знаем, как привораживать таких свирепых драконов. Не давай твоему четвероногому защитнику подходить ко мне — это благородный зверь, и я трону его, только если мне придется защищаться.

С этими словами она выхватила из-за пазухи пистолет, взвела курок и прицелилась в пса, словно опасаясь, что тот прыгнет на нее.

— Стой, женщина, стой! — вскричала Алиса Ли. — Он тебя не

тронет... Смирно, Бевис, куш...
Прежде чем тебе вздумается
подстрелить его, знай, что это
любимый пес сэра Генри Ли из
Дитчли, королевского лесничего в
Вудстокском заповеднике. Ты
жестoko поплатишься за такое
оскорбление.

— А ты, милочка, верно,
экономка старого баронета? Слыхала
я, что у мужчин из рода Ли вкус
хороший.

— Я дочь его, добрая
женщина, — Дочь?! Ослепла я, что
ли?.. Конечно, дочь! Все сходится с
описанием мисс Алисы Ли, оно ведь
всему свету известно... Надеюсь,
мои глупости не оскорбили

барышню и она позволит мне в знак примирения наполнить кувшин и отнести его куда прикажет.

— Хорошо, матушка, но я собираюсь тотчас же вернуться в замок, я уж и так тут замешкалась.

Поэтому поспешу и пришлю кого-нибудь взять у вас кувшин.

С этими словами Алиса в безотчетном страхе повернулась и быстро пошла по направлению к замку, стремясь поскорее избавиться от неприятного знакомства.

Но это было не так-то просто: через минуту спутница не бегом, а огромными, неженскими шагами догнала перепуганную девушку. Обращение ее стало более

почтительным, чем раньше, но голос звучал по-прежнему грубо и неприятно, да и весь вид вызывал в девушке смутную, но непреодолимую тревогу.

— Извините чужеземку, прекрасная мисс Алиса, — заговорила она, — что не сумела отличить даму из знатного семейства от деревенской девушки; простите мои вольные речи, они не подходят к вашему титулу и положению в обществе; боюсь, что прогневила вас.

— Вовсе нет, — отвечала Алиса, — но, добрая женщина, я уже близко от дома; не трудитесь провожать меня дальше... Я же вас совсем не знаю.

— Но это не значит, что и мне вовсе неизвестна ваша судьба, прекрасная мисс Алиса, — сказала незнакомка. — Взгляните на мое смуглое лицо — в Англии такие не рождаются; на моей родине кожа чернеет от солнца, но оно вознаграждает нас искрами знаний, недоступных тем, кто вырос в вашем прохладном климате. Дайте мне взглянуть на вашу ручку. — Она попыталась схватить ее. — Обещаю, вы услышите только приятное.

— Я уже слышу неприятное, — с достоинством остановила ее Алиса, — вы бы лучше шли со своей ворожбой и гаданием к простым поселянкам... Мы, дворяне, считаем,

что это либо обман, либо знания, полученные нечистым путем.

— Однако ж, ручаюсь, вам было бы приятно услышать кое-что про одного полковника, которого злая доля разлучила с родными; вы бы ничего не пожалели, если бы узнали, что увидите с ним через денек-другой, а может быть, и раньше.

— Не понимаю, о чем ты говоришь, добрая женщина. Если ты просишь милостыню, вот тебе серебряная монетка — больше у меня в кошельке ничего нет.

— Жалко братъ у вас последнее, — заметила женщина, — но придется... Ведь во всех сказках великодушные принцессы сначала

должны заслужить расположение добрых фей, а потом уже те оказывают принцессам покровительство.

— Возьми... Возьми... Отдай кувшин и ступай, — проговорила Алиса, — вон идет слуга моего отца...

Джослайн, Джослайн, сюда!

Старая гадалка поспешно опустила что-то в кувшин, когда передавала его Алисе, зашагала размашистым шагом и скрылась в чаще леса.

Бевис повернул было назад, чтобы пуститься по следам подозрительной особы, но потом в нерешительности подбежал к

Джолифу и стал ласкаться к нему, точно просил совета и поддержки. Джослайн успокоил его, подошел к своей молодой госпоже и в удивлении спросил, что случилось, чего она так испугалась. Алиса уже несколько пришла в себя от безотчетной тревоги: поведение незнакомки, наглое и назойливое, ничем ей не угрожало. Поэтому она сказала только, что встретила у источника Розамунды какую-то гадалку и с трудом от нее отделалась.

— Ах, цыганка-воровка! — вскричал Джослайн. — Почуяла уже, что кладовые у нас полны провизией...

У этих бродяг нюх, точно у

воронов на пададь. Оглянитесь-ка, мисс Алиса, во всем ясном небе на милю вокруг вы не увидите ни одного ворона, а стоит только где-нибудь на лугу пасть барану, их слетятся дюжины; не успеет еще бедная скотина издохнуть, как они принимаются каркать, точно сзывают друг друга на пир.

Вот так и эти бессовестные попрошайки. Нечего подать, так никого и не увидишь, а завелись в котле куски говядины — они сразу прибегут за подачкой, — Ты так гордишься своим новым запасом, Джослайн, — заметила Алиса, — что тебе кажется, все на него зарятся. Не думаю, чтобы эта женщина посмела

и близко подойти к нашей кухне.

— Да уж, ей бы не поздоровилось, — проворчал Джослайн, — угощу так, что будет сыта по горло...

Давайте-ка кувшин, мисс Алиса, мне его больше пристало нести, чем вам... Что это? На дне что-то позвякивает! Камешков вы, что ли, набрали вместе с водой?

— Мне показалось, что эта женщина бросила что-то в кувшин, — сказала Алиса.

— Надо бы посмотреть. Верно, какое-нибудь колдовство, а у нас в Вудстоке и так хватает дьявольщины... Пожертвуем водой, я сбегаяю, опять наберу.

Он вылил воду на траву и нашел на дне кувшина золотое кольцо с рубином, по виду довольно ценное.

— Будь я не я, если это не колдовство. Мой совет вам, мисс Алиса, выбросьте вы эту штуковину. Подарки из таких рук — это вроде жалованья, которое дьявол выплачивает, когда вербует к себе в полк колдунов: кто возьмет хоть горошину, на всю жизнь станет рабом его. Вы вот сейчас смотрите на эту безделушку, а завтра она станет оловянная с простым камешком, — А я думаю, Джослайн, лучше отыскать эту смуглянку и отдать ей кольцо: вещь, должно быть, ценная.

Разыщи ее и обязательно отдай.

Оно такое дорогое, что жаль бросать.

— Ох, уж эти мне женщины, — проворчал Джослайн, — самая стойкая, и та польстится на побрякушку... Послушайте, мисс Алиса, вы такая молодая и красивая — не давайте себя завербовать в полк к ведьмам.

— Пока ты не колдун, мне нечего бояться, — ответила Алиса, — а сейчас поспеши к источнику — наверно, ты еще застанешь там эту женщину. Скажи ей, что Алисе Ли не нужны ее подарки, как не нужно и ее общество.

С этими словами Алиса продолжала свой путь в замок, а

Джослайн отправился к источнику Розамунды выполнять ее поручение. Но у источника никакой гадалки не было, а продолжать поиски дальше Джослайн не стал.

«Кольцо потаскуха, видно, у кого-нибудь стащила, — рассуждал егерь сам с собой, — и если оно стоит хоть несколько ноблей, пусть уж лучше останется в честных руках, чем у бродяги. Господин мой имеет право на всякую вещь, которую найдут в его владениях, а, уж конечно, такое кольцо из рук цыганки — все равно что находка. Поэтому я со спокойной совестью оставлю его у себя. Пусть пойдет на пополнение хозяйства сэра Генри,

прорех там хватает.

Слава тебе господи, военная служба научила меня ловчить — это ведь заповедь кавалериста. Но, пожалуй, черт возьми, лучше показать кольцо Маркему Эверарду и спросить у него совета... Он ведь у нас главный советчик во всех делах мисс Алисы, а во всех делах церкви, государства и сэра Генри Ли — ученый доктор, которого я не назову по имени... И пусть мои кости бросят коршунам и воронам, если я не разбиваюсь, кому можно доверять, а кому нет».

Глава XIX

*Прием суровый и
недружелюбный
Неопытному путнику
грозит
В чужом краю.*

*«Двенадцатая
ночь»*

Наступил обеденный час, и некоторая суэта, царившая в замке, показывала, что немногочисленные верные слуги стремились отпраздновать возвращение старого баронета.

На стол поставили огромный

кубок, на котором в виде барельефа был изображен архангел Михаил, сразивший сатану; Джослайн и Фиби ревностно прислуживали: Джослайн стоял за стулом у сэра Генри, а Фиби — у своей молодой госпожи; торжественно и точно соблюдая ритуал, они восполняли недостаток более многочисленной свиты, — За здоровье короля Карла! — провозгласил старый баронет, передавая дочери массивный кубок. — Выпей, дорогая, ничего, что этот эль остался от бунтовщиков, я выпью после тебя. Тост облагородит напиток, пусть даже его варил сам Нол.

Девушка пригубила кубок и

вернула его отцу, который сделал основательный глоток.

— Не буду призывать на них благословения божьего, — сказал он, — но, должен признать, эль у них превосходный.

— Что ж тут удивительного, сэр, хмель им легко достается, экономить не приходится, — заметил Джослайн.

— Правильно! — вскричал баронет. — Допивай-ка кубок за такую отменную шутку.

Верный слуга не заставил себя долго просить и выпил за здоровье короля. Поставив кубок обратно на стол, он поклонился и сказал, с торжествующим видом посматривая

на архангела:

— У меня сейчас была перепалка с одним красномундирником из-за архангела Михаила.

— С красномундирником?.. Ты что?.. С каким красномундирником? — запальчиво вскричал старик.

Разве кто-нибудь из этих плутов еще слоняется по Вудстоку? Сейчас же спусти его с лестницы, Джослайн!.. Знаем мы этих гэллоуэйских жеребцов!

— Изволите видеть, ваша милость, он здесь по делу остался и скоро уберется... Это тот самый, с которым у вашей чести была в лесу

стычка.

— Ну да, я сполна с ним расквитался в зале, ты ведь сам видел... В жизни я так здорово не фехтовал, Джослайн. Этот парень, секретарь что ли, не такой уж отъявленный негодяй, как большинство этих бунтовщиков, Джослайн. Хорошо фехтует.., превосходно.

Я вот посмотрю, как ты завтра схватишься с ним в зале, только, боюсь, он тебе не по плечу. Я-то ведь знаю твое умение.

Баронет говорил это не без оснований; время вт времени он состязался с Джослайном на рапирах, и Джослайн всегда

обнаруживал свою силу и ловкость — лишь настолько, чтобы победа баронета не казалась слишком легкой. Как преданный слуга, он всегда в конце концов сдавался своему господину.

— И что же этот круглоголовый секретарь говорил о кубке архангела Михаила?

— Да он издевается над ним, говорит, что он немногим лучше вефильского золотого тельца. Я ему сказал, чтобы он не смел так говорить, пусть назовет, кто из круглоголовых святых сразил сатану так здорово, как архангел Михаил, вон как вырезано на кубке.

Он сразу и замолк... А еще он

поражался, как это ваша милость и мисс Алиса не боитесь ночевать в доме, где творятся такие дела, не говоря уже про Джоун и про меня, раз вашей милости угодно, чтобы мы оставались здесь. На это я ответил, что мы не боимся ни чертей, ни домовых, у нас каждый вечер читают молитвы англиканской церкви.

— Ты с ума сошел, Джослайн! — вскричала Алиса. — Ты ведь знаешь, с какой опасностью для себя и для нас почтенный доктор читает эти молитвы.

— Ох, мисс Алиса, — отвечал в замешательстве Джослайн, — можете быть уверены, я ни словом не обмолвился про доктора... Нет,

нет... Я не открыл ему секрет, что у нас есть такой достойный капеллан...

Сдается мне, я раскусил этого проходимца... Мы с ним спелись, и теперь нас водой не разольешь — ничего, что он отъявленный фанатик.

— Смотри, не очень-то ему доверяй, — заметил баронет, — боюсь, ты уже наделал глупостей, и достойному капеллану будет небезопасно прийти сюда, когда стемнеет, по нашему уговору. У этих индипендентов нюх как у ищеек, они чуют верноподданного, как бы он ни замаскировался.

— Если ваша честь опасается, — отвечал Джослайн, — я

охотно пойду встретить доктора и доставлю его в замок через потайной ход прямо в эту комнату; сюда-то этот парень Томкинс, конечно, не посмеет войти; доктор может остаться ночевать в Вудстокском замке, это будет самое разумное, а если ваша честь считает, что для безопасности лучше перерезать этому парню глотку, то я готов, мне это ничего не стоит.

— Боже избави! — вскричал баронет. — Он под нашей крышей, он наш гость, хоть и незванный... Ступай, Джослайн, в наказание за длинный язык ты в ответе за безопасность почтенного доктора, охраняй его пока он у нас. Теперь

ведь октябрь; если он проведет еще ночь-другую в лесу, этому достойному человеку придет конец.

— Уж скорее нашему октябрьскому пиву придет конец от него, чем ему от Наших октябрьских ночей, — заметил егерь и отошел в сторону под одобрительный смех своего патрона.

Егерь свистнул Бевису, чтобы тот помог ему нести сторожевую службу, получил точные указания, где скорее всего можно найти капеллана, и заверил своего хозяина, что сделает все для его безопасности. Убрав со стола, слуги удалились, а старый баронет опустился в свое кресло и предался думам, гораздо более

приятным, чем те, что тяготили его все последнее время.

Скоро он погрузился в глубокий сон. Дочь его на цыпочках прошла через комнату, взяла свое рукоделье, уселась возле отца и принялась вышивать; время от времени она с нежностью поглядывала на отца, чувствуя себя его ангелом-хранителем, ревностным, если не всемогущим. Когда солнце зашло и в комнате стемнело, она хотела было приказать принести свечи, но вспомнила, какое неудобное ложе было у отца в хижине Джослайна, и решила не тревожить крепкий и освежающий сон — им старик, несомненно, наслаждался впервые за

последние два дня.

Самой ей ничего не оставалось, как тихонько сидеть и смотреть в одно из больших окон; это было то самое окно, через которое Уайлдрейк когда-то наблюдал, как пировали Томкинс с Джослайном; она следила за облаками. Ленивый ветер порой отгонял их от огромного диска полной луны, иногда облака сгущались и закрывали ее свет. Не знаю почему, но созерцание царицы ночи как-то особенно волнует воображение.

Она, как обычно говорят, плывет среди облаков, не имея сил их рассеять, а облака бессильны полностью затмить ее блеск. Луна

удивительно напоминает добродетель, терпеливо и спокойно прокладывающую себе путь среди нападков, и похвала — добродетель так совершенна сама по себе, что не может не вызвать всеобщего преклонения, но как часто от глаз всего мира ее заслоняют страдания, горе и злословие!

Алиса, может быть, тоже предавалась подобным мыслям, как вдруг с изумлением и испугом увидела, что кто-то лезет в окно и заглядывает в комнату. Боязнь сверхъестественного ни на секунду не встревожила Алису, она слишком привыкла к месту, в котором находилась, — люди не видят

привидений там, где живут с детства. В стране, разоренной войной, опаснее всего мародеры; эта мысль вселила в Алису, всегда отличавшуюся самообладанием, такую отчаянную решимость, что она схватила пистолет со стены, где висело огнестрельное оружие; у нее хватило присутствия духа прицелиться в непрошеного гостя и только тогда криком разбудить отца. Она действовала еще проворнее, потому что фигура, смутно маячившая в окне, чем-то напоминала женщину, которую она встретила у источника Розамунды — незнакомка еще тогда показалась ей крайне неприятной и

подозрительной.

Отец ее в это время схватил шпагу и ринулся вперед, а человек в окне, встревоженный шумом, хотел было спуститься обратно на землю, но оступился, как когда-то кавалер Уайлдрейк, и с шумом полетел вниз.

Объятия нашей нежной матери-земли не спасли его: слышался лай и рычание Бевиса, который подскочил и набросился на незнакомца, не давая ему — или ей — подняться на ноги.

— Держи его, только не кусай, — приказал старый баронет. — Алиса, ты королева среди всех девиц!

Стой здесь, а я побегу схвачу

негодая.

— Нет, дорогой батюшка, ради бога не ходите! — вскричала Алиса. — Джослайн сейчас придет... Слышите? Это его голос.

Под окном действительно началась суматоха и, замелькали огни, люди с фонарями окликали друг друга приглушенными голосами, какими обычно говорят, когда хотят, чтобы слышали только те, к кому обращаются. Потому человек, которому. Бевис не давал подняться, потерял терпение, забыл осторожность и закричал:

— Эй, Ли.., лесничий.., убери пса, или мне придется его пристрелить.

— Посмей только, — ответил из окна сэр Генри, — и я тут же прострелю тебе голову... Воры, Джослайн, воры! Беги сюда, хватай мошенника!.. Держи его, Бевис!

— Назад, Бевис! Пойдите, сэр! — закричал Джослайн. — Иду, сэр Генри... Святой Михаил, я с ума сойду!

Страшная мысль мелькнула вдруг в уме Алисы: может быть, Джослайн изменил им, иначе зачем бы ему отзывать верного пса от этого негодяя, вместо того чтобы приказать схватить его? У отца ее, вероятно, родилось такое же подозрение: он поспешно отступил от окна, залитого лунным светом, привлек к себе дочь

и спрятался в тень, так, чтобы их не видно было снаружи, а сами они могли слышать все, что там происходит. Джослайн, по-видимому, вмешался и прекратил поединок между Бевисом и его пленником: снизу доносился только шепот, как будто люди советовались, что делать дальше.

— Все стихло, — произнес один голос, — я влезу первый и проложу дорогу.

Тут в окне показался чей-то силуэт; распахнув окно, человек вскочил в гостиную. Но не успел он спрыгнуть на пол и твердо стать на ноги, как старый баронет, ждавший наготове со шпагой в руке, сделал,

отчаянный выпад, и незванный гость упал на землю.

Джослайн, взобравшись вслед за ним с затемненным фонарем в руке, увидел, что произошло, и в ужасе закричал:

— Отец небесный! Он убил собственного сына!

— Нет, нет... Говорю вам, нет! — вскричал упавший молодой человек — это действительно был Альберт Ли, единственный сын старого баронета, — я совсем не ранен, не шумите, заклинай вас... Скорее огня!

Он быстро вскочил с пола, выпутываясь из плаща, пронзенного вместе с камзолом шпагой старого

кавалера; к счастью, удар клинка, задержанный плащом, не задел тела Альберта и прошел под мышкой, прорезав камзол, а эфес шпаги, нанеся ему удар в бок, свалил его на пол.

Между тем Джослайн умолял всех молчать, заклиная каждого в отдельности:

— Тише! Ради сохранения жизни вашей, тише!

Ради царствия небесного, тише! Помолчите хоть несколько минут, от этого зависит наша жизнь.

С быстротой молнии он раздобыл фонарь, и тут все увидели, что сэр Генри Ли, услышав роковые слова, упал навзничь в кресло и

лежит бледный и недвижимый, без признаков жизни.

— Брат, да как же ты мог так вернуться домой? — вскричала Алиса.

— Не спрашивай меня... Господи боже, за что ты меня караешь?

Он вглядывался в отца, который с безжизненным лицом, с беспомощно повисшими руками походил скорее на мертвеца или на изваяние, чем на человека, в котором еще теплится жизнь.

— Неужели я спасся от смерти только для того, чтобы стать свидетелем такого зрелища? — в отчаянии промолвил Альберт,

простирая руки к небу.

— Мы обречены нести крест, который определен нам небом, юноша. Мы влачим наше существование, пока это угодно небу. Дайте мне подойти.

К ним приблизился тот самый священник, который читал молитвы в хижине Джослайна.

— Воды, — приказал он, — скорее!

Услужливые руки и легкая поступь Алисы немедленно пришли ему на помощь. Находчивая и заботливая, она никогда не предавалась бесплодным стенаниям, пока была еще хоть искра надежды; так и теперь она проворно принесла

все, что потребовал священник.

— Это только обморок, — сказал он, пощупав пульс у сэра Генри, — обморок от сильного и внезапного потрясения. Не унывай, Альберт! Ручаюсь тебе, это всего лишь обморок... Подайте чашку, милая Алиса, и повязку или бинт. Придется пустить ему кровь... Дайте ароматическую соль, если есть под рукой, дорогая Алиса.

В то время как Алиса подавала чашку и бинт, заворачивала отцу рукав и, казалось, предугадывала все распоряжения достойного доктора, брат ее, не внимая словам, не слушая никаких утешений, стоял, сжав кулаки и простирая руки к небу,

безмолвно, как статуя, олицетворяющая глубокое отчаяние. Его окаменевшее лицо выражало только одну мысль: «Вот труп моего отца, это я убил его своей неосторожностью».

Но когда, после надреза ланцетом, показалась кровь, которая сперва медленно закапала, а затем побежала струйкой, после того, как старику смочили виски холодной водой и дали понюхать ароматические соли и он, слегка вздрогнув, пошевелился, Альберт Ли очнулся, бросился к ногам священника и, если бы тот позволил, покрыл бы поцелуями его башмаки и край одежды.

— Встань, неразумный юноша, — с укоризной сказал достойный священник, — долго ли это будет продолжаться! Преклони колена перед господом, а не перед недостойнейшим из слуг его. Вы уже были однажды спасены от великой опасности, и, если хотите заслужить милосердие божие, помните — вашу жизнь сохранили не для того, о чем вы сейчас помышляете.

Уходите вместе с Джослайном... Вспомните свой долг, уверяю вас, вашему отцу лучше будет не видеть вас, когда он очнется... Ступайте.., ступайте в парк и приведите сюда вашего слугу.

— Благодарю, благодарю, тысячу

раз благодарю! — вскричал Альберт Ли и, выскочив в окно, исчез так же неожиданно, как и появился. Джослайн последовал за ним той же дорогой.

Алиса теперь несколько успокоилась. Видя, как убежали Альберт и Джослайн, она не могла удержаться, чтобы не спросить почтенного пастора:

— Дорогой доктор, ответьте мне на один только вопрос. Мой брат Альберт действительно был здесь, или мне почудилось все то, что произошло за последние десять минут? Не будь здесь вас, я бы подумала, что все это сон: этот страшный удар шпагой, старик,

бледный как мертвец, воин в безмолвном отчаянии...

Мне кажется, я видела все это во сне.

— Может быть, вы и спали-, милая Алиса, — ответил доктор, — но хорошо, если у всякой сиделки будет столько проворства: вы во сне лучше ухаживали за нашим больным, чем старые сони наяву. Но ваш сон вышел из роговых ворот, душенька, на досуге я вам объясню, что это значит. Да, это действительно был Альберт, и он сюда вернется.

— Альберт? — повторил сэр Генри, — кто это называет имя моего сына?

— Я, мой добрый патрон, —

ответил доктор, — позвольте перевязать вам руку.

— Рану перевязать? Охотно, доктор, — сказал сэр Генри, приподнимаясь и постепенно припоминая, что случилось, — я помню, еще в былые времена ты был врачом не только души, но и тела; в моем полку ты исполнял обязанности и капеллана и хирурга.

Но где же негодяй, которого я убил? Никогда в жизни не наносил я такого ловкого удара! Шпага моя прошла насквозь между ребер. Он должен быть убит, или рука моя утратила свою ловкость.

— Никто не убит, — отвечал доктор, — возблагодарим за это

господа, ведь пострадали бы только свои.

Ранены лишь плащ и камзол, искусному портному придется потрудиться, чтобы их вылечить. А последним вашим противником был я, вот выпустил у вас немного крови, единственно для того, чтобы подготовить вас к радостной и неожиданной встрече с сыном. Поверьте, за ним гнались по пятам, когда он уходил из Вустера и пробирался сюда; здесь мы вместе с Джослайном позаботимся о его безопасности.

Вот почему я и уговаривал вас принять предложение племянника и вернуться в старый замок: тут можно

укрыть сотню людей, хотя бы их разыскивала целая тысяча. В мире нет лучшего места для игры в прятки.

Я это докажу, когда получу возможность издать свои «Чудеса Вудстока».

— А мой сын, мой дорогой сын, — нетерпеливо спросил баронет, — отчего я не вижу его здесь? Почему вы раньше не сказали мне об этом радостном событии?

— Потому что я не знал точно, куда он направится, — объяснил доктор, — я думал, он скорее станет пробираться к побережью, и считал, что лучше сообщить вам о его судьбе, когда он будет уже в безопасности на пути во Францию. Мы с ним так и

условились, что я вам все сообщу, когда приду сюда сегодня. Но в замке есть красномундирник, а мы не хотим, чтобы он видел больше того, что невозможно скрыть. Поэтому мы не рискнули войти через холл и бродили вокруг замка. Альберт тут и сказал нам, что в детстве, для забавы, часто лазал в это окно. С нами был юноша, который захотел проделать этот опыт — огня в комнате не было, а лунный свет мог выдать наше присутствие. Но нога его сорвалась, а тут подоспел и наш друг Бевис.

— Да уж, вы действовали довольно неосторожно, — заметил сэр Генри, — напали на гарнизон без всякого предупреждения. Ну, а что же

мой сын Альберт? Где он? Дайте мне взглянуть на него!

— Потерпите немножко, сэр Генри, — остановил его доктор, — подождите, пока восстановятся ваши силы...

— Буду я еще ждать, пока они восстановятся, приятель! — вскричал баронет, в котором начала пробуждаться прежняя строптивость. — Разве ты не помнишь, как я целую ночь пролежал на поле после сражения при Эджхилле, как бык истекая кровью из пяти ран? И через полтора месяца опять был в строю.

А ты тут толкуешь о нескольких каплях крови из царапинки как от

кошачьего коготка.

— Ну что ж, раз вы такой храбрый, — отвечал доктор, — пойду позову вашего сына. Он недалеко.

С этими словами он вышел из комнаты, сделав Алисе знак, чтобы она оставалась около отца на случай, если приступ слабости повторится.

К счастью, сэр Генри, видимо, совсем не помнил истинной причины своего испуга, когда он, словно пораженный громом, лишился чувств. Он еще несколько раз возвращался к разговору о том, какие страшные последствия мог иметь удар его шпаги, этот страмасон, как он его называл, но у него и в мыслях не было, что

опасность угрожала его собственному сыну. Алиса, довольная тем, что отец забыл об этой страшной подробности (человек часто забывает, от какого удара или внезапного потрясения он упал в обморок), старалась избежать всяких разговоров, ссылаясь на общую суматоху. А через несколько минут все дальнейшие расспросы прекратились с появлением Альберта, который в сопровождении доктора вошел в комнату и бросился в объятия отца и сестры.

Глава XX

Так как же звать тебя,
пострел упрямый?

Да, вспомнил:
Джейкоб. Словом, он —
тот самый.

Крабб

Альберт Ли вновь оказался в кругу любящей семьи.

Встретившись в пору тяжких невзгод, все трое были счастливы уже тем, что могут теперь переживать их вместе. Они снова и снова бросались друг к другу в объятия, давая волю тем сердечным излияниям, которые

выражают и вместе с тем облегчают душевное волнение. Наконец они немного успокоились; сэр Генри все еще держал вновь обретенного сына за руку, но к нему уже вернулось его обычное самообладание.

— Значит, ты участвовал в последнем нашем сражении, Альберт, — сказал он, — и видел, как королевские знамена навсегда склонились перед бунтовщиками?

— Так оно и было, — ответил молодой человек, — под Вустером мы все поставили на карту и — увы! — все проиграли; а Кромвелю опять повезло, как, впрочем, везет всюду, где он только ни появится.

— Ну, это до поры, до времени,

до поры, до времени, — возразил отец. — Говорят, этот дьявол силен тем что возвеличивает и награждает своих любимцев, но недолго они будут пользоваться его милостями.

Ну, а король?.. Король... Альберт, что с королем?

Шепни мне на ухо... Подойди сюда..., ближе, ближе!

— По последним достоверным сведениям, он спасся и отплыл из Бристоля.

— Слава богу!.. Слава богу!.. — воскликнул баронет. — Где ты его оставил?

— Почти всех наших солдат зарубили мечами у моста, — ответил Альберт, — но я сопровождал его

величество в числе пятисот офицеров и дворян, полных решимости отдать за него жизнь; когда же такой многочисленный и заметный отряд привлек внимание врага и в погоню за ним бросилось все неприятельское войско, его величество повелел нам удалиться, поблагодарив и утешив нас всех, и обратился к каждому из нас с несколькими милостивыми словами. Вам, сэр, он послал свой королевский привет и говорил такие лестные слова, что мне даже не пристало их здесь повторять.

— Нет, я хочу услышать каждое слово, мой мальчик, — возразил сэр Генри. — Ведь если я буду уверен,

что ты исполнил свой долг и что король Карл это признает, это утешит меня во всем том, что мы потеряли и выстрадали; неужели же ты из ложного стыда хочешь лишить меня этого утешения?.. Нет, я заставляю тебя повторить слова короля, хотя бы мне пришлось вытянуть их клещами!

— Зачем же? Я повторю и так, — возразил молодой человек. — Его величеству угодно было повелеть, чтобы я передал вам от его имени, что если сын сэра Генри Ли и не может опередить своего отца, состязаясь с ним в преданности королю, он, во всяком случае, идет за ним следом и скоро его догонит.

— Он это сказал? — воскликнул

баронет. — Старик Виктор Ли с гордостью будет взирать на тебя, Альберт!

Однако я совсем забыл: ты, наверно, устал и проголодался?

— Конечно, сэр, — ответил Альберт, — но ко всему этому я за последнее время привык — приходится терпеть многое ради безопасности.

— Джослайн! Эй, Джослайн!

Вошедший егерь получил приказание тотчас же приготовить ужин.

— Мой сын и доктор Рочклиф умирают от голода, — пояснил баронет.

— А там внизу есть еще один

малый, — сказал Джослайн, — он говорит, что он паж полковника Альберта; его брюхо тоже дает звонок к ужину, да еще как громко! Сдается мне, он может съесть лошадь, как говорят в Йоркшире, ту ее часть, что за седлом. Пусть бы он ужинал в буфетной — он уже умял целый каравай хлеба с маслом, Фиби едва успевала нарезать куски, а он ни на миг не дал передышки желудку, — но, право, мне все же кажется, что лучше ему быть у вас на глазах, иначе того и гляди спустится вниз секретарь и станет задавать ему каверзные вопросы. А он к тому же еще и горяч, как все эти пажи из благородных, и очень падок до

женщин.

— Про кого это он говорит? Что это у тебя за паж, и почему он ведет себя так непристойно? — спросил сэр Генри.

— Это сын моего близкого друга, благородного шотландского лорда, который сражался под знаменами великого Монтроза, а потом присоединился в Шотландии к королю и вместе с ним дошел до Вустера. Мой друг был ранен накануне битвы и заклинал меня позаботиться о юноше; так я и сделал, хоть, по правде говоря, и не совсем охотно; но смел ли я отказать отцу? Ведь он просил, быть может, на смертном одре, чтобы я спас его

единственного сына!

— Ты заслужил бы петлю, если бы поколебался, — сказал сэр Генри, — самое маленькое деревце всегда может приютить кого-то в своей тени, и мне отраднее думать, что старое родовое древо Ли еще не совсем засохло и может укрыть того, кто попал в беду. Позови этого юношу — он благородной крови, и теперь не время для церемоний: пусть сидит с нами за одним столом, хоть он и паж, а если ты не обучил его хорошим манерам, ему не вредно будет поучиться у меня.

— Вы уж извините его тягучий шотландский говор, сэр, — сказал Альберт, — хотя я знаю, такое

произношение вам не нравится.

— Не без причины, Альберт, — ответил сэр Генри, — не без причины. Кто затеял все эти распри?

Шотландцы. Кто поддержал парламент, когда его дело было почти проиграно? Опять шотландцы. Кто выдал короля, своего земляка, когда он искал у них защиты? Снова шотландцы. Но ты говоришь, что отец этого юноши сражался на стороне благородного Монтроза, а ради такого человека, как доблестный маркиз, можно простить недостатки целого народа.

— Да к тому же, отец, — сказал Альберт, — хоть это малый неучтивый и своенравный и, как вы

увидите, немножко упрямый, у короля нет более верного друга во всей Англии; когда бы ни представился случай, мой паж всегда отважно сражался за нашего государя. Но почему это он до сих пор не идет?

— Он принял ванну, приказав приготовить ее немедленно, — ответил Джослайн, — да еще распорядился за это время накрыть стол к ужину; он так повелевает всеми окружающими, как будто приехал в старый замок своего отца, а там, бьюсь об заклад, ему долго пришлось бы ждать, пока кто-нибудь его бы услышал.

— Вот как! — удивился сэр

Генри. — Ну, видно, это боевой петушок, раз он так рано научился кукарекать Как его зовут?

— Как его зовут? Я все забываю, такое трудное имя, — ответил Альберт. — Его зовут Кернегай, Луи Кернегай, а отец его был лорд Килстьяерс из Кинкардиншира.

— Кернегай, и Килстьяерс, и Кин.., как там дальше? Право, — сказал баронет, — у этих северян такие имена и титулы, что по ним сразу можно узнать их происхождение; они звучат так, словно северо-западный ветер ревет и бушует среди вереска и скал.

— Тому виною резкость кельтских и саксонских диалектов, —

заметил доктор Рочклиф, — их следы, согласно Верстигену, до сих пор сохранились в северных частях нашего острова. Но тише... Вот несут ужин, а вместе с ним жалует и мистер Луи Кернегай.

Тут действительно появились Джослайн и Фиби и стали подавать ужин, а вслед за ними, опираясь на огромную суковатую палку и приносясь, как ищейка, бегущая по следу, — его внимание, очевидно, больше всего привлекала вкусная пища, которую несли перед ним, — вошел мистер Луи Кернегай и без особых церемоний сел за дальний конец стола.

Это был высокий тощий малый с

копной волос огненно-рыжего цвета, как у многих его соотечественников; характерная для шотландцев резкость черт еще усиливалась у него благодаря контрасту цвета волос со смуглым лицом — оно почти почернело от солнца, дождя и ветра, действию которых подвергались все преследуемые роялисты, принужденные скрываться и кочевать с места на место. Его манера держаться отнюдь к нему не располагала: она представляла собой смесь неловкости и дерзости и служила замечательным примером того, что отсутствие воспитания может совмещаться с поразительной самоуверенностью. На лице у пажа,

по-видимому, были свежие царапины, — доктор Рочклиф старательно украсил его несколькими заплатками из пластыря, еще сильнее подчеркнувшими природную резкость, которой отличались черты юноши. Однако глаза у него были блестящие и живые, и, хотя он был некрасив и даже почти безобразен, что-то в лице его говорило о проницательности и решимости.

Если костюм Альберта совсем не приличествовал ему, как сыну сэра Генри Ли и командиру королевского полка, то одежда пажа была уж и вовсе изношена. Рваная зеленая куртка под действием солнца

и дождя приобрела сотню разных оттенков, так что ее первоначальный цвет едва можно было определить; огромные заплатанные башмаки, кожаные штаны — такие, как носят крестьяне, — чулки из грубой серой шерсти — вот как был одет этот достойный юноша; он прихрамывал и от этого казался еще более неуклюжим, но в то же время хромота его свидетельствовала о том, как много ему пришлось выстрадать. С виду он так походил на тех, кого в просторечии называют чудаками, что даже Алисе он показался бы смешным, если бы не вызывал в ней чувства жалости.

Прочли молитву, и молодой

сквайр из Дитчли, а также и доктор Рочклиф с усердием воздали должное ужину; по всему было видно, что им давно не приходилось пробовать такой вкусной и обильной еды. Но их старания были детской игрой по сравнению с подвигами шотландского юноши. Никто бы не поверил, что он перед тем съел столько хлеба с маслом, стараясь заморить червячка; напротив, у него был такой аппетит, как будто он постился девять дней. Баронет был склонен думать, что сам дух голода, покинув родные северные края, почтил его своим посещением, а мистер Кернегай, словно боясь хоть на мгновение оторваться от своего

дела, не смотрел ни вправо, ни влево и не говорил никому ни слова.

— Я рад, что вы с аппетитом едите наши деревенские кушанья, молодой джентльмен, — обратился к нему сэр Генри.

— Хлебец у вас недурен, сэр, — ответил паж, — а коли сыщется еще и мясо, так за аппетитом дело не станет. Но, по правде сказать, он у меня накопился уже дня за три, за четыре, а еды у вас на юге маловато, и достать ее мудрено; поэтому, сэр, я хочу наверстать упущенное, как сказал волынщик из Слиго, уплетая бараний бок.

— Вы выросли в деревне, молодой человек, — сказал баронет,

который, как было принято в его время, требовал от младшего поколения суровой дисциплины. — Впрочем, если судить по молодежи Шотландии, которую я в старину видел при дворе покойного короля, то аппетит у них был меньше, зато у них было больше.., больше...

Пока он подыскивал выражение помягче, чтобы заменить слова «хороших манер», гость закончил фразу по-своему:

— Больше еды — возможно; тут им повезло.

Сэр Генри посмотрел на него с изумлением и замолчал. Его сын считал нужным вмешаться.

— Дорогой отец, — сказал

он, — подумайте, сколько времени прошло с тридцать восьмого года, когда впервые начались волнения в Шотландии! Конечно,

неудивительно, что пока шотландские бароны непрерывно сражались на поле битвы то против одних врагов, то против других, воспитанием детей они, естественно, пренебрегали, поэтому ровесники моего друга лучше умеют владеть мечом или метать копье, чем учтиво вести себя в обществе.

— Причина достаточная, — согласился баронет, — и раз ты говоришь, что твой паж — мастер сражаться, у нас он, ей-богу, не будет терпеть недостатка в еде.

Посмотри, как свирепо он поглядывает на то холодное баранье филе; ради бога, положи ему это филе целиком на тарелку.

— Мне все годится — и кусок и упрек, — сказал достойный мистер Кернегай, — ведь голодной дворняжке пинок нипочем, коли его вместе с костью дают.

— Ну, Альберт, бог меня прости, пусть даже это сын шотландского пэра, — сказал сэр Генри Ли, понизив голос, — хоть у него и род старинный, и дворянство, и поместье в придачу, если оно у него есть, я бы не поменялся с ним манерами, даже будь я английский пахарь. Он съел, клянусь всем святым, добрых четыре

фунта мяса, вцепился в него зубами, как волк в мертвую лошадь. А, наконец: он собирается выпить! Так!

Обтирает губы и обмывает пальцы в полоскательнице, и — смотрите-ка! — салфетку берет! У него все-таки есть кое-какие манеры!

— Желаем всей честной компании доброго здоровья! — сказал благородный юноша и сделал глоток, соответствующий количеству проглоченной пищи.

Затем он неловко бросил нож и вилку на тарелку, оттолкнул ее на середину стола, вытянул ноги так, что уперся пятками в пол, сложил руки на плотно набитом животе и откинулся на спинку стула; по лицу

его было видно, что он собрался вздремнуть.

— Итак, достойный мистер Кернегай сложил оружие, — сказал баронет. — Уберите все это со стола и подайте бокалы. Налей всем, Джослайн, — и даже если бы сам дьявол и весь парламент были здесь и слушали нас, пусть бы они узнали, как Генри Ли из Дитчли пьет за здоровье короля Карла и за гибель его врагов!

— Аминь! — произнес чей-то голос за дверью.

Услышав столь неожиданный отклик, сотрапезники с удивлением переглянулись. Раздался особый внушительный стук, принятый у

роялистов, условный сигнал вроде масонского, по которому они, встретившись случайно, обычно узнавали друг друга и сообщали о своих политических убеждениях.

— Опасности нет! — заметил Альберт, знавший этот сигнал. — Это друг, но все-таки теперь я предпочел бы, чтобы он был подальше.

— А почему же, сын мой, чуждаться нам преданного человека, который, вероятно, хочет разделить нашу обильную трапезу? Ведь у нас не часто бывает лишнее! Пойди, Джослайн, посмотри, кто стучит, и если это надежный человек, безопасный,пусти.

— А если нет, — сказал Джослайн, — так я не позволю ему расстраивать честную компанию.

— Только не давай воли рукам, Джослайн, заклиная тебя, ты ответишь за это своей жизнью, — сказал Альберт Ли, а Алиса повторила за ним:

— Ради бога, не давай воли рукам.

— Во всяком случае, без надобности, — вставил достойный баронет, — а если потребуется, я ведь и сам могу доказать, что я хозяин в своем доме.

Джослайн Джолиф кивком дал понять, что согласен с обоими мнениями, и на цыпочках пошел

обмениваться с незнакомцем еще двумя-тремя таинственными знаками и сигналами, прежде чем открыть дверь.

Здесь нужно заметить, что такого рода тайные общества с разными условными сигналами существовали среди разнузданных и отчаянных роялистов, людей, привыкших к бесшабашной жизни в утратившей дисциплину армии, где все, что напоминало приказ или порядок, считалось признаком пуританства. Эти «горластые ребята» собирались в дешевых пивных и, когда им удавалось заполучить немного денег или небольшой кредит, объявляли, что будут

собираться постоянно, — им казалось, что они поддерживают контрреволюцию, — и они провозглашали словами одной из своих излюбленных песенок:

Не уйдем, все пропьем,
Короля на трон вернем!

Вожди роялистов и средние дворяне из старинных семей, люди более строгих нравов, не поощряли таких крайностей, но все же не упускали из виду этих отчаянных храбрецов, способных в случае нужды послужить проигранному делу монархии, и следили за кабачками и подозрительными

тавернами, где встречались эти
головорезы, подобно тому, как
оптовые торговцы знают места, где
собираются ремесленники, и могут
легко найти их в случае надобности.

Само собой понятно, что среди
низших классов, а иногда и среди
высших, попадались люди,
способные выдать намерения своих
сообщников и заговоры,
организованные хорошо или
неудачно, и донести обо всем
правителям государства. Кромвель, в
частности, завербовал таких агентов
среди роялистов самого высшего
круга; это были люди с
незапятнанной репутацией, которые,
если и стеснялись обвинить и выдать

отдельных лиц, без колебания сообщали правительству общие сведения, дававшие возможность раскрыть любой план и заговор.

Но вернемся к нашему рассказу. Гораздо скорее, чем мы успели напомнить читателю эти исторические подробности, Джолиф закончил таинственные переговоры и, убедившись в том, что ему отвечает один из посвященных, открыл дверь и впустил нашего старого друга Роджера Уайлдрейка; тот был в костюме пуританина, как того требовала безопасность и служба у полковника Эверарда. Впрочем, манера носить эту одежду изобличала в нем настоящего

кавалера, и если такой костюм обычно не очень-то ему шел, сейчас он составлял особенно резкий контраст с его манерой держаться и говорить.

Его пуританская шляпа, напоминая шляпу Ральфо на гравюрах к «Гудибрасу», или фетровый зонтик, как он ее называл, была лихо надета набекрень, словно испанская шляпа с пером; темный плащ простого покроя с квадратным капюшоном был игриво закинут на плечо, словно плащ из дорогой тафты на алой шелковой подкладке; он щеголял в своих огромных сапогах из телячьей кожи, словно в шелковых чулках и испанских башмаках,

украшенных розетками. Словом, у него был вид самого легкомысленного волокиты и кавалера, а самоуверенность взгляда и неподражаемая покачивающаяся походка выдавали его беспечный, самодовольный и легкомысленный нрав, составлявший весьма комичный контраст со строгой простотой одежды.

Впрочем, нельзя отрицать, что, несмотря на эти смешные стороны его характера и некоторую распущенность, приобретенную в молодости из-за злоупотребления городскими забавами, а потом в бесшабашной жизни солдата, у Уайлдрейка были качества,

внушавшие страх и уважение. Он был хорош собой, даже несмотря на вид дерзкого кутилы, весьма решителен и храбр, хотя его хвастливость иногда и давала повод сомневаться в его отваге, был неизменно искренним в своих политических убеждениях; правда, порой он так неосторожно высказывал их и бахвалился ими, что его поведение, вместе со службой у полковника Эверарда, вызывало у осторожных людей недоверие к его искренности.

Вот таким он и вошел в гостиную Виктора Ли; судя по его развязному виду, он был уверен в радушном приеме, хотя на самом деле его появление совсем не

обрадовало хозяев. Его
самоуверенности очень
способствовало одно особое
обстоятельство: если
жизнерадостный кавалер, согласно
своему обету воздержания, в тот
вечер и ограничился одним глотком
вина, это, несомненно, был глоток
очень глубокий и продолжительный.

— Спаси вас господь, джентльмены, спаси вас господь. Приветствую вас, достойный сэр Генри Ли, хотя едва ли я имею честь быть вам знаком. Приветствую вас, почтенный доктор, желаю вам скорого воскрешения погибшей англиканской церкви.

— Добро пожаловать, сэр, —

сказал сэр Генри, который по долгу гостеприимства и из братских чувств к преследуемому роялисту отнесся к его вторжению довольно добродушно. — Раз вы сражались или пострадали за короля, сэр, — это для вас достаточное основание явиться сюда и требовать от нас посильной помощи, хотя мы и собрались здесь в семейном кругу.

Но, если не ошибаюсь, вы служите у мистера Маркема Эверарда, у того, что называет себя полковником Эверардом? Если это он вас послал, вы, может быть, желаете говорить со мной наедине?

— Вовсе нет, сэр Генри, вовсе нет. Правда, как и все честные люди,

попав по воле злого рока в беду, — вы меня понимаете, сэр Генри, — я рад, так сказать, пользоваться поддержкой моего старого друга и товарища, не изменяя своим принципам и не отказываясь от них, сэр, — я презирал бы себя за это, — короче говоря, я оказываю посильные услуги, когда ему угодно обращаться ко мне. Вот я и приехал сюда с письмом от него к старому круглоголовому сукину сыну, — прошу прощения у этой молодой девицы, я глубоко уважаю ее от локонов до кончиков туфель.

Итак, сэр, я случайно вынырнул из темноты и вдруг услышал, как вы произносили тост, сэр, который

согрел мое сердце, сэр, и всегда будет согревать его, сэр, пока смерть его не заморозит; вот я и осмелился поставить вас в известность о том, что здесь вас услышал честный человек.

Так отрекомендовался мистер Уайлдрейк, а сэр Генри в ответ пригласил его сесть и выпить бокал вина за достославную реставрацию его величества.

Уайлдрейк тут же бесцеремонно уселся на стул возле молодого шотландца и не только поддержал тост хозяина, но и подчеркнул его значительность, исполнив два-три куплета из своей любимой роялистской песенки: «Король опять

свое вернет». Он пропел эту песню от всей души и еще более расположил к себе старого баронета, хотя Альберт и Алиса молча переглядывались, выражая недовольство этим вторжением и желание положить ему конец. Достойный мистер Кернегай или обладал счастливой невозмутимостью характера и не снисходил до того, чтобы обращать внимание на такие мелочи, или в совершенстве умел притворяться равнодушным; он сидел, потягивал вино и грыз орешки, как будто вовсе и не заметил, что к их обществу присоединился лишний человек. Уайлдрейк, которому пришлось по

душе и вино и компания, постарался отблагодарить хозяина оживленным разговором.

— Вы упомянули о борьбе и страданиях, сэр Генри Ли; видит бог, они всем нам выпали на долю.

Весь мир знает, как много сэр Генри сделал со времени сражения при Эджфилде всюду, где только обнажались мечи роялистов или развевался королевский флаг. Видит бог, у меня тоже есть кое-какие заслуги. Меня зовут Роджер Уайлдрейк из Скуоттлсимира, что в Линкольншире; может быть, вы и не слышали, но я был капитаном в легкой кавалерии Ленсфорда, а потом сражался под командованием

Горинга. Я прослыл пожирателем детей, сэр, убийцей младенцев.

— Я слышал о подвигах вашего полка, сэр, и если мы поговорим минут десять, может быть, окажется, что некоторые из них я видел собственными глазами.

И имя ваше, сдается мне, я тоже слышал. Пью за ваше здоровье, капитан Уайлдрейк из Скуоттлсимира, что в Линкольншире.

— Сэр Генри, я пью за ваше здоровье этот большой бокал, пью, опустившись на колени; я хочу выпить и за этого молодого джентльмена (он посмотрел на Альберта) и за сквайра в зеленой куртке, если считать ее зеленой —

цвет что-то трудно различить.

Во время этой сцены происходило, как говорят в театральной среде, параллельное действие: Альберт шепотом вел разговор с доктором Рочклифом, понижая голос даже больше, чем того хотел бы священник. К чему бы ни относился этот разговор, он не мешал молодому полковнику слышать все, что относилось к главному действию, и время от времени вставлять свое словцо, подобно тому как сторожевой пес чует малейшую тревогу, даже когда всецело занят процессом приема пищи.

— Капитан Уайлдрейк, —

сказал Альберт, — мы, то есть мой друг и я, не возражаем против того, чтобы быть общительными в подходящих обстоятельствах, по ведь вы, сэр, сами давно уже страдаете от неурядиц нашего времени и должны знать, что при таких случайных встречах, как эта, люди не называют своих имен, пока их особо об этом не спросят. Представьте себе, что ваш начальник, капитан Эверард, или полковник Эверард, если он действительно полковник, станет допрашивать вас под присягой: совесть ваша будет чиста, когда вы ответите — не знаю, кто предлагал такие-то тосты.

— Поверьте, у меня есть способ

получше, достойный сэр, — ответил Уайldreйк. — Я, хоть убейте, ни за что не вспомню, предлагались ли вообще эти тосты, — такой уж у меня странный дар забвения.

— Пусть так, сэр, — возразил младший Ли, — но у нас, к сожалению, память хорошая, и мы предпочитаем придерживаться общего правила.

— О, сэр, — ответил Уайldreйк, — согласен от всего сердца. Я не претендую ни на чье доверие, будь я проклят, и говорил это только потому, что хотел, как полагается, выпить за ваше здоровье.

Тут он затянул песню:

— Эй, наливай в стаканы, в
стаканы, в стаканы,

Эй, наливай в стаканы!

Ты трезвый на ногах стоишь,

На брюхо ляжешь пьяный, да,
пьяный, да, пьяный!

— Оставь его в покое, — сказал
сэр Генри, обращаясь к сыну. — У
мистера Уайлдрейка старая выучка,
он лихой кавалерист, и нам придется
потерпеть: пьют они здорово, но зато
и сражаются хорошо. Я никогда не
забуду, как однажды примчался их
отряд и выручил нас, оксфордских
грамотеев, — так они называли полк,
где я служил, — из дьявольской
переделки во время штурма

Брентфорда. Говорю вам, нас и с фронта и с тыла окружили вооруженные копьями мужланы, и нам бы плохо пришлось, но тут легкая кавалерия Ленсфорда — их прозвали «пожирателями детей» — бросилась в атаку прямо на копья и выручила нас.

— Я рад, что вы этого не забыли, сэр Генри, — вмешался Уайлдрейк, — а помните, что сказал офицер из их полка?

— Кажется, помню, — ответил сэр Генри, улыбаясь.

— Ну, так вот: когда нас обступили женщины и стали выть, как настоящие сирены, тут он и спросил:

«А нет ли у вас жирненького ребеночка нам на завтрак?»

— Сущая правда! — подтвердил баронет. — И какая-то огромная толстая баба вышла вперед с ребенком на руках и предложила его этому «людоеду».

Все сидевшие за столом, кроме мистера Кернегая, который, по-видимому, считал, что можно есть любую пищу, лишь бы она была вкусная, всплеснули руками от изумления.

— Да, — сказал Уайлдрейк, — вот стерва-то! Еще раз прошу прощения у барышни, от кончика ленты в волосах до подола юбки, — но эта проклятая тварь оказалась

приходской нянькой; она уже получила деньги на ребенка за полгода вперед. Черт побери, я вырвал младенца из рук этой волчицы и решил, хотя видит бог, что я и сам часто жил скудновато, воспитать храброго Завтрака — так я его с тех пор и называю.

Словом, я дорого заплатил за свою шутку.

— Сэр, я уважаю вас за гуманность, — сказал старый баронет, — сэр, благодарю вас за храбрость...

Сэр, я рад видеть вас здесь, — добавил он, и глаза его наполнились слезами. — Так это вы были тем отчаянным офицером, который

выручил нас из ловушки? О сэр, если бы вы хоть остановились, когда я вас окликнул, и позволили нашим мушкетерам очистить улицы Брентфорда, в тот день мы были бы в Лондон-Стоуне! Но вы-то, конечно, хотели нам добра.

— Да, это так и было, — сказал Уайldreйк, с торжествующим и гордым видом сидевший в своем кресле. — Так выпьем же за всех смельчаков, сэр, которые сражались и пали при штурме Брентфорда. Мы гнали перед собой все, как ветер мякину, пока нас не остановили лавочки, где продавали крепкие напитки и другие соблазнительные штуки. Ей-богу, сэр, у нас,

«пожирателей детей», было слишком много знакомых в Брентфорде, и наш доблестный принц Руперт всегда лучше умел идти вперед, чем отступать.

Боже мой, сэр, что до меня грешного, так я зашел к одной бедной вдове, у которой было много дочерей, — я давно ее знал, — только накормить лошадь, самому перехватить кусочек да еще кое-зачем, как вдруг эти мужланы, копыеносцы от артиллерии, как вы их метко называете, опомнились от страха и налетели на нас в своих шлемах, точь-в-точь котсуолдские бараны. Я стремглав сбежал с лестницы, вскочил на коня, но, черт

возьми, наверно у всех моих солдат тоже были в городе вдовы и сироты, их нужно было утешать, и собралось нас всего только пятеро.

Мы прорвались, и, черт возьми, джентльмены, я вез моего маленького Завтрака перед собой на седле.

Вдруг поднялся такой вой и визг, словно весь город решил, что я хочу убить, зажарить и съесть несчастного ребенка, как только доберусь до квартиры.

Но хоть бы один проклятый мужлан посмел подойдя поближе к моей доброй гнедой (вечная память бедняжке), хоть бы один попытался спасти малыша, они только знай себе улюлюкали и ругались.

— Увы, увy! — сказал баронет. — Мы казались всем хуже, чем на самом деле, да мы и вправду были совсем недостойны благословения господня, даже когда сражались за правое дело. Но зачем вспоминать прошлое!» Мы не заслужили и тех побед, которые бог нам посылал, потому что никогда не доводили дело до конца, как подобает добрым солдатам и христианам. Вот мы и позволили этим негодьям святошам одержать верх: они-то соблюдают дисциплину и порядок из лицемерия, а мы должны были бы соблюдать их по совести, раз уж боролись за правое дело.

Но вот вам моя рука, капитан. Я часто хотел увидеть того славного малого, который пришел нам на выручку и лихо атаковал врага, и я уважаю вас за то, что вы позаботились о ребенке. Я рад, что в этом, хоть и разоренном, замке есть чем вас попотчевать, правда, мы не можем предложить вам жареных младенцев или тушеных грудных детей, а, капитан?

— А ведь в самом деле, сэр Генри, на нас возводили такую тяжкую клевету. Я помню, Лэси — прежде он был актер, а потом стал лейтенантом в нашем полку — шутил на этот счет в одной пьесе; ее иногда играли в Оксфорде, когда на

душе у нас было повеселее; она, кажется, называлась «Старое войско».

Тут он почувствовал себя свободнее, так как все теперь узнали о его заслугах, и придвинул стул поближе к своему соседу-шотландцу, а тот отодвинулся так неловко, что задел Алису Ли, сидевшую напротив: она слегка обиделась, или, вернее, смутилась, и отодвинула свой стул от стола.

— Прошу прощения, — сказал достойный мистер Кернегай, — но, сэр, — добавил он, обращаясь к мистеру Уайлдрейку, — ведь я из-за вас побеспокоил эту молодую особу.

— Прошу у вас прощения, сэр, и

еще больше у прекрасной дамы, как оно и следует, но пусть меня повесят, сэр, если это я отпихнул ваш стул. Черт возьми, сэр, я ведь не болен ни моровой язвой, ни чумой и никакой другой заразной болезнью, что вы отодвигаетесь, как будто я прокаженный, и беспокоите даму, которую я рад защитить ценою своей жизни, сэр. Сэр, хоть вы и родились на севере, о чем свидетельствует ваш выговор, ей-богу, это я шел на риск, когда придвинулся к вам, а у вас нет никаких причин шарахаться от меня.

— Мистер Уайldreйк, — вмешался Альберт, — этот молодой человек — такой же посторонний, как вы, он находится под

покровительством сэра Генри и пользуется его гостеприимством. Моему отцу будет неприятно, если между его гостями вспыхнет ссора.

Быть может, внешний вид этого молодого джентльмена вводит вас в заблуждение — это достойный мистер Луи Кернегай, сэр, сын милорда Килстьюерса из Кинкардиншира; он сражался за короля, хоть еще и молод.

— Из-за меня не будет никаких ссор, из-за меня — ни в коем случае, — сказал Уайлдрейк, — вашего объяснения достаточно, сэр. Мистер Луи Гирниго, сын милорда Килстира из Грингарденшира, я ваш покорный слуга, сэр, и пью за ваше

здоровье в знак того, что уважаю вас и всех верных шотландцев, которые обнажали свои шпаги работы Андреа Феррара за правое дело, сэр.

— Премного вам обязан, благодарю вас, сэр, — сказал молодой человек слегка надменным тоном, который плохо вязался с его деревенским видом, — и почтительно желаю здравствовать.

Каждый благоразумный человек на этом и прекратил бы разговор, но у Уайлдрейка была такая особенность: когда все шло хорошо, ему обязательно нужно было испортить дело. Он продолжал досаждать неловкому и застенчивому, но гордому малому

своими замечаниями.

— Вы здорово говорите на своем национальном диалекте, мистер Гирниго, — сказал он, — но ваш язык не совсем такой, как у шотландских кавалеров, которых я знавал, например, у кое-кого из Гордонов и других, людей хорошо известных; они всегда произносили «ф» вместо «у», например, вместо «Уайт» говорили «Файт», вместо «Уильям» — «Фильям» и т.д.

Тут в разговор вмешался Альберт Ли, заметив, что в каждой шотландской провинции, так же как и в каждой английской, принято свое произношение.

— Вы совершенно правы, сэр, —

сказал Уайлдрейк, — я, к примеру, считаю, что неплохо говорю на их проклятом жаргоне — не в обиду будь вам сказано, молодой джентльмен, — но вот когда я как-то прогуливался с несколькими товарищами из полка Монтроза в южном Хайленде, как они называют свою дикую глушь (опять не в обиду вам будь сказано), а потом возвращался домой один и заблудился, я спросил у пастуха, да еще растянул рот как можно шире и заорал как можно громче: «Куда ведет эта дорога?»; разрази меня гром, если этот малый что-нибудь понял, а может быть, он просто обозлился — ведь эти деревенщины

вечно злятся на джентльменов со шпагой на боку.

Он говорил фамильярным тоном, обращаясь отчасти к Альберту, но главным образом к своему ближайшему соседу, молодому шотландцу, который то ли из застенчивости, то ли по какой-нибудь другой причине не очень хотел сходитья с ним ближе. Во время своей последней речи Уайлдрейк раз-другой даже слегка толкнул юношу локтем, чтобы привлечь его внимание, но тот ответил только:

— Когда люди говорят на национальных диалектах, само собой, тут могут случаться

недоразумения.

Уайлдрейк, который теперь опьянел значительно больше, чем полагается в приличном обществе, подхватил эту фразу и повторил:

— Недоразумения, сэр!.. Недоразумения! Не знаю, как это понять, сэр, но, судя по пластырям на вашей достойной физиономии, можно предположить, что недавно у вас было недоразумение с кошкой, сэр.

— В таком случае вы ошибаетесь, друг мой, недоразумение было с собакой, — сухо ответил шотландец и взглянул на Альберта.

— Нам пришлось повоевать со

сторожевыми псами: ведь мы приехали поздно, — объяснил Альберт, — и мой юный друг упал в кучу мусора; вот откуда эти царапины.

— А теперь, дорогой сэр Генри, — вмешался доктор Рочклиф, — позвольте напомнить вам о вашей подагре и о нашем долгом путешествии. Я напоминаю об этом еще и потому, что мой добрый друг, ваш сын, в течение всего ужина задавал мне в стороне немало вопросов, которые лучше бы оставить до завтра. Можем мы поэтому попросить разрешения удалиться на покой?

— Эти разговоры в сторонке во

время веселого ужина, — сказал Уайлдрейк, — нарушают правила поведения в обществе. Они всегда напоминают мне о проклятых совещаниях в Уэстминстере. Но неужели мы заберемся на насест, прежде чем спугнем филина веселой песней?

— А! Шекспира цитируешь? — сказал сэр Генри, довольный тем, что открыл еще одно достоинство в своем знакомом, чьи воинские доблести едва ли могли загладить бесцеремонность его поведения. — Во имя веселого Уила, — продолжал он, — которого я никогда не видел, хотя и знал многих его товарищей, например Аллена, Хемингса и

прочих, — мы споем одну песню и провозгласим еще один тост, а потом — в постель.

После обычных споров о том, какую песню петь и кому какой куплет, они хором затянули роялистский гимн, популярный в то время среди приверженцев короля и, вероятно, сочиненный не кем иным, как самим доктором Рочклифом.

ЗАСТОЛЬНАЯ В ЧЕСТЬ
КОРОЛЯ КАРЛА

Эй, налей нам вина!
Смело глядя во тьму,
Пьем за Карла до дна
И за верных ему!

Кавалеры, вперед!
Нам и смерть нипочем.
Сгинь навек, низкий сброд!
Здравье Карла мы пьем!

Пусть, как странник, бредет
Он по чуждой земле,
Пусть коварство плетет
Сеть крамолы во мгле,

И грозит вражья месть,
И опасность кругом —
За отвагу, и честь,
И за Карла мы пьем!

Одинок, сиротлив
Тост негромкий в ночи,
Но, колена склонив,

Мы сжимаем мечи,

Близок день, близок час,
Когда грянет, как гром,
Возле трона наш глас:
«Здравье Карла мы пьем!»

После такого проявления
верноподданнических чувств и
последнего возлияния все
попрощались друг с другом и
разошлись на покой. Сэр Генри
предложил своему старому
знакомому Уайldreйку переночевать
в замке, а тот ответил на его
предложение следующим образом:

— По правде-то сказать, патрон
будет ждать меня в городе, но он уже

привык, что я не прихожу ночевать. А потом ведь, говорят, в Вудстоке появляется дьявол, но, с благословения этого почтенного доктора, я плюю на самого черта и на все его дела. Я его не видел, когда дважды ночевал здесь прежде, и уверен, что, если уж тогда его не было, он не мог вернуться с сэром Генри и его семейством. Итак, я принимаю ваше предложение, сэр Генри, и благодарю вас, как кавалерист из полка Ленсфорда должен благодарить воинственного оксфордского грамотея. Господь благослови короля! Мне наплевать, если кто-нибудь это слышит, и разрази гром Нола и его красный

нос!

С этими словами он вышел, покачиваясь, в сопровождении Джослайна, которому Альберт шепотом приказал поместить его подальше от остальных членов семьи.

Затем молодой Ли поцеловал сестру и, соблюдая церемонии того времени, испросил благословения у отца, который ласково обнял его. Паж, кажется, не прочь был последовать его примеру, во всяком случае — по отношению к сестре, но Алиса ответила на его попытку только реверансом. Он неловко поклонился ее отцу, который пожелал ему спокойной ночи.

— Я рад видеть, молодой человек, — сказал он, — что вы по крайней мере научились почтительности к пожилым людям. За это вы всегда будете вознаграждены, сэр, потому что, поступая так, вы воздаете людям честь, которой сами будете ждать от них, когда приблизитесь к концу своей жизни. На досуге я еще поговорю с вами о ваших обязанностях пажа, эта должность прежде была подлинной школой рыцарства, тогда как теперь, в нынешние смутные времена, она стала чем-то вроде школы дикой и беспримерной распущенности, по поводу чего достойнейший Бен

Джонсон восклицает...

— Ну хорошо, отец, — прервал его Альберт, — примите во внимание, как мы сегодня устали, ведь бедный малый чуть не спит стоя; завтра он с большей пользой будет слушать ваши добрые поучения.

А вы, Луи, не забывайте по крайней мере хоть одну из ваших обязанностей — возьмите свечи и посветите нам. Вот идет Джослайн, он покажет дорогу. Еще раз доброй ночи, милый доктор Рочклиф, доброй ночи всем.

Глава XXI

Конюх

Привет мой королю.

Ричард

Привет вельможе.

*Мы вместе стоим
фартинг, не дорожке.*

«Ричард II» [note 36](#)

Джослайн повел Альберта и его пажа в так называемую испанскую комнату — огромную заброшенную старую спальню, где все уже обветшало, но сохранилось широкое ложе для гостя и низкая выдвигаемая кровать для слуги, — так было

принято даже в гораздо более позднее время в старых английских домах, отличавшихся особым гостеприимством. Предполагалось, что когда джентльмен ложится в постель, ему часто требуется помощь лакея, прислуживающего в спальне. Стены были обиты кордовской кожей, тисненной золотом, с изображением битв между испанцами и маврами, боя быков и других игр, излюбленных в той стране, по имени которой комната получила название испанской. В некоторых местах кожа была совсем ободрана, в других продырявилась и висела лохмотьями. Но Альберт не сделал по этому поводу никаких

замечаний; казалось, он спешил выпроводить Джослайна из комнаты; он наотрез отказался, когда тот предложил разжечь огонь или принести еще вина, и так же немногословно отвечал егерю на его пожелания доброй ночи. Наконец Джослайн удалился, хоть и неохотно, по-видимому считая, что молодой хозяин мог бы подольше поговорить с верным старым слугой после столь долгого отсутствия.

Едва лишь Джолиф вышел, Альберт Ли, прежде чем обменяться с пажом хоть одним словом, поспешно подошел к двери и как можно тщательнее запер ее, внимательно осмотрев замок,

щеколду и засов. Ко всем этим запорам он добавил еще длинный болт, который вынул из кармана и привинтил к скобе таким образом, что вытащить его и попасть в комнату можно было, только выломав дверь. Пока он, стоя на коленях, с большой точностью и ловкостью делал свое дело, паж держал ему свечу. Но, когда Альберт поднялся, их поведение по отношению друг к другу резко изменилось... У достойного мистера Кернегая, неуклюжего увальня, неотесанного шотландца, как будто сразу появились такие изящные и легкие движения и манеры, какие мог приобрести только человек, с

ранних лет вращавшийся в лучшем обществе своего времени.

Он передал Альберту свечу с непринужденной небрежностью вельможи — он как бы оказывал милость, а не доставлял затруднения, требуя такой пустячной услуги. Альберт с видом величайшего почтения взял на себя роль факелоносца и держал свечу перед своим пажом, не поворачиваясь к нему спиной, пока тот шел по спальне. Потом он поставил подсвечник на стол у изголовья кровати, приблизился к юноше и, низко поклонившись, принял от него грязную зеленую куртку с таким глубоким уважением, как будто он

был первый лорд-камердинер или другой придворный и помогал своему монарху снять мантию. Человек, к которому относились эти почести, минуточку-другую принимал их с глубокой серьезностью, но затем, прыснув со смеху, воскликнул:

— Черт побери! К чему такие церемонии? Ты носишься с этими жалкими лохмотьями, как будто это шелка и соболя, и с бедным Луи Кернегаем, как будто он — король Великобритании.

— Если согласно приказанию вашего величества и по воле обстоятельств я должен был на некоторое время забыть, что вы — мой государь, то мне, конечно,

позволительно воздать вам почести, подобающие монарху, пока вы находитесь в вашем собственном королевском дворце в Вудстоке?

— Правда, — ответил переодетый монарх, — дворец как раз под стать государю, эта рваная кожа на стенах и моя ветхая куртка изумительно подходят друг к другу. Неужели это Вудсток? Неужели это тот дворец, в котором царственный норманн пировал с прекрасной Розамундой Клиффорд? Да ведь это прямо место для слета сов!

Затем он вдруг опомнился и, как бы испугавшись» что оскорбил чувства Альберта, добавил со своей обычной любезностью:

— Но чем он заброшенное и уединеннее, тем больше он отвечает нашей цели, Ли, и если он похож на совиное гнездо, чего нельзя отрицать, то ведь мы знаем, что в нем вырастали орлы.

С этими словами он бросился на стул и небрежно, но милостиво принял заботливые услуги Альберта, который расстегнул ему грубые застёжки кожаных гамаш; тем временем принц говорил:

— Какой прекрасный образец людей старого закала ваш отец сэр Генри! Странно, что я не видел его раньше; зато я часто слышал от моего отца, что он принадлежит к цвету настоящего старинного дворянства

Англии. По тому, как он начал меня обучать, я угадываю, что он вас строго воспитывал, Альберт; в его присутствии, уверен, вы никогда не надевали шляпу?

— Во всяком случае, при нем, если вашему величеству угодно знать, я никогда не заламывал ее набекрень как делают теперь некоторые юнцы, — ответил Альберт. — Для этого шляпу мне пришлось бы носить из очень толстого фетра, иначе голова моя была бы разбита.

— О в этом я не сомневаюсь, — сказал король, — чудесный старик, но мне кажется, по лицу его видно, что он не стал бы жалеть розог для своего сына. Послушай, Альберт.

Предположи, что настанет эта самая славная реставрация, а если тосты могут ее ускорить, она должна быть не за горами, потому что в этом отношении наши приверженцы никогда не пренебрегают своим долгом; ну, так предположи, что она настанет, и твой отец, как ему и подобает, получит титул графа и станет членом Тайного совета, — ей-богу, дружище, я буду бояться его так же, как мой дед Генрих Четвертый боялся старого Сюлли. Представь себе, что при дворе появится такая штучка, как прекрасная Розамунда или La Belle Gabrielle [note 37](#): вот будет задача для пажей, лакеев и камердинеров — им придется

незаметно выпроваживать хорошенькую плутовку с черного хода, словно контрабанду, всякий раз, как в передней слышатся шаги графа Вудстока!

— Я рад видеть ваше величество таким веселым после столь утомительного путешествия.

— От усталости нет и следа, друг мой, — сказал Карл, — гостеприимство и хороший ужин все сгладили. Но твои родные, наверно, вообразили, что ты привел с собой волка с Баденохских холмов, а не двуногое существо, вмещающее обычное количество пищи. Мне, право, было стыдно за свой аппетит, но ты-то знаешь, что я уже целые

сутки ничего не ел, кроме сырого яйца, которое ты стащил для меня в курятнике у той старушки; право, я краснел за свою прожорливость в присутствии такого благовоспитанного и уважаемого старого джентльмена, твоего отца, и прелестной девушки, твоей сестры или кузины, — кем она тебе приходится?

— Она мне сестра, — сухо сказал Альберт Ли и тут же добавил:

— Аппетит вашего величества был как раз под стать неотесанному северянину. Угодно ли теперь вашему величеству отойти ко сну?

— Подождем минутку, — сказал король, не вставая со стула. — Да,

приятель, язык мой весь день был на привязи, мне пришлось гнусавить, как северянину, а кроме того, очень утомительно каждое слово произносить с акцентом, — черт возьми, да это все равно что ходить, как галерные каторжники, по земле с двадцатичетырехфунтовым ядром на ноге; тащить его они кое-как могут, но двигаться им трудно.

А между прочим, ты скупой отдаешь мне вполне заслуженную дань похвал за мое перевоплощение. Разве я не здорово сыграл роль Луи Кернегая?

— Если вашему величеству угодно знать мое искреннее мнение, быть может, мне будет простительно

сказать, что ваш говор был грубоват для знатного шотландского юноши, и вы казались, пожалуй, слишком уж неотесанным. И, по-моему, хотя я в этом и не большой знаток, некоторые шотландские слова звучали у вас не совсем правильно.

— Не совсем правильно? Тебе не угодишь, Альберт. Кому же и говорить на настоящем шотландском наречии, как не мне? Разве я не был их королем целых десять месяцев? И уж не знаю, какую мне это принесло пользу, если я даже не выучился их языку.

Разве восточная страна, и южная страна, и западная страна, и Хайленд не каркали, не квакали и не визжали

вокруг меня, причем по очереди преобладали глубокое гортанное, грубое протяжное произношение и высокий, пронзительный лай? Черт возьми, друг мой, разве их ораторы не произносили передо мной речи, разве ко мне не обращались их сенаторы, разве их священники не читали мне нравоучения? Разве я не сидел на покаянном стуле, друг мой, — тут он опять заговорил на северном наречии, — и только благодаря благосклонности достойного мистера Джона Гиллеспи мне разрешили нести покаяние у себя в комнате, вместо того чтобы каяться перед всей общиной?

И после этого ты станешь

утверждать, что я недостаточно хорошо говорю на шотландском диалекте, чтобы сбить с толку оксфордского баронета и его семью?

— Разрешите напомнить, ваше величество, я прежде всего сказал, что не могу быть судьей в отношении шотландского наречия.

— Стыдись, в тебе говорит только зависть; у Нортон ты заявил, что я был слишком вежлив и любезен для молодого пажа, а теперь считаешь меня грубоватым.

— А ведь существует некая середина, и ее нужно уметь уловить, — сказал Альберт, отстаивая свое мнение таким же тоном, каким король разбивал его, —

вот, например, сегодня утром, когда вы в женском платье переходили через речку, вы просто до неприличия подняли юбку — я обратил на это ваше внимание, и вы, чтобы поправить дело, когда переходили следующую речку, совсем не подобрали юбку и волочили ее по воде.

— О, черт побери женскую одежду! — сказал Карл. — Надеюсь, больше мне не придется в нее переодеваться. Да, уж такой я урод, что стоило мне надеть платье, чепец и юбку, как они вышли из моды навеки; даже собаки от меня убежали. Попади я в любую деревушку, где было бы хоть пять

хижин, не миновать мне позорного столба. Я очернил всю женскую половину рода человеческого. Эти кожаные штаны совсем не нарядные, но они все-таки *propria quae maribus* [note 38](#), и я очень рад, что они опять на мне.

Кроме того, могу тебе сказать, что я верну себе все свое мужское достоинство, если надену собственный костюм; и раз ты говоришь, что сегодня вечером я был уж слишком неотесан, завтра я буду вести себя с мисс Алисой как придворный. Я уже познакомился с ней, когда был одет женщиной, и обнаружил, что здесь поблизости имеются и другие полковники, кроме

вас, полковник Альберт Ли.

— С разрешения вашего величества, — начал было Альберт, но запнулся, так как не мог найти слов, чтобы выразить то, что было ему неприятно. Его чувства не ускользнули от Карла, но тот, не стесняясь, продолжал:

— Я так самонадеян, что, мне кажется, могу не хуже других заглянуть в сердце молодой особы, хотя, видит бог, эти сердца иногда бывают непостижимы даже для мудрейшего из нас. Я изображал гадалку и сказал твоей сестре, что она беспокоится об одном полковнике, — я думал, бедный простак, что раз девушка живет в

деревне, ей не о ком мечтать, кроме как о брате. Я угадал ее мысли, но не угадал, о ком она думает: я имел в виду тебя, Альберт, а покраснела она так, как из-за брата не краснеют. Вдруг она вскочила и упорхнула, как птичка. Я ей прощаю: я взглянул на свое отражение в источнике и решил, что если бы встретил такое чудище, то приказал бы сжечь его на костре. Ну, как ты думаешь, Альберт, кто бы мог быть этот полковник, которого твоя сестра любит больше тебя?

Альберт знал, что король относился к прекрасному полу скорее легкомысленно, нежели деликатно.

Он попытался положить конец

этому разговору и серьезно ответил.

— Сестра, — сказал он, — одно время воспитывалась вместе с сыном своего дяди по матери, Маркемом Эверардом, но его отец и он сам перешли на сторону круглоголовых, и наши семьи, конечно, разошлись, а всякие планы, которые могли существовать прежде, давно уже оставлены обеими сторонами.

— Ошибаешься, Альберт, ошибаешься, — возразил король, безжалостно продолжая шутить. — Все вы, полковники, хоть с голубыми, хоть с оранжевыми перевязями, такие красивые малые, что девушка не так-то легко вас забудет, если уже проявила к вам интерес. Но мисс

Алиса такая хорошенькая, а когда она говорила о реставрации, у нее был такой голос и такое лицо, ну просто ангел! Небеса не могут не внять ее молитве... Нет, нельзя допустить, чтобы она мечтала об этом круглоголовом ханже. Что ты скажешь? Позволишь ты мне поговорить с ней?, В конце концов я больше всех заинтересован в том, чтобы мои подданные заключали подобающие браки, и если мне удастся уговорить хорошенькую девушку, жениха уламливать не придется. Так поступал веселый король Эдуард, знаешь — Эдуард Четвертый.

Граф Уорик, делатель королей

— Кромвель своего времени, — не раз свергал его, но он владел сердцами всех веселых дам Лондона, и обыватели не жалели ни денег, ни крови, пока он снова не сажился на свое место. Как ты думаешь? Может быть, мне отбросить северный жаргон и поговорить с ней без маски, показать свое образование и манеры, чтобы они сгладили впечатление от моего безобразного лица?

— Позвольте, ваше величество, — сказал Альберт изменившимся, дрогнувшим голосом, — я никак не ожидал...

Тут он запнулся, не в силах найти слова, соответствующие его чувствам и в то же время достаточно

почтительные к королю, искавшему приюта в доме его отца.

— Чего не ожидал мистер Ли? — спросил Карл подчеркнуто серьезным тоном.

Альберт хотел было ответить, но произнес только:

— Я бы надеялся, с разрешения вашего величества, — и снова запнулся, потому что глубокое наследственное уважение к монарху и долг гостеприимства в дни невзгод короля не позволяли молодому роялисту открыто выразить свой гнев.

— На что надеется полковник Альберт Ли? — сказал Карл тем же сухим и холодным тоном. — Не

отвечаешь? Ну, так я надеюсь, что полковник Ли не сочтет веселую шутку чем-то обидным для чести его семьи: мне кажется, нехорошо будет по отношению к его сестре, к его отцу, да и к нему самому, если он не представит своим близким Карла Стюарта, которого он называет своим королем; я полагаю, меня не должны понять превратно и счесть меня способным забыть, что мисс Алиса Ли — дочь моего верного подданного и хозяина и сестра моего покровителя и защитника. Да ну же, Альберт, — добавил он, вдруг снова приняв свой обычный откровенный и непринужденный тон, — ты забыл, как долго я жил за границей, где

мужчины, и женщины, и дети болтают о любви и утром, и в полдень, и ночью и самое важное для них — как бы повеселее провести время; да и я забыл, что ты воспитан в старинных английских традициях, что ты настоящий сын сэра Генри и не понимаешь шуток на такие темы. Но если я тебя в самом деле обидел, Альберт, я искренне прошу прощения.

С этими словами он протянул руку полковнику Ли, который, поняв, что он слишком поспешно истолковал слова короля в дурном смысле, почтительно поцеловал ее и начал было извиняться.

— Ни слова, ни слова больше, —

добродушно сказал принц, поднимая
своего кающегося приверженца,
когда тот хотел опуститься на
колени, — мы понимаем друг друга.
Тебя немного пугает слава
весельчака, которую я приобрел в
Шотландии, но, поверь мне, в
присутствии мисс Алисы Ли я буду
таким глупым, как только ты или
твой кузен полковник можете
пожелать, и обращу свои ухаживания,
коли уж мне захочется за кем-нибудь
приволокнуться, к хорошенькой
камеристке, которая прислуживала за
ужином, — если только ты уже не
предъявил на нее свои права,
полковник Альберт.

— Права на нее уже предъявили,

только не я, а, с разрешения вашего величества, Джослайн Джолиф — егерь, которого не надо обижать, раз мы уже так много ему доверили, а может быть, нам придется даже полностью ему открыться. Он, кажется, подозревает, кто такой в действительности Луи Кернегай.

— Так, значит, вудстокские волокиты уже все захватили, — со смехом сказал король. — Ну, а если бы мне вздумалось (а французу в подобном случае наверняка бы вздумалось), за неимением лучшего, шептать нежные речи глухой старухе, которую я видел на кухне, то мне, наверно, сказали бы, что ее уши уже поступили в исключительное

пользование доктора Рочклифа?

— Я восхищен хорошим настроением вашего величества, — сказал Альберт. — После всех опасностей, трудов и приключений сегодняшнего дня вы еще находите в себе силы так шутить.

— Другими словами, камердинер хочет, чтобы его величество пошел спать? Хорошо, еще два слова о серьезных делах, и я лягу. Я полностью доверился тебе и доктору Рочклифу. Я мгновенно переоделся из женского платья в мужское и вместо Хэмпшира решил укрыться здесь. Ты по-прежнему считаешь, что это правильный путь?

— Я всецело доверяю доктору

Рочклифу, — ответил Альберт, — он связан с разбросанными повсюду роялистами и получает самые точные сведения. Он гордится своими обширными связями и действительно только и живет сложными заговорами и планами, задуманными с целью служить вашему величеству; но его тщеславие не уступает его проницательности.

Я очень надеюсь и на Джолифа. Об отце и сестре я не скажу ничего; и все-таки я не стал бы без надобности открывать инкогнито вашего величества и сделал бы это только для самого узкого круга верных людей.

— Красиво ли будет с моей

стороны, — помолчав, возразил Карл, — не оказать полного доверия сэру Генри Ли?

— Ваше величество слышали, что вчера с ним случился тяжелый обморок; не надо торопиться сообщать ему то, что может его сильно взволновать.

— Это верно; но не угрожает ли нам посещение красномундирников? Их ведь пропасть и в Вудстоке и в Оксфорде, — спросил Карл.

— Доктор Рочклиф считает, и не без основания, — ответил Альберт, — что, когда печь дымит, лучше сидеть поближе к огню: Вудсток только недавно занят конфискаторами, расположен он

поблизости от военных лагерей; он вызовет меньше подозрений, и искать здесь будут не так тщательно, как в более отдаленных углах, где, казалось бы, можно чувствовать себя в большей безопасности. Кроме того, — добавил он, — У Рочклифа есть интересные и важные новости об обстановке в Вудстоке, и они говорят в пользу того, чтобы ваше величество скрывались во дворце дня два-три, пока для вас не подготовят корабль. Парламент или захвативший власть Государственный совет послал сюда конфискаторов; нечистая совесть, может быть с помощью нескольких отважных роялистов, выгнала их из замка, и у

них нет особого желания сюда возвращаться. Тогда самый страшный узурпатор, Кромвель, пожаловал свидетельство на управление замком полковнику Эверарду, и тот использовал его только с целью поселить здесь своего дядю, а сам остался в городке и лично наблюдает за тем, чтобы сэра Генри не беспокоили.

— Как! Полковник мисс Алисы! — воскликнул король. — Это тревожное известие; даже если он не пускает сюда тех молодцов, не думаешь ли ты, мистер Альберт, что у него будет сотня предлогов в день, чтобы самому являться сюда?

— Доктор Рочклиф говорит, —

ответил Альберт, — что по договору между сэром Ли и его племянником тот не имеет права приближаться к замку, если его не пригласят, — и в самом деле, ведь уговорить моего отца вернуться в Вудсток удалось с большим трудом, и лишь тогда, когда ему доказали, насколько это может быть полезным для дела вашего величества; но будьте спокойны, он не собирается посылать приглашение полковнику.

— Будьте и вы спокойны, полковник приедет, не ожидая приглашения, — сказал Карл. — Человек не может правильно судить, когда дело касается его сестры: он слишком близко знает магнит, чтобы

судить о его притягательной силе. Эверард будет здесь, его словно на канате притянут; его не удержат оковы, не то что обещания, а значит, я думаю, нам грозит некоторая опасность.

— Надеюсь, что нет, — возразил Альберт. — Во-первых, я знаю, что Маркем — хозяин своего слова, а кроме того, если в крайнем случае он окажется здесь, я надеюсь, что сумею выдать вас за Луи Кернегая.

И потом, хоть мы с кузеном и не ладили последние годы, я уверен, что он не способен предать ваше величество; и, наконец, если бы я заметил малейшую опасность такого рода, то будь он десять раз сын

сестры моей матери, я пронзил бы его шпагой прежде, чем он успел бы осуществить свое намерение.

— Еще один вопрос, — сказал Карл, — и я отпущу вас, Альберт. Вы, кажется, считаете, что вас не будут здесь искать. Быть может, это и так, но если эту сказку о домовых узнают в какой-нибудь другой стране, в замок устремятся священники и вершители правосудия, чтобы проверить правдивость этих рассказней, и толпы бездельников, желающих удовлетворить свое любопытство.

— Что касается первого, сэр, то мы надеемся на влияние полковника Эверарда — он не допустит

немедленного расследования, не позволит нарушать покой семьи своего дяди; а насчет того, чтобы явился кто-то без особых полномочий, надо сказать, что все по соседству так любят и боятся моего отца и к тому же так напуганы вудстокскими домовыми, что страх пересилит любопытство.

— Словом, кажется, мы в безопасности, — заключил Карл, — и, значит, наш план правильный; на большее я не могу и надеяться, раз полная безопасность невозможна. Епископ рекомендовал доктора Рочклифа как одного из самых изобретательных, смелых и преданных монархии сынов

англиканской церкви; ты, Альберт Ли, доказал свою верность в сотне испытаний. Я доверяюсь вам и вашему знанию местных условий. А теперь приготовь наше оружие — живым я не сдамся, — хоть я и не верю, что сыну короля Англии и наследнику его трона может грозить опасность в его собственном дворце, когда он находится под охраной преданного монархии семейства Ли.

Альберт Ли положил шпаги и заряженные пистолеты у изголовья обеих постелей, и Карл, для виду немного поспорив, улегся в более широкую и удобную постель с блаженным вздохом человека, давно не пользовавшегося такой

благосклонностью судьбы.

Он пожелал доброй ночи своему верному помощнику, который устроился на своей выдвижной кровати; и оба, монарх и подданный, вскоре крепко заснули.

Глава XXII

*Сэр Трелкелд, слава и
хвала*

*Тебе за Добрые дела,
За то, что с
нежностью отца*

*Пригрел заблудшего
птенца!*

*Дуб величавый средь
лугов,*

*Ты дал ему надежный
кров*

*И спас от коршунов и
сов.*

Вордсворт

Несмотря на опасность, царственный беглец спал глубоким сном, каким спят только юные и очень усталые люди. Но молодой роялист, его покровитель и защитник, провел не такую спокойную ночь; время от времени он поднимался и прислушивался. Несколько успокоенный уверениями доктора Рочклифа, он все-таки хотел и сам лучше выяснить окружающую обстановку.

Он встал на рассвете и хотя старался двигаться как можно тише, преследуемый принц, спавший очень чутко, сразу приподнялся на постели и спросил, не было ли ночью тревоги.

— Не было, ваше величество, — ответил Ли, — просто я размышлял о вопросах, которые ваше величество задавали мне вчера вечером, и опасался, что какие-нибудь непредвиденные случайности могут поставить под угрозу безопасность вашего величества.

Поэтому я решил пораньше поговорить с доктором Рочклифом и подобающим образом обследовать место, где сейчас сосредоточены все надежды Англии. Боюсь, что ради безопасности вашего величества мне придется просить вас, чтобы вы были так добры и сооблаговолили собственноручно запереть за мною дверь.

— О, ради бога, не называй меня величеством, дорогой Альберт, — ответил злосчастный король, тщетно пытаясь натянуть на себя одежду, чтобы пройти по комнате. — Когда камзол и штаны у короля изорваны до того, что он не знает, куда просунуть руки и ноги, и путается, как будто бродит без проводника по Динскому лесу, ему, по чести, приходится отказаться от титула величества, пока не удастся поправить свои дела. А кроме того, вдруг эти громкие слова вылетят у тебя неожиданно и их услышат такие уши, которых нам с тобой следует остерегаться.

— Ваше приказание будет

исполнено, — ответил Ли, отпирая дверь; он вышел, оставив в комнате короля, который, кое-как завернувшись в свою одежду, пробежал по полу, чтобы снова заложить засов; уходя, Альберт попросил его ни при каких обстоятельствах не открывать дверь, если только король не узнает по голосу его самого или Рочклифа.

Затем Альберт начал разыскивать покои доктора Рочклифа, известные только их хозяину и верному Джолифу: эти покои уже неоднократно служили убежищем достойному священнику, когда смелость и энергия толкали его на сложные и опасные заговоры в

пользу короля, вызывавшие преследования со стороны республиканской партии. В последнее время за ним совсем перестали следить, потому что он из осторожности оставался в тени. После поражения под Вустером он снова рьяно принялся за старое; через своих друзей и сообщников, в особенности через епископа ***-ского, он убедил короля бежать в Вудсток, хотя до самого дня его прибытия не мог обещать ему безопасности в этом старом замке.

Как Альберт Ли ни уважал бесстрашный ум и находчивость предприимчивого и неутомимого священника, он все же считал, что

тот не подготовил его к ответам на вопросы, заданные Карлом накануне; Альберт не дал на них определенного ответа, которого можно было требовать от того, кто был обязан охранять короля; теперь он поставил себе цель самому, если возможно, всесторонне ознакомиться с обстоятельствами столь важного дела, как и подобает человеку, на которого должна была лечь такая огромная ответственность.

Хоть он и хорошо знал замок, ему едва ли удалось бы отыскать тайное убежище доктора, если бы, пока он шел по темным коридорам, поднимался и спускался по нескольким, казалось бы, никуда не

ведущим лестницам, проходил через кладовые и люки и т. д., ему не помог приятный запах жареной дичи, который привел его к той *sanctum sanctorum* [note 39](#), где Джослайн Джолиф торжественно подавал почтенному доктору завтрак: дичь с кружкой легкого пива, настоянного на веточке розмарина, которое доктор Рочклиф предпочитал всем крепким напиткам. Подле него, облизываясь, сидел Бевис; он глядел умильно и взволнованно, потому что соблазнительный запах пищи победил присущее ему чувство собственного достоинства.

Комната, где поселился доктор Рочклиф, представляла собой

небольшое восьмиугольное помещение с толстыми стенами, в которых было проделано несколько выходов, ведущих по разным направлениям в разные части замка. Вокруг доктора стояли ящики с оружием, а поближе к нему — небольшой бочонок с порохом; на столе — кипы бумаг и несколько ключей для шифрованной переписки; тут же лежали два или три свитка, исписанные иероглифами — Альберт принял их за гороскопы, — и стояли модели разных машин, в устройстве которых доктор Рочклиф был весьма сведущ. Там же находились всякие инструменты, маски, плащи, потайной фонарь и

множество таинственных предметов, необходимых для смелого заговорщика в опасные времена. Наконец, там была шкатулка с золотыми и серебряными монетами разных стран — доктор Рочклиф небрежно оставил ее открытой, как будто вовсе о ней не заботился, хотя вообще весь его образ жизни свидетельствовал о стесненных обстоятельствах, если не о настоящей бедности. Возле тарелки лежали библия и молитвенник, а также несколько так называемых корректурных листов, очевидно только что вышедших из типографского станка. Под рукой у него были также шотландский

кинжал, мушкет и пара изящных карманных пистолетов. Посреди этой разнокалиберной коллекции сидел доктор, с большим аппетитом поглощавший свой завтрак и так же мало встревоженный тем, что вокруг него была разложена столь грозная утварь, как рабочий, привыкший к опасностям на пороховом заводе.

— А, молодой человек, — сказал он, вставая и протягивая руку, — ну что, вы пришли завтракать, как добрый приятель, или хотите и сегодня утром испортить мне аппетит, как испортили вчера за ужином неуместными вопросами?

— Я всей душой рад погрызть с вами косточки, — ответил

Альберт, — и если вы не прогневаетесь, доктор, я задам вам несколько вопросов, которые кажутся мне не совсем неуместными.

С этими словами он сел и помог доктору как следует разделаться с парой диких уток и с тремя чирками. Бевис, терпеливо сидевший на месте, получил свою долю мяса, которое тоже нашлось на обильно уставленном столе; как большинство породистых собак, он ни за что не стал бы есть водяную дичь.

Как только Джолиф удалился, доктор положил нож и вилку на стол и сдернул с шеи салфетку.

— Послушай, Альберт Ли, — сказал он, — ты все тот же мальчик,

как в те времена, когда я был твоим наставником: ты никогда не удовлетворялся тем, что я давал тебе правило грамматики, и всегда преследовал меня вопросами, почему это правило именно такое, а не другое, всегда стремился получить сведения, которых ты еще не мог понять, так же как Бевис сейчас облизывался и скулил, чтобы ему дали крылышко дикой утки, которое он не станет есть.

— Надеюсь, вы убедитесь, что я образумился, доктор, — ответил Альберт, — и к тому же вспомните. что я теперь уже не *sub ferula* [note 40](#) и нахожусь в обстоятельствах, не позволяющих мне действовать в

соответствии с чьим-нибудь ipse dixit [note 41](#), если сам не буду уверен в том, что это правильно. Меня придется повесить, колесовать и четвертовать, и поделом, если по моей оплошности случится несчастье.

— Вот именно поэтому, Альберт, я буду просить тебя целиком довериться мне и ни во что не вмешиваться. Спору нет, ты больше не находишься sub ferula, но помни: пока ты сражался на поле брани, я устраивал заговоры в своем кабинете; я всегда знаю все маневры друзей короля и все действия его врагов, так же как паук знает каждую петлю своей паутины.

Подумай о моем опыте, друг

мой. Нет ни одного роялиста в стране, который не слышал бы о Рочклифе-заговорщике. Я был главной пружиной в каждом деле начиная с сорок второго года — сочинял декларации, вел переписку, поддерживал связь с вождями, набирал приверженцев, добывал оружие, собирал деньги, устраивал встречи. Я участвовал в западном восстании, а до того готовил «Петицию лондонского купечества», был замешан в мятеже сэра Джона Оуэна в Уэльсе, короче — почти в каждом выступлении в пользу короля, начиная с дела Томкинса и Челлонера.

— Но ведь все эти заговоры не

имели успеха, — заметил Альберт, — а Томкинса и Челлонера повесили, доктор?

— Да, мой юный друг, — ответил доктор, — как и многих других, кто действовал вместе со мной; но только потому, что они не следовали беспрекословно моим советам. Ведь самого-то меня не повесили.

— Все может случиться, доктор, — сказал Альберт. — Повадился кувшин по воду ходить... Пословица, как сказал бы мой отец, попахивает плесенью.

Но у меня есть голова на плечах, и, как я ни уважаю церковь, я не могу полностью согласиться с принципом

слепого повиновения. Одним словом, я скажу вам, по каким пунктам мне необходимо получить объяснения, и выбирайте: или вы дадите эти объяснения, или сообщите королю, что не станете раскрывать свои планы; а в таком случае, если он последует моему совету, то покинет Вудсток и вернется к своему прежнему намерению — без промедления пробираться к берегу моря.

— Ну хорошо, — сказал доктор, — задавай свои вопросы, Фома неверный, и если я смогу ответить, не обманув ничьего доверия, то отвечу.

— Во-первых, что это за

история с духами, колдовством и привидениями? И считаете ли вы безопасным для его величества находиться в доме, где творятся подобные дела, все равно — подлинные или подстроенные?

— Ты должен удовольствоваться моим ответом, который я тебе даю *in verbo sacerdotis* [note 42](#): происшествия, о которых ты говоришь, больше не повторятся в Вудстоке, пока здесь будет находиться король. Я не могу дать более подробных объяснений, но за это я ручаюсь головой.

— Стало быть, — сказал Ли, — мы должны удовольствоваться порукой доктора Рочклифа в том, что дьявол оставит нашего государя в

покое? Хорошо.

Дальше: вчера почти весь день вокруг дома рыскал, а может быть, и ночевал здесь, какой-то Томкинс, ярый республиканец и секретарь или писец, или что-то в этом роде, цареубийцы и пса Десборо. Этот Томкинс хорошо всем известен: он с жаром произносит напыщенные религиозные проповеди, но в мирских делах это человек практичный, хитрый и корыстный, как и любой из этих мошенников.

— Будь спокоен, мы воспользуемся мерзким фанатизмом этого подлеца, чтобы перехитрить его. Ребенок может повести за собой свинью, если догадается продеть ей в

ноздри кольцо и привязать к нему веревку, — ответил доктор.

— Вас тоже могут провести, — сказал Альберт, — теперь много развелось таких людей, у которых взгляды на духовные и светские дела настолько различны, что они похожи на косоглазого: один глаз косой, не видит ничего, кроме кончика носа, а другой совсем не страдает этим недостатком и видит хорошо, остро и четко все, на что ни посмотрит.

— А мы завяжем ему здоровый глаз, — сказал доктор, — и он сможет пользоваться только неполноценной оптикой. Нужно тебе сказать, что этому чудаку всегда мерещилось больше привидений, чем

кому-либо, и самых отвратительных; в этом отношении он трусливее кошки, хоть и довольно смел перед земными противниками. Я поручил его Джослайну Джолифу: тот так его напоит и наговорит ему столько сказок о привидениях, что он не поймет, в чем дело, даже если ты в его присутствии провозгласишь реставрацию короля.

— Но зачем же вообще держать здесь такого негодяя?

— О, сэр, успокойтесь, он ведет тут наблюдение.

Это нечто вроде посла своих достойных хозяев, и пока они получают все сведения из Вудстока через своего Верного Томкинса,

никакое вторжение нам не угрожает.

— Я хорошо знаю честность Джослайна, — сказал Альберт, — и если он мне поручится, что следит за этим чудаком, я на него положусь. Правда, он не понимает всей важности дела, но если сказать ему, что для меня это вопрос жизни, уж он будет глядеть в оба. Итак, продолжаю: а что, если сюда нагрянет Маркем Эверард?

— Он дал честное слово, что не покажется в замке, — ответил Рочклиф, — это честное слово нам передал его друг. Вы думаете, он может его нарушить?

— Я считаю, что па это он неспособен, — ответил Альберт, —

и, кроме того, думаю, что, даже если бы до Маркема дошли какие-нибудь сведения, он не употребил бы их во зло. Но храни нас бог от необходимости доверить столь дорогое дело еще одному человеку, да еще стороннику парламента!

— Аминь! — отозвался доктор. — Все ли твои сомнения рассеялись?

— У меня осталось одно сомнение, — ответил Альберт, — относительно того нахального хвастуна, который называет себя роялистом. Он влез вчера в нашу компанию и обворожил моего отца своими рассказами о штурме Брентфорда, которого, я уверен, он

никогда не видел.

— Тут ты ошибаешься, дорогой Альберт, — возразил Рочклиф, — Роджер Уайлдрейк, хоть я только недавно узнал его имя, дворянин, воспитывался в юридическом колледже и истратил все свое состояние на службе у короля.

— Или, скорее, на службе у дьявола, — сказал Альберт. — Именно такие шалопаи опускаются от вольностей военной жизни до праздного разврата и распутства, плодят в стране разгул и грабеж, орут в дешевых пивных и погребках, где спиртные напитки продаются до полуночи, и своей неистовой божбой, буйной приверженностью королю и

пьяной удалью внушают приличным людям отвращение к самому слову «роялист».

— Увы! Это совершенно верно, — сказал доктор, — но может ли быть иначе? Когда высшие и образованные классы бедствуют и смешиваются с низшими так, что их невозможно различить, они теряют самые пенные признаки своего высокого происхождения в этом всеобщем смешении нравов и поступков, подобно тому как горсть серебряных медалей стирается и тускнеет, если их свалить в одну кучу с простыми медяками. Даже первая из всех медалей, которую мы, роялисты, так охотно носили бы у

самого сердца, и та, быть может, не совсем избежала порчи. Но пусть об этом говорят другие языки, а не мой.

Выслушав эти объяснения доктора Рочклифа, Альберт Ли в раздумье замолчал.

— Доктор, — сказал он, — хотя иные и обвиняют вас в том, что вы иногда уж слишком стараетесь вовлекать людей в опасные затеи, все признают...

— Бог да простит тем, кто судит обо мне так превратно, — сказал доктор.

— ..все признают, что, несмотря на это, вы сделали для короля и пострадали за него больше, чем кто-либо из людей вашего сана.

— Они лишь отдают мне
должное, — сказал Рочклиф, — одно
лишь должное!

— Поэтому я готов держаться
вашего мнения, если, приняв во
внимание все, вы считаете, что для
нас остаться в Вудстоке безопасно.

— Вопрос не в этом, —
возразил священник.

— А в чем же? — возразил
молодой человек.

— А в том, можно ли найти
другую, более безопасную линию
поведения. К сожалению, я должен
сказать, что мы можем только
сравнивать — выбрать меньшее зло.
Об абсолютной безопасности, увы,
не может быть и речи. Итак, я

утверждаю, что Вудсток, в настоящее время все же укрепленный и охраняемый замок, — самое надежное укрытие, какое только можно сейчас найти.

— Довольно, — заявил Альберт, — я полагаюсь на вас как на человека, чей опыт в столь важных делах глубже и шире, чем могут быть мои знания, не говоря уже о ваших годах и вашей мудрости.

— И хорошо делаешь, — ответил Рочклиф. — Если бы и другие относились с таким же недоверием к своим собственным знаниям и полагались на компетентных лиц, наш век только выиграл бы. Вот почему Разум запирается в крепости,

а Мудрость скрывается в высокой башне. (Тут он с самодовольным видом окинул взглядом свою келью.) Мудрец предвидит бурю и прячется.

— Доктор, — сказал Альберт, — пусть ваша дальновидность послужит на пользу тому, чья жизнь гораздо более драгоценна, чем наша с вами. Позвольте вас спросить, как вы считаете, должен ли наш драгоценный подопечный находиться вместе с моей семьей или скрываться в одном из укромных уголков замка?

— Гм, — ответил доктор с задумчивым видом, — я думаю, что ему безопаснее всего оставаться в роли Луи Кернегая и держаться поближе к тебе...

— Боюсь, что мне придется уехать подальше, чтобы меня видели где-нибудь в отдаленной части страны, иначе, если они приедут искать меня здесь, они найдут кое-кого поважнее.

— Сделай милость, не перебивай меня!.. Держаться поближе к тебе или к твоему отцу и не удаляться от гостиной Виктора Ли, — оттуда он, как ты знаешь, в случае опасности может быстро ускользнуть.

Мне кажется, в настоящее время это будет самое лучшее. Я надеюсь получить известие о корабле сегодня или в крайнем случае завтра.

Альберт Ли простился с этим

деятельным, но упрямым человеком, дивясь тому, что подобные интриги стали для доктора чем-то вроде стихии, которой он, казалось, наслаждался, несмотря на слова поэта о страхах, заполняющих время между возникновением заговора и его осуществлением.

Возвращаясь из святилища доктора Рочклифа, он встретил Джослайна, который в беспокойстве искал его.

— Молодой шотландский джентльмен, — сказал он таинственно, — встал, услышал за дверью мои шаги и позвал меня к себе в комнату.

— Хорошо, — ответил

Альберт, — сейчас я иду к нему.

— Он потребовал чистое белье и одежду. И знаете, сэр, он похож на человека, привыкшего, чтобы ему повиновались; ну, я и принес ему костюм, который как раз оказался в гардеробе в западной башне, и кое-что из вашего белья; а когда он оделся, то приказал мне проводить его к сэру Генри Ли и к молодой госпоже. Я хотел было ему сказать, что надо подождать, пока вы вернетесь, но он добродушно потаскал меня за волосы (право, он любит пошутить) и сказал, что он гость мистера Альберта, а не его пленник; и вот, сэр, хоть я и подумал, как бы вы не стали гневаться, что я

выпустил его из комнаты, и он, чего доброго, попадется на глаза тем, кто не должен бы его видеть, но что я мог ему сказать?

— Ты смысленный малый, Джослайн, и всегда понимаешь, что от тебя требуется. Боюсь, что этому юноше никто из нас не сможет приказывать, но мы должны самым пристальным образом следить за его безопасностью. Ты хорошо смотришь за этим плутом секретарем, который всюду сует свой нос?

— Уж предоставьте его мне и на этот счет будьте спокойны. Но, сэр, лучше бы молодой шотландец опять надел свою старую одежду, а в вашем костюме для верховой езды, который

на нем теперь, у него такой вид, что можно кое о чем догадаться.

По тому, как выражался верный слуга, Альберт понял, что он подозревает, кто такой в действительности шотландский паж; однако он не счел возможным открывать ему столь важную тайну, хотя в обоих случаях — доверился ли бы он Джолифу полностью или предоставил ему только догадываться — Альберт мог совершенно на него положиться. С этими беспокойными мыслями он направился в гостиную Виктора Ли, где, как сказал Джослайн, собрались все обитатели замка. Когда он взялся за ручку двери, послышался смех, и

он даже вздрогнул, так сильно смех этот противоречил его собственным сомнениям и печальным думам. Он вошел и увидел, что отец его, в прекрасном настроении, смеется и весело болтает со своим юным гостем; внешний вид гостя и в самом деле резко изменился к лучшему: трудно было поверить, что отдых, умывание и приличный костюм могли так преобразить его в столь короткое время.

Однако это нельзя было приписать только перемене платья, хотя и одежда, конечно, имела свое значение.

Луи Кернегай (мы продолжаем называть его этим вымышленным

именем) и сейчас был одет весьма скромно. На нем был костюм для верховой езды из серого сукна, кое-где обшитый серебряным галуном, такой, какие носили провинциальные дворяне того времени. Но случайно костюм оказался ему совсем впору и шел к его смуглому лицу, в особенности теперь, когда он держал голову выше и вел себя не только как хорошо воспитанный, но и как вполне светский джентльмен. Неуклюжее прихрамывание превратилось в слегка неровную походку, которую в те опасные времена легко сочли бы следствием раны; она могла скорее заинтересовать, нежели произвести

невыгодное впечатление. Наконец, для знатного пешехода это было самое изысканное средство напомнить о том, что он совершил очень трудное путешествие.

Черты скитальца были по-прежнему резки, но он сбросил свой всклокоченный рыжий парик, а черные спутанные волосы с некоторой помощью Джослайна превратились в кудри, из-под которых сияли прекрасные черные глаза, вполне соответствовавшие выразительному, хоть и некрасивому лицу. В разговоре он отбросил всю грубость диалекта, которую так подчеркивал накануне, и хотя продолжал говорить с акцентом

жителей Шотландии, чтобы не выйти из роли молодого дворянина этой страны, от такого акцента его речь уже не становилась неуклюжей и неразборчивой, а только приобретала национальный колорит, соответствовавший той роли, которую он играл. Никто на свете не мог быстрее его приспособиться к любому обществу; в изгнании он познакомился с жизнью во всех ее оттенках и разнообразии; его характер, если и не всегда ровный, отличался гибкостью — он усвоил себе ту разновидность эпикурейской философии, которая даже среди величайших трудностей и опасностей позволяла ему

наслаждаться каждой минутой спокойствия и радости; короче, как в юные годы, во время своих невзгод, так и впоследствии, когда он стал королем, это был веселый, жестокосердный сластолюбец, мудрый, если не поддавался своим страстям, щедрый, если расточительность не лишала его средств или предрассудки не лишали желания оказывать милости; его недостатки часто могли бы вызвать ненависть, но они сглаживались такой любезностью, что обиженные люди не могли по-настоящему на него сердиться.

Когда Альберт Ли вошел в гостиную, он застал все общество —

своего отца, сестру и мнимого пажа за завтраком; сам он тоже сел с ними за стол. Он задумчиво и с сомнением смотрел на все, что происходило, в то время как паж, уже полностью завоевавший сердце достойного старого дворянина своими пародиями па шотландского священника, проповедующего в пользу своего благодетеля маркиза Аргайла или в пользу Национальной Лиги и Ковенанта, теперь пытался заинтересовать прекрасную Алису разными историями, и в том числе такими рассказами о военных подвигах и опасностях, которые со времен Дездемоны нисколько не потеряли своей прелести для

женского слуха. Но мнимый паж говорил не только о приключениях на суше и на море: гораздо охотнее и чаще он рассказывал о заморских пирах, банкетах, балах, где цвет рыцарства Франции, Испании и Нидерландов блистал перед глазами самых прославленных красавиц. Так как Алиса была еще очень молоденькая девушка и из-за гражданской войны воспитывалась почти исключительно в деревне и часто в полном одиночестве, то, конечно, нет ничего удивительного в том, что она охотно и с улыбкой слушала веселые речи юного дворянина, их гостя и подопечного ее брата, тем более что в его рассказах

звучало опасное удальство, а иногда мелькали и серьезные мысли, благодаря которым его разговор не казался таким уж легкомысленным и пустым.

Словом, сэр Генри Ли смеялся, Алиса время от времени улыбалась, и все были довольны, кроме Альберта, который сам, однако, едва ли мог бы отдать себе отчет в причине своего подавленного настроения.

Наконец завтрак был убран при деятельном участии проворной Фиби; она поглядывала через плечо и медлила больше чем обычно, чтобы послушать складные рассказы гостя, которого накануне, прислуживая за ужином, сочла за самого глупого из

всех, въезжавших в ворота Вудстокского замка со времени прекрасной Розамунды.

Когда они остались в комнате вчетвером и слуги перестали сновать взад и вперед, Луи Кернегай, по-видимому, почувствовал неловкость оттого, что его друг и мнимый хозяин Альберт не участвовал в разговоре, тогда как сам он успешно завладел вниманием всех членов семьи, с которыми познакомился так недавно. Поэтому он подошел к Альберту сзади, оперся на спинку его стула и сказал шутливым тоном, вполне разъяснявшим значение его слов:

— Наверно, мой добрый друг, покровитель и хозяин узнал

неприятные новости, которые ему не хочется нам сообщать, или же он споткнулся об мою драную куртку и кожаные штаны и впитал в себя запас глупости, которую я отбросил ночью вместе с этими жалкими лохмотьями. Выше голову, полковник Альберт, если вашему преданному пажу позволительно сказать вам такие слова: ведь в этом обществе и чужой хорошо себя чувствует, а вам должно быть вдвое лучше. Да ну же, друг мой, выше голову!

Я видел, какой вы были веселый, когда на закуску у нас оставался только сухарь да пучок салата. Так не унывайте же за рейнским вином и дичью!

— Дорогой Луи, — сказал Альберт, стараясь подбодриться и слегка стыдясь своего молчания, — я спал хуже вас и встал раньше.

— Пусть так, — возразил его отец, — но, по-моему, это все-таки недостаточное извинение для твоего угрюмого молчания. После такой долгой разлуки, когда мы так волновались за тебя, Альберт, ты встретился с нами почти как чужой, а ведь ты вернулся цел и невредим, ты в безопасности и сам убедился, что у нас все благополучно.

— Вернулся, это правда, но безопасность, милый отец.., это слово пока еще не подходит для нас, вустерцев. Впрочем, я беспокоюсь не

о своей безопасности.

— Так о ком же ты еще беспокоишься? По всем введениям, король благополучно «избежал пасти ЭТИХ ПСОВ.

— Но он все-таки был в опасности, — пробормотал Луи, вспомнив о своей вчерашней встрече с Бевисом.

— Конечно, был, — согласился баронет, — однако, как говорит старый Уил:

Власть короля в такой ограде божьей,

Что, сколько б враг на нас ни посягал,

Руками не достать.

Нет, нет, слава богу, главное свершилось: король, наша надежда и наше счастье, спасен — он отплыл из Бристоля, это подтверждают все сведения; если бы я в этом сомневался, Альберт, я был бы так же печален, как ты. Однажды я целый месяц скрывался здесь, в замке и знал, что если меня найдут, мне несдобровать. Это было сразу после восстания лорда Холленда и герцога Бакингема в Кингстоне, и черт меня побери, если на лбу у меня хоть раз появились такие скорбные морщинки, как у тебя сейчас. В пору невзгод я всегда заламывал шляпу

набекрень, как и подобает дворянину.

— Если бы мне позволили вставить слово, — сказал Луи, — я бы заверил полковника Альберта Ли в том, что король, наверно, счел бы свою судьбу еще более горькой, если бы знал, что она приводит в уныние его лучших подданных.

— Вы смело отвечаете за короля, молодой человек, — заметил сэр Генри.

— Ну, ведь отец-то мой частенько бывал у короля, — ответил Луи, вспомнив свою роль.

— Тогда неудивительно, — сказал сэр Генри, — что вы развеселились и вновь обрели хорошие манеры, как только узнали о

спасении его величества.

Да, теперь вы так же мало похожи на чудака, который пришел к нам вчера, как кровный скакун — на ломовую лошадь.

— О, здесь много значит отдых, корм и уход, — ответил Луи. — Вы едва узнаете усталую лошадь, с которой слезли накануне, когда ее выводят на следующее утро и она гарцует и ржет, потому что отдохнула, поела и вновь готова скакать, — особенно если в ней есть хоть немного благородной крови: хорошая лошадь миглом восстанавливает силы.

— Вы правы; ну, а раз уж ваш отец был придворным и вы, я думаю,

тоже кое-чему там научились, расскажите нам что-нибудь, мистер Кернегай, про того, о ком мы любим слушать больше всего, — про короля: все мы здесь верные люди и умеем хранить тайну, бояться нечего. Юношей он подавал большие надежды; наверно, цветок теперь распустился и обещает прекрасный плод?

При этих словах баронета Луи опустил глаза и вначале, казалось, не знал, что ответить. Но он прекрасно умел выходить из подобных положений и потому возразил, что, право, не смеет говорить на эту тему в присутствии своего хозяина, полковника Альберта Ли, который

гораздо лучше его может судить о характере короля Карла.

Тут баронет, а вместе с ним и Алиса, стали осаждать Альберта просьбами описать характер его величества.

— Я буду говорить только на основании фактов, — сказал Альберт, — тогда никто не сможет обвинить меня в пристрастии. Если бы у короля не было предприимчивости и военного таланта, он никогда не решился бы на вустерский поход; если бы у него не было личной храбрости, он не мог бы так долго бороться за победу — ведь Кромвель уже решил было, что сражение проиграно. О его

осторожности и терпении можно судить по обстоятельствам его бегства; и ясно, что он пользуется любовью своих подданных — ведь его, несомненно, узнают многие, но никто не предал.

— Как тебе не стыдно, Альберт, — возразила его сестра, — разве так настоящий дворянин должен описывать характер своего монарха? Ты подтверждаешь примером каждое его достоинство, как уличный торговец мерит полотно своей меркой. Полно! Не мудрено, что вас разбили, если вы сражались за своего короля так же равнодушно, как ты сейчас говорил о нем.

— Я постарался вложить в это

описание все то, что видел и знаю, сестрица, — возразил ее брат. — Если ты хочешь, чтобы портрет был ярче, ты должна найти художника с более богатым воображением.

— Я сама буду этим художником! — воскликнула Алиса. — И на моем портрете наш монарх предстанет таким, каким должен быть человек со столь высоким призванием, таким, каким он обязан быть перед своими великими предками, таким, каков он, я уверена, и есть на самом деле и каким его должно представлять себе каждое верное сердце в его королевстве.

— Молодец, Алиса! —

воскликнул старый баронет. —
Взгляните, вот портрет, и вот другой.
[note 44](#) А наш молодой друг будет
судить. Ставлю своего лучшего коня
— то есть поставил бы, если бы у
меня еще оставался конь, — что у
Алисы выйдет искуснее.

Но сын мой по-прежнему
мрачен, наверно, все из-за
поражения; из Альберта, видно, до
сих пор еще не вышел дым
вустерской битвы. И не стыдно тебе?

Молодой человек — и повесил
нос из-за одной взбучки!

Добро бы тебя били двадцать
раз, как меня, тут еще можно было
бы приуныть! Но продолжай, Алиса,
краски на твоей палитре уже

смешаны — начинай, и пусть твой портрет будет совсем как живые портреты Ван-Дейка рядом со скучным, сухим изображением нашего предка Виктора Ли.

Надо заметить, что Алиса была воспитана своим отцом в духе величайшей, даже преувеличенной преданности королю, которой отличались дворяне того времени, и в самом деле была восторженной роялисткой. Но, кроме того, она радовалась благополучному возвращению брата и хотела продлить веселое расположение духа, в котором за последнее время редко видела своего отца.

— Ну хорошо, — начала она, —

хоть я и не Апеллес, я попытаюсь изобразить те черты Александра, какие — я твердо верю — воплотились в лице нашего изгнанного государя, который, я знаю, скоро вернется на престол. И я буду искать образцы только в его собственной семье. В нем воскресла вся рыцарская храбрость, все воинское искусство его деда, Генриха Французского; эти качества помогут ему вернуть трон; он унаследовал все милосердие деда, любовь к своему народу: как и дед, он терпеливо выслушивает даже неприятные советы, жертвует своими желаниями и удовольствиями для общего блага, и все будут благословлять его при

жизни, а после смерти так долго будут помнить о нем, что даже по прошествии веков дурное слово о его царствовании будет считаться святотатством. И через много лет, если в живых останется какой-нибудь старик, видевший его собственными глазами, даже если это будет простой слуга или поденщик, в старости его будут содержать на общественный счет и его седые волосы будут внушать большее почтение, чем графская корона, потому что он будет помнить Карла Второго, монарха, дорогого каждому сердцу в Англии!

Произнося свою речь, Алиса едва ли отдавала себе отчет в том,

что в комнате есть еще кто-то; кроме ее отца и брата; паж отошел в сторону, и ничто не напоминало Алисе о его присутствии. Поэтому она дала волю своему воодушевлению, и когда слезы блеснули у нее в глазах, а прекрасные черты озарились вдохновением, она стала похожа на херувима, сошедшего с небес и возвещающего добродетели милостивого монарха. Тот, кого больше всего касалось это описание, как мы сказали, отошел в сторону и встал так, чтобы скрыть свое лицо, а самому хорошо видеть столь вдохновенно говорившую красавицу.

Альберт Ли, помня, в чьем присутствии произнесла она свое

похвальное слово, смутился; но его отец, который всей душой сочувствовал этому панегирику, пришел в восторг.

— Все, что ты говорила, касалось короля, Алиса, — сказал он, — а теперь скажи про человека.

— Про человека? — продолжала Алиса тем же тоном. — Чего же мне пожелать ему, как не добродетелей его несчастного отца, о котором даже злейшие враги говорили, что если бы за нравственные добродетели и твердость веры даровалась корона, никто не мог бы иметь на нее более неоспоримых прав. Воздержанный, мудрый, бережливый, но щедрый на заслуженные награды, покровитель

литературы и муз, но суровый судья тех, кто употребляет свои таланты во зло, достойный дворянин, добрый государь, самый лучший друг, самый лучший отец, самый лучший христианин... — Голос ее задрожал, а сэр Генри уже поднес к глазам платок.

— Таким он и был, девочка, таким он и был! — воскликнул сэр Генри. — Но не говори больше об этом, прошу тебя; пусть его сын обладает такими же добродетелями, и пусть у него будут лучшие советники и более счастливая судьба, и тогда он станет таким королем, какого только может желать Англия в самых пылких своих мечтах.

Здесь наступило молчание, потому что Алисе показалось, что она говорила слишком откровенно и горячо для девицы ее лет, сэр Генри погрузился в грустные воспоминания о судьбе своего покойного государя, а Кернегай и его мнимый хозяин чувствовали себя неловко, вероятно, от сознания, что Карл в действительности далеко не походил на этот идеальный портрет, написанный такими пламенными красками. Бывают случаи, когда преувеличенная или незаслуженная похвала может стать самой острой сатирой.

Но тот, кому подобные соображения могли бы быть очень

полезны, не способен был долго им предаваться. Он принял насмешливый тон, который, пожалуй, лучше всего заглушает голос совести.

— Каждый кавалер, — сказал он, — должен преклонить колена и поблагодарить мисс Алису за то, что она начертала такой лестный портрет нашего государя, сочетав в нем добродетели всех его предков; жаль только, что она ничего не сказала об одной стороне, которую художнице не пристало обходить молчанием.

Когда она изобразила его как достойного наследника деда и отца, образец монарха и человека, почему

не могла она в то же время наделить его внешним обаянием его матери? Почему бы сыну Генриетты Марии, самой блистательной женщины своего времени, не присоединить к своим внутренним достоинствам располагающую наружность — красивое лицо и стройный стан? У него такие же наследственные права на привлекательную внешность, как и на нравственные качества; портрет с таким добавлением был бы совершенством в своем роде, и дай бог, чтобы этот портрет был похож!

— Я понимаю вас, мистер Кернегай, — сказала Алиса, — но я не фея и не могу, как в волшебных сказках, наделять людей такими

дарами, в которых отказало провидение. Я не была бы женщиной, если бы не интересовалась этим, и я знаю, что у короля, сына таких красивых родителей, необыкновенно грубые черты лица.

— Боже мой, сестра! — воскликнул Альберт, вскочив со стула.

— Да как же, ведь ты мне сам говорил, — возразила Алиса, удивленная его волнением, — и ты еще сказал...

— Это невыносимо, — пробормотал Альберт. — Мне надо срочно поговорить с Джослайном... Луи, — он умоляюще взглянул на

Кернегая, — ты, конечно; пойдешь со мной?

— Всем сердцем рад бы пойти, — ответил Кернегай лукаво улыбаясь, — но, видите ли, я до сих пор хромаю. Да что ты, Альберт, — шепнул он, противясь попыткам Лимладшего увести его из комнаты, — неужели ты думаешь, что я так глуп и обижусь? Напротив, мне хочется воспользоваться этим уроком.

«Дай-то бог, — подумал Ли, выходя из комнаты, — впервые урок пойдет вам на пользу, и дьявол разрази заговоры и заговорщиков, которые заставили меня привезти вас сюда!»

И он, раздосадованный,

отправился в глубь парка.

Глава XXIII

*Там, говорят, он
днюет и ночует*

*Среди своих друзей-
головорезов,*

*И он, шальной,
балованный юнец,*

*Считает для себя
великой честью*

*Кормить весь этот
сброд.*

«Ричард II»[note 45](#)

Беседа, которую Альберт тщетно пытался прервать, продолжалась в том же духе, когда он вышел из

комнаты. Она забавляла Луи Кернегая, потому что среди недостатков его характера не было ни личного тщеславия, ни чрезмерной чувствительности к заслуженному порицанию; эти черты, и в самом деле, были несовместимы с таким умом, который, при большей строгости принципов, более упорной энергии и способности к самоотречению, поставил бы Карла на одно из первых мест в списке английских монархов. С другой стороны, сэр Генри с понятным восхищением слушал излияние благородных чувств своей возлюбленной дочери. Его собственные чувства отличались

скорее постоянством, чем пылкостью, а воображение его возбуждалось только под влиянием другого человека, подобно тому как из бузинного шарика вылетают искры, только если потереть его о подушечку. Поэтому он был доволен, когда Кернегай продолжил разговор, заметив, что мисс Алиса Ли не объяснила, почему же та добрая фея, которая наделяет людей нравственными достоинствами, не может избавить их от физических недостатков.

— Вы ошибаетесь, сэр, — сказала Алиса, — я никого ничем не наделяю. Я только пытаюсь изобразить нашего короля таким,

каким я надеюсь его видеть, таким, каким, я уверена, он может быть, если захочет.

Молва говорит, что наружность у него непривлекательная, но та же молва утверждает, что способности у него выдающиеся. Значит, он сможет достичь совершенства, если будет прилежно развивать их и применять с пользой, если будет владеть своими страстями и руководствоваться своим разумом. Не каждый хороший человек может быть мудрым, но каждый мудрый человек, если захочет, может развить в себе и добродетели и способности.

Юный Кернегай порывисто встал, прошелся по комнате, и не

успел баронет сделать замечание по поводу его странной непоседливости, как он снова бросился на стул и сказал слегка изменившимся голосом:

— Так, значит, мисс Алиса Ли, добрые друзья, которые рассказывали вам про нашего бедного короля, отзывались о нравственных его качествах также неблагоприятно, как и о внешности?

— Вам лучше знать, сэр, — ответила Алиса, — ведь ходили слухи о его распущенности, которая, как бы ни оправдывали ее льстецы, во всяком случае, не подобает сыну мученика. Я буду счастлива удостовериться в том, что это не

правда.

— Удивляюсь твоему
неразумию, — сказал сэр Генри
Ли. — Зачем ты намекаешь на такие
вещи?

Ведь эту клевету придумали
разбойники, захватившие власть, эти
сплетни распространяют наши
недруги!

— Нет, сэр, — вмешался, смеясь,
Кернегай, — мы не должны из
пылкой привязанности к королю
приписывать врагам клевету, в
которой они неповинны.

Мисс Алиса задала мне вопрос.
Я отвечу только одно: никто не
может быть так беззаветно предан
королю, как я; я весьма пристрастен

к его достоинствам и слеп к его недостаткам, короче — я последний сдался бы в борьбе за его дело, если бы она была еще возможна. И, несмотря на это, я должен признать, что если наш бедный государь и не унаследовал нравственных качеств своего деда, короля Наваррского, он в известной мере перенял от него часть тех слабостей, от которых, говорят, тускнел блеск личности этого великого монарха: у Карла слишком мягкое сердце, когда дело касается красоты... Не судите его слишком строго, прелестная мисс Ли; если по воле злой судьбы он жил среди шипов, ведь было бы жестоко не позволить ему позабавиться с

теми немногими розами, которые он мог отыскать среди них?

Алиса, решив, вероятно, что разговор зашел слишком далеко, при последних словах мистера Кернегая встала и вышла из комнаты, прежде чем он кончил; по-видимому, она не слышала вопроса, который он задал в заключение. Отец был доволен ее уходом, так как нашел, что речи Кернегая приняли оборот, не вполне подходящий для ушей девушки; желая вежливо прервать разговор, он сказал:

— Я вижу, что наступило время, когда «дела по дому дочь отсюда призывают», как говорил Уил; поэтому я предлагаю вам, молодой

человек, пофехтовать со мной, чтобы немного поразмяться: просто на рапирах или на рапирах и кинжалах, на шпагах, на эспадронах или на вашем национальном оружии — на палашах со щитами. Я думаю, все это найдется у меня в зале.

На это мистер Луи Кернегай возразил, что для бедного пажа было бы весьма лестно скрестить оружие с таким славным рыцарем, как сэр Генри Ли; он надеется удостоиться такой высокой чести прежде чем уедет из Вудстока, но в настоящий момент хромота еще причиняет ему такую боль, что он только оскандалился бы в этом состязании.

Тогда сэр Генри Ли предложил

почитать ему вслух какую-нибудь пьесу Шекспира и выбрал «Короля Ричарда II». Но едва он прочел:

Мой добрый Ганг, Ланкастер престарелый,
[note 46](#)

как у молодого дворянина начались такие судороги в ногах, что ему понадобилось немедленно поразмяться. Поэтому он попросил разрешения пройтись по парку, если сэр Генри сочтет это безопасным.

— Я могу поручиться за двух-трех наших слуг, которые еще остались в замке, — сказал сэр Генри, — и знаю, что мой сын

предупредил их, чтобы они все время были начеку. Если вы услышите звон колокола из замка, советую вам немедленно идти домой мимо Королевского дуба, который, видите, вон на той лужайке возвышается над всеми деревьями. Мы пошлем гудак кого-нибудь из слуг, чтобы он незаметно проводил вас до дому.

Паж выслушал все эти предостережения нетерпеливо, как школьник, стремящийся вырваться на волю, чтобы порезвиться, и рассеянно внимающий советам своих наставников или родителей о том, как уберечься от простуды и т. д.

С уходом Алисы исчезло все, что было для него привлекательного в

Вудстокском замке, и непоседливый молодой паж поспешил сбежать от фехтования и чтения, предложенных сэром Генри. Он прицепил шпагу, набросил свой плащ, или, вернее, тот, который ему дали вместе с чужим костюмом, и поднял полу так, чтобы она закрыла лицо до самых глаз, — в то время многие носили плащи таким образом и в городах и в деревне, когда бывали на людях, желая остаться неузнанными и избежать поклонов и приветствий в общественных местах. Он поспешно пересек лужайку, отделявшую фасад замка от парка, с торопливостью вылетевшей из клетки птицы, которая радуется своей свободе и в то

же время чувствует, что ей нужны защита и приют. Лес, казалось, предоставлял и то и другое нашему беглецу, так же как и этой птичке.

Когда мнимый Луи Кернегай очутился в тени ветвей, скрытый от всех взглядов, на опушке леса, откуда сам он мог видеть фасад замка и всю лужайку перед ним, он стал размышлять о том, почему улизнул от баронета.

«Что за наказание — фехтовать со старым подагриком! Ведь он наверняка не знает ни одного приема, который не был бы известен еще в дни старика Винченцо Савиоло! А еще хуже слушать, как он читает какую-нибудь запутанную

пьесу — англичане называют их трагедиями, — от пролога до эпилога, от выхода первого действующего лица до заключительного *Exeunt omnes!* [note 47](#)
Вот ужас-то! вот наказание! От него и темница станет еще темнее, а Вудсток еще скучнее!»

Тут он остановился, огляделся вокруг, затем продолжал свои размышления:

«Так вот где веселый старый норманн прятал свою хорошенькую возлюбленную; я уверен, хотя никогда ее не видал, что эта Розамунда Клиффорд и вполовину не была так хороша, как прелестная Алиса Ли.

А какая душа светится во взоре этой девушки! С каким пренебрежением ко всяким условностям, с каким стремлением быть искренней излила она свое воодушевление! Если мне придется долго пробыть здесь, я, пожалуй, отброшу осторожность да еще преодолею полдюжины самых серьезных препятствий и попробую примирить ее с непривлекательным лицом этого самого монарха. Непривлекательным? Такие слова — это почти измена для девушки, которая считает себя столь преданной королю; по-моему, за это надо наказывать. Ах, прелестная мисс Алиса! Много таких мисс Алис

уже до вас ужасно возмущались испорченностью рода человеческого и безнравственностью своего времени, а в конце концов были рады найти оправдание тому, что сами поступили как другие. Ну, а отец, гордый старый дворянин, давний друг моего отца, — случись такое, он может умереть с горя! Вздор! Не так уж он глуп! Если я награжу его внука титулом, который дает право на герб Англии, невелика беда, если этот герб будет пересечен полосой с левой стороны!.. Подумаешь! Мало того, что честь его не пострадает, герольды при следующей проверке гербов поставят его имя выше многих других в списке. А потом, если он

вначале и обидится, разве этот старый предатель того не заслуживает? Во-первых, за бесчестное намерение при помощи своей дрянной рапиры изрешетить мое августейшее тело, а во-вторых, за свой ужасный заговор с Уилом Шекспиром, такой же старой рухлядью, как и он сам, — он хотел зачитать меня насмерть пятью актами исторической пьесы, или хроники, описывающей «жалостную жизнь и смерть Ричарда Второго»! Черт возьми, моя собственная жизнь вызывает достаточно жалости, а моя смерть будет ей под стать, судя по тому, что мне еще предстоит. Ну, а как же ее брат, мой друг, мой

покровитель, мой страж? Интрижка ведь заденет и его, и такой поступок с моей стороны будет не очень-то красивым. Но ведь эти гневные, высокомерные, мстительные братья существуют только в театре. Ужасная месть: брат преследует беднягу, который соблазнил сестру (или она его соблазнила — это тоже бывает), преследует так безжалостно, словно наступает ему на ногу, не извинившись. Такая месть совершенно вышла из моды еще с тех пор, как Дорсет убил лорда Брюса.

[note 48](#) Вздор! Если обидчик — король, самый смелый человек ничего не потеряет, проглотив эту маленькую обиду, которая его лично не очень и

затрагивает. А во Франции представитель любого дворянского рода только выше задерет нос, если сможет похвастаться побочным родством с Великим Монархом».

Такие мысли проносились в голове Карла, когда он впервые вышел из Вудстокского замка и углубился в парк. Эта безнравственная логика не была, однако, результатом врожденных склонностей, и его здравый ум неохотно с ней соглашался. Таков был образ мыслей, которому он научился во время своей тесной близости с окружавшей его порочной и распущенной золотой молодежью. Это был результат пагубного общения

с Вильерсом, Уилмотом, Сэдли — теми, кто подорвал нравственные устои своего века и развратил самого монарха, влияние которого впоследствии сказалось на нравах его времени. Эти люди, воспитанные среди вольностей гражданской войны и не испытавшие той узды, которою в обычное время авторитет родителей и окружающих сдерживает бурные страсти юношей, были знакомы со всеми видами порока и проповедовали его как словом, так и делом, безжалостно издеваясь над всеми благородными чувствами, запрещающими людям удовлетворять свои необузданные страсти. Обстоятельства жизни

короля тоже способствовали усвоению этой эпикурейской философии.

Хотя он имел полное право на сочувствие и помощь, при иностранных дворах, где ему приходилось бывать, с ним обращались холодно, скорее как с просителем, которого лишь терпят, чем как с монархом в изгнании. Он видел, что на его права и требования смотрят презрительно и равнодушно, и поэтому привык к жестокосердому и себялюбивому распутству, которое позволяло ему всегда потворствовать своим слабостям. Если можно наслаждаться в ущерб счастью других, неужели он один из всех

должен испытывать какие-то угрызения совести из-за того, что обращается с людьми не лучше, чем свет обращается с ним?

Однако, хотя Карл уже усвоил эти пагубные воззрения, он еще не следовал им так безраздельно, как впоследствии, когда неожиданно стала возможной реставрация. Напротив, несмотря на то, что в уме его и возникли приведенные нами выше легкомысленные рассуждения, которые могли бы в подобных случаях подсказать ему любимые советники, он сообразил, что если во Франции или Нидерландах такой поступок мог сойти за шалость, а в устах остряков его странствующего

двора превратиться в занимательную новеллу или шутливый рассказ, среди английского провинциального дворянства его поведение могли счесть черной неблагодарностью и подлым предательством, и это нанесло бы глубокую, быть может неизлечимую, рану авторитету короля среди пожилых и почтенных его сторонников. Затем ему пришло на ум — даже рассуждая таким образом, он не забывал о своих собственных интересах, — что он был во власти обоих Ли, отца и сына, всегда слывших весьма щепетильными в вопросах чести; и если они заподозрят, что он задумал нанести им такое оскорбление, они

не замедлят найти способ отомстить ему самым жестоким образом, осуществив эту месть или собственными руками, или при помощи лиц, стоящих у власти.

А что, если снова откроется роковое окно в Уайтхолле и повторится трагедия Человека в маске? «Это хуже, чем древний шотландский обычай церковного покаяния, — так закончил он свои размышления, — и как ни прелестна Алиса Ли, я не могу идти на такой риск, не могу волочиться за ней. Итак, прощай, милая девушка! Разве что (иногда это случается) ты сама вздумаешь броситься к ногам своего короля, а тогда я буду так

великодушен, что не смогу отказать тебе в своем покровительстве. Но.., как вспомню безжизненное, белое, словно мел, лицо этого старика, когда он лежал вчера распростертый предо мной, как представляю себе бешенство Альберта Ли, распаленного жаждой мести: рука его на эфесе шпаги, и только рыцарская верность мешает ему вонзить ее в сердце своего государя, — нет, это ужасная картина! Карл должен навсегда сменить свое имя на имя Иосифа, даже если у него будут сильные соблазны, — да отвратит их милостивая судьба!»

Сказать по правде, корень зла

был не столько в природном бессердечии принца, сколько в товарищах его юности, а очерствел он в результате своих походов и распущенного образа жизни. Карл тем легче пришел к благоразумному заключению, что он нисколько не был подвержен таким сильным и всепоглощающим страстям, ради которых люди готовы на все.

Для него, как и для многих в наши дни, любовные походы были скорее делом привычки и моды, чем страсти и влечения, и, сравнивая себя в этом отношении со своим Хедом Генрихом Четвертым, он не был по-настоящему справедлив ни к себе, ни к своему предку. Карл, если

пародировать слова поэта,
охваченного теми бурными
страстями, которые светский
волокита часто только разыгрывает,
был не из тех,

Кто в любви исполнен веры,
Кто, любя, не знает меры.

Любовная интрига была для
него развлечением, он смотрел на
нее как на естественное следствие
обычных законов общества. Он не
стремился к искусству соблазнять,
так как ему редко приходилось им
пользоваться — благодаря его
высокому сану и распущенным
нравам женского общества, в

котором он вращался, этого и не требовалось. По той же причине он редко встречал отпор со стороны родственников или даже мужей, которые обычно бывали склонны смотреть на такие вещи сквозь пальцы.

Итак, несмотря на его беспринципность и полное неверие в добродетель женщин и в честь мужчин, когда дело шло о добром имени их жен, сестер и дочерей, Карл не был способен умышленно опозорить семью, если видел, что придется преодолеть сопротивление, что достичь победы будет нелегко и она повлечет за собой горе для всех, не говоря уже о

том, что возбудит свирепую ненависть, которая обрушится на виновника скандала.

И все же общаться с королем было опасно, ибо он не очень верил в то, что любовную интригу могут омрачить угрызения совести ее главной жертвы или что ему грозит какая-то опасность со стороны ее оскорбленных родственников и близких. На континенте он уже видел примеры, когда подобные истории считались совершенно обычными, если виновником их было лицо высокопоставленное; он вообще скептически относился к строгой добродетели мужчин и женщин и считал ее притворством, которым

женщины прикрываются из
жеманства, мужчины — из
лицемерия, а те и другие — чтобы
дороже продать свое согласие.

Пока мы рассуждали о природе
его волокитства, дорожка, которую
выбрал скиталец, после нескольких
прихотливых поворотов привела его
под окна гостиной Виктора Ли, где
он увидел Алису; она приводила в
порядок и поливала цветы в глубокой
нише окна, куда легко было
взобраться днем, хотя в ночное время
попытка проникнуть туда могла
оказаться опасной. Но Алиса была не
одна: у окна появился ее отец и
поманил его наверх. Сейчас
переодетому принцу больше чем

прежде захотелось побыть в кругу, этой семьи; ему надоело играть в прятки с совестью, и он готов был положиться на волю судьбы.

Он легко взобрался на окно, цепляясь за выступы стены, и был радушно встречен старым баронетом, высоко ценившим в людях ловкость и подвижность.

Алиса тоже, казалось, была рада видеть живого и занятого юношу; ободренный ее присутствием и неподдельно веселым смехом над его шутками, он воодушевился и обнаружил все свое остроумие и находчивость, в которых никто не мог с ним соперничать.

Его умение все высмеивать

восхищало старика, и сэр Генри хохотал до слез, слушая веселого юношу, о высоком сане которого он и не подозревал; перед ним был то шотландский священник-пресвитерцанин, то бедный, но верный идальго, то вспыльчивый, высокомерный вождь горцев с его кельтским наречием, то медлительный и педантичный житель Низины. Со всеми этими типами Луи Кернегай близко познакомился во время своего пребывания в Шотландии.

Алиса тоже смеялась и хлопала в ладоши, забавлялась и радовалась, видя, как развеселился отец, и вся компания была в самом лучшем

настроении, когда вошел Альберт Ли; он искал Луи Кернегая и увел его для секретной беседы с доктором Рочклифом, который благодаря своему усердию, настойчивости и удивительной осведомленности стал в эти трудные времена главным кормчим роялистов.

Нет надобности посвящать читателя в мелкие подробности их совещания. Полученные сведения были благоприятны: враг, по-видимому, не знал, что король направился на юг, и по-прежнему был уверен, что он бежал за границу через Бристоль. Так говорили, да и в самом деле так первоначально предполагалось, но капитан корабля,

приготовленного для этой цели, перепугался и отплыл, не дождавшись царственного пассажира. Впрочем, его внезапное бегство и слухи о его обещании взять короля с собой заставили всех поверить, что тот отправился вместе с ним.

Однако, хоть сведения и были утешительные, доктор получил менее благоприятные известия с побережья; достать корабль, подходящий для столь драгоценного груза, было очень трудно; и прежде всего короля просили ни в коем случае не рисковать и не приближаться к побережью, пока ему не сообщат о том, что

предварительная подготовка
полностью закончена.

Никто не мог предложить более безопасного убежища, чем замок, где король находился в то время.

По общему мнению, полковник Эверард, конечно, не питал личной вражды к королю, а Кромвель, по-видимому, безгранично доверял Эверарду. В замке было множество укромных закоулков и потайных дверей, не известных никому, кроме старожилов, и, конечно, Рочклиф знал их лучше чем кто-либо, потому что, будучи настоятелем собора в соседнем городке, он в качестве любопытного антиквара тщательно изучал старые развалины и

некоторые результаты этих исследований, вероятно, сохранил в тайне.

В противовес всем этим благоприятным обстоятельствам можно было, правда, возразить, что комиссары парламента все еще находились недалеко и при первом удобном случае готовы были вновь приняться за дело. Но мало кто верил, что комиссия возобновит работу; все думали, что, поскольку положение Кромвеля и армии укрепляется, обескураженные комиссары не предпримут ничего против воли главы государства и будут терпеливо ждать возмещения убытков за свою упраздненную

должность из какого-нибудь другого источника. Молва устами мистера Джозефа Томкинса утверждала, что комиссары решили прежде всего уехать в Оксфорд и были заняты соответствующими приготовлениями. Значит, можно было предположить, что в Вудстоке в дальнейшем станет еще безопаснее.

Поэтому было решено, что король под именем Луи Кернегая останется жить в замке, пока не удастся найти корабль, на котором он сможет покинуть берега Англии, отплыв из порта, признанного самым безопасным и подходящим.

Глава XXIV

*Всего страшней те
змеи, что похожи*

*На пестрые красивые
цветы,*

*В чьих венчиках
блестят глаза-росинки.*

*Подобные
безвреднейшим твореньям,*

*Невинную они
прельщают младость,*

*Чтоб насмерть
уязвить ее потом.*

Старинная пьеса

Карл (теперь мы должны

называть его настоящим именем) легко примирился с обстоятельствами, побуждавшими его оставаться в Вудстоке. Конечно, он предпочел бы оградить себя от опасности немедленным бегством из Англии; но ему уже приходилось скрываться во многих случайных убежищах, прибегать ко многим неприятным личинам, а также совершать долгие и трудные путешествия, во время которых он столько раз рисковал, что его узнают или слишком назойливые полицейские, находящиеся на службе у правящей партии, или офицеры — командиры отрядов, привыкшие самочинно вершить суд и расправу.

Поэтому он был рад
относительному отдыху и
относительной безопасности.

Нужно заметить, что Карл
вполне примирился с вудстокским
обществом с тех пор, как
познакомился с ним поближе. Он
понял: для того, чтобы
заинтересовать прекрасную Алису и
иметь возможность часто видеть ее,
нужно прежде всего подчиняться
настроениям старого баронета — ее
отца и поддерживать с ним
дружеские отношения. Сделать
несколько фехтовальных выпадов и
при этом ни в коем случае не
вкладывать в них всю свою ловкость,
юношескую силу и подвижность,

терпеливо выслушать две-три сцены из Шекспира, в чтении которых баронет проявлял больше рвения, чем вкуса, показать свои способности к музыке — старик был ее знатоком, — отдать долг уважения некоторым старомодным взглядам, над которыми Карл украдкой смеялся, — этого было достаточно для того, чтобы вызвать у сэра Генри Ли симпатию к переодетому монарху и в равной мере снискать расположение прелестной Алисы.

Никогда еще не бывало, чтобы двое столь разных молодых людей могли так сблизиться. Карл был человек распушенный; если он и не собирался хладнокровно доводить

свою страсть к Алисе до бесчестной развязки, он мог в любой момент уступить соблазну испытать стойкость добродетели, в которую не верил.

Алиса же со своей стороны толком даже не знала, что означают такие слова, как «распутник» или «соблазнитель». Ее мать умерла еще в самом начале гражданской войны, она воспитывалась главным образом со своим братом и кузеном и поэтому привыкла вести себя свободно и непринужденно, а Карл охотно истолковал бы это в благоприятном для себя смысле. Даже любовь Алисы к своему кузену — первое чувство, пробуждающее в

самом невинном и простодушном сердце робость и сдержанность по отношению к мужскому полу вообще, — не возбудила в ней такой настороженности. Они были близкие родственники; Эверард, хотя и молодой, был на несколько лет старше ее, и с самого детства она его не только любила, но и уважала. Когда эта ранняя детская привязанность созрела и превратилась в юношескую любовь, когда он признался ей и она ответила ему взаимностью, их чувство все-таки несколько отличалось от страсти влюбленных, которые были чужими друг другу до того, как их сблизило обычное ухаживание. В

любви Алисы и Эверарда было больше нежности, откровенности, доверия, и она была, быть может, чище и свободнее от взрывов бурной страсти и подозрительной ревности.

Мысль о том, что кто-нибудь попытается соперничать с Эверардом в ее сердце, никогда не появлялась у Алисы; она и думать не могла, что этот странный молодой шотландец, забавлявший ее своими чудачествами, может представлять какую-то опасность и что его следует остерегаться. Такую же простоту в обращении, какую она допускала с Кернегаем, она могла бы допустить с подругой, манеры которой не всегда приходились бы ей по вкусу, но зато

всегда развлекали ее.

Понятно, что непринужденное поведение Алисы Ли, вызванное полным равнодушием, могло показаться поощрением королевских ухаживаний и что вся решимость Карла противостоять искушению и не платить неблагодарностью за гостеприимство в Вудстоке заколебалась, когда удобные случаи начали представляться все чаще.

Обстоятельства стали еще больше благоприятствовать ему, когда Альберт, на другой день после своего прибытия, уехал из Вудстока. После совещания с Карлом и Рочклифом было решено, что он поедет в Кент навестить своего дядю; показавшись

там, он устранил любые подозрения, которые могли возникнуть из-за его пребывания в Вудстоке, и исключит всякий повод для преследования семьи его отца за то, что она укрывает человека, который еще так недавно сражался против республики. Он решил также, рискуя головой, посетить разные пункты побережья и, выбрав самый безопасный порт, найти корабль, на котором король мог бы покинуть Англию.

Все эти меры были вызваны стремлением уберечь короля и облегчить ему бегство. Но благодаря им Алиса осталась на это время без своего брата, который был бы самым

бдительным ее стражем; однако Альберт уже однажды приписал легкомысленные слова короля его веселому настроению и теперь считал бы себя очень несправедливым к своему монарху, если бы мог серьезно подозревать его в такой неблагодарности за гостеприимство, как бесчестное волокитство за Алисой.

Однако двое обитателей Вудстока, казалось, косо смотрели на Луи Кернегая и его намерения. Одним из них был Бевис, который уже со времени их первой неприязненной встречи как-то невзлюбил нового гостя и не принимал никаких заигрываний с его

стороны.

Если паж случайно оставался наедине с его юной госпожой, Бевис всегда старался не покидать ее, подходил вплотную к ее стулу и громко рычал, как только поклонник придвигался к ней поближе.

— Жаль, — говорил переодетый монарх, — что ваш Бевис не бульдог: его тут же можно было бы посвятить в круглоголовые. Но он слишком красив, слишком благороден, слишком аристократичен, чтобы так негостеприимно и неприязненно относиться к бедному бесприютному кавалеру. Я убежден, что в это животное переселился дух Пима или Хэмпдена, который продолжает

проявлять свою ненависть к монархии и ко всем ее приверженцам.

На это Алиса ответила, что Бевис — верноподданный на словах и на деле и только перенял предубеждение ее отца против шотландцев, к сожалению — довольно упорное, как ей пришлось признать..

— Нет уж, — заявил мнимый Луи, — я должен найти какую-нибудь другую причину, так как не могу допустить, чтобы неприязнь сэра Бевиса основывалась на национальной вражде. Итак, предположим, что душа какого-то доблестного кавалера, который ушел

на войну и не вернулся, воплотилась в этом образе, чтобы снова навестить места, покинутые так неохотно, и ревнует, даже когда бедный Луи Кернегай придвигается поближе к предмету его былой любви.

С этими словами он подошел к ее стулу, и Бевис опять глухо заворчал.

— В таком случае вам надо держаться на почтительном расстоянии, — смеясь, сказала Алиса. — Укус пса, в которого вселился дух ревнивого влюбленного, должно быть, небезопасен.

Король продолжал разговор в том же роде, и если Алиса воспринимала его только как

смешное ухаживание своенравного мальчика, мнимый Луи Кернегай вообразил, что одержал одну из тех побед, которые часто и легко выпадают на долю государей. Несмотря на свой острый ум, он все же недостаточно сознавал, что легкий путь к сердцу женщин открыт монархам только в том случае, если они путешествуют в королевском костюме, а когда они выступают инкогнито, на тропинке их ухаживаний встречаются те же повороты и преграды, что и на пути обыкновенных людей.

Но, кроме Бевиса, среди обитателей замка было еще одно существо, настороженным и

недружелюбным взглядом наблюдавшее за Луи Кернегаем. Фиби Мейфлауэр, хотя ее жизненный опыт не выходил за пределы родного селения, все же знала людей гораздо лучше, чем ее госпожа, а кроме того, была на пять лет ее старше. Она знала больше, а поэтому была подозрительнее. Ей показалось, что странный шотландский мальчишка чаще вертится вокруг ее госпожи, чем подобает человеку его звания, и что Алиса позволяет ему больше, чем Партения могла бы позволить любому подобному волоките в отсутствие Аргала, — книга о любви этих известных аркадских пастушков была тогда любимым чтением

молодых людей и девиц по всей веселой Англии. Питая такие подозрения, Фиби не знала, что предпринять, но решила тотчас же вмешаться, если возникнет какое-либо препятствие для верной любви полковника Эверарда. Она сама была особенно благосклонна к Маркему, и к тому же он, по ее словам, был самый видный и красивый молодой человек во всем Оксфордшире; а это шотландское пугало так же нельзя было сравнивать с ним, как мел с сыром. И все-таки она признавала, что у мистера Гирнигая удивительно хорошо подвешен язык и что таким поклонником нельзя пренебрегать. Что было делать? Она не имела

определенных доказательств, а только питала неясные подозрения и боялась говорить об этом госпоже, потому что, несмотря на свою доброту, Алиса не поощряла фамильярности.

Фиби пыталась расспросить Джослайна, но тот по непонятной причине принимал в этом злосчастном малом такое участие и так высоко его ставил, что ее слова не произвели на него никакого впечатления.

Говорить со старым баронетом значило поднять страшную бурю. Естественнее всего для девушки было бы обратиться к достойному капеллану, который был в Вудстоке

главным третейским судьей во всех спорных вопросах, потому что его профессия требовала миролюбия и строгих нравов, а практическая деятельность научила разбираться во всем. Но случилось так, что он невольно обидел Фиби, применив к ней классический эпитет *Rustica Fidele* [note 49](#), а она поняла этот эпитет превратно, приняла его за оскорбительный и объявила, что она не больше любит скрипку, чем все остальные [note 50](#), и с тех пор старалась не встречаться с доктором Рочклифом, что было нетрудно.

Мистер Томкинс постоянно вертелся в замке под разными предложениями, но он был

круглоголовый, а при своей верности роялистам она ни за что не стала бы посвящать кого-нибудь из врагов в домашние неурядицы; кроме того, он пытался говорить самой Фиби такие вещи, что и думать было нечего с ним откровенничать. Наконец, можно было посоветоваться с кабальеро Уайлдрейком, но у Фиби были свои причины утверждать, что кабальеро Уайлдрейк — бесстыдный лондонский распутник. Вот почему она решила сообщить свои подозрения тому, для кого важнее всего было подтвердить или опровергнуть их:

«Я дам знать мистеру Маркему Эверарду, что здесь появился шмель,

который жужжит вокруг его улья, и, кроме того, я знаю, этот молодой шотландский повеса переодевался из женского платья в мужское у Гуди-Гринов и дал Долли Гуди-Грин золотой, чтобы она никому об этом не говорила; она и не сказала никому, кроме меня, и ей лучше знать, давала она ему сдачи с золотого или нет, но мистер Луи — бесстыдный нахал, с него станет, он спросит!»

Три или четыре дня прошло без всяких перемен.

Переодетый монарх иногда подумывал об интрижке, которой судьба, казалось, хотела его позабавить, и карался не упустить ни одного благоприятного случая, чтобы

поближе сойтись с Алисой Ли; но еще чаще он приставал к доктору Рочклифу с расспросами о своем побеге, так что этот добрый человек, не зная, что отвечать, спасался от королевской навязчивости и прятался в разные неведомые тайники замка, известные, вероятно, только ему — ведь он лет двадцать потратил на свою книгу «Чудеса Вудстока».

На четвертый день случилось так, что из-за какой-то безделицы баронету пришлось отлучиться из замка, и он оставил молодого шотландца, теперь уже своего человека в семье, вдвоем с Алисой в гостиной Виктора Ли. Карл решил,

что настал момент поухаживать, так сказать, на пробу, подобно тому как водится у хорватов, когда они несутся во весь опор, готовые или ринуться на врага, или повернуть назад, не вступая в рукопашную, смотря по обстоятельствам.

После того как он в течение десяти минут говорил на витиеватом философском жаргоне, который Алиса, по желанию, могла истолковать или как легкое ухаживание, или как язык серьезных признаний, и уже думал, что ее заинтересовал смысл его слов, Карл был очень разочарован, — поняв по ее единственному и короткому вопросу, что Алиса совершенно его

не слушала и думала о чем угодно, только не о том, что он хотел ей внушить. Она спросила его, который час, и с выражением такого неподдельного желания поскорее получить ответ, что о кокетстве тут не могло быть и речи.

— Я пойду посмотрю на солнечные часы, мисс Алиса, — сказал наш волокита, вставая и покраснев от того пренебрежения, с которым, как ему показалось, отнеслась к нему девушка.

— Будьте так добры, мистер Кернегай, — сказала Алиса, несколько не замечая его негодования.

Мистер Кернегай вышел из

комнаты, однако совсем не для того, чтобы вернуться с ответом, а чтобы дать выход досаде и гневу и поклясться — на этот раз он твердо решил настоять на своем, — что Алисе придется раскаяться в такой дерзости. Несмотря на свой добродушный нрав, он все же был принц, он не привык к противоречию, а тем более к пренебрежению, и его самолюбие в тот момент было сильно уязвлено. Он поспешно углубился в парк, помня только, что для безопасности надо выбирать глухие и уединенные аллеи; он шел торопливыми и крупными шагами — теперь он уже оправился от усталости и мог идти

как угодно быстро, — он изливал свой гнев и обиду, обдумывая планы мести этой дерзкой провинциальной кокетке, которую теперь не могло спасти никакое уважение к гостеприимству.

Взбешенный волокита прошел мимо

замшелых солнечных часов,

не удостоив их даже взглядом, да если бы и хотел, он ничего не мог бы там увидеть, потому что в тот момент солнце скрылось. Он поспешил вперед, закутавшись в плащ, и ступал сгорбившись, неуклюжей походкой, отчего казался

ниже ростом. Скоро он незаметно углубился в глухие и полузаросшие аллеи парка и шел, не замедляя шага и не отдавая себе отчета в том, куда идет, как вдруг услышал сначала громкий окрик, потом приказание остановиться; особенно его поразило и изумило то, что при этом кто-то прикоснулся тростью к его плечу, хотя и миролюбиво, но несколько повелительно.

В этот момент любая встреча была бы для него нежелательной, а появление незнакомца, который его остановил, никак не могло показаться ему своевременным или приятным. Обернувшись на окрик, Карл оказался лицом к лицу с

молодым человеком футов шести
ростом, стройным и ловким;
строгость его костюма, впрочем —
красивого и благородного, и
опрятность одежды, от чистоты
крахмального воротника до свежего
блеска сапог из испанской кожи,
обличали в нем любовь к порядку,
недоступному побежденным и
обнищавшим роялистам и
свойственному тем членам
господствующей партии, которые
могли позволить себе одеваться
красиво, но, согласно своим
принципам (это относится к высшим
и наиболее уважаемым кругам),
соблюдали приличие и строгость во
внешности и поведении. По

сравнению с королем у него было одно преимущество, еще более подчеркивавшее неравенство между ними. Человек, который так неожиданно его остановил и заставил вступить в разговор, был мускулистый и сильный, лицо его выражало властность и решимость, на левом боку висела длинная шпага, с правой стороны — кинжал, а за поясом торчала пара пистолетов; всего этого было бы достаточно, чтобы дать перевес незнакомцу, даже если бы Луи Кернегай мог с ним помериться физической силой, — единственным оружием мнимого пажа была шпага.

Горько сожалел о безрассудной

вспышке гнева, поставившей его в такое затруднительное положение, а в особенности об оставленных в замке пистолетах, благодаря которым физическая сила или слабость теряют всякое значение, Карл все же не утратил храбрости и присутствия духа, в течение стольких веков отличавших почти всех представителей его злополучного рода. Он стоял твердо и невозмутимо, по-прежнему закрыв плащом нижнюю часть лица, как будто ждал объяснения, в случае если его приняли за кого-то другого.

Это хладнокровие возымело свое действие, потому что незнакомец сказал удивленно и

нерешительно:

— Это не Джослайн Джолиф? Если я не узнал Джослайна Джолифа, то я, во всяком случае, узнаю свой собственный плащ.

— Я не Джослайн Джолиф, как вы можете видеть, сэр, — сказал Кернегай, спокойно выпрямившись, чтобы показаться во весь рост, и сбросив плащ с лица и плеч.

— В самом деле, — с удивлением ответил неизвестный, — тогда, сэр незнакомец, я должен выразить вам свое сожаление, что остановил вас при помощи трости. Судя по этому платью, в котором я с уверенностью узнаю свое собственное, я заключил, что это

должен быть Джослайн, — ведь ему я поручил хранить свою одежду в замке.

— Если бы это был Джослайн, сэр, — возразил мнимый Кернегай с совершенным хладнокровием, — я думаю, вы не ударили бы его так сильно.

Его собеседник был, очевидно, смущен непоколебимым спокойствием этого ответа. Долг вежливости заставил его, в первую очередь, извиниться за свою ошибку, — он был почти уверен, что узнал Джослайна. Положение мистера Кернегая не позволило ему быть особенно щепетильным; он чинно поклонился в знак того, что

принимает извинение, потом повернулся и пошел, как ему казалось, к замку, хотя, углубляясь в парк, он шагал по дорожкам, расходящимся в разных направлениях, и так торопливо, что не мог быть уверен в правильности избранного им пути.

Он очень смутился, заметив, что и тут не отделался от непрошеного спутника. Замедлял ли он шаги или ускорял, этот человек в изящной, но скромной одежде, сильный и, как мы уже сказали, хорошо вооруженный, казалось, решил сопровождать Карла и, не пытаясь догнать его или вступить в разговор, не спускал с него глаз, держась позади на

расстоянии двух-трех ярдов. Скиталец прибавил шаг, но хотя, как тогда, в юности, так и потом, в зрелые годы, он слыл одним из лучших скороходов Британии, незнакомец все так же шагом, а не бегом шел за ним, нисколько не отставая. Преследование было такое неотступное, непрерывное и неуклонное, что в Карле заговорила гордость; в тревоге он подумал, что, какова бы ни была опасность поединка, все-таки лучше разрешить спор с этим рослым спутником в парке, чем когда они выйдут на людное место, где пуританин, вероятно, найдет друзей и защитников.

В беспокойстве, раздражении и гневe Карл резко повернулся к своему преследователю. Они как раз вышли на маленькую узкую просеку, ведущую к лужайке, где возвышался Королевский дуб; его корявые обломанные ветви и гигантский ствол были видны с запущенной дорожки.

— Сэр, — обратился Карл к своему непрошеному спутнику, — вы уже совершили дерзкий поступок по отношению ко мне. Вы извинились, и, не имея причин предполагать, что вы умышленно хотели меня оскорбить, я охотно принял ваши извинения. Разве между нами есть еще какие-то споры, что вы следуете

за Мной по пятам? Коли желаете, я могу объясниться с вами и, если это будет уместно, дам вам удовлетворение. Я думаю, вы не должны питать ко мне злобы; насколько мне известно, я вас никогда прежде не видел. Если у вас есть достаточное основание требовать от меня личного удовлетворения, я охотно соглашусь.

Если же вы преследуете меня только из дерзкого любопытства, предупреждаю вас: я не потерплю, чтобы кто-нибудь следил за мной во время моих прогулок.

— Раз я признаю свой собственный плащ на чужих плечах, — сухо возразил

незнакомец, — мне кажется, я имею естественное право последовать за ним и посмотреть, что с ним станется. Знайте, сэр, хоть я и обманулся относительно того, кто в него закутался, я думаю, что вполне мог ударить тростью по этому плащу, — ведь каждый имеет право выбивать пыль из своей собственной одежды. А поэтому если вы хотите, чтобы мы расстались друзьями, я должен прежде всего спросить вас, откуда вы взяли этот плащ и куда вы идете, завернувшись в него. В противном случае я беру на себя смелость остановить вас, как человек, имеющий на это полное право.

«Проклятый плащ! — подумал скиталец. — И будь трижды проклята глупая прихоть, из-за которой я пошел сюда, завернув в него свой нос, ввязался в ссору и привлек к себе внимание, когда спокойствие и тайна — первые условия моей безопасности!»

— Если вы позволите мне высказать свою догадку, сэр, — продолжал незнакомец (это был не кто иной, как Маркем Эверард), — я могу доказать вам, что знаю вас лучше, чем вы думаете.

«О боже, спаси меня!» — взмолился про себя тот, к кому относились эти слова; с такой верой он никогда еще не произносил ни

одной молитвы. Однако смелость и присутствие духа не изменили ему даже в эту минуту крайней опасности: он вспомнил, что самое главное — не проявлять малодушия и отвечать так, чтобы, если возможно, заставить своего опасного спутника высказать, откуда он его знает и какие подозрения питает на его счет.

— Если вы меня знаете, сэр, и если вы дворянин, как можно предположить по вашей наружности, вы, конечно, легко угадаете, по какой причине я ношу эту одежду, которую вы считаете своей?

— О, сэр, — возразил полковник Эверард (его гнев несколько не остыл от миролюбивого ответа

незнакомца), — мы в свое время изучали «Метаморфозы»

Овидия и знаем, с какой целью благородный молодой человек путешествует в чужом платье, — нам известно, что в некоторых случаях годится даже женское платье. Мы слышали о Вертумне и Помоне.

Король, взвесив эти слова, снова пробормотал пылкую молитву о том, чтобы эта злосчастная встреча не имела более глубоких причин, чем ревность какого-нибудь воздыхателя Алисы Ли, и дал себе обещание, хоть он и был поклонником прекрасного пола, что без сожаления откажется от самой прекрасной из дочерей Евы, если только ему удастся выйти из

этого затруднительного положения.

— Сэр, — сказал он, — вы, кажется, дворянин, поэтому нет никаких оснований скрывать от вас, что я тоже принадлежу к этому сословию.

— А может быть, к более высокому? — спросил Эверард.

— Дворянин, — возразил Карл, — звание, включающее всех, кто имеет право носить герб. Герцог, лорд, принц — тоже дворянин, а если он в несчастье, как я, то должен быть рад, что к нему применили это общее понятие.

— Сэр, — возразил Эверард, — я не собираюсь вырывать у вас признание, которое может стать

роковым для вашей безопасности. Не мое дело арестовать частное лицо, если превратные взгляды на патриотический долг привели его к ошибкам, заслуживающим скорее сожаления здравомыслящего человека, нежели наказания. Но если виновники гражданской войны и разорения родины вносят бесчестие и горе в лоно семей, если они до того распущенны, что оскорбляют гостеприимную кровлю, которая приютила их и спасла от возмездия за преступления против общества, не ужели вы думаете, милорд, что мы будем это терпеть?

— Если вы поставили себе целью поссориться со мной, —

сказал принц, — скажите это прямо, как дворянин. Вы, несомненно, вооружены лучше, чем я, но это преимущество не заставит меня бежать от человека, когда он нападает на меня один. Если, напротив, вы хотите объясниться разумно, я скажу вам спокойно, что не подозреваю, на какую обиду вы намекаете, и не понимаю, почему вы величаете меня милордом.

— Стало быть, вы отрицаете, что вы — лорд Уилмот? — спросил Эверард.

— Я могу отрицать это со спокойной совестью.

— Быть может, вы предпочитаете, чтобы вас величали

графом Рочестером? Ходят слухи, что вы из честолюбия добивались от шотландского короля грамоты на такой титул.

— Не лорд я и не граф, клянусь вам спасением моей христианской души. Имя мое...

— Не унижайте себя ненужной ложью, милорд, не лгите частному лицу, которое, обещаю вам, не призовет власти на помощь своей доброй шпаге, если найдет нужным пустить ее в ход. Взгляните на это кольцо: можете ли вы теперь отрицать, что вы лорд Уилмот?

Вынув из кошелька кольцо, он подал его переодетому принцу, и Карл сразу же узнал в нем тот самый

перстень, что он бросил в кувшин у источника, неосторожно поддавшись искушению поухаживать за красивой девушкой, которую он случайно испугал, и подарить ей хорошенькую безделушку.

— Я знаю это кольцо, — сказал он, — оно принадлежало мне. Но я не понимаю, почему оно доказывает, что я — лорд Уилмот, и должен заявить, что оно лжесвидетельствует против меня.

— Сейчас вы убедитесь, что я прав, — ответил Эверард и, взяв кольцо, нажал пружинку, искусно скрытую в оправе; камень отошел в сторону, и внутри оказался изящно гравированный вензель лорда

Уилмота с короной. — Что вы теперь скажете, сэр?

— Что вероятность еще не доказательство, — ответил принц, — здесь нет ничего такого, чего нельзя объяснить очень просто. Я — сын шотландского дворянина, смертельно раненного и взятого в плен в сражении при Вустере. Когда отец прощался со мной и велел мне бежать, он отдал мне свои последние драгоценности, и в том числе это кольцо. Я слышал от него, что когда-то в Шотландии он менялся кольцами с лордом Уилмотом, но не знал секрета, который вы мне открыли.

Здесь необходимо сказать, что

Карл говорил правду; он не отдал бы кольца так просто, если бы знал, что его легко опознать. Помолчав немного, он продолжал:

— Еще раз повторяю, сэр, я открыл вам многое, от чего зависит моя безопасность; если вы благородный человек, вы отпустите меня, и, может быть, когда-нибудь я отплачу вам за это добром. Если же вы собираетесь меня арестовать, арестуйте здесь же, но берегитесь: дальше я с вами не пойду и следовать за мною не позволю. Если вы меня отпустите, я буду вам благодарен; если нет — беритесь за оружие.

— Молодой человек, — сказал полковник Эверард, — вы внушили

мне сомнение в том, действительно ли вы тот распущенный юнец-дворянин, за которого я вас принял, но так как вы говорите, что ваши семьи были очень близки, я не сомневаюсь что вы прошли школу разврата, где Уилмот и Вильерс — наставники, а их обожаемый государь — самый способный ученик. Ваше поведение в Вудстоке, где вы отблагодарили за гостеприимство этой семьи тем, что задумали нанести смертельную рану ее чести, доказало, что вы тоже способный питомец этой школы.

Я хотел только предостеречь вас на этот счет, и пеняйте на себя, если к предупреждению я добавлю

наказание.

— Предостеречь меня, сэр? — с возмущением воскликнул принц. — Наказание? Вы слишком смело испытываете мое терпение и поплатитесь за это! Обнажайте шпагу, сэр!

С этими словами он схватился за свою.

— Моя религия, — сказал Эверард, — запрещает мне необдуманно проливать кровь. Идите домой, сэр, будьте благоразумны, слушайтесь советов чести и осторожности. Уважайте честь семьи Ли и знайте, что у нее есть близкий человек, тесно с ней связанный, который сурово взыщет с вас за ваши

проступки.

— Ах, вот что! — сказал принц с презрительной усмешкой. — Теперь я вижу, в чем дело: перед нами наш круглоголовый полковник, наш кузен-пуританин, перед нами — знаток библии и законов морали, над которым Алиса Ли потешается от всего сердца. Если ваша религия, сэр, запрещает вам дать удовлетворение дворянину, она должна была бы также запретить вам оскорблять его.

Страсти противников разгорелись не на шутку.

Они выхватили шпаги из ножен и начали сражаться, причем полковник отказался от преимущества, которое мог бы

иметь, если бы пустил в ход свои пистолеты. Сделай кто-нибудь из них неосторожный выпад или поскользнись в тот момент, это могло изменить судьбы Британии, но поединок был прерван появлением третьего лица.

Глава XXV

*Постойте! Жезл свой
бросил государь.*

«Ричард II»[note 51](#)

Оба противника, которых мы оставили в конце предыдущей главы, когда они схватились в поединке, сделали несколько взаимных выпадов с одинаковой ловкостью и отвагой. Карл так часто бывал в боях, ему столько раз приходилось сражаться и терпеть поражения во время гражданской войны, что для него было не внове оказаться перед необходимостью собственной рукой

защищать свою жизнь, а Эверард отличался как личной храбростью, так и другими качествами военачальника. Но появление третьего лица предотвратило трагический исход поединка, в котором торжество любого из участников заставило бы его по многим причинам пожалеть о своей победе.

То был сам старый баронет, ехавший верхом на пони, потому что война и реквизиции лишили его возможности разъезжать на более достойном коне. Он быстро спешился, стал между противниками и под страхом смерти приказал им остановиться. Едва окинув их

взглядом, он понял, с кем имеет дело, и спросил:

— Уж не демоны ли Вудстока, о которых толкует народ, овладели вами обоими, что вы нападаете друг на друга в пределах королевского парка? Позвольте мне сказать вам, что пока старый Генри Ли в Вудстоке, неприкосновенность парка будет соблюдаться так же, как если бы король был на троне. Никто не должен здесь драться на дуэли, кроме оленей, когда им приходит пора. Шпаги в ножны! Иначе я вмешаюсь третьим и, наверно, окажусь дьяволом страшнее вас обоих! Как говорит Уил!

Тебя я с вертелом твоим

Так трахну, что подумаешь: из

ада

Сам черт пришел. [note 52](#)

Противники опустили оружие, но стояли, мрачно глядя друг на друга, как бывает в тех случаях, когда каждый, не желая показать, что он больше другого стремился к примирению, не склонен первый вложить шпагу в ножны.

— Сейчас же уберите оружие, джентльмены, — сказал баронет еще более повелительным тоном, — или вам придется иметь дело со мной! Счастье ваше, что времена изменились. В старину ваша

дерзость стоила бы каждому из вас правой руки, или вам пришлось бы заплатить немалую сумму денег. Племянник, если вы не хотите рассориться со мной навсегда, я приказываю вам вложить шпагу в ножны. Мистер Кернегай, вы мой гость. Прошу вас, не оскорбляйте меня, не стойте с обнаженной шпагой там, где я обязан следить за тем, чтобы соблюдался мир.

— Повинуюсь вам, сэр Генри, — сказал король, вкладывая шпагу в ножны. — Я, право, не совсем понимаю, почему этот джентльмен на меня напал. Уверяю вас, никто более меня не уважает особу короля и его привилегии, — хотя

преданность теперь не слишком в моде.

— Мы найдем такое место для поединка, сэр, — возразил Эверард, — где он не будет оскорблением ни для личности короля, ни для его привилегий.

— Вряд ли, сэр, — заметил Карл, не упуская случая сострить, — мне кажется, у короля так мало сторонников, что если он потеряет самого ничтожного из них, это принесет ему некоторый ущерб. Но я пойду на этот риск и встречу с вами в любом месте, откуда бедный кавалер сможет уйти безопасно, если ему повезет в поединке.

Первой мыслью сэра Генри Ли

была мысль об охране привилегий королевского поместья; теперь он стал думать о безопасности своего племянника и юного роялиста, за которого он принимал короля.

— Джентльмены, — сказал он, — я требую, чтобы этой ссоре был положен конец. Племянник Маркем, вот как ты благодаришь меня за то, что я по твоему настоянию согласился вернуться в Вудсток: ты пользуешься удобным случаем, чтобы перерезать горло моему гостю?

— Если бы вы знали его намерения, как знаю я... — начал было Маркем, но осекся, понимая, что он только рассердит своего дядю,

а не убедит его, так как все, что он мог сказать о видах Кернегая на Алису, можно было приписать его собственным ревнивым подозрениям. Он потупил глаза и замолчал.

— Ну, а вы, мистер Кернегай, — сказал сэр Генри, — можете вы объяснить мне, почему вы хотите лишить жизни этого молодого человека? Хотя он, к несчастью, забыл свою преданность и долг по отношению к королю, я все же питаю некоторую привязанность к моему племяннику.

— Я не знал, что этот джентльмен имеет честь быть вашим племянником; это, конечно,

защищало бы его от моей шпаги, — ответил Кернегай. — Но ссору затеял он, и я не могу понять почему — может быть, из-за различия наших политических убеждений?

— Вы знаете, что это совсем не так! — вскричал Эверард. — Ведь я заявил, что вам как беглому роялисту нечего меня бояться, а последние ваши слова доказали, что вы догадались о моем родстве с сэром Генри. Но это, право, не имеет значения. Я унизил бы себя, если бы использовал родство как средство защиты от вас или от кого-либо другого.

Пока они спорили таким образом, не открывая

действительной причины ссоры, сэр Генри смотрел то на того, то на другого с видом миротворца и наконец воскликнул:

— Да, это все необычайно странно!

Вы не из кубка ли Цирцеи пили?

[note 53](#)

Послушайте, молодые люди, позвольте старику быть вашим третейским судьей! Я знаю толк в таких делах.

Зерно раздора не больше комариного носа, и на моей памяти было случаев пятьдесят, когда, как говорит Уил:

На поле боя встретившись, они
Мечи скрестили смело в
поединке,

а после поединка никто не мог
вспомнить, из-за чего они
поссорились. Да что! Тут достаточно
пустяка: не посторонился, на ходу
задел плечом, сказал необдуманное
слово, не так понял жест... Забудьте
причину ссоры, какова бы она ни
была. Довольно, вы уже скрестили
оружие и хотя должны вложить в
ножны шпаги, не обагрив их кровью,
это не по вашей вине, а по приказу
старшего — человека, наделенного
властью. На Мальте до тонкости

разбираются во всех правилах дуэлей; там люди, начавшие поединок, должны остановиться по приказу рыцаря, или священника, или дамы, и, если ссора прервана таким образом, она считается законченной с честью и не должна возобновляться. Племянник, я думаю, ты не можешь питать неприязни к этому юному джентльмену из-за того, что он сражался за короля. Послушай доброго совета, Маркем, ты знаешь, я не злопамятен, хотя у меня есть основание сердиться на тебя.

Поддай этому молодому человеку руку в знак дружбы, и пойдемте все трое в замок выпить по бокалу вина

за вашу мировую.

Маркем Эверард не мог устоять против такой любезности со стороны своего дяди. Он подозревал, правда, не без основания, что причиной ее было не только возрождение прежней симпатии: вероятно, дядя, проявляя к нему такое внимание, надеялся если не заручиться его помощью в сокрытии беглого роялиста, то по крайней мере побудить его не вмешиваться в это дело. Он чувствовал, что попал в неловкое положение и может внушить подозрения своим единомышленникам, если будет общаться с человеком, укрывающим подобных гостей, пусть даже и с

близким родственником. Но, с другой стороны, он считал, что у него достаточно заслуг перед республикой и что ему не страшны никакие происки завистников.

И в самом деле, хотя гражданская война внесла раздор во многие семьи и в каждую по-своему, однако когда она, казалось, кончилась победой республиканцев, бешеная политическая ненависть начала стихать и прежние родственные и дружеские связи стали, по крайней мере отчасти, восстанавливаться. Многие противники мирились, и такие люди, как Эверард, принадлежавшие к победившей партии, нередко

старались покровительствовать своим преследуемым родственникам.

Все это мгновенно пронеслось в голове Эверарда вместе с мыслью о том, что он опять будет часто видаться с Алисой Ли и получит возможность всегда защитить ее от оскорблений или обид; он подал руку мнимому шотландскому пажу, заявив, что, со своей стороны, готов забыть причину ссоры или, скорее, считать ее плодом недоразумения и предложить мистеру Кернегаю такую дружбу, какая возможна между честными людьми противоположных политических убеждений.

Не в силах подавить чувство собственного достоинства, которое

ему из благоразумия следовало бы забыть, Луи Кернегай в ответ низко поклонился, но не принял протянутой Эверардом руки.

— Мне не нужно, — сказал он, — никаких усилий, чтобы забыть причину ссоры, потому что я так и не смог ее понять; но я не испугался гнева этого джентльмена и теперь охотно приму расположение, которым он готов меня почтить, и не откажу ему в своем.

Эверард с улыбкой опустил руку и поклонился в ответ на поклон пажа; холодный отклик на его изъявление дружбы он объяснил гордым и раздражительным нравом юного шотландца и тем, что

жизненный опыт до сих пор еще не рассеял укоренившихся в нем преувеличенных понятий о семейной чести и собственном достоинстве.

Сэр Генри Ли, обрадованный окончанием ссоры, которое он приписал своему властному вмешательству, и довольный приятной возможностью возобновить отношения с племянником — несмотря на политические разногласия, он питал к нему более теплые чувства, чем сам, быть может, отдавал себе в том отчет, — сказал примирительным тоном:

— Только не огорчайтесь,

молодые джентльмены.

Уверяю вас, мне самому тяжело было разнимать вас, видя, как отважно вы стали в позицию, и все из благородной любви к чести, без всяких злонамеренных или кровожадных помыслов. Право, если бы не мои обязанности королевского лесничего и не моя торжественная клятва исполнять их, то вместо того, чтобы останавливать вас, я охотнее сам стал бы судьей вашего поединка... Но ссора кончена, значит, она забыта, и ваша стычка не должна иметь других последствий, кроме аппетита, который у вас, наверно, разыгрался.

С этими словами он тронул

своего пони и кратчайшей дорогой с торжеством направился к замку. Его ноги почти касались земли, носками он упирался в стремяна; колени были плотно прижаты к седлу, пятки вывернуты наружу и, насколько возможно, опущены, корпус он держал совершенно прямо, поводья были по всем правилам зажаты в левой руке, хлыст в правой направлен по диагонали к левому уху лошади: посмотреть на него, так это был настоящий мастер верховой езды, достойный оседлать самого Буцефала. Его молодые спутники, шедшие с обеих сторон, словно конюхи, едва могли подавить улыбку при виде безупречно правильной,

классической посадки баронета, совсем не подходящей к дикому виду низкорослого пони с косматой шкурой, длинным хвостом и гривой, с быстрыми глазами, горевшими, как раскаленные угли, из-под густой челки, падавшей на короткую морду. Если у читателя есть книга о верховой езде герцога Ньюкасла (*splendida moles!* [note 54](#)), он получит некоторое представление о фигуре доброго баронета, мысленно посадив одного из изображенных там изящных мастеров этого искусства на уэльского или эксмурского пони во всей его дикой простоте, не выхоленного и не обьезженного; при этом смешное впечатление еще

усиливается из-за контраста между ростом лошади и ростом всадника.

Вероятно, баронет заметил их удивление, потому что, едва они отъехали от места происшествия, он сказал:

— Хоть Пикси и мал, он ретив, джентльмены, — здесь он заставил самого Пикси прыжком подтвердить его слова, — ростом невелик, но с норовом! Я, правда, великоват для всадника-гнома (баронет был ростом выше шести футов); а если бы не это, сидя на нем, я мог бы напомнить короля фей, как его описывает Майк Дрейтон:

На ухвертку он вскочил,

Пришпорил, круто осадил
И тотчас вновь разгорячил,
Хлестнув, что было силы.

Летел, как вихрь, кричал ей:
«стоп!»,

Шел рысью, поднимал в галоп,
Кружился, прыгал, пел «гоп-
гоп!» —

Так был он полон пыла.

— Мой старый дружок
Пикси! — сказал Эверард, потрепав
пони по холке. — Я рад, что он
пережил все эти бурные дни. Пикси,
должно быть, уже за двадцать, сэр
Генри?

— За двадцать, конечно. Да,

племянник, война — это ураган над полем, она щадит только то, что и беречь не к чему. Старый Пикси и его хозяин пережили немало молодцов и добрых коней, хотя сами уж не многого стоят. Но, как говорит Уил, и старик может на что-нибудь пригодиться. Вот и мы с Пикси пока еще живы.

С этими словами он опять заставил Пикси продемонстрировать остатки былой ретивости.

— Все еще живы? — повторил молодой шотландец, продолжая фразу, не досказанную достойным баронетом. — Ну да, все еще живете, чтобы

Пленять искусством верховой езды.

Эверард покраснел, почувствовав в этих словах насмешку, но его дядя ничего не заметил; простодушное тщеславие баронета не позволило ему усомниться в искренности комплимента.

— Так и вы заметили? — сказал он. — Во времена короля Иакова я в самом деле участвовал в турнирах, и тогда вы могли бы сказать, что был

Там юный Гарри с поднятым забралом.

А видеть старого Гарри, тут

уж... — Баронет помолчал, как застенчивый человек, собирающийся сострить. — Увидеть старого Гарри.., все равно что увидеть дьявола. Понимаете, мистер Кернегай, дьявол, знаете ли, мой тезка.., ха! ха! ха! Племянник Эверард, я надеюсь, твое благочестие не испугается невинной шутки?

Он был так восхищен одобрением своих спутников, что продекламировал весь знаменитый отрывок, и, наконец, предложил всему нынешнему поколению поэтов — Донну, Каули, Уоллеру и всем прочим — сложить вместе свои таланты, чтобы получилась хоть одна десятая часть гения старика Уила.

— Да ведь говорят, что среди нас есть его потомок — сэр Уильям Давенант, — сказал Луи Кернегай, — и многие считают, что он не уступает Шекспиру.

— Как! — воскликнул сэр Генри. — Уил Давенант, которого я знавал на Севере, офицер, служивший под начальством маркиза Ньюкасла во время осады Гулля? Ну что ж, он был честный роялист и писал неплохие стихи; но как он попал в родню к Уилу Шекспиру, желал бы я знать?

— Да вот как, — ответил юный шотландец, — самым верным способом, как водится спокон веку, если только Давенант говорит

правду. Кажется, его мать была хорошенькая веселая толстушка, хозяйка гостиницы между Стрэтфордом и Лондоном, где Уил Шекспир часто останавливался по пути на родину; вот они и подружились и стали кумовьями, как говорят у нас в Шотландии: Уил Шекспир стал крестным отцом Уила Давенанта; но младший Уил не довольствуется этим духовным родством и предъявляет некоторые претензии на кровное родство, — утверждает, что его мать была большой поклонницей остроумия и ее любезность по отношению к гениальным людям не знала границ. [Эту сплетню можно найти у

комментаторов Шекспира.

Давенант поступал неумно, делая намеки, в которых жертвовал добрым именем своей матери, желая прослыть потомком несравненного Шекспира. (Прим, автора.)].

— К черту этого презренного пса! — воскликнул полковник Эверард. — Неужели он согласен прослыть потомком поэта или принца за счет доброго имени своей матери? Да за это ему надо нос отрезать!

— Трудновато было бы, — ответил переодетый принц, вспомнив характерную особенность лица этого поэта. [note 55](#).

— Уил Давенант — сын Уила

Шекспира! — воскликнул баронет, который до сих пор не мог прийти в себя от такого неслыханного притязания. — Ну, мне вспоминаются стихи из кукольного спектакля, где Фаэтон жалуется своей матери:

Мальчишки дразнят — просто стыд и срам! —

«Ублюдок! Солнцев сын! Катись к чертям!»

[note 56](#)

Никогда не приходилось мне слышать ничего подобного по наглости! Уил Давенант — сын

самого блестящего и лучшего поэта прошедших, настоящих и будущих времен! Но прошу прощения, племянник... Вы, я думаю, не любите театральных пьес.

— Нет, я вовсе уж не такой педант, каким вы хотите меня представить, дядя. В свое время я, может быть, слишком любил пьесы, да и теперь осуждаю их не все огульно или оптом, хоть и не одобряю всех их крайностей и преувеличений. Я не могу даже у Шекспира не видеть много такого, что противно приличиям и предосудительно для нравственности, много таких мест, где он высмеивает добродетель,

восхваляет порок или, во всяком случае, скрашивает его безобразие. Я не думаю, что полезно, в особенности для молодежи обоего пола, читать эти прелестные стихи, где мужчины заняты только кровопролитием, а женщины — любовными интригами.

Эверард простодушно предполагал, что этими замечаниями только предоставит своему дяде подходящий предлог для защиты его любимого искусства, не обижая его возражением, столь мягким и умеренным.

Но здесь, как и в других случаях, он забыл, как упрям был его дядя в своих религиозных и политических

воззрениях и в вопросах вкуса; легче было завербовать его в сторонники пресвитерианского управления страной или склонить к измене присяге, чем поколебать его веру в Шекспира. У достойного баронета была еще другая особенность в манере спорить, и Эверард, человек прямой и простодушный, верный религиозным принципам, которые в известной степени противоречили скрытности и притворству, принятым в обществе, никогда не мог хорошенько ее постичь.

Сэр Генри, зная свой горячий нрав, изо всех сил старался сдерживаться; иногда, хоть и сильно оскорбленный, он сохранял в споре

внешнее спокойствие, пока волна чувств не поднималась в нем так высоко, что переливалась через искусственные преграды и сносила их; тогда он обрушивал на противника весь накопившийся гнев. Поэтому бывало так: он, как хитрый старый генерал, постепенно и в полном порядке отступал перед своим собеседником, оказывая такое умеренное сопротивление, что давал преследовать себя до определенного пункта, и тут, неожиданно и внезапно переходя в атаку всеми силами конницы, пехоты и артиллерии, непременно наносил противнику удар, если и не всегда мог его уничтожить.

Соответственно с этой тактикой, баронет, выслушав последнее замечание Эверарда, подавил свой гнев и ответил спокойным тоном, скрывавшим кипение его страстей:

— Несомненно, в наше несчастное время пресвитерианское среднее дворянство неопровержимо доказало свое смиренное, чуждое всяких претензий и тщеславия стремление к общественному благу; все теперь верят в искренность его сильнейшего предубеждения против таких пьес, где благороднейшие религиозные и добродетельные чувства — чувства, способные обратить на путь истинный самых закоснелых грешников и достойные

уст умирающих святых и мучеников, — перемежаются иногда с непристойными шутками и прочими вольностями; и все это — следствие невежества и грубых вкусов нашего века; правда, эти вольности не мешают никому, кроме тех, кто старательно их выискивает, чтобы указывать на них и поносить то, что само по себе заслуживает величайшей похвалы.

Но в особенности желал бы я спросить своего племянника, знают ли эти даровитые люди, которые изгнали с церковных кафедр ученых мужей и мудрых священников англиканской церкви и теперь процветают на их месте, что такое

вдохновение муз (если это нечестивое выражение не оскорбит полковника Эверарда), или они так же глупо и грубо недоброжелательны к изящной словесности, как и к человеколюбию и здравому смыслу?

По ироническому тону, которым была произнесена эта речь, полковник Эверард мог бы догадаться, какая буря бушевала в груди его дяди; он мог бы также судить о его состоянии по тому, что сэр Генри сделал особое ударение на слове «полковник», — этим званием, которое связывало племянника с ненавистной партией, он величал Эверарда только в минуты гнева, когда же они были в ладу, он обычно

называл его племянником или просто Маркемом. Полковник отчасти понимал этот гнев и к тому же жаждал увидеть свою кузину; поэтому он ничего не ответил на отповедь дяди, которая закончилась как раз в тот момент, когда старый баронет спешил к дверям замка и вошел в зал в сопровождении своих спутников.

Тут появилась Фиби и получила приказание принести джентльменам что-нибудь выпить. Вудстокская Геба узнала Эверарда и приветствовала его почти неслышным реверансом, но оказала ему плохую услугу, когда самым невинным тоном спросила у баронета, не прикажет ли он позвать

мисс Алису. В ответ ей прозвучало суровое «нет», и это неуместное вмешательство, казалось, еще усилило раздражение баронета против Эверарда за то, что он отзывался о Шекспире без должного почтения.

— Я бы все же настаивал, — сказал сэр Генри, возвращаясь к неприятному разговору, — если только бедному отставному солдату королевских войск пристало так обращаться к офицеру победоносной армии, на том, чтобы вы ответили, вызвало ли к жизни это смутное время, без конца посылающее нам святых и пророков, хоть одного поэта, столь одаренного и изящного,

чтобы он мог затмить бедного старого Уила, который был оракулом и кумиром для нас, ослепленных и преданных всему земному роялистов?

— Конечно, сэр, — возразил полковник Эверард? — я знаю стихи, написанные другом республики, и тоже в драматическом роде; если оценить их беспристрастно, они могут поспорить даже с поэзией Шекспира и при этом свободны от напыщенности и грубости, которыми великий бард не гнушался для удовлетворения низменных вкусов своей варварской публики.

— В самом деле? — спросил баронет, с трудом подавляя гнев. — Я

хотел бы познакомиться с этим шедевром поэзии. Можно узнать имя этого замечательного человека?

— Наверно, это Викерс или, может быть, Уизерс, — вставил мнимый паж.

— Нет, сэр, — возразил Эверард, — и не Дрэммонд из Хоторндена и не лорд Стерлинг. Но сами стихи подтвердят мои слова, если вы снисходительно выслушаете мою посредственную декламацию, — я ведь больше привык говорить перед отрядом солдат, чем перед любителями муз. Стихи написаны от лица дамы, которая заблудилась в дремучем лесу; ее застигла ночь, и вначале она

говорит, что ей жутко, что она
страшится чего-то
сверхъестественного.

— Тоже пьеса, и автор
круглоголовый! — с удивлением
сказал сэр Генри.

— Во всяком случае,
драматическое произведение, —
ответил его племянник и просто, но
с чувством начал декламировать
стихи, теперь знаменитые, но в то
время малоизвестные, потому что
слава автора основывалась больше на
его памфлетах и политических
сочинениях, чем на поэзии, которой
впоследствии суждено было его
обессмертить:

Такие мысли могут удивить,
Но не смутить высокий дух того,
Кого ведет рукою твердой
Совесьть.

— Да это моя мысль, племянник
Маркем, моя мысль! — в восторге
воскликнул сэр Генри. — Она лучше
выражена, но это как раз то, что я
говорил, когда подлые круглоголовые
уверяли, что видят духов в
Вудстоке... Читай дальше,
пожалуйста Эверард продолжал:

— О, Вера ясноглазая, и ты,
Надежда с белоснежными
руками!

Ты, незапятнанная Чистота!

Я ныне вижу вас и уповаю,
Что вездесущий, в чьих руках
невзгоды —

Всего лишь слуги грозного
возмездья, —

Мне ниспошлет хранителя
благого,

Чтоб оберечь и жизнь мою и
честь...

Ошибся я, иль черной тучи плащ
И впрямь сверкнул в ночи
шитьем сребристым?

— Дальше забыл, — сказал
чтец, — и то удивительно, что
запомнил так много.

Сэр Генри Ли ожидал каких-

нибудь виршей, совсем непохожих на эти прекрасные классические строки; презрительное выражение исчезло с его лица, он перестал кривить верхнюю губу и, поглаживая бороду левой рукой, приставил указательный палец правой ко лбу, в знак глубокого внимания. Когда Эверард замолчал, старик вздохнул так, словно в ушах его смолк поток сладкозвучной музыки. Потом он заговорил уже более дружелюбным тоном.

— Племянник Маркем, — сказал он, — стихи эти текут сладостно и звучат как лютня в руках умелого музыканта. Но ты знаешь, что я не сразу схватываю весь смысл

того, что слышу впервые. Повтори еще раз эти стихи, медленно и с расстановкой; я всегда люблю слушать поэзию дважды: первый раз, чтобы уловить звучание, а второй раз — смысл.

Ободренный его словами, Эверард прочитал стихи еще раз, увереннее и лучше; баронет ясно расслышал все и взглядом и жестами выразил свое высокое одобрение.

— Да, — проговорил он, когда Эверард снова умолк, — вот настоящая поэзия, хотя бы автор ее был просвитерианин или даже анабаптист. Достойные и праведные люди были и в нечестивых городах, которые пожрал огонь Господень. И,

конечно, я слышал, хотя и не очень этому верил — прошу прощения, племянник Эверард, — что некоторые из вас поняли, какую вы сделали ошибку, когда восстали против лучшего и добрейшего государя и довели до того, что он был убит бандой еще более свирепой, чем они сами.

О, нет сомнения, благородство ума и чистота души, продиктовавшие такие прекрасные строки, давно уже подсказывали этому достойному человеку слова:

«Я грешен, я грешен». Да, я уверен, эта сладкозвучная арфа сломана, хотя бы от одного раскаяния в преступлениях, которым он был

свидетелем; и теперь он сидит С поникшей головой, полный стыда и печали за Англию. А каждая из его великолепных рифм, по словам Уила,

Как колокол надбитый,
дребезжит.

[note 57](#)

Не так ли, мистер Кернегай?

— Не думаю, сэр Генри, —
ответил паж с легким лукавством.

— Как, вы не верите, что автор
этих строк должен быть лучше
других и, конечно, склоняется к
нашим убеждениям?

— Мне кажется, сэр Генри, эта
поэзия показывает, что ее автор

способен написать пьесу о жене Потифара и ее строптивом возлюбленном; что же касается его призвания, то, судя по последней метафоре — туча в черном камзоле или плаще с серебряным шитьем, — я произвел бы его в портные, но только я случайно знаю, что по профессии он школьный учитель, а по политическим убеждениям удостоен звания поэта-лауреата у Кромвеля; ведь то, что так умилительно читал полковник Эверард, написал не кто иной, как знаменитый Джон Мильтон.

— Джон Мильтон! — в изумлении воскликнул сэр Генри. — Как! Джон Мильтон, кощунственный

и кровожадный автор *Defensio Populi Anglicani*! [note 58](#) Адвокат адского Верховного суда дьяволов! Выкормыш и прихлебатель этого верховного обманщика, этого отвратительного лицемера, этого ненавистного чудовища, этого выродка природы, этого позора рода человеческого, этого средоточия подлости, этого сосуда греха и этого сгустка низости, Оливера Кромвеля!

— Тот самый Джон Мильтон, — ответил Карл, — учитель маленьких детей и портной облаков, которых он снабжает черными камзолами и плащами с серебряным шитьем, вопреки всякому здравому смыслу.

— Маркем Эверард, — сказал

старый баронет, — я тебе никогда не прощу... Никогда, никогда. Ты заставил меня отозваться с похвалой о том, чью пададь следовало бы бросить на съедение коршунам... Не говори ни слова, и вон отсюда! Неужели я, твой родственник и благодетель, достоин того, чтобы морочить меня, выманивать от меня похвалу и одобрение, и кому? Такому гробу повапленному, как этот софист Мильтон?

— Позвольте сказать вам, — возразил Эверард, — что это несправедливо, сэр Генри. Вы сами просили меня, вы настаивали, чтобы я прочел вам образец поэзии, не уступающей Шекспиру. Я думал

только о стихах, а не о политических взглядах Мильтона.

— О да, сэр, — возразил сэр Генри Ли, — мы знаем, вы мастера делать разграничения; вы могли воевать против прав короля, ничего не имея против его личности. Боже упаси! Но господь все слышит и будет вам судьей... Поставь вино, Фиби, — это он добавил как бы в скобках, обращаясь к Фиби, которая вошла с вином и закуской. — Полковник Эверард на хочет пить. Вы отерли уста и говорите, что не сделали ничего дурного. Но хотя вы обманули человека, бога вам не обмануть. И вы не оботрете уст в Вудстоке ни после еды, ни после

питья, уж поверьте мне.

Таким образом, на Эверарда обрушилось обвинение в грехах, приписываемых всей его религиозной секте и политической партии; он слишком поздно осознал, какой сделал промах, когда стал оспаривать вкусы своего дяди в драматической поэзии. Он попытался объясниться, готов был просить извинения.

— Я не понял вашего намерения, уважаемый сэр, и думал, что вы в самом деле желаете узнать что-нибудь о нашей литературе. Уверяю вас, что, когда я прочитал стихи, которые вы сочли достойными ваших ушей, я предполагал доставить

вам удовольствие, а совсем не
вызвать ваше возмущение.

— О да! — возразил баронет все
так же гневно, — Уверяю, уверяю...
Это ваше новое выражение, которым
вы заменяете нечестивые клятвы
придворных и кавалеров...
Послушайте, сэр, уверяйте меньше и
больше делайте... Итак, прощайте.
Мистер Кернегай, вы найдете вино в
моей комнате.

Фиби стояла разинув рот, ничего
не понимая в неожиданно возникшей
ссоре, а полковник Эверард все
больше закипал от гнева при виде
пренебрежительной позы молодого
шотландца, который, засунув руки в
карманы (с модным придворным

жеманством того времени), вытянулся в старинном кресле; он был вежлив и не стал громко смеяться, по зато он умел смеяться про себя; благодаря этой способности светский человек может дать волю своему веселью, не вызывая ссор и не нанося прямого оскорбления; однако он не очень старался скрыть то, что его чрезвычайно забавлял результат визита полковника Эверарда в Вудсток. Терпение же Маркема достигло предела, за которым он легко мог вспылить; хотя их политические взгляды сильно расходились, в характере дяди и племянника было много общего.

— Проклятие! — воскликнул полковник тоном, так же мало подобающим пуританину, как и само это восклицание.

— Аминь! — сказал Луи Кернегай, но таким мягким и милым голосом, что это слово, казалось, вырвалось у него, а не было произнесено с намерением.

— Сэр! — проговорил Эверард, шагнув к нему с видом разгневанного человека, который ищет, на ком бы выместить свою досаду.

— Plait-il? [note 59](#) — отозвался паж совершенно спокойно, глядя ему в лицо с самой неподдельной невинностью.

— Я желал бы знать, сэр, —

ответил Эверард, — что означает слово, которое вы сейчас произнесли?

— Только излияние души, достойный сэр, — отпарировал Кернегай, — небольшая посылочка, которую я отправил к небесам лично от себя, приложив ее к святой молитве, только что изреченной вами.

— Сэр, я знаю случай, когда одному веселому джентльмену переломали кости за такую улыбку, какая сейчас у вас на лице, — ответил Эверард.

— Вот видите, — заметил лукавый паж, который даже при мысли о собственной безопасности не мог отказать себе в удовольствии

отпустить шутку, — если бы вы оставались при своих уверениях, достойный сэр, вы бы давно уже задохлись, но ваше откровенное проклятие выскочило, как пробка из бутылки сидра, и выпустило ваш гнев вместе с пеной, выразив его честным некрещеным языком обычных головорезов.

— Ради бога, мистер Гирнигай, — вступилась Фиби, — сдержитесь, не говорите полковнику такие дерзкие слова! А вы, добрый полковник Маркем, не обижайтесь на него, ведь он еще мальчик.

— Если вам или полковнику будет угодно, мисс Фиби, вы убедитесь в том, что я не ребенок...

Я думаю, ему уже кое-что об этом известно. Он, может быть, посоветует вам сыграть роль дамы в «Комусе», и я надеюсь только, что в своем восхищении Джоном Мильтоном он не задумает взять на себя роль Самсона-Борца, не взорвет этот дом своими проклятиями и в ярости не обрушит его на нас.

— Молодой человек, — сказал полковник, все еще не владея собой от гнева, — если у вас нет других оснований уважать мои религиозные принципы, то помните, что только благодаря им вы избежали заслуженного наказания.

— Видно, придется позвать кого-нибудь такого, — сказала

служанка, — кто повлияет на вас больше меня. — И Фиби выбежала из комнаты, в то время как Кернегай отвечал Эверарду все тем же оскорбительным тоном спокойной небрежности'.

— Прежде чем пугать меня такой страшной угрозой, как ваш гнев, вам не мешало бы выяснить, не заставят ли меня обстоятельства отказаться от того, на что вы, кажется, намекаете.

В этот момент в зал поспешно вошла Алиса — ее, очевидно, позвала служанка.

Кернегай встал и поклонился, но, видимо, решил не трогаться с места, пока не уйдет Эверард, чтобы

помешать ему объясниться с
кузиной., — Маркем, — торопливо
проговорила Алиса, — кузен
Эверард, я могу быть здесь только
одну минуту... ради бога, сейчас же
уходите!.. Будьте осторожны и
терпеливы, но уходите скорее, мой
отец страшно разгневан.

— Дядя мне уже сказал это,
сударыня, — ответил Эверард, — и
также велел мне уйти; я повинуюсь
ему без промедления. Я не думал,
что вы так охотно подтвердите его
суровый приказ, но я ухожу,
сударыня, понимая, что оставляю вас
с теми, чье общество для вас
приятнее.

— Несправедливый..,

безжалостный.., неблагодарный!.. — сказала Алиса; но, опасаясь, чтобы ее слова не достигли ушей, которым они не предназначались, она говорила так тихо, что тот, кого они должны были утешить, ничего не расслышал.

Он холодно поклонился Алисе, как бы прощаясь с ней, и сказал тоном натянутой учтивости, которая у людей хорошего общества иногда скрывает смертельную ненависть:

— Я думаю, мистер Кернегай, что мне сейчас уместнее будет не высказывать своего особого мнения о предмете, которого мы касались в нашем разговоре, но я пришлю к вам одного дворянина, и он, надеюсь,

сумеет вас убедить.

Мнимый шотландец отвесил ему величественный и в то же время снисходительный поклон, сказал, что будет иметь честь ожидать его приказаний, предложил руку мисс Алисе, чтобы проводить ее в комнату отца, и, торжествуя, простился со своим соперником.

Эверард, вне себя от обиды, вернулся в городок; изящество и холодная самоуверенность юного шотландца по-прежнему заставляли его предполагать, что это или Уилмот, или кто-нибудь из его высокопоставленных товарищей по распутству; он решил, что не потерпит обиды, даже если бы

пришлось искать удовлетворения такими средствами, которые, согласно стоическим нравственным и религиозным принципам, считались недопустимыми.

Глава XXVI

*...Несдержанность в
желаньях*

*Присуща деспотизму и
нередко*

*Безвременно свергала
королей*

Со славных тронов.

«Макбет»[note 60](#)

В то время как полковник
Эверард с великим негодованием
уходил из замка, не отведав
угощения, которое сэр Генри, будучи
в благодушном настроении,
предложил ему и которого он

лишился, рассердив своего дядю при обстоятельствах, нами описанных, почтенный старый баронет, как только пришел в себя после своего приступа гнева, вкусил от этих яств вместе с дочерью и гостем и немного спустя, вспомнив о каком-то деле в парке (хотя это уже почти потеряло смысл, он по-прежнему регулярно исполнял свои обязанности королевского лесничего), кликнул Бевиса и вышел; молодые люди остались одни.

«Теперь, — подумал влюбленный принц, — когда около Алисы нет больше ее льва, остается узнать, принадлежит ли она сама к породе тигриц».

— Вот как, сэр Бевис покинул свой пост, — сказал он громко, — я думал, что в старину рыцари, эти суровые телохранители, лучше несли сторожевую службу, а ведь он — их достойный преемник.

— Бевис, — сказала Алиса, — знает, что я прекрасно могу обойтись и без него, да к тому же у него есть другие обязанности, которые для каждого истинного рыцаря важнее, чем все утро вертеться у юбки своей дамы.

— Говорить так — значит изменить всякому подлинному чувству, — возразил принц, — малейшее желание дамы должно связывать верного рыцаря больше

чем что-либо другое, кроме приказания его государя.

Я хотел бы, мисс Алиса, чтобы вы хоть намекнули мне на какое-нибудь ваше желание, и вы бы увидели, как я умею повиноваться.

— Утром вы мне так и не сказали, который час, — возразила девушка, — я сидела здесь и не знала, далеко ли унесли нас крылья времени, тогда как мне надо было вспомнить, что любезность джентльмена может быть такой же непостоянной, как само время.

Знаете ли вы, чего могло стоить ваше непослушание Мне и другим? Пудинг и пирог могли обуглиться, сэр, потому что я, по старинному

домашнему обычаю, присматриваю за кухней, или же я могла бы пропустить час молитвы, или опоздала бы на свидание — и все из-за того, что мистер Луи Кернегай не выполнил мое поручение.

— О! Я из тех влюбленных, которые не выносят разлуки, — возразил Кернегай, — я должен быть вечно у ног своего прекрасного врага — так, кажется, рыцарские романы учат нас величать жестокую красавицу, которой мы посвящаем наши сердца и жизни.

Говори за меня, добрая лютня, — добавил он, взяв в руки инструмент, — и покажи, знаю ли я свои обязанности.

Он запел, обнаружив при этом
больше умения, чем голоса, мелодию
французского рондо, к которой
какой-то поэт из его веселой
странствующей свиты приспособил
английские стихи:

— Один твой взгляд! Когда меж
туч

Алеет солнца первый луч,
Что силы мне тогда дает
Вновь жить под бременем
невзгод,

Воспоминаний о былом
И страха перед новым днем?
Один твой взгляд!

Один твой взгляд! Когда волной

Плывет в полях июньский зной,
Что в этот час вознаградит,
Что лоб горячий остудит
Измученного батрака?
Не зелень рощи, не река —
Один твой взгляд.

Один твой взгляд! Когда закат
Угас и сном весь мир объят,
Что гонит мысли о нужде,
Долгах, безрадостном труде,
О том, что я, как нищий, гол,
А мой хозяин скуп и зол?
Один твой взгляд.

— По правде говоря, есть еще
один куплет, — сказал певец, — но я
вам его не пою, мисс Алиса, потому

что он не нравился некоторым придворным жеманницам.

— Благодарю вас, мистер Кернегай, — молвила Алиса, — за вашу скромность; вы спели то, что могло доставить мне удовольствие, и пропустили то, что могло бы меня обидеть. Хотя я и деревенская девушка, я хочу следовать обычаям двора и не допускать ничего такого, что не принято в лучшем обществе.

— Я хотел бы, — ответил Луи, — чтобы вы твердо усвоили их обычаи и позволяли все, что считается допустимым у придворных дам.

— А что бы из этого вышло? — невозмутимо спросила Алиса.

— Тогда, — сказал Луи, смутившись, как генерал, увидевший, что его подготовка к атаке, по-видимому, не вызывает у противника ни страха, ни замешательства, — тогда вы простили бы мне, прекрасная Алиса, если бы я заговорил с вами языком более нежным, чем язык простой любезности.., если бы я сказал вам, как дорого моему сердцу то, что вы считаете пустой шуткой, если бы я серьезно признался, что в вашей власти сделать меня счастливейшим или несчастнейшим из смертных.

— Давайте объяснимся, мистер Кернегай, — ответила Алиса все с тем же невозмутимым

спокойствием. — Я мало знаю обычаи высшего света, но скажу вам откровенно, я не хочу, чтобы вы считали меня глупенькой провинциальной девушкой, которая по невежеству или из жеманства пугается первой любезности, сказанной молодым человеком, которому сейчас больше нечего делать, как чеканить и пускать в обращение подобные фальшивые комплименты. Но я не должна допускать, чтобы этот страх прослыть деревенской и по-глупому застенчивой завел меня слишком далеко, а так как я не знаю точных границ, то позабочусь о том, чтобы остановиться, не доходя до них.

— Надеюсь, сударыня, — промолвил Кернегай, — что хотя вы расположены судить обо мне строго, вы не будете наказывать меня слишком сурово за проступок, в котором виновата единственно ваша прелесть?

— Выслушайте меня, пожалуйста, сэр, — продолжала Алиса. — Я внимала вам, пока вы говорили *en berger* [note 61](#); я была даже столь снисходительна, что отвечала вам *en bergere* [note 62](#), но я считаю, что из диалогов Линдора и Жаннеты ничего не может получиться, кроме смешного; главный недостаток такого стиля — его крайняя и утомительная глупость и вычурность.

Но когда вы становитесь на колени, берете меня за руку и говорите в более серьезном тоне, я должна вам напомнить, кто мы такие. Я, сэр, дочь сэра Генри Ли; а вы — мистер Луи Кернегай, паж моего брата или выдаете себя за пажа; вы беглец, укрываетесь в доме моего отца, а он подвергается опасности, принимая вас; его семья должна быть избавлена от вашей неприятной навязчивости.

— Дай бог, прекрасная Алиса, — сказал король, — чтобы ваш отказ внять моей мольбе, которую я излагаю не в шутку, а самым серьезным образом и от которой зависит все мое счастье, был

вызван только незнатным и ненадежным положением Луи Кернегая.

Алиса, вы истая дочь своего отца и должны быть честолюбивы. Я не бедный шотландский паж, которого изображал, потому что так было нужно, и не неотесанный увалень, каким прикинулся в первый вечер нашего знакомства. Эта рука, хоть теперь я и кажусь бедняком, может даровать герцогскую корону.

Э — Оставьте эту корону, — сказала Алиса, — для какой-нибудь более честолюбивой девицы, милорд... так, конечно, следует величать вас, если эта рыцарская история правдива. Я не приму вашей

руки, хотя бы вы могли предложить мне герцогский титул.

— В некотором отношении, милая Алиса, вы не переоценили ни моей власти, ни моего чувства к вам.

С вами говорит ваш король... Карл Стюарт!.. Он может даровать герцогский титул, и если есть на земле красота, достойная его, это красота Алисы Ли. Нет, нет, встаньте, не преклоняйте колена... Это ваш государь должен стоять перед вами на коленях, Алиса...

Он предан вам в тысячу раз больше, чем это посмел бы выразить скиталец Луи. Я знаю, моя Алиса была воспитана в любви и послушании своему государю и,

повинуясь голосу совести и милосердия, не станет наносить ему столь глубокую рану и отвергать его мольбы.

Как Карл ни противился, Алиса упорно преклоняла одно колено, пока не коснулась губами руки, которой он пытался ее поднять. Но, отдав этот долг уважения королю, она выпрямилась, сложила руки на груди и подняла на него смиренный, но спокойный, смелый и настороженный взор; она совершенно владела собой, и, казалось, ей так мало польстило признание, которым король предполагал сломить ее решимость, что он не знал, в каких словах

продолжать свои мольбы.

— Вы молчите., вы молчите, моя прелестная Алиса, — проговорил он. — Неужели король так же не властен над вами, как и бедный шотландский паж?

— В одном смысле он полновластен, — сказала Алиса, — потому что повелевает моими лучшими помыслами, лучшими желаниями, моими самыми искренними молитвами, моей беспредельной преданностью, которую все сыны рода Ли всегда готовы доказать мечом, а дочери, в случае необходимости, должны скрепить своей кровью. Но за пределами обязанностей

верноподданной король для Алисы Ли значит даже меньше, чем бедный Луи Кернегай. Паж мог бы предложить ей достойный союз, монарх же может предложить лишь запятнанный герцогский титул.

— Ошибаетесь, Алиса, ошибаетесь! — горячо Воскликнул король. — Сядьте и выслушайте меня. Чего вы боитесь?

— Я ничего не боюсь, государь, — ответила Алиса. — Чем может быть опасен король Британии мне, дочери его верного подданного, да еще под отцовским кровом? Но я помню, какое расстояние нас разделяет; я могла болтать и шутить с равным, но со своим королем я

всегда должна держаться
почтительно, как подобает
подданной, если только его
безопасность не потребует, чтобы я
держала в тайне его сан.

Несмотря на свой юный возраст,
Карл уже не был новичком в
подобных положениях; он изумился,
встретив такое сопротивление,
какого ему еще ни разу не оказывали
даже в тех случаях, когда
домогательства его не имели успеха.
В манере держать себя и во всем
поведении Алисы не было ни гнева,
ни оскорбленной гордости, ни
смятения, ни высокомерия,
подлинного или притворного. Она
держалась спокойно, словно

приготовилась хладнокровно
рассуждать о чувствах, ответ на
которые может дать только пылкая
любовь, — не подавала вида, что
хочет убежать из комнаты, и,
казалось, решила терпеливо
выслушать объяснения
поклонника, — однако и лицо и весь
вид ее говорили, что она оказывает
эту любезность только из уважения к
воле короля.

«Она честолюбива, — подумал
Карл, — одни страстные мольбы ее
не тронут, нужно играть на ее любви
к славе — тогда, быть может, я
добьюсь успеха...» Прошу вас сесть,
прекрасная Алиса.., влюбленный вас
молит.., король вам повелевает.

— Король, — сказала Алиса, — может своею волей ослабить этикет, который мы должны соблюдать при монархе, но он не в силах даже прямым приказом отменить обязанности своих подданных. Я буду стоять здесь, пока ваше величество благоволит обращаться ко мне, и буду терпеливо слушать, как велит мне долг.

— Так знай же, наивная девушка, — сказал король, — что, принимая мою любовь и покровительство, ты не нарушаешь никаких законов, ни добродетели, ни чести. Те, кто родились для престола, в личной жизни лишены многих радостей, и самая главная из

этих радостей, самая драгоценная — это право выбирать себе подругу жизни. Политическая необходимость принуждает их заключать официальные браки, и те, на ком они женятся, очень часто по темпераменту, характеру и склонностям менее всего способны составить их счастье. Поэтому общество питает к нам сострадание и налагает на наши подневольные и порой несчастливые браки цепи не столь тяжелые и крепкие, как те, что связывают других людей, которые сами выбирают себе брачные узы. И с тех самых пор как старый Генрих построил эти стены, священники и прелаты, дворяне и государственные

мужи привыкли к тому, что у каждого короля есть прекрасная Розамунда, которая управляет любящим сердцем монарха и вознаграждает его за те немногие часы, которые он принужден проводить на парадных приемах возле какой-нибудь злой и ревливой Элеоноры. Свет не порицает подобных связей; все стремятся на празднество, чтобы полюбоваться красотой прелестной Эсфири, в то время, как властолюбивая Астинь остается царствовать в одиночестве; все во дворце толпятся вокруг Эсфири, все ищут ее покровительства, и влияние ее во сто раз сильнее, чем влияние гордой

супруги монарха; ее потомки причисляются к знати и подтверждают свою храбростью, — например, прославленный Лонгсуорд, граф Солсбери, — свое происхождение от короля и от его любви.

Такие связи положили начало знатнейшим родам нашего дворянства, а родоначальница такой семьи живет среди своего потомства, которое чтит и благословляет ее, и все жалеют ее и оплакивают, когда она умирает, окруженная любовью и лаской.

— Разве так умерла Розамунда, милорд? — возразила Алиса. — Наши хроники утверждают, что она

была отравлена оскорбленной королевой, отравлена и ей даже не дали времени вымолить у бога прощение ее многочисленных грехов. Разве память о ней живет? Я слышала, что, когда епископ освящал церковь в Годстоу, ее надгробный памятник был разрушен по его приказу, а кости выброшены в неосвященную землю.

— То были старые, варварские времена, прелестная Алиса, — ответил Карл. — Теперь королевы не так ревнивы, а епископы не так суровы. А кроме того, знайте, что в странах, куда я повез бы прелестнейшую из женщин, существуют другие законы,

снимающие с этих связей даже легчайшую тень предосудительности. Есть вид брака, при котором выполняются все церковные обряды, он не противоречит законам совести; но так как он не дает супруге прав, присущих сану ее мужа, этот брак не нарушает обязанностей короля по отношению к его подданным. Таким образом, Алиса Ли во всех отношениях может стать настоящей и законной женой Карла Стюарта, но только этот неофициальный союз не даст ей титула королевы Англии.

— Мое честолюбие, — сказала Алиса, — будет достаточно удовлетворено тем, что я увижу

Карла на троне. Я не собираюсь ни открыто делить с ним его сан, ни втайне делить его богатство и королевскую роскошь.

— Я понимаю тебя, Алиса, — сказал король; ее слова задели его за живое, но скорее даже понравились ему. — Тебе смешно, что я, беглец, говорю как король... Признаюсь, во мне, правда, укоренилась эта привычка, и даже несчастья не могут меня от нее излечить. Но мое положение не такое безнадежное, как ты, может быть, думаешь. У меня по-прежнему много друзей в королевстве; мои внешние союзники, в своих собственных интересах, должны меня поддерживать.

Меня обнадеживают Испания, Франция и другие страны, и я верю, что кровь моего отца пролита не напрасно и ему не суждено превратиться в прах без отмщения. Я уповаю на того, кто даровал монархам их сан, и, что бы вы ни думали о моем нынешнем положении, я твердо уверен, что настанет день, когда я буду на троне Англии.

— Дай-то бог! — воскликнула Алиса. — И если вы хотите, благородный принц, чтобы бог помог осуществлению ваших надежд, соблаговолите обдумать, может ли ваш образ действий снискать его милость? Подумайте о том, что вы

предлагаете девушке, потерявшей мать, не имеющей другой защиты против ваших хитроумных доводов, кроме того, что ей внушают нравственные понятия и природное чувство женского достоинства. Подумайте, ваше величество, украсит ли анналы вашего царствования смерть ее отца — неминуемое следствие такой опрометчивости, — отчаяние брата, чья жизнь столько раз была в опасности ради спасения вашего величества, бесчестие дома, вас приютившего? Умилоствуют ли эти события бога, который уж слишком очевидно отвратился от вашего дома, и вернут ли они вам любовь народа Англии, в чьих глазах

такие поступки должны быть омерзительны?

Карл умолк, пораженный таким оборотом разговора: он не ожидал, что его страсть может повредить его собственным интересам.

— Если ваше величество не собирается отдать мне больше никаких приказаний, — продолжала Алиса с низким реверансом, — будет ли мне дозволено удалиться?

— Подожди немного, странная и упрямая девушка, — возразил король, — и ответь мне на один вопрос: не из-за скромности ли моего нынешнего положения ты презираешь мои мольбы?

— Мне нечего скрывать,

государь, — сказала она, — и мой ответ будет таким же ясным и простым, как ваш вопрос. Я могла бы решиться на позорный, безумный и неблагородный поступок, только если бы была ослеплена той страстью, которая, мне кажется, чаще служит оправданием безумствам и преступлениям, чем существует на самом деле. Одним словом, если бы я была влюблена, но в человека, равного мне по положению, и, уж конечно, не в моего государя, будь он государь только по титулу или действительно правитель своего королевства.

— Однако же, Алиса, ваша семья всегда гордилась своей

преданностью королю, своими восторженными верноподданическими чувствами, — заметил Карл.

— А разве могла бы я сохранить эту преданность, если бы потворствовала моему государю, позволяла ему продолжать объяснение, порочащее и его и меня?

Должна ли я, как верная подданная, разделить с ним его безумие, которое может создать еще одну преграду на пути реставрации и поставить се под угрозу, даже если он уже утвердится на троне?

— Я вижу, — сказал Карл с досадой, — что лучше бы мне оставаться в роли пажа, чем менять

ее на роль монарха, которая, кажется, еще более несовместима с моими желаниями.

— Я отвечу вам еще откровеннее, — продолжала Алиса, — Я не могла бы питать никаких чувств к Луи Кернегаю так же, как и к наследнику британского престола, потому что моя любовь (а она непохожа на ту, о которой я читала в романах или слышала в песнях) уже отдана другому. Это огорчает ваше величество.., мне очень жаль... Но самые спасительные лекарства часто бывают горькими.

— Да, — ответил король довольно резко, — и врачи так

благоразумны, что заставляют своих пациентов глотать их, как будто это медовые соты... Значит, то, что болтают о кузене-полковнике, правда, и дочь роялиста Ли отдала свое сердце бунтовщику и фанатику?

— Моя любовь была отдана раньше, чем я узнала, что значат эти слова — фанатик и бунтовщик. Я не взяла ее обратно, потому что человек, о котором вы говорите, избрал свое место в великих смутах, раздирающих королевство, избрал его, быть может, ошибочно, но по совести, и поэтому он до сих пор достоин моей привязанности и самого высокого уважения. Большого он не получит и не будет просить,

пока счастливый поворот истории не положит конец этим раздорам и мой отец с ним не помирится. И я усердно молюсь о том, чтобы такая возможность появилась благодаря реставрации вашей династии, которая скоро осуществится и которую все единодушно поддержат!

— Вы нашли средство, — с досадой сказал король, — сделать для меня нестерпимой мысль о такой перемене... Но и у вас, Алиса, нет искреннего желания молиться за нее. Напротив, разве вы не видите, что ваш поклонник, который так дружит с Кромвелем, может и даже должен разделить с ним власть?

И если его не опередит Ламберт,

он даже может подставить ногу Оливеру и воцариться вместо него.

И неужели вы думаете, что он тогда не найдет способа победить гордость роялистов Ли и заключить союз, подготовленный гораздо тщательнее, чем союз со столь же преданной королю наследницей Фоконбергов, который Кромвель, говорят, намечает для одного из своих отпрысков?

— Ваше величество нашли наконец способ ото-» мстить за себя, — сказала Алиса, — если только то, что я сказала, заслуживает мщения.

— Я мог бы наметить и более короткий путь к вашему браку, —

продолжал Карл, не обращая внимания на ее огорчение или, может быть, наслаждаясь местью. — Предположим, вы дадите вашему полковнику знать, что здесь находится некий Карл Стюарт, явившийся с тем, чтобы потревожить мирное правление Святых, которое они завоевали молитвами и проповедями, пиками и ружьями, и предположим, что он догадается привести сюда полвзвода солдат — при нынешней обстановке этого совершенно достаточно, — чтобы решить судьбу наследника престола; не думаете ли вы, что захват подобной добычи поможет ему получить от членов Охвостья или от

Кромвеля такую награду, которая устранил возражения вашего отца по поводу брака с круглоголовым и осуществит все желания прекрасной Алисы и ее кузена-полковника?

— Государь! — воскликнула Алиса, вспыхнув, и глаза ее засверкали, ибо она тоже унаследовала пылкий нрав своих предков. — Чаша терпения моего переполнилась! Я слушала, не выражая гнева, самые унижительные предложения и старалась смягчить свой отказ стать любовницей изгнанного принца, как если бы отказывалась принять от него настоящую корону.

Но вы думаете, что я могу

спокойно слушать клевету на всех, кто мне дорог? Не буду, сэр; и если бы даже вас окружали все ужасы Звездной палаты вашего отца, то и тогда я вступилась бы за отсутствующих и невинных. О своем отце я ничего не скажу, кроме того, что если у него теперь нет богатства, нет положения в обществе, почти нет крова и хлеба насущного, — это потому, что он утратил все это на королевской службе. Ему не нужно было идти на предательство или подлость, чтобы добыть себе богатство, у него самого были большие средства. А Маркем Эверард... Он не знает эгоизма... Он не совершил бы поступка, который

порочил его имя и оскорбил чувства другого человека, даже если бы наградой была вся Англия и в недрах ее заключались сокровища Перу, а на поверхности раскинулся рай земной... Короли, ваше величество, могли бы еще поучиться у него. Теперь я ухожу, государь.

— Алиса, Алиса.., подожди! — воскликнул король. — Ушла. Вот это добродетель.., истинная, бескорыстная, высокая.., или ее вообще не существует на земле. Уилмот и Вильерс не поверили бы тут ни одному слову, а присоединили бы этот рассказ к другим чудесам Вудстока... Редкая девушка! И, если употребить выражение полковника, я

уверяю, что не могу решить, простить ли ее и стать ей другом или придумать страшную месть. Если бы не этот проклятый кузен, этот полковник-пуританин.., такой благородной девушке я бы мог простить все, что угодно.

Но она предпочла мне круглоголового бунтовщика, и говорит об этом в лицо, и оправдывает это тем, что король может у него поучиться... Слышать это горше горького. Сегодня утром, если бы не подоспел старик, король мог получить или дать урок.., и суровый урок.

С моим саном и с той ответственностью, которую он на

меня возлагает, было безумием идти на дуэль...

И все-таки эта девушка так меня взволновала и я так ему завидую, что если бы представился случай, я едва мог бы удержаться от поединка... Эй!.. Кто здесь?

Заключительное восклицание его монолога было вызвано неожиданным появлением еще одного действующего лица этой драмы.

Глава XXVII

*Бенедикт. Мне бы надо
шепнуть вам словечко
на ухо.*

*Клавдио. Помилуй бог,
уж не вызов ли на
поединок?*

*«Много шума из
ничего»*

Когда Карл уже собирался выйти
из комнаты, его остановил
Уайлдрейк, вошедший
необыкновенно торжественной
походкой и с выражением
комической важности на лице.

— Прошу прощения, любезный сэр, — сказал он, — как говорят у меня на родине, когда дверь открыта, в нее забегают собаки. Я стучал и звал, но безрезультатно, и вот, зная дорогу в эту гостиную, сэр, — потому что я нигде не растеряюсь и если хоть раз пройду по дороге, так никогда не забуду ее, — я рискнул войти без разрешения.

— Сэра Генри Ли нет дома; кажется, он в заповеднике, — холодно ответил Карл: появление этого грубоватого кутилы в тот момент было ему неприятно, — а мистер Альберт Ли уехал из замка дня на два — на три.

— Знаю, сэр, — сказал

Уайлдрейк, — но ни к тому, ни к другому у меня сейчас нет дела.

— Прошу прощения, сэр, а к кому же у вас дело? — спросил Карл. — Ведь, полагаю, вряд ли возможно, чтобы у вас было дело ко мне.

— Я тоже прошу у вас прощения, сэр, — ответил кавалер, — но с этим делом ни в коем случае нельзя обратиться ни к кому, кроме вас, если вы, как я полагаю, мистер Луи Гирниго (хотя сейчас вы одеты несколько приличнее, чем тогда, когда я вас видел в первый раз) — шотландский джентльмен, который служит у мистера Альберта Ли.

— Кому же и быть им, как не мне? — ответил Карл.

— По правде говоря, — сказал кавалер, — я замечаю в вас некоторую перемену, но отдых и приличная одежда много значат, и я этому рад; мне было бы неприятно передавать такое важное сообщение какому-то оборванцу.

— Сделайте одолжение, сэр, перейдем к делу, — сказал король, — вы говорите, у вас есть ко мне поручение?

— Совершенно верно, сэр, — ответил Уайldreйк, — я друг полковника Маркема Эверарда, сэр, храбреца, не превзойденного на поле боя, хоть я и желал бы ему сразаться

за более достойное дело. Поручение его состоит в краткой записке, которую я позволю себе передать вам с соблюдением обычных формальностей.

С этими словами он вынул свою шпагу из ножен, проткнул острием записку полковника и с низким поклоном протянул Карлу.

Переодетый король принял ее, важно поклонившись в ответ, и сказал, распечатывая послание:

— Я полагаю, мне нечего ждать приятного содержания от письма, врученного столь враждебным способом?

— Гм, сэра, — ответил посланец, притворно откашливаясь, чтобы

успеть найти подходящий ответ, в котором были бы надлежащим образом соблюдены принятые условности дипломатии, — я думаю, что вызов не очень враждебный, однако же вначале он должен произвести впечатление воинственное и заносчивое.

Я надеюсь, сэр, что если вы разок-другой уколете друг друга шпагой, дело придет к благополучному завершению, и, как любил говорить мой старый учитель, *paх nascitur ex bello*. [note 63](#) Что же касается меня, грешного, я истинно рад, что мой друг Маркем Эверард почтил меня этим поручением.., по правде сказать, я уже боялся, что

пуританские принципы, которыми он пропитан (не скрою от вас, достойный сэр), могли заставить его, по определенным причинам, отказаться от подобающего дворянину честного способа получить удовлетворение в подобных обстоятельствах.

И, оказывая моему приятелю эту дружескую услугу, я смиренно надеюсь, мистер Луи Гирниго, что и по отношению к вам не совершу несправедливости, подготовив почву для предполагаемой встречи, и, позвольте вам сказать, я думаю, что если дуэль окончится благополучно, мы все станем такими друзьями, какими не были до того, как она

началась.

— Ваша правда, сэр, — сказал Карл, глядя на письмо. — Едва ли вражда бывает хуже смертельной, а такую записку можно послать только злейшему врагу.

— Вы правы, сэр, — сказал Уайлдрейк, — это, сэр, вызов на поединок с миролюбивой целью восстановить полное согласие между уцелевшими..., в том случае, если, по счастью, это слово можно будет употребить во множественном числе после исхода дуэли.

— Короче говоря, — ответил король, — мы сражаемся только для того, чтобы прийти к совершенно доброму и дружескому соглашению?

— Вы и на этот раз правы, сэр; я благодарю вас за то, что вы так хорошо все понимаете, — сказал Уайлдрейк. — Ах, сэр, как приятно в подобных случаях иметь дело с человеком чести и ума. И очень прошу вас, сэр, как личной услуги для себя... Утром, может быть, подморозит, а у меня что-то вроде ревматизма.., война ведь не проходит бесследно.., сделайте милость, приведите какого-нибудь дворянина, который не откажется принять участие в том, что должно произойти.., кого бог пошлет, сэр, с таким бедным старым солдатом, как я.., чтобы мы не простудились, стоя без дела в такую холодную погоду.

— Понимаю, сэр, — ответил Карл, — если дуэль состоится, будьте спокойны, я постараюсь достать вам подходящего противника.

— Буду вам очень признателен, сэр, — сказал Уайldreйк, — и нисколько не любопытствую относительно его звания... Я, правда, эсквайр и дворянин и сочту за особую честь скрестить шпагу со шпагой сэра Генри или мистера Альберта Ли, но, если это будет неудобно, я не откажусь предложить мою скромную личность в качестве противника любому дворянину, служившему под знаменами короля, — я всегда считаю это чем-то вроде дворянской грамоты и

поэтому ни в коем случае не буду уклоняться от, дуэли с таким человеком.

— Король очень признателен вам, сэр, — сказал Карл, — за честь, которую вы оказываете его верным подданным.

— О, сэр, в этом вопросе я щепетилен, очень щепетилен. Когда в деле замешан круглоголовый, я справляюсь в геральдических книгах, имеет ли он право носить оружие — как, например, мистер Маркем Эверард. Если бы он не имел на это права, уверяю вас, я не понес бы вам его вызова. Но каждый роялист для меня дворянин; хотя бы он был самого низкого происхождения,

верность королю облагораживает его.

— Прекрасно, сэр, — сказал король. — Эта записка приглашает меня встретиться с мистером Эверардом завтра, в шесть часов утра, у дерева, которое зовется Королевским дубом. Я не возражаю ни против места, ни против времени. Он предлагает шпагу и говорит, что мы владеем ею в равной степени, — я не отвергаю этого оружия; секундантом он хотел бы иметь двух дворян — я попытаюсь достать себе помощника и подходящего партнера для вас, сэр, если вы склонны принять участие в этой кадрили.

— Премного вам обязан, сэр, целую вашу руку и имею честь быть

вашим покорным слугой, — ответил посланец.

— Благодарю вас, сэр, — продолжал король, — я буду на месте в назначенное время, с условленным оружием, и либо дам вашему другу требуемую сатисфакцию своей шпагой, либо представлю ему такое объяснение, которое его удовлетворит.

— Извините меня, сэр, если я слишком непонятлив, — сказал Уайлдрейк, — но я не могу представить себе, что может произойти в подобном случае между двумя порядочными людьми, кроме этого: раз!.. раз!..

Он занял фехтовальную

позицию и, не вынимая шпаги из ножен, сделал выпад, направленный, однако, не против короля, к которому он обращался.

— Простите меня, сэр, — сказал Карл, — если я не хочу затруднять вас, говоря о случае, которого может и не быть. Но у меня, например, возможно, будет срочное государственное дело.

Он произнес эти слова, таинственно понизив голос, и Уайлдрейк, по-видимому, отлично его понял, потому что приложил указательный палец к губам и кивнул, как ему представлялось, с очень умным и многозначительным видом.

— Сэр, — сказал он, — если вы заняты каким-либо делом, касающимся короля, мой друг проявит достаточно благоразумия и подождет. Более того — я даже сам сражусь с ним вместо вас — пусть он отведет душу, лишь бы не мешать вам. И потом, сэр, если у вас найдется какое-нибудь поручение для бедного дворянина, служившего под начальством Ленсфорда и Горинга, вам достаточно назвать день, час и место для свидания; потому что, право, сэр, мне надоела эта облезлая шляпа, эти стриженные волосы и плащ как у гробовщика — так нарядил меня мой друг, и я с удовольствием еще раз подрался бы

за дело короля; пусть меня поколотят или повесят — мне все равно.

— Я вспомню ваши слова, сэр, если представится случай, — сказал король, — и хотел бы, чтобы у его величества было побольше таких подданных. Значит, решено?

— Если вы соблаговолите, сэр, черкнуть записочку, она послужит доказательством того, что я выполнил поручение... Потому что таков, знаете, обычай: письменный вызов требует письменного ответа.

— Сейчас напишу, сэр, — ответил Карл, — и очень быстро; тут есть все необходимое.

— И еще, сэр, — продолжал посланец, — гм, гм... если бы вы

могли достать здесь в доме чарочку вина... Я вообще не люблю много болтать и что-то охрип... А кроме того, от серьезного дела всегда пить хочется. К тому же, сэр, расстаться, не промочив горла, — значит иметь какие-то задние мысли, а в таком деле это не дай бог.

— Я не могу похвастать большим влиянием в этом доме, сэр, — сказал король, — но если вам угодно принять эту золотую монету, вы можете утолить жажду в гостинице святого Георгия.

— Сэр, — ответил Уайлдрейк (в то время были приняты такие странные проявления вежливости, а кавалер не был уж так щепетилен,

чтобы решительно противиться этому предложению), — сэр, я еще раз выражаю вам признательность. Но только не понимаю, как совместить с моей честью согласие на такое одолжение, если вы не составите мне компанию и не выпьете вместе со мной.

— Простите меня, сэр, — возразил Карл, — но соображения безопасности требуют, чтобы я теперь не появлялся в общественных местах.

— Понимаю вас, сэр, — заметил Уайлдрейк, — бедным кавалерам не пристало разводить церемонии. Я вижу, сэр, вы знаете закон боевых друзей: если у одного молодца есть

деньги, другой не должен мучиться жаждой. Желаю вам, сэр, доброго здоровья и счастья; до завтра у Королевского дуба, в шесть часов.

— До свидания, сэр, — сказал король, и Уайлдрейк стал спускаться с лестницы, насвистывая песенку «Кавалеры, бравый вид...», причем его длинная шпага, стуча по ступеням и перилам, недурно ему аккомпанировала. — До свидания, — продолжал король, — ты, печальный образец того положения, до которого война, разгром и отчаяние довели многих доблестных дворян.

В тот день не произошло больше ничего примечательного. Алиса тщательно остерегалась проявить по

отношению к переодетому принцу отчуждение или робость, которую мог заметить ее отец или кто-нибудь другой. Внешне между молодыми людьми сохранились прежние отношения. Но самому волоките Алиса все же дала почувствовать, что она принимает его. дружбу только для того, чтобы никому не внушать подозрений, и нисколько не желает смягчить суровость, с которой она отвергла его объяснение в любви.

Карл понимал это и, мучаясь оскорбленным самолюбием и ненавистью к счастливому сопернику, раньше обычного удалился на одинокую прогулку в чащу леса, где он, как Гераклес в

«Картине» Кебета, колеблясь между воплощенными Добродетелью и Наслаждением, поочередно внимал голосам Мудрости и страстного Безумия.

Благоразумие напоминало ему о том, как много значит его жизнь для выполнения великой цели, которой ему до сих пор не удалось достичь, — реставрации монархии в Англии, восстановления трона, завоевания короны отца, мести за его смерть, возвращения состояния и родины многочисленным изгнанникам, страдающим в нужде на чужбине за то, что они были преданы его делу. Гордость или, скорее, справедливое и естественное

чувство собственного достоинства тоже говорили ему, что не подобает принцу унижаться сейчас до ссоры со своим подданным, какого бы звания он ни был, что память о нем станет предметом насмешек, если он будет убит безвестным дворянином из-за какой-то темной любовной интриги. Что скажут его разумные советники, Николае и Гайд, что скажет его добрый и мудрый наставник, маркиз Хертфордский, о таком опрометчивом и безумном поступке? Разве не может он поколебать верность солидных и осторожных людей роялистской партии, и станут ли они рисковать своей жизнью и состоянием, чтобы

возвести на престол молодого человека, не способного управлять своими страстями?

К тому же и в случае благополучного исхода поединок удвоил бы препятствия к его побегу, который и так уже представлял большие затруднения. Если -Карл и не убьет своего противника, а только одержит над ним верх, кто поручится, что тот не постарается отомстить ему, выдав правительству злонамеренного Луи Кернегая, чье настоящее имя в таком случае непременно станет известным?

Все эти соображения настоятельно побуждали Карла обойтись без дуэли; и оговорка, с

которой он принял этот вызов, предоставляла ему некоторые возможности поступить именно так.

Но у Страсти также были свои доводы, и она приводила их, обращаясь к характеру, который стал раздражительным из-за недавних огорчений и обид.

Во-первых, будучи принцем, Карл в то же время был и дворянином и должен был соответственно отзываться на обиду и давать удовлетворение или требовать его, как полагается в случае ссоры между дворянами. Среди англичан, — настаивала Страсть, — он никогда не потеряет уважения оттого, что проявит

готовность отвечать за свои поступки и слова, а не отговариваться королевским родом и притязаниями на престол. Принадлежа к свободной нации, он скорее должен выиграть во всеобщем уважении, нежели потерять на него право, если будет вести себя, как подобает храброму и великодушному человеку. Репутация храбреца для поддержки притязаний наследника гораздо важнее, чем всякая другая репутация; а если он, получив вызов на дуэль, не ответит на этот вызов — его храбрость окажется под сомнением. Что будут говорить Вильерс и Уилмот о его любовной интриге, если он потерпел позорное поражение у

провинциальной девушки и не отомстил сопернику? Их шутки, насмешки и остроты, которые распространятся повсюду, будет переносить труднее, чем суровые упреки Хертфорда, Гайда и Николаев. Эта мысль еще больше подзадорила его юношескую отвагу; наконец он принял решение и вернулся в Вудсток, с тем чтобы утром явиться в назначенное место, а там — будь что будет!

Возможно, что к этому решению примешивалась тайная уверенность в том, что дуэль не окажется для него роковой. Он был в расцвете юности, ловко владел оружием, а утренняя стычка уже доказала, что он умеет

защищаться не хуже полковника Эверарда.

Во всяком случае, такие мысли пробегали у него в голове, когда он шел, напевая известную песенку, которую запомнил во время своего пребывания в Шотландии:

Иного смерть в бою обходит,
Иного хмель не валит с ног,
Иной девчонку чмокнет в губы
И слышит: «Ах, еще разок!»

Между тем деятельный и вездесущий доктор Рочклиф тайком передал Алисе, что хочет поговорить с пей наедине, и назначил ей свидание в так называемом кабинете,

где прежде хранились старинные книги, которые давно уже пошли на патроны и в последний раз, выйдя, таким образом, в свет, наделали гораздо больше шума, чем за все время, что стояли здесь с тех пор, как были опубликованы. Доктор уселся в кожаное кресло с высокой спинкой и знаком предложил Алисе придвинуть стул и сесть рядом с ним.

— Алиса, — сказал старик, ласково взяв ее за руку, — ты добрая девушка, умная девушка, хорошая девушка, ты из тех, что дороже рубинов; «рубин» — это не совсем верный перевод.., но ты мне напомни, чтобы я рассказал тебе в

другой раз... Алиса, ты знаешь, кто такой Луи Кернегай... Нет, скажи откровенно... Я знаю все . Мне все известно... Ты знаешь, что наш старинный дом укрывает счастье Англии.

Алиса хотела было отвечать.

— Нет, подожди, выслушай меня... Как он ведет себя с тобой?

Алиса густо покраснела.

— Я воспитана в деревне, — ответила она, — и его поведение для меня слишком любезно.

— Понимаю... Я все это знаю... Алиса, завтра ему угрожает большая опасность, и ты одна можешь его спасти.

— Я.., спасти его!.. Как, каким

образом? — с удивлением проговорила Алиса. — Как подданная короля, я обязана сделать все.., все, что пристало дочери моего отца..

Она запнулась в смущении.

— Да, — продолжал доктор, — завтра у него дуэль.., дуэль с Маркемом Эверардом; уже назначены время и место.., в шесть часов утра у Королевского дуба. Если они встретятся, один из них, вероятно, будет убит.

— Боже упаси! — воскликнула Алиса, и смертельная бледность сменила яркий румянец на ее лице, — Нет, ничего дурного случиться не может... Эверард

никогда не поднимет руку на короля.

— За это я не поручусь, — возразил доктор Рочклиф. — Но если даже у несчастного юноши сохранился остаток верности королю, — а судя по его поведению, это совсем не так, — она тут не поможет: он не знает, что это король, и считает его просто кавалером, который нанес ему оскорбление.

— Так скажите ему правду, доктор Рочклиф, сейчас же скажите! — вскричала Алиса. — Неужели он поднимет руку на короля, на беззащитного изгнанника! Он на это не способен. Жизнь моя в том порукой, он станет самым горячим его защитником!

— Так может рассуждать только девушка, Алиса, — ответил доктор, — и, боюсь, такая, у которой разум ослеплен чувствами. Это было бы хуже измены — посвятить в такую тайну бунтовщика-офицера, друга архипредателя Кромвеля. Я не берусь отвечать за такое безрассудство. Его отец доверился Хэммонду, и ты знаешь, что из этого получилось.

— Тогда расскажите все моему отцу. Он встретится с Маркемом или пошлет к нему и объяснит, что нападать на гостя — значит оскорбить хозяина.

— Мы не можем сказать твоему отцу, кто такой на самом деле Луи

Кернегай. Я только намекнул ему, что, может быть, Карл будет скрываться в Вудстоке, и сэр Генри пришел в такой восторг, начал рассуждать о подготовке к приему короля, к обороне замка, и мне стало ясно, что из-за одной его восторженной преданности все может открыться. Нет, это ты, Алиса, должна спасти надежды каждого верного роялиста.

— Я? — ответила Алиса, — Это невозможно... Почему нельзя убедить моего отца вступить за своего друга и гостя, хотя бы он считал, что это Луи Кернегай?

— Ты забыла, какой у твоего отца характер, мой друг! — сказал

доктор. — Он чудесный человек и лучший из христиан, но как только услышит звон мечей, в нем пробуждается воинственный пыл и он становится таким же глухим ко всяким миролюбивым угон вора, как боевой петух.

— Вы забываете, доктор Рочклиф, — возразила Алиса, — что еще сегодня утром, если я правильно поняла, отец предотвратил дуэль.

— Да, — ответил доктор, — он считал, что обязан следить за порядком в королевском парке, но он разнимал их с таким сожалением, Алиса! Если он опять застанет их за этим занятием, можно наверняка сказать, что он только отложит дуэль,

с тем чтобы отвести их в какое-нибудь место вне королевских владений, а там позволит им драться сколько им будет угодно и с удовольствием поглядит на это приятное зрелище.

Нет, Алиса, ты, ты одна можешь помочь нам в этом критическом положении.

— Я не понимаю, каким образом, — сказала она, снова покраснев, — чем я могу тут помочь.

— Ты должна послать королю записку, — ответил доктор Рочклиф, — как ее написать, знает каждая женщина, и мужчине незачем давать здесь советы... и назначить ему встречу в то самое время, когда

назначена дуэль? Он обязательно придет, мне известна его слабая сторона.

— Доктор Рочклиф, — серьезно сказала Алиса, — вы знаете меня с раннего детства. Как могли вы вообразить, будто я способна последовать столь недостойному совету?

— А если ты знала меня еще будучи девочкой, — возразил доктор, — как могла ты подозревать, будто я способен дать дочери моего друга совет, какому ей не пристало следовать? Не такая уж ты глупая и не подумаешь, будто я могу допустить, что любезность твоя пойдет дальше разговора на час или

два, пока я не подготовлю все к его отъезду! Уговорить его будет нетрудно, я скажу, что в замке облава... Итак, Карл Стюарт садится на коня и уезжает, а мисс Алисе принадлежит честь быть его спасительницей.

— Да, за счет своей собственной репутации, — возразила Алиса, — и с риском навеки запятнать свою семью... Вы говорите, что вы все знаете... Что подумает обо мне король, если я назначу ему свидание после того, что произошло между нами, и разве можно будет убедить его в благородстве моих намерений?

— Я сумею убедить его, Алиса, я объясню ему все.

— Доктор Рочклиф, — сказала Алиса, — вы предлагаете невозможное. С вашей находчивостью и при вашей мудрости вы можете сделать многое; но если свежевыпавший снег загрязнится, все ваше искусство не очистит его снова; точно так же и доброе имя девушки.

— Алиса, дорогое дитя мое, — ответил доктор, — подумай сама: если я предлагаю такое средство спасти жизнь короля или по крайней мере избавить его от прямой опасности, то только потому, что другого способа не вижу. Пусть твой поступок сначала покажется и не вполне пристойным, но я все-таки

прошу тебя пойти на это, и только потому, что дело дошло до крайности... А больше это никогда не повторится...

Я приму самые надежные меры к тому, чтобы не допустить оскорбительных слухов, которые могут из-за всего этого возникнуть.

— Не говорите так, доктор, — возразила Алиса, — легче повернуть вспять течение Айсиса, чем пресечь клевету. Король будет хвастать перед всем своим развратным двором, как легко он сделал бы Алису Ли своей любовницей, если бы не внезапная тревога .

И уста, наделяющие почестями других, лишат меня чести. Найдите

другой путь, более подобающий
вашему сану и званию. Не
принуждайте короля отказаться от
встречи, к которой его призывает
долг чести, приманив его другой
встречей, одинаково порочащей его
имя, подстроена ли она нарочно или
назначена всерьез. Пойдите к самому
королю, поговорите с ним, как
служитель господа имеет право
говорить даже с земными владыками.
Разъясните ему безумие и
безнравственность его намерения,
убедите его убояться меча, ибо
поднявший меч наказуется гневом
господним. Скажите ему, что его
сторонники, погибшие за него на
поле боя под Вустером и после того

кровавого дня на эшафоте, на виселицах.., что остальные, томящиеся в тюрьмах, рассеянные по свету, бежавшие и разоренные из-за него, не для того приносят все эти жертвы ему и династии, чтобы он отдал свою жизнь из-за пустячной ссоры... Объясните ему, как бесчестно рисковать тем, что ему не принадлежит, как позорно обманывать доверие, которое отважные люди оказали его добродетели и храбрости.

Доктор Рочклиф посмотрел на нее с грустной улыбкой, и глаза его увлажнились.

— Увы, Алиса, — сказал он, — даже я не мог бы отстаивать это

правое дело так красноречиво и выразительно, как ты. Но увы! Карл никого не слушает. В делах чести, скажет он, мужчина не должен принимать советов ни от священника, ни от женщины.

— Ну, так знайте, доктор Рочклиф . Я приду на место дуэли и предотвращу ее... Не бойтесь, я сдержу слово... Правда, я пожертвую многим, но не своей репутацией. Пусть мое сердце разобьется... — она с трудом подавила рыдание, — но в мыслях мужчины, да еще государя, имя Алисы Ли никогда не будет связано с бесчестьем.

Она закрыла лицо платком и разразилась неудержимыми

рыданиями.

— Что значат эти слезы? — спросил доктор Рочклиф, удивленный и несколько встревоженный бурным проявлением ее горя. — Алиса, не таись от меня .

Я должен знать все.

— Тогда призовите на помощь ваше воображение и догадайтесь о причине, — ответила Алиса, на миг потеряв терпение от непоколебимой самоуверенности доктора. — Угадайте мое намерение, как вы угадываете все остальное. С меня довольно и того, что мне приходится совершить такой поступок, и я вовсе не хочу рассказывая о нем, да еще человеку, который... простите,

милый доктор , может подумать, что волноваться по этому поводу нет оснований.

— Ну нет, сударыня, я вижу, здесь нужно употребить власть, — сказал Рочклиф. — Если я не могу заставить вас объясниться, посмотрим, не сможет ли ваш отец добиться от вас толку.

Доктор встал и с недовольным видом направился к двери.

— Вы забыли то, что сами говорили мне, доктор Рочклиф, — сказала Алиса, — сообщить эту великую тайну отцу — опасно.

Рочклиф остановился.

— К сожалению, это правда, — сказал он, повернувшись к Алисе, —

мне кажется, барышня, ты для меня слишком умна; таких мне не часто приходилось встречать. Но ты хорошая девушка и объяснишь мне свою затею добровольно... Моя репутация и мое влияние на короля требуют, чтобы я знал все, что *actum atque tractatum* [note 64](#), все, что творится и замышляется в этом деле.

— Доверьте вашу репутацию мне, добрый доктор, — сказала Алиса, пытаясь улыбнуться, — ее труднее уронить, чем доброе имя женщины, и она будет сохраннее в моих руках, чем моя репутация была бы в ваших. Но вот в чем я пойду вам навстречу: вы будете свидетелем всему, вы сами пойдете со мной,

ваше присутствие подбодрит меня и придаст мне смелости.

— Это уже кое-что значит, — сказал доктор, хотя и не совсем довольный тем, что Алиса не оказывает ему полного доверия. — Ты всегда была умная девушка, и я положусь на тебя.., волей-неволей придется положиться.

— Тогда встретимся завтра в чаще, — сказала Алиса, — но прежде скажите мне, наверно ли вы знаете время и место? Ошибка может оказаться роковой.

— Успокойся, сведения у меня совершенно точные, — ответил доктор с прежней важностью, которая немного поубавилась в

последние минуты их беседы.

— Могу я спросить, — сказала Алиса, — каким образом вы получили такие важные сведения?

— Без сомнения, можешь, — ответил он, уже полностью вернувшись к своему обычному тону превосходства, — но ответу я тебе или нет — это другое дело. Я думаю, что и для моей и для твоей репутации будет лучше, чтобы ты оставалась в неведении относительно этого дела. У меня тоже есть тайны, как и у вас, сударыня, и среди них, я думаю, найдутся гораздо более интересные.

— Пусть так, — спокойно сказала Алиса, — значит, завтра мы

встретимся с вами в чаще у сломанных солнечных часов ровно в половине шестого, а оттуда отправимся к месту дуэли и подождем, пока они оба придут. По дороге я преодолею свою робость и объясню вам, как я намерена предотвратить несчастье. А вы, может быть, подумаете, как бы сделать так, чтобы вообще обойтись без моего вмешательства, которое для меня столь неприятно и тягостно.

! — Нет, дитя мое, — сказал доктор, — раз ты отдаешь себя в мои руки, тебе не придется жаловаться на отсутствие моих советов; и ты прекрасно знаешь, что я ни о ком не забочусь больше, чем о тебе, если не

считать одного человека, и не оставлю тебя без наставлений... Итак, в половине шестого в чаще, у солнечных часов... И да благословит господь наши старания.

Тут их разговор был прерван зычным голосом сэра Генри Ли, который громко звал их.

— Дочка!.. Доктор Рочклиф!.. — доносилось по коридорам и галереям. — Что вы тут сидите нахохлившись, как вороны в тумане, когда у нас внизу идет такая потеха? Этот шальной мальчишка Луи Кернегай то смешит до того, что у меня бока вот-вот лопнут от хохота, то играет на гитаре так сладко, что может жаворонка с небес сманить.

Пойдемте, пойдемте!

Смеяться в одиночестве —
трудное занятие.

Глава XXVIII

*Вот это место. Тут,
среди лужайки,
Стоит владыка леса,
старый дуб.*

Джон Хоум

Солнце встало над
раскидистыми ветвями леса, но не
могло проникнуть в его чащу,
увешанную тяжелыми каплями росы;
листва некоторых деревьев уже
окрасилась пестрыми осенними
оттенками; то была пора, когда
природа, словно расточитель, почти
окончивший свой жизненный путь,

хочет вознаградить себя изобилием веселых и ярких красок, точно знает, что ей уже недолго наслаждаться этим великолепием.

Птицы молчали, только переливчатая песня малиновки доносилась из кустов возле замка, где птичка порхала, ободренная щедротами доброго старого баронета, всегда поощрявшего ее смелость; но и она не отваживалась лететь в чащу, где могла встретить ястреба и других врагов, и предпочитала держаться по соседству с жилищем людей, от которых она, почти единственная из пернатого племени, могла ждать бескорыстного покровительства.

Итак, лес был полон безмолвной

прелести, когда почтенный доктор Рочклиф, завернувшись в алый плащ, много послуживший на своем веку, закрывая лицо больше по привычке, чем по необходимости, и одной рукой поддерживая Алису (она тоже закуталась в плащ — осеннее утро было холодное и сырое), пробирался по густой и высокой траве самых тенистых дорожек, по щиколотку в росе, к месту дуэли.

Они с таким жаром совещались друг с другом, что, казалось, совсем не замечали неровностей запущенной дорожки, хотя им часто приходилось прокладывать себе путь сквозь заросли кустарника; на них в изобилии падали жемчужины влаги,

пока плащи, отяжелевшие и промокшие, не обвисли у них по бокам и не облепили плечи. Они остановились в чаще, спрятавшись за кустами, из-за которых видно было все, что происходило на лужайке у Королевского дуба, — его толстый корявый ствол с искривленными, поломанными ветвями и хмурыми сучьями напоминал старого искалеченного бойца, весьма подходящего для роли судьи в поединке.

Первым на место встречи прибыл веселый кавалер Роджер Уайлдрейк. Он тоже был закутан в плащ, но вместо высокой пуританской касторовой шляпы па

нем была испанская шляпа с пером и лентой под цвет; она уже не раз бывала под дождем и ветром, но, чтобы скрасить ее жалкий вид, он заломил ее набекрень «чертовски лихо», как было принято у самых отчаянных роялистов. Уайлдрейк торопливо вышел на лужайку и громко воскликнул:

— А все-таки, клянусь Юпитером, я первый на поле боя, хоть и отстал от Эверарда, чтобы выпить утреннюю чарочку. Она пошла мне на пользу, — добавил он, причмокнув губами. — Ну что ж, обследуем местность, прежде чем явится мой патрон, ведь его пресвитерианские часы плетутся так

же, как его пресвитерианские ноги.

Он вынул из-под плаща шпагу и принялся осматривать кусты вокруг лужайки.

— Я предупрежу его, — прошептал доктор на ухо Алисе. — Я сдержу слово: тебе не придется появляться на сцене... *nisi dignus vindice nodus...* [note 65](#) объясню в другой раз. *Vindex* [note 66](#) может быть и мужского и женского рода, значит такую цитату привести можно.

Спрячься хорошенько.

С этими словами он вышел на лужайку и поклонился Уайлдрейку.

— Мистер Луи Кернегай, — сказал Уайлдрейк, снимая шляпу, но тут же заметил свою ошибку и

добавил:

— Ах, нет, прошу прощения, сэр..., потолще, пониже, постарше... Наверно, вы друг мистера Кернегая, с вами я надеюсь скоро сразиться... А почему бы и не сейчас, сэр, пока не явились господа?

Это была бы закусочка, чтобы заткнуть дыру в желудке, пока не подадут обед, сэр. Что вы на это скажете?

— Скорее, чтобы проделать дыру в желудке или добавить еще одну, — сказал доктор.

— Правильно, сэр, — ответил Роджер; казалось, теперь он был в своей стихии, — так тоже может случиться. Но послушайте, сэр, вы

закрываете лицо. Я согласен, что в наше трудное время так поступают все порядочные люди; тут уж ничего не поделаешь.

Но у нас все начистоту... У нас здесь нет предателей. Я первый примусь за дело, сэр, чтобы подбодрить вас и показать, что вы имеете дело с джентльменом, который почитает короля и готов помериться силами с любым его сторонником, а вы ведь, несомненно, из таких, сэр, раз вы друг мистера Луи Кернегая.

И Уайлдрейк принялся расстегивать пряжки своего плаща, — Прочь.., прочь, наряд с чужого плеча, — сказал он, — чужие

обноски.., я мог бы сказать:

Прочь занавес, лик Борджа
укрывший.

С этими словами он сбросил
плащ и предстал *in cuero* [note 67](#) в
самом изящном, но изрядно
засаленном камзоле из алого атласа с
дырочками и прорезями, сквозь
которые виднелся шелк, когда-то
белый, в штанах из той же материи и
в чулках — они, как у Пойнса,
некогда были персикового цвета. Его
наряд завершала пара легких
башмаков, совсем не подходящих для
ходьбы по росе, и широкий шарф с
потускневшим шитьем.

— Ну, сэр, — воскликнул он, — поспешите, стряхните лень, я стою перед вами крепко и надежно — самый преданный королю солдат, когда-либо протыкавший шпагой круглоголового. Беритесь, сэр, за оружие! — продолжал он. — Мы можем сделать полдюжины выпадов, пока они не пришли, и пристыдим их за опоздание... Ах, вот оно что! — протянул он самым разочарованным тоном, когда доктор, распахнув плащ, показал свою рясу. — Тьфу! Да это всего-навсего пастор!

Уайлдрейк очень уважал церковь, но в то же время хотел удалить священника, чтобы тот не помешал делу, которое кавалер

предвкушал с таким удовольствием; он тут же заговорил совсем другим тоном.

— Прошу прощения, мой дорогой доктор... — сказал он. — Целую край вашей одежды... Клянусь Юпитером Громовержцем... Еще раз прошу прощения...

Я счастлив, что встретился с вами... Там, в замке, все с нетерпением ждут вас... Нужно повенчать, или окрестить, или похоронить, или исповедать, или что-то в этом роде, очень срочное... Ради бога, поспешите туда!

— В замок? — спросил доктор. — Так ведь я только что из замка; и вы не могли быть там после

меня: вы же пришли по Вудстокской дороге.

— Ах да! — ответил Уайлдрейк. — В Вудсток-то вас и требуют... Черт возьми! Разве я сказал — в замок? Нет, нет., в Вудсток. Мой хозяин не может ни повеситься., ни дочь замуж выдать., ни побочного сына окрестить..., ни жену похоронить без настоящего пастора. Этих Холдинафов они не признают... Он человек благочестивый, мой хозяин; если вам дороги ваши обязанности, поспешите.

— Извините меня, мистер Уайлдрейк, — сказал доктор, — я жду мистера Луи Кернегая.

— Что за дьявол! — воскликнул Уайлдрейк. — Я знал, что шотландцы ничего не делают без пастора, но, черт возьми, никак не думал, что он нужен им и в этих случаях. Впрочем, я знавал чудаков в этом звании, которые владели шпагой не хуже, чем молитвенником. Вам известна цель нашей встречи, доктор?

Скажите, вы пришли только как духовный наставник.., или, может быть, как врач... А брали вы когда-нибудь шпагу в руки?.. Раз, раз!

И он показал несколько выпадов, не вынимая шпаги из ножен.

— Бывало, сэр, в случае

необходимости; — сказал доктор Рочклиф.

— Ну, так считайте этот случай необходимостью, любезный сэр, — вскричал Уайлдрейк. — Вы знаете, как я предан церкви. Если бы такой достойный священник, как вы, сделал мне честь обменяться со мной хоть тремя выпадами, я был бы счастлив навеки.

— Сэр, — сказал Рочклиф с улыбкой, — если бы даже не было других препятствий к тому, что вы предлагаете, я не могу — я без оружия.

— Как? Вам нечем драться? Вот уж, в самом деле, не везет. Но у вас в руках толстая палка — почему бы

нам не сразиться в ожидании наших хозяев?

Разумеется, моя шпага останется в ножнах. Башмаки у меня набрали ледяной росы — я недосчитаюсь пальца-другого на ноге, если придется стоять без дела все время, пока эти господа потягиваются; здесь будет не воробьиный бой, — я думаю, доктор, и вы того же мнения.

— Моя задача, если возможно, не допустить никакого боя, — сказал священник.

— Ну, черт меня побери, доктор, это уж слишком досадно, — сказал Уайлдрейк, — и если бы не мое уважение к церкви, я в отместку перешел бы к пресвитерианам.

— Пожалуйста, сэр, отойдите немного назад, не ходите в эту сторону, — сказал доктор, заметив, что разочарованный Уайлдрейк в волнении ходит взад и вперед по лужайке и приближается к тому месту, где спряталась Алиса.

— А почему бы и нет, доктор, позвольте вас спросить? — возразил кавалер.

Он сделал еще шаг, но вдруг резко остановился, выругался от изумления и пробормотал:

— Юбка в кустах! Клянусь всеми святыми, да еще в такой ранний час! Фью-ю-ю-ють!

Он выразил свое удивление тихим продолжительным свистом,

потом повернулся к доктору и приложил палец к носу.

— Какой вы хитрый, доктор, дьявольски хитрый!

Почему вы не намекнули, что у вас здесь.., контрабанда? Ей-богу, сэр, я не такой человек, чтобы болтать о причудах священников.

— Сэр, — сказал доктор Рочклиф, — вы наглец.

Если бы у меня было время и если бы стоило с вами возиться, я бы вас проучил!

Доктор так долго служил в армии, что к его качествам священника прибавились некоторые качества кавалерийского капитана: он действительно замахнулся

тостью, к бесконечному удовольствию повесы, который, при всем уважении к церкви, не мог отказаться от озорства.

— Нет, доктор, — сказал он, — если вы будете действовать своим оружием как тесаком, вот так, и поднимать его выше головы, я вас вмиг проткну.

С этими словами он сделал выпад, не вынимая клинка из пожен: правда, он не хотел трогать самого доктора, а только ткнул шпагой в ту сторону, где тот стоял; но в этот миг Рочклиф, изменив направление своей трости и превратив се из тесака в рапиру, со всей ловкостью моего друга Франкаланцы выбил шпагу из

руки кавалера, так что она отлетела на десять ярдов. Как раз в этот момент на месте встречи появились оба главных противника.

Эверард гневно крикнул Уайлдрейку:

— Вот чего стоит твоя дружба! Зачем ты, черт тебя побери, нарядился в этот дурацкий камзол и валяешь здесь дурака, как шут гороховый?

Его достойный помощник, слегка сконфуженный, опустил голову, как напроказивший мальчишка, и пошел подбирать свою шпагу; проходя мимо кустов, он повернул голову, чтобы попытаться еще раз взглянуть на то, что

возбуждало его любопытство.

Карл был еще больше удивлен этим зрелищем и тоже воскликнул:

— Как! Доктор Рочклиф действительно стал членом воинствующей церкви и фехтует с моим другом кавалером Уайлдрейком? Смею ли я попросить его удалиться? Нам с полковником Эверардом надо разрешить кое-какие личные дела.

Доктор Рочклиф в столь серьезных обстоятельствах должен был бы вооружиться авторитетом своего священного сана, вмешаться в дело и заговорить таким тоном, который мог бы смутить даже царствующего монарха и дать ему

почувствовать, что его наставник имеет полномочия выше его собственных.

Но доктор только что сам дал волю страстям, проявил недопустимое легкомыслие, и ему трудно было занять такую позицию, тем более что вообще вряд ли можно было надеяться подчинить себе строптивый дух Карла, своенравного монарха и капризного остряка. Однако доктор попытался собрать все свое достоинство и, как только мог настойчиво и вместе с тем почтительно, возразил, что у него тоже есть крайне неотложное дело, которое мешает ему удовлетворить желание мистера Кернегая и

удалиться.

— Не взыщите за эту неуместную задержку, — сказал Карл, снимая шляпу и кланяясь полковнику Эверарду, — сейчас я с этим покончу.

Эверард молча, с достоинством отдал ему поклон.

— Вы с ума сошли, доктор Рочклиф? — спросил Карл. — Или оглохли?.. Или забыли свой родной язык? Я просил вас уйти отсюда.

— Я с ума не сошел, — сказал священник более твердым голосом, призвав на помощь всю свою решимость, — я хотел бы удержать других от безумия; я не оглох — я прошу других внять голосу рассудка

и религии; я не забыл свой родной язык — я пришел сюда, чтобы говорить языком того, кто властвует над королями и принцами.

— Скорее для того, чтобы фехтовать палкой от метлы, — сказал король. — Послушайте, доктор Рочклиф, этот внезапный приступ напускной важности вам совсем не к лицу и ваша недавняя резкость тоже.

Вы, как я понимаю, не католический священник и не какой-нибудь шотландский поп и не можете требовать благоговейного послушания от своих прихожан; вы священник англиканской церкви и должны подчиняться правилам своей общины и ее главе.

При последних словах король понизил голос до тихого и выразительного шепота. Эверард заметил это и отошел назад; врожденное благородство характера не позволило ему подслушивать чужие речи, из-за которых жизнь собеседников могла оказаться в опасности. Между тем они продолжали свой взволнованный разговор.

— Мистер Кернегай, — сказал священник, — не мне говорить с вами повелительным тоном или направлять ваши желания... Боже избави! Я только напоминаю вам, какие правила поведения предписывают вам разум, священное

писание, религия и нравственность.

— А я, доктор, — ответил король, улыбаясь и указывая на злополучную трость, — буду брать с вас пример, а не слушать ваши наставления. Если почтенный священник сам фехтует палкой, какое право он имеет вмешиваться в ссоры джентльменов? Послушайте, сэр, удалитесь, и пусть ваше нынешнее упрямство не вынуждает меня забыть ваши прошлые заслуги.

— Одумайтесь, — сказал священник, — стоит мне сказать одно слово, и все это прекратится.

— Говорите, — возразил король, — и одним этим словом опровергните всю вашу почтенную

жизнь и ее деяния... Откажитесь от учения вашей церкви и станьте клятвопреступником, предателем и изменником, чтобы помешать другому человеку выполнить свой долг дворянина! Это все равно, что убить друга, чтобы избавить его от угрожающей опасности. Пусть пассивное повиновение, которое так часто у вас на языке и, конечно, на уме, приведет в движение ваши ноги и удалит вас на десять минут. По истечении этого времени вы можете понадобиться как целитель тела или духа.

— В таком случае, — сказал доктор Рочклиф, — у меня остается только один довод.

Пока в стороне происходил этот разговор, Эверард чуть не силой удерживал возле себя своего помощника Уайлдрейка, который, будучи более любопытным и менее деликатным, стремился выскочить вперед и, если возможно, проникнуть в тайну собеседников. Но, увидя, что доктор поворачивается к кустам, он гневно шепнул Эверарду:

— Ставлю золотой каролус против республиканского фартинга, доктор пришел не только для того, чтобы проповедовать мир, но и привел с собой главный довод!

Эверард ничего не ответил — он уже обнажил шпагу; и едва только

Рочклиф повернулся спиной, как Карл, не теряя времени, последовал его примеру. Но не успели они отвесить друг другу поклоны, с обычным учтивым взмахом шпагой, как доктор Рочклиф опять встал между ними, держа за руку Алису Ли; одежда ее вся промокла от росы, а длинные локоны развились и поникли от сырости. Лицо ее покрывала смертельная бледность, но причиной тому была отчаянная решимость, а не страх. Все замолчали от изумления... Противники оперлись на свои шпаги...

И даже дерзость Уайлдрейка проявилась только в

полуподавленных восклицаниях, вроде: «Ай да доктор... Перещеголял „Попа в гороховом поле“... Ни больше, ни меньше, как хозяйская дочка. Я-то считал мисс Алису настоящим подснежником, а она, оказывается, дикая фиалка, Линдабрида, клянусь небесами, нашего поля ягода!»

Если не считать этого неясного бормотания, первая заговорила Алиса.

— Мистер Эверард, — сказала она, — мистер Кернегай, вы удивлены, что я здесь... Лучше я сразу объясню, почему я пришла. Очевидно, это я, хоть и невольно, оказалась несчастной виновницей

вашей размолвки; я хочу предотвратить роковые последствия и готова на любой шаг, чтобы покончить с вашей ссорой... Мистер Кернегай, неужели мои желания, мои просьбы, мои мольбы, память о вашем собственном высоком долге ничего для вас не значат? Умоляю вас внять разуму, религии, здравому смыслу и опустить оружие.

— Я послушен, как восточный раб, сударыня, — ответил Карл, вкладывая шпагу в ножны, — но, уверяю вас, дело, от которого вы приходите в такое отчаяние, — пустяк, и оно будет гораздо лучше улажено между полковником Эверардом и мной в течение пяти

минут, чем в присутствии всего церковного Собора с участием женского парламента в его высокочтимых прениях. Мистер Эверард, я буду вам очень обязан, если мы с вами отойдем подальше!..

По-видимому, нам надо переменить место.

— Я готов следовать за вами, сэр, — сказал Эверард. Он, так же как его противник, вложил шпагу в ножны.

— Так, видно, мои просьбы ничего для вас не значат, — сказала Алиса, по-прежнему обращаясь к королю. — Вы не боитесь, что я воспользуюсь тайной, которая стала мне известна, чтобы прекратить эту

ссору, пока она не дошла до крайности? Вы думаете, если бы этот джентльмен, поднявший на вас руку, знал.., — Вы хотите сказать, сударыня: если бы он знал, что я — лорд Уилмот?.. Случайно он получил этому доказательства, которых для него уже достаточно, и, я думаю, вам будет трудно заставить его изменить свое мнение.

Алиса замолчала и с возмущением посмотрела на короля; следующие слова сорвались с ее уст не сразу, словно вопреки чувствам, которые стремились их одержать.

— Холодный.., эгоист.., неблагодарный.., жестокий!.. Горе стране, которая... — тут она сделала

многозначительную паузу, затем прибавила:

— которая будет считать тебя или такого, как ты, в числе своих знатных людей и правителей!

— Пет, прекрасная Алиса, — возразил Карл; добрый по натуре, он не мог не почувствовать всей суровости этих упреков, однако они не затронули его глубоко и не произвели на него желаемого впечатления. — Вы слишком несправедливы ко мне., слишком пристрастны к другому, более счастливому человеку.

Не называйте меня жестоким: я явился на вызов мистера Эверарда. Я не мог отклонить его вызов и теперь,

когда я здесь, не могу уйти, не потеряв своей чести; а потеря моей чести — позор, который распространился бы на многих... Я не могу бежать от мистера Эверарда, это было бы слишком постыдно.

Если он настаивает на своем вызове, дело должно быть решено так, как обычно решаются такие дела.

Если он уступит или откажется от вызова, я ради вас пренебрегу условностями. Я даже не потребую извинения за беспокойство, а буду считать все это следствием злосчастной ошибки, причины которой я не стану выяснять... Это я сделаю ради вас, хотя для человека

чести нелегко так поступить. Вы знаете, что именно с моей стороны это большое снисхождение. Поэтому не называйте меня невеликодушным, или неблагодарным, или жестоким: я готов сделать все, что могу сделать как мужчина, и, может быть, больше, чем должен был бы сделать как благородный человек.

— Слышите, Маркем Эверард, — воскликнула Алиса, — слышите?.. Роковой выбор целиком возложен на вас. Вы всегда были умеренны в страстях, религиозны, великодушны; неужели же из-за пустой формальности вы доведете эту мелкую и кощунственную ссору до смертоубийства? Поверьте мне,

если вы и теперь пойдете против всех ваших нравственных втравил и дадите волю страстям, последствия могут быть такие, что вы будете раскаиваться всю жизнь, а если бог не сжалится над вами, то и после смерти.

С минуту Маркем Эверард мрачно молчал, опустив глаза в землю. Наконец он взглянул на нее и ответил:

— Алиса, вы дочь солдата, сестра солдата. Все ваши родственники, даже включая того из них, к кому вы когда-то благоволили, стали солдатами во время этих злосчастных раздоров. И вы видели, как они уходят на поле сражения,

иногда становятся под разные знамена, чтобы исполнить свой долг там, куда призывают их убеждения, и вас это не волновало так сильно. Отвечайте мне, и от вашего ответа будет зависеть мое решение... Неужели этот юноша, который появился здесь так недавно, уже значит для вас больше, чем все дорогие, близкие люди — отец, брат, кузен, — которых вы провожали на войну сравнительно спокойно?.. Ответьте мне, и этого будет достаточно — я уйду, чтобы никогда больше не видеть ни вас, ни этой страны.

— Пойдите, Маркем, пойдите, и верьте мне: если я отвечу на ваш

вопрос утвердительно, то только потому, что безопасность мистера Кернегая важнее, много важнее, чем безопасность любого человека из числа тех, кого вы назвали.

— В самом деле? Я не предполагал, что графская корона настолько ценнее шлема простого дворянина, — сказал Эверард, — хотя слышал, что для многих женщин это именно так.

— Вы меня не правильно поняли, — возразила Алиса, смутившись; ей было трудно найти слова, способные предотвратить беду и в то же время побороть ревность и обезоружить гнев, которые, как она видела, поднимаются в душе ее

возлюбленного. Но она не могла найти достаточно убедительных слов, чтобы показать разницу в своем отношении к обоим молодым людям, не открыв истинного лица Луи Кернегая, а следовательно, не поставив жизнь короля под угрозу. — Маркем, — сказала она, — пожалейте меня. Не требуйте от меня ответа сейчас: поверьте, честь и счастье моего отца, моего брата и всей моей семьи зависят от безопасности мистера Кернегая и неразрывно связаны с тем, чтобы эта ссора прекратилась.

— О да... Я не сомневаюсь, — сказал Эверард, — семья Ли всегда тянулась к знати и, заключая браки,

всегда ставила показательные
верноподданнические чувства
придворных выше неподдельного и
честного патриотизма простого
провинциального дворянина.

Для них это было в порядке
вещей. Но, Алиса... Я любил вас так
нежно... Вы позволяли мне думать,
что моя любовь не остается без
ответа... Возможно ли, чтобы вас так
привлекал пустой титул, чтобы
светские комплименты праздного
вельможи всего за несколько часов
убедили вас предпочесть
распущенного лорда такому сердцу,
как мое?

— Нет, нет, поверьте, нет, —
сказала Алиса, вне себя от отчаяния.

— Вложите ответ, который вам, по-видимому, так трудно произнести, в одно слово и ответьте, за кого из нас вы так беспокоитесь?

— За обоих., обоих... — проговорила Алиса.

— Это не ответ, Алиса, — возразил Эверард, — здесь нет места равенству. Я должен знать и буду знать, во что мне верить. Я не понимаю этих уловок, когда девушка не хочет сделать выбор между двумя поклонниками; и никогда не подумал бы, что, для вашего тщеславия одного воздыхателя мало.

Гневные речи Эверарда и предположение, что она могла забыть его долгое и искреннее

обожание из-за ухаживаний
распущенного придворного,
разбудили гордость Алисы Ли; у нее,
как мы уже говорили, был отважный
нрав, присущий всей ее семье, —
Если вы так не правильно толкуете
мои слова, — сказала она, — если вы
считаете меня недоступной
малейшего доверия и не хотите,
спокойно подумав, понять меня, то
выслушайте, что я вам скажу, и
знайте: какими бы странными ни
казались мои слова, если вы их
правильно поймете, вы не увидите в
них ничего дурного... Я заявляю
вам.., я заявляю , всем.., и самому
этому джентльмену, который
прекрасно знает, в каком смысле я

говорю, что его жизнь и безопасность ценнее или должна быть ценнее для меня, чем безопасность любого другого человека в королевстве и даже во всем мире, кто бы это ни был.

Эти слова она произнесла твердым и решительным тоном, не допускающим никаких возражений.

Карл низко и с достоинством поклонился, но не сказал ни слова. Черты Эверарда изменились от волнения, которое он, напрягая всю свою гордость, с трудом подавлял; он подошел к своему противнику и, тщетно пытаясь придать голосу твердость, проговорил:

— Сэр, вы слышали, что сказала

эта леди, и, несомненно, должны быть ей очень благодарны. Я ведь только ее бедный кузен и недостойный поклонник, сэр, и беру на себя смелость уступить вам мои притязания на нее; и так как я ни в коем случае не хочу ее огорчать, надеюсь, вы не сочтете, что я поступаю недостойно, взяв обратно вызов, который доставил вам беспокойство и побудил вас прийти сюда в такой ранний час. Алиса, — сказал он, обернувшись к ней, — прощайте, Алиса, навсегда!

Бедная девушка, не в силах дольше сохранять присутствие духа, хотела повторить слово «прощайте», но не смогла. С ее уст сорвался лишь

неясный звук, и она, лишившись чувств, упала бы, если бы доктор Рочклиф вовремя не подхватил ее. Роджер Уайldreйк, который уже два или три раза подносил к глазам остатки носового платка, тронутый ее отчаянием, хотя таинственная причина его осталась ему непонятной, поспешил на помощь священнику и вместе с ним поддержал драгоценную ношу.

Переодетый принц смотрел на все это молча, но с необычайным для него волнением, которое сразу сказалось на его смуглом лице и особенно в его движениях. Вначале он стоял неподвижно, скрестив руки на груди, как человек, отдающийся

течению событий; затем изменил позу, хотел шагнуть вперед, но остался на месте, сжал и вновь разжал кулаки — по всему было видно, что в нем борются противоречивые чувства, что он вот-вот примет неожиданное решение, но до сих пор еще не знает, какой путь избрать.

Но когда он увидел, что Маркем Эверард бросил на Алису взгляд, полный невыразимого отчаяния, и повернулся, чтобы уйти, он не выдержал и разразился своим привычным восклицанием:

— Ах ты черт! Так не годится.

В три шага он нагнал медленно уходившего Эверарда, с силой

хлопнул его по плечу и, когда тот обернулся, сказал повелительным тоном, который он прекрасно умел принимать:

— Одно слово, сэр!

— Как вам угодно, сэр, — отозвался Эверард и, естественно, предполагая, что противник остановил его с враждебной целью, схватился за шпагу левой рукой, а правую положил на эфес, довольный тем, что дуэль все-таки состоится; гнев, говорят, так же сродни отчаянию, как жалость — любви.

— Нет! — ответил король. — Теперь это невозможно... Полковник Эверард, я — Карл Стюарт!

Эверард отступил в величайшем

удивлении, потом воскликнул:

— Невозможно!.. Не может быть!.. Король шотландцев бежал через Бристоль... Милорд Уилмот, ваша способность к интригам всем известна... Но меня вы не проведете.

— Король шотландцев, мистер Эверард, — возразил Карл, — если вам угодно так ограничить его власть.., во всяком случае, старший сын последнего государя Британии — перед вами; следовательно, он не мог отплыть из Бристоля. Доктор Рочклиф подтвердит мои слова и, более того, скажет вам, что Уилмот — блондин со светлой кожей, а я, вы же видите, черен, как ворон.

Рочклиф, видя, что происходит,

оставил Алису на попечение Уайлдрейка, который старался привести ее в чувство, причем его крайняя деликатность составляла приятный контраст с обычной развязностью; он был так поглощен своим делом, что сначала даже оставался в неведении об открытии, которое столь сильно поразило бы его. Что касается доктора Рочклифа, то он вышел вперед, ломая руки и всем своим видом выдавая крайнюю тревогу; его волнение выразалось обычными в таких случаях восклицаниями.

— Тише, доктор Рочклиф, — сказал король с полным самообладанием, поистине

подобающим принцу. — Я убежден, что мы в руках благородного человека. Мистер Эверард должен быть доволен, что тот, кого он считал своим счастливым соперником, оказался только изгнанным принцем. Он не может не понять чувств, помешавших мне воспользоваться защитой, которую эта молодая особа, благоговейно преданная монархии, предоставила мне, рискуя своим собственным счастьем. Ему остается только воспользоваться моей откровенностью; и, конечно, я имею право ожидать, что мое положение, и так уже ненадежное, не станет хуже от того, что он при таких обстоятельствах узнал, кто я. Во

всяком случае, тайна открылась, и дело полковника Эверарда решить, как он будет себя вести.

— О, ваше величество!.. Мой государь!.. Мой король!.. Мой принц!.. — воскликнул Уайлдрейк, поняв наконец, что происходит; он подполз к королю на коленях, схватил его руку и стал целовать ее, как ребенок, жадно сосущий пряник, или как влюбленный, лобзающий руку возлюбленной, а совсем не так, как принято целовать руку монарха. — Если мой дорогой друг Маркем Эверард окажется в этом случае псом, поверьте, я тут же перережу ему горло, хотя бы сразу после этого мне пришлось зарезаться

самому.

— Тише, тише, мой добрый друг и верный подданный, — сказал король, — успокойтесь; хоть я и принужден на минуту признать себя принцем, здесь не так уединенно и безопасно, чтобы мы могли принимать наших подданных по обычаям царя Камбиза.

Эверард, некоторое время стоявший в оцепенении, наконец словно очнулся от сна.

— Ваше величество, — сказал он, с глубоким почтением отвесив низкий поклон, — если я не выражаю верноподданные чувства своею шпагой, преклонив колено, то потому, что бог, по

милости которого царствуют короли, не позволяет вам теперь вступить на ваш престол без новой гражданской войны. Пусть у вас ни на миг не возникнет мысль, что я способен посягнуть на вашу безопасность. Если бы даже я не питал почтения к вашей особе, если бы я не был обязан вам за искренность и благородное признание, которое предотвратило несчастье моей будущей жизни, ваша особа, претерпевшая столько злоключений, была бы так же священна для мену, как и для самого преданного роялиста в королевстве; и я сделал бы все, что в моих силах, чтобы защитить вас. Если ваши планы обдуманы здраво и

выполняются твердо, считайте все, происшедшее здесь, только сном. Если я могу помочь вам, не преступая своего долга по отношению к республике, а он запрещает мне участвовать в каком-либо заговоре и в насильственных действиях против нее, — ваше величество можете располагать мною.

— Возможно, я воспользуюсь вашими услугами, сэр, — сказал король, — ибо мое положение не позволяет мне отказываться от предложения помощи, даже самой ограниченной; но если смогу, я постараюсь не обращаться к вам — я не хотел бы, чтобы из-за меня

сострадание вступало у человека в противоречие с чувством долга. Доктор, я думаю, дуэли сегодня не будет — ни на шпагах, ни на палках; поэтому мы можем теперь вернуться в замок и оставить тех, — он взглянул на Алису и Эверарда, — кому, наверно, нужно еще объясниться.

— Нет.., нет! — воскликнула Алиса; теперь она совершенно пришла в себя и отчасти из того, что видела сама, отчасти из слов доктора Рочклифа поняла все. — Нам нечего объясняться с кузеном Эверардом; он простит меня за то, что я говорила загадками, когда не могла выражаться яснее; а я прощаю его за

то, что он не сумел их разгадать. Но я обещала отцу... Мы теперь не можем ни писать друг другу, ни разговаривать... Я сейчас же возвращаюсь в замок, а он — в Вудсток, если вы, ваше величество, — она поклонилась королю, — не распорядитесь иначе.

Немедленно в город, кузен Маркем, и в случае опасности предупредите нас.

Эверард хотел было задержать ее, хотел извиниться за свои несправедливые подозрения, сказать ей многое, но она не стала его слушать и в ответ промолвила только:

— Прощайте, Маркем, пока бог

не пошлет нам лучших дней!

— Она ангел правдивости и красоты! — вскричал Роджер Уайldreйк. — А я, как кощунственный еретик, назвал ее легкомысленным существом! Но, прошу прощения, не будет ли у вашего величества каких-либо приказаний бедному простаку Роджи Уайldreйку, который, чтобы угодить своему государю, готов разmozжить голову кому угодно, хотя бы и себе самому?

— Мы просим нашего друга Уайldreйка, — ответил Карл с улыбкой, — ничего не делать второпях; такие мозги, как у него, — редкость, их нельзя разбивать

опрометчиво, потому что вновь собрать их будет трудно. Мы советуем ему быть поскромнее и поосторожнее, больше не фехтовать с верноподданными священниками англиканской церкви и безотлагательно достать новый камзол, в чем мы просим его принять нашу королевскую помощь. Когда настанет подходящее время, мы надеемся найти ему другую должность.

С этими словами он положил десять золотых монет в руку бедняги Уайлдрейка, который так расчувствовался от избытка верноподданнической благодарности, что захныкал, как

ребенок, и пошел бы за королем, если бы доктор Рочклиф в кратких, но повелительных словах не настоял на том, чтобы он остался со своим патроном, и не обещал, что к его помощи, конечно, обратятся во время побега короля, если только представится благоприятный случай.

— Будьте так великодушны, ваше преподобие, вы обяжете меня навеки, — отвечал кавалер, — и заклинаю вас не питать ко мне зла за мою глупость, которой вы были свидетелем.

— У меня на это нет оснований, капитан Уайldreйк, — сказал доктор, — мне кажется, я от этого только выиграл.

— Тогда, доктор, я тоже прощаю вам и прошу вас из христианского милосердия предоставить мне возможность хоть чем-нибудь услужить королю: я живу теперь только этой надеждой и умру от разочарования, если она не сбудется.

Во время этого разговора Карл по своему обыкновению очень любезно попрощался с Эверардом, который стоял с непокрытой головой все время, пока король разговаривал с ним.

— Мне незачем просить вас больше ко мне не ревновать, — сказал король, — ибо, я полагаю, вы не думаете о возможности брака между мною и Алисоп; такой брак

был бы недостоин ее. Если же говорить о других намерениях, то самый бессовестный волокита не стал бы питать их в отношении такого возвышенного создания; и право же, я был уверен в ее достоинствах и без этого последнего неоспоримого доказательства ее чистосердечной преданности мне.

Я помню, как она отвечала на некоторые пустые любезности, и мог убедиться в благородстве ее характера. Мистер Эверард, я вижу, что ее счастье зависит от вас, и знаю, что вы будете заботливо охранять его. Поверьте, мы воспользуемся нашим влиянием, чтобы убрать все препятствия на пути к вашему

общему счастью. Прощайте, сэр! Если мы с вами не можем быть добрыми друзьями, давайте по крайней мере сохраним те чувства, которые питаем друг к другу сейчас, и в будущем не допустим в наших отношениях ни жестокости, ни вражды.

В тоне Карла было что-то очень трогательное; в его положении беглеца в королевстве, принадлежавшем ему по праву наследования, было что-то такое, что живо отозвалось в сердце Эверарда, хотя это чувство и противоречило требованиям политики, которую он считал своим долгом поддерживать во время смуты, раздиравшей его

отечество. Он стоял, как мы сказали, с непокрытой головой, всем своим видом выражая глубочайшее почтение, какое только может вызывать король у человека, не принадлежащего к числу его приверженцев. Он поклонился так низко, что губы его почти коснулись руки Карла, но не поцеловал ее.

— Для вашего спасения, сэр, — сказал он, — я пожертвовал бы жизнью. Больше...

Он запнулся, и король подхватил его фразу с того места, где он ее прервал:

— Больше сделать вы не можете, не поступаясь своей честью, но того, что вы сказали, уже достаточно. Вам

не пристало отдавать долг уважения
моей протянутой руке как руке
монарха, но вы не помешаете мне
пожать вашу руку как другу, если
позволите мне назвать вас так., или
по крайней мере как доброжелателю
— в этом я уверен.

Великодушное сердце Эверарда
было тронуто. Он взял руку короля и
прижал ее к губам.

— О, если бы настали лучшие
времена!.. — сказал он.

— Не давайте никаких
обязательств, дорогой Эверард, —
сердечно ответил добрый принц,
тоже взволнованный. — Мы не
способны рассуждать, когда чувства
наши в смятении. Я не вербую

сторонников так, чтобы это шло им во вред, и не хочу увлекать за собой в своем падении тех, кто настолько человечен, что жалеет меня в моем нынешнем положении.

Если настанут лучшие времена, мы опять встретимся и, надеюсь, к нашему взаимному удовольствию. Если же нет, то, как сказал бы ваш будущий тесть, — благосклонная улыбка осветила его лицо; она прекрасно гармонировала с его блестящими глазами, — если же нет, значит, хорошо, что мы расстаемся.

Эверард удалился с глубоким поклоном; он едва сдерживал противоречивые чувства, теснившиеся в его груди; среди них

сильнее всею был отклик на великодушие Карла, который, рискуя собой, рассеял туман, казалось, окутавший надежды двух влюбленных; к этому примешивалось острое сознание того, какие опасности подстерегают Карла. Полковник вернулся в городок в сопровождении своего помощника Уайлдрейка, который беспрестанно оборачивался назад, проливая слезы, всплескивая руками и с мольбой поднимая их к небесам, — Эверарду пришлось напомнить ему, что если эти изъятия чувств будут кем-нибудь замечены, они могут вызвать подозрения.

Великодушие короля в

последней части этой замечательной сцены не ускользнуло от внимания Алисы; у нее сразу прошла досада на прежнее поведение Карла, и подозрения, которые он заронил в ней, рассеялись; в ее сердце пробудилась вера в природную доброту короля; кроме почтения к его высокому сану, внушенного с детства и составлявшего как бы часть ее религии, она почувствовала теперь и уважение к его личности. С восторгом она убедилась в том, что в глубине души он добродетелен, а его распущенность объясняется дурным воспитанием, или, скорее, отсутствием воспитания, а также низкими советами подбострастных

льстецов. Она не могла знать, или, может быть, не подумала в тот момент, что, если не вырвать сорняки с корнем, они вырастут и заглушат в почве произраставшие в ней здоровые побеги. Как потом наставительно сообщил ей доктор Рочклиф, обещав, по своему обыкновению, при случае, когда она ему напомним, точно объяснить эти слова: *Virtus rectorem ducemque desirat; vitia sine magistro discuntur.* [note 68](#).

Теперь такие разъяснения были бы неуместны.

Король и Алиса поверили в искренность друг друга каким-то внутренним чувством, которое в

деликатных обстоятельствах более содействует взаимопониманию, чем слова. Сдержанность и притворство исчезли. С мужественной прямоотой и в то же время с королевской снисходительностью он предложил ей на обратном пути опереться на его руку вместо руки доктора Рочклифа, и Алиса приняла его поддержку с почтительной скромностью, но без тени недоверия или страха. Казалось, за последние полчаса они вполне поняли друг друга, и каждый был убежден в чистоте и искренности намерений другого.

Тем временем доктор Рочклиф отстал на несколько шагов, он был не так легок и подвижен, как Алиса (она

вдобавок опиралась на руку короля), и только с большим трудом и усилиями мог бы идти в ногу с Карлом, который, как мы уже заметили, был тогда одним из лучших ходоков Англии и иногда, как это случается с великими людьми, забывал, что другие не могут с ним состязаться.

— Дорогая Алиса, — сказал король таким тоном, каким мог бы говорить брат, — мне очень нравится ваш Эверард — я бы, ей-богу, хотел, чтобы он принадлежал к нашему лагерю. Но раз это невозможно, я уверен, что он окажется великодушным противником.

— Осмелюсь заметить,

государь, — скромно, но твердо сказала Алиса, — мой кузен никогда не станет личным врагом вашего величества. Это такой человек, что на каждое слово его можно положить больше, чем на чьи-нибудь громогласные и торжественные клятвы. Он совершенно не способен злоупотреблять великодушным и добровольно оказанным доверием вашего величества.

— Клянусь честью, я верю этому, Алиса, — ответил король. — Но, черт возьми, милая девушка, оставьте сейчас в покое его величество, ведь от этого зависит моя безопасность, как я недавно

говорил вашему брату... Называйте меня хоть сэром, ведь так можно обращаться и к королю, и к пэру, и просто к дворянину... Или пусть я опять стану неотесанным Луи Кернегаем.

Алиса опустила глаза и покачала головой.

— Воля ваша, государь, это невозможно.

— Как? Луи был дерзкий малый.., глупый, самонадеянный мальчишка.., и вы его не выносите? Ну что ж, может быть вы и правы... Но подождем доктора Рочклифа... — сказал он, деликатно стремясь уверить Алису, что не собирается вступать с ней в разговор, который

мог бы навести ее на тягостные мысли. Они помолчали, и Алиса снова почувствовала облегчение и благодарность.

— Доктор, — сказал король, — я не могу убедить нашего прекрасного друга, мисс Алису, что в разговоре со мной она из осторожности должна воздержаться от титулов: ведь оправдать мои титулы пока нечего.

— Это укор земле и Фортуне, — ответил богослов, переводя дух, — что нынешнее положение вашей священной особы не позволяет воздавать вам почести, подобающие вам с самого рождения. Если господь благословит усилия ваших верных

подданных, я надеюсь, что эти почести будут воздаваться вам по вашему наследственному праву общим голосом всех трех королевств.

— Верно, доктор, — сказал король, — но в ожидании этого не можете ли вы объяснить мисс Алисе два стиха из Горация, которые я ноту в своей тупой голове уже несколько лет, и только сейчас они пришлись как раз кстати. Как говорят мои практичные подданные шотландцы: «Если вы будете хранить у себя вещь в течение семи лет, в конце концов для нее найдется применение»... Telephus..., да, кажется так:

Telephus et Peleus, cum pauper et

exul uterque

Projicit ampullas et sesquipedalia
verba.

[В горьком изгнание, в нужде и
Телеф и Пелей перестали

Шумный поток изливать слов
семимильных а фраз,]

— Я объясню эти стихи мисс
Алисе в другой раз, она мне
напомнит, — сказал доктор, — или,
лучше, — добавил он, сообразив, что
его обычный в таких случаях
уклончивый ответ неуместен, когда
приказание исходит от государя, — я
приведу скромный отрывок из моего
собственного перевода этой поэмы:

В изгнание уходя, владыки и герои

Груз семимильных фраз не тащат за собой.

— Великолепный перевод, доктор, — сказал Карл, — я чувствую всю его силу; особенно хорошо переданы слова *sesquipedalia verba* — семимильные сапоги...то есть слова... Это напоминает мне, как и половина всего того, что я видел на свете, «Contes de Commere L'Oye» [note 69](#).

Тем временем они дошли до замка. Когда король пошел в свою комнату, чтобы подготовиться к

завтраку, в голове его мелькнула мысль:

«Уилмот, Вильерс и Киллигру посмеялись бы надо мной, если бы слышали о сражении, в котором я не одержал победы ни над мужчиной, ни над женщиной. Ну и ладно, черт побери, пусть их смеются сколько хотят! Что-то в моем сердце говорит мне, что хоть раз в жизни я поступил правильно».

Этот и следующий день прошли спокойно; король с нетерпением ждал известия о том, что где-нибудь на побережье для него приготовлено судно. До сих пор ничего еще не было устроено, но он узнал, что неутомимый Альберт Ли,

подвергаясь большим опасностям,
объезжает все города и селения
побережья, чтобы с помощью друзей
монархии и сообщников доктора
Рочклифа найти возможность
переправить короля за границу.

Глава XXIX

*Прочь руки, ты,
бесстыдный негодяй!*

«Два веронца»

На некоторое время все наше внимание привлекли главные герои нашей драмы. Теперь пора обратиться и к другим действующим лицам.

Итак, мы должны сообщить читателю, что комиссары, изгнанные из рая, которым был для них Вудсток, правда, не архангелом, а, как они полагали, духами совсем другого рода, все еще не окончательно

отбросили мысль там пожить и поэтому держались неподалеку. Они, правда, уехали из городка под тем предлогом, что жилье там было неудобное.

Но более существенная причина заключалась в том, что они все еще сердились на Эверарда, как на виновника их неудачи, и не желали оставаться в замке, где он мог наблюдать за ними, хотя, прощаясь с Маркемом, выразили ему глубокое почтение. Однако они доехали только до Оксфорда, где и остались, как вороны, привыкшие наблюдать за охотой, сидя на дереве или на скале, и смотреть, как свежуют оленя, в надежде, что на их долю достанутся

внутренности.

Тем временем они выгодно использовали свои разнообразные способности в городе, и особенно в университете, в ожидании момента, когда сбудутся их надежды и они будут вызваны в Уиндзор, или же Вудсток снова отдадут в их полное распоряжение.

Блетсон, от нечего делать, навязывал свое общество ненавидевшим его ученым и благочестивым священникам и богословам, раздражал их атеистическими речами и вовлекал в споры на весьма скандальные темы. Десборо, один из самых грубых невежд того времени, заставил

назначить себя главой одного колледжа и, не теряя времени, рубил деревья и воровал серебряную посуду. Что до Гаррисона, то он читал проповеди в церкви святой Марии в полной парадной форме, в кожаной куртке и сапогах со шпорами, как будто собирался ехать на поле битвы в Армагеддон. И трудно сказать, чем Оксфорд, этот оплот науки, религии и монархизма, как его назвал Кларендон, был оскорблен глубже: грабежом Десборо, холодным скептицизмом Блетсона или неистовым фанатизмом поборника Пятой монархии.

Солдаты время от времени

ходили из Оксфорда в Вудсток и обратно на смену караула или под каким-нибудь другим предлогом и, вероятно, поддерживали связь с Верным Томкинсом; он жил в городке Вудстоке, но часто посещал замок, и поэтому комиссары получали надежные донесения о том, что там происходило.

И в самом деле, по-видимому, этот Томкинс какими-то тайными способами если не полностью, то отчасти завоевал доверие почти всех обитателей городка и замка. Все с ним совещались, все секретничали; люди с деньгами старались задобрить его подарками; люди без денег щедро давали обещания.

Когда он появлялся в Вудстоке, всегда как бы случайно, и проходил через зал, баронет каждый раз предлагал ему рапиру и, после более или менее упорного сопротивления противника, неизменно оказывался победителем; поэтому, восторжествовав над ним столько раз, достойный сэръ Генри почти простил ему грехи — бунтарство и пуританизм. Когда потом медленные и размеренные шаги мистера Томкинса слышались по коридорам, ведущим в галерею, доктор Рочклиф встречал его в каком-нибудь пустом помещении — правда, богослов никогда не приглашал его в свой кабинет, — и между ними

завязывались долгие беседы, по-видимому представлявшие большой интерес для обеих сторон.

Слуги принимали индпендента так же приветливо, как хозяева. Джослайн всегда встречал его с самой сердечной искренностью, немедленно доставал для него пирог и бутылку вина, и начиналось угощение.

Нужно заметить, что средств для этого стало гораздо больше с того времени, как прибыл доктор Рочклиф, который в качестве доверенного лица многих роялистов имел в своем распоряжении значительные суммы денег. Возможно, Верный Томкинс тоже

получал немалую долю из этих запасов.

Иной раз, когда он снисходил, по его выражению, к слабостям плоти, на которые у него якобы были особые права, — в сущности, он имел в виду не что иное, как свое пристрастие к крепким напиткам, — он воодушевлялся и распускал язык, хотя в обычное время говорил весьма сдержанно и прилично. То он со сладострастием старого озорника рассказывал о своих прежних подвигах вроде кражи оленей, грабежа фруктовых садов, пьяных выходок и отчаянных скандалов, в которых участвовал в молодости, то пел вакхические песни и любовные

куплеты, то повествовал о таких приключениях, что Фиби Мейфлауэр приходилось покидать компанию; крик его достигал даже глухих ушей тетушки Джелликот, так что бедная старушка тоже принуждена была уходить из кладовой, где они пьянствовали.

Среди таких буйных разглагольствований Томкинс два или три раза неожиданно ударялся в религиозные темы и говорил непонятно, но с большим воодушевлением и весьма красноречиво о блаженных святых, выделяющихся среди всех остальных людей, — о настоящих святых, как он их характеризовал, — о людях,

которые взяли приступом духовную сокровищницу неба и овладели лучшими ее драгоценностями. Обо всех остальных сектах он отзывался с крайним презрением и считал, что они только ссорятся, по его выражению, как свиньи у корыта из-за шелухи и желудей; под этими оскорбительными словами он подразумевал и принятые обряды и таинства, и открытые богослужения существующих христианских церквей, и заповеди, или, вернее, запреты, предписанные всем без исключения христианам. Его поверенным в таких случаях чаще всего оказывался Джослайн; он ничего не понимал в его

рассуждениях, слушал рассеянно и обычно старался вернуть его к грубому веселью или к старым воспоминаниям о былых похождениях до гражданской войны; он не хотел и не старался разбираться во взглядах этих подозрительных святых, но очень ценил покровительство, которым Вудсток мог пользоваться благодаря Томкинсу, и доверял честности этого человека, потому что тот свободно высказывал свои мысли, считал, что эль и водка, за неимением лучших напитков, составляют главное в жизни, и пил за здоровье короля или кого угодно, когда бы ему ни предложили, лишь бы кубок был

полон до краев.

Эта необычная доктрина, принятая в секте, иногда называемой «Семьей любви», но чаще сектой рантеров, [note 70](#) стала пользоваться некоторым успехом в те времена, когда существовало множество религиозных учений и люди доводили враждующие ереси до полного и самого неблагочестивого неистовства. Эти фанатичные апологеты кощунственной доктрины должны были хранить ее в тайне из страха перед последствиями, которые могли бы наступить, если бы она провозглашалась открыто; мистер Томкинс, по его словам, достиг духовной свободы, но

тщательно скрывал ее от всех тех, кого мог прогневить, если бы признался в ней публично. Это было нетрудно, ибо символ веры его секты допускал, даже более того, предписывал, чтобы, в случае надобности, ее последователи выполняли устав или подчинялись проповедникам любой господствующей религии.

На этом основании Томкинс выдавал себя доктору Рочклифу за ревностного приверженца англиканской церкви, хотя и служащего под знаменами врагов в качестве шпиона в их лагере; а так как он несколько раз доставлял доктору точные и ценные сведения,

он легко внушил этому рьяному заговорщику доверие к своим донесениям.

Хотя Рочклиф в других отношениях и полагался на Томкинса, он все-таки боялся, что частое присутствие этого человека, которого, вероятно, нельзя было удалить из замка, не возбуждая подозрений, может стать опасным для короля; поэтому он советовал Карлу по возможности не попадаться Томкинсу на глаза, а если уж нельзя будет избежать случайной встречи, обязательно выдавать себя за Луи Кернегая. Джозеф Томкинс, по словам Рочклифа, был, разумеется, Честный Джо, но доктор считал, что

честность — лошадь, которую не нужно слишком перегружать, то есть не следует вводить своего ближнего во искушение.

Томкинс, казалось, ничего не имел против того, что ему оказывали лишь ограниченное доверие, или, может быть, он хотел сделать вид, что совсем не замечает этого постороннего человека. Когда раз или два, по неизбежной случайности, Томкинс встретился с Кернегаем, Джослайн, малый очень неглупый, смекнул, что он, кажется, проявил к этому обстоятельству не такой интерес, какого можно было ожидать от человека, по природе пытливого и любознательного.

«Он ничего не спрашивает про незнакомого юношу, — подумал Джослайн, — не дай бог, он что-нибудь подозревает или уже знает!»

Но его сомнения рассеялись, когда во время следующего разговора Джозеф Томкинс упомянул о побеге короля через Бристоль как о совершенно достоверном событии и назвал даже корабль, на котором, по его словам, отплыл Карл, и имя капитана; казалось, он был совершенно убежден в надежности этих сведений, и Джослайн решил, что Томкинс ничего не подозревает.

И все же, несмотря на такую уверенность и дружеские отношения с Томкинсом, преданный егерь

решил вести за своим приятелем тщательное наблюдение и был готов в случае надобности поднять тревогу.

Правда, он признавал, что его так называемый друг, несмотря на свои пьяные и восторженные разглагольствования, может быть и заслуженно пользовался доверием доктора Рочклифа, но все же был настоящий пройдоха; верх и подкладка его плаща были разного цвета; он мог соблазниться высокой наградой, и, в надежде на прощение своих прошлых неблагоприятных поступков, не прочь был еще раз вывернуть свой плащ наизнанку... Вот почему Джослайн не переставал вести пристальное, хоть и

незаметное наблюдение за Верным Томкинсом.

Как мы уже говорили, скромного секретаря хорошо принимали и в городке Вудстоке, и в замке, и даже Джослайн Джолиф старался скрыть свои подозрения, встречая его со щедрым и сердечным гостеприимством. Были, однако, два человека, которые по совершенно различным причинам враждебно относились к Томкинсу, так радушно принятому повсюду.

Один из них был Ниимайя Холдинаф: он с негодованием вспоминал о грубом вторжении индпендента на его кафедру, и в частных беседах всегда говорил о

нем как о лживом миссионере, в которого сатана вложил дух обольщения; однажды он произнес торжественную проповедь на тему о лжепророке, у которого из уст выскакивают лягушки. Речь эта имела большой успех у мэра и среди городских богачей, которые сочли, что их проповедник нанес жестокий удар самой основе учения индепендентов.

С другой стороны, приверженцы тайного духа утверждали, что Джозеф Томкинс взял успешный и победоносный реванш в проповеди, произнесенной вечером того же дня, где он доказал, убедив многих ремесленников, что текст из пророка

Иеремии: «Пророки прорекают ложь, а священники господствуют при посредстве их», прямо относится к пресвитерианской системе управления церковью. Холдинаф сообщил о поведении своего противника преподобному мистеру Эдуардсу, чтобы тот включил Томкинса в следующее издание Gangrasna как зачумленного еретика, а Томкинс указал на пастора своему начальнику Десборо как на человека, с которого можно взыскать крупный штраф за оскорбление тайного духа, и при этом уверял, что хотя проповедник с виду и кажется бедным, можно поставить к нему на постой нескольких кавалеристов,

пока он не заплатит штрафа, — тогда жены всех богатых лавочников опустошат кассы своих мужей, чтобы добыть нечестивые деньги и с их помощью выручить священника; в этом отношении они держатся того же мнения, что и Лаван, судя по его словам: «Вы отняли у меня богов моих, а что еще есть у меня?» Конечно, отношения между спорящими сторонами не могли быть сердечными, если религиозные разногласия приняли такой мирской оборот.

Но Джо Томкинса гораздо сильнее огорчала неприязнь другой особы, которой он хотел понравиться гораздо больше, чем Ниимайе

Холдинафу. Это была не кто иная, как хорошенькая Фиби Мейфлауэр, — он очень стремился обратить ее в свою веру еще со времени той речи о Шекспире, которую он произнес, когда впервые увидел девушку в замке. Однако он, кажется, был намерен заниматься этим серьезным делом втайне и в особенности скрывать эти попытки от своего приятеля Джослайна, чтобы тот, чего доброго, не приревновал Фиби к нему. Но напрасно он осаждал стойкую девицу то стихами из «Песни песней», то цитатами из «Аркадии» Грина, то выразительными отрывками из «Венеры и Адониса», а

иной раз и еще более непонятными рассуждениями из популярной книги, озаглавленной «Лучшие произведения Аристотеля». Никакие ухаживания, духовные или мирские, отвлеченные или материальные, Фиби Мейфлауэр не принимала всерьез.

Во-первых, Фиби любила Джослайна Джолифа, а во-вторых, если она была предубеждена против Джозефа Томкинса как против бунтовщика-пуританина еще когда увидела его впервые, то нисколько не примирилась с ним с тех пор, как у нее появились основания считать его лицемерным развратником.

По этим двум причинам она его

ненавидела, терпеть не могла разговаривать с ним и всегда старалась от него улизнуть, а если уж ей приходилось остаться, слушала его только потому, что знала, как много ему известно, и боялась, оскорбив его, поставить под угрозу безопасность семьи, которой она служила с самого детства и которой была безраздельно предана.

По тем же причинам она остерегалась показывать свою неприязнь к Томкинсу при Джослайне Джолифе, потому что воинственный нрав егеря-солдата мог привести к ссоре, и тогда couteau de chasse [note 71](#) и дубинка ее дружка вступили бы в неравный спор с

длинной шпагой и пистолетами, которые всегда носил при себе его опасный соперник. Но трудно ослепить ревность, когда у нее есть причины сомневаться, и, может быть, пристальное наблюдение Джослайна за своим приятелем было вызвано не только заботой об охране короля, но и смутным подозрением, что Томкинс не прочь незаконно поохотиться в его собственном прекрасном поместье.

Фиби, как осторожная девушка, по возможности старалась обезопасить себя присутствием доброй тетушки Джелликот. Надо сказать, что индипендент, или кто бы он ни был, своими ухаживаниями

добился от нее очень малого. Фиби нарочно представлялась такой же глухой, какой была старая матрона по своей естественной дряхлости. Это равнодушие очень сердило нового поклонника Фиби и побуждало его искать время и место, чтобы на свободе поухаживать за ней поэнергичнее и заставить ее обратить на себя внимание. Фортуна, эта коварная богиня, которая часто несет нам гибель, исполняя наши желания, наконец предоставила ему случай, которого он уже давно ждал.

На закате или немного позже Фиби, заведовавшая хозяйством в замке, пошла к источнику прекрасной Розамунды, чтобы

набрать воды к ужину, или, вернее, чтобы исполнить прихоть старого баронета, который верил, что этот прославленный ключ дает самую чистую и лучшую воду на свете. Сэр Генри пользовался таким уважением всех членов семьи, что пренебречь каким-либо его желанием, даже и не очень легко исполнимым, в их глазах было почти равносильно пренебрежению религиозными обрядами.

Наполнить кувшин, как мы знаем, стало с некоторых пор делом не простым, но изобретательность Джослайна несколько его упростила; он, как умел, починил разрушенную стенку старого фонтана, так что вода,

накапливаясь, текла теперь по деревянному желобу и падала с высоты около двух футов. Девушка, пришедшая за водой, могла поставить кувшин под медленно текущую струю и спокойно ждать, пока сосуд наполнится.

В тот вечер, о котором мы говорим, Фиби Мейфлауэр впервые увидела это маленькое усовершенствование. Она справедливо сочла его знаком внимания со стороны своего сельского поклонника, желавшего облегчить ей труд, и в течение нескольких минут отдыха, которые она получила благодаря любезному мастеру, думала о его доброте и

смышлености, а может быть, и о том, что хорошо бы ему подождать ее у источника и лично получить благодарность за хлопоты. Но она знала, что он задержался в кладовой с этим ненавистным Томкинсом, и предпочитала совсем не встречаться с ним, чем видеть его в сопровождении индпендента.

Пока она размышляла таким образом, коварная фортуна послала к источнику Томкинса, и притом без Джослайна. Когда Фиби увидела, что он загородил собой тропинку, по которой она пришла, у бедной девушки сжалось сердце: она была одна в чаще леса, куда вообще запрещалось ходить в сумерки, чтобы

не тревожить засыпающих оленей.

Однако она набралась храбрости и решила не показывать вида, что боится, хотя, когда Томкинс приблизился, взгляд его и выражение лица не рассеяли ее дурных предчувствий.

— Да снизойдет на тебя вечерняя благодать, милая девушка, — сказал он. — Я встречаю тебя почти как старший слуга Авраама, который был управителем так же, как и я, и встретил Ревекку, дочь Вафуила, сына Мильки, у источника в городе Нахоре, в Месопотамии. Разве не должен я сказать вам: «Поставь свой кувшин, чтобы я мог испить воды?»»

— Кувшин к вашим услугам, мистер Томкинс, — ответила Фиби, — пейте, сколько хотите; но вы, наверно, уже выпили напитка получше, и к тому же совсем недавно.

И в самом деле, было очевидно, что секретарь явился с пирушки: лицо его слегка горело, хоть он и не был совершенно пьян. Завидев его, Фиби встревожилась, а теперь, когда она заметила, в каком он состоянии, она еще больше испугалась.

— Я только воспользовался своей привилегией, милая Ревекка; земля дана праведникам, и им принадлежи т все ее изобилие. Они будут жить на ней и наслаждаться

богатствами ее недр и сокровищами вин, и возрадуются, и сердца их возвеселятся. Ты должна узнать все о привилегиях праведников, моя Ревекка.

— Меня зовут Фиби, — сказала девушка, чтобы отрезвить его пылкий восторг, искренний или притворный.

— Фиби по плоти, но Ревекка по духу, — продолжал он, — ибо разве ты не потерянная и заблудшая овца и разве я не послан для того, чтобы вернуть тебя в стадо? К чему же еще могут относиться слова:

«Ты найдешь ее у источника в лесу, который назван по имени древней блудницы Розамунды».

— Вы действительно нашли

меня у источника, — сказала Фиби, — а раз уж вы хотите составить мне компанию, проводите меня до замка и, если будете так любезны, возьмите мой кувшин. По дороге я выслушаю все то приятное, что вы хотите мне сказать. Но сэр Генри любит, чтобы ему подавали стакан воды перед молитвой.

— Как! — вскричал Томкинс. — Неужели старик с кровавыми руками и коварным сердцем послал тебя сюда совершать работу невольницы? Поистине, ты вернешься освобожденной; а воду, которую ты набрала для него, нужно вылить, так же как Давид приказал вылить воду Вифлеемского источника.

С этими словами он, не обращая внимания на крики и мольбы Фиби, выплеснул воду из кувшина.

Затем он поставил сосуд обратно под желобок и продолжал:

— Знай же, что это будет для тебя знамением.

Вода, наполняющая этот кувшин, будет подобна песку в песочных часах, и если в продолжение всего того времени, пока он наполнится до краев, ты будешь внимать словам моим, благо тебе будет и ты вознесешься высоко над теми, кто, отказавшись от наставлений, подобных молоку для грудных младенцев, питается сытной пищей, пригодной для мужей.

Но если вода в кувшине перельется через край прежде, нежели уши твои выслушают и разум поймет мои слова, тогда ты будешь отдана, как жертва и невольница, тем, кто должен обладать всеми благами земными.

— Вы меня пугаете, мистер Томкинс, — сказала Фиби, — хотя я знаю, что вы не желаете меня пугать.

Удивляюсь, как вы осмеливаетесь произносить речи, похожие на такие хорошие слова из библии! Ведь вы же сами смеялись над вашим собственным хозяином и над всеми остальными господами..., когда помогали разыгрывать духов в замке?

— Неужели ты думаешь, дурочка, что, когда я обманывал Гаррисона и других, я превысил свои права? Поистине пет. Выслушай меня, глупая девочка. В прежнее время я был самым беспутным и негодным повесой в Оксфордшире, болтался по деревням в престольные праздники и на ярмарках, плясал вокруг майского шеста и ловко играл в мяч и в дубинку... Меня называли на языке нечестивых Филипом Хейзелдином, и я был певчим в хоре, и звонарем на колокольне, и служкой у одного священника по имени Рочклиф. И в то время я не был дальше от правильного пути, чем тогда, когда я прочитал много книг и

наконец нашел себе наставников; все они были слепы, все переливали из пустого в порожнее.

Я бросил их одного за другим; последним был бедный простофиля Гаррисон. Без всякой помощи я выбился вперед, к сияющему благотворному свету, которым и ты, Фиби, должна насладиться.

— Благодарю вас, мистер Томкинс, — сказала Фиби, скрывая страх под равнодушным видом, — но мне хватит света, чтобы снести этот кувшин, если только вы позволите мне его взять; и этим светом я вполне удовольствуюсь на сегодняшний вечер.

С этими словами она нагнулась

и хотела взять кувшин у источника, но Томкинс помешал ей, схватив ее за руку. Фиби, однако, была достойной дочерью отважного егеря и умела защищаться, не раздумывая; она не смогла взять кувшин, но схватила вместо него большой камень и зажала в правой руке.

— Встань, неразумная девушка, и слушай, — строго сказал индипендент. — Знай, что грех, за который небо карает душу человека, состоит не в поступке, а в мысли грешника. Верь, милая Фиби, что для чистого все деяния чисты, и грех в наших помыслах, а не в поступках, так же как сияние дня — только мрак для слепого, а зрячий видит его

и ликует. Кто еще новичок в том, что касается духа, тому многое предписывается и многое возбраняется, он питается молоком, пригодным только для младенцев, он подчиняется законам, запрещениям и приказам. Но праведник выше этих законов и ограничений.

Ему, как любимому чаду семьи, дана отмычка, чтобы открывать все замки, препятствующие наслаждаться тем, чего желает его сердце. Я поведу тебя, милая Фиби, в такие блаженные места, где ты радостно, невинно и свободно познаешь наслаждения, греховные и запрещенные для тех, кто не принадлежит к избранным.

— Право, мистер Томкинс, отпустите меня домой, — сказала Фиби, не понимая смысла его речей и чувствуя отвращение к его словам и повадкам. Но он продолжал излагать свое нечестивое и кощунственное учение, которое вместе с другими измышлениями лжесвятых принял после того, как долго переходил от одной секты к другой, пока не утвердился в мерзкой вере, что грех, понятие исключительно духовного порядка, существует только в мыслях, и самые безнравственные поступки разрешаются тем, кто настолько вознесся духом, что считает себя выше всяких запретов.

— Итак, милая Фиби, —

продолжал он, пытаясь привлечь ее к себе, — я могу предложить тебе больше, чем было дано женщине с тех пор, как Адам впервые взял свою супругу за руку. Пусть у других уста останутся сухи, пусть они несут покаяние, как паписты, и соблюдают воздержание, когда сосуд наслаждения изливает восторги. Любишь ты деньги?.. У меня они есть, и я могу достать еще... В моих силах добывать их обеими руками и любыми средствами.., вся земля — моя, со всем своим изобилием. Ты хочешь власти?.. Какое из поместий этих бедных, обманутых комиссаров ты бы хотела получить? Я достану тебе все, потому что я умнее любого

комиссара. И когда я помогал злонамеренному Рочклифу и дураку Джолифу так напугать и провести их, у меня тоже были полномочия. Проси чего хочешь, Фиби, я могу дать тебе все или все достать для тебя... Так начнем же вместе с тобой на этом свете жизнь, полную наслаждений, которая будет лишь предвкушением райского блаженства в жизни грядущей!

И снова фанатичный сластолюбец попытался привлечь бедную девушку к себе, а она, перепугавшись, но не потеряв присутствия духа, старалась вежливыми просьбами убедить его, чтобы он ее отпустил.

Но черты его, обычно ничем не примечательные, устрасюще исказились; он воскликнул:

— Нет, Фиби.., и не думай улизнуть.., ты моя пленница.., ты пренебрегла часом милости, и он прошел... Смотри, вода переливается через край, а это был условленный знак... Теперь я больше не буду убеждать тебя словами — ты их недостойна, а поступлю с тобой как с невольницей, которая отказалась от предложенной милости.

— Мистер Томкинс, — взмолилась Фиби, — ради бога, послушайте, я сирота... Не обижайте меня, ведь это был бы позор для вашей силы и мужества... Я не могу

понять ваших прекрасных слов... Я подумаю до завтра. — Но затем ее охватил гнев, и она продолжала уже с возмущением:

— Я не дам вам так обращаться со мной... Отойдите, или вам не поздоровится!

Но он грубо наступал на нее, так что она не могла больше сомневаться в его намерениях, и пытался схватить ее за правую руку.

— Так вот же тебе, и будь ты проклят! — воскликнула Фиби и нанесла ему оглушающий удар в лицо камнем, который она держала наготове на самый крайний случай.

Фанатик выпустил ее и отшатнулся, ошеломленный, а Фиби

бросилась бежать; она громко звала на помощь и по-прежнему сжимала в руке спасительный камень. Взбешенный метким ударом, Томкинс погнался за ней, обуреваемый страстью; на лице его отражались злоба и страх, что подлость его обнаружится. Он громко кричал, чтобы она остановилась, и грубо угрожал пристрелить ее из пистолета.

Она не слушала его угроз, и ему пришлось бы или привести их в исполнение, или допустить, чтобы она убежала и рассказала обо всем в замке; но, к несчастью, Фиби споткнулась о корень ели и упала.

Однако же едва он бросился на

свою добычу, как явилось спасение в лице Джослайна Джолифа с дубинкой на плече.

— Это что такое? Что это значит? — воскликнул он, встав между Фиби и ее мучителем.

Томкинс уже не помнил себя от ярости. Вместо ответа он разрядил в Джослайна пистолет, который держал в руке. Пуля едва не скользнула по лицу лесничего; тот со злобой воскликнул:

— Ах, вот как! Ну, так пусть ясень отметит за железо! — и изо всей силы обрушил свою дубину на голову индепендента; удар пришелся по левому виску и оказался смертельным.

В предсмертных судорогах
Томкинс невнятно произнес:

— Джослайн... Я умираю... Но
я прощаю тебя...

Доктор Рочклиф... Лучше бы я
подумал... О»!... Священника...
Заупокойную службу...

Эти слова, вероятно, означали,
что он вернулся к вере, от которой,
может быть, никогда не отступал так
решительно, как казалось ему
самому. Потом он застонал, и стон
его, перейдя в хрип, остановился в
горле, словно был не в силах
пробиться наружу. То были
последние признаки жизни:
стиснутые руки разжались, глаза
широко открылись и безжизненно

установились в небо, все члены вытянулись и застыл».

Тело, так недавно еще полное жизни, было теперь лишь грудой бесчувственного праха; душа, освобожденная от земной оболочки в момент такой нечестивой страсти, отошла к престолу вечного судии.

— Ох! Что ты сделал! Что ты сделал, Джослайн! — воскликнула Фиби. — Ты его убил!

— Лучше так, а то бы он убил меня, — ответил Джослайн. — Это был не такой мазила, чтобы дважды промахнуться... А все-таки жаль его... Сколько раз мы с ним кутили, когда он еще был беспутный Филипп Хейзелдин; правда, он и тогда уже

был негодяй, но, с тех пор как начал прикрывать свои пороки, лицемерием, заделался настоящим дьяволом.

— Ох, Джослайн, уйдем отсюда, — проговорила бедная Фиби, — не гляди на него так...

Егерь, опершись на свое роковое оружие, ошеломленный, смотрел на мертвое тело.

— Вот до чего доводит вино, — продолжала она, утешая его совсем по-женски, — сколько раз я тебе говорила... Ради бога, пойдем в замок и подумаем, что теперь делать.

— Подожди, девушка, дай я прежде стащу его с дороги; нельзя, чтобы он лежал здесь на виду у

всех... Ты не поможешь мне, милочка?

— Не могу, Джослайн... Я не дотронусь до него даже за весь Вудсток.

— Тогда мне придется тащить самому, — сказал Джослайн.

Хотя он был солдат и лесник, он очень неохотно взялся за это неотложное дело. Лицо умирающего и его прерывистые слова произвели глубокое и неизгладимое впечатление на человека, которого не легко было смутить. Он все же справился со своей задачей: оттащил тело секретаря с дороги и спрятал в кусты ежевики и шиповника так, чтобы его нельзя было сразу заметить. Затем он

вернулся к Фиби; все это время она молча сидела под деревом, у которого споткнулась.

— Пойдем, девушка, — сказал он, — пойдем в замок и подумаем, как нам за это отвечать... Мы и так в большой опасности, а тут еще этот подвернулся мне под руку. Чего он хотел от тебя, милая, что ты бросилась бежать, как безумная?.. Да я и так понимаю... Фил всегда был дьяволом по части девушек, и, я думаю, правильно говорит доктор Рочклиф: с тех пор как записался в праведники, он вобрал в себя семь дьяволов еще почище, чем он сам... Вот здесь, на этом месте, он поднял шпагу на старого баронета... А еще

воспитанник нашего прихода... Да ведь это измена... Но, черт побери, теперь он поплатился за все...

— Ох, Джослайн, — сказала Фиби, — как же ты мог поверять такому дурному человеку свои тайны и помогать ему во всех его затеях, когда он пугал круглоголовых джентльменов?

— Да видишь ли, девушка, я ведь узнал его при первой встрече, а тут еще Бевис (он был щенком, когда Фил служил на псарне) стал к нему ласкаться, а потом в замке мы опять наладили с ним старую дружбу, и оказалось, что у него тесная связь с доктором Рочклифом — тот считал его верным роялистом и жил с ним в

ладу. Доктор хвастает, что он через него многое узнал; дай бог, чтобы он сам-то не очень с ним откровенничал.

— Ах, Джослайн, — сказала горничная, — лучше бы ты не впускал его за ограду замка.

— Да я бы и не пустил, если бы знал, как его не пустить; но когда он так охотно вступил в наш заговор и объяснил мне, как переодеться актером Робисоном — ведь это его дух являлся Гаррисону; только бы мне не явился никакой дух! — когда научил меня пугать его законного господина, что мне оставалось думать, девушка? Надеюсь только, что доктор не сообщил ему самую

главную тайну... Но вот мы и у замка. Иди в свою комнату, девушка, и успокойся. Я пойду поищу доктора Рочклифа: он всегда толкует о том, что может быстро и без отказа помочь всякому делу. Вот тут-то он и пригодится.

Фиби ушла в свою комнату; в момент опасности ее силы удвоились, а сейчас, когда опасность миновала, они ее покинули; с ней начались нервные припадки, быстро сменявшие друг друга; чтобы она успокоилась, потребовался неустанный уход матушки Джелликот и не такие суетливые, но более внимательные заботы мисс Алисы.

Между тем егерь сообщил обо

всем всеведущему доктору, который был чрезвычайно растерян, встревожен и даже рассердился на Джослайна за то, что тот убил человека, на которого он привык полагаться. Но по лицу его было видно, что он сомневается, не слишком ли опрометчиво доверился Томкинсу; подозрение мучило его тем больше, что он не хотел в нем признаться, — ведь это означало бы, что его подвела проницательность, которой он так гордился.

Однако же доверие доктора Рочклифа к Томкинсу как будто имело под собой достаточные основания.

Перед гражданской войной, как

отчасти можно заключить из того, о чем уже была речь, Томкинс, под своим настоящим именем Хейзелдина, пользовался покровительством вудстокского священника, исполнял обязанности его писца, отличался в его хоре и, будучи ловким и изобретательным малым, помогал доктору Рочклифу в антикварных исследованиях в Вудстокском замке. Во время гражданской войны он переметнулся к противнику, но не порывал связи со священником и время от времени поставлял ему сведения, по-видимому, ценные. Еще недавно его помощь очень пригодилась доктору, когда он вместе с Джослайном и

Фиби придумал и разыграл различные трюки, которые привели к изгнанию парламентских комиссаров из Вудстока. Эту услугу сочли достойной такой награды, как все серебро, оставшееся в замке, которое и было обещано индипенденту, Итак, хотя доктор и признавал, что Томкинс, возможно, дурной человек, он жалел его как полезного помощника; убийство это, если бы его стали расследовать, могло привести к новым бедствиям для дома, и без того окруженного опасностями и укрывавшего столь драгоценный залог победы роялистов.

Глава XXX

*Кассио
Действительно,
пришел бы мой конец,
Когда б на мне не
прочный этот панцирь.
«Отелло» [note 72](#)*

Темной октябрьской ночью, сменившей тот вечер, когда был убит Томкинс, у полковника Эверарда, кроме его постоянного помощника Роджера Уайлдрейка, за ужином был гость, мистер Ниимайя Холдинаф. После вечерней молитвы, произнесенной по

пресвитерианскому обычаю, друзьям была подана легкая закуска с двойной порцией пунша. Было девять часов — время для них необычно позднее. Мистер Холдинаф туч же начал полемическую речь против сектантов и индпендентов, не понимая, что такое красноречие не очень интересовало его главного собеседника; мысли Эверарда тем временем улетели в Вудсток, к обитателям замка — к принцу, который скрывался там, к дяде и прежде всего — к Алисе Ли. Что до Уайлдрейка, то, после того как он послал про себя проклятие и сектантам и пресвитерианам — ни те, ни другие, по его мнению, ничего

не стоили, — он вытянул ноги и, вероятно, вздремнул бы, если бы его, как и Эверарда, не мучили мысли, отгоняющие сон.

За столом прислуживал мальчик, похожий на цыганенка, в сильно потрепанной оранжево-красной куртке, обшитой шерстяной тесьмой. Шалун был маловат ростом, но по его живым черным глазам было видно, что малый он смысленый и очень проворный.

Это был слуга Уайлдрейка, он взял его по своему выбору и дал ему *nom de guerre* [note 73](#) Злючка, обещав повысить в должности, как только его собственный юный воспитанник, Завтрак, сможет исполнять

обязанности пажа. Нечего и говорить, что хозяйство велось полностью за счет полковника Эверарда, который позволял Уайldreйку устраивать все по своему усмотрению. Когда паж время от времени обносил вином всю компанию, он не забывал предоставить Уайldreйку вдвое больше случаев утолить жажду, чем полковнику и его почтенному гостю.

Итак, все они были заняты: достойный священник — своими рассуждениями, а его слушатели — собственными мыслями; вдруг, около половины одиннадцатого, их внимание было привлечено стуком в дверь.

Для тех, у кого сердце
неспокойно, всякий пустяк —
причина тревоги.

Даже такая простая вещь, как
стук в дверь, иногда может вызвать
неясные опасения. То было не робкое
постукивание, возвещающее
скромного пришельца, и не
настойчивый грохот —
торжественное предупреждение о
прибытии какого-нибудь
тщеславного гостя; стук этот не
походил и на официальный вызов по
официальному делу и не возвещал
желанного посещения друга. То был
единственный удар, торжественный
и важный, почти угрожающий.

Кто-то из домашних отворил

дверь; на лестнице раздались тяжелые шаги; в комнату вошел тучный человек и, опустив край плаща, прикрывавший его лицо» сказал:

— Маркем Эверард, приветствую тебя во имя господа!

Это был генерал Кромвель.

Эверард, изумленный, захваченный врасплох, тщетно пытался найти слова, чтобы выразить свое удивление. Началась суета: генералу помогли снять плащ и в молчании приветствовали его поклонами.

Он окинул комнату пронизательным взглядом, остановил его на священнике и

обратился к Эверарду с такими словами:

— С тобой, я вижу, почтенный человек. Ты не из тех, добрый Маркем, кто даром теряет время и тратит его бесполезно. Отложив все дела мирские, ты стремишься вперед, к деяниям будущей жизни...

Именно так мы должны употреблять наше время в этой бедной юдоли земных грехов и забот, тогда мы можем надеяться... Но что это? — Он внезапно переменял тон и спросил отрывисто, резко и тревожно:

— Кто-то вышел из комнаты после того, как я вошел?

Уайлдрейк действительно

выходил на минуту, но теперь вернулся и выступил вперед из оконной ниши, как будто он все время был здесь и его просто не заметили.

— Нет, сэр, — сказал он, — я держался на заднем плане из уважения к вам. Достойный генерал, я надеюсь, в государстве все в порядке, хотя ваше превосходительство и удостоили нас своим посещением в такую позднюю пору. Не желает ли ваше превосходительство...

— А! Это наш верный господин посредник..., наш честный поверенный... — сказал Оливер, устремив на него строгий и

внимательный взгляд. — Нет, сэр,; сейчас мне ничего не нужно, кроме доброго приема, который, боюсь, мой друг Эверард не торопится мне оказать.

— Добрый прием ожидает вас всюду, милорд, — ответил Эверард, с трудом заставляя себя говорить, — могу только надеяться, что не плохие новости побудили ваше превосходительство так поздно пуститься в путь, и осмелюсь спросить, так же, как мой адъютант, какую закуску прикажете вам принести?.

— Республика жива и здорова, полковник Эверард, — сказал генерал, — даже несмотря на то, что

многие из ее слуг, которые до сих пор были ее помощниками и добрыми советчиками, радетелями за народное благо, теперь охладели в своей любви и привязанности к богоугодному делу, которому мы все должны быть готовы служить по первому зову; И каждый должен служить ему по своей способности не слишком поспешно и не чересчур медленно, не слишком равнодушно и не чересчур рьяно, но в такой мере и в таком расположении, чтобы усердие и благочестие встречались и обнимались в деяниях и помыслах наших. И все-таки мы колеблемся после того, как уже положили руку на плуг, и от этого сила наша слабеет.

— Простите меня, сэр, — сказал Ниимайя Холдинаф, который слушал довольно нетерпеливо и начал догадываться, кто к ним явился, — простите меня, я облечен правом говорить об этом.

— А!, достойный сэр, — сказал Кромвель, — но ведь мы, конечно, гневим господа, когда останавливаем поток, который, как источник, льющийся из скалы...

— Нет, здесь я не согласен с вами, сэр, — возразил Холдинаф, — подобно тому, как рот передает телу пищу, а желудок переваривает посланное небом, так и проповеднику ведено поучать, а народу — слушать, пастырю —

загонять овец в ограду, а овцам — пользоваться заботами пастыря.

— А! почтеннейший сэр, — сказал Кромвель елейным тоном, — мне кажется, вы очень близки к великому заблуждению, когда полагаете, что церкви — это большие, высокие дома, построенные каменщиками, прихожане — люди, богачи, которые платят десятину крупную и мелкую, а священники — люди в черных рясах или серых плащах, получающие оную, — единственные раздатчики христианской благодати...

По моему разумению, более похристиански будет, если предоставить алчущей душе искать

поучения там, где она может его найти, — в устах ли светского учителя, которому право проповедовать дано одним только небом, или у тех, кто получил духовный сан и свои духовные степени от синодов и университетов — в лучшем случае собраний таких же жалких грешников, как они сами.

— Вы сами не знаете, что говорите, сэр, — нетерпеливо возразил Холдинаф. — Разве может свет явиться из тьмы, смысл — из невежества, а знание таинств религии — от таких неученых врачей, которые вместо полезных лекарств дают яд и набивают омерзительной грязью

желудки тех, кто просит у них пищи?

На эти слова, о жаром произнесенные пресвитерианским священником, генерал ответил чрезвычайно мягко:

— Жаль, жаль! Ученый человек, но невозддержанный; его снедает чрезмерное усердие... Увы, сэр, сколько бы вы ни говорили о ваших евангельских кушаньях, но слово, сказанное в подходящий момент человеком, который сердцем близок к вашему сердцу, как раз тогда, быть может, когда вы скачете в бой с врагом или идете на штурм, — для бедной души это подобно ломтю ветчины на углях; голодный предпочитает его роскошному пиру,

тогда как пресыщенного тошнит и от меда. Но несмотря на это, хоть я и говорю по своему недостойному разумению, я бы не стал принуждать ничью совесть и предоставил бы ученому следовать за ученым, а мудрому учиться у мудрого; бедным же простым душам нельзя запрещать пить из реки, текущей у дороги... Да, поистине, какое прекрасное зрелище явит собой Англия, если люди будут, как в лучшем мире, снисходить к слабостям друг друга и взаимно делить все блага земные... Ведь богатый всегда пьет из серебряных кубков, а бедный — из простых деревянных чарок; и пусть так оно и будет, раз оба пьют одну и ту же воду.

Тут отворилась дверь, и вошел какой-то офицер; Кромвель прервал свою елейную протяжную речь, которая, казалось, будет продолжаться до бесконечности, и спросил отрывистым и повелительным тоном:

— Ну что, Пирсон, он пришел?

— Нет, сэр, — ответил Пирсон, — мы спрашивали там, где вы приказали, и в других местах, где он бывает.

— Негодяй! Неужели он оказался предателем? — с горечью воскликнул Кромвель. — Нет, нет, тут слишком велика была и его выгода. Мы сейчас найдем его... Послушай...

Читатель легко представит себе тревогу Эверарда во время этого разговора. Ему было ясно, что Кромвель явился к нему собственной персоной по какой-то причине первостепенной важности, и он сильно подозревал, что генерал получил сведения о местопребывании Карла. Если бы Карла схватили, пришлось бы опасаться немедленного повторения трагедии тридцатого января, и неизбежным следствием была бы гибель всей семьи Ли, включая, вероятно, и самого Маркема.

Он жадно искал поддержки во взгляде Уайлдрейка; однако лицо его помощника выражало тревогу,

которую тот пытался скрыть под своим обычным спокойным видом. Но Уайлдрейк был слишком подавлен; он шаркал ногами, поводил глазами, судорожно сжимал руки, как запутавшийся свидетель перед проницательным судьей, которого не проведешь.

Тем временем Оливер ни на минуту не давал им возможности посоветоваться друг с другом. В то самое время, когда его невразумительное красноречие полилось таким извилистым потоком, что никто не мог определить, куда оно приведет, его острый, наблюдательный взгляд обрекал на неудачу все попытки

Эверарда объясниться с Уайлдрейком хотя бы знаками. Правда, Эверард, улучив момент, посмотрел на окно, а потом взглянул на Уайлдрейка, как бы намекая на возможность бегства. Но кавалер в ответ чуть заметно отрицательно покачал головой. Тогда Эверард потерял всякую надежду; он с горечью сознавал, что надвигается неизбежное несчастье, и тревожно думал о том, в какой форме или с какой стороны оно их настигнет.

Но у Уайлдрейка еще оставалась искра надежды.

В ту минуту, когда в дверях появился Кромвель, он быстро вышел из комнаты и спустился к входной

двери. Окрик «Назад! Назад!», повторенный двумя вооруженными часовыми, подтвердил его предположение, что генерал пришел не один и что его здесь ждали. Он повернул обратно, взбежал по лестнице и, встретив на площадке мальчика по прозвищу Злючка, поспешно увел его в маленькую комнатку, в которой жил сам. Уайлдрейк в то утро ходил на охоту, и на столе у него лежала дичь. Он выдернул перо из крыла вальдшнепа и торопливо сказал:

— Ради всего святого, Злючка, слушай мой приказ... Я спущу тебя из окна во двор.., ограда невысокая.., часового здесь нет... Лети в замок,

как будто стремишься в рай, и, если сможешь, отдай это перо мисс Алисе Ли, а если нет, Джослайну Джолифу...

Скажи, что я выиграл пари у молодой госпожи. Понял, мальчик?

Смышленный мальчишка хлопнул рукой по ладони хозяина и ответил только:

— Сказано — сделано.

Уайлдрейк отворил окно, схватил мальчика за куртку и, хотя высота была немалая, благополучно спустил его на землю. Благодаря охапке соломы, на которую спрыгнул Злючка, он остался совершенно невредим, и Уайлдрейк видел, как он перелез через дворовую ограду с того

угла, который выходил в переулок за домом; все произошло так быстро, что кавалер как раз успел вернуться в комнату, когда суета, вызванная появлением Кромвеля, утихла и его отсутствие было замечено.

Пока Кромвель читал свою проповедь о тщете различных религиозных верований, Уайлдрейк в тревоге думал о том, не лучше ли было бы послать весть на словах, если уж не было времени писать. Но мальчика могли задержать, его могло смутить то, что он несет спешное и важное сообщение; поэтому Уайлдрейк скорее был доволен, что предпочел более загадочный способ передать это известие. Итак, по

сравнению с хозяином, у него было преимущество: оставалась еще искра надежды.

Едва лишь Пирсон закрыл за собой дверь, Холдинаф, так же готовый восстать против будущего диктатора, как он был готов бороться с мнимыми привидениями или домовыми Вудстока, возобновил свои нападки на раскольников, стараясь доказать, что все они душегубы, лживые братья и лжепророки; в подтверждение своих слов он начал уже было приводить тексты из священного писания, когда Кромвель, по-видимому устав от этого спора и желая начать речь, более соответствующую его

действительным чувствам, прервал священника, хоть и очень вежливо, и овладел нитью разговора.

— Увы! — сказал он. —

Достойный человек говорит правду, по мере своих познаний и своего разума; да, это горькая истина, ее трудно переварить, пока мы смотрим на все глазами людей, а не ангелов.

Лжепророки, говорит почтенный пастор? Он прав, мир полон ими — бывают и такие, которые понесут ваше тайное послание в дом вашего заклятого врага и скажут ему: «Слушай! Мой хозяин едет с небольшой свитой и по такому-то пустынному месту; поторопись, встань и убей его». А

другой знает, где прячется недруг
вашего дома и ваш личный враг, но
вместо того, чтобы предупредить
хозяина, поспешит туда, где
притаился недруг, и скажет ему;
«Слушай! мой хозяин знает о твоём
тайном убежище, вставай сейчас же
и беги, иначе он бросится на тебя,
как лев на добычу...» Но сойдет ли
им это безнаказанно? — спросил он,
глядя на Уайлдрейка уничтожающим
взглядом. — Нет, клянусь своей
бессмертной душой и тем, кто
поставил меня владыкой над
Израилем; такие лжепророки будут
вздернуты на виселицу у края дороги,
и правая рука их будет пригвождена
высоко над головой, дабы указывать

другим истинный путь, от которого сами они уклонились.

— Конечно, — сказал мистер Холдинаф, — это правильно — искоренять таких преступников.

— Спасибо, поп, — пробормотал Уайldreйк, — разве пресвитерианин когда-нибудь упустит случай подать руку помощи дьяволу?

— Но, впрочем, — продолжал Холдинаф, — наш спор отклонился от темы, потому что лживые братья, о которых я говорил...

— Справедливо, дражайший сэр, это предатели из нашего собственного дома, — подхватил Кромвель, — этот добрый человек

опять прав. Да, но о ком можно теперь сказать, что он наш истинный брат, даже если мы вышли из одной и той же утробы? Хотя бы мы с ним боролись за одно дело, ели за одним столом, поклонялись одному престолу — все-таки ему нельзя верить... Ах, Маркем Эверард, Маркем Эверард!

После этого восклицания он замолчал, и Маркем Эверард, желая тотчас же узнать, как далеко простираются подозрения Кромвеля, ответил:

— Ваше превосходительство, кажется, имеете что-то против меня. Могу я просить вас сказать прямо, чтобы я знал, в чем меня

обвиняют?, — Ах, Марк, Марк! — ответил генерал. — Зачем обвинителю держать речь, когда тихий голос говорит внутри нас! Разве на лбу твоём не выступил пот, Марк Эверард? Разве нет смущения в твоём взгляде?..

Разве не задрожал ты всем телом?.. А кто видел что-либо подобное у благородного и храброго Маркема Эверарда, чей лоб увлажнялся только тогда, когда он, бывало, носил шлем в жаркий летний день?.. Чья рука дрожала только тогда, когда он часами сражался тяжёлым мечом?.. Но полно, Маркем, в тебе слишком мало доверия ко мне!

Разве ты не был мне братом, и разве я не прощу тебя и в семьдесят седьмой раз? Негодяй, который должен был сослужить нам важную службу, где-то запропастился. Воспользуйся случаем, Маркем; эту милость бог сверх ожидания дарует тебе. Я не говорю: упади к ногам моим, я прошу, будь со мной откровенен, как с другом.

— Я никогда не говорил вашему превосходительству ничего такого, что было недостойно слова, которым вы меня назвали, — гордо возразил полковник Эверард.

— Нет, нет, Маркем, — ответил Кромвель, — я этого и не говорю... Но.., вам, полковник, следовало бы

помнить о послании, которое я передал вам через этого человека, — он указал на Уайлдрейка, — и у вас на совести тот грех, что, несмотря на это послание, подкрепленное такими доводами, вы сочли возможным изгнать моих друзей из Вудстока, расстроить все мои планы и воспользовались моей милостью, а сами не исполнили условий, на которых она была оказана.

Эверард хотел было ответить, но тут, к его удивлению, Уайлдрейк выступил вперед и с достоинством, совсем для него необычным, сказал смело и спокойно:

— Вы ошибаетесь, мистер Кромвель, и обращаетесь не по

адресу.

Слова эти были так неожиданны, что Кромвель отступил на шаг и схватился правой рукой за оружие, как будто ожидал, что за таким необычно смелым обращением последует какое-нибудь насильственное действие. Но он тотчас же снова принял прежнюю позу и, раздраженный улыбкой на лице Уайлдрейка, сказал с достоинством человека, давно привыкшего к тому, что все перед ним трепещут:

— Это ты мне сказал, приятель? А ты знаешь, с кем говоришь?

— Приятель! — повторил Уайлдрейк, к которому вернулся весь

его отважный юмор. — Я вам не приятель, мистер Оливер. Были времена, когда про Роджера Уайлдрейка из Скуоттлси-мир, в Линкольншире, красивого молодца с хорошим состоянием, никто не подумал бы, что у него приятель — обанкротившийся пивовар из Хантингдона!

— Молчи! — воскликнул Эверард. — Молчи, Уайлдрейк, если тебе жизнь дорога.

— За свою жизнь я не дам ни гроша, — ответил Уайлдрейк. — Черт побери! Если ему не нравится то, что я говорю, пусть берется за оружие! Впрочем, я знаю, у него в жилах храбрая кровь, я готов драться

с ним во дворе, будь он хоть десять раз пивовар.

— Твоя брань, приятель, — сказал Оливер, — достойна только презрения. Но если тебе есть что сказать об интересующем меня деле, говори как человек, хотя ты больше похож на животное.

— Вот что я могу сказать, — ответил Уайldreйк. — Если вы браните Эверарда за то, что он действовал согласно оказанной вами милости, как вы выражаетесь, то заявляю вам: он ничего не знал о ваших подлых условиях. Я и не подумал их передавать. Если угодно, можете мне отомстить.

— Раб! И ты смеешь так

говорить со мной! — вскричал Кромвель, все еще сдерживая гнев, но чувствуя, что он готов разразиться и попасть в недостойную цель.

— Да вы каждого англичанина превратите в раба, если вам дать волю, — сказал Уайлдрейк без всякого смущения; страх, который он прежде ощущал наедине с этим незаурядным человеком, прошел, когда они стали ссориться при свидетелях. — Делайте что хотите, мистер Оливер, я говорю вам наперед — птичка улетела!

— Как ты смеешь так говорить?.. Улетела?.. Эй, Пирсон! Сейчас же подай солдатам команду: по коням! Ты глупый лжец! Бежал?

Куда, откуда?

— Вот в том-то и вопрос, — сказал Уайлдрейк, — видите ли, сэр, что люди уходят отсюда, — это ясно, а как уходят и в каком направлении...

Кромвель слушал внимательно, надеясь по беспечно-дерзким речам кавалера угадать, куда мог скрыться король.

— И в каком направлении, как я уже сказал, — это, ваше превосходительство, мистер Оливер, потрудитесь выяснить сами.

С последними словами он выхватил шпагу из ножен и сделал полный выпад, метя Кромвелю в грудь.

Если бы клинок не встретил другого препятствия, кроме кожаной куртки, жизненный путь генерала здесь бы и окончился. Но генерал, опасаясь подобных покушений, носил под военной одеждой тончайшую кольчугу из лучшей стали, такую легкую и гибкую, что она почти совсем не мешала его движениям. Тут она доказала свою прочность: шпага отскочила и разлетелась на куски; Эверард и Холдинаф схватили ее владельца, а он в бешенстве швырнул рукоять на землю и воскликнул:

— Будь проклята рука, которая тебя выковала!..

Ты служила мне так долго и

изменила как раз тогда, когда твоя верная служба прославила бы нас обоих навеки! Но ничего хорошего нельзя было от тебя ожидать с тех пор, как я направил тебя, пусть даже в шутку, в ученого богослова англиканской церкви.

В первый момент нападения, быть может подозревая, что Уайлдрейка поддержат другие, Кромвель наполовину вытащил из-за пазухи пистолет, но поспешно убрал его, заметив, что Эверард и священник удерживают кавалера от нового покушения.

В комнату ворвались Пирсон и двое солдат.

— Обезоружить его, — сказал

генерал спокойным тоном человека, для которого опасность была таким обычным делом, что он даже не рассердился. — Связать его... Не так крепко, Пирсон, — добавил он, потому что солдаты, чтобы показать свое усердие, и за неимением веревок, снимали кушаки и грубо стягивали руки и ноги Уайлдрейка. — Он хотел меня убить, но я сохраню ему жизнь до заслуженного Приговора.

— Убить!.. Плевал я на ваши слова, мистер Оливер, — сказал Уайлдрейк. — Я предлагал вам честный поединок.

— Прикажете расстрелять его на улице для острастки? — спросил

Пирсон Кромвеля, между тем как Эверард старался удержать Уайлдрейка от дальнейших выходов.

— Вы отвечаете за него головой.

Отведите его в надежное место и хорошенько смотрите за ним, — приказал Кромвель; арестованный же воскликнул, обращаясь к Эверарду:

— Пожалуйста, оставь меня в покое... Я теперь не слуга тебе и никому другому, и я так же готов умереть, как прежде всегда был готов выпить чарку вина... И послушайте, вы, мистер Оливер, — раз уж я заговорил об этом, — вы когда-то были компанейским парнем, сделайте милость, пусть кто-нибудь

из ваших вареных раков поднесет ту кружку к моим губам; я выпью за здоровье вашего превосходительства, спою песню и открою вам одну тайну!

— Освободите ему голову и подайте этой распутной скотине кружку, — сказал Оливер. — Пока он существует, грех лишать его той стихии, в которой он живет.

— Да снизойдет на вас благодать господня! — сказал Уайлдрейк; он продолжал эту бессвязную речь для того, чтобы выиграть время; дорога была каждая минута. — Прежде ты варил хорошее пиво, и за это тебе можно сказать спасибо. А мой заздравный тост и моя песня

соединены вместе!

Чтоб издох ты, злодей,
Вместе с шайкой твоей,
Чтоб ты сгнил, словно пес, под
забором,
И тогда, сбросив гнет,
Весь народ запоет
Славу Карлу державному хором.

А вот и моя тайна, чтобы ты не
мог сказать, что ,я даром выпил
вино... Песня моя вряд ли многого
стоит... А тайна, мистер Кромвель,
вот она: птичка улетела... И ваш
красный нос побелеет, как саван,
прежде, чем вы пронюхаете, в какую
сторону.

— Замолчи, негодяй, — ответил Кромвель презрительно, — придержи свои непристойные шутки до виселицы.

— Я смелее буду смотреть на виселицу, — возразил Уайлдрейк, — чем вы при мне смотрели на портрет короля-мученика.

Этот упрек задел Кромвеля за живое.

— Подлец! — воскликнул он. — Тащите его отсюда, возьмите отряд и... Нет, стой, не сейчас... В тюрьму его... Пусть за ним смотрят со всей строгостью и заткнут ему рот, если он вздумает разговаривать с часовыми... Нет, постойте... Лучше поставьте к нему в камеру бутылку

водки, и он сам онемевает, уж это точно... Настанет день, когда на его примере можно будет учить других, тогда я заткну ему глотку по-своему.

В перерывах между этими приказами генерал, по-видимому, успел овладеть своим гневом; начав говорить в бешенстве, он кончил с презрительной усмешкой человека, который смотрит свысока на брань такого ничтожного субъекта. Но что-то все-таки было у него на уме; он стоял как вкопанный, опустив глаза и приложив сжатую руку к губам, словно в глубоком раздумье. Пирсон хотел заговорить с ним, но отступил назад и сделал всем знак, чтобы они молчали.

Мистер Холдинаф не заметил или, во всяком случае, не послушался этого знака. Подойдя к генералу, он сказал почтительным, но твердым голосом:

— Правильно ли я понял намерение вашего превосходительства? Вы хотите, чтобы этот бедняга умер завтра утром?

— А? — воскликнул Кромвель, опомнившись. — Что ты говоришь?

— Я осмелился спросить, хотите ли вы, чтобы этот несчастный умер завтра?

— О ком ты говоришь? — спросил Кромвель. — Ты спрашиваешь про Маркема Эверарда,

должен ли он умереть?

— Сохрани бог, — возразил Холдинаф, отступая назад. — Я спрашиваю про эту заблудшую овцу, Уайлдрейка, будет ли его жизнь оборвана так внезапно?

— Конечно, — сказал Кромвель. — Даже если вся Генеральная уэстминстерская ассамблея священников, весь пресвитерианский синклит предложит взять его на поруки.

— Если вы не хотите как следует обдумать это, сэр, — сказал Холдинаф, — по крайней мере не допускайте, чтобы у бедняги помрачился рассудок... Разрешите мне, как священнику, пойти туда,

бодрствовать с ним на случай, если он в свой последний час может еще быть допущен в виноградник и приобщен к стаду, хоть он и пренебрегал зовом пастыря так долго, что времени у него почти не осталось...

— Ради бога, — сказал Эверард; до сих пор он молчал, зная характер Кромвеля, — подумайте, что вы делаете.

— Тебе ли учить меня? — ответил Кромвель. — Думай о своих делах и поверь, на это тебе понадобится весь твой ум... А что до вас, почтенный сэръ, то мне не нужны исповедники при арестованных... Нечего выносить сор из избы. Если

этот негодяй жаждет духовного утешения, хотя гораздо больше похоже, что он жаждет четверти водки, на это есть капрал Хамгаджон, начальник охраны: он может проповедовать и молиться не хуже любого из вас... Но эта задержка просто нестерпима!.. Что, тот болван так и не пришел?

— Нет, сэр, — ответил Пирсон. — Не лучше ли нам отправиться в замок? Иначе они могут проведать о том, что мы здесь.

— Верно, — сказал Кромвель, отведя офицера в сторону, — но ты знаешь. Томкинс не советовал идти туда, потому что в этом старом замке столько лазеек, тайных входов и

выходов — он похож на кроличью нору, и улизнуть оттуда можно у нас перед носом, если он не пойдет с нами и не покажет все двери, где нужно поставить стражу. Он, правда, говорил, что может опоздать на несколько минут, но вот уже полчаса, как мы его ждем.

— Ваше превосходительство, — спросил Пирсон, — вы думаете, на Томкинса можно положиться?

— Несомненно, если дело для него выгодное, — ответил генерал. — Он всегда был для меня насосом — с его помощью я высасывал мозг из многих заговоров, в особенности — замыслов надутого дурака Рочклифа, этого простофили, который думает,

будто такого молодца, как Томкинс, не может купить всякий, кто больше даст. Но уже поздно... Боюсь, придется нам идти в замок без него... А все-таки, взвесив все, я подожду здесь до полуночи. Ах, Эверард, ты мог бы избавить нас от хлопот, если бы захотел!

Неужели какие-то глупые принципы, нелепые предрассудки для тебя важнее, чем мир и благоденствие Англии, чем верность твоему другу и благодетелю, который и впредь не оставит тебя, чем счастье и безопасность твоих родных? Неужели все это значит для тебя меньше, чем спасение негодного мальчишки?

Ведь он, его отец и дом его отца
вот уже пятьдесят лет сеют смуту в
Израиле!

— Я не понимаю, ваше
превосходительство, что это за
услуга, которую я могу честно
оказать вам, — ответил Эверард. —
Надеюсь, вы не потребуете от меня
чего-нибудь несовместимого с
честью.

— Вот что мне нужно — это не
противоречит твоей честности или
твоей щепетильности, называй как
хочешь, — сказал Кромвель. — Ты,
конечно, знаешь все выходы во
дворце Иезавели?.. Скажи, где
поставить часовых, чтобы никто не
улизнул?

— В этом я не могу вам помочь, — сказал Эверард. — Я не знаю всех потайных дверей и выходов в Вудстоке, а если бы и знал, совесть не позволяет мне сообщить вам что-либо об этом, — Обойдемся и без вас, сэр, — высокомерно возразил Кромвель, — и, если найдем улику против вас, помните, что вы потеряете право на мое покровительство.

— Мне очень жаль потерять вашу дружбу, генерал, — сказал Эверард. — Но я полагаю, что, как англичанин, я не нуждаюсь ни в чьем покровительстве.

Я не знаю закона, который мог бы заставить меня быть шпионом

или доносчиком, даже если бы мне представился благоприятный случай оказать вам услугу в одной из этих почетных должностей.

— Хорошо, сэр, — сказал Кромвель, — однако же, несмотря на все ваши привилегии и достоинства, я позволю себе сегодня ночью взять вас с собою в замок, чтобы произвести дознание по государственному делу. Подойди ко мне, Пирсон. — Он вынул из кармана набросок плана Вудстокского замка с дорогами, ведущими к нему. — Посмотри сюда. Мы разделимся на два отряда и пойдем по возможности бесшумно; ты обойдешь это нечестивое гнездо

сзади с отрядом в восемьдесят солдат и расставишь их вокруг замка, как найдешь нужным. Возьми с собой этого почтенного человека. Он должен остаться цел и невредим во что бы то ни стало и будет служить проводником.

Сам я останавлиюсь перед фасадом замка, и когда ты закроешь все выходы из норы, то подойдешь ко мне за дальнейшими приказаниями. Безмолвие и точность — вот главное. А этот пес Томкинс, который так подвел меня, пусть найдет себе оправдание, или горе сыну его отца! Ваше преподобие, будьте добры сопровождать этого офицера. Полковник Эверард, вы последуете

за мной, но прежде отдайте вашу шпагу капитану Пирсону и считайте себя арестованным.

Эверард без возражений отдал свою шпагу Пирсону и, предчувствуя надвигающееся несчастье, последовал за республиканским генералом, повинаясь приказу, которому бесполезно было противиться.

Глава XXXI

*«Будь ныне сын мой
Уильям здесь,
Он клятву бы
сдержал».*

*Белее смерти, юный
паж*

*Тут в горницу вбежал.
«Мой господин, я видел
их! —*

*Он крикнул на бегу. —
Склон почернел от их
кольчуг»,*

*«Вперед! И смерть
врагу!»*

Генри Макензи

Небольшое общество замка собралось к ужину рано, в восемь часов. Сэр Генри Ли, не обращая внимания на накрытый стол, стоял у камина и при свете лампы с мрачным видом внимательно читал письмо.

— Что, вам мой сын пишет подробнее, чем мне, доктор Рочклиф? — спросил баронет. — Здесь он только говорит, что, вероятно, вернется сегодня ночью и что мистер Кернегай должен быть готов немедленно выехать вместе с ним. Что означает эта спешка? Не ищут ли опять бедных роялистов? Не слышали? Хоть бы один день мне дали спокойно провести в обществе

сына.

— Когда покой зависит от нечестивых, он длится не часами, а минутами, — сказал доктор Рочклиф. — Кровь, которой они наглотались под Вустером, на мгновение насытила их, но теперь у них опять разыгрался аппетит.

— Значит, вы получили такое известие? — спросил сэр Генри.

— Ваш сын, — ответил доктор, — и мне прислал письмо с тем же гонцом; Альберт мне часто пишет — он понимает, как важно, чтобы я знал обо всем, что происходит. На побережье все обеспечено, и мистер Кернегай должен быть готов ехать с вашим

сыном, как только он явится.

— Удивительное дело, — сказал баронет, — вот уже сорок лет я живу в этом доме, и мальчиком и мужем, и всегда мы заботились лишь о том, как нам провести время; если я не затевал псовой либо соколиной охоты или чего-нибудь в этом роде, я мог хоть круглый год сидеть в своем кресле, как спящий сурок, а теперь я больше похож на зайца в поле — он спит с открытыми глазами и улепetyвает, едва лишь ветер зашумит в папоротнике.

— Странно, — сказала Алиса, взглянув на доктора Рочклифа, — что круглоголовый секретарь ничего вам не сообщил. Он всегда охотно

рассказывает обо всем, что делается у его сообщников; а сегодня утром, я видела, вы сидели с ним рядом.

— Сегодня вечером я буду с ним совсем рядом, — мрачно сказал доктор, — но он не станет болтать.

— Вы ему не очень доверяйте, — ответила Алиса. — У этого человека такое хитрое лицо, на меня оно производит неприятное впечатление; мне кажется, я читаю предательство даже в его глазах.

— Будь спокойна, я за этим слежу, — сказал доктор тем же мрачным тоном.

Никто ему не ответил; леденящее и тоскливое предчувствие сразу охватило всех — так бывает,

когда люди, особо подверженные влиянию электричества, чувствуют приближение грозы.

Переодетый король, получив предупреждение о том, что он должен быть готов в короткий срок покинуть свой временный приют, тоже почувствовал тоску, одолевшую маленькое общество. Но он первый стряхнул ее; она не соответствовала ни его нраву, ни положению. Главной чертой его характера была жизнерадостность, а положение требовало сохранять присутствие духа и не унывать.

— Нам будет еще тяжелее, если мы впадем в меланхолию, — сказал он. — Не лучше ли вам, мисс Алиса,

на прощание спеть вместе со мной веселую песнь расставания Патрика Кэри?.. Ах, ведь вы не знаете Пэта Кэри, младшего брата лорда Фолкленда?

— Брат бессмертного лорда Фолкленда, и пишет песни! — воскликнул доктор.

— Ну, доктор, музы берут десятину, так же как И церковь, — сказал Карл, — и собирают дань в каждой выдающейся семье. Вы не знаете слов, мисс Алиса, но все-таки можете спеть со мной, подхватите хоть припев:

Друзья, мы расстаемся, грядущее темно,

И вряд ли в милый Вудсток
вернуться мне дано;

Так будем веселиться и лихо
пить вино,

Пока чаша гуляет по кругу.

[note 74](#)

Начали петь, но без увлечения.
Это было натянутое веселье, которое
еще больше выдает отсутствие
настоящей радости. Карл перестал
петь и начал укорять своих друзей:

— Что это вы, милая мисс
Алиса, словно тянете покаянный
псалом, а вы, достойный доктор,
точно панихиду служите?

Доктор вскочил из-за стола и

подошел к окну — слова Карла странным образом напомнили ему обязанность, которую предстояло исполнить вечером.

Карл посмотрел на него с легким удивлением: среди опасностей своей жизни он привык замечать малейшие движения окружающих; затем, повернувшись к сэру Генри, король продолжал:

— Почтенный мой хозяин, вы можете как-нибудь объяснить причину уныния, которое так странно напало на всех нас?

— Нет, не могу, дорогой Луи, — ответил баронет, — я не разбираюсь в этих философских тонкостях. С таким же успехом я мог бы пытаться

объяснить вам, почему Бевис три
раза кружится на месте, прежде чем
улечься. Про себя я могу только
сказать, что если преклонный
возраст, горе и тревога могут
сокрушить жизнерадостную натуру
или по крайней мере иногда согнуть
ее, то на мою долю выпало все это;
так что я, например, не стану
утверждать, что мне грустно только
потому, что мне невесело. У меня
достаточно причин для грусти. Если
бы мне хоть на минуту увидеть сына!

Фортуна на этот раз, казалось,
была расположена угодить старику:
как раз в этот момент вошел Альберт.
Он был в костюме для верховой езды,
и, по-видимому путешествие его

было нелегким. Он торопливо обвел глазами комнату, посмотрел на переодетого принца и, удовлетворенный его ответным взглядом, поспешил, по старинному обычаю, стать на колени перед отцом и попросить у него благословения.

— Благословляю тебя, мой мальчик, — воскликнул старик, и слезы выступили у него на глазах, когда он положил руку на длинные локоны — признак звания и образа мыслей молодого кавалера; обычно они были старательно расчесаны и завиты, а теперь растрепались и в беспорядке свисали на плечи.

С минуту отец и сын оставались в этой позе; вдруг старик вздрогнул и

снял руку с головы Альберта, словно устыдясь того, что обнаружил свои чувства при стольких свидетелях; он провел тыльной стороной руки по глазам и велел Альберту встать и поужинать.

— Наверно, ты немало проскакал с тех пор, как последний раз закусывал... И давайте выпьем круговую чашу за его здоровье.., если будет угодно доктору Рочклифу и всей компании... Джослайн, ты, дурень, поворачивайся... Что ты глядишь, точно привидение увидел?

— Джослайну, — сказала Алиса, — нездоровится из сочувствия к Фиби Мейфлауэр. Сегодня она испугалась оленя;

хорошо еще, что Джослайн помог ей отогнать зверя — у нее нервные припадки с тех пор, как она пришла домой.

— Глупая девчонка! — сказал старый баронет — Ведь она дочь егеря!.. Но, Джослайн, если олень становится опасным, ты должен пустить в него добрую стрелу.

— Не понадобится, сэр Генри, — ответил Джослайн, с большим трудом выговаривая слова, — теперь он успокоился, больше ни на кого не будет нападать.

— Тем лучше, — заключил баронет, — но помни, что мисс Алиса часто гуляет в парке. А теперь пусти круговую, да и себе налей

чарку, чтобы закрасить страх, как говорит весельчак Уил. Брось, брат, у Фиби все в порядке... Она вопила и бежала только для того, чтобы доставить тебе удовольствие ее выручить... Да смотри, что делаешь, и не расплескивай вино... Ну-ка, давайте выпьем за здоровье нашего путешественника. Поздравим его с приездом!

— Я первый с охотой подниму за него бокал, — сказал переодетый монарх, невольно приняв важный вид, совсем не соответствовавший роли, которую он разыгрывал.

Но сэр Генри очень любил мнимого пажа со всеми его странностями и лишь слегка

пожурил его за чрезмерную живость.

— Ты веселый, добродушный юноша, Луи, — сказал он, — но удивительно, как у нынешнего поколения бойкость сменила сдержанность и почтение, которое в моей молодости всегда соблюдалось по отношению к людям более высокого ранга и положения: я ни за что не посмел бы давать волю своему языку в присутствии доктора богословия, как не стал бы разговаривать в церкви во время богослужения.

— Вы правы, сэр, — поспешно вмешался Альберт, — но у мистера Кернегая есть все основания говорить сейчас: я ездил и по своим

и по его делам, видел кое-кого из его друзей, и у меня есть для него важные сведения.

Карл собрался было встать и отозвать Альберта в сторону — ему, естественно, не терпелось узнать, какие новости тот привез и какой план безопасного бегства был теперь составлен. Но доктор Рочклиф дернул его за плащ, чтобы он сидел спокойно и не выказывал особого волнения; если бы внезапно открылся его сан, сэр Генри, конечно, проявил бы свои чувства так бурно, что мог бы привлечь слишком большое внимание.

Поэтому Карл ответил баронету, что у него есть особое право

внезапно и непринужденно выражать свою признательность полковнику Ли., что благодарность иногда нарушает этикет.. Наконец, он очень обязан сэру Генри за его замечание, и, когда бы он ни покинул Вудсток, он уверен, что уедет, став лучше, чем был, когда приехал.

Внешне его речь была, конечно, обращена только к отцу, но взгляд, брошенный на Алису, уверил ее, что комплимент полностью относится и к ней.

— Боюсь, — заключил он, обращаясь к Альберту, — вы скажете, что оставаться нам здесь уже недолго.

— Всего несколько часов, —

сказал Альберт, — только чтобы могли отдохнуть и мы и лошади. Я достал двух добрых, испытанных коней. Но доктор Рочклиф не сдержал свое обещание. Я оставил лошадей у хижины Джослайна и надеялся найти там кого-нибудь, но там никого не было. Я целый час сам устраивал им подстилку, чтобы они отдохнули до утра: мы должны выехать до рассвета.

— Я.., я собирался послать Томкинса.., но.., но... — пробормотал доктор, — я...

— Наверно, этот круглоголовый негодяй был пьян или куда-то запропастился, — сказал Альберт. — Тем лучше, ему нельзя особенно

доверять.

— До сих пор он был нам верен, — ответил доктор, — а теперь уж вряд ли изменит. Но Джослайн сейчас пойдет туда и подготовит лошадей к утру.

Обычно, когда надо было бежать по срочному делу, Джослайн был очень расторопен. Сейчас, однако, он, казалось, колебался.

— Вы меня проводите, доктор? — сказал он, подойдя вплотную к Рочклифу.

— Как, щенок, дурак и болван! — воскликнул баронет. — Ты просишь доктора Рочклифа составить тебе компанию в такую пору? Вон отсюда, пес! Пошел в свою

конуру, пока я не разбил твою дурацкую башку!

Джослайн с тоской посмотрел на священника, как бы умоляя его заступиться, но едва тот собрался заговорить, как в прихожей послышался жалобный вой: у двери царапалась собака и просилась в комнату.

— Ас чего бы это Бевис завыл? — спросил старый баронет. — Можно подумать, что сегодня первое апреля и все у нас с ума посходили.

Те же звуки отвлекли Альберта и Карла от их конфиденциальной беседы. Альберт побежал к входной двери, чтобы самому выяснить

причину шума.

— Это не тревога, — сказал старый баронет, обращаясь к Кернегаю, — в таких случаях лай бывает отрывистый, резкий и злобный. Говорят, такой протяжный вой предвещает несчастье. Именно так дед Бевиса выл целую ночь, когда умер мой бедный отец.

Если это предзнаменование, то дай бог, чтобы оно относилось к бесполезным старикам, а не к молодым, не к тем, кто еще может послужить королю и отечеству!

Бевис шмыгнул мимо полковника Ли, который стоял у входной двери, прислушиваясь, не идет ли кто-нибудь; пес прошел в

комнату, он держал что-то в зубах; вид у него был такой, какой бывает у собаки, когда она уверена, что делает важное дело. Бевис шел, опустив свой длинный хвост, понунив голову, свесив уши, с величественным, но меланхолическим видом боевого коня на похоронах хозяина. Так он прошел через всю комнату прямо к Джослайну, смотревшему на него с удивлением, издал короткий жалобный вой и положил к его ногам предмет, который он принес в зубах. Джослайн нагнулся и поднял с пола мужскую перчатку, такую, какую носят солдаты, — старинную латную рукавицу с накладками из толстой кожи, доходящую почти до локтя и

предохраняющую руку от ударов меча. Перчатка сама по себе не представляла ничего необычного, но Джослайн, едва взглянув, выронил ее из рук, отшатнулся, застонал и чуть не свалился на пол.

— Проклятый трус! Болван! — воскликнул баронет, подняв перчатку и рассматривая ее. — Тебя надо послать обратно в школу и пороть, пока из тебя не выйдет вся твоя трусливая кровь! Разве ты не видишь, низкий трус, что это перчатка, да еще совсем грязная? Стой-ка, здесь метка... Джозеф Томкинс?..

Да ведь это круглоголовый мошенник... Не случилось бы с ним какого-нибудь несчастья... Это не

грязь на коже, а кровь... Может быть, Бевис укусил этого молодца, хотя пес, кажется, любил его... А может быть, его олень ранил... Пошел, Джослайн, беги и найди его... Потруби в рог.

— Не могу... — проговорил Джослайн, — разве что...

Он опять с мольбой взглянул на доктора Рочклифа, который понял, что егеря надо поскорее успокоить, так как услуги его сейчас крайне необходимы.

— Возьми лопату и заступ, — шепнул он ему, — да потайной фонарь, мы встретимся с тобой в чаще.

Джослайн вышел из комнаты, а

доктор, прежде чем последовать за ним, в нескольких словах объяснился с полковником Ли. Сам он совсем не упал духом от этих событий; настроение у него даже поднялось, как у человека, который, словно рыба в воде, чувствует себя среди заговоров и опасностей.

— С тех пор как вы уехали, здесь у нас такое творится! — сказал он. — Томкинс пристал к этой девушке, Фиби, повздорил с Джослайном и теперь лежит убитый в чаще, недалеко от источника Розамунды. Мне с Джослайном нужно пойти похоронить его; я не говорю уже о том, что кто-нибудь может наткнуться на тело и поднять

шум, но этот малый Джослайн ни на что не будет годен, пока убитый Томкинс не окажется в земле. Хотя наш егерь и от важен, как лев, у него есть своя слабая струна: он больше боится мертвого тела, чем живого человека, Когда вы предполагаете завтра выехать?

— На рассвете или даже раньше, — ответил полковник Ли. — Но мы еще увидимся. Корабль у нас есть. В нескольких местах я подготовил перекладные; мы отплываем от побережья в Сассексе, а в *** я должен получить письмо, которое точно укажет мне место стоянки судна.

— Почему бы вам не выехать

сейчас же? — спросил доктор.

— Лошади не вынесут, — возразил Альберт, — они сегодня много проскакали.

— Ну, до свидания, — сказал Рочклиф, — мне нужно заняться своим делом. Идите же на покой, отдохните, а па рассвете принимайтесь и вы за свое... Спрятать тело убитого и в ту же ночь отправить короля, избавить его от опасности и плена — такие два дела вряд ли могут выпасть на долю кому-нибудь, кроме меня; однако не следует, когда надеваешь доспехи, хвалиться так, будто уже снимаешь их после победы.

С этими словами он вышел из

комнаты, завернулся в плащ и направился к чаще.

Погода была сырая, но подмораживало. Ключья тумана висели над низинами; однако ночь, если Припять во внимание, что туман скрывал луну и звезды, была не очень темная. И все же доктор Рочклиф не мог разглядеть лесничего, пока не кашлянул раза два, а Джослайн ответил на этот сигнал, направив на него луч света из своего потайного фонаря. Священник пошел по направлению этого луча и отыскал Джослайна, который стоял, прислонившись к каменному столбу, прежде подпиравшему разрушенную ныне террасу. В руках у него были

лом и лопата, а через плечо переброшена оленья шкура.

— На что тебе эта шкура, Джослайн, — спросил доктор Рочклиф, — зачем ты тащишь ее с собой, когда идешь на такое дело?

— Да видите ли, доктор, — ответил Джослайн, — уж лучше я вам все расскажу. Мы с ним.., с ним.., вы знаете, о ком я говорю.., много лет назад поссорились из-за этого оленя. Раньше-то мы были добрыми друзьями, и мой хозяин иной раз позволял Филипу помогать мне по службе, хоть я и знал, что Филип Хейзелдин, случалось, занимался браконьерством.

Оленей в то время воровали

очень смело, это было перед самой войной, и люди совсем распустились. Случилось так, что однажды в заповеднике я увидел двух молодцов; лица вымазаны сажей, рубашки надеты поверх всего остального; они несли нашего лучшего оленя.., другого такого не было в парке. Я тут же налетел на них — один убежал, а второго я поймал, и кто же это оказался, как не верный Фил Хейзелдин? Ну что ж, не знаю, хорошо ли я поступил или плохо, но он был мой старый друг и собутыльник, и я взял с него слово, что больше он этого делать не будет; он помог мне повесить оленя на дерево, а я отправился за лошадью,

чтобы свезти тушу в замок и рассказать всю историю баронету, только не называть имени Филя. Но негодяи оказались хитрее меня: они освежевали оленя, распластали, разрезали на четыре части и унесли, оставили только шкуру и рога и написали такой стишок:

Мне грудинку отдай,
Ляжки ты забирай,
А шкуру с рогами, лесник,
получай.

Тут я понял, что это опять бесшабашная проделка, а Фил любил вытворять их со всеми парнями в округе. Но я так озлился, что отдал

шкуру дубильщику, велел ее выделать и растянуть и поклялся, что она послужит саваном или ему, или мне. Потом я не раз каялся, что сгоряча принес такой обет, но теперь, доктор, видите, как получилось: я-то забыл свою клятву, а дьявол помнил.

— Да, напрасно ты дал такой греховный обет, — сказал Рочклиф. — Хорошо еще, что ты не исполнил его намеренно. Поэтому не унывай, — продолжал достойный священник, — ведь в этом несчастном деле, судя по тому, что я слышал от тебя и от Фиби, нельзя осуждать тебя за то, что ты поднял на Томкинса руку, хоть и жаль, что удар оказался роковым. Впрочем, точно

так же поступил великий и вдохновенный законодатель, когда увидел, что египтянин мучит еврея; правда, в данном случае это была женщина, а в библии сказано: Percussum Egyptium abscondit sabulo [note 75](#), а что это значит, я объясню тебе в другой раз.

Вот почему призываю тебя, не огорчайся сверх меры: хоть и прискорбно, что это случилось теперь и здесь, а все-таки, если вспомнить все то, что Фиби говорила про мерзкие убеждения этого человека, нужно только пожалеть, что ему не выбили мозгов еще в колыбели, пока он не вырос и не стал одним из тех гриндлстонцев или

магглтонианцев, у которых безумные и кощунственные ереси сочетаются с таким лицемерием и угодливостью, что они могут обмануть даже своего хозяина, самого дьявола.

— А все-таки, сэр, — сказал егерь, — надеюсь, вы отслужите по бедняге панихиду — это была его последняя воля, и притом он произнес ваше имя; если вы этого не сделаете, я, наверно, никогда в жизни не осмелюсь выйти в парк в темноте.

— Ну и глупец же ты! — воскликнул доктор. — Однако, если он перед смертью произнес мое имя и выразил пожелание, чтобы его похоронили по церковному обряду, может быть он в последний час

покаялся в грехах и повернул на путь добра, и если небо допустило его вознести такую благочестивую молитву, то почему же людям ее не исполнить? Боюсь только, что мы не успеем.

— Но ведь ваше преподобие может сократить обряд, — сказал Джослайн. — Конечно, он не заслужил полной панихиды; только если вы ничего не сделаете, мне, наверно, придется бежать отсюда. То были его последние слова; должно быть, он послал Бевиса с перчаткой, чтобы напомнить мне про них.

— Полно, дурень! — ответил доктор. — Ты думаешь, мертвецы посылают перчатки живым, как

рыцари в романах? Да еще шлют вызов через собак? Говорят тебе, глупец, все произошло совершенно естественно.

Бевис рыскал вокруг, нашел труп и принес тебе перчатку, чтобы показать, где он лежит, и позвать на помощь, — таков благородный инстинкт этих животных, когда кто-нибудь в опасности.

— Если вы так думаете, доктор... — сказал Джослайн. — Оно и правда, Бевис был к нему привязан...

Может, только это кто-то похуже в образе Бевиса, потому что, сдается мне, глядел он дико и злобно, как будто хотел заговорить.

Во время этой речи Джослайн все больше отставал от доктора; тому это не понравилось, и он воскликнул:

— Иди же вперед, ты, ленивый трус! Ведь ты же солдат, да еще храбрый, а так испугался мертвеца!..

Ручаюсь, что ты убивал людей на поле битвы, а в лесу, конечно, убивал браконьеров.

— Да, но они стояли ко мне спиной, — ответил Джослайн. — Никогда не было, чтобы кто-нибудь повернул голову и глядел на меня, как этот человек, в упор, с ненавистью, ужасом и укоризной, пока глаза его не застыли, как студень. И если бы вас не было здесь

со мной и если бы дело не касалось моего хозяина и кое-чего поважнее, уверяю вас, я не решился бы взглянуть на него даже за весь Вудсток.

— Но тебе все-таки придется взглянуть на него, — сказал доктор, вдруг остановившись. — Вот где он лежит. Иди сюда.., глубже.., в самую чащу.., смотри не споткнись... Здесь как раз подходящее место...

После притащим на могилу хвороста.

Отдав эти распоряжения, доктор сам помог их выполнить, и, пока его помощник копал неглубокую и неровную могилу — а это было нелегко, так как земля, пронизанная

корнями, затвердела от мороза, — он прочел несколько молитв из заупокойной службы, отчасти для того, чтобы рассеять суеверные страхи Джослайна, а отчасти потому, что считал делом совести не отказать в церковном обряде человеку, который призывал его на помощь в свой смертный час.

Глава XXXII

*Скорей закройте лица,
наденьте маски!*

«Генрих IV»

Общество, которое мы оставили в гостиной Виктора Ли, собиралось разойтись на покой, и все уже встали, чтобы проститься друг с другом, когда послышался стук во входную дверь. Альберт, как командир отряда, поспешно пошел отворять и, выходя из комнаты, попросил остальных сидеть тихо, пока он не выяснит причину стука. Подойдя к двери, он спросил, кто

там и что нужно в такую позднюю пору.

— Это я, — ответил тонкий голосок.

— А как тебя зовут, мальчик? — спросил Альберт, — Злючка, сэр, — ответил голосок снаружи.

— Злючка? — повторил Альберт.

— Да, сэр, так меня зовут все на свете и даже сам полковник Эверард. Но имя мое все-таки Спиттэл.

— Полковник Эверард? Так ты от него? — спросил Ли-младший.

— Нет, сэр, я от Роджера Уайлдрейка, эсквайра, из Скуоттлсимира, с вашего позволения, — сказал мальчик. — Я принес подарок для

мисс Ли, мне приказано отдать его в собственные руки, если вам будет угодно открыть дверь, сэр, и впустить меня; но я ничего не могу сделать, пока между нами трехдюймовая доска.

— Опять какой-нибудь фортель этого пьяного повесы, — шепотом сказал Альберт сестре, которая потихоньку, на цыпочках, вышла вслед за ним.

— А все-таки не будем спешить с таким заключением, — возразила она. — Сейчас каждый пустяк может оказаться важным. Что это за подарок мистер Уайлдрейк послал мне, мальчик?

— Да подарок пустяковый, —

ответил Злючка, — но он так хотел, чтобы вы его получили, даже спустил меня из окна, как котенка, боялся, что меня остановят солдаты.

— Слышишь? — сказала Алиса брату. — Отвори, ради бога...

Альберт теперь полностью разделял ее опасения; он торопливо отворил дверь и впустил мальчика, который с виду мало отличался от ободранного кролика в ливрее или от обезьяны на ярмарке и в другое время показался бы очень забавным. Маленький гонец вошел в прихожую и после нескольких комичных поклонов и реверансов с большими церемониями передал Алисе перо вальдшнепа и сказал, что это приз,

который его хозяин проиграл ей, когда они поспорили из-за соколиной охоты.

— Скажи, пожалуйста, малыш, — спросил Альберт, — хозяин твой был пьян или трезв, когда послал тебя в такую даль с пером, да еще в темную ночь?

— С вашего позволения, сэр, — ответил мальчик, — он бы сказал, что он трезв, а я бы сказал — под хмельком, если бы это был кто-нибудь другой.

— Будь проклят этот пьяный хвостун! — воскликнул Альберт — Вот тебе шесть пенсов, мальчик, и скажи хозяину — пусть он подбирает для своих шуток более подходящих

людей и другое время.

— Посто́й минутку, —
вмешалась Алиса, — не спеши...
Здесь нужна осторожность.

— Пери́о! — продолжал
Альберт. — Столько хлопот из-за
пера! Вот доктор Рочклиф умеет
высосать смысл из каждого пустяка,
как сорока высасывает яйцо, но тут и
он ничего не придумает.

— Попробуем обойтись без
него, — сказала Алиса и, обращаясь
к мальчику, спросила:

— Стало быть, у твоего хозяина
чужие люди?

— У полковника Эверарда,
сударыня, а это то же самое, —
ответил Злючка.

— А что за чужие, — спросила Алиса, — гости, наверно?

— Да, гости, мисс, — ответил мальчик, — такие гости, которые сами себя угощают, куда ни придут, даже если хозяин не хочет угощать: солдаты, сударыня.

— Те, что уже давно на постое в Вудстоке? — спросил Альберт.

— Пет, сэр, — сказал Злючка, — новые, у них нарядные кожаные кафтаны и стальные нагрудники, а их начальник — такого человека вы, ваша милость, и вы, сударыня, никогда и не видели., по крайней мере Бил Злючка не видел.

— Он высокого роста? — спросил Альберт в сильной тревоге.

— Не то чтобы высокого, но и не маленького, — ответил мальчик, — плотный, сутулый, нос большой, а лицо такое, что ему не скажешь «нет». С ним несколько офицеров. Я его только мельком видел, но никогда не забуду.

— Ты права, — сказал Альберт Ли сестре, отведя ее в сторону, — совершенно права: сам дьявол идет на нас.

— А перо, — сказала Алиса, — означает побег: вальдшнеп — перелетная птица.

Страх научил ее разгадывать самые неясные приметы.

— Ты угадала, — сказал брат, — но времени у нас в обрез! Дай

мальчику еще какую-нибудь
мелочь...

— безделицу, чтобы не
возбуждать подозрений, и пусть идет.
Я пойду позову Рочклифа и
Джослайна.

Он отправился за ними, но не
нашел их и поспешными шагами
вернулся в гостиную. Там король, в
роли Луи, всеми силами старался
отвлечь старого баронета, а тот, как
ни забавляли его рассказы пажа,
рвался в холл посмотреть, что там
происходит.

— В чем дело, Альберт? —
спросил старик. — Кто приходил в
замок в такой поздний час, и зачем
ему отворили? Я не допущу, чтобы

мои распоряжения и правила, установленные в доме, нарушались потому, что я стал стар и обеднел. Что ж ты не отвечаешь? О чем ты там шепчешься с Луи Кернегаем и почему вы не обращаете внимания на меня? А ты, Алиса, у тебя хватит благоразумия и учтивости, чтобы сказать мне, кого и зачем впустили вопреки моим распоряжениям?

— Никого, сэр, — ответила Алиса, — это мальчик принес весть, и боюсь, что тревожную.

— Дело вот в чем, сэр, — сказал Альберт, подходя к отцу, — мы думали остаться у вас до завтра, а теперь нам, кажется, придется проститься сегодня.

— Нет, Альберт, — возразила Алиса, — ты должен быть здесь и помочь нам обороняться; если они не найдут ни тебя, ни мистера Кернегая, они сразу же пустятся в погоню и, наверно, настигнут вас, а если ты останешься, им понадобится порядочно времени, чтобы обыскать все тайники замка. Ты даже можешь поменяться с Кернегаем одеждой.

— Правильно, моя благородная сестра, — ответил Альберт, — прекрасно.., да! Луи, я остаюсь в роли Кернегая, а вы бегите под видом мистера Ли-младшего.

— Не знаю, Хорошо ли это будет, — возразил Карл.

— И я тоже, — вмешался

баронет. — Люди приходят и уходят, строят планы, меняют их, и все у меня в доме, и не соизволят посоветоваться со мной! И кто такой мистер Луи Кернегай и кто он мне, чтобы мой сын оставался и рисковал попасть в беду, а этот ваш шотландский паж убегал бы в его одежде? Я не допущу таких затей, пусть даже это будет самая тонкая паутина, какую мог сплести доктор Рочклиф... Я не желаю тебе зла, Луи, ты веселый малый, но в последнее время, друг мой, ко мне относятся как-то непочтительно.

— Я вполне разделяю ваше мнение, сэр Генри, — ответил тот, к кому он обращался. — Вам

действительно отплатили за
гостеприимство тем, что отказали в
доверии, которого никто более вас не
достоин.

Но настал момент, когда я
должен сказать вам...

Я тот несчастный Карл Стюарт,
кому суждено было стать причиной
гибели его лучших друзей. Его
присутствие в вашей семье может
теперь погубить вас и всех ваших
близких.

— Мистер Луи Кернегай, —
гневно сказал баронет, — я научу вас
лучше выбирать предмет для шуток,
когда вы говорите со мной; более
того — еще немного, и я захочу
пролить каплю-другую вашей

дерзкой крови.

— Ради бога, успокойтесь, сэр, — сказал Альберт отцу. — Это действительно король. Ему угрожает такая опасность, что каждая потерянная минута может привести к роковой катастрофе.

— Великий боже! — воскликнул отец, сжимая руки, готовый упасть на колени. — Неужели господь смилостивился, исполнив самое заветное мое желание! И случилось так, что я должен молить его, чтобы он отказал мне в этой милости!

Он попытался преклонить колено перед королем, поцеловав ему руку, и крупные слезы потекли у него по щекам; потом он сказал:

— Простите, государь...,
простите, ваше величество...
Позвольте мне на мгновение сесть в
вашем присутствии, пока я немного
успокоюсь... А потом...

Карл помог своему старому
верному подданному подняться с
пола и даже в момент страха, тревоги
и опасности пожелал отвести его к
креслу, в которое старик опустился,
по-видимому, в изнеможении; он
поник головой, и невольные крупные
слезы покатались по его длинной
серебряной бороде. Алиса и Альберт
стояли поодаль с королем, обсуждали
его отъезд и умоляли бежать
немедленно.

— Лошади возле хижины

егеря, — сказал Альберт, — а смена им приготовлена всего в восемнадцать или двадцати милях. Если они доставят вас туда...

— А не лучше ли, — прервала его Алиса, — положиться на тайники нашего замка? Ведь их так много, и они надежные — например, покои Рочклифа, да и остальные потайные убежища?

— Увы, я знаю их лишь по названиям, — сказал Альберт. — Отец поклялся показать их только одному человеку и выбрал Рочклифа.

— Для меня открытое поле лучше всякой потайной норы в Англии, — сказал король. — Если бы я только мог добраться до этой

хижины, где стоят лошади, я бы уж не пожалел хлыста и шпор, чтобы они доскакали до места встречи, где ждет сэр Томас Эклэнд и свежие кони. Пойдем со мной, полковник Ли, помчимся туда. Круглоголовые разбили нас в бою, но если начнется состязание в ходьбе или в скачке, им, наверное, за мной не угнаться.

— Но тогда, — возразил Альберт, — мы потеряем время, которое можно выиграть при обороне замка...

И здесь останется только мой бедный отец, а он сейчас в таком состоянии, что ничего не может сделать; за вами же сразу пустятся в погоню на свежих лошадях, а наши

скакать не могут. Куда только запропастился этот мерзавец Джослайн?

— А куда девался доктор Рочклиф, — недоумевала Алиса, — у него всегда советы наготове..., куда он пропал? О, если бы хоть отец пришел в себя!

— Твой отец уже пришел в себя, — проговорил сэр Генри Ли; он встал и направился к ним — старик вновь обрел все свое мужество, движения его снова стали энергичными. — Я только собирался с мыслями.

Разве случалось когда-либо, чтобы баронет из нашего рода не нашел выхода, когда королю нужны

были совет и помощь?

И он заговорил с четкостью и ясностью полководца, стоящего во главе — армии и указывающего каждый маневр наступления или обороны; он был совершенно спокоен, его энергия властно требовала повиновения, и все, кто его слушал, охотно ему подчинялись.

— Дочка, — сказал он, — подними тетушку Желликот... Пусть Фиби встанет, хотя бы она была при смерти, закройте все окна и двери.

— Это делается все время, с тех пор.., как мы удостоились высокой чести, — ответила его дочь, взглянув па короля, — но я велю им еще раз

пройти по всем комнатам.

Алиса вышла, чтобы распорядиться, и вскоре вернулась.

Старый баронет продолжал с той же решимостью, быстротой и точностью:

— Где у вас первая остановка?

— У Грея., в Ротбери, близ Хенли; сэр Томас Эклэнд и молодой Ноллз будут держать там лошадей наготове, — ответил Альберт. — Но как добраться туда с нашими усталыми конями?

— Положитесь на меня, — сказал баронет и продолжал все тем же властным тоном:

— Вы, государь, должны тотчас же идти к хижине Джослайна — там

ваши лошади и ваши средства спасения. Тайники этого замка, если их правильно использовать, займут псов-бунтовщиков на добрых два-три часа. Рочклифа, боюсь, похитили, а этот индипендент его предал...

Если бы только я раньше раскусил этого негодяя!

Я бы проткнул его насквозь, когда мы с ним фехтовали, пепритупленным мечом, как говорит Уил...

А когда вы поедете верхом, вехой для вас будет хижина Мартина-садовника, на полвыстрела от хижины Джослайна; он лет на двадцать старше меня, по крепок, как старый дуб; заезжайте к нему, и

пусть скачет с вами во весь опор. Он проводит вас до места вашей встречи; этот старик знает местность на семь миль в округе лучше всякой лисы, что спасалась в чаще от охотников.

— Превосходно, дорогой отец, превосходно, — сказал Альберт, — я и забыл про Мартина-садовника.

— Молодые люди все забывают, — ответил баронет. — Жаль, что тело отказывается служить, когда голова стала мудрее!

— Но лошади устали, — сказал король, — нельзя ли достать свежих?

— Так поздно ночью. — невозможно, — ответил сэр Генри, — но можно доехать и на

усталых, если хорошенько о них позаботиться.

Он торопливо подошел к секретеру, стоявшему в нише, и стал рыться в ящиках, выдвигая их один за другим.

— Время уходит, отец, — сказал Альберт, опасаясь, что ум и энергия были у старика только мгновенной вспышкой светильника и что огонь скоро вновь потускнеет.

— Довольно, сэр юнец, — резко оборвал его старик, — тебе ли учить меня при его величестве! Знай, что даже если бы все круглоголовые выползли из ада и собрались вокруг Вудстока, и тогда я проводил бы царственную надежду Англии таким

путем, что самый проницательный дьявол ни о чем бы не догадался. Алиса, душа моя, не задавай вопросов, а беги в кухню и достань кусок-другой мяса или, лучше, дичины — нарежь длинными тонкими ломтями, понимаешь?..

— У него ум помутился, — тихо сказал Альберт королю. — Напрасно мы его слушаем, мы только подвергаем опасности ваше величество.

— Я иного мнения, — сказала Алиса, — а я знаю отца лучше, чем ты.

С этими словами она вышла из комнаты, чтобы исполнить приказание сэра Генри.

— Я тоже так думаю, — заметил Карл. — В Шотландии пресвитерианские священники с кафедры метали гром и молнии на мои грехи и грехи всей династии, осмеливались называть меня в лицо Иеровоамом, или Реговоамом, или чем-то в этом роде за то, что я следовал советам молодых людей. Черт побери, на этот раз послушаюсь совета седой бороды: я в жизни не видел такой пронизательности и твердости, как у этого благородного старика.

Тем временем сэр Генри нашел то, что искал.

— В этой жестянке, — сказал он, — шесть пилюль.

Тут самые возбуждающие снадобья вместе с отменными укрепляющими средствами. Если давать их через час, завернув в свежее мясо или дичину, хорошая лошадь будет без усталости скакать пять часов кряду по пятнадцати миль в час, а вашему величеству, слава богу, понадобится в четыре раза меньше времени, чтобы оказаться в безопасности. Что останется, может пригодиться в другой раз. Мартин знает, как их давать; усталые лошади пусть пройдут тихонько минут десять, а потом они будут пожирать дорогу, как говорит старый Уил... Нет, не теряйте времени на разговоры; ваше величество и так

делает мне слишком много чести, когда принимает то, что принадлежит ему по праву... Теперь, Альберт, посмотри, свободен ли путь, и пусть его величество отбывает немедленно. Если за эти два часа, что остаются до рассвета, кто-нибудь поскачет за ним вдогонку, значит, мы сплеховали... Поменяйтесь платьем, как ты предлагаешь, вон там, в спальне... Это тоже будет кстати.

— Но, любезный сэръ Генри, — сказал король, — в своем усердии вы упустили одно важное обстоятельство. Я, правда, пришел сюда из хижины лесника, о которой вы говорите, но то было днем, и шел

я не один... А в темноте и без проводника мне дорогу не найти . Боюсь, вам придется отпустить со мной полковника; умоляю вас и приказываю: не пытайтесь оборонять замок — вы только зря подвергнете себя опасности, показывая им тайные убежища, чтобы выиграть время.

— Положитесь на меня, мой король и повелитель, — сказал сэр Генри, — но Альберт должен остаться здесь, а вместо него Алиса проводит ваше величество к хижине Джослайна.

— Алиса! — воскликнул Карл, отступив в удивлении — Как, в такую темную ночь.., и.., и...

Алиса к этому времени вернулась в комнату. Карл взглянул на нее и прочел в ее взгляде сомнение и страх: было ясно, что его прежнее поведение все еще смущало ее, хотя со дня несостоявшейся дуэли Карл был сдержан и подавлял свое стремление ухаживать за ней. Он поспешил решительно отказаться от предложения, которое, по-видимому, так ее стесняло.

— Право, сэра Генри, я не могу принять эту услугу от Алисы... Ведь мне придется бежать, как будто за мной по пятам гонится свора собак.

— Алиса побежит не хуже любой девушки Оксфордшира, — возразил баронет, — и к чему

послужит вашему величеству самая большая поспешность, если вы не знаете дороги?

— Нет, нет, сэр Генри, — продолжал король, — ночь такая темная, мы теряем время... Я сам найду дорогу.

— Быстрее меняйтесь одеждой с Альбертом!, — сказал сэр Генри, — остальное предоставьте мне.

Карл хотел еще возразить, но все-таки вышел в другую комнату, где он и Ли-младший должны были поменяться одеждой; тем временем сэр Генри говорил дочери:

— Возьми плащ, девочка, и надень башмаки покрепче. Ты могла бы поехать на Пикси, но он ведь

норовист, а ты всегда была наездница из робких — это единственная слабость, которую я за тобой знаю.

— Неужели, отец мой, — сказала Алиса, устремив на сэра Генри серьезный взгляд, — неужели я, в самом деле, должна идти с королем одна? Нельзя ли взять с собой Фиби или тетушку Джелликот?

— Нет.., нет.., нет... — ответил сэр Генри, — ты же знаешь, что у Фиби, у этой глупой девчонки, сегодня были припадки, а такая прогулка — плохое лекарство от истерик.., тетушка Джелликот плетется медленней разбитой клячи, да она еще и глухая, не услышит, если

придется что-нибудь сказать ей... Нет.., нет... ты пойдешь одна, и гордись тем, что на твоей могиле будет написано: «Здесь покойся та, которая спасла короля»!.. И, послушай, не вздумай возвращаться сегодня, оставайся у племянницы садовника... Парк и заповедник скоро захватят наши враги; а обо всем, что произойдет здесь, успеешь узнать завтра утром.

— А что здесь произойдет? — спросила Алиса. — Увы, кто скажет?.. О, дорогой отец, позвольте мне остаться и разделить вашу участь! Я преодолею женскую робость и, если нужно, буду сражаться за короля. Но.., мне

страшно думать о том, чтобы стать его единственной спутницей в темную ночь и на такой пустынной дороге.

— Как! — сказал баронет, повысив голос. — Ты думаешь о церемониях и о глупой щепетильности, когда речь идет о безопасности короля, более того — о его жизни? Клянусь этой свидетельницей моей преданности, — сказал он, поглаживая свою седую бороду, — если бы я мог подумать, что ты окажешься недостойной дочерью рода Ли, я бы...

Тут речь его была прервана: король и Альберт вошли в комнату;

они поменялись одеждой; ростом они мало отличались друг от друга и казались похожими, хотя Карл был совсем нехорош собой, а Ли — красивый молодой человек. Цвет лица у них был разный; но это не сразу бросалось в глаза, так как Альберт надел черный парик и насурмил брови.

Альберт Ли вышел в сад, чтобы обойти замок кругом, выяснить, откуда могут подойти враги, и решить, какую дорогу безопаснее всего избрать венценосному беглецу. Тем временем король, войдя в комнату первым, услышал то, что старый баронет сердито ответил дочери, и легко угадал причину его

гнева. Он подошел к нему с величественным видом, который при желании прекрасно умел принимать.

— Сэр Генри, — сказал он, — нам угодно, более того — мы приказываем, чтобы вы сейчас воздержались от применения родительской власти. У мисс Алисы, я уверен, должны быть основания и серьезные причины поступать так, как она хочет; и я никогда не простил бы себе, если бы из-за меня она оказалась в неприятном положении. Я так привык к лесам и чащам, что не боюсь сбиться с пути среди моих родных Вудстокских дубов.

— Я не допущу, чтобы ваше величество подвергались такой

опасности, — сказала Алиса; она перестала колебаться, услышав спокойный, чистосердечный тон, которым Карл произнес последние слова. — Вы не подвергнетесь риску, если я могу вас от него избавить; мне пришлось жить в тревожные времена и бывать в лесу и днем и ночью, я знаю его вдоль и поперек. Коли вам угодно взять меня с собой, идемте сейчас же.

— Если вы искренне предлагаете мне свою помощь, я принимаю ее с благодарностью, — ответил монарх.

— Искренне, — сказала она, — совершенно искрение. Пусть я одна из первых проявлю усердие и

доверие, которое, я знаю, вся Англия когда-нибудь окажет вашему величеству.

Она произнесла эти слова так живо и непринужденно и собралась в дорогу с такой быстротой и ловкостью, что было очевидно: ее опасения прошли, и все ее помыслы были теперь заняты только поручением, которое возложил на нее отец.

— Все вокруг спокойно, — сказал Альберт Ли, войдя в комнату, — можно идти по любой дороге,.. лучше всего по самой безлюдной.

Прежде чем удалиться. Карл приветливо подошел к сэру Генри Ли

и взял его за руку.

— Гордость не позволяет мне давать обещания, которых я, быть может, никогда не смогу исполнить.

Но пока жив Карл Стюарт, он всегда будет неоплатным должником сэра Генри Ли.

— Не говорите так, ваше величество, прошу вас, не надо! — воскликнул старик, подавляя рыдания, теснившие ему грудь. — Тот, кто имеет право требовать все, не может стать должником, приняв малую часть.

— Прощай, добрый друг, прощай, — сказал король, — думай обо мне как о сыне, о брате Альберта и Алисы. Я вижу, они теряют

терпение. Благослови меня как отец, и я уеду.

— Да благословит ваше величество бог, по воле которого царствуют короли, — сказал сэр Генри, преклонив колено и подняв свое благородное лицо и сложенные руки к небу. — Отец небесный да благословит вас, и да спасет ваше величество от опасности, и да приведет он вас в назначенный час к счастливому обладанию короной, которая принадлежит вам по праву.

Карл принял это благословение, как благословение отца, и вместе с Алисой отправился в путь.

Когда они вышли из комнаты, старый баронет, завершив свою

пылкую молитву, медленно опустил руки и склонил голову. Сын не посмел нарушить его раздумье, хоть и опасался, что такое глубокое волнение истощит силы старика и он лишится чувств. Наконец Альберт отважился подойти к отцу и осторожно коснулся его руки. Старый баронет поднялся и тут же снова стал бодрым, сообразительным, прозорливым распорядителем, каким был незадолго до того.

— Ты прав, мальчик, надо действовать без промедления. Они лгут, круглоголовые предатели, когда называют его развратником и негодяем! Его чувства достойны сына

благословенного мученика! Ты видишь, даже в величайшей опасности он предпочел поставить под угрозу свое спасение, чем взять в проводники Алису, когда эта дурочка как будто заколебалась. Распущенные люди очень эгоистичны и не думают о чувствах других. Но ты заложил за ними болты и задвижки? Я и не заметил, как они вышли из зала.

— Я выпустил их через калитку, — сказал полковник, — а вернувшись, испугался, не дурно ли вам, — Радость.., радость.., только радость, Альберт... в сердце моем нет места никакому сомнению. Бог не оставит потомка ста королей.., законный наследник не попадет в

лапы к разбойникам. Когда он прощался со мной, на глазах у него были слезы, я сам видел.

Разве ты бы не умер за него, мальчик?

— Если сегодня мне придется отдать за него жизнь, я буду жалеть только о том, что не услышу завтра вести о его спасении.

— Ну ладно, за дело, — сказал баронет. — Теперь ты в его платье; достаточно ли ты пригляделся к его обращению, чтобы служанки приняли тебя за пажа, за Луи Кернегая?

— Уф, не легко выдержать роль короля, — возразил Альберт, — если имеешь дело с женщинами. Но там

внизу темно, я попробую.

— Иди немедленно, — сказал отец, — негодяи сейчас будут здесь.

Альберт вышел из комнаты, в то время как баронет продолжал:

— Если служанки действительно будут уверены, что Кернегай до сих пор здесь, это облегчит мой план... Гончие побегут не в ту сторону, а королевский олень окажется вне опасности, прежде чем они нападут на след, А потом будем водить их из одного тайника в другой! Они и половины не обыщут до зари!

Да, я буду их дурачить, держать приманку у самого носа, а они никак не смогут схватить ее зубами! Я

завлеку их в лабиринт, они долго будут там блуждать...

Но чего мне все это будет стоить? — продолжал старый баронет, прерывая свой радостный монолог. — О, Авессалом, Авессалом, сын мой! Сын мой! Пусть идет; если ему суждено погибнуть, он умрет, как умирали его предки, за дело, которому они посвятили свою жизнь. Но вот он... Тш!.. Ну как, Альберт?

Удачно? Обманул ты их своим королевским видом?

— Да, сэр, — ответил Альберт, — служанки могут поклясться, что Луи Кернегай только что был в доме.

— Вот и хорошо, ведь это добрые и преданные создания, — сказал баронет, — они и без того принесут такую клятву, если она нужна для безопасности его величества; но клятва будет естественнее и убедительнее, раз они сами, будут верить... Как же ты их обманул?

— Да кое в чем подражал королю, сэр. Об этом и говорить не стоит.

— Ах ты плут! — воскликнул баронет. — Боюсь, что ты своим дурачеством мараешь доброе имя короля.

— Гм, — пробормотал Альберт, не смея громко высказать свою

мысль, — если бы я точно следовал его примеру, неизвестно, чье доброе имя было бы в большей опасности.

— Хорошо, теперь надо позаботиться об обороне входов, надо условиться о сигналах, подумать, как задержать противника возможно дольше.

Тут он опять открыл потайные ящики своего секретера и достал кусок пергамента с каким-то чертежом.

— Это, — сказал он, — план цитадели, как я ее называю; она может выдержать еще долго после того, как защитникам придется сдать все свои убежища.

Королевский лесничий всегда

давал клятву хранить этот план в тайне, и доверял его только одному человеку, на случай своей внезапной смерти. Давай сядем и посмотрим вместе.

И они начали составлять план обороны, который будет понятен из хода дальнейших событий; мы не станем объяснять, какие меры они предусмотрели на разные случаи, потому что этих мер не пришлось принимать.

Наконец Ли-младший, вооружившись и захватив еду и вино, попрощался с отцом и заперся в покоях Виктора Ли. Оттуда был выход в лабиринт секретных убежищ и тайников, который так хорошо

послужил участникам
фантастических проделок,
разыгранных перед комиссарами
республики.

Сэр Генри нежно простился с
сыном и сел к своей конторке.

— Надеюсь, — сказал он, —
Рочклиф не выболтает тайну заговора
этому негодяю Томкинсу; тот,
пожалуй, все бы рассказал своим
приятелям... Но вот я сижу здесь,
быть может, в последний раз; с одной
стороны у меня библия, с другой
старый Уил, и я готов, благодарение
богу, умереть, как жил... Удивляюсь,
что они до сих пор не идут, —
добавил он, подождав некоторое
время, — я всегда думал, что дьявол

подгоняет своих клевретов, когда они
выполняют особо важные поручения.

Глава XXXIII

*Взгляни — лицо
набрякло, почернело,*

*Глаза повылезали из
орбит —*

*Так на людей
удавленники смотрят.*

*Дыбятся волосы,
раздуты ноздри,*

*А руки так раскинуты,
как будто*

*От жизни силой
оторвали их.*

«Генрих VI», ч. II

Если бы неприятные

посетители, которых ожидал сэр Генри, прямо пошли в замок, а не потеряли три часа в городке, они захватили бы свою добычу. Но фамилист, отчасти с целью помешать бегству короля, отчасти с тем, чтобы придать себе больше важности, уверил Кромвеля, что обитатели замка все время настороже и поэтому надо спокойно ждать, пока все в доме не заснут и он, Томкинс, не придет и не сообщит об этом. При таком условии он собирался не только узнать, в какой комнате спит злополучный Карл, но, быть может, и найти способ запереть дверь снаружи, чтобы исключить возможность бегства. Он обещал

также достать ключ от задней двери, через которую солдаты могли пройти в дом, не подняв тревоги. Более того — при его знании местных порядков дело, как он утверждал, было настолько верное, что он брался привести его превосходительство или того, кого генерал назначит на этот случай, к самой постели Карла Стюарта, прежде чем тот проспится после вечерней попойки. Важнее же всего, утверждал он, прежде чем обитатели замка поднимут тревогу, поставить надежную охрану у всех ходов и потайных дверей, которых в старинном замке множество; иначе успех всего предприятия окажется под угрозой.

Поэтому он просил Кромвеля подождать в городке, если, прибыв туда, генерал его не застанет; он уверял, что передвижения войск туда и обратно стали теперь обычным делом, и даже если в замке узнают, что в город прибыли новые войска, такое заурядное событие не вызовет никакой тревоги. Он советовал Кромвелю отобрать для этой цели испытанных солдат, не таких робких духом, которые отступили бы от горы Галаатской, устрашась амалекитян, а воинов, привыкших рубить мечом и поражать врага, с первого удара. Наконец он сказал, что было бы благоразумно поручить командование отрядом Пирсону или

другому офицеру, на которого можно вполне положиться, а если генерал решит сам участвовать в операции, его присутствие надо держать в тайне даже от солдат.

Кромвель в точности последовал всем его советам, Он сам пошел во главе отряда из ста лучших солдат, отобранных для этой операции; все это были люди неустрашимые, испытанные во многих опасностях и закаленные против всякого колебания или сострадания глубоким и мрачным фанатизмом, определявшим все их поступки; люди, для которых приказы Оливера, их полководца, вождя Избранных, были равносильны

велениям божества.

Генерал был глубоко разочарован отсутствием человека, на которого он так уверенно положился, и чего только он не придумывал, чтобы объяснить его загадочное поведение. То ему приходило в голову, что Томкинс напился — слабость его была известна Кромвелю, — и тогда он раздражался гневными проклятиями, хоть и непохожими на богохульные ругательства кавалеров, но столь же кощунственными и еще более злобными. То он предполагал, что из-за какой-нибудь неожиданной тревоги или, возможно, пирушки кавалеров обитатели Вудстокского

замка засиделись за столом позже обычного. К этому предположению, которое казалось самым вероятным, он все время возвращался; в надежде на то, что Томкинс все же явится на место встречи, он оставался в городке, стремясь связаться со своим сообщником, и боялся испортить успех предприятия какими-либо преждевременными действиями.

Видя, что долее скрывать свое присутствие невозможно, Кромвель распорядился так, чтобы его солдаты могли отправиться в путь в любой момент. Он велел половине солдат спешиться и поставить лошадей на отдых; остальным было приказано не расседлывать коней и быть готовыми

вскочить в седло по первому приказу. Солдат по очереди впускали в дом, чтобы накормить, оставив при лошадях достаточную стражу, которая время от времени сменялась.

Итак, Кромвель ждал с большим беспокойством, часто и тревожно посматривая на полковника Эверарда, который, как он думал, мог бы, если бы захотел, прекрасно заменить отсутствующего сообщника.

Эверард отвечал ему спокойным взглядом; лицо его было невозмутимо и не выражало ни смущения, ни страха.

Наконец пробило полночь; необходимо было принять какое-то

решение. Может быть, Томкинс изменил, или, что более вероятно, его двойная игра открылась и он убит либо схвачен мстительными роялистами. Словом, чтобы не ушла предоставленная судьбой возможность избавиться от самого опасного претендента на верховную власть, к которой Кромвель уже стремился, нельзя было больше терять времени.

Наконец Кромвель отдал Пирсону приказ поставить солдат под ружье; он указал, как их построить, велел им идти в полной тишине, или, как значилось в приказе: «подобно тому, как Гедеон безмолвно шел к лагерю мадианитян,

в сопровождении одного только своего слуги Фуры. Быть может, — гласил далее этот странный документ, — мы тоже узнаем, что снилось тем мадианитянам».

Дозор и шедший вслед за ним капрал с пятью стойкими, опытными солдатами составляли авангард; за ними шли главные силы. Арьергард из десяти человек сопровождал Эверарда и священника. Первого Кромвель держал при себе на случай, если придется его допросить или устроить ему очную ставку с другими, а мистера Холдинафа тоже не отпускал: если его оставить в городке, он сбежит и, пожалуй, поднимет волнение среди жителей.

Хотя пресвитериане не только участвовали, но и верховодили в гражданской войне, к концу ее они были крайне недовольны возрастающим влиянием военных сектантов; на них нельзя было рассчитывать как на преданных сообщников в таких делах, где были затронуты их интересы. Построившись так, как мы изложили выше, пехота выступила левым флангом вперед; Кромвель и Пирсон шли во главе центрального отряда или главных сил. Солдаты были вооружены похожими на современные карабины короткими ружьями, которые применялись также и в коннице. Шли они в

глубочайшем безмолвии и в полном порядке, так что весь отряд шагал, как один человек.

Примерно в ста ярдах за арьергардом пешего отряда шла конница, и можно было подумать, что даже неразумные животные понимали приказы Кромвеля: лошади не ржали и, казалось, ступали осторожно, стараясь не стучать копытами.

Командующий, мучимый тревожными мыслями, хранил безмолвие и лишь иногда шепотом повторял свой приказ не нарушать тишину, в то время как солдаты, удивленные и восхищенные тем, что идут под личным командованием

своего славного генерала и выполняют, несомненно, какую-то тайную операцию большой важности, повиновались ему во всем и соблюдали величайшую осторожность.

Они шли по главной улице городка в том порядке, как мы описали; почти все жители уже разбрелись по домам, а те немногие, что дольше обычного засиделись на вечерней пирушке, были счастливы скрыться с глаз многочисленного отряда солдат, которые нередко исполняли обязанности полицейских; никто не спросил, почему они в такую позднюю пору идут в полном вооружении и куда

направляются.

С того времени, когда в Вудсток прибыли войска, у ворот парка была поставлена стража в три шеренги солдат, чтобы прервать всякую связь между замком и городом. Гонец Уайлдрейка, Злючка, который часто опустошал птичьи гнезда и совершал подобные злонамеренные экскурсии в лес, избежал бдительного ока этих людей только потому, что пролез в знакомую дыру в другой части ограды.

Стража у ворот, согласно правилам военной дисциплины, шепотом обменялась паролем с авангардом отряда Кромвеля. Пехота вступила в парк, за ней кавалерия,

которой было приказано ехать не по твердой дороге, а, насколько возможно, по дерну, окаймлявшему аллеи. Кроме того, была принята еще одна предосторожность: несколько пеших солдат должны были обыскивать лес с обеих сторон и задерживать, а в случае сопротивления убивать всякого встречного, под каким бы предлогом он ни бродил по парку.

Обстоятельства по большей части благоприятствовали Кромвелю, пока он успешно шел к власти; так было и в ту ночь — погода начала проясняться. Густой туман, до тех пор застилавший все и затруднявший продвижение солдат по лесу,

понемногу рассеялся, и луна после долгих усилий наконец пробралась сквозь его дымку и повесила свой тусклый и медлительный серп в небесах, осветив их, как померкшая лампада освещает келью отшельника в ночные часы. Когда отряд поравнялся с фасадом дворца, Холдинаф шепнул Эверарду, который шел с ним рядом:

— Видишь, в башне распутной Розамунды мерцает таинственный огонек? Сегодняшняя ночь покажет, кто сильнее — дьявол сектантов или дьявол мятежников. О, возликуем, ибо царство сатаны раскололось!

Тут торопливо, бесшумными шагами подошел сержант и грозным

шепотом прервал речь священника:

— Молчать, там, позади...

Молчать под страхом смерти!

Через минуту по шеренгам передали команду «стой», и весь отряд мгновенно повиновался.

Остановка была вызвана тем, что к главному отряду поспешно вернулся солдат из бокового патруля с донесением, что в лесу, на некотором расстоянии слева, солдаты видели свет.

— Что это может быть? — спросил Кромвель; его низкий суровый голос был ясно слышен, даже когда он говорил шепотом. — Свет движется или горит в одном месте?

— Насколько мы можем судить, он неподвижен, — ответил солдат. — Странно! Вблизи того места, где его видели, нет никакой хижины.

— С позволения вашего превосходительства, это, может быть, затея, дьявола, — гнусавым голосом вмешался капрал Хамгаджон, — за последнее время она этих краях забрал большую силу.

— С позволения вашего идиотства, ты осел, — ответил Кромвель, но, тут же вспомнив, что капрал — один из проповедников, или трибунов, среди солдат и ему надо оказывать уважение, добавил:

— Ничего, если это затея дьявола, мы с божьей помощью

устоим, и подлый раб сгинет перед нами. Пирсон, — продолжал он, снова приняв лаконичный военный тон, — возьми взвод и посмотри, что там такое... Хотя нет, негодяи могут скрыться от тебя. Иди прямо к замку...

Окружи его, как мы решили, так, чтобы и птица не вылетела... Поставь внутреннее и внешнее кольцо часовых, но не поднимай тревоги, пока я не подойду.

Если кто вздумает бежать — стреляй! Убивай их на месте, — с грозным воодушевлением повторил он, — кто бы там ни был. Лучше так, чем навязывать республике пленных.

Пирсон выслушал и отправился

исполнять приказания командира.

Тем временем будущий протектор расположил немногочисленных солдат, оставшихся с ним, так, чтобы они могли с разных сторон приблизиться к подозрительному огоньку, приказал им подползти к нему как можно ближе, не теряя связи друг с другом, и быть готовыми броситься вперед, как только сам он подаст сигнал громким свистом. Желая собственными глазами видеть причину тревоги, Кромвель, от природы наделенный проницательностью военачальника, которая у других развивается в результате профессионального

образования и долгого опыта, стал приближаться к предмету, вызывавшему его любопытство.

Он крался от дерева к дереву легкими шагами, с осторожной ловкостью индейца американских лесов, и, прежде чем кто-либо из солдат подошел настолько, чтобы можно было что-нибудь разглядеть, увидел двух человек, по-видимому наскоро копавших могилу при свете фонаря, стоявшего на траве. Возле них лежал какой-то предмет, завернутый в оленью шкуру, очень похожий на мертвое тело. Они разговаривали вполголоса, но так, что опасный свидетель прекрасно слышал каждое слово.

— Готово наконец, — сказал один, — отроду не приходилось мне делать такую неприятную и тяжелую работу. Боюсь, что мне несдобровать. Я рук своих не чувствую, и, странное дело, хотя так здорово трудился, я дрожу всем телом и никак не могу согреться.

— А я так чересчур согрелся, — сказал Рочклиф, тяжело дыша от усталости.

— Холод пробрался мне в сердце, — продолжал Джослайн, — вряд ли мне когда-нибудь будет опять тепло. Чудно мне, нас будто околдовали. Копали почти два часа, а много ли выкопали? Любой могильщик справился бы самое

большее за полчаса.

— Да, мы плохие землекопы, — ответил доктор Рочклиф. — Каждому свой инструмент: тебе — охотничий рог, а мне — шифрованные письма. Но не унывай; земля замерзла, здесь много корней — не мудрено, что дело у нас подвигалось плохо. А теперь, когда над несчастным совершен церковный обряд и я прочел заупокойную службу, *valeant quantum [note](#) 76*, положим его надлежащим образом в место последнего успокоения; с его смертью земля потеряла не много... Да ну же, подбодрись, друг, как подобает. солдату; мы ведь прочли молитвы над его телом и, если

времена изменятся, перенесем его в освященную землю, хотя он совсем недостоин такой чести. Ну-ка, помоги мне положить его в могилу; мы засыплем прах его прахом, потом натаскаем шиповника и терновника, а ты не отчаивайся и помни: ты сам должен охранять свою тайну...

— За это не поручусь, — возразил Джослайн. — Мне думается, сам ночной ветер в листве расскажет о том., что мы здесь делали... Мне думается, сами деревья будут шептать: «Здесь, среди наших корней, лежит мертвое тело». Когда пролита кровь, свидетели скоро найдутся.

— Они нашлись, и скорее, чем

ты думал! — воскликнул Кромвель; он выступил из чащи, схватил Джослайна и приставил пистолет к его виску. Во всякое другое время егерь оказал бы отчаянное сопротивление, даже если бы на него напали несколько человек; но ужас, который он испытал, когда убил своего старого приятеля, хотя он совершил это убийство с целью самозащиты, усталость и неожиданность нападения — все вместе лишило Джослайна мужества, и враги схватили его так же легко, как мясник хватает овцу. Доктор Рочклиф оказал некоторое сопротивление, но был тотчас же обезоружен обступившими его

солдатами.

— Эй, кто-нибудь! — крикнул Кромвель. — Посмотрите, кого умертвили эти мерзкие сыны Велиала...

Капрал Милость Божья Хамгаджон, взгляни, не узнаешь ли ты его в лицо?

— Поистине, узнаю, так же как узнаю самого себя в зеркале, — прогнусавил капрал, осветив фонарем лицо мертвеца. — Ведь это наш верный духовный брат, Джозеф Томкинс.

— Томкинс! — воскликнул Кромвель, бросившись вперед и одним взглядом удостоверившись в том, что капрал говорит правду. —

Томкинс!.. И убит, — видно по ране на виске!.. Ну, говорите правду, псы вы этакие!.. Вы убили его потому, что открыли его предательство.., я хочу сказать — его преданность республике и ненависть к заговорам, в которые вы хотели вовлечь его честное простодушие?

— Да, — сказал Милость Божья Хамгаджон, — а потом осквернили прах вашими папистскими обрядами, как будто напихали ему в холодные уста холодной каши. Прошу тебя, генерал, позволь потуже связать этих подлецов.

— Не стоит, капрал, — ответил Кромвель, — время дорого. Послушай, приятель, ты, я полагаю,

доктор Энтони Рочклиф; предлагаю тебе на выбор: или мы тебя на рассвете повесим, или ты загладишь свое преступление — убийство христианина — и скажешь нам все, что знаешь о тайнах этого дома.

— Поистине, сэр, — возразил Рочклиф, — вы за» стали меня при исполнении обязанностей священника, я хоронил покойника; а что до ответа на ваши вопросы, сам я твердо решил и советую моему товарищу по несчастью...

— Уберите его, — сказал Кромвель, — я давно знаю его упрямство, хотя и заставлял его пахать мою пашню, когда он думал, что тащит свою борону...

Уведите его в арьергард и давайте сюда другого негодяя. Ну, ты, иди-ка сюда..., подойди ближе..., еще ближе... Капрал Милость Божья, держи его за ремень. Мы должны беречь свою жизнь ради нашего разоренного отечества, хотя бы, увы, ради самих себя мы не ставили ее ни в грош. Теперь слушай меня, малый, выбирай: или покупай жизнь полным признанием, или мы тебя сейчас вздернем на этом старом дубе... Ну, что ты скажешь?

— Право, сударь, — ответил егерь, прикидываясь таким простаком, каким он на самом деле не был; от тесного общения с сэром Генри его манеры отчасти

смягчились и сгладились, — я думаю, что на дубу повиснет здоровенный желудь.., и все тут..

— Со мной не шути, приятель, — продолжал Оливер, — говорю тебе прямо, я не охотник до шуток.

Какого гостя ты видел в том доме, что зовется замком?

— Много славных гостей перевидал я за свою жизнь, уж это верно, сударь, — ответил Джослайн. — Посмотрели бы вы, как трубы у нас дымили лет двенадцать назад. Ах, сэр, бедняку бы только понюхать, так и обеда не нужно!

— Молчать, разбойник! — сказал генерал. — Ты что, смеешься

надо мной? Сейчас же говори, какие гости были в замке за последнее время, и послушай, приятель: если ты угодишь мне ответом, ты не только спасешь свою шею от петли, но окажешь добрую услугу государству, и я тебя как следует награжу.

Я, право, не из тех, кто хочет, чтобы дождь орошал лишь гордые и величественные растения, а скорее стремлюсь к тому — если только бог услышит мои жалкие обеты и молитвы, — чтобы дождь падал и на низенькую смиренную травку и рожь, чтобы сердце землепашца радовалось; подобно тому как кедр ливанский растет в высоту,

раскидывает ветви, пускает вглубь корни, так пусть цветет и скромная маленькая ромашка в расселине стены, и.., и.., поистине... Понимаешь меня, мошенник?

— Не то чтобы очень, если угодно вашей милости, — ответил Джослайн, — а слышу, что вы будто проповедь читаете и говорите что-то мудреное.

— Ну, словом.., ты знаешь, что тут, в замке, прячется некто Луи Кернегай, или Карнего, или как там его?

— Нет, сэр, — возразил егерь, — здесь много народу приезжало и уезжало после Вустерской битвы; но откуда мне знать, кто они такие?..

Служба-то моя ведь за воротами.

— Прикажу выдать тебе тысячу фунтов, если отдашь мне в руки этого молодца.

— Тысяча фунтов — чудесная штука, сэр, — сказал Джослайн, — да у меня и без того уже руки в крови. Я не знаю, как растут деньги, которыми платят за проданную жизнь, на стебле или на дереве висят, и знать не желаю.

— В арьергард его, — сказал генерал, — и не давайте ему разговаривать с другим арестованным. Дурак я, что трачу на них время, от них толку как от козла молока. Марш к замку!

Отряд двинулся в таком же

безмолвии, как и прежде, несмотря на препятствия, постоянно возникавшие оттого, что солдаты не привыкли к дороге и не знали ее поворотов и извилин. Наконец послышался тихий оклик одного из их собственных часовых, расставленных вокруг замка по двум concentрическим кольцам, так близко друг к другу, что проскользнуть мимо них не было никакой возможности.

Внешнее кольцо состояло отчасти из всадников на дорогах и на открытых лужайках, а там, где местность была холмистая и поросла кустарником, расположилась пехота. Внутреннее кольцо состояло только

из пеших солдат. Все они несли службу с большим усердием, ожидая от этой необычной экспедиции интересных и важных последствий.

— Какие новости, Пирсон? — спросил генерал своего адъютанта, который тотчас же подошел к нему с рапортом.

— Никаких, — ответил Пирсон.

Кромвель повел своего офицера вперед и остановился как раз против входа в замок, между двумя рядами часовых, так, чтобы его разговор с Пирсоном нельзя было подслушать.

Затем он продолжал расспросы:

— Не видели огней, какого-нибудь движения, не замечали попыток к вылазке, приготовлений к

обороне?

— Все было тихо, как в долине смерти.., как в долине Иосафата.

— Брось! Не говори мне о Иосафате, Пирсон, — сказал Кромвель. — Эти слова хороши для других, а не для тебя. Говори просто, по-солдатски. У каждого человека свой способ выражаться; тебе пристала грубость, а не святость.

— Ну тогда — ничто не шелохнулось, — сказал Пирсон. — Хотя внушает сомнения...

— Не внушай мне сомнений, — оборвал его Кромвель, — не то ты соблазнишь меня выбить тебе зубы.

Я никогда не доверяю человеку, если он говорит не своим языком.

— Черт побери! Дайте же мне сказать до конца, — ответил Пирсон, — я буду говорить таким языком, каким угодно вашему превосходительству.

— Твое «черт побери», друг, — сказал Оливер, — хоть и не очень любезно, зато вполне искренне. Продолжай... Ты знаешь, я люблю тебя и доверяю тебе.

Хорошо ли ты вел наблюдение? Это нам надо знать, прежде чем поднимать тревогу.

— Убей меня бог, — заверил его Пирсон, — я глядел во все глаза, словно кот у мышинной норы. Ничто не могло ускользнуть от нашей бдительности или даже

пошевелиться в доме так, чтобы мы этого не заметили.

— Хорошо, — сказал Кромвель, — я не забуду твою службу, Пирсон. Ты не мастер читать проповеди и молиться, но умеешь исполнять приказы, Гилберт Пирсон, а это искупает все.

— Благодарю, ваше превосходительство, — ответил Пирсон, — но я прошу разрешения говорить, как теперь принято. Маленькому человеку не пристало держаться особняком.

Он замолчал, ожидая дальнейших приказаний Кромвеля и немало удивляясь тому, что генерал при всем своем живом и деятельном

уме и в столь критический момент занялся такими пустяками, как язык офицера. В эту минуту луна вышла из облаков, и Пирсон еще больше удивился, заметив при ее свете, что Кромвель стоит неподвижно, опершись руками на обнаженный меч и потупив суровый взгляд. С минуту Пирсон нетерпеливо ждал, но не смел прервать его размышлений, боясь, чтобы этот несвоевременный приступ необычной задумчивости не перешел в досаду и гнев. Он вслушивался в неясные звуки, вырывавшиеся из полуоткрытых губ начальника, но понял только, что Кромвель несколько раз повторил слова:

«Тяжкая необходимость».

— Милорд генерал, — сказал наконец Пирсон, — время уходит.

— Тише, коварный демон, не искушай меня! — воскликнул Кромвель. — Или ты, подобно другим глупцам, думаешь, что я заключил договор с дьяволом, чтобы все мне удавалось, и обязан совершить свое дело в назначенный час, пока чары не потеряют силу?

— Я только думаю, милорд генерал, — возразил Пирсон, — что сама судьба отдает вам в руки то, что вы давно желали взять, а вы колеблетесь.

Кромвель ответил с глубоким вздохом:

— Ах, Пирсон, в этом беспокойном мире человек, который, подобно мне, призван совершить великие дела в Израиле, должен быть, как говорят поэты, выкован из твердого металла, недоступен чувствам человеческого милосердия, бесстрастен, непобедим.

Пирсон, быть может, потомки сочтут, что я был такой человек, которого только что тебе описал, «железный муж, и отлит из железа». Но они будут несправедливы к моей памяти.., сердце у меня живое, и кровь в нем такая же теплая, как у других. Когда я был охотником, я плакал по красивой цапле, которую заклевал сокол, и жалел зайца,

стонавшего под лапой моей борзой; неужели же ты думаешь, что мне сейчас легко: кровь отца этого юноши в известной мере пала на мою голову, а теперь я пролью еще и кровь сына?

Они происходят из славного рода английских королей, и, без сомнения, приверженцы обожают их, как полубогов. Меня уже и теперь называют цареубийцей, кровожадным узурпатором за то, что я пролил кровь одного человека, чтобы остановить бедствие народное; Ахан был убит, чтобы Израиль мог устоять против врагов своих. И несмотря на это, кто помянул меня хоть одним добрым

словом со времени того великого деяния? Те, кто действовал вместе со мной, хотят, чтобы я был козлом отпущения... Те, которые наблюдали, по не помогали мне, теперь делают вид, что их заставили силой; после победы под Вустером, которой господь сделал меня недостойным орудием, я думал, что они будут рукоплескать мне, но они смотрели в сторону и говорили: «Ха! Ха! Цареубийца, отцеубийца... Скоро дом его опустеет...» Поистине, это великое дело, Гилберт Пирсон, быть вознесенным над толпой; но когда ты чувствуешь, что твой триумф вызывает в других только ненависть и презрение, а не любовь и

почитание, тогда тяжела эта доля для человека, совестливого сердцем и слабого духом...

И, бог свидетель, я лучше пролью всю свою кровь до последней капли на поле битвы, чем совершу это новое преступление.

И он разразился потоком слез, что с ним иногда случалось. Это были странные приступы отчаяния.

Они, собственно, происходили не от раскаяния и совсем не вызывались одним лишь лицемерием; причина их заключалась в характере этого необыкновенного человека, у которого глубокий политический ум и пылкий темперамент сочетались со

склонностью к ипохондрии, приводившей к подобным сценам; однако это редко случалось в таких обстоятельствах, как теперь, когда долг призывал его к свершению великих деяний.

Пирсон, хоть и хорошо знал странности генерала, был поражен и расстроен этим приступом колебаний и сомнений, так внезапно парализовавшим предприимчивый дух Кромвеля. Помолчав с минуту, он сказал довольно сухо:

— Если так, не надо было вашему превосходительству приходить сюда. Капрал Хамгаджон и я, первый святой и первый грешник вашей армии, одни совершили бы это

дело и разделили бы между собой и вину и славу.

— А! — воскликнул Кромвель, точно его задели за живое. — Ты хочешь вырвать добычу из пасти льва?

— Если лев ведет себя как деревенская дворняжка, — дерзко сказал Пирсон, — которая то лает, словно хочет разорвать всех на куски, то бежит, когда на нее замахнутся палкой или камнем, не знаю, почему я должен ее бояться? Если бы здесь был Ламберт, было бы меньше разговоров и больше дела.

— Ламберт? При чем тут Ламберт? — резко возразил Кромвель.

— Только при том, — ответил Пирсон, — что я долго колебался, следовать мне за вашим превосходительством или за ним, и начинаю сомневаться, правильно ли я выбрал, — вот и все.

— Ламберт! — воскликнул Кромвель нетерпеливо, хотя и понизив голос, чтобы не услышали, как он распространяется о характере своего соперника. — Что такое Ламберт?.. Глупец, помешанный на тюльпанах, которому природа предназначила быть голландским садоводом в Дельфте или в Роттердаме. Неблагодарный, что мог бы сделать для тебя Ламберт?

— Он бы не стал, — ответил

Пирсон, — медлить здесь в нерешимости перед запертыми воротами, когда фортуна предоставляет ему возможность упрочить одним ударом собственную судьбу и судьбу всех своих приверженцев.

— Ты прав, Гилберт Пирсон, — сказал Кромвель.

Ой схватил и крепко пожал руку своего офицера, — ч Пусть половина этого смелого подвига принадлежит тебе, будет ли награда на земле или на небесах.

— Я согласен получить всю награду потом, — сурово сказал Пирсон, — лишь бы ваше превосходительство получили все

выгоды на земле. Ступайте назад в арьергард, пока я выломаю дверь... Здесь может быть опасно, если они с отчаяния решатся на безумную вылазку.

— А если они и сделают вылазку, разве кто-нибудь из моих железнобоких меньше меня боится огня и стали? — сказал генерал. — Пусть десять самых неустрашимых солдат следуют за нами, двое с алебардами, двое с карабинами, остальные с пистолетами...

Пусть все зарядят ружья и стреляют, не дрогнув, если в замке попытаются оказать сопротивление или предпримут вылазку... Пусть с ними идет капрал Хамгаджон, а ты

оставайся здесь и следи, чтобы никто не ускользнул, следи, как за спасением своей души.

Генерал стал стучать в ворота эфесом шпаги; сначала ударил всего раз или два, а потом стал бить так сильно и часто, что эхо разнеслось по всему старинному зданию. Этот шумный вызов повторился раза два-три, но не произвел ни малейшего впечатления на защитников замка.

— Что бы это значило? — сказал Кромвель. — Не могли же они бежать, не оставив никого в доме?

— Нет, — возразил Пирсон, — ручаюсь, что нет; но ваше превосходительство стучите так свирепо, что не даете времени

ответить... Слышно, как лает собака, а человек ее унимает. Ну как, ворвемся сейчас же или будем вести переговоры?

— Сначала я буду говорить с ними, — ответил Кромвель. — Эй! кто там есть?

— А кто это спрашивает, — отозвался сэр Генри Ли из-за дверей, — и что вам нужно в такую глухую ночь?

— У нас мандат от английской республики, — сказал генерал.

— Предъявите ваш мандат, прежде чем я сниму болты и засовы, — ответил баронет, — нас здесь достаточно для обороны замка; ни я, ни мои люди не сдадим его

иначе, как на честных гарантиях и условиях; а договариваться будем только при дневном свете.

— Если вы не уступаете праву, вам придется испытать нашу силу, — возразил Кромвель. — Берегитесь вы, там, внутри, через пять минут на вас обрушатся двери.

— Берегитесь вы, там, снаружи, — ответил бесстрашный сэр Генри, — если вы примените малейшее насилие, мы будем стрелять.

Но, увы, хоть он и говорил так смело, весь гарнизон его крепости состоял из двух перепуганных женщин; его сын, согласно принятому плану, ушел из холла и

укрылся в тайных убежищах замка.

— Что это они сейчас делают, сэр? — спросила Фиби, услышав такой звук, как будто плотник завинчивал винты, и глухой гул солдатских голосов.

— Прилаживают петарду, — сказал баронет, сохраняя полное присутствие духа. — Я знаю, ты смышленная девушка, Фиби, и объясню тебе: это металлический горшок, по форме напоминает дурацкие шляпы этих негодяев, вроде сахарной головы, только поля поуже; туда насыпают несколько фунтов мелкого пороха. Потом...

— Милосердный боже! Мы все взлетим на воздух! — воскликнула

Фиби. Из всего объяснения баронета она поняла одно-единственное слово — порох.

— Не бойся, дурочка. Отведи тетушку Джелликот в нишу окна, — сказал баронет, — по эту сторону двери, а мы с тобой укроемся в другой нише, я успею закончить объяснение, саперы у них дрянные. В Ньюарке был у нас умный малый, француз, он бы все это сделал в мгновение ока.

Как только они перешли в безопасное место, баронет продолжал объяснение:

— После того как петарда изготовлена, как я тебе говорил, ее укрепляют на толстой и крепкой

доске — так называемой балке, и все это подвешивают, или, вернее, приделывают, к воротам, которые нужно выломать. Но ты меня не слушаешь?

— До того ли мне теперь, сэр Генри, — ответила девушка, — когда нам угрожает та штука, о которой вы говорите... О боже! Я с ума сойду от страха... Нас раздавят... Взорвут через несколько мгновений...

— Взрыв для нас не опасен, — с важностью возразил баронет, — он будет направлен главным образом вперед, к середине комнаты; а от осколков, которые могут полететь во все стороны, мы достаточно защищены в этой глубокой нише.

— Но они убьют нас, когда войдут, — сказала Фиби.

— Ну, тебя-то они пощадят, девушка, — возразил сэр Генри, — и если я не выпускаю пару пуль по этому проклятому саперу, то только потому, что не хочу подвергаться наказанию по военному закону, который гласит, что всякий, кто пытается защищать позицию, непригодную для обороны, должен быть зарублен мечом. Я, правда, не думаю, что этот суровый закон может относиться к тетушке Джелликот или к тебе, Фиби, вы безоружны. Будь здесь Алиса, она бы еще способна была что-нибудь сделать: она владеет охотничьим

ружьём.

Фиби могла бы сослаться на свои собственные подвиги: то, что она совершила сегодня, гораздо больше походило на рукопашные схватки и сражения, чем все, что когда-либо сделала ее госпожа; но она пребывала в невыразимом смятении и страхе, ожидая после рассказа баронета о петарде какой-то ужасной катастрофы, какой — она хорошенько не знала, несмотря на его пространные объяснения на этот счет.

— Вот уж не мастера своего дела, — сказал сэр Генри, — маленький Бутирлен давно бы взорвал весь дам. Эх! Этот малый

роет норы, как кролик; был бы он
здесь, так, ей-богу, он уже подвел бы
под них контрмину, и

Ну, не потеха ль — так
подстроить все,

Чтобы минер себя же и взорвал!

—

Как говорит наш бессмертный
Шекспир.

«О боже, рехнулся бедный
старика — подумала Фиби, —
Господи, сэр, не лучше ли вам
оставить пьесы и подумать о вашем
последнем часе? — в отчаянии
проговорила она.

— Если бы я не подготовился к

этому уже давно! — ответил баронет, — я бы теперь не встречал этого часа с таким легким сердцем.

Я отхожу спокойно в мир иной
Не знает страха тот, кто чист
душой.

Пока он говорил, за окном холла, между толстыми железными прутьями, показалось большое пламя; тусклый свет его отбросил мрачные красноватые блики на старые доспехи и оружие и словно окрасил их заревом пожара. Фиби громко вскрикнула и в ужасе, забыв о почтительности, крепко прижалась к плащу и руке баронета, а тетушка

Джелликот из своей одинокой ниши, не лишенная зрения, хоть и глухая, закричала пронзительно, как кричит сова, когда месяц внезапно выходит из-за туч.

— Осторожно, милая Фиби, — сказал баронет, — ты не дашь мне обороняться шпагой, если будешь так виснуть у меня на руке. Эти негодные болваны не могут установить петарду без факелов! Теперь дай мне воспользоваться этой задержкой... Вспомни, что я говорил тебе, как выиграть время.

— О господи... Хорошо, сэр, — сказала Фиби, — ничего не скажу. О господи, только бы это кончилось!..

Ай, ай! (два продолжительных

крика). — Что-то шипит, как змея.

— По-нашему, по-военному, это называется запал, — ответил баронет — это, Фиби, фитиль, который поджигает петарду, он может быть длиннее или короче, в зависимости от расстояния.

Тут речь баронета была прервана ужасным взрывом, от которого, как он и предсказывал, крепкую дверь разнесло на куски, а стекла вылетели из окон вместе со всеми героями и героинями, запечатленными на этом хрупком памятнике несколько столетий тому назад. Женщины визжали не умолкая; им вторил лай Бевиса, хотя пес и был заперт далеко от места действия. Баронет, с трудом

стряхнув с себя Фиби, вышел на середину холла, чтобы встретить тех, кто ворвался туда с горящими факелами и с оружием в руках.

— Смерть всем, кто сопротивляется! Жизнь всем, кто сдается! — воскликнул Кромвель, топнув ногой. — Кто командует этим гарнизоном?

— Сэр Генри Ли из Дитчли, — ответил старый баронет, выступив вперед. — Не имея другого гарнизона, кроме двух слабых женщин, я вынужден подчиниться тому, чему хотел бы сопротивляться.

— Обезоружить закоренелого и злостного бунтовщика! — вскричал Оливер. — Не стыдно тебе, сэр,

держатъ меня передъ дверями дома, если вы не в силахъ его оборонять? У тебя седая борода, а ты и не знаешь, что тотъ, кто отказывается сдать крепость, которую невозможно защищать, по военнымъ законамъ карается повешениемъ?

— Мы с моею бородой, — отвѣтилъ сэръ Генри, — уже обсудили между собой этотъ вопросъ и пришли къ сердечному согласію. Лучше идти на рискъ быть повешеннымъ, какъ честные люди, чѣмъ изменить долгу, какъ трусы и предатели.

— Ахъ, вотъ какъ? — сказалъ Кромвель. — Видно, у тебя есть вескіе причины лезть головой въ петлю. Но сейчасъ я съ тобой

поговорю. Эй, Пирсон, Гилберт Пирсон, возьми этот свиток... Возьми с собой старуху...

Пусть она ведет тебя в обозначенные места... Обыщи все комнаты, что здесь указаны, и хватай или при малейшем сопротивлении убивай каждого, кого бы ты там ни нашел. Затем осмотри те места, что помечены как узловые точки, где можно перерезать сообщение между разными частями замка — площадки главной лестницы, большую галерею и прочие. С женщиной обращайся почтительно. Даже если она окажется душой или заупрямится, ты по плану найдешь места, где нужно ставить часовых. А ты, капрал, тем

временем возьми солдат и отведи старика и эту девушку в какую-нибудь комнату, ну, хоть ту, что, кажется, называется именем Виктора Ли. Тогда мы избавимся от этого удушливого порохового дыма.

С этими словами, не требуя больше никакой помощи и разъяснений, он сам направился в комнату, о которой говорил. У сэра Генри сжалось сердце, когда он увидел, с какой непоколебимой уверенностью генерал шел впереди: по-видимому, он был лучше знаком с различными помещениями Вудстока, чем предполагал баронет, составляя свой план — занять республиканский отряд

бесплодными поисками в
запутанных переходах замка.

— Теперь я задам тебе
несколько вопросов, старик, —
сказал генерал, когда они пришли в
комнату, — и предупреждаю, что
надежду на прощение твоих долгих и
упорных деяний во вред республике
ты можешь заслужить только
прямыми и ясными ответами.

Сэр Генри поклонился. Ему
хотелось заговорить, но он
чувствовал нарастающий гнев и
боялся, что не сможет сыграть роль,
которую он себе назначил и
собирался довести до-конца, с тем
чтобы выиграть время и дать королю
возможность спастись.

— Кто у вас жил последние дни, сэр Генри Ли?..

Какие гости? Кто вас навещал? Мы знаем, что средства на содержание дома у вас теперь не так обильны, как прежде, поэтому список гостей не может быть обременителен для вашей памяти.

— Куда уж там, — возразил баронет с необычным хладнокровием, — со мной живет дочь, а недавно в гостях был и сын; из слуг у меня только эти две женщины, да еще некто Джослайн Джолиф.

— Я спрашиваю не про обычных ваших домочадцев, а про тех, кто был у вас в доме в качестве гостя или в

качестве беглеца, врага народа, и искал у вас приюта, — Быть может, и тех и других здесь было столько, что всех не припомнишь, не в обиду будь сказано вашей чести, — ответил баронет. — Помню, как-то утром заезжал племянник мой, Эверард... Да еще, помнится, был с ним его приближенный, по имени Уайлдрейк.

— Не приезжал ли к вам также молодой роялист по имени Луи Гарнигей? — спросил Кромвель.

— Такого имени не помню, хоть убейте? — ответил баронет.

— Кернегай или что-то в этом роде, — сказал генерал, — не будем спорить из-за какого-то звука.

— Один юноша, шотландец, по имени Луи Кернегай, был у меня в гостях и нынче утром уехал в Дорсетшир.

— Нынче утром! — воскликнул Кромвель, топнув ногой. — Как судьба перечит нам даже тогда, когда кажется наиболее благосклонной! В какую сторону он поехал, старик? — продолжал Кромвель. — На какой лошади? Кто поехал с ним?

— С ним поехал мой сын, — ответил баронет, — он привел его сюда, как сына какого-то шотландского лорда... Прошу вас, сэр, кончайте ваши вопросы; хоть я и обязан вам почтением, как говорит Уил Шекспир:

Почтенье власти! Мы должны уважить

И черта, если он сидит на троне,

но все-таки чувствую, что терпению моему приходит конец.

Тут Кромвель шепнул несколько слов капралу, который, в свою очередь, отдал какое-то приказание своим солдатам; те вышли из комнаты.

— Уведите баронета в сторону; теперь мы допросим эту служанку, — сказал генерал. — Знаешь ли ты, — спросил он Фиби, — что здесь был некий Луи Кернегай, который выдает себя за

шотландского пажа и приехал сюда несколько дней назад?

— Конечно, сэр, — ответила она, — я не скоро его забуду; и я думаю, ни одна хорошенькая девушка не забудет его, если хоть раз попадется ему навстречу.

— Ага! — сказал Кромвель. — Вот как?.. Поистине, женщина, наверно, окажется более правдивой свидетельницей... Когда он уехал?

— Ну, я-то уж ничего не знаю о том, куда он ездит, — сказала Фиби, — я рада была не попадаться ему на глаза. Но если он в самом деле уехал, я знаю наверняка, что он был здесь часа два назад, потому что он встретился мне внизу в коридоре,

между холлом и кухней.

— Откуда ты знаешь, что это был ,он? — спросил Кромвель.

— Признак был достаточно ясный, — ответила Фиби. — Ну, сэр, вы задаете такие вопросы! — добавила она, потупив взор.

Тут заговорил Хамгаджон; он взял на себя смелость вмешаться на правах доверенного лица.

— Право, если эта девица собирается говорить о чем-то непристойном, — сказал он, — я прошу у вашего превосходительства позволения удалиться; я не желаю, чтобы мои ночные размышления были нарушены рассказами такого рода.

— Нет, ваша честь, — возразила Фиби, — плевать мне на слова этого старика и его суждения о пристойности и непристойности. Мистер Луи только сорвал у меня поцелуй — вот и вся правда, если уж говорить прямо.

Тут Хамгаджон глухо заворчал, а его превосходительство с трудом удержался от смеха.

— Ты дала прекрасные показания, Фиби, — сказал он, — и если они оправдаются (а я думаю, что так оно и будет), ты получишь заслуженную награду... А вот идет и наш разведчик из конюшни.

— Нет ни малейших признаков, — сказал солдат, —

чтобы в конюшне были лошади в течение последнего месяца, — в стойлах нет подстилки, в яслях нет сена, лари для овса пусты, а кормушки затянуло паутиной.

— Да, да, — сказал старый баронет, — было время, когда я держал в этих конюшнях по двадцать добрых коней, и много было при них конюхов и грумов.

— А между тем, — заметил Кромвель, — нынешнее их состояние не очень-то подтверждает ваши рассказы о том, что там еще сегодня были лошади, на которых этот Кернегай и ваш сын бежали от правосудия.

— Я не говорил, что они взяли

лошадей отсюда, — сказал баронет. — У меня есть лошади и конюшни в другом месте.

— Стыдись, старый, стыдись! — сказал генерал. — Еще раз спрашиваю тебя: пристало ли убеленному сединами старцу быть лжесвидетелем?

— Верность, сэр, — ответил сэр Генри, — это ходкий товар, а раз вы торгуете верностью, неудивительно, что вы так строго преследуете тех, у кого нет привилегии на эту торговлю. Но такие уж теперь времена и такие правители, что седобородые становятся обманщиками.

— Да ты шутник, приятель, и очень дерзкий и злой враг

республики, — сказал Кромвель, — но поверь, я успею расквитаться с тобой. Куда ведет эта дверь?

— В спальни, — ответил баронет.

— В спальни! Только в спальни! — сказал республиканский генерал; по тону его было видно, что он всецело занят своими мыслями и не может как следует вникнуть в смысл ответа.

— Боже мой, сэр, — сказал баронет, — почему вы находите, что это так странно? Я говорю, что эти двери ведут в спальни, в места, где честные люди спят, а мерзавцы мучаются бессонницей.

— Вы открываете новый счет,

сэр Генри, — сказал генерал, — но мы расплатимся сразу за все.

В течение всей этой сцены Кромвель, несмотря на свое волнение и неуверенность, соблюдал самую строгую сдержанность в речах и поступках, как будто все происходящее касалось его не более, чем военного человека, исполняющего долг, возложенный на него начальством. Но его власть над своими страстями была как

Гладь вод перед паденьем с
высоты.

[Но что такое суетное счастье?

Гладь вод перед паденьем с

ВЫСОТЫ.

Кэмбел, «Гертруда из
Уайоминга». (Прим, автора.)]

Обдумывая, как поступить, Кромвель не произнес ни одного резкого слова, но это помогло ему быстро принять решение. Он бросился в кресло, и лицо его отразило не колебание, а непреклонность; он ждал лишь сигнала к действию. Тем временем баронет, как бы решив ни в чем не отступать от привилегий своего звания и должности, тоже сел, надел свою шляпу, лежавшую на столе, и устремил на генерала взгляд, полный бесстрашного спокойствия. Вокруг

стояли солдаты; одни держали факелы, разливавшие в комнате тусклый и мрачный свет, другие опирались на свое оружие. Фиби, сжав руки и подняв глаза так, что, зрачки были едва видны, без кровинки в лице, обычно таком румянном, застыла, словно в ожидании смертного приговора, который вот-вот приведут в исполнение.

Наконец послышались тяжелые шаги — это вернулся Пирсон со своими солдатами. Кромвель, казалось, только этого и ждал. Он встал и поспешно спросил:

— Ну что, Пирсон? Есть пленные? Есть враги республики,

убитые при сопротивлении?

— Ни одного, ваше превосходительство, — ответил офицер.

— Всюду ли, где помечено на плане Томкинса, расставлены часовые и даны ли им надлежащие приказания?

— Все исполнено в точности, — подтвердил Пирсон:

— Совершенно ли ты уверен, — спросил Кромвель, отведя его в сторону, — что все меры приняты и мы обо всем позаботились? Подумай, когда мы вступим в тайные переходы, все будет потеряно, если утех, кого мы ищем, останется возможность улизнуть, пробраться в комнаты с

наружным выходом, а оттуда, быть может, и в лес.

— Милорд генерал, — ответил Пирсон, — если достаточно того, что я расставил посты в местах, отмеченных на плане, со строжайшим приказом остановить, а в случае необходимости — заколоть или застрелить всякого, кто захочет пройти мимо, то будьте спокойны, эти приказания отданы солдатам, которые не преминут их исполнить. Если же нужно принять еще какие-либо меры, то вашему превосходительству стоит только приказать.

— Нет., нет., нет, Пирсон, — возразил генерал, — ты все сделал

правильно. Когда минует эта ночь (и будем надеяться, что она кончится так, как мы хотим), ты не останешься без награды. А теперь к делу, Сэр Генри Ли, нажмите тайную пружину в раме портрета вашего предка... Нет, не утруждайте себя уловками, не берите на совесть лжи и, повторяю, немедленно нажмите пружину!

— Когда я признаю вас своим хозяином и буду носить вашу ливрею, я, может быть, стану выполнять ваши приказания, — ответил баронет, — но и тогда не смогу этого сделать, прежде чем пойму, чего вы хотите.

— Девушка, — сказал Кромвель, обращаясь к Фиби, — пойді нажми пружину, у тебя это быстро

получалось, когда ты помогала в проделках с вудстокскими демонами и напугала даже Марка Эверарда, — я полагал, что у него больше здравого смысла.

— О господи, сэр, что мне делать? — вскрикнула Фиби, глядя на баронета. — Они знают все. Что мне делать?

— Во имя твоей жизни, держись до конца, девушка! Каждая минута дороже миллиона.

— А! слышишь, Пирсон? — сказал Кромвель офицеру; затем, топнув ногой, прибавил:

— Нажми пружину, не то я пущу в ход рычаги и ломы... Или вот что: здесь пригодится вторая петарда...

Позови сапера.

— О господи, сэр! — закричала Фиби. — Второй петарды я не переживу! Я нажму пружину.

— Делай как хочешь, — сказал сэр Генри, — это им мало поможет.; От подлинного ли волнения или желая выиграть время, Фиби несколько минут провозилась с пружиной, очень искусно спрятанной в раме портрета вместе с рычагом, который она приводила в действие.

Когда весь этот механизм был скрыт в раме, портрет был совершенно неподвижен, и, осматривая его, полковник Эверард не заметил никаких признаков того,

что рама могла поворачиваться. Теперь, однако, она сдвинулась, и показался узкий проход; с одной стороны его поднимались ступеньки в толщу стены.

Кромвель стал похож на борзую, спущенную со сворки и готовую погнаться за дичью.

— Вперед! — вскричал он. — Пирсон, ты проворнее меня... За ним ты, капрал. — С живостью, которой нельзя было ожидать от человека его телосложения и возраста, уже перешедшего за середину жизни, с криком:

— Вы, с факелами, вперед! — Он последовал за отрядом, как ретивый охотник за собаками,

одновременно ободряя и направляя их по лабиринту, описанному доктором Рочклифом в «Чудесах Вудстока».

Глава XXXIV

*Чтоб жизнь спасти
от королевы,
Решил тогда король
Построить
укрепленный замок,
Невиданный дотоль.
Он в Вудстоке был
слажен прочно
Из бревен и камней;
Скрывались в стенах
круглых башен
Сто пятьдесят дверей.
В те дни без нити
путеводной
Ни друг, ни враг не мог*

Клиффорд, от ревности своей супруги, знаменитой королевы Элеоноры. Правда, доктор Рочклиф из духа противоречия, охватывающего по временам всех антиквариетов, осмелел настолько, что стал оспаривать такое объяснение запутанного лабиринта комнат и коридоров, пронизывавшего стены старинного дворца; но не подлежит сомнению, что, возводя это здание, какой-то архитектор-норманн показал чудеса сложного искусства, которое его собратья часто применяли и в других местах, создавая скрытые персходы и тайники. В замке были лестницы, поднимавшиеся, казалось, только для

того, чтобы тут же спуститься вниз, коридоры, после множества поворотов и извилин возвращавшиеся к тому месту, откуда начинались; там были двери в полу и люки, подвижные панели и опускаемые решетки. Оливеру помогал план, составленный и переданный ему Джозефом Томкинсом, который во время службы у доктора Рочклифа хорошо изучил замок; однако этот план оказался несовершенным; к тому же путь преграждали крепкие двери, толстые стены и железные решетки. Солдаты плутали в темноте, не зная, приближаются ли они к концу лабиринта или удаляются от него. Им пришлось послать за

рабочими с большими кузнечными молотами и другими инструментами и взломать несколько таких дверей, которые не удалось открыть никаким другим способом. С трудом подвигались они по этим мрачным коридорам, порой задыхаясь от пыли, поднимавшейся при попытках взломать двери; солдат приходилось сменять чаще обычного, и сам тучный капрал Милость Божья пыхтел и отдувался, как дельфин, выброшенный на сушу. Один только Кромвель все с тем же усердием продолжал упорствовать в поисках; он ободрял солдат, приводя наиболее понятный для них довод, что робеют лишь нестойкие в вере, и расставлял

караулы, чтобы закрепить за собой уже исследованные места. Своим зорким и наблюдательным взглядом он обнаружил веревки и приспособления, посредством которых была перевернута кровать бедного Десборо, остатки маскарадных костюмов и тайные проходы, с помощью которых были одурачены Десборо, Блетсон и Гаррисон.

С иронической усмешкой он указал на все это Пирсону и, вместо всяких объяснений, воскликнул:

— Доверчивые глупцы!

Но его сподвижники начали падать духом и терять мужество, и, чтобы подбодрить их, понадобилась

вся его энергия. Он обратил их внимание на голоса, которые как будто слышались впереди и, по его мнению, служили доказательством, что они идут по следу каких-то врагов республики, укрывшихся в этой таинственной крепости для осуществления своих злодейских планов.

Но как он ни ободрял своих солдат, под конец они совсем пали духом. Они стали перешептываться между собой о демонах Вудстока, которые, быть может, заманивали их все дальше, в комнату, существовавшую, по слухам, в замке, где пол, вращающийся на оси, повергал всех входивших в бездну.

Хамгаджон сказал, что он сегодня утром гадал по библии и ему попался такой текст: «Евтих упал вниз с третьего жилья». Однако же энергия и твердость Кромвеля восторжествовали, и после раздачи еды и крепких напитков солдаты продолжали поиски.

И все-таки, несмотря на их неутомимые усилия, утро уже забрезжило над замком, когда они добрались до тайного кабинета Рочклифа, в который, впрочем, попали гораздо более сложным путем, чем попадал туда сам доктор. Но тут они опять остановились в недоумении. По различным предметам, разбросанным вокруг, и

приготовлениям к еде и ночлегу было видно, что они достигли самого центра лабиринта; множество коридоров, начинавшихся отсюда, вели в такие места, где они уже побывали, или в другую часть замка, а там, по уверениям их собственных часовых, никто не проходил. Кромвеля долго терзала неуверенность. Наконец он приказал Пирсону собрать шифры и важнейшие бумаги, лежавшие на столе.

— Хотя я уже почти все знаю через Верного Томкинса... Честный Джозеф, такого искусного и пронырливого агента, как ты, нет больше во всей Англии.

После долгого молчания, во время которого он постучал эфесом шпаги почти по каждому камню стены и по каждой доске пола, генерал велел привести старого баронета и доктора Рочклифа, в надежде добиться у них объяснения тайн кабинета.

— Ваше превосходительство, позвольте, я ими займусь, — сказал Пирсон — настоящий головорез, когда-то бывший пиратом в Вест-Индии. — Я думаю, что если им туго перевязать голову веревкой, да еще затянуть рукояткой от пистолета, можно будет выжать у них или правду с языка, или глаза из орбит...

— Стыдись, Пирсон, — сказал

Кромвель с отвращением, — мы не имеем права так поступать, мы англичане и христиане. Мятежников можно убивать, как вредных животных, но подвергать их пыткам — смертный грех, ибо в писании сказано: «Он вселил жалость в сердце тех, кто их полонил». Более того — я отменяю и приказание о допросе; верю, что нам и без этого будет дарована мудрость, чтобы открыть самые сокровенные их замыслы.

Снова наступило молчание, во время которого у Кромвеля вдруг блеснула новая мысль.

— Дайте мне вон тот стул, — сказал он. Поставив его под одним из

двух окон, пробитых так высоко, что до них нельзя было достать с пола, он влез в амбразуру окна, глубиной в шесть или семь футов — такова была толщина стены.

— Полезай сюда, Пирсон, — сказал генерал, — но прежде удвой караул у этой башенки, у лестницы Любви, и пусть принесут вторую петарду. Так, теперь полезай сюда.

Младший офицер, хотя и храбрец на поле битвы, был из тех, у кого на большой высоте начинаются головокружение и тошнота. Он отпрянул при виде пропасти, у которой Кромвель стоял совершенно спокойно. Генерал схватил своего помощника за руку и потянул его к

самому краю.

— Кажется, я нашел ключ к разгадке, — сказал он, — но при таком свете дело будет нелегкое. Смотри: мы стоим на балконе у самой вершины башни Розамунды, а эта вот башенка напротив, у наших ног, и есть лестница Любви; с нее распутный норманский тиран по подъемному мосту попадал в башню к своей любовнице.

— Верно, милорд, но моста теперь нет, — заметил Пирсон.

— Правильно, Пирсон, — ответил генерал, — но ловкий человек может прыгнуть с того места, где мы стоим, на зубчатые стены той башенки.

— Сомневаюсь, милорд, — возразил Пирсон.

— Как! — воскликнул Кромвель. — А если бы за спиной у тебя стоял кровавый мститель с грозным оружием в руках?

— Страх смерти может сделать многое, — ответил Пирсон, — но как посмотрю на эти отвесные стены с обеих сторон и на бездну между нами и той башенкой (а до нее наверняка будет добрых двенадцать футов), признаюсь, я бы прыгнул только под угрозой верной смерти. Фу, от одной мысли голова кружится... Меня дрожь берет, когда я вижу, что ваше высочество стоите здесь и раскачиваетесь, точно

собираетесь прыгнуть в бездну. Повторяю, я побоялся бы стоять так близко к краю, как ваше высочество, даже ради спасения моей жизни.

— О низкий трус, — сказал генерал, — душа из грязи и глины, неужели ты не сделал бы этого и еще гораздо больше, чтобы обладать империей!.. То есть в том случае, — продолжал он, изменив тон, как человек, сказавший слишком много, — если бы ты был призван свершить это и вознестись над народом Израиля, освободить Иерусалим из плена.., да и, возможно, осуществить великое деяние для страждущего народа этой страны?

— Ваше высочество, может быть, чувствует в себе такое призвание, — сказал офицер, — но подобные поступки не для бедного Гилберта Пирсона, вашего верного помощника. Вы пошутили надо мной вчера, когда я пытался говорить вашим языком; а я столь же мало способен осуществить ваши помыслы, как говорить по-вашему.

— Слушай, Пирсон, — сказал Кромвель, — ты три, даже четыре раза назвал меня ваше высочество. Г — Правда, милорд? Я и не заметил. Прошу прощения, — отвечал офицер.

— Нет, я на тебя не в обиде, — возразил Оливер. — Я в самом деле вознесен высоко и, быть может,

вознесусь еще выше, хотя, увы, для такого простого человека больше подходило бы вернуться к плугу и пашне. Но все же я не буду противиться воле всевышнего, если он призовет меня и дальше служить этому благому делу. Ибо, поистине, тот, кто был для нашего британского Израиля щитом спасения и мечом совершенства, тот, кто обличал перед ним лживых врагов его, не отдаст свое стадо безумным уэстминстерским пастырям, которые стригут овец и не кормят, а сами, поистине, наемники, а не пастыри.

— Я надеюсь увидеть, как ваша милость спустите их всех с лестницы, — ответил Пирсон. — Но

дозвольте спросить, к чему эти речи теперь, пока мы еще не покончили с общим врагом?

— Я не буду медлить ни минуты, — сказал генерал. — Закрой внизу выход с этой лестницы Любви — я уверен, что враг, которого мы всю ночь теснили от одного тайника к другому, в конце концов перескочил на те зубцы с балкона, где мы сейчас стоим. Если поставить часовых у выхода из башенки, то место, где он хотел спастись, окажется мышеловкой, из которой ему уже не выйти.

— Здесь, в кабинете, есть бочонок пороха, — сказал Пирсон, — не лучше ли, милорд, заложить его

под башню, если враг не захочет сдаться, и пусть она со всем содержимым взлетит на сто, футов в воздух?

— Ах, приятель! — сказал Кромвель, дружески похлопав его по плечу. — Если бы ты мне ничего не сказал и сам распорядился, вот была бы хорошая услуга!

Но сначала мы протрубим ему вызов, а потом подумаем, понадобится ли нам петарда, — ведь это уж дело саперов. Трубите вызов там, внизу!

По его приказу заиграли трубы, и эхо прокатилось вдоль старых стен, по углам, переходам и сводчатым аркам. Кромвель, как будто не хотел

смотреть на человека, которого ожидал увидеть, отошел назад, как колдун, испугавшийся вызванного духа.

— Он вышел на зубец, — сказал Пирсон своему генералу.

— Каков он собой? Как одет? — спросил Кромвель из глубины комнаты.

— Серый камзол для верховой езды, серебряное шитье, коричневые сапоги, серая шляпа с пером, волосы черные.

— Он, он! — воскликнул Кромвель. — Благодарю господа за эту удачу, которая увенчает все мои старания!

Между тем Пирсон и Ли-

младший, стоя на своих местах, обменялись заносчивыми словами.

— Сдавайся, — сказал первый, — не то мы взорвем тебя вместе с твоей крепостью.

— Я принадлежу к высокому роду и не собираюсь сдаваться бунтовщикам, — ответил Альберт, приняв такой вид, с каким на его месте говорил бы король.

— Беру вас в свидетели, — закричал Кромвель в восторге, — он отказался от пощады! Поистине, пусть кровь его падет па его голову. Эй, кто-нибудь! Снесите вниз бочонок с порохом. Раз ему хочется так высоко вознестись, мы добавим все, что найдется в солдатских

патронташах. Пойдем со мной, Пирсон, ты понимаешь в этом деле... Капрал Милость Божья, стой твердо в нише, где стояли мы с капитаном Пирсоном, и коли алебардой всякого, кто захочет пройти. Ты силен, как бык, а я поддержу тебя даже против самого отчаяния.

— Но пост этот — как вершина храма, — возразил капрал, влезая в нишу с явной неохотой, — а в писании сказано, что Евтих упал вниз с третьего жилья и был поднят мертвым.

— Потому что он заснул на посту, — тут же нашелся Кромвель. — Будь осторожен, и тогда нога твоя не оступится. Вы, четверо

солдат, оставайтесь здесь, поддерживайте капрала, если понадобится, и вместе с ним пройдете в сводчатый коридор в ту минуту, когда трубы протрубят отбой. Он крепкий, как каземат, вы будете там в безопасности от мины. Ты, Зоровавель Робине, будешь командиром.

Робине поклонился, и генерал вышел к тем, кто был во дворе.

Не успел он дойти до двери в холл, как услышал взрыв петарды, и, по-видимому, удачный; солдаты, потрясая мечами и пищалями, бросились к входу в башенку, дверь которой была разбита взрывом. Трепет восторга и ужаса прошел по

жилам честолубивого воина.

— Кончено... Кончено! — закричал он. — Сейчас они с ним расправятся.

Его ожидания не оправдались. Пирсон и солдаты вернулись обескураженные и доложили, что узкую лестницу закрывает крепкая решетчатая железная дверь, а футов на десять выше их ожидает еще одно такое же препятствие. Ломать эту дверь, в то время как отчаянный и хорошо вооруженный враг находился на несколько ступеней выше, могло стоить многих жизней.

— А наша обязанность, увы, — сказал генерал, — щадить жизнь солдат. Что посоветуешь, Гилберт

Пирсон?

— Придется пустить в ход порох, милорд, — отвечал Пирсон, знавший скромность своего начальника и уверенный в том, что он не станет приписывать себе все заслуги. — Под основанием лестницы легко вырыть подходящую камеру. К счастью, у нас есть фитиль, и, таким образом...

— Ну, — сказал Кромвель, — я знаю, ты на это дело мастер... А я, Гилберт, пойду проверю посты и прикажу им отойти от опасного места, когда протрубят отбой. Дай им срок пять минут.

— Хватит и трех для этих негодяев, — возразил Пирсон. — Только хромой стал бы требовать

больше.

Для себя я прошу одну минуту, хотя сам поджигаю фитиль.

— Смотри, — сказал Кромвель, — если бедняга надумает сдаться, его надо выслушать. Быть может, он раскается в своем упорстве и будет просить пощады.

— Мы его пощадим, — ответил Пирсон, — если только он будет кричать так громко, чтобы я услышал: от взрыва этой проклятой петарды я оглох, как чертова бабушка.

— Тише, Гилберт, тише! — остановил его Кромвель. — Не произноси таких греховных слов.

— Черт возьми, сэр, должен же

я говорить или на ваш манер, или на свой, — сказал Пирсон, — а то мало, что я оглох, придется еще и онеметь...

Ну, идите, милорд, проверяйте посты; сейчас вы услышите, как я произведу изрядный шум на белом свете.

Кромвель снисходительно улыбнулся шуткам своего адъютанта, хлопнул его по плечу, назвал безумцем, отошел на несколько шагов, затем вернулся, шепнув: «Что делаешь, делай скорей», и снова направился к внешнему кольцу часовых, то и дело поворачивая голову, словно желая убедиться, что капрал, назначенный на этот пост,

по-прежнему стоит на страже над жуткой бездной между башней Розамунды и лестницей Любви. Убедившись, что он на месте, генерал пробормотал себе в усы: «Этот малый силен и смел, как медведь, а на таком посту один может задержать целую сотню». Он бросил последний взгляд на гигантскую фигуру, стоявшую на огромной высоте, словно готическая статуя; алебарда одним концом упиралась в правую ногу, а другой был направлен на башню; стальной шлем и вороненая кольчуга блестели в лучах восходящего солнца.

Затем Кромвель стал отдавать приказания часовым, которым

угрожала опасность от взрыва мины, чтобы они по сигналу трубы отошли в указанные места. Никогда за всю свою жизнь не проявлял он такого спокойствия и присутствия духа. Он был добродушен, даже шутил с солдатами, которые его обожали; и все же он походил на вулкан перед извержением — внешне был совершенно спокоен и невозмутим, в то время как сотня противоречивых чувств бушевала в его груди.

Тем временем капрал Хамгаджон твердо стоял на своем посту; и все же, хотя он был одним из самых смелых солдат, когда-либо сражавшихся в грозном полку железнобоких, и обладал немалой

долей восторженного фанатизма, от которого природная храбрость суровых протестантов превращалась в беззаветную отвагу, старый ветеран понимал, что сейчас его положение крайне опасно. Башня, возвышавшаяся па расстоянии пики от него, вот-вот должна была взлететь на воздух; и он не очень надеялся на то, что в течение условленного времени успеет укрыться от такого опасного соседства. Эти естественные чувства отчасти отвлекали его от долга неуклонной бдительности на посту и побуждали время от времени отводить взор от башенки и смотреть вниз, на сапера.

Наконец напряжение достигло предела. Пирсон в течение двадцати минут несколько раз входил в башню. Теперь он появился, вероятно, в последний раз, неся в руках и разматывая на ходу колбасу, или холщовую кишку (так ее называли по внешнему виду); она была крепко сшита, набита порохом и должна была служить фитилем и соединять мину с тем местом, где стоял сапер. Пока он окончательно прилаживал ее, внимание капрала, стоявшего наверху, было всецело и непреодолимо привлечено подготовкой взрыва. Но когда он смотрел за тем, как адъютант доставал свою пищаль, чтобы

поджечь фитиль, а трубач уже подносил ко рту трубу, ожидая приказа играть отбой, судьба обрушилась на несчастного часового самым неожиданным образом.

Молодой, энергичный, смелый, полностью сохранявший присутствие духа Альберт Ли зорко наблюдал через бойницу за каждым действием осаждающих и решился на отчаянную попытку. В тот момент, когда часовой в нише напротив отвернулся и наклонился вниз, Альберт внезапно перепрыгнул через бездну, хотя на площадке, куда он метил, едва хватило бы места для двоих, сбросил солдата с опасного поста, а сам соскочил в комнату.

Великан свалился с высоты двадцати футов, ударился о зубец, который отбросил его в сторону, и грохнулся на землю с такой страшной силой, что голова, коснувшись земли, выдавила яму глубиной в шесть дюймов и раскололась, как яичная скорлупа. Едва поняв, что произошло, удивленный и ошеломленный низвержением этого тяжелого тела, упавшего на небольшом расстоянии от него, Пирсон без предупреждения выстрелил из пистолета в фитиль: порох вспыхнул, и мина взорвалась. Если бы в ней был большой заряд пороха, пострадали бы многие из стоявших вокруг; но силы взрыва

хватило только на то, чтобы часть стены, как раз над фундаментом, отлетела в сторону; однако равновесие здания было нарушено. Тогда все, кто имел мужество смотреть на это ужасное зрелище, увидели, как среди облака дыма, которое поднялось от основания к вершине и постепенно окутало здание, как саван, башня покачнулась и зашаталась.

Здание вначале медленно наклонилось в сторону, затем стремительно обрушилось, раскидав по земле огромные глыбы камня и силой своего сопротивления свидетельствуя о необычайной прочности постройки.

Как только сапер поджег фитиль, он отбежал так стремительно, что едва не столкнулся со своим генералом, который подошел в тот момент, когда с вершины здания свалился огромный камень и, пролетев дальше других, грохнулся на расстоянии ярда от Кромвеля.

— Ты поторопился, Пирсон, — сказал генерал, сохраняя полнейшее присутствие духа, — скажи-ка, не упал ли кто с этой Силоамской башни?

— Кто-то упал, — ответил Пирсон, еще не оправившись от волнения, — вон там лежит тело, оно наполовину засыпано мусором.

Быстрыми и решительными шагами Кромвель приблизился к телу и воскликнул:

— Пирсон, ты меня погубил...
Наследник бежал...

Это наш собственный часовой...
Провалиться бы, этому болвану!
Пусть сгниет под развалинами!

Тут раздался крик с площадки башни Розамунды — она казалась еще выше теперь, когда не стало соседней башенки, которая соперничала с ней, хотя и не достигала ее высоты.

— Пленник, благородный генерал... Пленник!.. Попалась лиса, за которой мы гонялись всю ночь!..

Господь отдал ее в руки слуг

СВОИХ.

— Смотрите, чтобы он был цел и невредим! — воскликнул Кромвель. — И ведите его вниз, в ту комнату, откуда расходятся потайные коридоры.

— Слушаем, ваше превосходительство.

Крики эти относились к Альберту Ли: его попытка бежать не удалась. Как мы уже говорили, он толкнул с площадки часового, несмотря на гигантскую силу этого солдата, и тут же спрыгнул вниз, в кабинет Рочклифа. Но там па него бросились стражники и после отчаянной и неравной борьбы повалили молодого роялиста на пол;

собрав последние силы, он увлек за собой двух солдат, которые упали на него.

В тот же миг раздался оглушительный взрыв, потрясший все вокруг, как близкий удар грома, и неприступная прочная башня дрогнула, словно мачта величественного судна, когда оно дает залп всем бортом. Через несколько секунд последовал другой глухой звук, вначале низкий и глубокий, но все возрастающий, как рев водопада, когда он, низвергаясь, бурлит, бушует и грохочет, точно стремится напугать небо и землю. В самом деле, шум падения соседней башни был так страшен, что и

пленник и его противники на минуту застыли, крепко обхватив друг друга.

Альберт первый пришел в себя. Он сбросил упавших на него солдат и сделал отчаянную попытку встать на ноги. Отчасти это ему удалось. Но он имел дело с людьми, привыкшими к опасностям; они оправились почти так же быстро, как и он, обезоружили его и связали. Верный и преданный долгу, он решил до конца играть свою роль и, когда его сопротивление стало наконец бесполезным, воскликнул:

— Мерзкие бунтовщики! Вы хотите убить своего короля?

— Ха-ха! Слышали? — крикнул один из солдат, обращаясь к унтер-

офицеру, командиру отряда, — Не ударить ли мне этого сына преступного отца под пятое ребро, совсем так же, как Аод поразил даря моавитян мечом длиною в локоть?

Но Робине ответил:

— Боже упаси, Мерсифул Стрикелсро, чтобы мы хладнокровно убили того, кто стал пленником нашего лука и копья. Довольно мы, кажется, пролили крови со времени штурма Тредага... [note 77](#) Поэтому, ради спасения душ ваших, не делайте ему зла, а только отберите у него оружие, и мыведем его к Сосуду Избранному, к нашему генералу, и пусть он делает с ним, что ему заблагорассудится.

В это время солдат, с восторгом поспешивший первым возвестить Кромвелю о счастливом событии, спустился с зубцов башни к остальным и передал распоряжение генерала; оно совпадало с приказанием их временного начальника, и Альберта Ли, обезоруженного и связанного, отвели, как пленника, в комнату, получившую свое название от побед его предка; тут он предстал перед генералом Кромвелем.

Прикидывая, сколько времени прошло с отъезда Карла до того момента, когда осада, если ее можно так назвать, кончилась и самого его взяли в плен, Альберт имел все

основания надеяться, что его государь уже успел скрыться от преследования. Но он все-таки решил до конца продолжать обман, который мог бы еще на некоторое время оградить короля от опасности. Враги, думал он, не заметят сразу, что он непохож на Карла, потому что он был весь в пыли, в копоты и в крови от нескольких царапин, полученных во время схватки.

В таком печальном виде Альберт держался с достоинством, подобающим роли короля. Его ввели в комнату Виктора Ли, где в кресле его отца сидел торжествующий враг того дела, которому весь род Ли был предан из поколения в поколение.

Глава XXXV

*За самозванство
жизнью заплатился:*

*Зачем ты мне солгал,
что ты король?*

«Генрих IV», ч. 1

Когда два ветерана, Зоровавель Робине и Мерсифул Стрикелсро, ввели в комнату пленника, которого они держали под руки, Оливер Кромвель встал с кресла; устремив свои суровые карие глаза на Альберта, он долго не мог выразить переполнявшие его чувства. Среди них преобладало ликование.

— Не ты ли, — сказал он наконец, — тот египтянин, что во время оно поднял шум и вывел в пустыню много тысяч человек, которые были убийцами? Ах, юноша, я гнался за тобой от Стирлинга до Вустера и от Вустера до Вудстока, и вот наконец мы встретились!

— Я хотел бы, — возразил Альберт, не выходя из роли, — чтобы мы встретились в таком месте, где бы я мог показать тебе разницу между законным королем и честолюбивым узурпатором!

— Вот что, молодой человек, — подхватил Кромвель, — скажи лучше: разницу между судьей, поднявшимся на освобождение

Англии, и сыном королей, которых
господь в гневе своем допустил
править ею.

Но мы не станем напрасно
тратить слова. Господу известно, что
не наша воля подвигла нас на столь
высокие дела; мысли наши
смирены, как мы сами; по природе
своей мы слабы и глупы и способны
повиноваться только высокому духу,
действующему внутри нас, но от нас
не зависящему... Ты устал, молодой
человек, и телу твоему нужны
подкрепление и отдых, потому что
ты, конечно, привык к деликатному
обращению, жирной пище и
сладкому питью, к одежде из
пурпурных тканей и тонкого

полотна..

Здесь генерал запнулся и вдруг резко воскликнул:

— Но разве это... Кто же он? Это не кудри смуглого Карла Стюарта!.. Обман! Обман!

Альберт быстро, взглянул в зеркало, стоявшее в комнате, и увидел, что темный парик, найденный среди разнообразного гардероба доктора Рочклифа, во время схватки с солдатами сдвинулся, и из-под него выбились его собственные светло-каштановые волосы.

— Кто это? — воскликнул Кромвель, в бешенстве топнув ногой. — Сорвите с него чужой

наряд!

Солдаты повиновались, и, когда Альберта подвели к свету, обман тут же раскрылся. Кромвель подошел к нему, скрежеща зубами, стиснув руки, дрожа от бешенства, и сказал глухим голосом, полным горечи и ярости, как будто за словами его должен был последовать удар кинжалом:

— Твое имя, молодой человек?

Ответ был спокойный и твердый; лицо говорившего выражало торжество и даже презрение: :

— Альберт Ли из Дитчли, верный подданный короля Карла.

— Я мог бы сам догадаться об этом, — сказал Кромвель. — Ну, так

ты и отправишься к королю Карлу, как только часы покажут полдень... Пирсон, — продолжал он, — отведи его к остальным; и пусть их казнят ровно в двенадцать.

— Всех, сэр? — спросил Пирсон с удивлением:

Кромвель, хоть иногда для острастки сурово наказывал своих врагов, вообще не любил проливать кровь.

— Всех, — повторил Кромвель, устремив взгляд на Ли-младшего. — Да, молодой человек, твое поведение обрекло на смерть твоего отца, двоюродного брата и гостя, жившего в вашей семье. Вот какое зло причинил ты дому отца своего.

— И отец тоже..., мой престарелый отец! — воскликнул Альберт, подняв взор к небу; он попытался поднять и руки, но не смог, потому что они были связаны. — Да свершится воля господня!

— Всего этого кровопролития можно избежать, — сказал генерал, — если ты ответишь на один вопрос...

Где молодой Карл Стюарт, которого называли королем Шотландии?

— Под покровительством неба и за пределами твоей власти, — твердо, не задумываясь, ответил молодой роялист.

— В тюрьму его, — приказал Кромвель, — а оттуда на казнь, вместе с остальными мятежниками, пойманными с поличным. Пусть они тотчас же предстанут перед военно-полевым судом.

— Одно слово, — сказал молодой Ли, когда солдаты хотели увести его из комнаты.

— Стойте, стойте! — крикнул Кромвель с волнением возродившейся надежды. — Выслушаем его!

— Вы любите тексты из писания, — сказал Альберт, — вот вам тема для вашей следующей проповеди: «Знал ли покой Зимри, убивший своего господина?»

— Уведите его, — приказал генерал. — Смерть ему!.. Решено.

При этих словах Кромвеля адъютант заметил, что он сильно побледнел, — Ваше превосходительство переутомились, служа народу, — сказал Пирсон. — Вечером вас освежит охота на оленя. У старого баронета есть здесь породистый пес... Если только нам удастся заставить его охотиться без хозяина... Это может быть трудно, потому что он верный слуга и...

— Повесить его, — сказал Кромвель.

— Как?.. Кого?... Повесить породистого пса? Ваше превосходительство ведь всегда

любили хороших собак.

— Все равно, — сказал Кромвель, — убить его.

Разве не сказано, что они убили в долине Ахора не только проклятого Ахана с его сыновьями и дочерьми, но и его быков, и ослов, и его овец, и все живые существа, ему принадлежавшие? И именно так мы поступим с семьей мятежников Ли, которая помогла бежать Сисаре, когда Израиль мог навсегда освободиться от своих бедствий. Но вышли поскорее гонцов и патрули... Догоняйте, преследуйте, ищите во всех направлениях... Чтобы через пять минут мой конь был готов и стоял у дверей, или приведите

любого, какого сможете достать, Пирсону показалось, что генерал говорит как-то несвязно и что на лбу у него выступил холодный пот.

Поэтому адъютант вновь стал настаивать, что надо отдохнуть, и, казалось, природа решительно поддержала его слова. Кромвель встал, сделал шаг или два по направлению к двери, но остановился, пошатнулся и, помолчав, опустился в кресло.

— Верно, друг Пирсон, — сказал он, — наше брренное тело — помеха нам даже в важнейших делах, и сейчас я больше гоюсь для сна, чем для дела, а это бывает со мной редко. Поэтому расставь стражу, пока

мы отдохнем часок-другой. Вышли погоню во всех направлениях и не щади лошадей. Разбуди меня, если военно-полевому суду потребуются распоряжения, и не забудь присмотреть, чтобы приговор над семьей Ли и теми, кто был арестован с ними, был исполнен в точности.

Тут Кромвель встал и хотел было открыть дверь одной из спален, но Пирсон опять остановил его вопросом, правильно ли он понял его превосходительство, что надо казнить всех пленников.

— Ведь я сказал! — ответил Кромвель с неудовольствием. — Ты же кровожадный человек и всегда был таким; не для того ли ты

высказываешь эти угрызения совести, чтобы тебя сочли мягкосердечным за мой счет? Говорю тебе, если в списке казненных будет пропущен хоть один, ты поплатишься жизнью.

С этими словами он вошел в спальню в сопровождении своего камердинера, вызванного Пирсоном.

Когда генерал удалился, Пирсон остался в полном недоумении, что делать; его терзали не угрызения совести, а страх, что он навлечет на себя неудовольствие Кромвеля в обоих случаях: и если он отложит, и если слишком поспешно и буквально исполнит его распоряжения.

В это время Стрикелсро и

Робине, отведя Альберта в тюрьму, вернулись в комнату, где Пирсон все еще раздумывал над приказами своего генерала. Оба были проповедниками в своей армии и старыми солдатами, с которыми Кромвель обычно обращался запросто; поэтому Робине без колебаний спросил капитана Пирсона, намерен ли он в точности выполнить приказ генерала.

Пирсон сначала нерешительно покачал головой, но потом твердо сказал:

— Выбора нет.

— Можешь быть уверен, — сказал старик, — что если ты совершишь эту глупость, ты

вовлечешь Израиль во грех, а генерал не обрадуется такой услуге.

Ты знаешь, и никто не знает лучше тебя, что хотя Оливер верностью, мудростью и храбростью подобен Давиду, сыну Иессея, но бывают времена, когда на него находит злой дух, как на Саула, и тогда он отдает такие приказы, что за исполнение их потом никому не скажет спасибо.

Пирсон был слишком тонкий политик, чтобы сразу согласиться на предложение, которого не мог отвергнуть; он только еще раз покачал головой и сказал, что легко говорить тому, кто не несет ответственности, и что обязанность

солдат — выполнять приказы, а не обсуждать их.

— Совершенно справедливо, — сказал Мерсифул Стрикелсро, мрачный старый шотландец. — Удивляюсь, откуда брат Зоровавель набрался такого мягкосердечия?

— Ну что ж, — ответил Зоровавель, — я только хочу, чтобы четыре-пять человеческих душ могли пожить на белом свете еще часок-другой; большого зла не будет в том, что мы повременим с казнью, а генерал тем временем успеет поразмыслить.

— Это все так, — сказал капитан Пирсон, — но от меня по службе требуется больше точности в

выполнении приказов, чем от такого простака, как ты, друг Зоровавель.

— Тогда пусть грубая суконная шинель рядового поможет золотому камзолу капитана выдержать бурю, — сказал Зоровавель. — Да, в самом деле, — я могу объяснить, почему мы должны помогать друг другу в делах милосердия и, долготерпения; ведь и лучшие из нас — только бедные грешники; плохо нам придется, когда нас призовут: к ответу.

— Поистине, ты удивляешь меня, брат Зоровавель, — сказал Стрикелсро. — Как это ты, старый и опытный солдат, поседевший в боях, даешь такой совет молодому

офицеру? Не на то разве избран наш генерал, чтобы убрать всю дрянь из страны и выкорчевать амалекитян, и йевусеев, и фerezеев, и хеттеев, и гергесеев, и амореев? И не подобны ли эти люди пяти царям, укpывшимся в пещере Макдаха и преданным в руки Иисуса, сына Навина? И он позвал своих полководцев и солдат и заставил их попать пленных ногами... А потом пронзил их и убил, а потом повесил на пяти деревьях, и они висели до вечера... А ты, Гилберт Пирсон, не останавливайся перед исполнением долга, который на тебя возложен, а поступай именно так, как приказал тебе тот, кто вознесен для того,

чтобы судить и освободить Израиль; ибо в писании сказано: «Проклят тот, кто отводит назад меч свой от боя».

Так пререкались два военных богослова, в то время как Пирсон, гораздо больше желавший угодить Оливеру, чем угадать волю небес, растерянно слушал их, не зная, на что решиться.

Глава XXXVI

*Как воины в дозоре,
облачим*

*В доспехи наши души и
спокойно*

*Пойдем судьбе
навстречу.*

Джоанна Бейли

Читатель, вероятно, помнит, что когда Рочклиф и Джослайн были взяты в плен, в обозе эскортирующего их отряда было еще двое арестованных, а именно — полковник Эверард и преподобный Ниимайя Холдинаф. Когда Кромвель

ворвался в Вудсток и начал поиски бежавшего принца, пленников поместили в камеру, прежде бывшую караулкой, с такими толстыми и прочными запорами, что она могла служить и тюрьмой; Пирсон приставил к ним часового. Свет зажигать не разрешили, и комната освещалась лишь углями, тлевшими в камине. Пленников поместили на некотором расстоянии друг от друга; полковник Эверард сидел с Ниимайей Холдинафом поодаль от доктора Рочклифа, сэра Генри Ли и Джослайна. Вскоре к ним присоединился Уайлдрейк; его втолкнули так бесцеремонно, что он едва не упал носом вниз посреди

камеры, потому что руки его были связаны.

— Благодарю вас, добрые друзья мои, — сказал он, оглядываясь на дверь, которую запирали за ним солдаты. — Point de ceremonie [note 78](#) — швырнули и даже не извинились. Зато я попал в хорошую компанию...

Мое почтение всем вам, джентльмены... Как же это? A la mort [note 79](#), и нет ничего, чтобы поднять настроение и весело провести вечер?... Это, верно, наш последний вечер; ставлю полпенни против миллиона, что завтра мы будем болтаться на виселице... Патрон, почтенный патрон, как дела? Я-то, возможно, и заслужил от него что-

нибудь в этом роде, но с вами Нол сыграл подлую штуку.

— Прошу тебя, Уайлдрейк, сядь, — прервал его Эверард. — Ты пьян... Оставь нас в покое.

— Пьян? Я пьян? — закричал Уайлдрейк. — Я только ополоснул грот-мачту, как говорит Джек из Уоппинга...

Попробовал республиканской водки, выпил полный бокал за здоровье короля, второй — за то, чтобы поперхнуться его превосходительству, а третий — за то, чтобы парламент шел к черту... И, может быть, еще бокал-другой, однако все с дьявольски добрыми пожеланиями. Но я совсем не пьян.

— Прошу тебя, друг, не ругайся, — сказал Ниимайя Холдинаф.

— А, мой пресвитерианский священничек, мой тощенький попик! И вам приходится сказать «аминь» этому свету, — продолжал Уайлдрейк. — Вот я-то здорово тут помучился... А, благородный сэр Генри, целую вашу руку... Говорю тебе, баронет, прошлой ночью острие моего толедского кинжала было ближе к сердцу Кромвеля, чем пуговица на его груди. Черт его подери, он носит под одеждой кольчугу... Хорош солдат! Если бы не проклятая стальная рубашка, я бы насадил его на вертел, как

жаворонка... А, доктор Рочклиф!.. Ты-то знаешь, что я хорошо владею шпагой.

— Да, — ответил доктор, — а ты знаешь, что и я в этом деле не профан.

— Прошу тебя, успокойся, мистер Уайldreйк, — сказал сэр Генри.

— Нет, добрый баронет — ответил Уайldreйк, — будь снисходителен к товарищу по несчастью. Ведь это тебе не штурм Брентфорда. Потаскуха Фортуна была для меня настоящей мачехой. Я сочинил песню о своем невезении. Послушайте.

— Сейчас, капитан Уайldreйк,

мы не в таком настроении, чтобы слушать твою песню, — вежливо, но строго сказал сэр Генри.

— Нет, она поможет вашим молитвам... Черт добери, она звучит как покаянный псалом!

Был я глуп, был я мал,
Сколько раз голодал
И валялся, как пес, под забором.
Был до баб я охоч,
Дулся в карты всю ночь —
Жил с ворами и сделался вором,
И теперь я обут,
Только здорово жмут
Башмаки, что казна подарила.
Чтобы черт их побрал,
Чтобы дьявол продрал,

Чтобы ведьма в аду их сносила!

[note 80](#)

Едва Уайldreйк прогорланил эти стихи, как дверь отворилась и в камеру ворвался часовой; он наградил певца титулом «богохульный бык вассанский» и ударил его шомполом по плечу; веревки не позволили Уайldreйку ответить на этот знак внимания.

— Еще раз благодарю вас, сэр, — сказал он, поводя плечами. — Жаль, что у меня нет возможности выразить свою благодарность — я связан и должен держаться спокойно, как капитан Бобадил... Эй, баронет,

вы слышали, как затрещали мои кости? Удар прозвучал гнусаво... Этот парень может драться даже в присутствии турецкого султана... Он не охотник до музыки, баронет... Его не тронут «сладкие созвучья».

Пари держу, что он способен на измену, хитрость...

А?.. Что нос повесил?.. Ладно... Сегодня пересплю на скамье, мне не впервой, и к утру буду готов идти на виселицу в приличном виде, а этого со мной еще не случилось.

Был я глуп, был я мал,
Сколько раз голодал
И валялся, как пес, под забором.

Тьфу! Не тот мотив.

Тут он улегся и сразу же заснул; понемногу его примеру последовали все товарищи по несчастью.

Пленникам было довольно удобно лежать на скамьях, предназначенных для отдыха караульных, хотя сон их, как можно себе представить, не был ни глубоким, ни спокойным. Но едва забрезжил дневной свет, как взрыв пороха и падение башни, под которую был подложен заряд, разбудили бы даже семерых спящих рыцарей или самого Морфея. Дым, проникший в окна, объяснил им причину грохота.

— Это взорвался мой порох, —

заметил Рочклиф, — надеюсь, от него взлетело на воздух не меньше негодяев бунтовщиков, чем он мог бы уничтожить на поле битвы. Вероятно, порох вспыхнул случайно.

— Случайно?.. Нет, — сказал сэр Генри, — поверьте, этот фитиль поджег мой смелый Альберт, и при этом взрыве Кромвель взлетел по направлению к небесному замку, которого ему никогда не достигнуть... Ах, мой отважный мальчик! Наверно, сам ты пал жертвой, как юный Самсон среди непокорных Эфилистимлян... Но скоро я последую за тобой, Альберт.

Эверард поспешил к двери, надеясь получить от часового,

который, вероятно, знал его чин и имя, объяснение этого грохота, казалось, возвещавшего какую-то ужасную катастрофу.

Между тем Ниимайя, Холдинаф, услышав звук трубы, подавшей сигнал к взрыву, в, ужасе вскочил и неистово закричал:

— Это труба архангела!.. Крушение нашего мира стихий!.. Зов к престолу Страшного суда! Мертвецы повинуются ее гласу! Они с нами... Он и среди нас...

Встают в своем телесном образе... Идут звать нас на суд!

С этими словами он устремил взгляд на доктора Рочклифа, стоявшего напротив него. Когда

доктор. вскочил со скамьи, шапочка, которую он носил по тогдашнему обычаю лиц духовного звания и государственных чиновников, слетела у него с головы и стащила вместе с собой широкую шелковую повязку, которую он надевал, вероятно, с целью маскировки, потому что на щеке под ней не оказалось никакого шрама, а глаз был такой же здоровый, как и второй, ничем не прикрытый. — Полковник Эверард отошел от двери и безуспешно пытался объяснить мистеру Холдинафу то, что узнал от часового: при взрыве погиб только один солдат Кромвеля. Пресвитерианский священник все

тем же безумным взглядом смотрел на пастора епископальной церкви.

Но доктор Рочклиф слышал и понял объяснение полковника Эверарда. Оправившись от минутного испуга, из-за которого он в первый момент не мог сдвинуться с места, он подошел к кальвинисту, хотя тот пятился от него, и самым дружеским образом протянул ему руку.

— Изыди.., изыди... — повторял Холдинаф, — живые не должны брать за руку мертвецов.

— Но ведь я, — сказал Рочклиф, — такой же живой, как и ты.

— Ты живой?.. Ты? Джозеф

Олбени? Тебя на моих глазах сбросили с зубцов замка Клайдсро!

— Да, — ответил доктор, — но ты не видел, что я выплыл к болоту, поросшему осокой — *fugit ad salices* [note 81](#); как это вышло, я объясню тебе в другой раз.

Холдинаф неуверенно тронул его за руку.

— Ты, в самом! деле, теплый и живой, — сказал он, — а все же, после стольких ран и такого ужасного падения ты не можешь быть моим Джозефом Олбени.

— Я Джозеф Олбени Рочклиф, — сказал доктор, — это имя я получил от небольшого поместья моей матери, которое

совсем сошло «а нет из-за штрафов и конфискации.

— Неужели это, в самом деле, так, — обрадовался Холдинаф, — и я вновь обрел своего старого приятеля?

— Именно так, — ответил Рочклиф, — в этом же виде я являлся тебе в зеркальной зале... Ты держался так храбро, Ниимайя, что вся наша затея могла провалиться, если бы я не предстал перед тобой в образе погибшего друга. Но, поверь, это было против моего желания.

— И не стыдно тебе? — воскликнул Холдинаф, бросаясь к нему в объятия и прижимая его к груди. — Ты всегда был негодным проказником. Как мог ты сыграть со

мной такую штуку?.. Ах, Олбени, помнишь доктора Пьюрфоя и колледж Кайюса?

— А как же? — ответил доктор, взяв пресвитерианского священника под руку и подводя его к скамье, стоявшей в стороне от других пленников, которые не могли надивиться на эту сцену. — Помню ли я колледж Кайюса? — продолжал Рочклиф. — Да, и какой славный эль мы пили и какие пирушки были у матушки Хафкен.

— Суета сует, — сказал Холдинаф, улыбаясь доброй улыбкой и все еще сжимая руку вновь обретенного друга.

— А набег на ректорский

фруктовый сад... Ведь чисто было обделано дельце? — вспоминал доктор. — Это был мой первый заговор, и сколько я трудов потратил, чтобы уговорить тебя в нем участвовать.

— О, не поминай этого незаконного дела, — перебил его Ниимайя, — уж я-то могу сказать, как говаривал благочестивый мистер Бэкстер, что эти мальчишеские проказы даром не прошли: ведь неумеренный аппетит к фруктам породил болезнь желудка, которой я страдаю и доныне.

— Верно, верно, любезный Ниимайя, — сказал Рочклиф, — но не обращай внимания... Глоток

водки, и все как рукой снимет. Мистер Бэкстер был, — он чуть было не сказал «осел», но удержался и закончил так:

— хороший человек, но, по-моему, слишком уж щепетильный.

Так они сидели рядом, как лучшие друзья, и в течение получаса с : восторгом вспоминали былые школьные проделки. Понемногу перешли к политическим темам; тут уж они перестали держаться за руки и время от времени обменивались такими фразами, как: «нет, любезный брат мой», или «здесь я не могу с тобой согласиться», или «по этому поводу я позволю себе думать иначе»; но когда они принялись

ругать индипендентов и других сектантов, оба дружно понеслись вперед, и трудно было сказать, кто бежал быстрее. К несчастью, во время этого дружеского разговора как-то зашла речь о епископстве Тита, и тотчас же возник принципиальный вопрос об управлении церковью. Тут — увы! — мигом открылись шлюзы, и они стали изливать друг на друга греческие и еврейские тексты; глаза у них горели, щеки пылали, кулаки сжимались, и они стали больше похожи на свирепых противников, готовых выцарапать друг другу глаза, чем на христианских священников.

Роджер Уайлдрейк, услышав их

спор, задумал еще больше разжечь его. Он, разумеется, самым решительным образом принял участие в споре, хотя предмет его был ему совершенно незнаком. Несколько озадаченный бойким красноречием и ученостью Холдинафа, кавалер с беспокойством наблюдал за лицом доктора Рочклифа; но когда он увидел гордый взгляд и непреклонность поборника епископальной церкви и услышал, что на греческие слова он отвечает по-гречески, а на еврейские по-еврейски, Уайлдрейк поддержал его доводы, а в подтверждение крепко ударил по скамье и торжествующе расхохотался в лицо

пресвитерианскому священнику. В конце концов сэр Генри и полковник Эверард неохотно вмешались в спор и с трудом уговорили двух друзей отложить диспут; «их развели в разные стороны, и они бросали друг на друга такие взгляды, по которым было ясно, что старая дружба уступила место вражде.

Пока они косились друг на друга и страстно желали возобновить спор, чтобы доказать свою правоту, в камеру вошел Пирсон и тихим, взволнованным голосом сказал, что все должны приготовиться к немедленной смерти.

Сэр Генри Ли встретил приговор с мрачным спокойствием, которое не

покидало его все время. Полковник Эверард попытался представить обоснованную и гневную апелляцию парламенту на решение военно-полевого суда и генерала. Но Пирсон отказался принять и передать такой протест и удрученно, с прискорбием повторил свое предупреждение, чтобы все приготовились умереть ровно в двенадцать; после этого он вышел из камеры.

Это известие удивительно подействовало на двух споривших служителей церкви. С минуту они смотрели друг на друга с добротой и раскаянием во взгляде; каждый великодушно стыдился своей горячности.

Эти чувства потушили в них последние остатки гнева, И наконец оба вместе воскликнули.

— Брат мой... Брат мой, я согрешил, я согрешил, я оскорбил тебя! — Бросившись друг к другу в объятия и проливая слезы, они стали просить прощения один у другого. Как два воина, которые забывают личную ссору, чтобы идти на борьбу с общим врагом, Они вспомнили об обязанностях своего священного сана, приняли на себя роль, более им подходящую в таком печальном случае, и начали увещевать окружающих, чтобы они встретили объявленный приговор с твердостью и достоинством, которые может

внушить только христианская вера.

Глава XXXVII

*Тут Каннинг молвил:
«Справедливо
Карает бог один.
Разящий меч на ветвь
оливы
Смени, мой господин».*

*«Баллада о сэре
Чарлзе Бодине»*

Время, назначенное для казни, давно уже прошло; было около пяти часов пополудни, когда протектор вызвал к себе Пирсона. Тот пошел неохотно, со страхом, неуверенный в том, как он будет принят. Пробыв у

генерала около четверти часа, адъютант вернулся в гостиную Виктора Ли, где его ждал старый солдат Зоровавель Робине.

— Ну как Оливер? — в тревоге спросил старик.

— Да ничего, — ответил Пирсон, — даже не спрашивал о казни, зато задал много вопросов про побег наследника и очень расстроился, что теперь его уже, пожалуй, не догнать. Я отнес ему еще кое-какие бумаги, взятые у этого мятежника, доктора Рочклифа.

— Тогда я пойду поговорю с ним, — сказал капрал-проповедник. — Дай мне салфетку, чтобы я стал похож на начальника

провиантской службы, и я подам ему пищу; она, должно быть, готова.

Тут два солдата принесли порцию говядины, такую, какая выдавалась рядовым, и все, что к ней полагалось: оловянную кружку эля, солонку, черный перец и ломоть солдатского хлеба.

— Пойдем, — сказал он Пирсону, — и не бойся, Нол любит невинные шутки.

Он смело вошел в спальню генерала и громко сказал:

— Вставай, ты, призванный быть судьей в Израиле; довольно спать и предаваться бездействию.

Слушай, я явился к тебе как знамение, вставай же, ешь, пей, и

пусть сердце твое возвеселится, потому что ты с радостью примешь пищу тех, кто трудится в окопах, ибо знаешь: с тех пор как ты командуешь войском, бедный часовой получает такую же еду, как и та, что я сейчас принес для твоего подкрепления.

— Поистине, брат Зоровавель, — ответил Кромвель, привыкший к таким вспышкам фанатизма у своих приверженцев, — мы желаем, чтобы было именно так: мы не хотим ни мягко спать, ни есть вкуснее, чем последний из тех, кто служит под нашими знаменами. Право, ты удачно выбрал, чем мне подкрепиться, и запах этой пищи приятен моему обонянию.

Он встал с постели, на которой лежал полуодетый, завернулся в плащ, сел на стул и с удовольствием поел поданной ему простой пищи. Во время еды Кромвель приказал Пирсону закончить рапорт.

— Не стесняйся присутствием достойного солдата, дух его подобен моему...

— Но прежде всего, — заметил Робине, — надо тебе доложить, что Гилберт Пирсон не в точности выполнил твой приказ насчет мятежников, которых ты велел казнить в полдень.

— Какая казнь?.. Какие мятежники? — спросил Кромвель, положив нож и вилку.

— Те, что сидят в тюрьме здесь, в Вудстоке, — ответил Зоровавель. — Ваше превосходительство приказали казнить их в полдень, как мятежников, захваченных с поличным.

Кромвель вскочил.

— Негодяй! — вскричал он, обращаясь к Пирсону. — Неужели ты дерзнул коснуться Марка Эверарда? Он не виновен, потому что был обманут мерзавцем, вставшим между нами... Неужели ты наложил руку на этого назойливого пресвитерианского священника, чтобы все его единоверцы стали кричать о кощунстве и навсегда отшатнулись от нас?

— Если ваше превосходительство хотите, чтобы они жили, то они живы... Их жизнь и смерть зависят от одного вашего слова, — сказал Пирсон.

— Освободи их; я должен, если возможно, привлечь на свою сторону пресвитериан — Рочклифа, архизаговорщика, — продолжал Пирсон, — я хотел казнить, но...

— Душегуб! — воскликнул Кромвель. — Неблагодарный и недалёковидный... Ты хочешь уничтожить нашу приманку? Этот доктор подобен колодцу; правда, он неглубок, но все-таки глубже, чем ключи, которые изливают в него свои тайны; а я приду с насосом и

выкачаю их всех на поверхность. Освободи его и дай ему денег, если нужно. Я знаю, где он может скрыться; пусть уходит, мы будем за ним следить.

Что это вы так мрачно переглядываетесь, как будто хотите сказать что-то, да не смеее. Уж не казнили ли вы сэра Генри Ли?

— Нет. Хотя этот человек, — ответил Пирсон, — закоренелый мятежник.

— Да, но он также благородный осколок старинного английского дворянства, — сказал генерал. — Знать бы, как добиться расположения этой породы!

Но мы, Пирсон, вместо

королевской мантии носим на теле латы, а скипетры наши — мечи; мы слишком недавно вышли в люди, чтобы нас могли уважать эти гордые враги республики, которые подчиняются только особам королевской крови. А посмотрели бы они: ведь самый старинный монарший род в Европе происходит всего лишь от удачливого солдата! Почему один человек пользуется почетом и окружен приверженцами из-за того, что он потомок победоносного военачальника, а у другого, который по личным качествам может соперничать с основателем той династии, меньше почета и сторонников? Ну хорошо,

сэр Генри жив, он нам еще пригодится. Его сын, в самом деле, заслужил смерть, и, конечно, он казнен.

— Милорд, — запинаясь, произнес Пирсон, — если ваше превосходительство нашли, что я был прав, когда задержал исполнение ваших приказаний относительно стольких людей, я надеюсь, вы не будете порицать меня и за это: я подумал, что лучше подождать более точных распоряжений.

— Сегодня утром ты в очень милостивом настроении, Пирсон, — заметил Кромвель, не вполне удовлетворенный его ответом.

— Если вашему

превосходительству угодно, виселица готова и палач тоже.

— Нет, раз его пощадил такой кровожадный малый, как ты, мне не пристало его уничтожать, — сказал генерал. — Но вот здесь, среди бумаг Рочклифа, есть клятвенное обязательство двадцати головорезов убить нас. Нужно наказать кого-то для острастки.

— Милорд, — сказал Зоровавель, — подумайте, сколько раз этот молодой человек, Альберт Ли, был поблизости от вас, и даже совсем рядом с вашим превосходительством, в этих темных переходах, которые он знает, а мы — нет. Если бы он по своей натуре был

убийцей, ему стоило только выстрелить, и свет Израиля погас бы. Началась бы сумятица, часовые бросили бы свои посты, и он легко мог бы бежать.

— Довольно, Зоровавель, пусть живет, — сказал генерал. — Но некоторое время он останется под арестом, а потом будет изгнан из Англии. О двух остальных и говорить нечего — они, разумеется, уцелели, потому что ты не мог подумать, что такие презренные людишки достойны моей мести.

— Однако один из них, егерь по имени Джолиф, заслуживает смерти, — сказал Пирсон, — он откровенно признался, что убил

честного Джозефа Томкинса.

— Он заслуживает награды за то, что избавил нас от такой необходимости, — сказал Кромвель. — Этот Томкинс был двуличнейший подлец. Здесь, среди этих бумаг, я нашел очевидные доказательства: если бы мы проиграли битву при Вустере, нам пришлось бы раскаяться в том, что мы доверяли мистеру Томкинсу, только наш успех предвосхитил его предательство... Мы должники, а не кредиторы Джослайна, или как его там, и его дубинки.

— Остается нечестивый и богом забытый кавалер, который покушался на ваше превосходительство прошлой

ночью, — сказал Пирсон.

— Нет, — возразил генерал, — наказывать его — значило бы слишком унизиться в своей мести. Шпажонка его причинила нам не больше вреда, чем если бы он хотел вонзить в меня курительную трубку. Орлы не унижаются до мести диким уткам или даже диким селезням. [note 82](#).

— А все-таки, сэр, — сказал Пирсон, — этого малого следовало бы наказывать, как пасквилянта.. Мы нашли у него в карманах множество глупых и мерзких бранных стишков; нельзя же совсем отпустить его на свободу... Угодно вам взглянуть, сэр?

— Отвратительный почерк, — заметил Оливер, посмотрев два-три

листка поэтических творений нашего друга Уайлдрейка, — самые буквы, кажется, пьяны, да и стихи не трезвы... Это что такое?

Был я глуп, был я мал,
Сколько раз голодал
И валялся, как пес, под забором.

Что это за дрянь!., и здесь опять:

Пусть бы черт снял башку
Нолу-бунтовщику!
Не уйдем, все пропьем,
Короля на трон вернем!

Поистине, если бы сие можно было совершить таким путем, этот

поэт был бы могучим воином. Дай бедному плуту пять монет, Пирсон, и пусть идет продавать свои баллады. Если он приблизится на двадцать миль к нашей особе, мы велим сечь его до тех пор, пока кровь не потечет у него по ногам до самых пяток.

— Остается только один приговоренный, — сказал Пирсон, — благородный волкодав: лучшего пса ваше превосходительство не видели, и в Ирландии; Он принадлежит старому баронету Генри Ли. Если ваше превосходительство не желает взять это прекрасное животное себе, я осмелюсь просить разрешения...

— Нет, Пирсон, — ответил Кромвель, — старик Ли, сам столь

верный подданный, не должен лишиться своей верной собаки. Хотел бы я тоже, чтобы у меня было какое-нибудь существо, хотя бы только собака, которое следовало бы за мной из любви, а не из расчета.

— Ваше превосходительство, — резко сказал Зоровавель, — несправедливы к своим верным солдатам, которые следуют за вами, как собаки, дерутся за вас, как собаки, и получают собачью могилу на том месте, где погибают.

— Ну, ну, старый ворчун, — прервал его генерал, — что означает эта перемена тона? — Останки капрала Хамгаджона гниют под обломками той башни, а Томкинс

брошен в яму в лесной чаще, как дикий зверь.

— Верно, верно, — сказал Кромвель, — их перенесут на кладбище, и все солдаты будут присутствовать на похоронах с кокардами из зеленых и голубых лент... Каждый офицер и унтер-офицер получит траурный шарф; мы сами пойдем во главе процессии и выдадим всем вина, крепкой водки и розмариновой настойки. После похорон укрепления Вудстока будут разрушены и замок уничтожен, чтобы его тайники не могли больше предоставлять приют бунтовщикам и изменникам.

Приказания генерала были

исполнены в точности; всех узников выпустили на свободу, кроме Альберта Ли, который оставался еще некоторое время под арестом. После освобождения он уехал за границу и вступил в гвардию короля Карла, который повысил его в чине. Однако судьба, как мы увидим потом, готовила ему хоть и блестящую, но непродолжительную карьеру.

Вернемся к другим освобожденным вудстокским пленникам. Оба богослова, совершенно примирившись, пошли вместе, рука об руку, в приходский дом, бывший прежде резиденцией доктора Рочклифа; теперь он явился туда в качестве гостя своего

преемлпика, Ниимайи Холдинафа. Просвитерианин поселил друга под своей кровлей и предложил ему считать своими как дом, так и доходы от прихожан. Доктор Рочклиф был очень тронут, но благоразумно отклонил великодушное предложение, памятуя о различии их взглядов на управление церковью, которых каждый придерживался так же ревностно, как догматов своей веры. Новый спор, хоть и не такой яростный, как первый, по поводу сана епископа в церкви ранних веков, утвердил доктора в его решении. Они расстались на следующий день, и с тех пор дружба их не нарушалась никакими раздорами до самой

смерти преподобного Холдинафа в 1658 году; согласие между ними воцарилось в известной мере благодаря тому, что со времени совместного заключения друзья больше никогда не встречались. Доктор Рочклиф вернулся в свой приход после реставрации и впоследствии достиг высокого церковного сана.

Менее важные лица из тех, кто был отпущен на свободу в Вудстоке, без труда нашли временный приют в городе у знакомых; но никто не посмел принять старого баронета, который был в немилости у правящих властей; даже хозяин гостиницы святого Георгия, бывший

когда-то одним из его фермеров, едва осмелился пустить его на общих условиях для путешественников, которые платят за постой и пищу, Эверард был у него, хотя сэр Генри его не приглашал, не давал ему разрешения прийти, однако и не противился его присутствию. Сердце старика снова смягчилось, когда он узнал, как Эверард вел себя во время памятной встречи у Королевского дуба, и что он теперь уже не в чести, а в немилости у Кромвеля.

Но было еще одно тайное чувство, склонявшее его к примирению с племянником: сознание, что Эверард делит с ним глубокую тревогу по поводу его

дочери, которая до сих пор не вернулась из своего рискованного и опасного путешествия. Он понимал, что сам, вероятно, не сможет узнать, где Алиса нашла себе приют во время последних событий, и, если она арестована, добиться ее освобождения. Он хотел, чтобы Эверард предложил ему разыскать ее, но стеснялся заговорить с ним об этом, а Эверард, который не мог подозревать, что отношение дяди к нему изменилось, боялся не только предложить ему помощь, но даже назвать имя Алисы.

Солнце уже зашло... Они сидели, молча глядя друг на друга, как вдруг послышался цокот копыт...

стук в ворота.., легкие шаги на лестнице, и перед ними появилась Алиса, предмет их тревожных дум.

Она радостно бросилась в объятия отца, который украдкой окинул взглядом комнату и шепотом спросил:

— Он спасен?

— Спасен и, надеюсь, вне опасности, — ответила Алиса, — а для вас у меня есть письмецо.

Тут взгляд ее упал на Эверарда, она покраснела, смутилась и замолчала.

— Не бойся своего кузена-пресвитерианина, — сказал баронет с добродушной улыбкой, — в дни тяжелых испытаний он оказался

верным другом и чуть не стал мучеником.

Она вытащила спрятанное у нее на груди королевское послание, написанное на маленьком грязном клочке бумаги и перевязанное шерстяной ниткой вместо печати. Невзирая на это, сэр Генри, прежде чем развернуть, с восточными изъявлениями преданности прижал записку к губам, сердцу и лбу; он омочил ее слезами и только потом нашел в себе силы открыть и прочесть ее. Она гласила:

«Любезный уважаемый наш друг и верный подданный.

Нам стало известно, что

существует намерение заключить брак между вашей единственной дочерью мисс Алисой Ли и Маркемом Эверардом, эсквайром из Иверсли Чейз, ее двоюродным братом и вашим племянником. И мы уверены, что брак этот был бы вам в высшей степени приятен, если бы не некоторые обстоятельства, вследствие которых вы, как наш верный подданный, сочли своим долгом не дать на него согласия. Поэтому извещаем вас, что союз этот нисколько не противоречит нашим интересам, просим вас и, поскольку имеем на то право, требуем от вас согласия на него, если вы хотите поступить так, как нам угодно, и

содействовать успеху наших дел. При всем том, мы, как подобает христианскому государю, оставляем вам полную свободу действовать по вашему усмотрению касательно других препятствий, могущих представиться к этому браку, независимых от вашего служения моему дому. Свидетельством тому наша собственная подпись, а вместе с ней благодарные воспоминания о вашей верной службе королю, покойному нашему родителю, а также и нам самим.

«С. R.».

Долго и пристально смотрел сэръ Генри на письмо, как будто хотел

запомнить его наизусть. Затем он бережно спрятал его в свою записную книжку и попросил Алису рассказать о всех ее приключениях в прошлую ночь. Она описала их в немногих словах.

Через заповедник они прошли быстро и благополучно. Король ни разу не возвращался к своей роли шаловливого Луи Кернегая. Когда Карл и его приближенные отправились в дальнейший путь, она отдохнула в хижине, где они расстались. Утром пришло известие о том, что Вудсток занят солдатами, а значит, возвращение туда опасно и может привести к подозрениям и допросу. Поэтому Алиса и не

пыталась пробраться в замок, а зашла в дом по соседству, где жила одна дама — верная роялистка, супруга майора, служившего в полку сэра Генри Ли и павшего в битве при Нейзби. Миссис Эйлмер была благоразумная женщина, да и притом в те трудные времена каждый по необходимости становился хитрее и изворотливее. Она послала в Вудсток поразведать вокруг замка своего преданного слугу, который узнал, что пленники освобождены и находятся в безопасности, выяснил, где собирается ночевать баронет, возвратился с этими известиями к своей госпоже и, по ее приказанию, проводил Алису, когда она верхом

отправилась к отцу.

Редко, пожалуй, бывает столь безмолвный ужин, как в тот вечер у сэра Генри Ли: каждый был погружен в свои размышления и тщетно старался угадать мысли другого. Наконец настал час, когда Алиса нашла приличным удалиться на покой после столь утомительного дня. Эверард проводил ее до дверей ее комнаты и хотел уже уходить, когда, к его удивлению, дядя попросил его остаться, указал ему на стул, а затем подал ему письмо короля и не сводил с него глаз, пока он читал. Сэр Генри решил, что если заметит на лице племянника что-нибудь, кроме восторга, то скорее

ослушается приказания самого короля, чем отдаст Алису человеку, который не принимает ее руку как величайшее благодеяние. Но черты Эверарда отразили радостную надежду, даже превзошедшую ожидания отца, и, когда Маркем робко и неуверенно поднял на него глаза, сэр Генри с улыбкой прервал молчание:

— Если бы даже у короля не было других подданных в Англии, всеми членами нашей семьи он может располагать по своему усмотрению. Но я считаю, семья Эверарда еще недавно не была столь предана короне, чтобы повиноваться документу, предлагающему ее

наследнику жениться на дочери нищего.

— Дочь сэра Генри Ли, — возразил Эверард, преклонив колена перед дядей и, несмотря на сопротивление старика, целуя его руку, — могла бы составить счастье герцогского дома.

— Девушка достойная, — с гордостью ответил баронет, — а что до меня, то моя нищета никогда не будет в тягость моим друзьям, и им не придется меня стыдиться. Кое-какие деньги у меня есть благодаря доброте доктора Рочклифа, а мы с Джослайном еще что-нибудь да выручим.

— Нет, дорогой дядя, вы богаче,

чем думаете, — сказал Эверард. — Та часть вашего имения, которую мой отец выкупил за небольшую сумму, принадлежит вам и управляется от вашего имени поверенными, в числе которых нахожусь и я. Вы должны нам только ту сумму, что потрачена на выкуп, и, если вам будет угодно, мы можем рассчитаться с вами как ростовщики. Мой отец не способен обогащаться путем сделки за счет разоренного друга; все это вы узнали бы уже давно, но вы не хотели.., то есть нам было не до объяснений.., то есть...

— Ты хочешь сказать, что я был вспыльчив и не хотел выслушать твои объяснения, Маркем, и, я думаю, это

совершенно верно. Но теперь-то мы, кажется, понимаем друг друга. Завтра я еду со своим семейством в Кингстон, там есть старый дом, который я могу еще назвать своим. Приезжай туда на досуге, Марк... Приезжай как можно скорее.., но привези согласие отца.

— Я привезу самого отца, если позволите, — сказал Эверард.

— Пусть будет так, как вы оба хотите, — ответил баронет. — Я думаю, вряд ли Джослайн захлопнет перед тобою дверь, да и Бевис не будет ворчать, как ворчал на бедного Луи Кернегая... Ну ладно, довольно восторгов, и доброй ночи, Маркем, доброй ночи...

А если ты не слишком устал еще со вчерашнего дня., ну, если ты можешь быть здесь в семь часов утра, я думаю, ты проводишь нас по кингстонской дороге.

Эверард еще раз пожал баронету руку, погладил Бевиса, причем пес милостиво принял ласку, и пошел домой мечтать о счастье, которое должно было наступить через несколько месяцев, если ничто не изменится в этом непостоянном мире.

Глава XXXVIII

*Жизнь, как монету, на
тебя истратил*

*И вот у ног твоих
приемлю смерть.*

«Дон Себастьян»

Годы проносятся над нами, как ветер. Мы не видим, откуда летит этот вихрь, и не знаем, куда он стремится, и нам кажется, что мы следим за его полетом, а сами при этом не меняемся; и все-таки Время лишает человека силы, подобно тому как ветры срывают с деревьев их листву.

После свадьбы Алисы и Маркема Эверарда старый баронет остался жить по соседству с ними в старинной усадьбе, принадлежавшей к выкупленной части имения; Джослайн и Фиби, теперь муж и жена, с двумя-тремя слугами вели все его хозяйство.

Когда баронету надоедали Шекспир и одиночество, он был желанным гостем у своего зятя, которого навещал тем более охотно, что Маркем отказался от всякого участия в государственных делах, так как был недоволен насильственным роспуском парламента и подчинялся единоличной власти Кромвеля, считая ее наименьшим злом, хотя и

не признавал Оливера главой законного правительства. Кромвель был всегда готов проявить к нему прежнюю благосклонность, но Эверард не мог простить ему предложение выдать короля, которое он считал оскорбительным для своей чести, и ни разу не ответил на любезности Кромвеля, а наоборот, склонялся к тому мнению, теперь широко распространенному в Англии, что устойчивого правительства не будет, пока не вернется к власти изгнанная династия. Нет сомнения, что доброе отношение самого Карла тоже повлияло на его образ мыслей. Однако он решительно отклонил все

попытки роялистов сблизиться с ним, пока был жив Оливер; по мнению Эверарда, власть Кромвеля была настолько прочной, что ее нельзя было поколебать никакими заговорами.

Тем временем Уайлдрейк по-прежнему оставался в семье Эверарда, под его покровительством, хотя иногда это порядком надоедало Маркему. Пока этот почтенный кавалер находился в доме своего патрона или у старого баронета, он оказывал семье множество мелких услуг и завоевал сердце Алисы вниманием к ее детям; он учил мальчиков, которых у нес было трое, верховой езде, фехтованию, метанию

копья и многим подобным упражнениям и, что важнее всего, развлекал ее отца, играл с ним в шахматы и в триктрак, или читал ему Шекспира, или служил причетником, если какой-нибудь священник, изгнанный из своего прихода, отваживался отслужить у баронета церковную службу. Кроме того, он отыскивал сэру Генри дичь, когда почтенный джентльмен ходил на охоту, а главное, беседовал с ним о штурме Бренгфорда и битвах при Эджхилле, Бэнбери, Рандуэйдауне и других, — старик с восторгом предавался таким воспоминаниям, тем более что не мог свободно беседовать на эти темы с

полковником Эверардом, стяжавшим лавры на службе у парламента.

Общество Уайлдрейка стало особенно необходимо сэру Генри Ли, когда он лишился своего храброго сына, который был убит в роковом сражении при Дюнкерке. К несчастью, английские знамена развевались в этом сражении у обоих противников, так как французы были тогда союзниками Оливера, и он послал им на помощь целый корпус англичан, а войска изгнанного короля дрались за испанцев. Сэр Генри принял это печальное известие, как свойственно старым людям, то есть внешне спокойнее, чем можно было ожидать. Он

проводил целые недели и месяцы над письмом, которое ему переслал неутомимый доктор Рочклиф. Вверху этого письма было проставлено мелкими буквами «С. R.», а подписано оно было «Луи Кернегай». Автор письма убеждал его перенести эту безвозвратную потерю с тем большею твердостью, что у сэра Генри оставался еще один сын (писавший имел в виду самого себя), который всегда будет чтить его как отца.

Но, несмотря на этот бальзам, пролитый на его рану, горе незаметно точило сэра Генри, высасывало из него кровь, как вампир, и мало-помалу иссушило в нем источник

жизни: без всякой видимой болезни, ни на что не жалуясь, старик постепенно все больше терял силы и здоровье, и заботы Уайлдрейка становились ему с каждым днем все нужнее.

Однако они не всегда были к его услугам. Кавалер принадлежал к тем счастливым, которым крепкое сложение, беспечный нрав и пылкий темперамент позволяют всю жизнь играть роль юнцов и наслаждаться настоящим, не заботясь о последствиях. Раз или два в год, когда у него скапливалось немного денег, кабальеро Уайлдрейк отправлялся в Лондон, где он, по его словам, кутил, пил, сколько мог, и

вел, по его собственному выражению, «рассеянную» жизнь среди таких же бесшабашных кавалеров, как он сам, пока из-за какого-нибудь необдуманного слова или буйной выходки не попадал в тюрьму Маршалси, Флит или какую-нибудь другую, откуда его приходилось выручать, пуская в ход протекцию, деньги, а иногда и рискуя добрым именем.

Наконец Кромвель умер, сын его отрекся от управления страной, и последовавшие затем перемены побудили Эверарда, как и многих других, более решительно действовать в пользу короля. Эверард даже пожертвовал значительные

суммы денег на дело монархии, впрочем, передав их с крайней осторожностью и переписываясь об этом непосредственно с самим канцлером, которому сообщил много ценных сведений о положении в государстве. Несмотря на всю свою осмотрительность, он едва не был вовлечен в безрезультатное восстание Бута и Мидлтона на западе и с большим трудом избежал роковых последствий этого преждевременного мятежа. Вслед за тем, хотя беспорядок в королевстве еще усилился, судьба, казалось, не благоприятствовала делу короля до тех пор, пока в Шотландии не началось движение генерала Монка.

Но даже и тогда, накануне полной победы, положение Карла казалось совсем безнадежным, особенно когда при его немногочисленном дворе, который находился в те дни в Брюсселе, было получено известие, что Монк, прибыв в Лондон, изъявил покорность воле парламента.

В это самое время, однажды вечером, когда король, герцог Бакингом, Уилмот и несколько других приближенных его странствующего двора пировали в своем кругу, канцлер (Кларендон) вдруг попросил аудиенции, вошел с меньшими, чем обычно, церемониями и объявил важные новости. Про гонца, прибывшего с

ЭТИМИ вестями, ОН МОГ ТОЛЬКО сказать, что тот, кажется, много выпил и мало спал, но доставил бесспорно подлинное письмо от человека, за которого канцлер мог поручиться головой. Король пожелал лично видеть гонца.

Вошел человек, манерами отчасти напоминавший джентльмена, но больше похожий на распутного кутилу; глаза его распухли и покраснели, он пошатывался и спотыкался, отчасти оттого, что не спал, отчасти под действием тех средств, которые принимал для подкрепления сил. Он бесцеремонно протолкнулся к королю, возглавлявшему стол,

схватил его руку и припал к ней, как ребенок к прянику, но Карл, вспомнив его по этому способу приветствия, был не очень доволен тем, что их встреча произошла при стольких свидетелях.

— Я принес хорошие вести, — сказал этот необычный гонец, — славные вести!.. Король опять вступит во владение своим государством!.. Возвеселились ноги мои по горам. Черт возьми, я столько жил с пресвитерианами, что заразился их языком... Но теперь мы все дети одного отца.., все бедные младенцы вашего величества. Охвостье в Лондоне провалилось...

Пылают костры, играет музыка,

жарятся окорока, провозглашаются тосты. Лондон сверкает огнями от Стрэнда до Родерхайда... Везде звенят кубки...

— Об этом мы и сами догадываемся, — сказал герцог Бакингом.

— Мой старый приятель Маркем Эверард послал меня с этой вестью, и будь я проклят, если я с тех пор сомкнул глаза. Ваше величество помнит, разраз.., у Королевского дуба в Вудстоке?

Будем петь во всю мочь
И плясать день и ночь,
Когда к нам наш король
возвратится.

— Я хорошо помню вас, мистер Уайлдрейк, — сказал король. — Надеюсь, эти вести достоверные?

— Достоверные! Ваше величество, я сам слышал звон колоколов! Сам видел праздничные костры!..

Сам пил за здоровье вашего величества так усердно, что ноги едва донесли меня до гавани. Это столь же достоверно, как и то, что я — бедный Роджер Уайлдрейк, из Скуоттлси-мир, что в Линкольншире.

Тут герцог Бакингам шепнул королю:

— Я всегда подозревал, что ваше величество
оказывались

подозрительные люди, когда вы скрывались после Вустера, но это, кажется, редкий экземпляр.

— Ну что ж, он вроде тебя и вроде всех других, которыми я окружен уже столько лет... Такое же храброе сердце, такая же бесшабашная голова, — сказал Карл, — столько же мишуры, только погрязнее, такой же чугунный лоб и примерно столько же медяков в кармане.

— Я просил бы, чтобы ваше величество поручили этого гонца с хорошими вестями мне, я бы выудил у него правду, — сказал герцог.

— Благодарю вас, герцог, — возразил король, — но у него такая

же сильная воля, как и у вас, и вы вряд ли поладите. Лорд-канцлер — человек благоразумный, ему мы и доверимся... Мистер Уайлдрейк, вы пойдете с милордом канцлером, который доложит нам о ваших новостях, и, заверяю вас, вы не напрасно явились первым, чтобы сообщить нам хорошие вести.

С этими словами он дал знак канцлеру увести Уайлдрейка: он боялся, что тот в его нынешнем состоянии того и гляди начнет рассказывать о каких-нибудь вудстокских похождениях, которые могли позабавить придворных, но никак не послужить им примером.

Немного времени спустя было

получено подтверждение радостной вести, и Уайлдрейк был представлен к щедрой награде и к небольшой пенсии, которая, по особому желанию короля, не налагала на него никаких обязанностей.

Вскоре после этого вся Англия хором распевала его любимую песенку:

Эй, пляши, пой, играй,
Майский день благословляй:

К нам опять наш король
возвратился!

В этот памятный день король выехал из Рочестера в Лондон; на пути его подданные оказывали ему

столь единодушный и радостный прием, что он в шутку сказал: «Наверно, я сам виноват, что так долго пробыл вдали от страны, где меня встречают с таким восторгом». Верхов на коне между своими братьями, герцогами Йоркским и Глостерским, монарх, вернувшийся на трон, медленно ехал по дорогам, усыпанным цветами, мимо фонтанов, бьющих вином, под триумфальными арками, по улицам, увешанным коврами. Горожане стояли группами: одни в камзолах из черного бархата с золотыми цепями; другие в военных мундирах из золотой или серебряной парчи, а за ними толпились все те

ремесленники, которые с гиканьем изгоняли его отца из Уайтхолла, а теперь пришли приветствовать сына, вступившего на престол своих предков. Проезжая через Блэкхит, он принял парад армии, так долго наводившей ужас на Англию и на всю Европу и послужившей средством восстановления монархии, которую эта армия сама же когда-то низвергла. Проехав мимо последних рядов этого устрашающего войска, он появился в открытом поле, где много знатных людей вместе с толпой простого народа ожидали короля, чтобы приветствовать его на пути в столицу.

Среди них была группа,

особенно привлекавшая внимание; солдаты, охранявшие это место, обходились с ними почтительно, кавалеры и круглоголовые наперебой старались услужить им: находившиеся в этой группе старые и молодые джентльмены отличились в гражданской войне.

Все они, очевидно, принадлежали к одному семейству, главой которого был старик, сидевший в кресле; лицо его осветилось улыбкой радости, а в глазах блеснули слезы, когда он увидел, как бесконечной вереницей колышутся знамена и раздаётся давно не звучавшее приветствие толпы: «Боже, храни короля Карла».

Щеки его были пепельного цвета, а длинная борода белела, как пух; голубые глаза сохранили ясность, но видно было, что зрение его слабеет. Движения старика были медленны, и говорил он мало — только отвечал на лепет своих внуков или спрашивал о чем-нибудь у дочери, которая стала настоящей красавицей, или у полковника Эверарда, стоявшего за креслом, старика. Тут же был храбрый иомен Джослайн Джолиф, по-прежнему в костюме егеря; как второй Ваня, он опирался на дубинку, на своем веку хорошо послужившую королю, а рядом с ним его жена, когда-то хорошенькая девушка, а теперь румяная матрона,

радуясь тому, что стала такой важной особой, время от времени присоединяла свой громкий голос к оглушительному басу мужа, когда он вторил приветственным крикам толпы.

Три славных мальчика и две хорошеньких девочки щебетали вокруг своего деда, который отвечал на их детские вопросы и беспрестанно гладил морщинистой рукой белокурые волосы своих дорогих малюток, между тем как Алиса с помощью Уайлдрейка (он красовался в великолепном камзоле и осушил в тот день один-единственный бокал канарского) время от времени старалась отвлечь

их внимание, чтобы они не утомили деда. Но не следует забывать еще одну замечательную фигуру, принадлежавшую к этой группе, — гигантского пса, очевидно достигшего крайних пределов собачьей жизни — ему было лет пятнадцать или шестнадцать. Он сохранил только остатки прежней красоты, глаза его потускнели, суставы потеряли гибкость, голова поникла, а ловкие движения сменились неуклюжей, ревматической, прихрамывающей походкой; но благородный пес не утратил преданной любви к своему хозяину. Лежать летом у ног сэра Генри или зимой у огня, поднимать

голову и смотреть на хозяина, время от времени лизать его морщинистую руку или поблекшую щеку — вот что, по-видимому, было теперь целью существования Бевиса.

Возле этой группы стояли три или четыре ливрейных лакея, чтобы ограждать ее от напора толпы; но в этом не было необходимости. Почтенный вид и непринужденная простота придавали этой семье даже в глазах самых грубых людей какое-то патриархальное величие; никто их не тревожил, и они сидели у дороги так же спокойно, как в своем собственном парке.

Но вот издали послышался звук рогов, возвещавших о приближении

короля; показались герольды и трубачи в пышных перьях и золотой парче, заколыхались развернутые знамена, засверкали на солнце шпаги, и наконец, во главе первых вельмож Англии, между двумя своими братьями, показался король Карл. Он уже несколько раз останавливался — вероятно, здесь играли роль и политические соображения, — чтобы милостиво сказать несколько слов тем, кого узнавал среди зрителей, и стоявшие вблизи рукоплескали столь своевременной любезности короля. Но когда взгляд его упал на описанную нами группу — он, правда, не узнал Алису (узнать ее

было бы трудно), но тотчас же узнал Бевиса и его почтенного хозяина, — король соскочил с коня и подошел к старому баронету. Громкие крики толпы огласили воздух, когда все увидели, как Карл собственноручно удержал старика, который сделал слабую попытку встать, чтобы приветствовать его. Он бережно усадил его в кресло и сказал:

— Благослови, отец.., благослови своего сына, который вернулся цел и невредим, как ты благословил его в час опасности, когда он отправился в путь.

— Бог да благословит вас.., и сохранит, — прошептал старик, задыхаясь от волнения, а король,

чтобы дать ему прийти в себя, повернулся к Алисе:

— А вы, — сказал он, — моя прекрасная спутница, что вы делали со времени нашего опасного ночного путешествия? Впрочем, нечего спрашивать, — продолжал он, посмотрев вокруг, — служили королю и отечеству, воспитывая таких же верных подданных, как и их предки... Прекрасное потомство, клянусь моей верой, отрадное для глаз английского короля! Полковник Эверард, надеюсь, мы с вами увидимся в Уайтхолле? — Затем он кивнул Уайлдрейку. — А ты, Джослайн, ведь ты можешь держать дубину одной рукой... Протяни мне

другую.

Джослайн, потупив глаза, в полном смущении, как бык, который вот-вот начнет бодаться, протянул королю через плечо своей жены ладонь, широкую и крепкую, как деревенская тарелка. Король наполнил ее золотыми монетами.

— Вот тебе, купи нарядов моей приятельнице Фиби, — сказал он, — она тоже верой и правдой послужила старой Англии.

Потом король снова повернулся к баронету, который, казалось, силился что-то сказать. Он взял его старую руку в свои, наклонил голову, чтобы расслышать его слова, а старик, опираясь на другую руку,

неясно произнес что-то; Карл мог понять только эти стихи:

Распутайте крамолы крепкий
узел,
К поруганной присяге
возвратитесь.

Осторожно освободив руку старика и желая закончить сцену, которая становилась уже тягостной, король сказал добродушно и так внятно, чтобы старик мог расслышать:

— Здесь так много народу, что нельзя побеседовать обо всем. Но если вы вскоре не навестите короля Карла в Уайтхолле, он придет к вам

с визитом Лун Кернегая, и вы убедитесь, что этот озорной малый стал гораздо рассудительнее с тех пор, как побродил по свету.

С этими словами он еще раз дружески пожал руку старику, поклонился Алисе и всем окружающим и отошел; сэр Генри выслушал его с улыбкой, которая показывала, что он понял милостивое значение его слов. Старик откинулся на спинку кресла и стал бормотать *Nunc dimittis* [note 83](#).

— Простите, что я заставил вас ждать, милорды, — сказал король, садясь на коня. — Право, если бы не эти добрые люди, вы могли бы прождать меня очень долго — и

напрасно. Едемте, господа!

И шествие двинулось вперед: снова грянули трубы и барабаны среди приветственных криков, затихших на то время, пока король останавливался; зрелище этой процессии было так ослепительно и великолепно, что Алиса на минуту даже забыла свою тревогу о здоровье отца, следя глазами за сверкающей разноцветной полосой, движущейся вдоль дороги. Когда она опять взглянула на сэра Генри, то испугалась, заметив, что его щеки, слегка порозовевшие во время разговора с королем, покрылись землистой бледностью; глаза смежились и больше не открывались;

спокойное лицо его стало так неподвижно, как не бывает даже во сне. Все бросились к нему, но было уже поздно. Огонь, догоравший в светильнике, на мгновение вспыхнул радостным пламенем и погас.

Об остальном читатель догадается сам. Я должен только добавить, что верный пес ненадолго пережил баронета и что изображение Бевиса, лежащего у ног хозяина, высечено на надгробном памятнике, воздвигнутом сэру Генри Ли из Дитчли. [Может быть, некоторым читателям интересно будет узнать, что прототипом Бевиса был храбрый пес, один из самых красивых и ловких экземпляров старинной

породы шотландских оленьих собак, по имени Мэйда, подаренный автору покойным бароном Гленгарри. Эдвин Лэндсир написал с этой собаки прекрасный эскиз, по которому впоследствии была сделана гравюра.

Не без гордости могу рассказать, что один из моих друзей проездом через Мюнхен купил простую табакерку из тех, что продают по франку за штуку, на которой был изображен этот заслуженный любимец, с такой надписью: Der liebbling Hund von Walter Scott (любимая собака Вальтера Скотта). Набросок мистера Лэндсира находится в Блэр-Адаме, в собственности моего уважаемого

друга, достопочтенного лорда
председателя королевской комиссии
Адама. (Прим, автора.)].

О РОМАНЕ

«Вудсток» появился в печати в июне 1826 года.

Сюжет романа связан с английской буржуазной революцией XVII века. Кромвелевский проповедник говорит о том, что его меч «сварен в Ирландии у стен Дрогеды». Штурм крепости Дрогеды войсками Оливера Кромвеля и избиение ее гарнизона и жителей произошли в начале сентября 1649 года. Роман заканчивается упоминанием о смерти Кромвеля и сценой возвращения на престол Карла II в мае 1660 года. Однако все

основные события в романе падают на 1651 год (до провозглашения Кромвеля лордом-протектором, которое относится к 1653 году). В романе, наряду с вымышленными героями, действуют исторические персонажи — Кромвель, его соратники — Десборо, Гаррисон и другие, а также его антагонист — Карл Стюарт.

В предисловии к роману автор счел необходимым подчеркнуть, что изображаемая в романе эпоха играет большую роль в истории Англии, а может быть, и всего человечества.

Скотт не ставил целью изображение Кромвеля или Карла II, а стремился обрисовать события

революции, борьбу за власть. судьбы
населяющих страну народов.
Действие романа разворачивается в
английской провинции, вдали от
Лондона, в период напряженной
политической борьбы. В сюжет
романа органически входит
повествование о любви сторонника
Кромвеля полковника Маркема
Эверарда к дочери «Загородного»
роялиста Алисе Ли.

Уже первая сцена романа,
рисующая часовню короля Иоанна,
дает представление об остроте
социальных конфликтов и
противоречий эпохи. В старинной
вудстокской церкви отсутствуют
аристократические семьи Ли,

Фримантлы, Уинклкомы, Драйкотты, зато уверенно занимают места слесари и кожевники. «Эти достойные люди были в длинных, черных, наглухо застегнутых плащах и, как мирные граждане, носили на поясе библию и записную книжку, а не кинжал или шпагу». Эта деталь определяет самую сущность пуританизма. Тут же писатель говорит о безразличии низших слоев населения к теологическим спорам: «Церковь для этих людей была просто домом с колокольной, священник — обыкновенным человеком».

С первых же строк романа подчеркивается, что источник силы

Кромвеля — в армии, и это прекрасно сформулировано в речах самого Кромвеля.

Глубокая жизненность образов круглоголовых поддержана и спецификой их речи, полной сравнении и афоризмов, заимствованных из библии.

Кромвель, постоянно ссылающиеся на библию, охотно расстаются с религиозной терминологией, когда разговаривает по душам со своими приверженцами, от которых не скрывает своих самых заветных желаний.

Оплотом королевской власти в Англии была епископальная англиканская церковь: религиозная

борьба против этой церкви представляла, в сущности, не что иное, как социально-классовую борьбу в Англии. «Кромвель и английский народ, — говорит Маркс, — воспользовались для своей буржуазной революции языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета».

Фабула построена на вымышленном рассказе о пребывании Карла Стюарта в Вудстоке. Тем не менее роман дает замечательную картину жизни английского народа в эпоху революции и глубоко раскрывает смысл совершавшихся событий.

Характеристика Кромвеля,

многогранная и разносторонняя, складывается из ряда черт: здесь и оценка Кромвеля роялистами, и оценка его друзей, характеристика автора романа, и, наконец, личные признания будущего протектора Англии. Скотт отчетливо осознает историческое значение Кромвеля для буржуазного развития Англии.

Кромвель в представлении Скотта не только военачальник, который безусловно «владеет сердцами своих солдат», но и государственный деятель. Выдвинувшийся в ходе широкой общественной борьбы, Кромвель призван окончательно уничтожить старый порядок.

Его деятельность содействует интересам нации, и он почти» искренен, когда говорит о себе: «Не жажда богатства и власти извлекла меня из ничтожества. Угнетенная вера и попранная свобода Англии — вот знамя, за которым я следовал». Выдающегося исторического деятеля Скотт рисует «домашним образом» — в окружении простых солдат, в рабочем кабинете, в разговоре с роялистом и т. п.

Кромвель обычен и, значителен в одно и то же время. Он прост в одежде, непривередлив в еде, питается тем же, что получают солдаты его армии. Кромвель умен, непреклонен, проницателен,

настойчив в достижении цели, бдителен и осторожен, не останавливается перед жестокостью, находчив и сообразителен, он на голову выше своих соратников — так, например, в век величайшего суеверия он ничуть не суеверен, его разговор пестрит библейскими терминами, но он смеется над предположением капрала о том, что рядом — сатана. Речь его выразительна и эмоциональна. Он умеет влиять на слушателя. В присутствии Кромвеля даже: смельчак Уайldreйк присмирел, «как сокол в присутствии орла».

Политические взгляды Кромвеля широки и разносторонне

Человечность героя подчеркивается и тем, что Кромвелю не чужды слабости и недостатки. Он страдает меланхолией, плачет, беседуя с Пирсоном о казненном Карле I.

В противоположность Кромвелю, Карл II — ничтожество в» политическом смысле. Панегирик Алисы в честь идеального короля Англии звучит язвительной насмешкой над качествами Карла Стюарта. Оценка монарха — резко отрицательна.

Выразителем политических взглядов автора является Марк Эверард. Он — сторонник социального компромисса, принципиальный противник идей

насилия. «Полковник Эверард, — говорит Скотт, — признавал, почему он поддерживает Кромвеля; он считал самым меньшим злом — поставить во главе государства; человека с умом и авторитетом генерала...»

По мнению Эверарда, необходима твердая государственная власть. Худшее из зол — анархия, диктатура протектора — лучше, но разумнее всего — добровольный и мирный союз «законного». короля и парламента.

В изображении двух борющихся партий Скотт стремился к объективности. Его герои, и круглоголовые и кавалеры, часто

действуют не из корысти, а по
глубокому убеждению, они искренне
верят в справедливость того, ради
чего сражаются и жертвуют жизнью.
Идеология, политические взгляды
круглоголовых кажутся Скотту
исторически необходимыми и
справедливыми.

С. ОРЛОВ

КОММЕНТАРИИ

Кавалер. — Кавалерами в годы революции называли роялистов, сторонников короля.

Чосер Джеффри (1340? — 1400) — английский поэт, основоположник английской национальной литературы. В эпиграфе цитата из сборника новелл «Кентерберийские рассказы» (рассказ рыцаря).

Энтони э Вуд (1632 — 1695) — английский историк, автор биографий оксфордских знаменитостей («Оксфордские Афины»).

«Молот ереси». — Здесь автор

пародирует название средневекового трактата, авторами которого были инквизиторы Инститорис и Якоб Шпренгер (1438 — 1495) — «Молот ведьм» (1487).

Уайт Джон (1590 — 1645) — деятель английской буржуазной революции; участвовал в работе антиклерикальных комитетов парламента. Известен как Сецчури Уайт (Century White) после опубликования им (в 1643 г) книги, содержащей сто разоблачительных биографии англиканских священников («Первая сотня зловредных и злоречивых церковных служителей»).

... подобно Цезарю, говорит о

собственных подвигах в третьем лице. — Римский полководец Гай Юлий Цезарь (100 — 44 до н.э.) в своих произведениях «Записки о галльской войне» и «Записки о гражданской войне» пишет о себе в третьем лице.

Пресвитерианский толкователь. — Пресвитерианство — одно из протестантских течений в Реформации, распространившееся в Шотландии и Англии и игравшее ведущую роль на первом этапе английской революции.

Кромвель Оливер (1599 — 1658) — выдающийся деятель английской революции. После победы в гражданской войне и казни короля

(1649) возглавил республику. С 1653 г. — лорд-протектор Англии.

Королевское общество — научное общество, созданное в Лондоне в 1660 г, и соответствующее нашей Академии наук.

Розамунда. — Розамунда Клиффорд (ум, в 1176 г.), возлюбленная английского короля Генриха II (1154 — 1189), построившего для нее в Вудстоке особое здание — так называемый «Лабиринт», Дрейтон Майкл (1583 — 1631) — английский поэт, автор исторических и биографических поэм, в том числе тридцатитомной поэмы «Полиальбион» (1613 — 1622).

Елизавета — Елизавета I Тюдор, королева Англии (1558 — 1603).

Долгий парламент — парламент периода английской буржуазной революции, прозванный так потому, что просуществовал 13 лет (ноябрь 1640 — апрель 1653 г.).

Доктор Плот Роберт (1640 — 1696) — английский ученый, автор «Естественной истории Оксфордшира» (1677) и «Естественной истории Стаффордшира» (1686).

Глэнвил Джозеф (1636 — 1680) — английский богослов.

«Брэмблтой-хауз» — повесть английского писателя Горация Смита (1779 — 1849), вышедшая в 1826 г.

В эпиграфе цитата из сатирической антипуританской поэмы английского поэта Сэмюэла Батлера (1612 — 1680) — «Гудибрас».

Бленхеймский замок — построен в Вудстоке в конце XVII в. архитектором Джоном Ванбру (ок. 1664 — 1726). Название дано в честь победы, одержанной политическим деятелем и полководцем Джоном Черчиллем герцогом Марлборо (1650 — 1722) при Бленхейме (Бавария) в 1704 г, во время Войны за испанское наследство. Замок был подарен королевой Анной (1702 — 1714) герцогу Марлборо.

Король Иоанн — английский

король (1199 — 1216), прозванный Безземельным.

...по случаю решительной победы при Вустере.. — . — 3 сентября 1651 г, армия английской республики под командованием Кромвеля разбила роялистов, возглавляемых сыном казнённого короля Карла I — будущим Карлом II Стюартом. В тексте романа ошибочно указан 1652 г.

Бевис — пес сэра Генри. Назван так в честь героя рыцарского романа «Бевис из Гемптона».

...подобно чосеровскому врачу... — В прологе к «Кентерберийским рассказам» Чосер пишет о враче, «который в Писании

не слишком был силен».

Ученые фиванцы. — Фиванцами Скотт называет воинственных пуритан, так же как «фиванским легионом» именовался состоявший из христиан отряд римского императора Марка Аврелия (161 — 180) в египетском городе Фивы.

...в красных мундирах. — Красные мундиры были введены в парламентской армии после военной реформы 1645 года.

Кальвин Жан (1509 — 1564) — видный деятель антикатолической реформации, основатель одного из течений протестантского вероучения (кальвинизм), центром которого была Женева.

Нал — сокращенное от Оливер.

Бэнбери — город в Оксфордшире, жители которого отличались крайней приверженностью к пуританизму.

Индепенденты — религиозная секта, основанная в XVII в Робертом Брауном (ум. ок. 1633 г.). Боролась против церковной иерархии за независимость церковной общины от государственной и церковной власти. В годы английской революции это религиозно-политическое течение объединило решительно настроенные круги буржуазии и нового дворянства, выступавшие против пресвитериан, которые отражали интересы крупной

денежной знати.

Давид — израильский царь (конец IX — начало X в. до н.э.), которого церковная легенда считает автором 150 псалмов — хвалебных песен религиозного содержания.

Лонг-Марстон-мур (около Йорка) — место сражения во время гражданской войны, где парламентская армия разбила роялистов (2 июля 1644 г.).

Нейзби (графство Норт Гемптон) — место решающего сражения гражданской войны (14 июня 1645 г.), закончившегося разгромом королевских войск.

Дрогеда — крепость в Ирландии, которую после

ожесточенной осады взяли штурмом войска Оливера Кромвеля (11 сентября 1649 г.). Трехтысячный гарнизон был перебит, и в течение двух дней шла резня мирных жителей. Расправа в Дрогеде — один из наиболее кровавых эпизодов захватнической войны в Ирландии в годы английской революции.

Данбар. — 3 сентября 1650 г, при Данбаре Кромвель разбил шотландских сторонников Карла Стюарта.

Сын Иессеев — т.е. царь Давид.

Эштон. — По-видимому, имеется в виду роялистский генерал Артур Эштон, который защищал Дрогеду и был убит при взятии

крепости.

Маленький Джон — герой английских легенд о Робине Гуде, соратником которого он был.

C.R. — то есть Carolus Rex (лат.) — Карл, король.

...Ииуй, сын Нанесшее, который разрушил дом Вийлов, но не отступал от грехов Иероваама. — Израильский царь Ииуй выступил против Ахава, предавшегося язычеству. Однако Ийуй окончательно не отменил идолопоклонства, введенного царем Иедовоамом.

...не Генрихом ли, сыном Вильгельма, по прозвищу Завоеватель? — Вильгельм I

Завоеватель (1027 — 1087), герцог Нормандии, в 1066 г, высадился в Англии и, разбив 14 октября при Гастингсе англосаксонские войска, стал английским королем.

Его сын Генрих I (1100 — 1135) захватил власть в обход законного наследника, своего старшего брата Роберта Нормандского.

Круглоголовые — прозвище солдат парламентской армии во время гражданской войны.

Магар-Шалал-Хаш-Баз — имя сына библейского пророка Исаяи, означающее «спешат на добычу, скоро грабеж».

Эпиграф Скотта. В дальнейшем ему же принадлежат все эпиграфы,

кроме особо оговоренных.

Генрих II Анжуйский (1154 — 1189) — английский король, основатель династии Плантагенетов (1154 — 1399).

Фуллер Томас (1608 — 1661) — английский богослов и историк, автор «Истории знаменитостей Англии».

Ван-Дейк Антонис (1599 — 1641) — выдающийся фламандский живописец, работавший в Англии, написал ряд портретов, в том числе Карла I и его детей.

...после страшного дня тридцатого января? — Имеется в виду 30 января 1649 г. — день казни короля Карла I.

Нобль — старинная английская золотая монета, введенная королем Эдуардом III в 1344 г.

Магелтонианцы, рантеры, браунисты — религиозные секты времени английской революции. Магглтонианцы — последователи Л. Магглтона (1609 — 1698); рантеры, или фамилисты — секта, основанная Хендриком Никлаесом (1502? — 1580?) в Германии; браунисты — последователи Роберта Брауна (1550? — 1633?), в конце XVI в, оформились как радикальная секта пуританизма, В XVII в, стали именоваться индепендентами, ... грешная жена Нова... — Когда библейский праведник Иов заболел

проказой, жена призывала его отречься от бога и перестать терпеливо переносить посылаемые ему испытания.

Это только слова... — Слова Гамлета из трагедии Шекспира «Гамлет» (акт II, сц. 2).

...Дочь моя... — цитата из исторической хроники Шекспира «Генрих IV», часть 2-я (акт II, сц. 3.), Бен Джонсон (1573 — 1637) — английский драматург, современник Шекспира.

«Русалка» — известная в XVI — XVII вв. таверна в Лондоне, где часто собирались поэты.

Злой дух пока отступил от Саула. — Первый израильский царь

Саул (XI в. до н.э.) легко приходил в состояние ярости.

Десборо Джон (1608 — 1680) — генерал парламентской армии во время английской революции; член Тайного совета при протекторате Кромвеля.

Гаррисон Томас (1606 — 1660) — полковник, затем генерал парламентской армии во время английской революции; принадлежал к левому крылу индепендентов. Выступал против диктатуры Кромвеля. После реставрации Стюартов, как член трибунала, осудившего Карла I, был исключен из Акта об амнистии и казнен.

Блетсон — лицо вымышленное;

в числе членов Долгого парламента
его пет.

...ареопаг в Уэстминстер-
холле... — то есть парламент.

Абнер, сын Ниры, поразил
насмерть Асаила... — Абнер —
библейский персонаж, родственник и
военачальник Саула.

Во время междоусобной войны
убил Асаила, одного из сильнейших
воинов Давида.

Велиалово отродье —
библейское наименование силы
бесчестия, зла (от Велиал), ставшее
синонимом сатаны, дьявола.

Эдомитянин — представитель
племени, враждебного древним
евреям; здесь в смысле еретик,

отступник от истинной веры.

Измаилит — потомок сына мифического библейского патриарха Авраама — Измаила, который стал родоначальником ряда кочевых языческих племен; здесь в смысле язычник, идолопоклонник.

Зеленая куртка. — Сторонники короля во время гражданской войны носили одежду зеленого цвета.

Майский шест — дерево, которое во время майских праздников украшали цветами и зеленью. Пуритане выступали против этого обычая.

...дурни из Хогс-Нортонa, когда свиньи играют на органе. — Старинная поговорка,

применявшаяся к грубым, невоспитанным людям. Обычно объясняется игрой слов, так как якобы в деревне Хогс-Нортон в местной церкви был органист по фамилии Пигс (pigs — свиньи).

Дева Марион — персонаж древних народных игр, в дальнейшем перешла в сказания и баллады, где превратилась в жену Робина Гуда.

Генрих — то есть Генрих II, Мартынов день — 11 ноября; в этот день резали скот, чтобы заготовить мясо к зиме, пробовали молодое вино.

...Елизаветы и ее преемника. — Имеется в виду Елизавета I Тюдор (1558 — 1603), королева Англии,

после которой правил король новой династии — Стюартов — Иаков I (1603 — 1625).

Вефильский телец. — По библейской легенде, израильский царь Иеровоам перешел, в язычество и поставил двух золотых тельцов, один в столице — Вефиле, другой в Дане и заставил им поклоняться.

Ручей Кедронский — протекает между Иерусалимом и Масличной горой (впадает в Мертвое море); наполняется водой только во время дождей.

Михайлов день — 29 сентября.

Король Стефан — английский король (1135 — 1154).

Плантагенеты — см, прим, к

Династия Тюдоров — английская династия, правившая с 1485 по 1603 г. Основателем ее был Генрих VII (1485 — 1509).

...прямодушного короля Генриха... — Имеется в виду Генрих VIII Тюдор (1509 — 1547), английский король.

Гольбейн Ганс (Младший) (1497 — 1543) — знаменитый немецкий живописец и график эпохи Возрождения, долго работавший в Англии.

Роксберг (Роксбург) Джон Кер, герцог (1740 — 1823) — известный библиофил; его именем был назван клуб, возникший в Лондоне в 1812г., с целью изучения английской

литературы (Роксбургский клуб).

Бэннетайн Джордж (1545 — 1608) — собиратель ранней шотландской поэзии. Бэннетайнский клуб, с целью публиковать работы по истории и литературе Шотландии, был основан в 1823 г. под председательством Вальтера Скотта (существовал до 1859г.).

Хемингс Джон (1556? — 1630) и Кондел Генри (ум, в 1627г.) — актеры, игравшие в театре «Глобус», друзья и первые издатели пьес Шекспира (в 1623 г.).

...тебя, Уильям, Шекспир, обвиняю я во всем... — Пуритане враждебно относились к театру, как к проявлению язычества.

В годы революции театры в Англии были закрыты, а актеры подвергались преследованиям. Во время гражданской войны многие актеры сражались на стороне короля.

Стрэтфорд-на-Эйвоне — город в средней Англии, родина Шекспира.

В Тофет., в долину Енкомскую. — Тофет — часть Енномской долины близ Иерусалима, где некогда стоял идол Молоха, которому приносились человеческие жертвы. Место стало ненавистным для израильтян и было превращено в свалку, куда свозили отбросы и тела тех, кто не был удостоен погребения.

Уоллер Уильям (1597? — 1668) — генерал парламентской армии и

один из лидеров пресвитериан. Во время диктатуры Кромвеля — в оппозиции, а после смерти протектора был сторонником реставрации Стюартов.

Принц Руперт (1619 — 1682) — племянник Карла I, командовавший во время гражданской войны королевской кавалерией.

...когда Ричард Второй и Генрих Болингброк были, в замке Баркли... — Имеется в виду столкновение Ричарда II (1377 — 1399), последнего короля Англии из династии Плантагенетов, и Генриха Хернфорда герцога Ланкастерского (прозванного по замку, в котором он родился, Болингброком). Ричард II был

низложен, и Болинброк стал, под именем Генриха IV, первым королем из Ланкастерской династии (1399 — 1413). Эпизод в замке Баркли (Уэльс) воспроизведен у Шекспира в хронике «Ричард II» (акт III, сцена 2).

Фруассар Жан (1338 — 1410) — французский историк, автор «Хроники Франции, Англии, Шотландии и Испании с 1325 по 1400 г.»

Тут уж за тобой надо в оба глядеть... — Слова из трагедии Шекспира «Гамлет» (акт III, сц. 2).

Книппердолинг Бернгард (ок. 1490 — 1536) и Иоанн Лейденский (подлинное имя Иоанн Бокельсон, 1510 — 1536) — анабаптисты,

руководители Мюнстерской коммуны (1534 — 1535 гг.) — крупнейшего восстания плебейских масс Германии в XVI в. Была казнены после поражения коммуны.

Гонерилья и Регана — неблагодарные дочери короля из трагедии Шекспира «Король Лир».

Аргал и Партения — персонажи пасторального романа «Аркадия» Филипа Сиднея (1554 — 1586), Вульгата — название латинского перевода библии, осуществленного в IV в.

Вельзевул — дьявол. В песне Уайлдрейка под Вельзевулом подразумевается Кромвель.

Хлоя — персонаж из греческой

повести Лонга (III в.) «Дафнис и Хлоя»; имя стало синонимом робкой возлюбленной.

Андреи Феррара — меч, изготовленный итальянским оружейником Андреа Феррара. Это оружие высоко ценилось в Англии и Шотландии в XVI — XVII вв.

Ние и Эвриал, Тесей и Пирифай, Орест и Пилад... Давид и Ионафан — персонажи греческой мифологии и библейской (Давид и Ионафан), имена которых стали нарицательными для обозначения неразлучных друзей.

Эссекс — Роберт Девре граф Эссекс (1591 — 1646) — лидер пресвитериан в парламенте и

командующий парламентскими войсками в первый период гражданской войны.

Уилмот — см, прим, к ...от Дана до Вирсавии... — то есть от одного конца древней Палестины до другого, так как это были самый северный (Дан) и самый южный (Вирсавия) пункты страны.

Уоллер Эдмунд (1606 — 1687) — английский поэт. Он был автором панегирика в честь Кромвеля, а после реставрации Стюартов (1660 г.) написал поэтическое приветствие «Королю, в честь счастливого возвращения его величества».

В эпиграфе цитата из стихотворения Джорджа Херберта

(1593 — 1633) — английского поэта-мистика.

...комиссии, которая должна вести памятный судебный процесс. — Для суда над королем Карлом I парламент создал в январе 1649 г. Верховный судебный трибунал (135 членов) под председательством Джона Бредшоу (1602 — 1652).

...под знаменами. Кромвеля в Шотландии... — После казни Карла I и провозглашения республики Шотландия восстала, Английские войска под командованием Кромвеля 22 июля 1650 г, вступили в Шотландию и 3 сентября при Данбаре нанесли решительное

поражение шотландцам. Борьба продолжалась еще более года, и только после победы при Вустере (3 сентября 1651 г.) Шотландия была покорена.

Государственный совет — высший орган республики, созданный в феврале 1649 г, как подчиненный парламенту, но в конечном счете ставший над ним.

Охвостье. — Так называли индипендентскую часть Долгого парламента, оставшуюся после известной Прайдовой чистки (1648 г.), когда были удалены пресвитериане. Охвостье было разогнано Кромвелем в 1653 г.

...со старым Налом пиво его

собственной варки. — Роялисты называли Кромвеля пивоваром, намекая на его незнатное происхождение.

Уиндзор — летняя резиденция английских королей близ Лондона.

...пуританского Бомби... — Имеется в виду персонаж из пьесы Френсиса Бомонта (1584 — 1616) и Джона Флетчера (1579 — 1625) «Довольные женщины».

Миллз Джон (ум, в 1736 г.) — актер конца XVII — начала XVIII вв., так что упоминание его имени — анахронизм.

Театр «Фортуны» — был основан в Лондоне в 1599 г., разрушен в 1649 г, при пуританской

республике, враждебно
относившейся ко всяким зрелищам.

Крабб Джордж (1754 — 1832) —
английский поэт.

В приведенном отрывке дан
портрет Кромвеля после того, как он
разогнал Охвостье.

Полковник Овертон Роберт (ум,
после 1668 г.) — участник
гражданской войны и похода
Кромвеля в Шотландию.

...трех несчастных наций — то
есть англичан, шотландцев и
ирландцев.

Моавитяне — упоминаемый в
библии народ, враждовавший с
древними евреями; для пуритан
синоним врагов, язычников.

Аман. — По библейской легенде, вельможа персидского царя Артаксеркса Аман хотел истребить всех иудеев, но благодаря заступничеству Эсфири, ставшей женой царя, впал в немилость и был повешен.

...отнять у Исава право первородства... — По библейской легенде, сын патриарха Исаака Исав передал свое право первородства младшему брату Иакову за чечевичную похлебку, Амалекитянин — здесь в смысле враг; упоминаемый в библии народ постоянно враждовал с древними иудеями.

Горинг Джордж Норич, граф (ок.

1583 — 1653) — роялист, во время гражданской войны командовал кавалерийскими частями королевской армии.

В эпиграфе цитата из «Макбета» Шекспира (акт V, сц. 1).

Анабаптисты-(перекрещенцы) — в период Реформации члены плебейской религиозной секты; выступали за крещение в сознательном возрасте, против церковной иерархии, за общность имущества. После Крестьянской войны и Мюнстерской коммуны анабаптизм утратил свой политический характер; бдаунмты.

...бутылка, которую прославил Рабле. — Пантагрюэль, один из

героев романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», отправляется узнать свою судьбу у оракула бутылки (книги IV и V).

...со времен старого короля Гарри — то есть — Генриха II.

...Эдварде в своем сочинении «Гангрена»... — Томас Эдварде (1599 — 1647), пуританский священник, автор книги «Гангрена, или Раскрытие множества заблуждений, ересей, богохульств и пагубных происков современных сектантов, действующих в Англии в четыре последних года» (1646 г.).

Ганнибал (247 или 246 — 183 до н.э.) — карфагенский полководец и политический деятель. Армия

Ганнибала состояла из обученных наемников.

...при потворстве старого Илии... — Упоминаемый в библии израильский судья и первосвященник, который потворствовал богохульству своих сыновей, за что был наказан богом.

Гай из Уорика — герой поэмы (XIV в.) победивший, легендарного гиганта Колбранда. Об этой легенде также рассказал Майкл Дрейтон (1563 — 1631) в своей поэме «Полиальбион».

Бевис из Гемптона — герой рыцарского романа (XV — XVI вв.), победивший великана Аскапарта. Бевис и Аскапарт — также

персонажи упомянутой в
предыдущем примечании поэмы
Дрейтона.

...ярмарке тщеславия. — Эти
слова священника — анахронизм, так
как сравнение взято из
аллегорического романа Джона
Беньяна (1628 — 1688) «Путь
паломника», вышедшего только в
1678 — 1684 гг.

Элеонора — герцогиня
Аквитанская (ок. 1122 — 1204), жена
английского короля Генриха II.

Татбери — старинный городок в
Стаффордшире, резиденция
Ланкастеров.

Старый Ник. — Имеется в виду
дьявол.

В эпитафье цитата из поэмы английского поэта Джона Драйдена (1631 — 1700) «Лань и пантера».

...людьми Пятой монархии... — так называли представителей секты, веривших, что после монархий ассирийской, персидской, греческой и римской наступит пятое царство Христа и его святых на тысячу лет. В религиозных представлениях здесь выражались радикальные социальные идеи мелкобуржуазных масс Англии»

Эджхилл — местечко в графстве Уорикшир, где 23 октября 1642 г, произошло первое крупное сражение во время гражданской войны. Победу в этом сражении одержали роялисты.

...с взглядами Хэррингтона... — Джеймс Хэррингтон (1611 — 1677) — английский писатель-философ, республиканец. Наиболее известен его утопический трактат «Оцеана» (1656).

Хайгетская присяга — шуточный обычай, названный по одному из округов на окраине Лондона (Хайгет): посетители кабаков клялись не пить слабого пива, когда есть крепкое, и т. д.

Квакеры — протестантская секта, основанная в Англии в XVII в, Джоном Фоксом (1624 — 1690 или 1691). Название «квакер» (трясущийся) — от телодвижений, которыми они сопровождали

выражение своих религиозных чувств. Квакеры считали религию частным делом каждого и отвергали вмешательство государства в религиозные дела.

Клуб «Колесо» (Rota) — был основан в 1659 г. Хэррингтоном с целью пропаганды республиканских взглядов.

Сент-Джон — по-видимому, Оливер Сент-Джон (ок. 1598 — 1673), видный деятель английской революции, сподвижник Кромвеля.

Latus ctasus — широкая пурпурная полоса, спускавшаяся от шеи до нижнего края на передней стороне туники римских сенаторов.

Булла — медальон, который до

совершеннолетия носили дети свободных граждан древнего Рима.

Вейн Генри (Младший) (1613 — 1662) — деятель английской революции, лидер индепендентов в парламенте. После реставрации Стюартов был исключен из Акта об амнистии и казнен.

Виги и тори — две основные политические партии английских правящих классов, возникшие в годы реставрации Стюартов и отражавшие интересы землевладельческой (тори) и денежной (ви́ги) знати.

В эпиграфе цитата из пьесы Бомонта и Флетчера.

Parma non bene relictā — цитата из оды «К Помпею Вяру» (кн. II, ода

7) Горация; дается в переводе А. С. Пушкина.

...как злодей, о котором, говорит Давид, испугаемся и побежим... — измененная цитата из псалма Давида.

Ренсборо Томас (ум, в 1648г.) — адмирал парламентского флота, принадлежал к левому течению английской революции. Был убит роялистами, когда они пытались захватить его в плен.

Акт о самоотречении — был принят Долгим парламентом в апреле 1645 г. Члены парламента более не могли занимать военные и гражданские должности, и потому умеренные пресвитерианские

руководители должны были оставить армию, уступив места индипендентам. Это был шаг к военной реформе, знаменовавший начало решительного поворота в ходе гражданской войны.

Генрих Восьмой (1509 — 1547) — английский король из династии Тюдоров.

В эпиграфе цитата из «Генриха VIII» Шекспира (акт IV, сц. 1).

Англиканская церковь (или епископальная) — возникла в Англии в результате Реформации, проведенной Генрихом VIII: верховным главой церкви вместо римского папы стал король, сохранились епископы, несколько

была упрощена обрядовая сторона и т, д.

Лод Уильям (1573 — 1645) — архиепископ Кентерберийский (с 1633 г). Стремился укрепить англиканскую церковь, усилить церковную иерархию, подавить пуританское движение.

В начале революции был арестован и затем казнен.

...»горячий нрав, что мать мне завещала»... — цитата из «Юлия Цезаря» Шекспира (акт IV, сц 3).

...когда листья опадают — зима близка... — несколько измененная цитата из «Ричарда III» Шекспира (акт I, сц. 2), .., своим, никому не нужным великодушием обогатили

Авраама. — Библейский патриарх Авраам сказал нечестивому царю содомскому: «Даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама» (Книга Бытия. 14), Когда взяли Колчестер... — 12 июня 1648 г, королевские войска под командованием Горинга взяли Колчестер (Эссекс). В августе этого же года парламентские войска вновь овладели городом, что явилось одним из последних эпизодов второй гражданской войны.

Армагеддонская битва. — По приведенному в Апокалипсисе пророчеству в день Страшного суда в долине Армагеддона сразятся цари и

их воинства с силами зла, Данбар — см, прим к Мистер Принн Уильям (1660 — 1689) — пуританский публицист, автор более двухсот памфлетов в защиту революции.

Филастр — герой пьесы «Филастр», написанной около 1610 г. Френсисом Бомонтом и Джоном Флетчером.

...в полку у Моэна... — Имеется в виду Майкл Моэн (ок. 1620 или 1625 — 1684), выдающийся английский актер (до революции играл в театре Друри-Лейн). В гражданской войне сражался на стороне короля. После казни Карла I эмигрировал, а при реставрации возвратился к актерской

деятельности.

Лесной болотистой тропой... — Стихи принадлежат Скотту.

Меч господа и Гедеона... — По библейской легенде, израильский судья Гедеон с отрядом в триста воинов разбил мадианитян, неожиданно напав на них при звуках труб и кликах; «Меч господа и Гедеона!»

..трубы Иезера издадут походный клич. — Библейский судья Гедеон (см, предыдущее примечание) звуком трубы призвал племя Иезера, или Авиезера, к походу на врагов мадианитян.

Перчес в своих путевых заметках... — Перчес Сэмюел (ок.

1575 — 1626) — английский ученый-географ, автор ряда .компилятивных работ о путешествиях и открытиях.

В эпитафье цитата из «Сна в летнюю ночь» Шекспира (акт V, сц. 2).

Холирудский дворец — резиденция шотландских королей в Эдинбурге.

Роджер Бэкон (1214 — 1294) — английский философ и ученый, занимавшийся математикой, физикой, химией; был обвинен в ереси и 14 лет провел в тюрьме (1278 — 1292).

В эпитафье цитата из «Сна в летнюю ночь» Шекспира (акт III, сц. 2).

...сумасбродного короля
Иакова... — то есть Иакова I (1603
— 1625).

Уайтхолл — королевский дворец
в Лондоне, построенный при Генрихе
III (XIII в.).

Ламфорд Томас (ок. 1610 — ок.
1653) — полковник королевской
армии во время гражданской войны.

...дух Герна... — Упоминается в
комедии Шекспира «Виндзорские
насмешницы» (акт V), где Фальстаф
появляется, одетый охотником
Герном.

Старик Джеффри — т.е. поэт
Чосер.

Лукреций Кар (ок. 99 — 55 до
н.э.) — древнеримский — философ-

материалист и поэт, автор поэмы «О природе вещей», Ювенал Децим Юний (ок. 60 — после. 127) — римский поэт-сатирик. Цитата из «Сатир» (VI, 547).

Гог и Магог — упоминающиеся в Апокалипсисе два народа, война с которыми явится предвестником Страшного суда.

...остатки после сбора винограда в Уиндзоре стоят больше, чем весь сбор в Вудстоке. — Измененная фраза из библии, произнесенная Гедеоном: «остатки винограда Ефрема будут полезнее всего урожая Авиезера».

Национальная лига и Ковенант — религиозно-политическое

объединение. Ковенант (от англ, соглашение) возник впервые в 1557 г, как союз противников проникновения английской церкви в Шотландию. В 1638 г, при попытке Карла I, стремившегося усилить свою власть, ввести англиканскую церковь в Шотландии, был образован Национальный ковенант. Народ объединился вокруг ковенантеров, и движение приняло политический характер. Во время гражданской войны шотландские ковенантеры заключили с лондонским пресвитерианским парламентом соглашение против роялистов, которое получило название Торжественной (или Священной)

лиги и Ковенанта (1643 г.). Военные силы Англии и Шотландии объединились против короля.

Антиномисты, пелагиане, социниане, арминиане и ариане различные протестантские религиозные секты.

Кембриджский университет — один из старейших в Англии, основан в XIII в, в Кембридже (неподалеку от Лондона).

Пьюрфой Уильям (1508? — 1659) — протестантский проповедник.

Ваал — древнее божество в Финикии, Палестине, Сирии. В библии культ Ваала символизирует идолопоклонство.

Мафан — по библейскому рассказу, жрец храма Ваала, воздвигнутого в Иерусалиме, убитый у алтаря этого языческого бога при разрушении его капища.

...скорблю по тебе, как Давид по Ионафану! — Когда старший сын царя Саула и друг Давида Ионафан пал в битве, Давид оплакал друга в печальной песне.

Айсис — одно из названий реки Темзы.

Голиаф из Гефа — филистимлянский великан, убитый юношей Давидом.

Афенодор — философ-стоик (I в, до н.э.).

Лесли Дэвид (1601 — 1682) —

шотландский генерал, вместе с шотландскими войсками был послан ковенанторами на помощь парламентским силам. В битве при Марстон-муре (1644 г.) и других кавалерийский полк Лесли и «железабокие» Кромвеля сыграли решающую роль, Димас — ученик апостола Павла, затем отошедший от христианства.

В эпитафье, по-видимому, цитата из трагедии римского писателя Луция Аннея Сенеки (6 или 3 г. до н.э.) — 65 н.э) «Агамемнон», переведенной на английский язык и переработанной Джоном Стади (1545? — 1590?), владыка преисподней — настоящий

джентльмен... — цитата из трагедии Шекспира «Король Лир» (акт III, сц. 4).

...я прогуливаюсь тут по залу и.., могу вздохнуть свободно. — Цитата из «Гамлета» Шекспира (акт V, сц. 2).

Мне старость — как здоровая зима... — слегка измененная цитата из «Как вам это понравится» Шекспира (акт II, сц. 3).

Пленная троянская царица. — Имеется в виду жена Гектора Андромаха, попавшая после смерти мужа в плен к сыну Ахилла Неоптолему, В эпиграфе цитата из «Двенадцатой ночи» Шекспира (акт III, сц. 3), ...сон вышел из роговых

ворот... — В поэме Гомера «Одиссея» жена Одиссея Пенелопа говорит, что через ворота из слоновой кости людям приходят лживые сны, а через роговые — вещие, правдивые сны.

Страмасон — фехтовальный термин. Название удара, а также шпаги с закругленным концом, которой наносится удар, причиняющий рваную рану.

Монтроз Джеймс Грэм (1612 — 1650) — роялист, во время гражданской войны командовал в Шотландии войсками Карла I. После казни короля Монтроз пытался поднять восстание против республики, но был разбит, взят в

плен и казнен. (См, роман В. Скотта «Легенда о Монтрозе», т. VII наст. собр. соч.).

Верстиген Ричард Роуленс (1565? — 1620) — английский литератор, писавший под фамилией своего деда Верстигена (выходца из Голландии), Масоны, («вольные каменщики») — представители религиозно-этического течения, возникшего в Англии в начале XVIII в. Охраняя тайны своего устава, прибегали ко всякого рода условностям, какие позволяли им, например, по стуку в дверь узнавать друг друга, ...напоминавшая шляпу Ральфо на, гравюрах к «Гудибрасу»... — Ральфо —

оруженосец Гудибраса в антипуританской поэме Сэмюела Батлера (1612 — 1680).

Лэси Джон (ум. в 1681 г.) — актер, лейтенант кавалерии в королевских войсках во время гражданской войны. Пьеса «Старое войско, или Мосье Раггу» была написана около 1665 г., и упоминание о ней — анахронизм.

Аллен Эдуард (1566 — 1626) — английский актер.

«Застольная в честь короля Карла» — принадлежит Скотту.

В эпиграфе цитата из «Ричарда II» Шекспира (акт V, сц. 5).

Тайный совет — возник в конце XII — начале XIII в. и превратился в

личный совет короля, рассматривавший дела без участия парламента. Сделался орудием абсолютизма, возбуждавшим ненависть народа. Во время республики (1649 г.) был упразднен. При реставрации в 1660 г, восстановлен, но с более ограниченными правами.

...мой дед Генрих Четвертый боялся старого Сюлли. — Генрих IV — король Франции (1589 — 1610); его дочь Генриетта Мария (1609 — 1669) была женой английского короля Карла I и матерью Карла II; Максимильен герцог де Сюлли (1560 — 1641) — французский государственный деятель, министр

финансов Генриха IV, фактически руководивший внутренней политикой Франции.

La Belle Gabrielle — Габриэль д'Эстре (1571? — 1599), возлюбленная французского короля Генриха IV.

Разве я не был их королем целых десять месяцев? — После казни Карла I его сын был провозглашен королем Шотландии. В июне 1650 г., заключив соглашение с шотландцами о принятии Ковенанта, Карл высадился в Шотландии и 1 января 1651 г. был коронован в городе Скопе. После поражения при Вустере (3 сентября 1651 г.) бежал во Францию (15 октября 1651 г.),

Имеется в виду период от января до октября 1651 года.

...благодаря благосклонности... Джона Гиллеспи., мне разрешили нести покаяние у себя в комнате... — Речь идет о шотландском священнике Патрике Гиллеспи (1617 — 1678), участнике Ковенанта. Он был в числе тех, кто объяснял неудачу похода Карла Стюарта неискренним принятием им Ковенанта; перед коронацией Карла II его еще раз заставили подчиниться шотландскому парламенту, а кроме того, униженно покаяться в собственных грехах и осудить отношение свое, отца, деда к пуританизму, в мать за католицизм.

...Эдуард Четвертый. Граф Уорик.., не раз свергал его... — Эдуард IV, король Англии (1461 — 1483); Ричард Невил граф Уорик (1428 — 1471), прозванный «делателем королей», играл видную роль в феодальной войне Алой и Белой розы на стороне Йоркского дома. После победы при Таутоне (1461) посадил на трон Эдуарда IV. После раздора с Уориком в 1470 г. Эдуард IV бежал из Англии в Бургундию, а Уорик возвел на трон Генриха VI, которого вновь сверг в 1471 г. Эдуард IV вернулся в 1471 г. и разбил Уорика, который погиб в битве.

Вордсворт Уильям (1770 —

1850) — английский поэт.

...в мятеже сэра Джона Оуэна...

— Имеется в виду выступление роялистов в защиту Карла I, которое возглавил полковник Джон Оуэн (1600 — 1666). Мятеж был подавлен (1648).

...дела Томкинса и Челлонера. — Речь идет о роялистском заговоре, организованном в 1643 г. Ричардом Челлонером, Натаниэлем Томкинсом и поэтом Эдмундом Уоллером. Заговор потерпел неудачу, Челлонер и Томкинс были казнены в июле 1643 г., а Уоллер спасся, выдав своих сообщников и уплатив огромный денежный штраф.

Аргайл Арчибалд (1598 — 1661) — глава шотландских пресвитериан, боровшихся против Карла I. Хотя впоследствии маркиз Аргайл перешел на сторону защитников королевской власти, все же после реставрации Стюартов он был казнен.

Власть короля в такой ограде божьей... — цитата из «Гамлета» Шекспира (акт IV, сц. 5).

...после восстания лорда Холленда и герцога Бакингема в Кингстоне — Имеется в виду роялистское выступление в конце второй гражданской войны (1648 г.), в котором видную роль играли граф Холленд (1590 — 1649), Джордж

Вильерс герцог Бакингом (1628 — 1687) и другие Попытка освободить осажденный парламентскими войсками Колчестер не удалась, мятежники были разбиты у Кингстона (7 июля 1648г.). Герцогу Бакингу удалось спастись, другие были схвачены, преданы суду и обезглавлены.

Взгляните, вот портрет, и вот другой. — Цитата из «Гамлета» Шекспира (акт III, сц. 4).

Апеллес (356 — 308 до н.э.) — древнегреческий живописец, написавший несколько портретов Александра Македонского, Генрих Французский — т. е. Генрих IV.

В эпитафии цитата из «Ричарда

II» Шекспира (акт V, сц. 3).

Король Наварский — то есть Генрих IV, который с 1572 г, был королем Наварры.

Мой добрый Ганг, Ланкастер престарелый... — цитата из «Ричарда II» Шекспира (акт I, сц. 1).

Савиоло Винченцо — известный фехтовальщик XVI в, и автор книг о дуэлях и вопросах чести, решавшихся дуэлями.

...как Дорсет убил лорда Брюса. — Эдуард Сэквил лорд Дорсет (1591 — 1652) убил в 1613 г, на дуэли Эдуарда Брюса лорда Кинлоса. Поводом к дуэли была романтическая история связи Сэквила с Венесией Стенли.

Вильерс, Уилмот, Сэдли — сподвижники и фавориты короля Карла II, отличавшиеся легкомысленностью, распущенностью. Это были поэты и острословы Джон Уилмот граф Рочестер (1647 — 1680), Чарлз Сэдли (ок. 1639 — 1701) и герцог Бакингам. Скотт допускает анахронизм, так как в момент действия романа можно говорить только о герцоге Бакингаме: Джону Уилмоту было тогда 4 года, Сэдли — 12 лет.

...роковое окно в Уайтхолле., трагедия Человека в маске? — Эшафот, на котором 30 января 1649 г, был казнен Карл I, соорудили так, что король должен был пройти на

него через окно дворца Уайтхолл; палач, приведший приговор в исполнение, был в маске.

Карл должен навсегда сменить свое имя на имя Иосифа... — По библейской легенде, Иосиф отверг жену своего господина Потифара, начальника телохранителей египетского фараона.

Кто в любви исполнен веры... — слегка измененная цитата из стихотворения Роберта Бернса (1759 — 1796).

Пим Джон (1584 — 1643) и Хэмпден Джон (1594 — 1643) — лидеры парламентской оппозиции, с именами которых связаны многочисленные выступления против

Иакова I и Карла I.

«Метаморфозы» Овидия. — Публий Овидий Назон (43 до н.э. — 17 н.э.) — древнеримский поэт, автор цикла поэм «Метаморфозы» («Превращения»), представляющих собой обработку греческих и римских мифов.

...слышали о Вертумне и Помоне. — Бог садов Вертумн мог принимать любой образ. Превратившись в старуху, он явился к богине плодов Помоне, чтобы убедить ее стать его женой. Однако только тогда, когда Вертумн принял свой собственный образ, пораженная его красотой Помона приняла предложение. Миф обработан в

«Метаморфозах» Овидия, В эпиграфе цитата из «Ричарда II» Шекспира (акт I, сц. 3).

Тебя я с вертелом твоим... — цитата из «Короля Джона» Шекспира (акт IV, сц. 3).

Да, это все необычайно странно... — цитата из «Комедии ошибок» Шекспира (акт V, сц. 1), На поле боя встретившись, они... — цитата из «Генриха IV», часть I (акт I, сц. 3), Буцефал — имя коня Александра Македонского.

...книга о верховой езде герцога Ньюкасла... — Герцог Ньюкасл (1592 — 1656) — воспитатель Карла II, роялист и участник гражданской войны. Автор нескольких

драматургических произведений. Страстный любитель лошадей и один из лучших наездников в стране. Написал два руководства по верховой езде в 1657 и 1667 гг. Упоминание об этих книгах — анахронизм, так как появились они позднее.

Пленить искусством верховой езды. — Цитата из «Генриха IV» Шекспира, часть I (акт IV, сц. 1), Там юный Гарри с поднятым забралом. — Цитата из «Генрика IV» Шекспира, часть I (акт. IV, сц. 1), Донн Джон (1573 — 1631), Каули Абрахам (1616 — 1667) — английские поэты.

Давенант Уильям (1606 — 1668) — английский поэт и драматург;

один из учредителей Друри-Лейнского театра.

Филдинг Генри (1707 — 1754) — английский писатель.

Его «История Тома Джонса, найденыша» : (1749) — классический образец реалистического романа.

Викерс Джон (ок. 1580 — 1682) — английский поэт, пуританин.

Уизерс (Уизер) Джордж (1588 — 1667) — поэт и памфлетист, сторонник Кромвеля в гражданской войне.

Дрэммонд из Хоторндена — Уильям Дрэммонд (1585 — №49), английский поэт и писатель.

Лорд Стерлинг — Уильям Александер граф -Стерлинг (ок. 1567

— 1640), шотландский поэт и политический деятель.

Как колокол надбитый, дребезжит. — Цитата из «Гамлета» Шекспира (акт III, сц. 1).

...о жене Потифара и ее строптивом возлюбленном... — то есть о библейском Иосифе Прекрасном, отвергнувшем домогательства жены своего господина Потифара.

Мильтон Джон (1608 — 1674) — крупнейший английский поэт и политический деятель, индипендент. С 1640 г, опубликовал ряд памфлетов и трактатов в защиту свободы религии и слова.

Точное название упомянутого

памфлета «Pro populo Anglicano Defensio», который вышел в 1650— г, и был посвящен защите принципа народовластия, явившись ответом на роялистские памфлеты, осуждавшие казнь Карла I.

...сыграть роль дамы в «Комусе»'... — «Комус» — пьеса-маска Мильтона, написанная в 1634 г., о том, как живущий в лесу злой волшебник Комус пытается речами совратить заблудившуюся Даму, олицетворяющую добродетель. Выше приводились стихи из этой пьесы.

...роль Самсона-Борца... — Имеется в виду последнее произведение Мильтона «Самсон-Борец» (1671 г.).

В эпиграфе цитата из «Макбета» Шекспира (акт IV, сц. 3).

Линкор, и, Жаннета — персонажи куртуазной поэзии, ... полюбоваться красотой... Эсфири, в то время как властолюбивая Астини, ... — Согласно библии, Астинь — жена персидского царя Артаисеркса, которую он отверг, прельстившись красотой Эсфири.

...прославленный Лонгсуорд, граф Солсбери... — Имеется в виду Уильям Лонгсуорд («длинный меч») (ум, в 1226 г.), побочный сын Генриха II, государственный деятель и полководец; иногда его матерью считают Розамунду Клиффорд.

Ламберт Джон (1619 — 1683) —

генерал парламентской армии, сподвижник Кромвеля.

...наследницей Фоконбергов, который Кромвель, вероятно, намечает для одного из своих отпрысков? — Томас Белэсайс граф Фоконберг (1627 — 1670) был сторонником парламента в гражданской войне, в 1657 г, он женился на дочери Кромвеля Мэри.

Звездная палата — высший административный а судебный орган в Англии (учрежден в 1488 г.); название получил от украшенного звездами потолка зала, где заседала палата. При Стюартах превратилась в орган преследования, пуритан и вызвала всеобщую ненависть.

Упразднена в 1641 г, В эпиграфе цитата из «Много шума из ничего» Шекспира (акт V, сц. 2).

Rex nascitur ex hello — неточная цитата из сочинения римского историка Корнелия Непота (I в. до н.э.) «О знаменитых мужах».

...как Геркулес в «Картине» Кебета, колеблясь между... Добродетелью и Наслаждением... Мудрости и... Безумия. — Греческий философ-идеалист Кебет из Фив является автором сочинения «Картина», в котором содержится аллегорическое изображение человеческой жизни. Иногда автором «Картины» считают философа-стоика II в. до н.э. Кебета из Кизика.

...советники, Николае и Гайд...

— Эдуард Николае (1593 — 1669) — английский государственный деятель, член Тайного совета Карла I и в 1641 г, государственный секретарь. Подписал капитуляцию Оксфорда. Эдуард Гайд граф Кларендон (1609 — 1674) — английский государственный деятель и историк. Советник Карла I во время гражданской войны и Карла II в эмиграции. После реставрации Стюартов — лорд-канцлер (1660 — 1667).

Маркиз Хертфортсшй Уильям Сеймур герцог Сомерсет (1588 — 1660) — роялист, участник гражданской войны; был близок к

Карлу I.

Хэммонд Роберт (1621 — 1654) — полковник парламентской армии и комендант острова Уайт, где после поражения во второй гражданской войне находился Карл I, когда парламент вел с ним переговоры. Индепендентское командование армии 1 декабря 1648 г, сместило Хэммонда, который был расположен к королю.

Джон Хоум (1722 — 1808) — английский драматург.

Прочь занавес, лик Борджа укрывавший. — Представители рода Борджа в XV — XVI вв. играли видную роль в истории Италии и в борьбе за власть применяли подкупы,

убийства. Наиболее известны Александр VI Борджа, папа с 1492 по 1503 г., его сын Чезаре и дочь Лукреция.

Пойнс — персонаж исторической хроники Шекспира «Генрих IV», спутник Фальстафа.

Линдабрида — героиня средневекового рыцарского романа «Зерцало рыцарства»; ее имя сделалось синонимом возлюбленной.

Камбиз — древнеперсидский царь (529 — 522 до н. э.) из династии Ахеменидов.

...всех трех королевств — то есть Англия; Шотландии и Ирландии.

Thelephus et Peleus... — цитата из

произведения Квинта Горация Флакка «Наука поэзии». Телеф — сын Геракла, почитался особенно в Пергаме; Пелей — отец Ахилла. Эти герои греческой мифологии подвергались изгнанию и терпели лишения.

«Сказки матушки Гусыни» — сборник известных сказок Шарля Перро (1628 — 1703), которые часто называют «Сказки Перро». Сказки вышли в 1697 г., и упоминание о них в романе — анахронизм.

Киллигру Генри (1613 — 1700) — английский драматург.

В эпиграфе цитата из «Двух веронцев» Шекспира (акт V, сц. 4)»

Пэджитт Эфраим (1575? —

1647) — богослов, автор сочинений об еретических отклонениях от пресвитерианства, среди которых и «Ересеография, или Описание ересей и сект последнего времени» (1645 г.).

Иеремия — библейский пророк, предвещавший гибель Иудеи.

Лаван — библейский персонаж, отец Лии и Рахили, жен патриарха Иакова, который, чтобы получить их, работал 14 лет на полях Лавана. Когда Иаков бежал со всем нажитым имуществом, то домашних богов отца взяла с собой Рахиль. Лаван настиг беглецов и обратился к ним с вопросом: «Зачем вы отняли у меня моих богов?»

«Песнь песней» — включенная в библию книга любовно свадебных песен, авторство которых приписывается царю Соломону (ок. 960 — 935 до н.э.).

...из «Аркадии» Грина... — Роберт Грин (ок. 1560 — 1592) — английский писатель, автор пасторального романа «Менафон» (1589 г.), который называли «Аркадия», так как он был написан под влиянием созданного ранее, хотя опубликованного немного позднее, произведения Сиднея.

«Венера и. Адонис» — поэма Шекспира (1593).

Я встречаю тебя.., как старший слуга Авраама... — Имеется в виду

библейский рассказ о том, как патриарх Авраам послал слугу в Месопотамию, чтобы найти невесту для своего сына Исаака. Слуга встретил невесту у колодца.

...Давид приказал вылить воду Вифлеемского источника. — По библейскому рассказу, царь Давид во время войны с филистимлянами пожелал напиться из Вифлеемского источника.

Трое храбрецов принесли ему воды, но, устыдившись», он не выпил ее, а приказал вылить на землю.

В эпиграфе цитата из «Отелло» Шекспира (акт V, сц. 1).

Уэстминстерская ассамблея — то есть парламент, заседавший в

Уэстминстере.

Иезавель — жена израильского царя Ахава (X в. до н. э.), которая толкнула его на идолопоклонство. Библейская легенда говорит о наказании нечестивой Иезавели, которая была убита, а тело ее брошено собакам.

В эпиграфе цитата из стихотворения Генри Макензи (1745 — 1831) — английского поэта и романиста, Патрик Кэри (ум, в 1651 г.) — поэт и католический деятель, был сыном Генри Кэри лорда Фолкленда (ум, в 1633г.) — политического деятеля времен Иакова I и Карла I Стюартов.

В эпиграфе цитата из «Генриха

IV» Шекспира, часть I (акт II, сц. 2).

Иеровоам — царь Израиля; возглавил восстание десяти северных племен против сына царя Соломона Реговоами (или Ровоама) и основал израильское царство; Реговоам — царь Иудеи.

О, Авессалом, Авессалом, сын мой... — Так, по библейской легенде, воскликнул царь Давид, узнав о смерти своего сына Авессалома.

В эпиграфе цитата из «Генриха VI» Шекспира, часть II (акт III, сц. 2).

Гора Галаатская — гора близ Иордана, где происходили битвы с врагами иудеев амалекитянами.

...».подобно тому, как Гедеон

безмолвно шел к лагерю мадианитян...» — Израильский судья Геден, прежде, чем напасть на лагерь врагов, пошел туда со своим слугой Фури, чтобы разведать положение.

...как в долине Иосафата. — Речь идет о долине близ.

Иерусалима (иначе Кедронская — по ручью Кедронскому); в библейской книге пророка Иоила она упоминается как место будущего суда над народами всех стран.

Ахан был убит, чтобы Израиль мог устоять... — По библейскому рассказу, воин Иисуса Навина Ахан пытался взять часть добычи, захваченной при взятии Иерихона,

хотя вся добыча была обещана богу. В наказание Ахан и его семья были побиты камнями, а их трупы и все имущество сожжены.

Ньюарк — город, расположенный на реке Трент, в Ноттингемпшире; в годы гражданской войны три раза был осажден и в конце концов взят шотландцами в 1646 г.

Ну, не потеха ль — так подстроить все... — реплика Гамлета из «Гамлета» Шекспира (акт III, сц. 4).

Я отхожу спокойно в мир иной... — измененная реплика Норфолка из «Ричарда II» Шекспира (акт I, сц. 3), Почтенье власти! Мы

должны уважить... — цитата из «Меры за меру» Шекспира (акт V, сц. 1).

Кэмбел Томас (1777 — 1844) — английский поэт; цитата из поэмы «Гертруда из Уайоминга» (1809).

«Евтих упал с третьего жилья». — Имеется в виду библейский рассказ о юноше, который, заснув, упал «с третьего жилья», был поднят мертвым, но апостол Павел воскресил его.

Силоамская башня — упоминаемая в евангелии рухнувшая башня.

...Аод поразил царя моавитян мечом длиною в локоть? — По библейской легенде, израильский

царь Аод убил тирана Еглома, а затем разбил моавитян, восемнадцать лет угнетавших иудеев.

В эпиграфе цитата из «Генриха IV» Шекспира, часть I (акт V, сц. 3).

Зимри. — Раб израильского царя Илы — Зимри — составил заговор, убил царя и его семью, но через семь дней был окружен врагами и погиб в пламени дворца.

...помогла бежать Сисаре... — Военачальник ханаанского царя Сисары (Ханаан — древнее название Палестины) после поражения, нанесенного ему израильтянами, бежал и попытался укрыться в шатре Хевера, но был убит его женой Иаилью.

И не подобны ли эти люди пяти царям, укрывшимся в пещере Макдаха... — Библейский герой и преемник пророка Моисея Иисус Навин, покоряя Палестину, разбил войска пяти царей аморейских, а когда они хотели укрыться в пещере Макдаха (Македа), он извлек их оттуда и повесил на пяти деревьях.

Джоанна Бейли (1762 — 1851) — шотландская поэтесса, драматург, связанная со Скоттом узами дружбы.

Уоппинг — район в Лондоне (на берегу Темзы, близ Тауэра).

Бык вассанский — в смысле нечестивец; Вассан — округ в Ханаане, захваченный язычниками-аморитянами; славился своими

стадами.

Капитан Бобадил — персонаж из пьесы Бена Джонсона «Всяк в своем нраве».

Колледж Кайюса — один из колледжей Кембриджского университета, основанный в 1348 г. Эдмундом де Годвиллом и реформированный в 1557 (или 1558 г.) доктором Джоном Кайюсом (1510 — 1573), именем которого часто называется.

В эпиграфе цитата из трагедии Джона Драйдена (1631 — 1700) «Дон Себастьян» (1690).

Бэнбери — город в Оксфордшире; в годы гражданской войны дважды был осажден; по-

видимому, имеется в виду сдача Бэнбери, после 11 месяцев осады, 9 мая 1646 г.

Рандуэй-даун — расположен около Оксфорда. Здесь 13 июля 1643 г, роялисты разбили парламентские войска Сражение при Дюнкерке — произошло в 1658 г., когда Англия в союзе с Францией воевала против Голландии; Дюнкерк был взят в июне 1658 г, и передан Англии. Карл II вернул его Франции.

...восстание Бута и Мидлтона...
— Речь идет о роялистских выступлениях, связанных с именем Джорджа Бута (1622 — 1684) и Томаса Мидлтона (1586 — 1666). После ухода с поста главы

государства сына Оливера Кромвеля Ричарда в 1659 г, с целью восстановления монархии Стюартов они выступили против восстановленного Охвостья Восстание потерпело поражение Монк Джордж (1608 — 1670) — английский генерал. С 1654 г, командовал войсками в Шотландии и в начале 1660 г, перешел границу с целью поддержать сторонников реставрации Стюартов.

...Майский день благословляй...
— Имеется в виду 29 мая 1660 г., день возвращения Карла II Стюарта в Лондон и начала реставрации монархии.

Ваня — упоминающийся в

библии сподвижник царя Давида,
начальник его телохранителей и
главнокомандующий при царе
Соломоне, Распутайте крамолы
крепкий узел... — цитата из «Короля
Иоанна» Шекспира (акт. V, сц. 4).

С. ОРЛОВ, М. РАБИНОВИЧ

notes

Note1

Оксфордских Афинах (лат.).

Note2

«Молот ереси» (лат.).

Note3

Вряд ли нужно говорить — разве только для тех читателей, которые все понимают буквально, — что ни сам доктор Рочклиф, ни его рукописи в действительности не существовали. (Прим, автора.)

Note4

«Английские героические послания» Дрейтона, прим. А к «Посланию Розамунды к королю Генриху». (Прим, автора.)

Note5

Стихотворные переводы, кроме
особо оговоренных, выполнены Э.
Линейкой.

Note6

Этот обычай пуритан часто упоминается в старинных пьесах, например, во «Вдове с Уотлинг-стрит». (Прим, автора.)

Note7

В Нью-Форесте помощника
егеря называют в просторечии
Робином-оборванцем. (Прим,
автора.)

Note8

Хорошим товарищем (исп.).

Note9

Такова воля Виктора Ли (лат.).

Note10

Первое издание (лат.).

Note11

Эта история, как я полагаю, приведена в «Хрониках» Фруассара. (Прим, автора.)

Note12

«Приятнейшая и восхитительная история Аргала и Партении» — книга для развлекательного чтения, весьма популярная а семнадцатом веке. (Прим, автора.)

Note13

Тверд в вере (лат.).

Note14

Подопечный (франц.).

Note15

Побежден благодеянием (лат.).

Note16

Пуританин, действующее лицо в одной из пьес Бомонта и Флетчера. (Прим, автора.)

Note17

Перевод Ю. Корнеева

Note18

Как бог из машины (лат.)

Note19

Свалка всех народов (лат.)

Note20

Довод (лат.).

Note21

Мировом духе (лат.).

Note22

Широкую кайму (лат.)

Note23

Нечестно бросив щит (лат.)

Note24

О боже, заступник мой! (лат.).

Note25

Бычий глаз (франц.)

Note26

Перевод Б. Томашевского.

Note27

Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

Note28

Перевод Т. Щепкиной-Куперншц

Note29

Ночные пирушки — развлечения, введенные в моду в веселые времена сумасбродного короля Иакова, популярные в течение всего его царствования Ужинали рано, не позже шести или семи часов, а затем следовала «ночная пирушка» — в десять или одиннадцать часов подавалась холодная закуска, и это служило предлогом для того, чтобы продолжать веселье до полуночи. (Прим, автора.)

Note30

Добрые союзники (исп.).

Note31

Wild drake (англ.) означает
«дикий селезень»

Note32

Солдат охраны (франц.)

Note33

Тревоги (франц.)

Note34

Chaser (англ.) — ОХОТНИК.

Note35

Иудеи торгуют снами всякого
рода (лат)

Note36

Перевод М. Донского

Note37

Прекрасная Габриэль (франц.).

Note38

То, что свойственно мужчинам
(лат.).

Note39

Святая святых (лат.).

Note40

Под розгой (лат.).

Note41

Авторитетом (лат.).

Note42

В качестве священнослужителя
(лат.).

Note43

Перевод Б. Пастернака.

Note44

Перевод М. Лозинского.

Note45

Перевод М. Донского.

Note46

Перевод М. Донского.

Note47

Уходят все (лат.).

Note48

Эту печальную историю можно прочесть в «Опекуне». Причиной роковой дуэли было любовное приключение лорда Сэквила, впоследствии графа Дорсета. (Дуэль состоялась в Бергене на Зооме в августе 1613 г.) (Прим, автора.)

Note49

Верная крестьянка (итал.).

Note50

В оригинале игра слов: «fiddle» означает «скрипка».

Note51

Перевод М. Донского

Note52

Перевод Н. Рыковой

Note53

Перевод Б. Томашевского.

Note54

Великолепное войско (лат.).

Note55

У Давенанта действительно был очень маленький нос, и это служило поводом для многих шуток его современников. (Прим, автора.)

Note56

Мы нашли эти стихи в фарсе Филдинга «Дик Развалина», написанном на сюжет той же самой старинной истории. Так как они были широко известны в эпоху республики, то» наверно, дошли и до автора «Тома Джонса», — ведь никто не заподозрит в подобном анахронизме автора настоящей книги. (Прим, автора.)

Note57

Перевод Б. Пастернака.

Note58

«Защиты английского народа»

(лат.)

Note59

Что вы Сказали? (франц.)

Note60

Перевод Ю. Корнеева.

Note61

Как пастушок (франц.).

Note62

Как пастушка (франц.).

Note63

Мир ро́дится из войны́ (лат.)

Note64

Сделано и подвергнуто
обсуждению (лат.)

Note65

Разве твой узел требует высшей
их силы (лат.).

Note66

Защитник или защитница (лат.).

Note67

Без верхней одежды (исп.)

Note68

Ученый доктор и антиквар редко обходился без цитат, зато часто оставлял их без перевода, потому что презирал тех, кто не понимал древних языков, и не хотел трудиться над переводом ради сельских леди и джентльменов. Чтобы прекрасные читательницы и деревенские вельможи не остались в неведении, мы приведем значение этих слов: «Добродетель нуждается в руководителе и наставнике; для обучения порокам не надо учителя». (Прим. автора.)

Note69

«Сказки матушки Гусыни»
(франц.).

Note70

«Фамилисты» — секта, основанная Давидом Георгом Дельфтским, фанатиком, который считал себя мессией. Она распалась на несколько сект; Гриндлтониацы, Фамилисты гор, Фамилисты долин, Фамилисты ордена Плаща, Рассеянного стада и т. д. и т. д. Доктрины этих сект настолько разнузданны и безумны, что их не стоит излагать: они признавали законность временного приспособления к господствующим сектам, если это было в их интересах, и подчинения приказам

любого государственного чиновника или высшей власти, пусть даже греховной. Они отрицали основы христианства, как учения, ставшего ненужным с пришествием Давида Георга; более того — они следовали самым распущенным и разнузданным побуждениям своих низменных страстей и, как утверждают, допускали в своей среде грязный разврат. См. «Gangraena» Эдвардса, «Heresiographia» Пэджитта и очень любопытный труд Людовика Клакстона, одного из руководителей этой секты, «Заблудшая овца вновь найдена» в четверть листа малого формата. Лондон, 1660. (Прим, автора.)

Note71

Охотничий нож (франц.)

Note72

Перевод Б. Пастернака.

Note73

Боевое прозвище (франц.).

Note74

В подлинной песне Кэри вместо названия «Вудсток» стоит «Уайкгэм». Стихи полны вакхического духа, свойственного их времени. (Прим, автора.)

Note75

Покрыл песком убитого
египтянина (лат.).

Note76

Пусть здравствуют, сколько...
(лаг.) (первые слова заупокойной
службы)

Note77

Кромвель взял приступом Тредаг (Дрогоду) в 1649 году, причем был убит комендант вместе со всем гарнизоном. (Прим. автора.)

Note78

Никаких церемоний (франц.)

Note79

На смерть (франц.)

Note80

Такие или подобные песни можно найти в «Сборнике для чайного стола» Рэмзи, среди бесшабашных песен менестрелей, собранных в этой книге, (Прим, автора)

Note81

Бежит к осоке (лат.)

Note82

Игра слов: wild drake означает
«дикий селезень»

Note83

Ныне отпускаеши (лат.).